

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1992

8

1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8 (808)

Август, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
БОРИС ЧИЧИБАБИН — Школа любви, стихи	3
МИХАИЛ КУРАЕВ — Дружбы нежное волнение. Записки провинциала	6
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Мальтийский сокол	41
МИХАИЛ БУТОВ — К изваянию Пана, играющего на свирели, сонет; Измаил II, рассказ	49
МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ — На смерть Лолиты, стихи	67
ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ — Баллончик. Попытка дискурса	71
ГЕННАДИЙ ФРОЛОВ — В миг любой, стихи	84
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ЛЕОНИД БЕЖИН — Усыпальница без праха. Записки сентиментального созерцателя	87
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — От сумы да от тюрьмы...	126
ДАНИИЛ ДУБШАН — «Дело» Холмса живет...	129
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Н. КОРЖАВИН — В соблазнах кровавой эпохи. Окончание	130
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
НИКОЛАЙ ПОКРОВСКИЙ — Скитские биографии	194
УСТНЫЙ РАССКАЗ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО. Из архива Е. Н. Опочинина. Вступительная статья и публикация М. Одесской	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Предварительные итоги XX века</i>	
АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Вид из окна. И. Роднянская — Вна полях благодетельного абсурда	218
ЛЮБОВЬ ГУРЕВИЧ — Подвижная мишень	227
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Юрий Кублановский. Благословенный свет. Андрей Немзер. Лес. Степь. Свет. В. Камянов. Красный ферзь под боем.	234

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
А. ОВСЯННИКОВ — Власть тьмы?	244
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Е. Ознобкина.— I. Мартин Хайдеггер. Разговор на проселочной дороге. II. Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. III. Карл Густав Юнг. Архетип и символ	251
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	254
SUMMARY	256

КО ВСЕМ ДРУЗЬЯМ «НОВОГО МИРА»

Дорогие друзья! Как и все независимые издания, «Новый мир» переживает трудные времена. Денег, собранных в прошлом году по подписке (4 р. 70 к. за номер), учитывая катастрофический рост цен на бумагу, типографские расходы и неожиданный для нас налог на добавленную стоимость, очевидно не хватает на 12 журнальных книжек. Мы не допускаем мысли, что «Новый мир» может прекратить свое существование, и делаем все от нас зависящее, чтобы выпустить полный годовой комплект журнала. От переподписки мы пока решили воздержаться: нам не хотелось бы выставить поверившим в нас читателям новые финансовые условия. Однако мы обращаемся к вам с просьбой о поддержке — отдельные подписчики, общества книголюбов, фонды, учреждения и организации в стране и за рубежом, имеющие желание и возможность помочь «Новому миру», могут перечислить пожертвования на счет журнала:

рублевый: р/с № 100608135 во Фрунзенском коммерческом банке Москвы МФО 201412 (просьба делать обязательную пометку: «В поддержку «Нового мира»);

валютный благотворительный счет:

Konto A. Neimanis

№ 6311113 [DM]

№ 806328910 [US - \$ and any other foreign currency]

BLZ 70020270 Bayerische Vereinsbank

München Germany

In the name of «In support of «Novy Mir».

Спасибо вам за помощь.

НОВОМИРЦЫ.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки и распространение журнала «НОВЫЙ МИР» во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

All the rights to the subscription and distribution of 'Novy Mir' revue in all the countries (except on the territory of the former USSR) belong to
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag



A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag
Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,
Germany. Tel 089/26 30 76, fax 26 30 77

© Журнал «Новый мир», 1992.

© A. Neimanis · München, 1992.

БОРИС ЧИЧИБАБИН

*

ШКОЛА ЛЮБВИ

* *
*

Я родом оттуда, где серп опирался на молот,
а разум на чудо, а вождь на бездумие стай,
где старых и малых по селам выкашивал голод,
где стала евангельем «Как закалялась сталь»,

где шли на закланье, но радости не было в жертве,
где милость каралась, а лютости пелась хвала,
где цель потерялась, где низились кроткие церкви
и, рухнув, немели громовые колокола,

где шумно шагали знамена портяночной славы,
где кожаный ангел к устам правдолюбца приник,
где бывшие бесы, чьи речи темны и корявы,
нежданно влюблялись в страницы убийственных книг,

где судеб мильоны бросались, как камушки, в небо,
где черная жижа все жизни в себя засосет,
где плакала мама по бабушке, канувшем в небыль,
и прятала слезы, чтоб их не увидел сексот,

где дар и задумчивость с детства взяты под охрану,
где музыка глохла под залпами мусорных зим,
где в яростной бурке Чапаев скакал по экрану
и щелкал шары звонкощекий подпольщик Максим,

где жизнь обрывалась, чудовищной верой исполняясь,
где, нежно прижавшись, прошли нищета и любовь,
где пела Орлова и Чкалов летел через полюс,
а в чертовых ямах никто ни считал черепов,

где солнцу обрыдло всходить в небесах адонных,
где лагерь так лагерь, а если расстрел — ну и пусть,
где я Маяковского чуть ли не весь однотожник
с восторгом и завистью в зоне читал наизусть

и были на черта нужны мне поэты другие,
где пестовал стадо рябой и жестокий пастух,
где странно звучало старинное имя России,
смущая собою к нему не приученный слух,

где я и не думал, что встречу когда-нибудь с Ялтой,
где пахарю ворон промерзлые очи клевал,
где утро барачное било о рельсу кувалдой
и ржавым железом копало заре котлован,

где вздохи ровесников стали земной атмосферой,
 винясь перед нами, а я перед ними в долгу,
 где все это было моими любовью и верой,
 которых из сердца я выдрать еще не могу.

Тот крест, что несу, еще годы с горба не свалили,
 еще с поля брани в пустыню добра не ушел.
 Как поздно я к вам прихожу со стихами своими!
 Как поздно я к Богу пришел с покаянной душой!

* *
 *

Мне чужд азарт пьянчуг и краснобаев,
 цвета знамен сменивших на очах,
 в чьих святцах были Ленин и Чапаев,
 а нынче вдруг — Столыпин да Колчак.

Забыв, что сами родом из холопов,
 полезли скопом в бары да в князья,—
 по кудрям плачут, головы снеся,
 царя зовут, империю прохлопав.

Во мне ж иной задаток повторен:
 я был хохлом, холопом, бунтарем.
 Под цвелью царств — народа первозданность.

Тот крестный путь вменив себе в устав,
 я красным был и, быть не перестав,
 каким я был, таким я и останусь.

* *
 *

На кой мне ляд проваливаться в ад?
 Бродить по раю, грешный, не желаю.
 Зато в селе всему, что помню, рад:
 дымку печей, кудахтанью и лаю,

шатрам стогов и шаткому сараю,
 где дышит хмель и ласточки шалют.
 Страды крестьянской праведность и лад
 в крови храню и совесть с ней сверяю.

До зорьки встать, быть к полдню молодцом,
 разлечься на ночь к воздуху лицом,
 охалпку снов поклавши в изголовье.

Нет, сельский дух и в храме не изъян:
 и красота корнями из крестьян,
 ей и дерьмо коровье на здоровье.

* *
 *

Ты мне призывных писем не пиши
 в заморский рай земного изобилья:
 с моей тоски там как бы не запил я,
 там нет ни в чем ни духа, ни души.

Мне лучше жить в отеческой глуши,
где каждый день вдыхаю Божью пыль я,
где степь ковыля да рысца кобыля,
где ляг в траву и дальше не спеши.

Я не сужу, я знаю, почему ты
оставил землю бедности и смуты,
где небу внемлют Пушкин и Толстой,

и проку нет с предавшим пререкаться.
Стихи — не довод для американца.
Я обойдусь любовью и тоской.

* *
*

Взрослым так и не став, покажусь-ка я белой вороной.
Если строить свой храм — так уж, ведомо, не на крови.
С той поры, как живу на земле неодухотворенной,
я на ней прохожу одиночную школу любви.

Там я счастье познал, но бывала и смертная боль же,—
и отвечу ль в свой час на таинственный вызов Отца?
В этой школе, поди, классов сто, а возможно, и больше,
но последнего нет, как у вечности нету конца.

С Украины в Россию уже не пробраться без пошлин —
еле душу унес из враждой озабоченных лап.
Кабы каждый из нас был подобьем и образом Божиим,
то и вся наша жизнь этой радостной школой была б.

Если было бы так! Но какие ж мы Божьи подобья?
То ли Он подменен, то ль и думать о Нем не хотим.
Взрослым так и не став, я смотрю на людей исподлобья:
видно, в школу любви ни единый из них не ходил.

Обучение в ней не прошло без утрат и падений,
без отчаянных вин, без стыда и без совести кар.
Знает только Отец, сколько я отвечал не по теме,
сколько раз, малодушный, с уроков на волю тикал.

Но лишь ею одной, что когда-то божественной мнили,
для чьего торжества нет нигде ни границ, ни гробниц,
нет, спасется не мир, но спасется единственный в мире,
а ведь род-то людской и слагается из единиц.

Ну и что за беда, если голос мой в мире не звонок?
Взрослым так и не стал. Чем кажусь тебе, тем и зови.
Вижу Божию высь, там живут Иисус и ягненок.
Дай мне помощь и свет, всемогущая школа любви!



МИХАИЛ КУРАЕВ

*

ДРУЖБЫ НЕЖНОЕ ВОЛНЕНИЕ

Записки провинциала

Как Бог, хотел бы знать я все о каждом,
Чужое сердце видеть, как свое,
Водой бессмертья утолять их жажду —
И возвращать иных в небытие.

З. Н. Гунтуис, «Идущий мимо».

То, что мы сейчас переживаем исторические времена, сомнению не подлежит, это очевидно. Далеко не очевидно другое — что же это за история, в которую мы с вами влетели, и в частности я сам, лично.

Жизнь моя подходит к концу, мне уже за пятьдесят; судя по тому, как разворачиваются события, разворачиваться они будут еще не один десяток лет, и чем дело кончится, узнать мне, во всяком случае, не придется, поэтому спешу сообщить свои заметки, которые, может быть, утешат дремлющего пока еще в колыбели грядущего знатока исторических процессов, который, по образцу своих предшественников, будет готов отдать за одну страницу записок галерного раба чуть ли не всего Флавия или Тита Ливия.

Вот вам записки галерного раба истории, к сожалению, страниц не очень много.

Сегодня стало понятно, что пока мы прославляли величие нашего времени, как-то не замечалось, что все вокруг совсем не величаво, но чувство опять же было такое, будто мы все стоим в очереди за хорошей жизнью, которую сначала, и это справедливо, выдадут лучшим людям в Москве, где раздача уже началась и ведется непрерывно, потом, и это тоже справедливо, начнется хорошая жизнь в Ленинграде, и так постепенно дойдет очередь и до нашего города. А пока, конечно, радость жизни во всей ее полноте в нашем городе практически испытать невозможно.

Не думайте только, что я так уж падаю до жизни и мои желания отмечены исключительностью, это не так. Запросы мои, разумеется, очень высоки, но вполне соразмерны и с моими возможностями, и с возможностями любого человека, не поставившего себе целью жить за счет других.

Печаль — не ропот, уныние — грех, и я не унываю.

Я далек от того, чтобы поносить свою эпоху, в конце концов, эпох неудачных, освидетельствованных и оплаканных по их завершении куда больше, чем величавых и прекрасных во всех отношениях.

Мои многолетние наблюдения позволяют мне с уверенностью предположить, что человечество претерпевает лишние переживания как раз от неподготовленности к встрече с еще более отвратительной эпохой, чем все предыдущие.

Разве у вас есть уверенность в том, что все рекорды ненависти, глупости, жестокости, гупости уже побиты?

Или мир одряхлел?!

Увы, как-то не верится.

Да, наша эпоха, исчерпав свои силы в величайшем напряжении, естественно, имеет право на усталость, на то, чтобы перевести дыхание, попробовать найти новые пути, новых вождей, новые идеалы. А что делать мне, если я уже седею, если остаток моей жизни она все будет передыхать, оглядываться, потягиваться,

отыскивать, отбрасывать, переваливаться с боку на бок, подминая под себя тысячи, а то и сотни тысяч зазевавшихся, ни в чем не повинных граждан.

Никто нас не учит, как жить в смутные времена и во времена хронических болезней истории, да и как научить, когда времена текучи и не похожи ни на что?

Вот поэтому-то я благодарен тому ветру, который занес меня к нашим высшим сословиям в надежде не только спастись от уныния, но приобщиться к сильным чувствам, испытать уж если и меланхолию, то возвышенную и сильнейшую и дожить остаток жизни небудничным образом.

Из отмеченного лишь вежами заурядности бесхитростного движения моей жизни в историческом русле, из всего длительного, образно говоря, движения по течению, рассказываю лишь о том, как попал в водоворот и как оказался выкинутым окончательно на берег, будучи лишенным последней, казалось бы, для всякого человека возможности хотя бы плыть вместе со всеми по течению, дружно налегая на весла. Готов дружно налегать, вместе со всеми, но, кажется, уже поздно. Оглянешься — каждый налегает сам по себе.

Прежде чем сообщить о том, в какой водоворот я попал в ванной собственной квартиры, считаю необходимым сказать несколько слов в оправдание, быть может, и незаслуженного внимания, которое невольно привлеку к нашему совершенно непривлекательному городу.

При обилии интереснейших городов и событий в нашем обширном и некогда величественном отечестве сотня-другая городов вроде нашего — вещь маловажная и второстепенная. Было бы даже странно и неприлично, если бы подлинная литература, подлинная культура и прекрасные науки вдруг расцвели именно в нашем городе, ничем себя за тысячу лет не прославившем, а не в Москве, скажем, или во Пскове. Таким образом, изложение моего восприятия жизни, подмеченной не в верхних ее проявлениях, а во внутренних, будет исполнено сознательной скромности, окрашено подобающей случаю робостью и отмечено некоторой принужденностью.

А теперь идем в ванную.

Прежде чем признаться, каким ветром меня прибило к нашим высшим сферам и как рухнула часовня, рухнул алтарь, воздвигнутый мной своими руками у себя в душе, я должен отвлечь ваше внимание историей разрыва моих семейных уз.

Для тех, кто рвал семейные узы или наблюдал этот процесс со стороны, я не сообщу ничего оригинального, кроме того, быть может, что непосредственным толчком к разрыву послужило оригинальное физическое явление, заключающееся в различных условиях конденсации водяного пара на охлажденных поверхностях.

В результате разрыва я потерял разом друга, многолетнего моего друга, составлявшего едва ли не половину всей моей жизни в Ленинграде. Звали друга Олег. Если разрыв, значит, потеря жены, жену я потерял тоже. Физические и иные достоинства своей жены я превозносить не стану, может быть, их и не было вовсе, а если они и были, то, как сказал поэт, они виделись на расстоянии ии. Кстати, женился я, как Пушкин, также без азарта, без воодушевления, но избежал его ошибки, на красавице жениться не стал, взял на два года меня старше. До меня она замужем не была, похоже, не брали. Известно, женишься на красавице — и дрожи всю жизнь за свое сокровище. Но жениться на скверной бабе тоже опасно: может всю жизнь испортить.

Я еще не знал, что опыт обыденной жизни снижает все мечты и необычные желания. Вступая со своей женой в брак, я не давал воли воображению, и мои желания никак не переходили границ разумного. Да, я имел неосторожность мечтать о счастье и видел его лишь в совместном противостоянии окружающей нас жизни. Не нужно быть особенным мудрецом или провидцем, чтобы знать, как много утрат готовит нам жизнь, и вступая в брак, мне казалось, что рефреном и ответом на все удары судьбы у меня станут от сердца идущие слова: «Зато у меня есть ты». Всякий раз, перенося утрату или жизненный удар разной силы, я буду говорить ей: «Зато у меня есть ты». За пятнадцать лет совместного проживания я так и не удосужился ей это сказать, но не оттого, что не хотел. Я ждал такой минуты, когда это можно было бы сказать так, чтобы не показаться смешным. Но после того как сначала в шутку, а потом и с досадой она стала говорить: «Зачем ты на мою голову свалился?» — отвечать ей на это словами «зато у меня есть ты» было бы смешно и отчасти глупо.

Я женился на женщине тихой и внешне малопривлекательной, познакомились мы в пельменной на Кировском проспекте, около площади Льва Толстого, рядом с магазином «Политическая книга». Работала же она в Инженерном замке, бывшем Михайловском, где Центральная военно-морская библиотека и бывшая библиотека императора Павла Первого. В замке много разных других организаций, и в том числе ЦБНТИ. Моя жена работала в ЦБНТИ, причем, вот что по-своему интересно, ее рабочее место — стол — было в угловой комнате второго этажа, окнами выходящей на Марсово поле, площадь Жертв революции по-старому. В этой самой комнате был безвременно убит император Павел Первый своими ближайшими сподвижниками. Жена нисколько не гордилась тем, что ее рабочий стол и телефон находятся в таком историческом месте, и на расспросы гостей, когда я рассказывал про кабинет, где была у императора как раз спальня, только и говорила: «Подумаешь!» Ни в какие призраки, тени и прочую модную ерундистику она, конечно, не верила, а выдал ее роман с Олегом, тщательно много лет от меня скрываемый, можно сказать, призрак.

Работа жены в ЦБНТИ, Центральной библиотеке научно-технической информации, была связана с патентными делами и разъездами по различным иным организациям и другим библиотекам; таким образом, ей только с утра нужно было появляться на работе обязательно, а потом она могла чувствовать себя относительно свободной. Дочка в школе, я на службе, двухкомнатная квартира в очень приличном двухсотквартирном доме 86-го проекта на проспекте Космонавтов в полном ее распоряжении.

Я работаю по капстроительству, в то время был в УНР-18 знаменитого тридцатого треста.

Вообще-то смешно: всю жизнь по капстроительству, а сам для себя в своей собственной жизни так ничего капитального соорудить и не сумел и сейчас пишу вот это все фактически на развалинах.

Была осень, за нашим трестом закреплены поля в совхозе «Бугры». Убирали капусту. С утра зарядил мелкий дождь, думали, что скоро погода переменится, вышли на полосы, начали сечь кочаны и свозить, но после двух часов затучило и такой дождь зарядил, что трактор не мог идти по полю собирать то, что мы насклеи, да и сами еле ноги передвигали, утопая в расквашенной земле. Как ни в чем не бывало я приехал домой, вымокший, грязный, отчасти злой. Чувствую, что могу заболеть, и поэтому сразу же полез под душ, горячий-прегорячий, как только мог терпеть. Естественно, помещение ванной наполнилось паром, пар садится на зеркало, большое такое зеркало, укрепленное на двери, и в зеркале я уже не вижу своего коротконогого тела с несколько удлинненными руками, за что меня жена дразнила чиканожкой. Слово дурацкое, я просил ее объяснить, что оно значит, а она только смеялась и говорила, что чиканожка — это и есть чиканожка, и все тут. Мне было обидно, и я просил ее так не говорить хотя бы при дочери. Потом выяснилось, конечно, через ее признание, что чиканожкой меня прозвал Олег; ей самой, что я подчеркнул, до такого язвительного остроумия никогда в жизни не подняться, а Олег талантлив по всем статьям, и она со мной согласилась, что бывало не часто. Но вернемся в ванную, где я принимаю обжигающий душ после работы в поле. Лучше бы мне тогда в кипятке свариться, чем стать зрителем того, что открылось уже через три минуты. После того как я хорошенько себя прокипятил и почувствовал, как уходит из тела подступившая дурнота, окатился одной холодной. Визжал и хрюкал от переживаемого удовольствия и даже смеялся.

Так и вижу себя смеющимся и повизгивающим на краю бездны.

Итак, оба краны закрыты, начинаю выгираться.

Зеркало все запотело, покрыто ровной матовой пеленой, образно говоря, туманом, а мне и дела нет, вообще я не любитель смотреть на себя в зеркало, хотя бы и в ванной. Но вот мой взгляд, подобно взгляду Валтасара, начинает замечать какое-то явление. По мере того как пар в ванной рассеивается и зеркало начинает остывать и освобождаться от осевшего на нем пара, вижу, что освобождение идет неравномерно. Сначала не придал этому ровным счетом никакого значения, ну, думаю, разводы и разводы, а чем больше оно остывало, тем ярственнее обнаруживалось, что разводы-то больно правильные. Тот развод, что был сверху, оказался словом «Олег» с восклицательным знаком. А разводе на трех европейских языках один и тот же текст: «Я тебя люблю» — по-английски, по-немецки и на французском языке. Надпись, судя по толщине букв, сделана

пальцем на запотевшем стекле... Пока я сидел на краю ванны как в воду опущенный и смотрел на эти буквы, они побледнели и словно ушли обратно в зеркало, стали совершенно невидимыми. Это меня удивило. Я смотрел сбоку, сверху, и так, и сяк, пытаюсь прочитать свой приговор на остывшем зеркале, но с таким же успехом, наверное, тюремщики рассматривали письма Владимира Ильича, написанные им в одиночной тюремной камере № 193 на Шпалерной. Письма были написаны молоком, полагавшимся Владимиру Ильичу по состоянию здоровья. Нельзя сказать, что я выскочил из ванны как ошпаренный, напротив, я выполз, как раздавленный червь, даже пошел и прилег на кушетку, где обычно спал, когда мы с женой ссорились, прилег, чтобы всесторонне обдумать свое новое положение.

Мне казалось, что у женщины с такой широкой, размашистой походкой (идет, будто ноги в стороны раскидывает, будто пинает всех направо и налево) не может быть любовника. В этой походке было что-то отпугивающее и, безусловно, не женственное. Я-то сначала этого не замечал, а когда стал замечать, наша близость уже стала как бы привычкой.

Я решил в конце концов, что надо растить дочь, девочке нужны отец и мать, мать даже особенно, но только как образец чистоты и нравственной порядочности. Поэтому я решил спокойно поговорить с женой и попробовать оставить случившееся без последствий, исключительно ради дочери. Пусть, думаю, даже Олег какое-то время еще к нам ходит, пока я найду приличное объяснение для дочери, почему он больше у нас не бывает.

Пришла жена с работы или откуда уж она пришла, не знаю, и сразу устроила мне выговор за то, что «развел в ванной свинство», а убирать должна она. Я со своими переживаниями забыл, конечно, вытереть пол и убрать грязное белье. Я еле-еле удержался, чтобы не сказать, кто и какое устраивает «свинство» в ванной. Нет, думаю, сейчас нельзя, должна прийти дочка, а как разговор пойдет, предвидеть трудно.

Пришла из школы дочка, веселая, ходит по квартире с пританцовочкой, вдруг заметила меня и говорит: «Папа, ну почему у тебя лицо такое, будто кто-то накакал тебе под нос?» — и захохотала. «А у него всегда такое лицо», — добавила еще и жена. Потом они вместе стали что-то напевать. «Может, и мне с вами запеть, будет трио?» — пошутил я. «У тебя слуха нет», — чуть не в один голос сказали мои девицы, это я их так для смеха иногда зову по-домашнему. «Когда в хоре псковского Дома пионеров пел, у меня слух был, а тут, видишь, такой академический дуэт, что мой слух уже не подходит?» — «Вот именно, папочка, у нас с мамулей академический дуэт. Ты же знаешь, что мальчики иногда после мутации теряют голос?» — «Так голос теряют, а не слух». «Такие, как ты, папочка, не только слух, но и уши могут потерять!» — сказала дочка и рассмеялась вместе со своей мамочкой.

Я внутренне вздрогнул, опасаясь разоблачения. Я иногда сам чувствую себя отрезанным ухом, и в этом нет никакой мистики, никакой чертовщины, но она-то откуда могла это знать, сама прозрела, или просто, как говорится, устами младенца глаголет истина?

К отрезанному уху мы обязательно вернемся, а пока я дождался, чтобы дочка легла спать и я мог спокойно, именно спокойно, объясниться с женой. Хотелось, чтобы объяснение было тихим, достойным происшествия и всего лишь скорбным, но вышло все шумно, с визгом, с бессмысленными выкриками вроде: «Что ты меня пугаешь?», «Кто тебе дал право так со мной разговаривать?!», «Оставь Олега в покое!», «Не смей трогать Олега!» — и все в таком духе. Я видел, как мой печальный и благородный план не выдерживает проверки на прочность, разлетается, образно говоря, в клочья. Меня больше всего удивило, почему она не видит моего благородства и сдержанности. Я избежал даже такого слова, как «прощаю», чтобы не оскорбить ее воспаленное самолюбие, чрезмерно в эту минуту обнаженное. «Было и было, — пытался я перевести разговор в задумчивую форму, как бы в струю воспоминаний, — надо думать, как жить дальше...» «Вот ты и думай! — кричала жена в ответ. — Почему я всегда за тебя должна думать?!» «Я прошу тебя спокойно меня выслушать, речь идет о слишком серьезных вещах, чтобы давать волю эмоциям», — упорно пытался я вывести разговор из жанра скандала, где нет ни логики, ни правил, ни порядка. «Не затыкай мне рот! Не учи, как я должна разговаривать! Ты оскорбил меня, понимаешь, ты меня оскорбил!» — веря каждому своему слову, кричала жена.

«Хорошо, — сказал я, — давай в этой ситуации на минуту отвлечемся от себя, от своих обид и эмоций, подумаем о ребенке, подумаем о дочери».

На этих словах из своей комнаты вышла дочь.

Судя по тому, что она была в спортивном костюмчике, надо полагать, она уже давно слушала наш спор, проснулась и теперь решила в него включиться.

Ее появление меня не ошеломило, а даже обрадовало, я подумал, что при дочери жена изменит интонацию, смутится, притихнет и я смогу в полной мере показать и свою выдержку и великодушие.

«Ты смешон, папа. Ты просто смешон», — с какой-то откровенной брезгливостью произнесла моя дочь и хлопнула дверью.

Я вскочил со стула, я бросился к двери, я распахнул ее с такой силой, будто собирался брать комнату дочери штурмом. Дверь распахнулась слишком широко, и на пол полетел стул с одеждой. Я увидел дочь лежащей навзничь на разобранной для сна постели, она лежала в своем спортивном костюмчике, как лежат днем ходячие больные в палате, заложив руки почему-то под голову, и откровенно плакала. Не навзрыд, не в голос, а просто из открытых глаз, устремленных в низенький потолок, потолки у нас низкие, два с половиной, такой проект, — так вот, из ее открытых глаз с уголков к ушам непосредственно стекали слезы. Глаза были, образно говоря, как два переполненных через край родника. Но это я сейчас так описываю, чтобы читающий мог представить себе картину отчасти художественно, тогда же я сначала ничего не подумал, хотел только закричать и спросить: тем ли я смешон, что хожу в чиненых ботинках, тем ли смешон, что бегаю в лоснящемся костюмчике с вытертыми локтями, тем ли смешон, что хожу в двадцатиградусный мороз в вязаной шапочке, которая «мне очень идет», «молодит», тем ли смешон, что два срока бегал неосвобожденным парторгом УКСа ради вот этой самой квартиры, где я, кажется, сегодня лишний? Ничего этого я не сказал, увидев черные глаза дочери, полные слез. Пока я разглядывал ее глаза, надо думать, в ее слезах утонули или погасли все мои испепеляющие вопросы, остался только один вопрос, последний, который я и произнес почти непроизвольно, не задумываясь о последствиях: «Может быть, я здесь лишний?»

«Лишний, папа, лишний...» — ясно сказала девочка, подавилась, вернее, поперхнулась при этом слезами, перевернулась на живот и уткнулась лицом в подушку, сотрясаясь то ли от кашля, то ли от искренних рыданий.

Вот так я оказался у себя на родине, рядом со своей мамой, с могилой деда и прадеда.

Чтобы остаться в Ленинграде, как мне советовали все у нас на работе, зная, как я добывал квартиру, надо было за площадь судиться. Но на что я мог рассчитывать? На комнату в коммуналке, и только. А какой ценой?

Надо было видеть, как счастлива стала моя жена, когда ей не нужно было уже притворяться и она могла не изредка, не от случая к случаю, а каждую минуту говорить и показывать, что она обо мне думает.

Я понимал, что этой лавиной ненависти она пыталась заглушить в себе голос совести, который мог бы произнести слова укора. Она оглушала себя, ну и меня попутно, упреками, обвинениями, насмешками, ядовитой иронией и, пока говорила, как и большинство женщин, верила в свою правоту.

Олег помог мне с переездом, провожал меня.

О причинах моего отъезда мы с ним никогда не говорили, хотя я на правах друга знал обо всех его любовных связях, кроме, как выяснилось, одной.

На Варшавский вокзал, обшарпанный, неудобный, приговоренный, говорят, к сносу, пришли меня провожать и дочь и жена. Пришли, как я понимаю, не для того, чтобы пожелать мне доброго пути, а чтобы удостовериться в том, что я действительно уехал.

Мотив отъезда я придумал вполне убедительный: мама одна, мама старенькая, нужен уход. Взять ее к себе в ленинградскую квартиру просто некуда, а одну оставлять нельзя. Поживу с ней, а там видно будет. Все чинно и настолько благородно, что жена поджала губы и старалась изо всех сил выглядеть обиженной, якобы ее бросают ради какой-то там матери.

Переминаясь перед вагоном, минуты за четыре до отправления поезда Олег вдруг решил все несостоявшиеся разговоры свести к одному вопросу: «Почему ты меня не убил?» Я ждал, что рано или поздно он что-нибудь в этом духе спросит, и много раз про себя, мысленно отвечал ему, иногда очень неплохо, а тут вылетело что-то совсем неподходящее, то есть то, что у меня всегда рядом.

«Петру тоже за это ничего не было», — сказал я. «Какому еще Петру? Петру Первому, что ли?» — он посмотрел на мою жену, как бы давая понять, как мало она похожа на Екатерину Первую, потом на меня, тоже, надо думать, мало похожего на Меншикова, улыбнулся и покачал головой. «Не Петру Первому, а апостолу Петру», — уточнил я свою заветную мысль. Олег пожал плечами, найдя мой ответ нелепым, и обернулся к моей дочери и к моей жене, как бы ища разъяснения. Дочка поняла этот немой вопрос и тут же откликнулась: «Папа, будь проще, тебе так это все не идет». Сказано это было с таким мирным, усталым укором, что я, пожалуй, только в эту минуту понял, какое для них облегчение мой отъезд.

Как только поезд тронулся, еще колеса не успели обернуться один раз, а я уже испытал, казалось, вовсе невозможное облегчение, оставив там, на перроне, телегу без колес, воз, который я тащил и тащил неведомо куда и неведомо зачем.

Нет, я не ждал в своей новой жизни ни пиришеств, ни игрищ, ни бездны плотских наслаждений, и первая радость, испытанная с первым оборотом колеса под вагоном, была радость человека, заблудившегося в лесу и вдруг вышедшего на дорогу, на дорогу хотя и незнакомую, но ведущую к людям.

Бежать от худшего, освободиться от унижения, быть может, и преувеличенного, но безусловно реального и невыносимого, это уже счастье или состояние, близкое к счастью.

Меня глубоко не удовлетворяла работа в УНР-18, в СМУ-4 и даже в СМУ-14, хотя наш тридцатый трест гремел, и в пору его награждения орденом Трудового Красного Знамени мне выпала честь в виде медали «За доблестный труд», поскольку, как я уже говорил, бегал тогда неосвобожденным партгором нашего управления. Но ни почести, ни награды, ни власть не давали мне того удовлетворения, которое я искал в людях, в простом человеческом общении, искал и не находил. Пытался найти забвение в книгах, особенно среди изречений великих людей, пытался даже выписывать иностранные выражения в отдельную книжечку, но жена нашла книжечку и умудрилась каждую запись трактовать как исключительно направленную против нее и для нее обидную. Особенно мне досталось за слова, выписанные из какой-то басни Крылова и приведенные в журнале «Политическое самообразование», который я выписывал по должности: «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться».

Я пробовал забыться в труде, но главным моим занятием на работе было связывание рвущихся веревок, где-то что-то все время трещало, рвалось или могло лопнуть. Не помню дня, прожитого без страха за то, что завтра станет кран, уже месяц работающий без профилактики, или полетит редуктор на бетономешалке, ЗЖБИ не поставит плит, а если и поставит, то другой номенклатуры, автобаза вместо трех даст один панелевоз, — и все в таком духе, не говоря уж о хронической нехватке кадров. Случались, конечно, если оглянуться, и спокойные дни, но привычное ожидание всяческих злосчастий и эти дни превращало в сидение на сковородке.

Отдых тоже вспоминать не хочется, хотя на отдыхе бывают дни хорошие, спокойные, когда уже все устроилось, а об отъезде можно еще не думать. Все равно не знаешь, откуда тебя ждет удар.

Помню, отдыхали с моей в Алуште в пансионате нашего треста, очень неплохой пансионат, он еще не был полностью введен, так что на питание мы были прикреплены к спортбазе «Спартак». В общем, трест на время строительства пансионата арендовал нормальный пятиэтажный жилой дом, оборудовал там квартиры, и можно было отлично жить. Комната с балконом, погода хорошая, ездили на экскурсию в Ялту, ездили в знаменитую Коровью пещеру в Большом Каньоне, вечером сидим на балконе, ждем, пока дочка уснет, чтобы потом уже самим ложиться. Тепло, цикады поют, день прошел мирно, по-хорошему, на всех площадках играют «Черемшину». Приобнял я свою и говорю: «Хорошо». Она спрашивает: «Что хорошо?» «А все, — говорю, — хорошо. Крым. Лето. Цикады поют. Сейчас дочка уснет. Жену обнимаю». «Ну, хрюкни еще от счастья», — ни с того ни с сего вдруг поднесла. «Ну, спасибо», — говорю и пошел спать один. Думал, подойдет, попытается как-то сгладить, ничего подобного. Пошла и тоже спать легла. Лежим, молчим. «Чем же, — говорю, — тебе здесь не нравится?» «Да я с любым другим мужиком давно была бы уже в Финляндии!» Специально взяла самую неприметную европейскую страну, чтобы мне обидней было.

Вот тебе и отдых и личная жизнь, не говоря уж о наслаждении.

Теперь о себе.

Я — Малхов.

Фамилия у меня — Малхов. Глубоко несчастная фамилия. Корни у нее глубокие, но глубоко несчастные.

Многие Малаховы, каких-то мне приходилось встречать в своей жизни, спрашивали меня, куда выпала из моей фамилии буква, принимая меня за своего. Но ни к каким «малахаям» и «малаховкам», коим нет числа в Тверской, Тюменской, Рязанской, Вологодской областях, а также Алтайском и Приморском краях, мы никогда никакого отношения не имели.

Можно было бы признать выпавшую букву, однако надо признать и выпавшую судьбу, а она имеет сходство с судьбой частично известного во всемирной истории Малха. О нем известно не очень много, но если уж в четырех книгах подряд сообщается один и тот же факт, то для сомнений места, как говорится, не остается. А сообщается главным образом о том, что ему отсеки правое ухо.

В трех из четырех книг не сказано, кто именно отсек и кому, просто написано: «один из бывших с Ним» отсек ухо рабу первосвященника. И только в четвертой книге названо имя раба, которому отсеки ухо. Имя ему было Малх. Там же сказано, что отсек это ухо апостол Петр.

Отсечение ушей было, надо полагать, делом обычным, поскольку отсекаемому уху ничего не сделали. Впрочем, в одной из книг сказано, что Учитель тут же прирастил ухо обратно. К сожалению, в этом сообщении желаемое выдается за действительность. Представьте-ка себе, если бы на самом деле такое произошло, факт приращения только что отсеченного уха должен был произвести на склонных к суевериям стражников, воинов и остальную публику, участвовавшую в этой сцене, очень сильное впечатление. Публика же, как известно, вела себя по отношению к Учителю, арестованному по предательству то ли одного, то ли нескольких Своих учеников, совершенно спокойно, то есть бесстрашно: плевались, глумились, смеялись, злобно кричали и насмешничали над немногословным человеком, разговаривавшим довольно странно для Его положения.

Дальнейшая судьба моего предка теряется в бездне истории и даже не представляет интереса, хотя мне удалось узнать, что при его несчастье с ухом присутствовал родственник.

Конечно, хорошо, особенно по нынешним временам и интересу к предкам, вести свою родословную от кого-нибудь из тех, кто подвергал мечам и пожарам, кто клал в болотистую местность, в фундамент своих великих затей сотни тысяч безгласных и безымянных мужиков, хорошо вести родословную от тех, кто пересекал океаны на небольших, но крепких судах и возвращался с триумфом, обогатив Европу картофелем, например, и неведомыми дотоле заболеланиями, — во всех этих случаях наследник как бы сам преподносит себя правопреемником предков и претендует на широчайшее поле деятельности. А на что может претендовать род, чей знаменитый предок был всего-навсего изувечен без особой к тому надобности? Можно ли радоваться и утешаться тем, что изувечен был лицом в высшей степени почтенным, высочайше чтимым? И какой прикажете искать смысл в том, что мой предок, с которым я чувствую связь вовсе не кровную, а связь судьбы, был ошибкой апостола Петра, которую никто не ставит ему в упрек, точно так же как и последующие его поступки, связанные с отречением от Учителя, за Которого только что обещал умереть.

Я не без тихой и тайной радости, будучи человеком вполне неверующим и уж тем более не лютеранином, смотрю на петухов, венчающих шпили лютеранских храмов.

Оказывается, многие верующие вовсе не задумываются над тем, почему это над христианским собором, куда ходят поклоняться как раз кресту, а не петуху, самое почетное и видное место предоставлено нагловатой и фанфаронистой птице.

Птица эта, петух, упоминается, кстати, на тех же самых страницах, где говорится о несчастье, постигшем моего предка. Имя моему предку было Малх.

В час скорби и тоски Учитель взял трех самых верных Своих учеников и отошел помолиться, прося учеников бодрствованием своим укрепить Его дух. Трижды подходил к Своим ученикам Учитель и трижды видел их великолепнейшим образом спящими. Трижды призывал их Учитель: «Бодрствуйте и молитесь!» — но всякий раз вновь находил их с отяжелевшими глазами, образно говоря, спящими. Вот после этого как раз Учитель и сказал Своему ученику, имя

которому было Петр, что не надо храбриться, не надо преувеличивать свои физические силы и силу духа, то есть, говоря нашими словами, не надо п е т у ш и т ь с я. Это петуху свойственно вышагивать по-боевому, нагибать этак голову, воинственно косить и размахивать крыльями, на которых летать-то он и не может. Вот Учитель и сказал: пусть внешне довольно эффектная, но несколько глуповатая птица, высоко почитаемая разве что курами, напоминает тебе о вашем сходстве. Трижды пропел петух, трижды отрекся от своего любимого Учителя обещавший за Него стоять насмерть первый из учеников.

Приходится иногда слышать упрек в адрес Иисуса Христа за то, что Он не улыбался, не смеялся. Не знаю, чего еще хотят эти неутоленные то ли умы, то ли души. Да разве в этом разговоре с Петром не вспыхнула, горя и по сей день огнем на петухах, вознесенных над храмами, божественная ирония!

Самолюбивые умы, идущие аж к Самому Иисусу Христу со своей мерой и по своей мере т р е б у ю щ и е от Него то ли юмора, то ли сатиры, что ж вы летите мимо урока, преподнесенного всем нам с учетом самых скромных, казалось бы, возможностей понять и оценить божественную иронию? Как же не понять горечь этой иронии, обращенной к Себе, избранному Богом, но не сумевшему и среди самых близких и верных, первыми пошедших за Ним, найти хотя бы троих, кто в скорбную ночь разделит бы в бодрствовании Его тоску, не сумевшего найти даже одного, кто не отрекся бы от Него в час испытания, не сумевшего всем Своим милосердием, всей Своей Правдой вразумить, остановить предателя! Вот почему Он пошел на крест!

Мне могут кинуть: «Гордец! Смирись! Он не нашел, не нашел среди богоизбранных, так ты-то куда, ты-то что ж алчешь дружбы, верности, преданности и, может быть, ждешь от людей самозабвения?!» Знаю, что смешно, знаю, что ищу несбыточного, к вам бросаюсь, к первому, можно сказать, встречному-поперечному с нелепыми своими исповедями, но никто в своей вере не волен. Может быть, и я верующий, хотя и на свой манер!

Крест напоминает о подвиге отдавшего Себя на смертные муки для искупления чужих грехов. Петух как раз напоминает о слабости, о страхе, об отступничестве, о границах, разделяющих Бога и человека. Петух на острие церковного наворачивания — обличитель! А может быть, он как раз напоминает о великом милосердии, ведь Учитель повелел отрешившемуся от Него воздвигнуть церковь, ту самую, куда ты сейчас войдешь и будешь думать о себе с надеждой на верховное покровительство.

А где символ моей веры? Где знак надежды? Или снова: «Credo, quia absurdum est».

Ни о чем этом я, конечно, не думал под стук колес, уносивших меня на мою историческую родину.

По мере удаления от города Ленинграда я чувствовал, как из меня выходит длинная острая заноза, которую я, оказывается, неосознанно ощущал в себе все время. Каждый знает это избавление от застарелой боли, которая успела не столько измучить, сколько надоесть. Нетерпеливо отрывая корку от подсохшей болячки, уже не боишься новой боли, мгновенной и острой, в обмен на избавление от надоевшего неудобства.

Под стук колес предстоящая жизнь при всей своей неопределенности и неясности рисовалась мне, образно говоря, чистым листом бумаги, на котором еще не написано ни одной неверной буквы, о которой бы я пожалел. Я был уже ученый, я знал, что написанное один раз уже потом не вырубишь даже топором.

Я не любопытствовал относительно пейзажа, заглядывавшего в наши окна: лес то приближался вплотную к полотну, то отодвигался к краям пустынных равнин, взбегал на дальние взгорки, чтобы оттуда получше разглядеть наш поезд, пряча в свою очередь от нас безнадежную свою сиротливость.

Неприглядные произведения природы, составлявшие мелколесье, болота, ольшаник, всей своей скудной наготой признавались в невозможности удовлетворить человека, давали понять, что утешение для глаз и отраду для сердца надо искать в других местах.

Взглядом, лишенным любознательности, я провожал плывущие за окном картины, не ожидая в них ничего нового и разнообразного вплоть до стен моего родного города.

История нашего города, да и большинства русских городов, богата несчастьями, как от стихийных бедствий, так и от набегов врагов и внутренних неурядиц.

С уверенностью нельзя сказать, что город вполне оправился от последнего набега немецко-фашистских захватчиков, длившегося чуть не два с половиной года. А если заглянуть подальше назад, то разорили нас и литовцы, и московские князья, грабили без зазрения совести гордые поляки, собирали дань обстоятельные шведы. Драла с нас шкуру и овдовевшая княгиня Ольга, остроумно упорядочившая сбор дани, о чем свидетельствуют не только устные предания, но и сохранившиеся и частью опубликованные записки.

Случалось нашему городу нести сторожевую службу по отношению к Пскову, Новгороду, Старой Руссе и Великим Лукам, за что его первым же и громили, а жителей истребляли с каким-то воодушевлением, что, надо думать, не составляло особенного труда для силищи, замахнувшей на пол-Руси.

Сметали нас как бы между прочим, как уху тому злосчастному Малху.

При здравом рассуждении можно представить, какого процветания и удобства может достичь человеческое поселение в нескудной местности, если на его устройство отвести тысячу лет. Но город наш представляет скорее архитектурный альбом всевозможных начинаний, усилий, попыток, затей, и при внимательном взгляде на него с птичьего, к примеру, полета приходишь к убеждению, что пока еще обитатели этой земли, так сказать, население, сами еще не знают, что они собираются из всего многообразного и слабо сохранившегося добра включить в окончательный чертеж города, в котором им хотелось бы жить не из патристических соображений, не по нужде, в чем никто не хочет признаваться, а из любви к хорошему климату, удобству проживания и сношения с другими городами и странами света.

На сегодняшний день город все еще напоминает хотя и обширное, но становище прижившихся здесь людей, однако еще не решивших: осесть ли здесь окончательно, укрепко или бросить это как бы оскверненное временной жизнью место и двинуться по одной из дорог куда глаза глядят.

Но люди не уходят, видно, крепко держат их память о том, что земля эта кормила во всякую пору, и неплохо. Для убедительности выдерну хоть две записки. «Было сухо, но урожай был хороший». Это 1403 год, год знаменитейшей по всей Европе засухи. А вот записка из 1434 года: «В немецкой земле дорогие цены на хлеб, а у нас хлеба много».

Непроворный, однако, живет у нас народ, неторопливый и словно заранее уже уставший, заранее знающий: что ни построишь — сломают, что ни положишь — украдут.

Сегодня достоверно установлено, что спуск к реке от торговой площади, что позади кремля, действует уже восемьсот пятьдесят три года, а набережной в городе при красивой широкой реке как не было, так и нет. А ведь река не только несет воды, но и освежает, чистит воздух, смягчает городские испарения. Привычка к прогулкам по набережной способствовала бы и нравственному здоровью граждан куда больше, чем гулянье по улицам, которые в большинстве своем лучше всего проезжать зажмурясь.

Жизнь сонливая и невольная утекает так же неприметно, как течет наша река в пору тихой летней жары, когда вода кажется совершенно остановившейся и в ней, как в зеркале, отражаются неподвижные берега, монастырь, кремль, мост и облака, висящие высоко в небе.

Чтобы испытать большие чувства и большие страсти, лучше уж, конечно, отправиться куда-нибудь в Суздаль, Мологу, Жиздру, Порхов или Пестово, а у нас даже алчность, злоба, гордыня, распри, дикость, а отчасти и нищета не имеют ярких, душераздирающих черт, которые могли бы питать хотя бы художественное воображение, превращающее взрывы жестокости, высокомерия, неумеренности в нравственные уроки на пользу человечества.

В свое время, лет сто назад, может быть и побольше, открыли чуть ли не в самом городе целебные грязи и минеральные источники наподобие старорусских. Местные энтузиасты здравоохранения попытались мечтать о курорте. Планы, как всегда, были замечательные, мы уже готовились составить конкуренцию знаменитому липецкому курорту, но в первую очередь дурные пути сообщения, составляющие особенность русского государственного жизнеустройства, не дали прекрасной идее возможность продвинуться сколько-нибудь вперед, хотя какие-то лечебницы для раненых солдат в одну из войн были устроены. Старорусские грязелечебницы с горделивой скромностью назывались мастерской здоровья для бедных, а наш павильон и скромное помещение, к нему

примыкавшее, именовались мастерской здоровья нищих, поскольку в зимнее время эти хоромы становились тайным прибежищем нищих и бродяг.

Главная же беда на пути к процветающему курорту, кроме дорог, была еще и в том, что не смогли найти средств для устройства зимнего грязелечения, а без него любой курорт, действуя сезонно, становится дорогостоящим.

Бедность же нашего города происходила из того, что небогатым было наше промышленно-купеческое сословие, и чуть ли не все поступления в городской бюджет шли на содержание управы, думы, полиции, городской тюрьмы, плохонькой больницы, а на благоустройство города и его физическое развитие ничего не оставалось.

Чем могла приманить богатую и праздную публику, обожающую лечиться, наша местность?

Ничего затейливого или поражающего дикой живописностью в нашей природе нет, притом что местность сама по себе оказалась целебной, содержащей множество лечебных факторов, правда, разбросаны они были щедрой рукой природы так далеко один от другого, что требовалось немало средств, чтобы собрать, соединить и превратить наш край во всероссийскую кузницу здоровья.

Что можно было ждать от уездного городка, где считанные по пальцам врачи не только лечили людей, но и обследовали домашний скот и сами изготовляли лекарства для тех и других.

Наши грязи так и не нашли своего лица, и курорт, не сумев переболеть болезнями организации и роста, отошел в область предания.

Лишь памятью о попытке выскочить из грязи в князи остались прозвища трех домов отдыха, построенных в послевоенное время в окрестностях города «Термостатом», «Электроприбором» и заводом электротехнического фарфора; дома отдыха называются и по сей день питьевыми курортами, хотя в старые времена ничего зазорного в таких названиях не видели.

Многие годы наш город был знаменит тем, что сюда приезжал и жил почти две недели Владимир Ильич Ленин. В городе установлено два хороших памятника Владимиру Ильичу, а на вокзале есть памятная доска о приезде вождя и пребывании в нашем городе, вроде той, что привлекает внимание проезжающих через станцию Выру. Возникает вопрос: почему доска на вокзале, а не на доме, где вождь останавливался и жил? Все у нас не как у людей. Точно так же как Владимир Ильич был у нас с ведома полиции, но как бы на негласном положении, так и дом на углу Богородицкой улицы и Безуглого переулка был хорошо известен властям, но многие годы пребывал как бы в полулегальном состоянии. Да, именно в этом доме Ленин вступил во временное, тактическое соглашение с легальными марксистами, здесь он отмежевался от попутчиков и вел работу по созданию крепкой когорты единомышленников, здесь вел отбор людей, налаживал организационную работу и подмечал ростки жадного стремления к социализму.

Здесь, на углу Богородицкой и Безуглого, был изготовлен текст первомайской прокламации, и через два дня он был уже известен в Пскове, а через три лежал на столе начальника Петербургского охранного управления полковника Пирамидова.

Можно с уверенностью сказать, что на кратчайший исторический миг наш небольшой, провинциальный, в сущности, город стал полевым штабом революционного движения в России.

А квартиры-музея нет!

Все дело в том, что хозяин квартиры, в которой останавливался В. И. Ленин, в начале двадцатых годов бросил родину, покинул Россию. Был он обыкновенным фармацевтом, правда из богатых, раз мог снимать квартиру в доме моего деда. Дом у деда был трехэтажный, почти в самом центре, чуть вперед пройти по Богородицкой — и уже налево мост через реку, а дальше кинотеатр «Октябрь» на месте первого городища, которому было бы уже под тысячу лет, если бы не построили кинотеатр.

Отъезд хозяина квартиры стал непреодолимым препятствием на пути создания музея-квартиры В. И. Ленина в нашем городе. Этот фармацевт не просто уехал, он еще писал в эмигрантской прессе, как пустил к себе Владимира Ильича по просьбе своего знакомого из статистического управления, поскольку и раньше сдавал за деньги квартиру гостям, приезжавшим из Петербурга, Пскова и Старой Руссы и желавшим жить в центре города с удобствами. Это бы еще

ничего, это могло бы сойти и за скромность, но и об учении Владимира Ильича фармацевт отзывался самым предосудительным образом. Какой уж тут музей!

Вот и стал наш город как бы отсеченным ухом в величественной лениниане, город на карте ленинианы есть, и дух Ленина как бы пронизывает семьдесят лет его тысячелетней истории, а вот самого того места, где вождь был и скрывался от царских ищеек накануне своего отъезда в Псков и дальше за границу,— его как бы и нет.

Да, радостное солнце озаряло и эту землю, но сияние счастья следов не оставляет, а вот страдания, беды, несбывшиеся надежды почему-то всегда успевают увековечить себя каким-нибудь памятником.

Пока я был в Ленинграде, стало быть, в начале семидесятых годов, воздвигли на Комсомольском проспекте «Фонтан трех поколений», фонтан, символизирующий своими струями соединенность партии, комсомола и пионерии. В основание фонтана комсомольцы заложили капсулу с посланием своим потомкам, с просьбой вскрыть 1 мая 2000 года. Вскрывать должны комсомольцы нашего города. Текст послания потомкам был принят единогласно на торжественном заседании.

Пытаюсь себе представить, кто и с какими лицами будет читать это послание, времени-то осталось до вскрытия совсем немного.

Я из комсомольского возраста вышел, партийная организация у нас самоликвидировалась, пионеров тоже не стало видно — как не задуматься о «Фонтане», хотелось бы, чтобы вскрытие прошло как-нибудь по-человечески. Остроумных людей во все времена много, может быть, и в сказочном 2000 году вспомнят, что в день открытия фонтан в шутку назвали «Рука руку моет», может, к концу века что-нибудь и посмешней придумают. Только хотелось бы, чтобы и поминки по мечтам, которым не суждено было сбыться, прошли все-таки по-людски.

Вернувшись в город, я застал «Фонтан» бездействующим, и вовсе не под воздействием прогрессивно мыслящих людей, вступивших в непримиримую борьбу с прежней символикой. Фонтан засорился и вышел из строя уже несколько лет тому назад. Овальная чаша местами облупилась и не только мне одному напоминала ушную раковину.

Надо думать, в силу особенностей моей фамилии, восходящей к изувеченному предку, известного рода образ сопутствует чуть ли не на протяжении всей моей жизни.

Мне иногда кажется, что и сам я какое-то отсеченное от чего-то ухо: вот и в Ленинграде не прижился, пытался в свое время в Пскове зацепиться — тоже не вышло ничего, да и здесь, в нашем городе, из которого все, кто мог, разбежались, пребываю в каком-то частичном состоянии. Но может быть, человек и не должен чувствовать себя иначе без тесной привязанности, без прочной соединенности с другими людьми?

Я не делился настроениями со своей матушкой, но она чутко меня понимала и старалась утешить и развлечь, всячески преувеличивая все свои многочисленные недуги. Она жаловалась и на печень, и на боль в ногах, и на головокружение, и на слону после еды, и даже на плохой сон, хотя мне не всегда удавалось добудиться ее утром, а вечером, как правило, я засыпал под ее мирное похрапывание.

Временами мне казалось, что наш дом, где матушка доживала вместе со мной свои последние года,— тоже какое-то отсеченное ухо, то ли дедовских владений, то ли прежней жизни в целом.

Хотя дед у меня был боевой, реквизиция его дома прошла очень спокойно.

С началом мобилизации дед был призван в 318-ю пешую Новгородскую дружину, формировавшуюся в Старой Руссе. До мая 1915 года дружина стояла в Выборге, потом ее отвели на переформирование и в каком-то местечке между Перновом и Ригой из трех дружин образовали 434-й Тихвинский полк, вот в этом Тихвинском полку дед и потерял ногу. По демобилизации, уже в советское время, он преподавал в пулеметных классах на первых курсах пролетарских офицеров, потом перешел на службу в Леском. Когда дом реквизировали, дед обоим своим сыновьям и двум дочкам приказал из города уезжать, не веря, что их оставят в покое. Им же с бабушкой предоставили две проходные комнатки в большой квартире на первом этаже, где раньше жил городской полицмейстер, а потом Ильин-Женевский, начальник политуправления военного комиссариата

города. Здесь, в этих комнатках, дедушка перед войной умер, а бабушка попала в оккупацию.

Судьба подбросила деду величайший лотерейный билет, но он им по непонятным причинам не воспользовался.

После того как пресловутый фармацевт отказался, образно говоря, от ленинского наследия, власти дали понять деду, что ничего не имеют против того, чтобы место несостоятельного фармацевта занял хозяин дома, а не квартиросъемщик. Власти были бы вполне удовлетворены, если бы живой дед рассказывал, как под его крышей нашел приют вождь революции. Для этого надо было обойти, то есть не заметить, блистательное отсутствие и деда и бабки, людей в ту пору вполне молодых, во время двухнедельного пребывания Владимира Ильича в нашем доме. По договору о найме, сохранившемуся у деда вместе со множеством других ненужных бумаг и документов, значилось, что при исправном внесении платежей наниматель может взятое внаймы жилище сдать, в свою очередь, иным лицам при исполнении этими иными лицами правил и порядка, указанных в этом самом договоре о найме. Таким образом, злосчастному фармацевту не требовалось даже формального разрешения деда на вселение Владимира Ильича Ленина в свою квартиру. И надо же было так случиться, что во время исторического пребывания Ленина в нашем доме дед с бабкой отправились вовсе не в историческое путешествие на какой-то финский курорт в Роченсальде. Дед оказался глух к призывам властей занять, так сказать, место, оставленное фармацевтом. Впрочем, надо помнить, что в мрачную сталинскую эпоху такого внимания к памятным ленинским местам, как в шестидесятые и особенно семидесятые годы, конечно, не было.

Вскоре после войны матушка моя, чуть было не осевшая после эвакуации в Ижевске, вернулась к сильно болевшей бабушке, вышла здесь замуж, но не очень удачно, за разведенного, но не до конца. Из прежней своей семьи батюшка мой, образно говоря, ушел, ушел к моей маме, прожил с ней три года и вернулся обратно к старой жене, где росла старшая девочка и младший мальчик. Вскоре они уехали на Полтавщину. С мамой отец не удосужился даже расписаться, поэтому при рождении фамилия мне была дана мамина. Быть может, в этом и есть звезда нашего рода, потому что у младшего маминого брата приплоду было только две девочки, а старший погиб на войне во время блистательной Яско-Кишиневской операции в 1944 году. Таким образом, если бы я был записан на отцовскую фамилию, то род наш по мужской линии как бы и прекратился, не стало бы больше Малховых, может, оно и к лучшему.

Вот и я вернулся на свое родовое пепелище, где доживает моя матушка, сильно постаревшая, конечно, а мне о своей новой жизни в полной мере пока думать не приходится, хотя волос на голове почти не осталось и внешний вид вызывает у тех, кто меня давно не видел, удивление не в лучшую, как я понимаю, сторону.

Настоящей жизни в нашем городе пока что нет, поэтому приходится погружаться в жизнь прошедшую и искать там своего рода то ли удовлетворение, то ли утешение.

Если не сам наш город, то уж, во всяком случае, обширные земли, простирающиеся вокруг, говорят о том, что где-то здесь была расположена колыбель русской цивилизации.

На той стороне улицы, где стоял дедов дом, красуется шатровой колоколенкой церковь Воздвижения Креста Господня, судя по охранной доске, чуть ли не XVI века. От нечего делать я как-то стал разглядывать открывшийся под осыпавшейся штукатуркой фундамент церкви. Кладка показалась мне странной, поинтересовался, все-таки строитель, оказалось и вправду, в фундаменте чередуется с камнем плинфа, род кирпича, так что вполне возможно, что нынешний собор стоит на основании другого, еще более древнего храма, поскольку эта техника, плинфа с камнем, очень старая, характерная только для наших мест и ни в Пскове, ни в Новгороде не привилась.

Может быть, плинфа и есть наш оригинальный вклад в историю!

Да, в похвалу прошлому мы не можем предъявить основательное жизнеустройство, твердость и незыблемость установленных на века правил и порядка, не можем указать и на выработанную в связи с частыми войнами и бедствиями способность к регенерации, какую демонстрируют не только целые европейские государства, но и небольшие тамошние города, взять тот же Любек или

Гданьск. В похвалу прошлому мы можем говорить лишь о славных предках, украсивших нашу историю всевозможными подвигами и жертвованием себя и всем, что им было дорого, для славы отечества.

Доблесть наших предков — наше сокровенное наследство и капитал, а их деяния и есть историческая пружина, подвигающая отечество из прошлого в настоящее.

Сейчас многие стали припадать к корням: кто к корням возвращается, кто корни обрубить хочет, кто сменить, — а для нас, людей как бы интеллигентных, по-своему благородных, не умеющих пуститься в рыночные отношения и освоить входящий в моду базарный стиль, для нас поиск корней, может быть, самое главное занятие и утешение, пока-то определится место интеллигенции в обновленном обществе. Вполне возможно, кстати, что в новом обществе интеллигенция больше уже не понадобится, и места для нее не предусмотрено, потому что само понятие интеллигенция, говорят, чисто российское, а мы, кажется уже с будущего года, должны зажить, как все цивилизованные народы, где вполне обходятся без понятия об интеллигенции.

В связи с надвигающейся утратой национального лица стремление к возрождению древнейших родов и сословий особенно понятно.

Наш город тоже не исключение.

Длинские, Бурмистровы, Белеутовы, Дедевины (старинный род неподьячих), Вараксины, Гнаенский-Безднин, разумеется, Земляковы-Замятины (новгородская ветвь), Ильины, Морозовы и даже сомнительные Ильины-Женевские задают тон в нашем городе и потрясают воображение знатностью своего происхождения.

Для полноты картины надо сказать, что, кроме безусловных членов предстоящих благородных собраний, есть у нас и претенденты.

Козляновы настаивают на своем родстве с потомками арапа Петра Великого А. П. Ганнибала, с последующим, разумеется, выходом на родство с Пушкиными. Узнали они о своем высоком благородстве из «Вестника знания» за 1912 год и даже сумели протолкнуть соответствующую заметку в журнал «Вокруг света», что служит теперь доказательством покрепче, чем «степенная книга». Семейство Поссе, делавшее ударение на первом слоге, а не на втором, чтобы подчеркнуть свое происхождение не от французского пленного, а от шведского, хлопотало о восстановлении баронского достоинства, но педантичные шведы, содержащие свои родовые книги в изумительном порядке, ответили: попавший в плен к русским все при том же Петре Первом каролинер Поссе титулован не был. Это был для всех удар совершенно неожиданный, уж в Поссе-то мы верили, и многие находили их баронское достоинство просто очевидным, не нуждающимся в доказательствах. А вот братья Деляновы пытались и до сих пор пытаются установить свое родство с министром просвещения при Александре III И. Д. Деляновым, но не столько из тяги к просвещению, сколько претендую на графское звание своего, может быть, предка. Непрямое родство, кстати, как было установлено, вовсе не исключает права на титулование, титул может быть и переведен. В русской истории сколько угодно таких переводов, когда при отсутствии прямых наследников титул передавался нетитулованному родственнику, как было, например, с Апраксинами Федором Матвеевичем и Петром Матвеевичем, оказавшимися удачливыми в сражениях и дипломатии, но в супружестве бесплодными.

И все-таки даже среди подлинно благородных и только лишь на благородство претендующих особое и безусловное место занимали, пожалуй, только две фамилии — Длинские и Гнаенский-Безднин. Среди возрождающегося дворянства они составляли как бы ядро, заряженное противоположностью, но вокруг которого все крутится и к которому все тяготеет.

Надо немножко задержаться на этой противоположности, чтобы не так уж стремительно двигаться вперед к моей катастрофе.

Древность рода и безусловное графское достоинство Длинских не только не обсуждались, но даже было как бы и неприлично не знать, что упоминание о родоначальниках Длинских восходит аж к XIII веку, где обнаруживает себя их первый предок по имени Михаил с добавлением «муж честен из Прусс», и говорить о том, что Пруссии ни в XIII, ни в XIV веках и в помине-то не было, считалось непростительным и безвкусным школярством. Пожалование к графскому достоинству, как известно, называлось милостью, так вот Длинским

была оказана милость где-то после восемьдесят пятой, оказанной шефу жандармов генералу от кавалерии Александру Христофоровичу Бенкендорфу, и девяносто шестой, пожалованной каменец-подольскому губернскому предводителю дворянства Пршедзецкому. Первая, как известно, такая милость была оказана в России в 1706 году Борису Петровичу Шереметеву за утишение бунта в Астрахани.

К слову сказать, прямые предки Длинского помещены в родословие, вышедшее при государыне Екатерине Второй под усмотрением академика Герарда-Фридриха Миллера. Жаль, конечно, что усмотритель располагал ограниченной научной подготовкой и скверным пониманием русского языка, впрочем, и куда более образованный и безупречно знающий по-русски Петя Долгорукий, ничтоже сумняшеся, в своих исторических изысканиях мог наугад прибавить неизвестному лицу известную, например, фамилию.

Гнаенский-Безднин же, чтобы сразу отвести подозрения в его прямой принадлежности гремящему славою роду Гнаенских, добавил себе фамилию Безднин, указывая на скромную ветвь обширного родового дерева.

Множество лет проведя в совместной дружбе, Длинский и Гнаенский-Безднин выработали совершенно особенную форму взаимоотношений: формой их сосуществования стал рыцарский турнир. При этом Длинский как-то по естеству, а не от какой-нибудь задней мысли, представлял традиционное, консервативное рыцарство, чуточку даже ленивое, в то время как Гнаенский-Безднин был рыцарь-демократ, Гец фон Берлихенген или что-то в этом роде. Во всяком случае, я обязан и признателен именно Гнаенскому-Безднину, его демократическому началу, за то, что при всей древности моего происхождения я, не имея ни малейшего права претендовать на благородство, был и замечен, и включен, и приближен. Я был не только другом и домашним человеком Гнаенского-Безднина, но и неопровержимым доказательством его демократизма, хотя можно было найти и другие доказательства, но они носили, я бы сказал, вербальный характер.

Я своих предков так глубоко не знаю и потому не ощущаю веяния их жизни, а вот Гнаенский-Безднин был целиком овеян предками. Он подробно и досконально мог объяснить свою непринадлежность к знаменитейшим и славным Гнаенским, и можно было только диву даваться, как глубоко проник его разум в мозговые косточки своих предков и прилегающих к ним родов.

Как бы ни сложилась моя судьба дальше, я обязан признать значительную часть моей исторической образованности заслугой Гнаенского-Безднина. Да и сам он, куда ни взгляни, где ни тронь, был самой историей.

Кто-то из его предков был кавалеристом, служил в уланах, и как бы в наследство Гнаенский-Безднин получает несколько кривоватые ноги, позволяющие ему цепко, ухватисто ходить по земле. Какой-то его предок, кажется из Бездниных, ходил гардемарином в плавание с капитаном Головинным, и вот речь Гнаенского-Безднина, четкая, отрывистая, рассчитанная не только на слушание, но и на созерцание, напоминает перевод, но не с чужого языка, а с языка родного, выраженного как бы морским флажковым семафором. То он сыпал словами, как флажковой отмашкой, то произносил по отдельности, как бы наблюдая слова издали и собирая их по буквам. Я видел, я понимал, что передо мной речь совершенно необычная, но пока не узнал о морских корнях моего друга, не мог понять, в чем очарование этой отрывистой речи, открытой для обозрения, всегда немножко отужоженной и серьезной. Ясное дело, нельзя же, размахивая флажками, говорить о походе в баню или утраченной бляхе. И привычка нагибать голову при смехе, и практическая жилка, и разного рода склонности — все имело в Гнаенском-Безднине исторический фундамент, иногда легко угадываемый, но частенько с трудом различимый.

Именно под благотворным влиянием дружбы с Гнаенским-Бездниным я стал вчитываться в историю древнейших родов нашего отечества. Чем больше я вчитывался, тем больше глаз замечал сходство многих подвигов представителей разных родов в разные времена и на разных территориях, что, как оказалось, свидетельствует не столько об общих чертах национального темперамента, нрава и доблести, сколько об общности источников, из которых черпали деяния своих предков составители родовых книг. Позднее я натолкнулся и на почти официальное признание того, что пользование общими или тождественными сказаниями для жизнеописания нескольких родов разом было делом вполне обычным.

И то сказать, даже в жизнеописании таких разных лиц, как Геракл, Иисус Христос, Магомет, король Артур, конунг Скильд, можно найти очень много повторяющихся черт и подробностей. Наши же сказания черпались в польских, немецких, скандинавских преданиях, в свою очередь заимствованных из итальянских и латинских источников, широко использовавших греческие и египетские летописи.

Теперь, когда я в невольном досуге думаю, отчего же Гнаенский-Безднин держался как бы поодаль от своих предков, иронически относясь к таким сугубым вещам, как порода или фамильная кость, то прихожу к выводу, возвышающему моего бывшего друга. Надо думать, он положил столько сил и труда, чтобы выработать в себе такого человека, которому во всякую минуту его жизни приятно посмотреть на себя в зеркало, и поэтому не хотел делить этот труд и заслуги со своими предками, жившими по своему разумению и на свой манер.

Он сделал из себя человека практического склада, великолепно владеющего собой, но не в смысле тривиального самообладания, а владения собой как ценностью, требующей ухода, заботы, внимания и сбережения. Его изумительная способность не включаться в ситуации, чреватые малейшим, минимальнейшим ущербом для опекаемого им, то есть собственного, лица, может быть предметом изучения социально-политической психологии на тончайшем уровне. Его в высшей степени положительная анкета, делавшая его идеальным лицом для международных связей, носила исключительно отрицательный характер: «не был», «не состоял», «не участвовал», «не привлекался» и, что самое главное, «не подозревался» даже тогда, когда подозревались все!

Любуясь своим другом, я сочинил афоризм в духе «мудрых мыслей» и, немного подумав, все-таки внес в свою записную книжку: «Благородная кровь видна по выправке».

Легкая старомодность в манерах и европейский акцент в одежде, очень сдержанный, никого не задевавший, делали Гнаенского-Безднина в моих глазах лицом абсолютно совершенным.

Я не поэт, мои вопли и стоны восхищения не укладываются в законы эстетики, иначе я предпочел бы говорить о Гнаенском-Безднине языком прекрасной музыки. Кстати, слух у него был отменный, значительно тоньше моего, о чем он любил мне при случае напомнить.

Не могу отказать себе в праве набросать портрет моего кумира.

Претендовать на лавры, положим, Рембрандта или хотя бы Пикассо бессмысленно, и потому преподношу вам своего героя в виде сырого куска жизни.

Он был плотный, сильный, как хорошее вьючное животное, с широкой грудью, прямыми плечами. Казалось бы, что для такой комплекции естественной была бы медлительность и даже тяжеловесность, а нет!

Напротив, словно демонстрируя совершенство владения вверенным ему телом, он двигался живо, энергично, легко.

На небольшой красивой голове хорошо был виден сильно развитый нос, в тени которого терялись губы, но зато отчетливо выступал подбородок, способный удовлетворить самым высоким требованиям, предъявляемым к мужественным подбородкам. Глазами он только смотрел, и вся мимическая игра сосредоточивалась лишь в нижней части лица. Жесткая линия нижней губы при улыбке теряла свою жесткость и сообщала всему лицу необыкновенную милость. Он улыбался так, как улыбаются боги на архаических статуэтках, вечно изумленные богатством своей души и спокойствием своего духа.

В его обществе я чувствовал себя вдвое глупее, чем в любом другом. У него всегда была точка зрения, в то время как мне свою точку зрения постоянно приходилось искать. Свою точку зрения он сообщал теми самыми семафорными флажковыми сигналами, которые надлежит принять к сведению, не обсуждать и уж тем более не ставить под сомнение. Я несколько раз пытался поднять себя в глазах Гнаенского-Безднина, делясь с ним умными мыслями, почерпнутыми из надежных источников, но всякий раз наткнулся на выражение снисходительного внимания, охлаждавшее мой порыв.

Голос его был ровным, нарочито не гибким, выдержанным в строгих интонациях сообщения, любимой формой его высказывания был рапорт, он так застенчиво и начинал разговор: «Докладываю вам...» Мне даже кажется, что и с дамами он общался в таком же, однажды счастливо найденном стиле: «Смею вам сообщить, милостивая государыня, что ваш покорный слуга вот уже

четвертые сутки испытывает потребность вас видеть, слышать, обонять и так далее».

Удовольствие преодоления трудностей было главной его отрадой и утешением, и даже когда он трудности чуть-чуть преувеличивал, это было понятно и простительно, поскольку преувеличение препятствия давало возможность испытать большее удовольствие от сознания его преодоления.

Я учился у него преодолевать трудности.

Но самое важное, самое главное свойство его природы и повадки назвать и выразить почти невозможно, здесь спасовали бы и Рембрандт и тем более Пикассо, и потому отложены мной в конец портрета.

Как, какими средствами передать текучесть и неуловимость?! Его пластичность, его гибкость была оснащена богатым арсеналом, включающим в себя и твердость и стойкость, и даже деревянная неподвижность лица, к которой он прибегал и которой широко пользовался в невыгодных для себя обстоятельствах, также свидетельствовала о поразительной гибкости, эластичном отношении ко всем колющим, режущим и царапающим ситуациям. О! как дорого я бы дал (хотя, в сущности, что я могу дать?) за то, чтобы овладеть искусством душевной пластики, гибкости и, в хорошем смысле, увертливости перед лицом ударов судьбы. Я мог только любоваться своим другом, но научиться пластике души невозможно, это тоже дар, как дар музыкальный или хореографический.

Но это все слова, а где же факты?

Для краткости придется сразу же убить двух зайцев, рассказав историю, где с очевидностью будет предьявлена рыцарская форма отношений между Длинским и Гнаенским-Бездниным, с одной стороны, а с другой — сам Гнаенский-Безднин приоткроется с той заповедной стороны, с которой раньше никогда так откровенно не приоткрывался.

По необъяснимым причинам и Длинского и Гнаенского-Безднина, представьте себе, звали одинаково, Михаилами, и Михайлов день в ноябре они отмечали с неукоснительной торжественностью.

В этот раз гуляли у Длинских.

Где-то после горячего, когда застольный разговор обычно расплзается на множество междуусобных бесед, вдруг Длинский блеснул своей ученостью, сказав кому-то, что нельзя путать африканских деятелей Чомбе и Мобуту. О! как я любил это мерцание разума, освещавшее нашу тусклую жизнь. Все были окончательно убиты, когда Длинский добавил, что Мобуту звали Сесе Секо Куку Нгбенду Ва За Банга. Все удивились и стали Длинского хвалить. Гнаенский-Безднин при этом смеялся, и нельзя было понять, смеется он одобрительно или в насмешку.

Внучка нашего знаменитого Ильина-Женевского, Шурочка Вырдова, не скрывавшая своей восторженной симпатии к Гнаенскому-Безднину даже при муже, заметив его смех, спросила: «Ты смеешься или ты не согласен?» «Если ты умеешь находить и различать оттенки в черных лицах африканских деятелей, то мой вопрос будет для тебя пустяком», — вместо ответа Шурочке проговорил Гнаенский-Безднин. «Какой вопрос?» — вскинув брови, поднял перчатку Длинский. «Для человека наблюдательного, для ученого, совершеннейший пустяк», — улыбнулся милой своей улыбкой Гнаенский-Безднин. Здесь надо сказать, что Длинский был действительно ученым, кандидатом технических наук, защитился по какой-то закрытой теме, которую вел у себя на заводе. Гнаенский-Безднин кандидатом не был и потому, как и полагается подлинно свободному человеку, что я ценил в нем превыше всего, и к титулам и званиям относился с плохо скрываемым пренебрежением, так что и графская родословная Длинских, и немалая его ученая степень оставляли Гнаенского-Безднина равнодушным.

«Видел ли ты когда-нибудь кошку?» — спросил Гнаенский-Безднин.

Все приготвились.

«Какую кошку?» — уверенный в себе, спросил Длинский и чуть пригнул лоб, как бык при атаке.

«Любую. Вообще видел когда-нибудь кошку?»

«Ну видел».

«Прекрасный ответ. Правдивый! А собак видел?»

«Видел и собак в большом количестве, ну и что?»

«Ты легко отличаешь кошку от собаки?»

«Легко».

«Затруднений не испытываешь?»

«Не испытываю».

«Тогда вот такой вопрос. Я никогда в жизни не видел ни кошки, ни собаки. Помоги мне. Если я встречу одно из этих животных, как мне отличить кошку от собаки? Ты же отличаешь их мгновенно».

Афины! Это подлинные Афины! — душа у меня пела, это то, о чем я не мог даже и мечтать, мне больше ничего и не надо, думал я в эту минуту и, чтобы скрыть волнение, стал накладывать свекольный салат.

«Ну что ж, это очень просто. Кошка мяукает, а собака лает. Кошка убирает когти, а собака нет...»

«Отлично! — вскричал Гнаенский-Безднин. — Значит, ты, когда видишь кошку или собаку, ждешь, чтобы она подала голос или протянула тебе лапу для опознания?»

Все рассмеялись. Я настороженно ел салат.

«Да нет, — сказал искренне озадаченный Длинский. — Я и так пойму».

«Объясни, как ты поймешь, об этом и прошу».

«Собаки крупнее, у них морды вытянутые...»

«А вот и нет, есть маленькие и с круглыми головами!» — не удержалась Шурочка Вырдова лишней раз примкнуть к Гнаенскому-Безднину.

Длинский всерьез задумался.

«Минуточку. Стало быть, так: у кошки усы больше и вот так вот, торчком, а у собак они короче и вот так вот прилегают. У кошки суживается зрачок полоской, а у собаки всегда остается круглым».

«Ты действительно видел собак и кошек, но если у спящей кошки обрезать усы, ты уже примешь ее за собачку?» — Гнаенский-Безднин для иронии заговорил тоном, каким добрые доктора разговаривают с больными ребятишками.

«Обожди. У кошек всегда уши торчком, а у щенков всегда висячие...» — чувствуя свое поражение, не сдавался Длинский.

«Ага, понятно. Значит, щеночка овчарки ты сразу назовешь собачкой, а здорового кобеля, раз ушки торчком, примешь за кошечку?» — вкрадчиво полюбопытствовал Гнаенский-Безднин.

«Не видел я ни кошек, ни собак, иди ты к черту! Затравил!»

Что тут поднялось! Можно было подумать, что победителями оказались все и только один Длинский был побежденным. С каким воодушевлением, однако, друзья помогают нам чувствовать горечь поражения!

После того как побежденный был осмеян, все обернулись к победителю: «Ну а как на самом-то деле объяснить отличие кошки от собаки?»

«Сами-то различаете кошек и собак, вот и объясните себе, — загадочно улыбнулся Гнаенский-Безднин, а потом стал вдруг серьезен. — Я почему об этом заговорил? Мы часто заблуждаемся относительно наших возможностей что-то понять и объяснить. И трудней всего бывает понять очевидное. Вот, под носом у нас происходит черт знает что, а назвать и объяснить это не можем!»

«Действительно, обещали к весне — цены уже начнут падать, а вчера зашел в «Электротовары» — знаете, сколько теперь простой выключатель стоит?» — сказал Алик Котырло, приглашавшийся на именины за многолетнюю влюбленность в жену Длинского Майю.

«И может быть, самое прекрасное в жизни — это неуловимое», — продолжил свою мысль Гнаенский-Безднин.

«Непредсказуемое — это всегда опасность! Непредсказуемое — это враг!» — почему-то голос мой сорвался на крик, и никого это не удивило, так все были возбуждены.

«Непредсказуемое, пожалуй, да, враг, а вот неуловимое... — Гнаенский-Безднин сделал паузу, не решаясь сказать, и я почувствовал: если скажет, то признается, приоткроется. Так и есть, решив, по-видимому, что никто его не услышит, то есть не поймет, закончил: — ...а неуловимое — наш союзник».

Жена Гнаенского-Безднина, внимательно смотревшая на него, явно ожидала другого высказывания и поэтому огорчилась вслух:

«Скажешь тоже. Ну как же неуловимое может быть союзником?»

«Это все от человека зависит», — буркнул Длинский, не глядя на своего друга, и я понял, что он тоже услышал признание.

Теперь я уже точно знал, что, подняв голову от салфетки, трижды сложенной и трижды расправленной, Длинский обязательно посмотрит на меня, проверит,

услышал ли я то, что было сейчас сказано. И действительно, Длинский поднял голову, и наши глаза встретились. Взгляд его был откровенно вопросительный, и я с готовностью бросился защищать друга.

«Я знаю, для чего Миша рассказал нам притчу о собачье-кошачьей неуловимости!» — воскликнул я.

«Ну уж и притчу», — поскромничал победитель.

«Притчу, именно притчу. Жизнь-то идет вокруг, образно говоря, собачья! С одной стороны, бездомные собаки носятся стаями, смотрят, где что стащить, урвать, поживиться. А с другой стороны, собаки дворовые носятся от одной дыры в заборе к другой, лают, огрызаются, виляют хвостом перед гостями, если видят у них в руках обглоданную кость...»

«С собачьей жизнью это все понятно, теперь про кошку давай», — обрушились на меня со всех сторон. Только Длинский слушал меня внимательно и молча.

«Собака — это наше бытие, а кошка — это история. Что такое кошка? Кошка и есть кошка, с ней никогда нельзя ни о чем договориться, в ней никогда нельзя быть ни на минуту уверенным, она всегда себе на уме, переполненная притворством и скрытым, одной ей в данную минуту ведомым интересом. История, исторический процесс, сколько бы его ни рассчитывали, сколько бы его ни предсказывали, все равно обернется кошкой, изворотливой и неуловимой!»

Никто не ожидал от меня такого бурного высказывания.

«Человек — творец истории», — вдруг в тишине сказал Длинский, и все рассмеялись, потому что прежние афоризмы теперь произносились только в шутку. А я-то понял, что Длинский не шутил, это он мне ответил, ответил на мою попытку уйти в сторону от его молчаливого вопроса.

«А ты охотник», — сказал Гнаенский-Безднин, прячась за улыбкой как за броней.

«Я охотник», — подтвердил Длинский, и я видел, как он прямо посмотрел в глаза другу.

«Ну это здесь при чем?» — простодушно возмутилась жена Гнаенского-Безднина.

«А это мы сейчас узнаем», — сказал Гнаенский-Безднин.

Мне было странно и удивительно: оказывается, никто не видел и не слышал, что происходит, не слышал разговора, который в тысячу раз острее и важнее, чем все эти тесты из викторины про кошек и собак. Шла охота. И, кажется, видел ее один только я, и Длинский и Гнаенский-Безднин моим присутствием не стеснялись, напротив, я был им, кажется, необходим.

«Итак, человек — творец истории. Мысль неожиданная, но интересная», — напомнил Гнаенский-Безднин.

«А история, как сказал проницательный Малхов, — кошка», — напомнил Длинский.

«Что из этого следует?»

«Из этого следует только одно: человек пребывает в прямом родстве с кошкой», — по-дуэльному глядя в глаза друга, сказал Длинский.

«Ну вы уже договорились! Доумничались! Мяу-у!» — разнеслось со всех сторон.

Дуэлянты были слишком поглощены своим делом и шума не заметили.

«Как ты это докажешь?»

«Я? — удивился Длинский. — Кошка сама докажет, что она кошка, своей моральной неуловимостью». Слово «неуловимость» Длинский произнес подчеркнуто, давая понять своему другу, что оно было услышано.

На лице Гнаенского-Безднина вспыхнула и замерла та неподвижная улыбка, которую понимаю как хочешь.

«И ты мне скажи что-нибудь сокровенное», — вдруг сказал, не снимая с лица улыбки, Гнаенский-Безднин, — сделай подарок на именины».

Про нас уже вроде бы и забыли и в разных концах стола говорили о своем.

«Вот тебе подарок от Чарльза Дарвина. Он заметил, что собачьих пород великое множество, а кошачьих пород неизмеримо меньше. Интересно? При всей своей загадочности и неуловимости кошки однообразней, в общем-то, похожи, батенька, друг на друга. Даже размеры взрослых кошек не очень-то различаются, а уж повадки...»

«Не любишь кошек?»

«Я охотник, я собак люблю. Кошкам много чести, чтобы их не любить. Кстати, Дарвин считал, что кошачья эта усредненность происходит оттого, что человек не мог поставить под контроль кошачьи свадьбы. А подбор пар, как известно, основа выведения породы. А в собачьих браках человеческое участие существеннейший для всего вида фактор».

«Но в космос-то дворняжки летали! И Лайка, и Белка, и Стрелка, и Чернушка...» — для справедливости напомнил я.

«Правильно, у дворняжек жизненный опыт больше и приспособляемость выше, вообще они умные...»

«И наблюдательные», — добавил Гнаенский-Безднин, и мы все трое расхохотались.

А теперь я забегаю вперед и сообщаю о том, что потерпел крушение в дружбе, говорю об этом для того, чтобы люди, прекрасным образом обходящиеся лишь словесной оболочкой дружбы, прикрывающей либо тщеславие, либо мелкую, а то и крупную выгоду, не теряли ни секунды времени на выслушивание моих признаний, они не для вас! Они для тех, кто не из слабости и нужды живет потребностью быть желанным и полезным другому человеку, вы желаете ему искренне и бескорыстно добра, желаете удачи, споспешествуете ей, и смех и улыбка этого лица всегда ваш смех и ваша улыбка, даже если смеются над вами. Это же смеется друг! Дружба требует от вас той искренней и постоянной доброжелательности, без которых великолепно обходятся родственные отношения, и потому дружба выше родства. Цицерон считал способность к дружбе уделом избранных, поскольку был убежден, что дружба возможна лишь между честными людьми, а честность — удел мудрых. В последнем, собственно, он лишь повторил Сократа.

В собственной мудрости я сомневаюсь давно, есть некоторые основания, и может быть, поэтому мне не удалось пройти посланное испытание.

Да, я попал, образно говоря, между молотом и наковальней, погиб в прискорбном поединке Длинского с Гнаенским-Бездниным, был раздавлен, растоптан, попран, повержен в прах и выкинут за орбиту жизни.

Историю этих славных и широко по России разветвленных родов можно прочесть в любой сколько-нибудь порядочной книге, касающейся истории дворянских фамилий. В пересечении с прочими родами, не менее именитыми, они составили то ли основу, то ли продольные, то ли поперечные нити, сплетающиеся в прочную человеческую ткань и составляющие живое тело нации.

Семья Длинских была окружена в нашем городе подспудным сочувствием и расположением, в каждую эпоху были тому свои причины, а в наше время поводом для искренней к ним расположенности стало досаднейшее недоразумение, случившееся в девятнадцатом году.

Дед нынешнего Длинского еще после февральской революции был одержим идеей возрождения в нашем городе курорта и с этой стороны готов был приветствовать новую власть. Уже в девятнадцатом году, работая в «Пленбеже», учреждении, ведавшем приемом, кормлением и отправкой пленных и беженцев, что давало паек и документ советского служащего, он ринулся в Москву, дошел до самого Бонч-Бруевича, добился его согласия на выделение кредита под строительство грязелечебницы имени Лассалья, как только будут представлены проект и смета.

Длинскому казалось, что у него выросли крылья, но крылья эти опалило страшное недоразумение.

За время его отсутствия, перенервничав, переволновавшись, наслушавшись правдивых и ужасающих рассказов о беспощадных расправах белых над красными и красных над белыми, о свирепости всевозможных банд и шаек, об отсутствии удобств в нынешних поездах, жена Длинского, Анна Дмитриевна, тронулась, можно сказать, умом. Она ходила по улицам, что-то проповедуя, возвышенно размахивая руками, ее призывы к покаянию и обещание высшего суда, вещи в пределах религии, в общем-то, традиционные и властями не запрещавшиеся, в силу общего напряжения жизни были понятиями товарищем Гусинским, возглавлявшим местную ЧК, как чистая контрреволюционная пропаганда. Товарищ Гусинский славился не только силой и жестокостью, но и глупостью, его боялись даже китайцы и матросы, вдруг заполонившие наш город,

крайне удаленный не только от Китая, но и от каких-либо морей. Ходил Гусинский в форменном пальто какого-то технического училища, где явно учился, но своего интеллигентного прошлого стеснялся и поэтому, глядя на задержанного сквозь пенсне, всякий раз допрос начинал с нарочито простоватой заповеди: «Ну, бреши, кобель, а мы послушаем и рассудим: виноват ты али нет». В общем, Анну Дмитриевну взяли, и председатель чрезвычайки товарищ Гусинский с какой-то необъяснимой поспешностью расстрелял ее лично. Город все-таки небольшой, кругом все свои, всем все известно.

Вернувшись из Москвы окрыленному Длинскому пришлось хлопотать о выдаче тела. В городе сохранилось предание, что хоронил он Анну Дмитриевну в плетеной бelfевой корзине. Объяснялось это тем, что гроб надо было заказывать и ждать, а он боялся, что Гусинский может в любой момент передумать и потребовать тело обратно. Можно сказать, что от этой утраты дед Длинского так и не оправился, но был уже впоследствии окружен снисходительным сочувствием.

По-своему интересной была история одного родственника Гнаенского-Безднина, чей портрет в офицерской старорежимной фуражке занимал скромное место среди прочих портретов в жилище моего друга.

Долгое время мне было известно лишь то, что это дядя Кока, младший брат деда, выпускник Константиновского артиллерийского училища, произведен в офицеры в августе четырнадцатого, воевал, имел кучу орденов и два досрочных производства в чин. Погиб.

Погиб-то он погиб, но, оказывается, не просто погиб, а был изрублен в куски вместе со своим непосредственным командиром генералом Томилиным, изрублен он был в двадцатом году, а события, тому предшествовавшие, имели место летом семнадцатого года.

Однажды я сидел у Гнаенского-Безднина и листал замечательную детскую дореволюционную энциклопедию в серой твердой обложке с золотым тиснением. Друг мой что-то искал среди своих бумаг, вдруг он подошел и протянул мне желтый и довольно ветхий газетный лист, открывший мне глаза на историю дяди Коки.

Газета датировалась сентябрем семнадцатого года и содержала статью с броским заголовком «Честь имею» и подписью «подполковник Н. Гнаенский-второй». Оказывается, был еще один Н. Гнаенский, двоюродный его брат.

В своей статье дядя Кока давал отповедь «Киевской мысли», сообщавшей в июле 1917 года подробности об усмирении 46-й пехотной дивизии, отказавшейся участвовать в наступлении. В изложении «Киевской мысли» все было ахти как просто: подкатили какие-то пушчонки, выпустили по дивизии «три шрапнели на высоких разрывах», после чего «все полки дивизии изъявили согласие на выполнение боевого приказа». Честь офицера, честь артиллериста, честь профессионала была оскорблена этой фальшивкой. Все было не так! Стреляли не по дивизии, что за вздор, «три шрапнели», да еще на высоких разрывах, по дивизии! Стреляли только по Остроленскому полку, поскольку в других полках офицеры были задержаны, а из Остроленского благополучно ушли, в пользу Остроленского полка было и то, что он размещался не в деревне, не в населенном пункте, где обязательно от обстрела пострадали бы и жители, а в палатках в роще, и, в-третьих, роща была расположена на виду у других полков, и «ликвидация Остроленского полка» должна была произвести необходимое впечатление на другие полки и принудить их к повиновению. Да, действительно, Остроленский полк был обстрелян тремя гаубичными орудиями гренадерской артиллерийской бригады, выпустившими «три шрапнели на высоких разрывах», но отказавшимися стрелять дальше. Этот обстрел лишь породил в остроленцах убеждение в безнаказанности. После чего дело было поручено 2-му дивизиону артиллерийской генерала Маркова бригады. В помощь карательному отряду полковника Томила была по жребию собрана сводная (по одному орудию с прислугой от каждой батареи) батарея. Командование над ней как старший по званию, несмотря на свои двадцать четыре года, принял он сам, Гнаенский-второй. Батарея была выведена на позицию и развернута ночью. В пять часов двадцать минут утра с открытой позиции в версте от рощи был открыт огонь. Гнаенский-второй писал: «С тревогой я ждал только первых выстрелов, отлично зная, что потом солдаты будут увлечены стрельбой с открытой позиции. Я скомандовал первому орудию огонь. Наводчик зажмурил глаза и дернул за шнур. Прибавив прицел, я дал выстрел вторым орудием. Разрывы пришлись по палаткам. Не

давая времени опомниться ни своим солдатам, ни мятежникам, я дал очередь (каждое орудие стреляет одно за другим, начиная с какого-нибудь фланга). В один миг вся роща ожила. После первых выстрелов я уже не сомневался, что батарея будет стрелять до тех пор, пока я этого захочу. Три орудия стреляли гранатами, три — шрапнелью. У моих солдат лица были оживленные, даже, можно сказать, веселые». Здесь я остановился, чтобы перевести дыхание. «Ну как?» — увидев потрясение на моем лице, поинтересовался двоюродный внук артиллериста. «Роща ожила... — пробормотал я, а руки у меня вздрагивали. — Роща ожила...» Почему-то это выражение показалось мне особенно глумливым. Он из пушек, чуть не в упор, и шрапнелью и гранатами, а роща ожила. Я сам люблю образные выражения, но есть истории, которые следует запретить излагать художественно. Гнаенский с гневом уличал клеветников из «Киевской мысли»: выпущено не три снаряда, а восемьдесят четыре, потери не несколько раненых, а сто пятьдесят четыре человека, из коих сорок восемь убитых. Дальше Гнаенский-второй сетовал, что из нескольких десятков арестованных зачинщиков успели расстрелять только двоих, поскольку остальным «самый демократичный во всем мире министр» А. Ф. Керенский «поспешил прислать помилование». Заканчивалась отповедь «Киевской мысли» сообщением о том, как генерал Марков благодарил весь личный состав за твердость и решительность, с которыми сводная батарея «исполнила возложенную на нее задачу».

С фотографии на меня смотрело веселое лицо молодого человека в староружимной артиллерийской фуражке, и никакой связи между этим лицом, этим домом, портретами вокруг и той кровавой баней, о которой я прочитал, я не мог ни увидеть, ни ощутить.

Гнаенский-Безднин смотрел на меня вопросительно. Я был подавлен и не знал, что сказать. «Я понимаю,— залепетал я,— армия, приказ, но здесь вроде как похвальба, целая гордость...» «Правильно, гордость офицера, выполнившего свой долг». Мне показалось, что в улыбке артиллериста на фотографии и моего друга, сидящего вполоборота к столу, было что-то откровенно сходное.

«Броненосец-то «Потемкин» сквозь эскадру прошел, никто не тронул,— вспомнил-я историческую аналогию.— А служил бы дядя Кока на флоте — и конец, всех бы на дно отправил».

«Не уверен, совсем не уверен»,— твердо сказал Гнаенский-Безднин, а я-то видел, что уж он бы «Потемкина» живым не выпустил.

Бросив взгляд на репродукцию картины Куинджи «Березовая роща», я тут же подумал, что повешена она неспроста. «...Батарея будет стрелять до тех пор, пока я этого захочу». Как же этого еще можно и хотеть? «Роща ожила». «Солдаты с веселыми лицами». «Страшненький у вас дядя Кока»,— сказал я. «Много вы в людях понимаете,— сказал Гнаенский-Безднин, извлекая из большого конверта еще одну реликвию.— Читаю. Служебная аттестация. „По характеру сердечный, откровенный и общительный, всегда весело и бодро настроенный молодой человек. В бою инициативен, прекрасно ориентируется, не уклоняется от опасности... Безукоризненно честен и правдив, хорошо воспитан, отличный товарищ... Религиозный, к мерам нравственного воздействия восприимчив...”»

«Кстати, графу-то Шереметеву за утишение астраханцев графа дали»,— вдруг припомнил я.

«Сравнили! Обычный эпизод, думаю, таких было немало»,— складывая бумаги в рыжий конверт, сказал Гнаенский-Безднин, сказал не без гордости, отдавая должное своему предку.

А я все не мог успокоиться и распалялся в своем бессилии. «Как же так: религиозный, нравственный и... „первое орудие — огонь! второе орудие — огонь!”»

«Именно так, потому что религиозный и нравственный»,— парировал Гнаенский-Безднин.

«Вы хотите сказать — Бог простит?»

«При чем здесь Бог!»

Нагота абстракций, открывающая величайшее поле для фантазий, в том числе и религиозных, совсем не привлекала его, он был человек сугубо практического сознания, быть может, и дядя Кока тоже.

Уже сама наружность Гнаенского-Безднина предвляла многие его качества, одна его жена, преданная, заботливая, сердечная, домовитая, кулинарка восхи-

тительная, похожая как две капли воды на довоенную киноактрису Янину Жеймо, тоже говорила о многом.

Я понимаю, придавать значение внешности нельзя, но интересоваться ею все-таки надо. Я верю первому впечатлению. Гнаенский захватил меня всецело, и смехом, и манерами, и разговором, но в первую голову свободой и благородством, которые излучал каждую минуту.

Снаружи Гнаенский-Безднин был человеком необычайно легким, он легко двигался, легко говорил, смотрел вокруг веселыми, насмешливыми глазами. А попробуйте приблизиться! Замок, крепость, неприступная твердыня. Войдя в его дом, вы видели все предметы на своих местах, вы видели порядок, подчиненный удобству, здравому смыслу и безупречному вкусу. Моя статья о нем, которую я поместил в нашу новую независимую газету «Новый путь», так и заканчивалась: «...он облек свою жизнь в формы четкие, ясные, высокоорганизованные, и если есть люди, чья жизнь — их собственное произведение, то Гнаенский-Безднин среди них». Статья так и называлась: «Он сделал сам себя». Если бы вы знали, что он сделал со мной за эту статью, за этот невинный очерк, за это публичное восхищение его независимостью, строгостью к себе и к людям. Я эту строгость тут же испытал на себе и полюбил его еще больше. В течение получаса с газетой в руках, подчеркнув все ошибки и неточности, он ставил и ставил меня на свое место и требовал, чтобы я пережил те же чувства досады и неловкости, которые пришлось испытать ему, у которого никогда не было друга детства по фамилии Изюмин, как написано в газете, его друга звали Изюмкин, их дом никогда не был четырехэтажным, он был трехэтажным, в городе улицы Собашникова не было и нет, есть только Собашников переулок, имени Антиса в русских святцах нет, есть только Анфиса, и так без конца. Я горел от стыда, я проваливался сквозь пол, я умолял о пощаде и пытался хоть как-то сгладить впечатление шуткой — не тут-то было, каждая запятая, искажающая истину, каждая неточность, бросающая тень, были мне предъявлены и поставлены на вид. И ни слова о том восторге, которым дышала каждая строка моего очерка! Какой урок: взялся за кадила, так умей им управлять, и чтоб огонек не погас и чтоб в дыму не задохнуться!

И никакого подобострастия и ни слова благодарности.

Но, видит Бог, я на благодарность и не рассчитывал, зная, что даже к Жанне д'Арк Гнаенский-Безднин относился без всякого почтения и говорил о крестьянской девушке из Дюмреми как о курьезе.

Заметив в моем отношении к Гнаенскому-Безднину штрихи восхищения, можно подумать о субъективной пристрастности, но, как известно, восхищение перед идеалом — это и есть прикосновение к истине. По-своему были не глупы люди античных времен, Древнего Востока и варварских эпох, когда считали красотой знаком внутреннего совершенства. Заметим при этом, что не остались обиженными и люди попроще, внешне не удавшиеся, убогие, увечные, уродливые, им говорилось о том, что своеобразная внешность дана провидением как знак святости, избранности для духовного подвига. Мысль неплохая, людей так или иначе обделенных надо приводить к смирению, иначе они возропщут и восстанут на тех, кого Богу не было угодно сподобить святости.

Гнаенский-Безднин не участвовал в «свальных поисках истины» и воздерживался от участия в митингах, шествиях и демонстрациях, которые нет-нет да приобщали наш город к общему движению, охватившему всю страну.

Точно так же Гнаенский-Безднин сразу встал в оппозицию к движению за возрождение Дворянского собрания в нашем городе. Хотя слово «оппозиция» не очень точное, поскольку речь идет скорее об ироническом неучастии, нежели о каком-то принципиальном движении сопротивления.

А вот матушка моя моего восхищения Гнаенским-Бездниным никак не разделяла, хотя и дружила в детстве с его теткой, умершей от костного туберкулеза. Я пытался, конечно, обратить матушку в свою веру, но она только смеялась и говорила коротко: «Какой-то он неправдоподобно выструганный» — или: «Сделал себя и любит себя». После моей шумевшей статьи в газете она спросила: «Ну, как он на это отреагировал?» Я рассказал все честно, как много ошибок он нашел в такой, в общем-то, небольшой статье. «Есть люди, — сказала мама, — им обязательно надо, чтоб все вокруг чувствовало себя перед ними виноватыми». «Но я же действительно виноват, а он выше...» — только и успел сказать, как мама меня перебила: «Виноват, дурачок, виноват».

Когда Гнаенский-Безднин приходил ко мне, что бывало, к сожалению, не так уж часто, мама была с ним приветлива и ровна.

Я же заходил к Гнаенскому-Безднину запросто, стоило только позвонить и условиться, я чувствовал себя у него в доме превосходно, разговаривать с ним, а вернее слушать, было для меня просто наслаждением, мы почти никогда не говорили о пустяках.

Видное место в наших беседах занимали вопросы дворянского движения, Гнаенский-Безднин охотно говорил на эти темы, говорил совершенно свободно, не то что в присутствии Длинских, там чувство такта заставляло его быть в высшей степени сдержанным.

«Да, смешно отрицать, дворянство было движущей энергией общества, да, оно концентрировало в себе и нравственную энергию нации,— говорил он как об очевидном. — Сознание своих интересов и достаточные средства для их осуществления родили своеобразную общественную форму. Любой правящий класс, сословие, правитель стараются себя романтизировать. Как женщине, всем хочется быть привлекательными. Дворянство не исключение, но кроме романтики была и практика: землевладение, душевладение, привилегии, опора на государственную структуру. Это потом уже дуэли, плюмажи, прекрасные дамы. А теперь хотят без землевладения, без душевладения, без привилегий, без права дать Ваньке в морду, а Машку затащить в постель, вдруг вот так явить миру, истосковавшемуся по благородству, чистейший эликсир дворянственности! Задача-то вроде как стоит: возродить не просто дворянство, а именно элиту, тот тончайший и в прежние времена слой, который поднимался, как говорится, над классовым интересом и демонстрировал все эти доблести, которыми мы восхищаемся. Знаете, на мой вкус, дворянское движение сегодня — это судороги отрезанных лап. К лягушачьей лапке приложить электроды, она тоже начнет двигаться. Мораль, не вытекающая из образа жизни, не вытекающая из общественных форм, это и есть трансцендентальная мораль. Поминки по Канту! А как же рыцарская культура? Как предание, как миф, как идеал она оказывала воздействие на души, на сознание, но историческое-то рыцарство как отделить от дикости, от великолепия варварского произвола? Кстати, Лихачев Дмитрий Сергеевич пишет книжки о рыцарской культуре Древней Руси, а Розанов уверяет, что на Руси рыцарства и в помине не было. Я не верю в корпорации честных, идеальных, превосходных людей. И у коммунистов устав замечательный, и у христиан заповеди что надо. Извини, что цитирую твой заголовок, но каждый человек должен делать сам себя. Ни один устав, кодекс, заповедь не могут заставить человека быть честным, правдивым, готовым защитить свое человеческое достоинство. Заставить может только страх, страх оказаться смешным, страх оказаться презируемым или еще какой-нибудь страх. А когда бояться нечего... Многого добились этими уставами и заповедями? До слез мало. Вот если человек сам, своим умом, своей дорогой пришел к пониманию того, что он должен, а что ему враждебно, сам понял и себе предписал, это человек! Такого не сковырнешь и не испугаешь. А все остальное — маскарад, карнавал, ряженые. Давайте будем мушкетерами, давайте будем рыцарями, давайте будем коммунистами, а с завтрашнего дня «вашими благородиями»! К сожалению, вся наша честность, порядочность, искренность, правдивость, да вся мораль — это мораль по обстоятельствам. Не человек, а обстоятельства определяют, что можно и чего нельзя. Разве не так?»

Так, безусловно так, может быть, воспоминание об этих словах и заставило меня сесть за записки.

Только благодаря дружбе с Гнаенским-Бездниным я понял ход истории, то есть понял, что в истории нет ничего такого, что не было бы заключено в человеке, исторические ошибки — это человеческие ошибки, и может быть, даже моя личная жизнь отражает в самых существенных чертах историю моего многострадального отечества, ну а уж история нашего города — так это точно. Живя в Ленинграде, я этого не понимал и не чувствовал. А здесь, когда я спросил Гнаенского-Безднина, почему он не уедет в Москву или, на худой конец, в Ленинград, знаете, как он мне ответил? «То, что сейчас происходит, называется национальная катастрофа, и вы приглашаете меня в эпицентр? Зачем? Чтобы повлиять на развитие процессов? Чтобы стяжать славу? Но сначала надо хотя бы понять, что происходит. Неужели те, кто запутался в миллионе разом вылезших проблем, что-то понимают, барахтаясь и успевая только выкрикивать:

«пятьсот дней!», «до осени!», «до весны!», «два года!» «свет в конце тоннеля!»? Неужели вы думаете, что они сами понимают, что происходит, и способны управлять этой разгулявшейся стихией?» В сущности, продолжал Гнаенский-Безднин, все, что происходит там, происходит и здесь, но в формах более удобных для наблюдения и осмысления.

С нескрываемой иронией Гнаенский-Безднин при мне порицал всемирную историю, не ход ее, не процесс, а устоявшийся взгляд на борьбу за свободу как главную движущую силу истории. Смеялся он и над культом «свободного человека»: «Сделайте человека свободным, а потом требуйте от него нравственности, требуйте гражданственности, требуйте всей полноты... Чушь! Сделайте человека свободным — и он вам покажет! Прогресс в борьбах (он так и говорил — «борьбах») за свободу значительно опередил развитие морального сознания».

«Вот вам триумфаторша борьбы за свободу, чугунная леди, дураки от нее с ума посходили. Думала она своей высоколбой головой, прижимая к груди атомную бомбу, гарант ее свободы, что она всем злобным карликам мира показала, как из карликов стать великанами, да такими, от которых все шарахаются. Недоверие как политический принцип и сила как гарант независимости, свободы! Чем же эта цивилизованная мораль отличается от пещерной морали? Она что, всерьез верила, что мы нападём и захватим Ланкашир и Северный Уэльс? Не верила, что американцы ее защитят? Не верила даже в НАТО? Глупость, я думаю, самая дорогая вещь на свете, но, кажется, недоверие тоже обойдется ох как дорого. У чугунной леди богатое потомство, и пусть она от него не отрешивается, хотя недоверие, в общем-то, старая болезнь слабых».

Рядом с Гнаенским-Бездниным я чувствовал себя спокойно и уверенно, мой слух и зрение становились зорче. Смотрим программу «Вести», диктор говорит о претендентах на пост министра обороны, первый, конечно, маршал Шапошников, второй — генерал Грачев, «отказавшийся выполнить приказ путчистов», а третий претендент — дама, «реформатор здравого смысла» Старовойтова. Я-то пропустил мимо ушей, а Гнаенский-Безднин до слез расхохотался: «„Реформаторы здравого смысла“ — такие оплеухи и Свифт не каждый день раздаривал!»

Лермонтов в повести «Княжна Мери» написал, а я в свое время выписал в книжечку мысль о том, что в дружбе всегда один человек раб другого. Теперь я так не думаю и допускаю, что великий поэт ошибался. В дружбе нет неволи, дружба дело добровольное: хочу — звоню, хочу — встречаюсь, хочу — провожу вместе время; какое же это рабство, это даже праздник.

Гнаенский-Безднин, как мне кажется, не замечал моей преданности и готовности быть с ним рядом во всякую минуту. Лишь жена его, похожая на актрису Жеймо, сказала однажды: «Вот кто тебе друг, так это Малхов. У него талант на дружбу». И мне одного этого было достаточно. Я знал, что Гнаенский-Безднин человек не сентиментальный, он и мне своим примером помогал отойти от этого непростительного для современного человека недуга.

Пусть скажут, что это увлечение, но увлекся же я умным, изящным человеком.

Желал ли я большего в этой мизерной, рушащейся, беспросветной и бесповоротной жизни?

Голову кладу на плаху, что ни Длинские, ни Гнаенский-Безднин не усидели бы в нашем городе, если бы не имели возможности видеть друг друга, общаться и проводить вместе время. Не только большие дела (замена шпал под гаражом, ремонт крыши на садовом участке, переезды, мебельные проблемы), но и большие дети, грибы, рыбалка, просто пикники — все становилось делом и не тяжелым и не обременительным, когда исполнялось сообща. В сущности, и в дворянском вопросе, хотя Гнаенский держался наособицу, конфликт был, как мне казалось, больше для видимости, вернее для независимости, а не по существу.

А вот формой существования у мужчин был спор и взаимное подтрунивание.

Был у Гнаенских-Бездниных день рождения жены, народу, как всегда, много, никто никого не слушает, кто-то старается всех перекричать, обычное дело. И сквозь общий шум вдруг проступает голос Гнаенского-Безднина, обернувшегося к своей жене, кстати сказать, большой мастерице по кулирной части, кажется, я это уже говорил, но не грех и еще раз поздравить, а Гнаенскому-Безднину позавидовать. «Милая, да тут слоновьи зубы надо иметь, чтобы раскусить эту

кулинарную тайну!» — смеется Гнаенский-Безднин, разглядывая нечто на вилке. Жена улыбается, но краснеет. «У слона четыре зуба, много не раскусишь», — вдруг произносит Длинский, глядя себе в тарелку. «Сколько?» — переспрашивает Гнаенский-Безднин в образовавшейся тишине. «Жить на родине слонов и не знать, что у слона четыре зуба, стыдно», — сказал Длинский. «А я уверен, что больше», — с вызовом сказал Гнаенский-Безднин. «Сколько?» — спросил Длинский. «Не четыре, больше!» — «У слона четыре зуба». «Спросим у Брема!» — азартно крикнул Гнаенский-Безднин и бросился к книжной полке.

Спор завертелся вокруг бивней. Считать бивни зубами или нет? Сначала, когда Гнаенский-Безднин прочитал, что слон шесть раз за жизнь меняет свои четыре зуба, стало быть, у него двадцать четыре зуба, все встали на сторону Длинского. Человек тоже меняет молочные зубы, не считать же, что у нас пятьдесят зубов! Здесь договорились, но о бивни споткнулись. «Прошу обратить внимание, читаю еще раз! «Бивни слона представляют собой два разросшихся верхних резца»... Два резца!» — «Читай дальше!» — «Извольте. „Они растут в течение всей жизни, как грызущие резцы у зайца”». «Ага!» — закричал Гнаенский-Безднин. — Они растут, как резцы». «Растут, как грибы, это еще не значит, что они и есть грибы!» — не сдавался Длинский. Женщины почему-то дружно держались того, что раз бивни — это разросшиеся резцы, стало быть, их надо считать, к удовольствию Гнаенского-Безднина, зубами. Решился спор самым неожиданным способом. Когда чаша весов совсем уже была склонилась в пользу Гнаенского-Безднина, он поставил книгу на полку и объявил: «Истина — дама строгих правил. А спор — дело чести. У слона два бивня и четыре зуба. Про зубы я не знал. Это интересно». Что тут поднялось! Победителя, продолжавшего говорить про четыре зуба, забыли, все чествовали Гнаенского-Безднина, дамы говорили, что он рыцарь. Жена зарумянилась, как яблочко, и под шумок заменила мужу тарелку и прибор.

«Видишь, как полезно тебя в гости звать, — сказал Гнаенский-Безднин, когда шум приветствий чуть-чуть утих, — можно, того гляди, образованным человеком стать». «Ну, милый, чтобы тебе стать образованным человеком, мне надо здесь прописаться!» — сказал Длинский без улыбки и полез чокаться, вытянув губы будто для поцелуя.

Гнаенский-Безднин хохотал вместе со всеми.

Смех Гнаенского-Безднина ввел меня в заблуждение.

Когда стали расходиться, на правах своего человека я потолкался в прихожей, но уходить не спешил, не спешили и Длинские.

Удостоверившись, что мы остались одни, поскольку дамы срочно задержались в столовой у неубранного стола с неотложным разговором вполголоса, Гнаенский-Безднин жестом пригласил нас с Длинским на кухню, где, как водилось, была припасена бутылка для подведения итогов. Таков уж был обычай.

«Да это же не водка, — заметив желтоватый оттенок, какой бывает у лимонной настойки, угрюмо сказал Длинский. — Что еще за зелье?» «Надеюсь, оцените по достоинству», — сказал Гнаенский-Безднин, предвкушая сильное впечатление. «Никто нас в жизни не может вышибить из седла!» — произнес Длинский выученные в детстве стихи и поднял рюмку, приветствуя хлебосольного хозяина и проверяя прозрачность жидкости на свет, после чего опрокинул рюмку разом. Гнаенский-Безднин чуть медлил, ожидая реакции. Глаза Длинского округлились, округлился и не закрывшийся рот, будто влетела в Длинского комета, а теперь втягивает и втягивает не видимый для глаз хвост, вызывая восторг наблюдающего это явление Гнаенского-Безднина.

Хозяин бросил на меня, державшего рюмку в руке, короткий призывный взгляд, напоминающий команду дирижера, внимательно ведущего адажио в первых скрипках, но не упускающего из памяти четыре такта валторны и приглашающего мягким повелительным жестом валторну, то есть меня, включиться и исполнить свою роль. Я с готовностью выпил. Да! Это был действительно метеор, пронесшийся сквозь меня, как олимпийский факел с его священным огнем, испепеляющим дурной хмель, образовавшийся от сложного сплетения различных напитков, введенных в организм за целый вечер.

Глоток волшебного эликсира, я уверен, так же точно подействовал и на Длинского, пробудив в нем энтузиазм и воодушевление.

«Ай да негр!» — с глубоким уважением к выпитому сказал Длинский, отказываясь от пододвинутой Гнаенским-Бездниным закуски.

«Почему негр?» — спросил я, не скрывая восторга, уже готовый смеяться и петь.

«Негр снес полчерепа из дробовика. Ай да негр!»

Выпил и Гнаенский-Безднин и закивал головой, словно получил подтверждение важной и приятной новости, потом потыкал вилкой в последнюю шпротинку, она почему-то соскальзывала, тогда он положил вилку, отказавшись от неисполнимой затеи со шпротинкой, и назидательно сказал: «Негр стрелял — из автомата».

«Негр выстрелил из дробовика и снес полчерепа. Ай да негр!» — убежденно, голосом диктора чрезвычайных сообщений произнес Длинский.

«Негр стрелял из автомата. Автомат говорил „боп-боп-боп“».

«Негр снес полчерепа из дробовика», — упершись в дробовик, сказал Длинский, и я понял, что новая партия началась и каждая фраза — это ход в партии.

«Автомат говорил „боп-боп-боп“», — выговаривая слова без напора, словно заманивая противника, произнес Гнаенский-Безднин.

«„Негр выстрелил из дробовика. Ай да негр!“ Ты знаешь, как по-английски „ай да негр“? „Сам нигер“».

«Автомат говорил „боп-боп-боп“», — сделал свой ход Гнаенский-Безднин.

«Послушай, милый, ты не охотник, а я охотник. Из автомата полчерепа не снести, он же пулями бьет. Дробовик — это за милую душу».

«Негр стрелял из автомата. Ай да негр!»

«Негр выстрелил из дробовика. Ай да негр!»

Я почувствовал, что соперники вышли к барьеру и даже уперлись в барьер. Так оно и оказалось.

Гнаенский-Безднин вдруг выкинул руку вперед и протянул ее Длинскому, сидели они напротив: «Сто долларов! Негр стрелял из автомата».

Я не успел ахнуть, не успел вскрикнуть, как Длинский схватил своей лапицей протянутую ему тонкую кисть и бухнул: «Пятьсот! Пятьсот долларов. Негр выстрелил из дробовика... Ай да негр!»

«Сколько? — тихо улыбнулся Гнаенский-Безднин и посмотрел на меня, слышу ли я условия спора. — Разбивайте!»

Я поперхнулся, мне было не до этого, я не знал, как остановить непоправимое. Огненный смерч от выпитой настойки казался мне уже всего лишь вспыхнувшей спичкой рядом с полыхнувшей бочкой бензина.

Пятьсот долларов! Где? Откуда? Это же состояние. В пересчете на наши уводящие рубли... Я даже не мог сосчитать.

«Не надо бы», — предчувствуя беду, затрепетал я.

Спорщики разом посмотрели на меня как на лицо, явно не соответствующее их полету, и снова обернулись друг к другу с лицами дуэльных бойцов, а руки все еще не разнимали, так и держали сцепленными над столом.

«Дробовик! — сказал Длинский. — Ай да негр!»

«Автомат! — сказал Гнаенский-Безднин, и в голосе была если не угроза, то серьезное предупреждение. — Ай да негр!»

«Дробовик», — сказал Длинский глухо и отбросил руку Гнаенского-Безднина, как бросают, на верное, перчатку.

«Дело сделано?» — на всякий случай переспросил Гнаенский-Безднин, хотя в этом уже не было прямой необходимости.

Мне показалось, что именно в эту минуту Длинский в чем-то усомнился, но сдержался, пожал плечами и улыбнулся, смиряясь с судьбой.

«Надо просто взглянуть в текст». Гнаенский-Безднин встал, кивком попросил прощения за то, что вынужден удалиться, и двинулся на поиски книги.

«Да вы-то что ж, пятьсот, это ж безумие...» — только и мог сказать я.

«Думаю, у моего друга будут проблемы». Длинский взял бутылку с остатками волшебного напитка, разлил, получилось почти по полной. Не чокаясь, выпили. Но я не испытал того огненного удара, что опалил меня в первый раз. Мне показалось, что и Длинский отнесся к выпитому значительно спокойней, хотя, опуская рюмку на стол, все же сказал: «Неплохо. Совсем неплохо. Кашпировский ее заряжает, что ли?»

«Вынесение приговора временно откладывается», — сказал Гнаенский-Безднин, возвращаясь на кухню. — Мои охламоны кому-то отдали Хемингуэя, как раз второй том. Я думал, это в первом».

Следом за Гнаенским-Бездниным на кухню пришли дамы с шумными разоблачениями нашего уединения.

«Из какого это сочинения?» — успел спросить я Длинского.

«Название очень подходящее для спора, прямо в жилу: „Иметь и не иметь”. „Ту хэв энд хэв нот”».

«Опять спорите?» — с материнским укором посмотрела на Гнаенского-Безднина жена.

«Последний раз. Больше не будем», — в шутку, конечно, сказал Гнаенский-Безднин, а ведь как в воду смотрел.

Наутро я разыскал Хемингуэя и ужаснулся: негр снес полчерепа из дробовика, после чего, как подпись под чеком, стояло: «Ай да негр!»

Я не находил себе места.

Можно было спокойно ожидать, как будут развиваться события дальше, и, если бы спор выиграл Гнаенский-Безднин, я бы, при всей моей симпатии к Длинскому, так бы и сделал, то есть ничего бы делать не стал. Но в беду попал мой друг, да еще в какую беду!

О! я видел, как с непроницаемой улыбкой, не двинув ни одной бровью, Гнаенский-Безднин, неведомо где наскребя эту прорву долларов, подойдет к Длинскому и спокойно скажет: «Да, все, что касается дробовиков и разбитых черепов, тебе ближе. Здесь тебе равных нет. Поздравляю. Но заметь, автомат все-таки говорил „боп-боп-боп”».

«За мной поминки. И по негру, и по другу его Паоло, и по писателю Хемингуэю, и по твоим пятистам долларам», — скажет что-нибудь такое Длинский.

Но события свернули совсем в другое русло.

Промаявшись в волнении полдня, я позвонил Гнаенскому-Безднину, но его, к счастью, дома не оказалось, подошла жена, а я, вместо того чтобы ее как-то подготовить, сразу и бухнул: «Вы знаете, что Гнаенский-Безднин, ваш муж, проспорил пятьсот долларов?» «Когда это он успел? Он мне ничего не говорил», — со смешком, будто речь шла о потерянной галоше, сказала эта маленькая мужественная женщина.

Вот так настоящие матери семейств, пронеслось у меня в голове, узнавали о проигранных состояниях. Вот тот дух мужества, стойкости, твердости под любыми ударами судьбы, который был безнадежно растерян, попран, утрачен и только сейчас будет наконец возвращен в лоно исстрадавшейся по рыцарству нации.

Я волновался, я трепетал, я не находил себе места, а они жили своей жизнью, как тысячу лет, из рода в род, мыли посуду, ковырялись в гараже, говорили о пустяках, а Длинский, тот и вовсе, как выяснилось, проспал чуть ли не до полудня.

После разговора с женой Гнаенского-Безднина я не выдержал и побежал к Длинскому. Он только что встал и, сидя на кухне в банном халате, обстоятельно ел манную кашу.

«Хотите каши? Кашица выдающаяся. После грехов наших давешних вернемся в непорочное детство? — молол вот такую ерунду, будто ничего и не случилось. — А может, опохмелиться хотите? Я-то с утра не пью. В Копенгагене осрамился. В нашу честь был дан завтрак в одиннадцать утра, спрашивают, что буду пить. Естественно, говорю, джин-тоник. Извините, говорят, у нас нет. Представляешь? Но ровно в двенадцать меня этот подавальщик отыскал и вручил. На Западе до двенадцати ничего крепче пива не подают». «Какое после двенадцати! Скоро час!» — «Ага, раз после полудня... Кстати, у Хемингуэя есть книга «Смерть после полудня», тореадоры, матадоры... Вы посмотрели в Хемингуэя, кто там из нас с Гнаенским-Бездниным умер «после полудня»?» «Вы что, возьмете с него пятьсот долларов?» — не выдержал я. «Ага! — закричал Длинский и хлопнул ладонью о ладонь, словно прибил влёт муху. — Ишь, голубчик, манны небесной ему захотелось в свободно конвертируемой валюте! Рублей ему не надо, долларов захотелось. А я его предупреждал, из автомата черепа не снести, невозможно, ты помнишь?» Когда Длинский волновался, он частенько переходил со мной на «ты», и я тогда отвечал ему тем же, хотя и с некоторым напряжением. «И возьмешь с него пятьсот долларов?» — «Надо бы, ох надо бы.

Поучительная история. Ты ему звонил, или он к тебе заходил?» — «Я звонил, нет его дома, в гараж с утра ушел». — «Знаю я этот гараж, пиво пошел искать».

Видно было, что и сам Длинский пришел в возбуждение.

Он удалился на переговоры с графиней, я слышал его какие-то плаксивые интонации и резкую отповедь Майи, но в конечном счете граф вернулся, держа маленькую водки в руках.

«Доброму вестнику полагается бакшиш», — срывая пробку и разливая, проговорил Длинский. — Ты не бойся, я нашего друга не обижу, хотя поучить немножко и не мешало бы. Слупить с него пять сотен зеленых, это ж травма такая! Я ж не негр, в конце-то концов. Так можно и друга потерять. Притом что он весь такой клепаный, заклепки-то у него снаружи... Мы так сделаем: пусть он поставит выпивку, приличную выпивку... в общем, я заказываю ужин на пятьсот долларов». «Как так?» — я похолодел. Ужас мой был так очевиден, что Длинский тут же налил еще по одной. «Пусть он поставит бутылку и два огурца, ну три огурца, а я этот «ужин» как бы покупаю у него за пятьсот долларов. Могу у него купить «огненной воды» бутылку тоже за пятьсот. Помнишь? Изделие выдающееся». — «Теперь я понял». У меня свалился с души камень. Длинский это заметил. «Только ты пока ему ничего не говори. Мне интересно, как он будет выкручиваться». — «Да как же тут... куда же?» — «А я не знаю, мне интересно». И мы выпили.

Душа моя ликовала, я знал, что рыцарство, честь и благородство, о которых простейший человек, может быть, и догадывается, но открыть в себе самом никак не может, сейчас произойдет, случится прямо на моих глазах. Не в сказке и не в романе. Я видел себя, в воображении конечно, в окружении внуков покручивающим ус и в предвкушении подлинного нравоучительного рассказа цитирующим «Бородино» Лермонтова: «...да, были люди в наше время».

Я думал и заранее жалел только об одном, жалел о том, что могу не оказаться свидетелем этого пиршества благородства и великодушия. Я решил метнуться к Гнаенскому-Безднину, пива все равно в воскресенье в городе и с огнем не найдешь, он уже дома, он уже наверняка заглянул в злосчастную книгу и теперь собирается сделать визит чести, визит долга к Длинскому. Вот мы и пойдем вместе. Он будет немножко волноваться, досадливо поругиваться, а я буду делать вид, что не догадываюсь о предстоящем со стороны Длинского великодушия.

Здесь очень кстати появилась на арене, то есть на кухне, графиня и сделала графу сцену: «Мало вам вчера было! Чуть глаза продрал, неужели дел больше в доме нет?» «Мамуля, ты нелогична, — сказал Длинский супруге, осмотрев жену. — Продукт выдала ты сама, а теперь попрекаешь. Или не надо было давать, или не надо теперь огорчаться. Одно из двух». «Есть еще третий вариант. Могли бы меня пригласить». «Свиньи, — мгновенно согласилась и за меня и за себя Длинский. — Как раз всем по рюмке получается», — сказал граф и твердой рукой разлил маленькую до конца.

Когда я прибежал к Гнаенскому-Безднину, он разговаривал с Длинским по телефону.

Я с ужасом услышал: «Автомат говорил «боп-боп-боп». Есть это в тексте? Есть! Негр стрелял из автомата? Стрелял! Когда я могу получить мои пятьсот долларов? При чем здесь череп? Не знаю никакого черепа. Может быть, и был разговор, может, и не было, какое это имеет значение. Только спокойно, мы оба были достаточно пьяны. Негр стрелял из автомата. «Боп-боп-боп». Вот именно: «Ай да негр!» Негр замечательно стрелял из автомата».

Что он делает? Зачем он это говорит? Зачем подстрекает? Так вот о чем говорит Длинский!

Слова Гнаенского-Безднина звучали так, будто он действительно забивал заклепки.

«Да, конечно, Малхов при этом присутствовал. И мы спросим у Малхова... А мои слова были «боп-боп-боп», и они в тексте есть».

Видя, как на моих глазах разговор вытягивается вовсе в не нужную Гнаенскому-Безднину, даже опасную сторону, я решил нарушить слово, как говорится, поступиться честью, но ровно наполовину. В конце концов, будь я человеком благородного звания, я был бы обязан быть благородным на все сто процентов, поскольку же я не имею таких природных прав, хотя вовсе не считаю себя лицом подлого происхождения, то могу поступить ровно наполовину благородно.

«Да, он здесь, — сказал Гнаенский-Безднин, не глядя на меня. — Конечно, спрощу, уверен, что память ему не откажет. Честь имею».

Гнаенский-Безднин положил трубку и рассмеялся так, что мне показалось, что Длинский только что признал себя побежденным в споре и несет сюда пятьсот долларов. «Каков гусь! Я и представить не мог, что он такой жадный до денег. Думает, сейчас ему с неба пятьсот долларов упадут». «А у тебя есть пятьсот-то?» — я робел даже выговорить название этих денег. «Откуда? Долларов сто, от силы сто пятьдесят, если с финскими марками. А вот у него есть, и пятьсот, а то и больше, они сейчас какую-то совместную тему со шведами залудили, тяпнули неплохой аванс». «Вроде бы с Данией?» — переспросил я, помня рассказ о казусе в Копенгагене. «Нет, с Данией еще в стадии переговоров». — «Да как же ты на такой спор пошел?» — «Смелого пуля боится. Пошел да выиграл».

Здесь я внутренне вздрогнул, вытянулся и почувствовал в груди прохладную пустоту.

«Потом, не забывай, я на сто шел, это он против моих ста свои пятьсот поставил». «Ну зачем же так, зря это, совершенно зря...» — я не знал, с какой стороны и подступиться. «Что значит зря? Я понимаю, как ему будет трудно с такой суммой расстаться, но что ж делать, не маленький, красивые жесты дорого стоят».

Что я мог сделать? Что я мог сказать? Наверное, многое, но с языка слетело само, как просьба, как мольба: «Уступили бы».

«Да что это с вами? — поинтересовался Гнаенский-Безднин, мгновенно подхватывая мое «вы», к которому мы частенько в шутку прибегали. — Вы хоть помните, о чем речь шла, или огненная вода немножечко, чуть-чуть отшибла?»

«Помню, все как сейчас помню. Только зачем вы так...»

«Я сказал: «Негр стрелял из автомата „боп-боп-боп“». Вы в текст смотрели?»

«Смотрел», — с ужасом признался я.

«Негр стрелял из автомата?»

«Стрелял, но на другой странице».

«Ответьте на мой вопрос. Негр стрелял из автомата?»

«Стрелял».

«Вот этот ваш ответ стоит Длинскому пятьсот долларов».

«Но череп-то, то есть полчерепа, — я уж старался говорить пунктуально, как полагается в благородных спорах, — полчерепа-то он из дробовика, а не из автомата».

«Не знаю и знать не хочу, — весело сказал Гнаенский-Безднин, — может быть. Негр стрелял из автомата? Стрелял. Пятьсот долларов, и конец разговорам».

«Но Длинский так не считает».

«А вы-то откуда знаете? Или уже с утра пораньше сбежать успели?» Гнаенский-Безднин был настроен весело, глаза его горели тем самым веселым огнем, в котором я никогда не мог толком разобраться. Он говорил пружинисто и четко.

«Да, я забежал к нему, но только с точки зрения ваших интересов», — сказал я, понимая, что запыряться глупо.

«В споре нет ни моих интересов, ничьих, есть только истина. Я говорил, что негр стрелял из автомата?»

«Да, но речь шла об „ай да негр“».

«Много о чем шла речь, — как-то неудачно выразился Гнаенский-Безднин. — Хоть человек вы неизвестный, но, безусловно, малый честный. Вот и подтвердите, что я говорил о негре, стреляющем из автомата, и подкрепил сказанное цитатой „боп-боп-боп“».

«Уступите, — взмолился я, и это была моя следующая ошибка».

«Ах вон оно что! Длинский послал вас ко мне, чтобы вы меня «уговорили»? Может быть, вы с ним... как это называется? в доле?»

«Как вы могли такое подумать? Разве похож я на человека, который способен за вашей спиной...»

«Да зачем же за спиной, вы и перед лицом моим что-то не спешите встать на мою сторону!»

«Я на вашей стороне, я всесторонне на вашей стороне, вы же меня не первый год знаете. Я пришел сказать, что не могу сказать все, но зря вы Длинского»

против себя настраиваете, не в ваших это интересах» — и это напрасно из меня вылетело, не надо бы, да не поймаешь.

«Вон оно что! Вы мне советуете Длинского немножко бояться, опасаться. Вот уж чего не было и не будет!»

Я понял, что задел струну, задел дворянскую честь, и теперь дело совсем плохо. Дворянские люди со званиями, конечно, считаются, но титул для иных гордецов ничего не значит. Чернов был из простых дворян, хотя и гвардейский офицер, а графа Новосильцева прямо в парке нашей «лесопилки», так мы Лесотехническую академию зовем, вызвал и пристрелил, хотя и сам был убит наповал. Теперь там камень стоит с надписью и жернова на тех местах, откуда стреляли. Впечатление такое, что пистолетами друг другу только что не в грудь упирались. Если и здесь не свести дело к миру, то до чего ж дойдет! И это теперь-то, когда дворянское общество у нас в городе на подъеме, когда возрождаются каждый день традиции, не хватало еще, чтобы за оружие взялся. Гнаенский-Бездний смел, он не отступит, а Длинский-то охотник, он же глухаря навскидку с пятидесяти шагов ссаживал, и ружья у него все с резким боем.

Что делать? Что делать? С волками жить — по-волчьи выть. Решил бросить на чашу весов свою честь.

Я решил спокойно вернуться к началу и, танцуя от печки, то есть от полчерепа, объяснить всю серьезность положения, спустить его с небес на землю, хотя сто долларов — это, конечно, не пятьсот, но тоже большая неприятность.

«Никто не отрицает, что негр стрелял из автомата, но речь идет о другом...»

«А о другом, как говорится, в другое время и в другом месте», — не дал мне договорить Гнаенский-Бездний, я же старался повернуть его именно в сторону черепа.

«Длинский вам говорил, что из автомата полчерепа не снести?»

«Может быть, может быть, и про череп говорили, если вам это зачем-то запомнилось».

«Как же «может быть», когда «ай да негр» — это и есть про полчерепа!»

Увидев, что отступать нельзя и на полшага, Гнаенский-Бездний снова занял исходную позицию: «Что вы-то хлопчете? Ваше дело подтвердить...» — и снова про автомат, и снова про «боп-боп-боп», предполагая, что и минимальное отступление грозит катастрофой.

Я пошел в открытую, но ровно наполовину:

«Я не могу вам сказать все, но поверьте мне... всем, и вам в первую очередь, будет лучше: уступите, клянусь честью, вот моя честь, она вам порукой, вы же знаете, что, кроме вас, у меня еще, может быть, мама, и все. Клянусь честью!»

Я не рассчитывал увидеть в сверкающих глазах Гнаенского-Безднина слезы, не думал, что он, как Максим Максимович, захочет броситься мне на грудь, но на доверие к моим словам я рассчитывал и просчитался.

«„Боп-боп-боп“. Подтвердите мои слова — и больше от вас ничего не требуется. „Боп-боп-боп“».

Он даже не заметил, как я бросил все, честь свою бросил на чашу весов. Не заметил. Все, чем я обладал, для него не имело никакой цены. Я опешил и замолчал. И Гнаенский-Бездний замолчал, да так замолчал, что можно было бы и уходить. Он умел так замолчать.

Я уже не знал, как мне добраться до широты его душевной, ведь он был русский, насквозь русский человек, и заграничный отпечаток в его костюме и манерах только это подчеркивал.

«Когда у вас денег на баню не хватало, мы же помним, кто первым руку помощи протянул. Длинский».

«Он полторы тысячи протянул, это почему-то все помнят, а где я еще две с половиной добирал, никого не интересует».

«Да как же не интересует! Я про порыв говорю. Ведь Длинский сам предложил, вот что особенно ценно. Это не знак богатства, это знак души. Вы же знаете его душу, не может он человеку зла сделать», — я уже почти вплотную намекаю, уже почти что прямо все говорю, в глаза ему смотрю с такой выразительностью, на какую только был способен. Глух. Слеп. «Боп-боп-боп».

«Вон он какой, оказывается, — твердо глядя в меня, сказал вдруг Гнаенский-Бездний, — жаден и добра не помнит, а я ведь его в поездку на теплоход взял. Забыл».

Вот этого я уж и вовсе не ожидал, если бы царевна-лебедь на моих глазах в царевну-лягушку превратилась, и то меньше бы удивился. Чем попрекать! Кого! Друга! Был такой знаменитый в позапрошлом году семинар на теплоходе с заездом на Валаам и в Кижи: «Научное производство. Взаимодействие науки и производства в новых экономических условиях хозяйствования».

«Длинский же от науки, разве не автоматом он в список попал?»

«Плавание у нас было коммерческое, так что «автоматом» туда, кроме нас, организаторов, никто не попал. И сколько мне стоило труда Длинского втащить, позвольте, я рассказывать не буду. Этого даже он не знает, хотя мог бы и догадаться. Прикинул бы, кто у нас за бортом теплохода остался, тогда бы понял».

«А кто у нас за бортом остался? По-моему, все, кто хотел, поехали, еще баб каких-то взяли. Нет, не вы, не вы и не я, но эти-то, помните?»

«Удивляюсь, как это у вас все со стороны просто! Вы знаете, Малхов, мне не нравятся эти ваши челночные операции: побежал туда, прибежал сюда. Что вы так озабочены?»

«Вы же друг, беда большая».

«Какая такая беда? Или вы накаркать беду решили, организовать? Говорите какими-то намеками, уговариваете меня, чего-то недоговариваете. А до угроз уже договорились. Почему это я должен Длинского бояться?»

«Не бояться, ни в коем случае не бояться, наоборот, вот увидите...» — я поймал себя за кончик языка, чтобы уж совсем до конца не выговориться и не пасть в глазах Длинского хотя бы.

«Может быть, мы о чем-нибудь другом поговорим».

«Давайте о другом, к этому мы всегда сумеем вернуться».

«А вот в городе говорят, что вы не просто из Ленинграда приехали, а что жена вас турнула».

«То есть как так, если я сам, можно сказать, благороднейшим образом хлопнул дверь собственной квартиры? Я же вам говорил и рассказывал. Сколько раз говорил...»

«Сказать все можно, а люди-то вам не верят. Не верится, что можно вот так вот запросто бросить Ленинград и променять на нашу дыру, жену променять, дочь, квартиру».

«Но в дыре у меня родная мать. Родная мать, а жену я не любил. Никогда не любил, думал, полюблю, а так и не вышло».

«В таких вещах лучше все-таки посторонним не признаваться».

«Это вы-то посторонний? — Я от этих слов рассмеялся, хотя слова были исключительно горькими. — Если вы для меня посторонний, то кто же у меня друг? Где же у меня друзья?»

«Я тоже себе этот вопрос задаю: где же ваши-то друзья, не водится почему-то у вас друзей. Вы все больше около нас да около Длинских третесь. Странно, чтобы у человека во всем городе не было своих собственных друзей. Женились бы, что ли, вон Ирочка Шульгина на вас, как кошка голодная на сметану, смотрит».

«Вы же знаете, мне некуда. Я бы женился. Проходная комната, а во второй мама. Меня в УНР и в очередь не ставят, ни по стажу, ни по метражу не получается».

«Вы меня сегодня удивляете каждым словом. Что с вами? Неужели вы думаете, что я должен вам квартиру менять или подыскивать? Почему я должен вашими делами заниматься?»

Как-то так получилось, что во время нашей беседы Гнаенский-Безднин сидел у себя в комнате за своим письменным столом, где всегда был идеальный порядок, а я от волнения передвигался по комнате, но во время последних его, обиднейших для меня слов я понуро остановился перед его столом, растеряв и слова и мысли. Скорее всего Гнаенский-Безднин увидел эту картину со стороны и весело рассмеялся: «В конце концов, вы не царевич Алексей, я тем более не Петр Первый, не думайте, что я вас допрашиваю. Мне и те откровенности, что вы сообщили, можно было бы и не знать».

Мне бы бросить горькую чашу об пол, не пить из нее, сам вижу, что, кроме горького осадка, нет в ней ничего больше, мне бы повернуться и бросить в лицо что-нибудь запоминающееся или так хлопнуть дверь по его благородию, чтобы

портреты предков со стен попадали, сознание есть, а воли и гордости явно не хватает, не та кровь!

Увидев, что я окончательно уничтожен, Гнаенский-Бездний заговорил со мной мо р е н д о, как говорят с умирающими, таким голосом, такими интонациями, которые не могут ускорить смерть, естественно приближающуюся к собеседнику.

«Вот вопрос, дорогой мой Малхов, который я обязан был задать еще вчера, но мне и в голову не пришло сомневаться в вашей эрудиции. Ответьте мне честно: вы роман этот злосчастный, «Иметь и не иметь», до вчерашнего часа хотя бы в руках держали?»

Разумеется, второй том, где как раз этот роман, я держал в руках неоднократно, читал в нем романы «Фиеста» и «Снега Килиманджаро», который не очень понял, не до конца, но вместо того, чтобы честно сказать: «В руках держал», я признался по существу: «К сожалению, нет».

Лицо друга тут же изменилось в худшую сторону.

«Жаль. Хороший роман. В юные годы мы все им переболели. У вас портрета Хемингуэя разве в квартире не было?»

Портрет Хемингуэя у нас в квартире был, кто-то оставил этот портрет в электричке, а жена подобрала и сама прикрепила дома. Теперь уже не верю и в электричку, может быть, Олег подарил. В общем, портрет был, но я ответил отрицательно, сам не знаю почему.

«Странно, — сказал Гнаенский-Бездний, — я думал, что у вас в квартире обязательно должен был висеть Хемингуэй. Совсем плохи ваши дела, Малхов! Как же так, не зная, о чем идет речь, вы вступаете в спор, да еще такую деятельность развили, того гляди меня с Длинским поспорите».

«Какая ссора, — обрадовался я, — неужели вы не поняли, неужели не видели... я же как голубь, с оливковой ветвью в клюве... это я образно так говорю».

«Да, тут нужно богатое воображение, чтобы представить себе, извините, плешивого, потертого человека с квитанцией на сто долларов в клюве. Вы это называете голубь?»

Сказано это было с какой-то непростительной небрежностью, вовсе не думая о том, что эти слова могут меня больно ранить. И они меня ранили, но боли, той прежней боли, которую я испытывал всякий раз, встречаясь с человеческой небрежностью, не испытал. Может быть, в эту минуту Гнаенский-Бездний был более чем когда-либо в жизни похож и на Гавейна и на Ланселота, а я смотрел на него и уже слышал в себе новые слова, новые интонации, уже знал, что я сейчас так заговорю, как не говорил еще никогда раньше. Я чувствовал, как прошлая моя жизнь утрачивает надо мной власть.

«Я пришел к вам по-дружески, пришел сказать, что спор вы проиграли. Вчистую проиграли. Я и к Длинскому побежал, чтобы вас спасти. — Здесь я сделал специально паузу, оставив место для взрыва или вопроса, но Гнаенский-Бездний смотрел на меня и слушал, давая понять, что слушает просто из врожденной вежливости, а не потому, что интересно. Я продолжил: — Дело было так. Длинский выпил рюмку вашего нектара, который, образно говоря, снес ему полчерепа. Тут он и вспомнил и негра и дробовик. При этом «ай да негр» был назван прежде оружием. Потом был назван дробовик. Вот тут-то вы и поправили Длинского, дескать, не дробовик, а автомат. Длинский вас предупредил как охотник: из автомата полчерепа не снести. Таким образом, ваш автомат и ваш «боп-боп-боп» были в данном конкретном случае неуместны. Вы проиграли спор».

«Вы все сказали? Теперь я скажу. Если бы вы прочитали роман «Иметь и не иметь» хотя бы за час до спора, вы могли бы помочь, если бы вас попросили, сформулировать условия спора. Вы задним числом заглянули в роман, ничего в нем не поняли, текст перевираете... да, перевираете, побежали к Длинскому, он вам все разъяснил, и теперь пытаетесь подставить мне ножку. Не старайтесь. Спокойно... Я вас не перебивал, — строго остановил он мой порыв. — Вы все время суете мне полчерепа. А вы знаете, что в тексте нет никаких «полчерепа?»»

«Дайте текст», — сказал я таким голосом, каким, наверное, смертельно раненный вепрь просит воды.

«Я знаю текст в совершенстве. А вы, извините, читать не научились. Повторяю, никаких вашего сочинения «полчерепа» в романе нет, там есть „половина черепа“».

«Но это же примерно одинаково, — вскричал я, — полчерепа равны половине черепа!»

«Это совершенно одно и то же, если речь не идет о пари, если речь не идет о знании текста, если речь не идет о споре. Текст надо читать внимательно. Текст надо читать точно!».

«И честно! Честно надо читать Хемингуэя!» — я не мог уже остановить биение сердца.

«Да что это вы себе позволяете? — С каким благородством, с какой старинной грацией и как при этом естественно были произнесены эти благороднейшие слова. — Что это вы под ногами-то вертитесь? Что вы лезете вездé без конца? Да знаете ли вы, что это неприлично, непорядочно, взяв на себя роль посредника в споре, от которой вы вчера разумно отказались, бежать к проигравшему, утешать и договариваться! Непорядочно, Малхов. Непорядочно. И неблагородно».

На этих словах в комнату вошла улыбающаяся, как актриса Жеймо, жена Гнаенского-Безднина с традиционным вопросом, который был для меня слаще фанфар судьбы, и от обычной своей повторяемости он мне был с каждым разом все дороже и дороже, а сегодня я знал, что слышу его в последний раз: «Вам сюда принести, или вы на кухню пойдете?»

«Спасибо. Сыт», — сказал я с какой-то неправдоподобной гордостью.

«Что это вы так?» — не поняла моего состояния хозяйка.

«Накормил меня ваш супруг, вот так, надолго буду сыт!»

«Как говорится, чем богаты», — развел руками Гнаенский-Безднин, так и не встав из-за стола.

«Я вижу, что-то случилось?» — спросила жена Гнаенского-Безднина, милой улыбкой показывая готовность при малейшей к тому возможности все обратиться в шутку.

«Как говорится, Малхов мне друг, но истина дороже», — рассудительно сказал Гнаенский-Безднин.

«Какая истина! Вы истину в муку истолкли и печете все что вашей душе угодно. О какой истине вы говорите? Вы!»

«Я думал, — обращаясь уже не ко мне, а к жене, как бы поясняя случившееся, сказал Гнаенский-Безднин, — что доллар сегодня — это как бы истина нашей экономики. Да, так случилось, мы проверяем сегодня долларом истину наших экономических отношений. А вот Малхов мне объяснил, что доллар и человеческие отношения проверяет. Вот мы и проверили. Все стало на свои места».

Я вылетел от Гнаенских-Бездниных, образно говоря, как ошпаренный.

Переговоры Длинского с Гнаенским-Бездниным или Гнаенского-Безднина с Длинским шли ровно неделю, а Длинский не делал из них секрета, так что город был в курсе всех подробностей и сказанных слов.

Последний раз Гнаенский-Безднин сам позвонил Длинскому, и они уже разговаривали о всякой всячине, не касаясь спора, будто это все уже в прошлом и забыто; так надо же было — в самом конце, успокоенный, быть может, тем, что Длинский не поднимает вопроса, Гнаенский-Безднин его вдруг спрашивает как о само собой разумеющемся: «Когда я смогу получить мои двести пятьдесят долларов?» — призывая признать его хотя бы полправды. «Когда я найду меру, которой смогу измерить твою наглость», — так же спокойно сказал Длинский и добавил еще что-то, где были слова «трус» и «шельмец».

Я узнал об этом разговоре буквально через два часа.

Я стал ждать развития событий. Была задета честь. Это признавали все. Город замер, ждали возрождения традиции защиты чести. Фехтовать они оба не умели, так что оставалось только одно — стреляться. Мне приходится просить прощения за полную свою откровенность, до которой пишушие люди обычно не опускаются, но я признаюсь: я был огорчен при мысли о том, что не смогу быть секундантом Гнаенского-Безднина. Правда, последнюю каплю надежды я не терял. Длинскому не пришло бы в голову прибегать к моим услугам, потому что мы с ним тоже расплевались. Он заподозрил меня в том, что я выдал план его великодушия, а Гнаенский-Безднин принял великодушие за слабость и пошел в наступление, отсюда и весь сыр-бор. Как я мог доказать, что не выдавал

великодушного плана Длинского? Он так и не поверил мне, не поверил, что Гнаенский-Безднин совершенно без моей помощи цеплялся за спасительную окоlesiцу со своим «боп-боп-боп».

Дуэль не состоялась, почему — я не знаю. Но дней через десять произошло такое, о чем город говорил, говорит и говорить будет.

Гнаенского-Безднина травили собаками!

Дело было так.

К Длинскому заехал какой-то полузабытый племянник, возвращавшийся домой из армии. Племянник служил в спецназе, звали племянника Юрий.

Я видел племянника на улице. Двухметрового роста, грудь, как щит парфянского пехотинца, сапоги гармошкой, но не для фасона, а просто икры в голенищах не размещаются, ручищи, лицо широкое и, главное, неморгающий взгляд. Витязь!

В честь приезда племянника граф выпил, а тут сосед пришел, тоже охотник, зашел с просьбой взять его собаку на время командировки, потому что ни жена, ни дочь с жутким его кобелем справиться не могли, он от них убегал и грызся с другими собаками в кровь. Собака под стать племяннику, меделян, прошлой осенью в одиночку взяла волка, полуторагодовалого подъярка. Звали собаку Тришка. При виде Тришки и племянника у Длинского возник в голове план. Тришке дали в зубы второй том Хемингуэя и пошли всей компанией к Гнаенскому-Безднину. Вперед пустили племянника с собакой. К сожалению, дверь открыл не сам, а младший сынишка, так что эффект не тот, но собака сама побежала по квартире и ткнула обмусоленный том Гнаенскому-Безднину прямо в колени. Следом вошел племянник и, шумно извиняясь за беспокойство, сказал, что дядюшка прислал его получить долг, пятьсот долларов, деньги большие, сам дядюшка с ними ходить по улице не рискует, а ему, бойцу спецназа, доверяет и получить и принести.

Говорят, Гнаенский-Безднин на секунду растерялся, во что я не верю. Говорят, что он только улыбался, не зная, искать защиты у властей или звонить с выговором Длинскому. Он даже не видел, что собака истекает слюной и взглядом умоляет взять у нее из пасти книгу. Тут как раз и ввалился Длинский со своим соседом-охотником, радуясь растерянному виду хозяина. Здесь бы «огненную воду» на стол, два огурчика, и дело кончено, так нет же, Гнаенский-Безднин не нашел ничего лучшего как взять наконец у собаки книгу, открыть ее на загнутой странице и прочитать вслух все тот же «боп-боп-боп». Тогда Длинский взял книгу в свою очередь и прочитал про полчерепа и «ай да негр». Заварился спор. Гнаенский-Безднин зывал к литературному слуху и соседа-охотника, и молчаливого племянника, и только что не собаки: «Если бы вы были люди литературные и умели правильно, правильно читать книги, вы бы поняли, что «ай да негр» относится ко всему негру, не только к этой странице, где полчерепа, да-да, ко всему негру, ко всей его прожитой жизни, в том числе и с автоматом. И пополз — «ай да негр», и «боп-боп-боп» — «ай да негр», и полчерепа тоже «ай да негр», надо уметь читать, здесь вся жизнь, вся! Как вы этого не понимаете?!»

Милая жена Гнаенского-Безднина принесла с кухни большую кость и не без страха предложила ее псу. Пес оглянулся на хозяина, оглянулся совершенно формально, вовсе не спрашивая у него разрешения на гостинец, и, видя испуг хозяйки, принял дар бережно, деликатно нагнув голову и стараясь, боже упаси, не задеть зубами мягких пальчиков. Он принял кость так, будто бы она была хрустальной, потом развернулся вокруг собственного хвоста в поисках подходящего для серьезного дела места и расположился у ног племянника. Племянник потянулся, чтобы почесать псу башку, пес тут же показал свои страшенькие зубы, давая племяннику понять, что ни за какие ласки он кость не отдаст, так чтобы племянник не ожидал своего угощения.

Племяннику ничего не оставалось делать, как слушать бесконечные «боп-боп-боп» и сучать.

Жена Гнаенского-Безднина стояла в дверях и улыбалась, ожидая конца подзатянувшейся шутке, явно имея припас не только для пса.

«Дя, а дя! — вдруг грохнул племянник. — Айда отсюда! Не нравится мне здесь».

«Это чем же вам здесь не нравится?» — обрадовался перемене темы Гнаенский-Безднин.

«Юрик, в чем дело?» — спросил Длинский.

«Не люблю, когда в комнате много оружия», — сказал племянник, ногой поддвигая псу разлетающиеся у того на зубах осколки кости.

«Где это вы увидели оружие?» — заулыбался увлеченный новым разговором Гнаенский-Безднин, обводя свою комнату внимательным взглядом.

«Да сплошь, — сказал племянник, не моргая и глядя по-прежнему в пол, на пса, яростно грызущего кость. — Стул — оружие? Оружие. Чернильница вот эта старинная — страшное оружие, — перечислял он по памяти, будто готов был действовать с завязанными глазами или в темноте. — Нож, которым бумагу режете. Слева от вас. Лампа бронзовая. Тоже страшное оружие. Оба магнитофона. Особенно кассетный. Ну и книги, конечно».

«И что же можно вот этой книгой сделать?» — искренне спросил Гнаенский-Безднин, положив на ладонь подвернувшийся томик Цицерона «О старости. О дружбе. Об обязанностях» в издании «Литературные памятники».

«Да уж полчерепа всяко можно снести», — взяв в руки книгу, сказал племянник.

Когда Гнаенского-Безднина расспрашивали, правда ли, что приходили его собаками травить, он не отрицал, но говорил лишь о том, как могла быть напугана внезапным появлением собаки их кошка, и если бы с кошкой что-нибудь случилось, то он даже не представляет, что случилось бы с женой.

Извини, дорогой читатель, извини за мое интимное «ты», извини и то, что скажу тебе с откровенностью дальше: я тебе не доверяю.

Вся наша литература, можно сказать, основана на доверии, на том, что читатель сам восполнит недостающий элемент и сам поймет, для чего ему рассказана история «Нос», для чего «Дама с собачкой», а для чего «Молодая гвардия». Вот в результате и получается, что недостающий элемент добавляет сам читатель и только в меру своих способностей извлекать для себя выгоду, состоящую иногда вовсе не в щегольстве многообразными знаниями.

Мои записки не литература, а стенанье души, и мне совсем не безразлично, кто и как истолкует мое правдивое сообщение и что из него извлечет.

Один решит, что записки разъясняют современный мир как перенасыщенный оружием. И будет прав. Другой решит, что это против целесообразности дворянства. И будет не прав. Третьему бросится в глаза тысячелетняя история моего города, и он подумает, что это фундамент для горькой мысли о том, что жизнь по принципу невыгодна, а жизнь по выгоде ведет к раздору.

Желательно, чтобы каждый пишущий человек все-таки разъяснял сам, что он пишет и зачем.

Если бы только в одной из четырех книг, пользующихся всемирным авторитетом и влиянием, было объяснено, зачем, для какой цели, с каким смыслом было усечено ухо у моего аллегорического предка, у нашего с тобой предка, уважаемый, ведь как ни крути, а каждый человек, чьи дела и чья жизнь обогащают память человечества, — наш предок, так вот знать бы, что это за история с усеченным ухом, может быть, и вся последующая история человечества пошла бы совсем иным путем.

Со мной все ясно, за меня уже одна моя фамилия все сказала и указала на мое место во всемирной истории, но цель записок совсем другая.

Глядя вокруг себя, имея возможность быть в дружбе с людьми выдающимися, хотя бы и в среде нашего города, вижу, как растет, ширится и вызревает вопрос, который никак иначе и не задать как только в форме обширной записки читателю: а вы не чувствуете себя усеченным ухом? малым историческим недоразумением?

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ

Иосифу Бродскому.

Вступление I

СТАРЫЙ КИНЕМАТОГРАФ

Старый кинематограф —
новый иллюзион.
Сколько теней загробных
мне повидать резон!
Это вот — Хамфри Богарт¹
пал головой в салат.
Только не надо трогать,
ибо в салате яд!
Вот голубая Бергман²
черный наводит ствол.
Господи, не отвергнем
женственный произвол.
Жречеству, парабеллум,
царствуй веки, кольт!
Грянь-ка по оробелым,
выстрел в миллионы вольт!
Ты же хватай, счастливчик,
праведное добро.

Кто там снимает лифчик?
То — Мэрилин Монро!³
В старом и тесном зале,
глядя куда-то вбок,
это вы мне сказали:
«Смерть или кошелек!»
Здравствуй, моя отчизна,
темный, вонючий зал,
я на тебе отгисну
то, что недосказал,
то, что не стоит слова, —
слава, измена, боль.
Снова в луче лиловом
выкрикну я пароль:
«Знаю на черно-белом
свете единый рай!»
Что ж, поднимай парабеллум,
милочка, и стреляй!

Вступление II

ПЯТИДЕСЯТЫЕ

Сороковые, роковые,
совсем не эти, а другие,
война окончена в России,
а мы еще ребята злые.
Шпана по Невскому гуляет,
коммерческий где «Елисеев»,
и столько разных ходит мимо
злодеев или лицедеев.
В глубокой лондонке буклевой,
в пальто двубортном нараспашку,
с такой ухмылкой чепуховой —
они всегда готовы пряжку,
кастет и финку бросить в дело
на Мальцевском и Ситном рынке.
Еще война не прогорела,
распалась на две половинки.

Одна закончена в Берлине,
где Жуков dokonал Адольфа,
другая тлеет и поныне
и будет много, много долше.
Дойдет и до пятидесятых,
запрячется, что вор в законе,
и в этих клифтах полосатых
«ГТ» на взводе при патроне.
Они в пивных играют «Мурку»,
пластинки крутит им Утесов,
ползет помада по окурку
их темных дам светловолосых.
Перегидрольные блондинки
сидят в китайском креп-жоржете,
им нету ни одной заминки
на том или на этом свете.

* Автору безусловно известно, что главную роль в фильме Д. Хьюстона «Мальтийский сокол» играет М. Астор. Однако по особым соображениям в тексте поэмы эта роль передана И. Берман.

Вот в ресторане на вокзале
кромешный крик, летит посуда,
бандитка с ясными глазами
бежит, бежит, бежит отсюда
и прячет в сумку полевую
трофейный верный парабеллум,
ее, такую боевую,
не схватишь черную на белом.

И это все со мной случилось
и лишь потом во мне очнулось,
в какой-то бурый дым склубилось
и сорок лет спустя вернулось.
Я вижу лестницу витую
на Витебском и Царскосельском.
Не по тебе одной тоскую —
еще живу в том свете резком.

Вступление III

ПОЛЧАСА ДО ТЕМНОТЫ

Полчаса до темноты —
вот теперь давай на «ты»!
Щекоти намокшим мехом
в полусвете полудня.
Я пошарю по прорехам,
не отталкивай меня.
Здесь под балкой потолочной
темный царствует ремонт,
мимо нас туман проточный
проскользнул за Геллеспонт.
Если будем вечно живы,
то отправимся в Стамбул.
Там оливы и проливы —
сокол их перепорхнул.
В голубой весенней юбке

ты закажешь коньяка,
все туманные поступки
проясняются слегка.
И тогда под минаретом
мы припомним этот день,
ежели тебе при этом
будет вспоминать не лень
той разрухи капитальной
коммунальный коридор,
поцелуй, почти опальный
и укромный разговор.
Как с тобой легко и жутко,
что ж ты смотришь сверху вниз?
Поднеси поближе шубку,
расстегнись и отвернись.

ТРИНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ

Я долго прожил за «Аттракционом»,
в Четвертом Барыковском переулке,
в Замоскворечье, возле Пятой ТЭЦ.
Что значит долго? Просто девять лет.
И вот пошли отчаянные слухи,
что дом наш непременно забирают
под неопределенную контору.
Никто не верил. Вышло — точно так!
Я переехал и забыл про это.
Так что хочу тебе я рассказать?
Что кто-то там ведет свою таблицу
коварного слепого умноженья
и шулерски стасовывает карты,
чтобы потом подкинуть их в игру,
и, выиграв, залиvisto хохочет.
Вот и сегодня, о, совсем случайно,
я позвонил тебе после полудня
и предложил пойти куда угодно
часа в четыре,

а куда пойдешь?

Туман и мокрый снег Москву накрыли,
так отвратительно печальны рестораны,
где туго с водкой, круто с коньяком.
А выставки? Что надо — мы видали,
а прочее и видеть не хотим.
Пойдем в кино? Конечно! А куда же!
Там хорошо, там пряники в буфете,
разбавленный, слегка прокисший сок.
Тогда уж встретимся в «Аттракционе»,
днем там пустыня, вот и хорошо.
— Ты видел этот фильм? — спросила ты.
— Да, видел, — я ответил, — но не стану

разоблачать сюжет, погибнет тайна,
 словечко лишнее — и кончен интерес.
 А впрочем, чушь, великие актеры,
 да и кино... там не в сюжете суть.
 А что касается меня,

я так люблю
 Америку годов пятидесятых, сороковых —
 мужчины в темных шляпах,
 двубортные костюмы, кадиллаки,
 тяжелые, что ступки, телефоны,
 ковры, отели, гангстеры с кобурой
 под левой мышкой — что за красота!
 Какой она была — никто не знает,
 что стало с ней — придумал Голливуд,
 а называется кино «Мальтийский сокол»⁴.
 И этот фильм я видел двадцать лет
 тому назад, и не поверишь — где?
 В двухкомнатной квартире на Ордынке...
 Там жил, а ныне выехал надолго
 на кладбище Немецкое один
 теперь совсем забытый человек
 по имени Викентий Тимофеев.
 Был у него домашний кинозал...
 — Да все ты врешь... — Вру, но не все,
 послушай... Когда-то в молодости он
 служил в посольстве киномехаником
 и получил подарок — проекционный
 аппарат и три-четыре ленты, среди них
 и «Серенаду Солнечной долины»,
 по коей мы тогда с ума сходили,
 три фильма Чаплина — «Диктатора», «Огни...»
 и «Золотую лихорадку», самый
 великий фильм на свете, и еще
 вот этот фильм «Мальтийский сокол».
 Викентий Тимофеев, когда я знал его,
 чудил в литературе, правил бал.
 Он далеко ушел из киновудки,
 стал основателем журнала «Детский сад»,
 уговорил сильнейшее начальство
 вручить ему дошкольную словесность.
 В доме его, весьма гостеприимном,
 где всякий раз менялася хозяйка,
 толкались молодые претенденты
 на лавры Самуила и Корнея —
 ужасный, доложу тебе, народ!
 Кто без пальто в январские морозы,
 кто без ботинок в мартовские лужи,
 кто без белья под кроличьим манто —
 все сочиняли что-то быстро, ловко,
 случалось изредка, что очень хорошо.
 И некто там надиктовал на пленку
 за десять дней почти полсотни сказок,
 где воевали мыши да ужи.
 (Импровизатор — он был враг бумаги.)
 «Уж — это гад ветхозаветный явно,
 но зашифрованный в дошкольном варианте», —
 заметил теоретик Тимофеев.
 Но, кажется, совсем не угадал —
 тот до сих пор живет на эти сказки...
 Уж там, уж сям, уже ужи в балете,
 уже ужи на кинофестивале,
 и даже он на форуме всемирном
 был удостоен Третьего Ужа,
 поскольку Первый и Второй достались

какому-то ужасному акыну,
 но в этом наш ужист не виноват.
 Бывали там дельцы и дипломаты,
 посланцы азиатских территорий
 (что лопотали по своим делам).
 Считалось шиком ящик коньяка
 втащить туда по лестнице щербатой,
 и потому полно девиц умелых
 и дошлых дам к Викентию ходило...
 Там жил и я, глядел кино и басни
 рассказывал в распаренном застолье,
 крутили эти фильмы день и ночь...
 Но Чаплин что ж! Он классика, а этот
 «Мальтийский сокол» — рядовой шедевр.
 Но почему-то он запал мне в душу,
 и полистал я старые книжонки
 и раскопал, откуда все пошло.
 Гроссмейстер ордена Мальтийского когда-то
 в знак преданности в Рим отправил папе,
 фигурку птицы, ясно, золотую.
 Но в золоте ли дело? Дело в том,
 что в это золото оправили такие
 рубины, изумруды и алмазы,
 что даже папа ахнул, прочитав
 письмо гроссмейстера (пергамент сохранился).
 Но птица до святейшего престола
 не долетела. — Была она на самом деле?
 — Да, была. Была! Я думаю, гроссмейстер
 не стал бы Рим дурить. И все,
 что он писал про эти камни,
 все было чистой правдой. И к тому же
 мальтийский адмирал признался,
 что выкупил себя и всю команду
 вот этим соколом, когда его эскадра
 (три корабля) попала к туркам в плен.
 Но все это историкам известно,
 а дальше романист присочинил,
 что, дескать, объявился он в России,
 добрался до Орлова Алексея...
 В романе сказано, что правнук Алексея,
 а вместе с ним и сокол объявились
 в Крыму при Врангеле, потом Стамбул,
 Париж... Об этом и проведала компашка
 авантюристов, рыскавших по свету,
 ну, предыстория была им безразлична,
 но сокола они добыть решили
 и переправить через океан.
 Тут, может, я сбиваюсь, так давно
 я все это увидел, и время действия,
 быть может, сорок первый или
 до того, когда союзники
 среди нормандских пляжей
 сто тысяч положили под стволы
 немецких раскаленных пулеметов,
 гораздо раньше, чем Георгий Жуков
 пробился к рейху и занес приклад
 над головой с непобедимой челкой.
 Тогда-то вот в Нью-Йорке частный сыщик
 (играет Богарт) предложил клиентке
 прекрасной, словно ангелы распутства,
 свои услуги (это Ингрид Бергман).
 Клиентка молча выписала чек,
 и дело завертелось...

Вроде кто-то
 ее преследовал. И в этот самый день,

вернее вечер, помощник детектива был застрелен в густом тумане около реки. Полиция решила — это сыщик убрал собрата, но сыщик никого не убивал. Его подставила и чуть не погубила та самая клиентка. Вот она как раз охотилась за соколом мальтийским, и этот сыщик стал ей поперек случайно — он и сам не знал об этом. Запутанный сюжет, потом поймешь. Кончай свой кофе, закрывают зал, не то мы опоздаем... —
Здесь пропускаю ровно два часа...

.....
Стемнело, а туман еще сгустился.
— Пойдем подышим сумрачным предзимьем и, кстати, посетим мой переулок, тот самый, тот Четвертый Барыковский, я не бывал здесь года полтора. Вот церковь обойдем, и сразу будет тот дом, где бедовал я девять лет. Ну что, кино понравилось? — Да, очень!
— Ты понимаешь, это сказка, особенно для нас, Шехерезада, но что-то бродит в ней на самом дне, какой-то образ, символ и намек...
— Ты объясни какой?
— Ты помнишь кадр: помощник детектива в тумане ждет кого-то... Мы понимаем по его лицу, что этот человек ему знаком и он не опасается его. Но главное — туман, густой туман и люди — точно рыбы через воду... Вот крупное лицо усталой жертвы в намокшем барсолино набекрень. И вдруг мы видим, как в туман вползает неотвратимо ясный револьверчик... И покатилося барсолино быстро в тумане роковом, потом пропало...
— Я поняла тебя. Да, это главное, здесь ось, вокруг нее и вертится вся лента...
— Постой, а где же мой старинный дом? Дом был на месте, только на ремонте.
— Пойдем посмотрим, что там натворили.
— Пойдем посмотрим... Вроде повезло, не слишком дело двинулось у них, еще не сломаны полы и перекрытья и двери не забиты... — Так зайдем же...
— Зайдем, зайдем... А вот моя квартира на семь жильцов, теперь она пустует, вот комната на первом этаже. А под окном стоял жасмин могучий и был он украшеньем бедной жизни все девять лет.

Жасмин они срубили. Ремонт, неразбериха, перестройка. Паркета нет, но есть еще обои и крюк с лепниной, на котором долго покачивался абажур — его я перевез из Ленинграда, из довоенных лет, он видел маму и отца, убитого под Нарвой, блокаду выдержал... Так, не споткнись, я спичкой посвечу. Ты не находишь:

что-то есть такое, задуманное на далеком небе,
что мы попали в эту вот квартиру,
разбитую туманную пещеру?

— Конечно, нахожу. Но так бывает
всегда, они следят за нами
и подбирают крап на узких картах
и мечут без ошибки их на стол.

— Теперь послушай. Я люблю тебя,
люблю давно, с той самой глупой встречи
в том суетливом, тягостном дому.

Ты знаешь ведь, что я в виду имею?

— Конечно, знаю... — Я глядел, глядел
и отводил глаза... — А было все нестрашно...

— Я думаю, что было все просто.

— Ну, это чепуха, твои химеры!

— Химеры-то как раз не чепуха,
как налетят, как на постель присядут
и все лопочут: ша-ша-ша-ша-ша!

— Но что-то есть полезное в химерах,
видать, они в свойстве с мальтийской птицей,
они, быть может, и накликали ее?

— Пожалуй, слишком просто...

— Слишком сложно...

— Пойди сюда, сними свою шубейку,
тут был крючок на стенке,
вот он, цел! Смотри, какой туман,
как фонари сюда плывут
пустым жемчужным светом,
как бродят тени плавниками
зелеными на этом потолке...

— Что будем делать?

— Будем жить, как прежде, ну,
может быть, чуть-чуть, чуть-чуть иначе.
Большие перемены ни к чему.

— Нас не запрут в твоём фамильном склепе?
Там кто-то бродит под дверьми и как-то
металлом угрожающе звенит.

— Да нет, пустое, это слесарь иль
ремонтник что-то подбирает,
снесет народу и стакан получит
свежайшего родного самогона.

— Как сыро, я бы выпила глоток...

— Нет ничего. Вот только сигареты.

— Я не курю... —

Мы вышли на бульвар, и я подумал:
два сеанса птицы
отрезали от жизни двадцать лет...

.....

И был еще один туманный день когда-то...

Стоял я около реки Фонтанки и ждал жену,
и подошла жена. Я заломил покрасивее шляпу,
тогда еще носили шляпы, и было это там,
где Чернышев³ сковал цепями башни над водою.

А жизнь катилась по своим ухабам
ни шатко и ни валко...

Я зарабатывал чуток на «научпопе»,
в журналах детских... Радио, бывало,
передавало очерк иль куплет,
что добавляло роскоши и неги:
поездка на такси, поход на крышу
ресторана «Европейский»
и туфли для жены из венской кожи,
и этого вполне, вполне хватало.

А рядом были добрые друзья —
художники, геологи, поэты,
и у иных достаток был скромнее —
все это мало волновало нас.
Мы собирались в кинотеатр «Аврора»,
и до начала было семь минут.
— Пора, пошли, не то сеанс пропустим.
— Постой минутку, дай я покурю, —
жена сказала. Сумочку открыла,
размяла сигарету и затем
австрийскую достала зажигалку,
такой изящный черный пистолетик,
игрушку, привозную ерунду.
И я увидел вдруг, как зажигалка
потяжелела, вытянулся ствол,
покрылась рукоять рубчатой коркой,
зрачок мне подмигнул необъяснимо...
Я не услышал выстрела, я был
убит на месте, стукнулся башкою
о полустертый парапет моста, а шляпа
полетела вниз, в мазутные потоки,
и поплыла куда-то в Амстердам.
Очнулся я в Москве спустя три года
и долго ничего не понимал...
Потом сообразил: мальтийский сокол —
вот где разгадка, все его проделки...

.....
Бульвар московский забирался в гору
и выводил к заброшенному скверу,
затиснутому в тесноту Таганки,
затем спускался круто вниз к реке.
— Присядем здесь, немного я устала.
— Ты знаешь, если забрести в тот угол,
то там стоит какой-то старый чертик,
какой-то мрамор, может быть, остаток
усадьбы старой. Я всегда хотел
поразузнать об этом, но заботы,
все недосуг, а впрочем, как у всех;
а я его давным-давно приметил.
Но час настал — пойдем и разберемся.
— Пойдем и разберемся — час настал!
— Вообще я помню что-то в этом роде
у нас в дворцовых парках Петербурга,
но как-то поантичнее, получше.
А здесь-то, видимо, была усадьба
московского дворянчика, купчишки,
и он купил дешевую подделку
в каком-нибудь Неаполе лет сто тому назад.
— Да, вот она. А что все это значит?
— Вот видишь, дама, бывшая красotka,
не первой свежести, но все же хороша.
Приятная фигурка, ножки, грудки —
все так уютно, как у Ингрид Бергман.
Она глядит таким туманным взором,
доверчивым, открытым, дружелюбным
и обещающим полулюбовь и полу...
А рядом — это символы ее.
Здесь на плече была, пожалуй, птица,
но только голову ее отколотили,
а под рукой у дамы некий ящик,
и что-то в нем нашупала она.
(Ты помнишь, ящик был и у Пандоры.)
И надпись есть на цоколе замшелом,

ведь это аллегория, должно быть... —
 Внезапно спутница моя сказала,
 не вглядываясь даже в эти буквы:
 — Я, пожалуй, знаю. На нем написано
 «ля традиненто», по-итальянски —
 черная измена, обдуманное тайное коварство...
 — Ну и ну!.. Откуда же тебе известно это?
 Ты здесь бывала? — Что ты, никогда,
 Но нам известно. Это «Коза ностра»⁶. —
 Туман, туман над всем московским небом,
 в тумане вязнет куртка меховая
 и челочка разбухшая твоя.
 Туман бледнит парижскую помаду,
 развеивает запахи «Мицуки»
 и чем-то ленинградским отдает,
 тем самым стародавним, позабытым...
 — Ну что, пора? — спросил я.
 — Да, пожалуй, сегодня было очень хорошо. —
 Через туман глядел я ей вослед:
 расчетливо раскачивая бедра,
 в распахнутой пушистой лисьей куртке
 и лайковая сумка на ремне.
 И вот перед последним поворотом
 она через туман кивнула мне,
 как заговорщица, — почти неразличимое лицо —
 овальный циферблат моей надежды
 показывал ноль-ноль одну минуту...
 Невежда, полузнайка, знаю я:
 пифагорейцы точно рассудили,
 что вечен круг преображенья жизни.
 Но в человеческой судьбе загадка есть,
 какой-то повторяющийся образ —
 попробуй-ка его уразумей.
 И то, что нам показывал Викентий
 на рваной простыне, когда она
 от выстрела в затылок прогорела, —
 всего лишь детективный эпизод
 чужого фильма... Или нет, не только.
 А впрочем, пифагорейская все это чепуха...
 Поскольку ход судьбы непредсказуем,
 то произвол творит мальтийский сокол,
 бессмысленно петляет он, и все же
 всегда свое гнездо находит он.

 Да, Аристотель прав, сей сокол — божество:
 ему готовится повсюду торжество.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Богарт Хамфри (1899—1957) — знаменитый американский киноактер, снимавшийся в основном в детективных фильмах.

² Бергман Ингрид (1915—1982) — знаменитая киноактриса, шведка, играла многоплановые, психологические роли.

³ Монро Мэрилин (1926—1962) — кинозвезда. В 50-е годы стала одним из национальных символов США.

⁴ «Мальтийский сокол» — фильм режиссера Джона Хьюстона. Вышел на экраны в 1941 году. В основу фильма положен роман американского писателя Дэшела Хеметта.

⁵ Чернышев мост в Ленинграде — башенный мост с декоративными цепями.

⁶ «Коза ностра» («Наше дело») — название одной из крупнейших американских мафиозных групп.

* Последнее двуступище есть парафраза стихотворения Багюшкова:
 Все Аристотель врет! Табак есть божество:
 Ему готовится повсюду торжество.

МИХАИЛ БУТОВ

*

К ИЗВЯНИЮ ПАНА, ИГРАЮЩЕГО НА СВИРЕЛИ

Сонет

Я любил эту даму,
но ее задавил экскаватор.

Песня.

Эпиграф не имеет никакого отношения к тому, что я говорю. Вообще ни к чему не имеет отношения. Но когда руки мои будто сами собой из, казалось бы, безопасных глубин письменного стола выудили и представили глазу бумагу, уподобившую меня Лотовой жене, именно эти строчки, темным каким-то ассоциациям подчиняясь, мгновенно образовались в голове. Сомневающийся уже во всем, в чем сомневаться кощунственно, глупо или попросту невозможно, в единственном я готов был до сих пор присягать на чем угодно: что не сделал за свою жизнь ничего, за что кому-либо могло прийти в голову меня наградить. И в этот раз надолго принял позу вмазанного Будды, прежде чем убедил себя: грамота за отличную стрельбу из пистолета действительно существует и действительно выписана на мое имя военной кафедрой электротехнического института. Ни числа, ни подробностей. Вот это и страшно. Потому что я не могу вспомнить, где, когда, зачем и в кого из этого пистолета стрелял. Да не раз, может быть, недаром предназначенное для даты место оставлено пустым, намеком на вечность. Так и жди, что такое выплывет — пусть не сейчас, пусть там, когда-нибудь, — что будет и помирать стыдно.

Это твоя подпись, тезоименитый сразу и перевороту и его вождю полковник Лорий Кузьмич Синебрюх (много позже я узнал значение этого странного «Лорий» и сразу подумал о тебе: подкузьмила несознательная бабка унылым «Кузьмичом», а ходить бы тебе Осоавиахимовичем или Гоэрловичем — каково!), красуется на оформленном с чисто армейским эстетизмом — зеленым танком да красным флагом — куске атласного полукартона, удостоверяющего мою причастность к вороненому символу мужской мощи. И даже фиолетовый профиль солдата с по-даунски скошенным подбородком чем-то тебя напоминает. Я уже вырос, полковник, я уже почти богатый и хотел бы наконец отвязаться от тебя, сделать вид, что тебя и вовсе не было, но видишь — жизнь такие узлы завязывает, что не по силам нам ни рубить, ни распутывать. Под чем же ты расписался, под каким моим преступлением, и как потом вытравил его из собственных моих мозгов, заменив своей не злой, в общем-то, физиономией, периодически посещающей мои сны?

И вот я держу в руках твое последнее, напутственное ко мне послание, заложенное на годы некоей стратегической миной. Теперь она взорвалась. Я уже вижу, как меняют положение вещи и открывается новый смысл в том, что прошло незамеченным раньше. Значит, и ритуальное убийство из пистолета, которого не помню, не остается втуне — уже покоит мою голову благодать, обретающая черты Учителя. Сколько лет нужно было истратить впустую, чтобы познать всему цену и увидеть — кто, единственный, передал тебе все то, что действительно знаешь об этой жизни. Ты, ты, герой ночных кошмаров, и недостойно тебе прозябать далее в безвестности, ибо время скромности позади.

Я подозрительно долго ничего не понимал в тебе. Гносеология всегда оставалась для меня белым пятном, потому не берусь сейчас разбираться в странностях познания, но уверен: все, что нужно, эманировало из тебя и здесь, в привычном декоре. Виноваты, должно быть, тесные стены нашего института — куда им было вместить необозримые габариты твоего метафизического тела; вот это несоответствие масштабов и не давало нужной чистоты в восприятии. Но час уже был назначен для меня и мне подобных. И он пробил, когда ты выстроил в круглом скверике у Киевского вокзала двести пятьдесят прыщавых молодых и объявил, что предстоящий им месяц армейских сборов — главный в их жизни: проверка на прочность и возможность наконец-то стать мужчиной. Узнаю твой метод, Учитель, метод разрушающего парадокса: возможность эту могла бы нам там предоставить разве что древняя, как Вавилон, и бурая от древности овца, да и ту ревниво оберегал прапорщик и зачем-то аккуратно подстригал раз в неделю под пуделя.

Кастанеда, например, этот проповедник снов и исчезновений, был тобою посрамлен без всяких усилий и разных там фенечек, которыми так любит побрякивать. В первый же вечер в поезде ты исчез на глазах, ты просто был — и вдруг растворился. Три часа бригада особо сознательных студентов безрезультатно прочесывала поезд, и официальный вердикт гласил, что, отправившись извергнуть лишнее, ты просто выпал где-то под Малоярославцем, тем более, что фуражку твою нашли в тамбуре у открытой двери. И только чей-то очень зоркий глаз сумел неожиданно, когда надежды уже не осталось, разглядеть на политем всеми нечистотами Союза полу в общем вагоне твои сапоги, торчавшие из-под цыганки лет пятидесяти, которую ты оплодотворял, почти скрытый ее многочисленными юбками. Но это что, это маленькое чудо, мы и забыли о нем после того, что ты показал нам на первых же полевых занятиях.

Отсюда, издаലെка, мне прекрасно видно, что поистине космический прообраз ты заложил в их организацию. Ты выводил нас в кукурузную степь и ставил на шесть часов по стойке «мирно». В июле в Молдавии облаков не бывает. Мы покрывались чешуей — кому как не тебе знать, что это не преувеличение, — плотной белой коростой выжженной кожи, а пот переполнял сапоги и стекал в землю. Эволюция, селекция демиурга: ты убирал слабых. Тех, кто терял сознание, относили в скудную тень радиорелейной станции РС-404, а когда ее переставало хватать, клали друг на друга. Древняя мудрость концентрировалась в твоей бритой голове и диктовала поступки: только сильный способен нести знание, которое ты для нас готовил.

Но мудрость еще не величие, величие в том, чтобы во всем идти до конца. И когда обморок застал еще одного, не способного подняться до нужных тебе высот, прямо у лебедки, закреплявшей поднятую антенну, и ее сорокаметровая стальная мачта пошла медленно крениться, обрывая оставшиеся тросы, и падала, падала (нам казалось — безумно медленно) точно на тебя, ты не сделал ни шага. Никогда и ни в ком не случилось мне больше наблюдать такого достоинства, как в тебе, когда ты стоял и, глядя вверх, придерживая фуражку, ждал, пока пять тонн стали тебя накроют. Удар был страшен, зеркала антенн катились вниз с холма и переводили картину в какой-то сюрреалистический план; а мы боялись даже посмотреть в ту сторону, где только что был ты. И не знаю уж каким — шестым, девятым — чувством нашел ты едва заметную лошину между двумя бугорками, в которую успел упасть, прежде чем летящая тяжесть превратила бы тебя в кровавое месиво (хотя как-то не могу я поверить в возможность для тебя такого перехода: от монументального тела, почти идеала плакатного совдеповского барокко — к куче дерьма, крови и костей. Это ведь наше, обыкновенных, а в тебе и сама плоть обозначала слишком много, чтобы позволено было вот так свести ее ни на что). Но когда ты возник позади нас, казалось, навечно застывших в смирном положении, отвернувшихся, прятаясь — глупцы! — от красоты смерти, вроде бы не должной на этот раз миновать тебя, и прогудел веселеньким баском: «Обоссались, пердуны?» — мы почувствовали, как что-то стало поворачиваться у нас в головах. И если до сих пор мы оставались действительно не чем иным, как обыкновенными пердунами, каких тысячи, почти бесполезных, слепыми и беспомощными, то ныне предчувствие нового, неведомого еще, но неверняка безмерного света наполнило нас.

А помнишь, полковник, как ты учил нас цене жизни? Как ты вывел роту рыть окопы на склон плоского холма, не предупредив, что с другой его стороны — танковое стрельбище? А акценты ты умел расставлять в совершен-

стве, ты сыпал их, как перчик в щи, и для каждой ситуации находил особенный вкус. В этот раз самый смак заключался в том, что танки начали стрелять раньше, чем мы успели что-нибудь вырыть. Причем в нашу сторону. И за те два часа, полковник, которые мы пролежали лицом в землю, пока вовсе не далеко взрывались перелетевшие цель снаряды, я пузом протер в нашей грешной земле яму, достаточную, чтобы сровняться с ее уровнем. Ты видел это. Ты был доволен.

Ты почти не говорил. Вербальная система у тебя вообще почти атрофировалась, и порой я воспринимал тебя как образчик нового биологического вида, перешагнувшего через речь. Все, что ты передавал нам, проникало в нас подспудно и незаметно, как радиация. Первым симптомом грядущего перерождения стала способность безошибочно выбирать линию поведения. Уже на третий день я взял и с еврейской хитростью послал на хер дежурного офицера на развод. Тот так удивился, что не сообразил даже озлобиться.

— Может, ты и командира полка на хер отправишь?— спросил он.

Я отправил.

— Может, и командира гарнизона?— сказал офицер и почесал в затылке, приподняв фуражку.

Пожалуйста.

— А командира дивизии?

Я видел, что ему действительно интересно. И поскольку все это оказалось совсем несложно, интерес его удовлетворил. Офицер казался озадаченным и хотел было спросить что-нибудь еще, но дальнейшее продвижение вверх по иерархической лестнице слишком уж отдавало радикализмом. Очень по-доброму он выписал мне пять нарядов сразу и еще три добавил потом. С тех пор я закончил всякие боевые действия и прочно утвердился на своем новом посту.

Обязанности мои отныне состояли в том, что я должен был караулить гриб. Как и от всего, что тебя окружало, полковник, от этого предмета веяло приятным холодком inferнальной бессмысленности. Лагерь располагался в центре голого кукурузного поля, а в центре лагеря был кем-то врыт деревянный, как в песочнице, мухомор с выкрашенной в кумачово-красное шляпкой, на которую, должно быть из-за яркости цвета, любили гадить белым пролетные птицы. Под этим грибом я и должен был стоять, из расклада два часа на посту — два часа отдыха, то есть в идее собирания бумажек или мытья сортира. Но, будучи убежденным противником любого труда, отстояв почетную службу, я просто скрывался в кукурузе, где найти меня можно было разве что с вертолета, и подставлял небу заметно опавшее на казенных харчах брюхо.

Неделю спустя у моего гриба и еще на кухне образовалось сплоченное сообщество лиц, перенявших мой опыт. Дьявольская хитрость развивалась в каждом из нас, изменялся каждый и чувствовал это изменение, но так уж вышло, что именно я оказался чуть впереди остальных на пути, который ты, Учитель, для нас предназначил. Вылилась эта авангардность в то, что я стал единственным, кто сумел за месяц военных лагерей в зюсю нажраться. Неведомо откуда возникшая «Гуцульская яблочная» оказалась поглавнее таких печальных моих экспериментов, как политура или фиолетовый денатурат. Было-то ее всего ничего: бутылок шесть на двадцать человек,— но так совпало, что в этот ночной час была моя очередь лежать в кукурузе, потому мне и сдали на хранение весь запас. Люди приходили, дергали по полкружки, я с ними, потом они сменялись другими, но я-то оставался! Досталось мне на долю в итоге не меньше трети общей массы, и к часу выхода на пост единственный доступный мне способ службы был собачий.

Из кукурузы я вышел на четырех ногах, и очевидцы утверждали, что из глаз у меня сочился рубиновый свет, как от звезд Кремля, но этого я не помню, помню только вкус солидола во рту. Грустный еврей Женя Зильберг, знаменитый тем, что взял с собой в армию третью часть эпопеи Марселя Пруста, которая оказалась у нас единственной книгой и потому была прочитана с тоски всеми до последнего дебила; и под гриб попавший совершенно случайно, просто в порядке очереди, завидев меня еще издали, бежал в ужасе, побросав на траву выданные нам в одном экземпляре на двоих шинель и рукавицы. Я дополз до столба и лег поперек дощечек, обрамлявших его основание. Первая же попытка подтянуться, чтобы принять уставное положение, окончилась трагически: я грохнулся обратно, рассадил лоб и больше уже не решился попытать судьбу — лежал и ждал, что будет. Кто-нибудь, в конце концов, мог бы поднять меня, если бы проходил мимо. Но четкие на гравии командирские шаги, раздавшиеся в ночной

тиши, не оставили надежды. Это был конец: сейчас я распрощаюсь с лагерями и институтом, а моя карьера витязя автоматически перейдет из месячной в двухгодичную. Я опустил лицо к земле. Я ничего больше не хотел видеть. Но как ни был мутен мой рассудок, я все же сумел удивиться, когда шаги даже не замедлились подле меня.

Собрав в кулак всю еще оставшуюся во мне жажду жизни, я кое-как сфокусировал расплывающийся мир и распознал удаляющуюся фигуру нашего московского майора по фамилии Захваткин. Достигнув кустов, Захваткин сложился в поясе и начал со страшной силой блевать (заметь, полковник, что по отношению к тебе я не употребил этого грубого термина, да он к тебе и не относится, ибо ты представляешься мне совершенным механизмом, функции которого рассчитаны и подчинены высшей цели; никакие эмоциональные оценки здесь места иметь не могут). Каналы, которыми потекла тут моя мысль, сейчас могут показаться странноватыми, но на месте действия смотрелись вполне натурально. Поведение непосредственного начальника в данной ситуации я понял как официальное разрешение последовать его примеру. Аккуратно огибая майорские ноги и стараясь не попасть под струю, я пристроился сбоку и приступил. Это были редкие мгновения соития начальника и подчиненного в едином порыве — так, наверное, в атаке бывает, смертельной. Прерываясь перевести дух, майор тихо и жалостно постанывал: «Сволочь... отравили же... Сволочь...» — а я, по-песьи заглядывая снизу ему в глаза, всю нежность, на какую был способен, вкладывал в ответное «так точно». Майор закончил первым, щелкнул каблуками, отдал мне честь и удалился в ночь. Я же, уже облегченный и просветленный, без ощутимых сложностей сумел занять параллельную грибу позицию. Покачивало, конечно, но в принципе смотрелся я уже браво и окружающий мир кое-как контролировать мог. И натурально, полковник, тут появляешься ты. Я бы не удивился, если б узнал, что ты сидел в тех кустах, наблюдая за нами. Или что вообще способен видеть все, независимо от мест и расстояний.

— Курсант! — сказал ты.

И хотя вместо положенного бодрого «курсант имярек» смог я только икнуть, на тебя это не произвело особого впечатления. Наоборот, мне кажется, тебе понравилось.

— Где майор Захваткин?

Я неопределенно махнул куда-то рукой, и вышло — в сторону нужника.

— Блевал он? — спросил ты.

Я кивнул.

— Козел поганый, — сказал ты на прощание, и я так и не понял, к кому это относилось: к Захваткину или ко мне.

Лагерь подняли по тревоге. Исследовав очко, обнаружили чью-то фуражку, плавающую внизу (акценты, акценты, полковник, почти гениально!). Шесть часов подряд десять лучших физкультурников института разгребали дерьмо, стоя в нем по пояс, в надежде обнаружить на дне труп незадачливого майора. Но его не было там, и ничто на свете не заставит меня поверить, что ты не знал об этом. Он мирно посапывал между палатками в двух шагах от меня, и на рассвете я от чистого сердца укрыл его шинелькой. Он вообще был беззлобный дурак, этот Захваткин, но не будешь же в самом деле сравнивать его с тобой. Человеческое, слишком человеческое, это тебе не ровня — тебе, в котором даже крепкий дух спермы, пота и алкоголя, сопутствовавший твоему появлению, сколько бы ты ни мылся, ни одеколонился, наводил на мысли не о грязном теле, а о первичном производящем импульсе, разделившем некогда небо и землю. А Захваткина я даже любил по-своему и зла никогда от него не видел. Да почти никто не видел от него зла: Не любил он, по причинам скорее мистическим, чем рациональным, только дебелого Пашу Пусова и боролся с ним постоянно и методично, как с тараканами, причем всегда одним и тем же способом. Где бы они ни встретились, тут же раздавалась хорошо отработанная команда: «Курсант Пусов! Газы!» — по которой Паша должен был надеть противогаз и не снимать его вплоть до соответствующего распоряжения. Поскольку распоряжения обычно не поступало, Пашу без противогаза почти уже и не видели.

Этим вдохновился бы Брейгель — марш нашей роты на обед. Впереди комсомольцы — тянут сапожок, с отмахом руки и громким топотом. Следом растягивалась на полкилометра инвалидная команда со стертymi ногами, обмо-

танными цветастыми тряпками, и в разноцветных тапочках. Тряпки разматывались и волочились в пыли. А в некотором отдалении замыкал строй курсант Пусов в противогазе. Сопровождалось все это авангардистской песней «Когда рогаты для солдата» с припевом «Россия: березки-тополя», что особенно актуально звучало среди кукурузного беспредела. Вдобавок сумасшедший наш джазмен-синкопист в третьей шеренге инвалидов не упускал случая вставить после «России» щемяще-родную односложную рифму к слову «тополя», что нерусский командир роты старший лейтенант Дантаридзе терпел ровно до тринадцати раз, после чего останавливал строй и говорил нам: «Ви что думайт, ми тут все савсем баран и раздалбай, да?» И все начиналось сначала.

То, что ты проделал однажды, кажется мне в определенном роде твоей вершиной. И как у всякого истинного мастера, вершина эта оставалась почти никем не замеченной, спрятавшей, как айсберг, заключенную в себе массу. Однажды ты спросил Захваткина, отменяет ли в какой-нибудь степени команда «газы!» команду «с песней шагом марш!». Майору понравилась эта идея. И с тех пор приятную постмодернистскую полиритмию вносило в наше пение далеко разносящееся «хлоп-хлоп» и «бу-бу» поющего в противогазе Пусова.

Так ты царствовал. Я многое еще мог бы вспомнить об этих днях. Помнишь, как ты проверял у нас готовность противогазов, засовывая в вентилятор фургона радиостанции дымовую шашку и запирая снаружи двери? Неужели ты хочешь, чтобы я принял всерьез версию, что ты действительно случайно сунул шашку и в ту машину, где сидели начальник сборов и командир гарнизона, не державшие в руках противогаза со времен ипрской травли? Или последний день, когда перед нашим уже переодетым в гражданку строем ты произнес самую длинную фразу, какую я когда-нибудь от тебя слышал.

— Когда мы приехали сюда,— сказал ты,— здесь был девственный уголок природы. Нужно, чтобы после нас он остался таким же.

Уже продолжительность этой речи не могла не растрогать. Тем более что ноздри нам уже щекотал грядущий аромат московских сладких булок. Мы ползали на карачках и подбирали каждую спичку среди чахлах яблонек. Но полчаса спустя ты прислал кабелеукладчик на базе танка зарывать сортирную яму. Пьяный прапорщик за рулем искал нужный объект сорок минут, в течение которых личному составу пришлось в очередной раз отлеживаться в кукурузе. Когда он наконец уехал, так и не достигнув цели, яблоньки торчали из земли корнями вверх, и трудно было поверить, что только что повсюду была трава, пусть и побитая солнцем. Великолепно? Великолепно.

Только не прими все это за попытку ерничать, избави Бог. Это, в конце концов, было бы и небезопасно — ведь я знаю, что ничего еще не окончено. Где ты теперь? Когда я думаю, полковник, что ты где-то существуешь, так же ходишь по институту и даже запах, наверное, не изменил, это кажется мне всего лишь фантомом, который ты оставил после себя, как некий кинематографический нинзя. А сам — сам ты весь в нас, в тех, кого выпустил в жизнь, и я чувствую в себе твое дыхание.

Я окончил институт и полтора года после давил на чердаках пузом дохлых голубей, а в редкие минуты досуга наблюдал, как начальник катает по столу шарики из соплей, а потом отправляет в рот. Вдобавок он не мыл руки после сортира. Однажды я взял да и дал ему в ухо, пока другие отворачивались и давились. Я ведь ничего больше не боюсь, и это твоя заслуга, это ты, великий избавитель от страха, вернул нам радость жизни и способность к наслаждению. Больше того — запрограммировал нас и освободил от ужаса выбора. Тысяча жизней теперь у тебя, и судьба твоя растеклась на тысячи наших. Приятно сознавать, что долго еще виться их ручейкам и ждет впереди еще много замысловатых коленец.

Вот на одном из них я стал церковным старостой. Мне нравится здесь. Я часто ночую на работе и люблю смотреть, как приходит на ночную смену сторож Женя. Женя чем-то напоминает тебя: он совсем не умеет разговаривать. Зато у него большие бицепсы, и для меня нет большего удовольствия, чем наблюдать, как он надевает черные мотоциклетные перчатки и десантные штаны, как сажает на руку кастет-пятипалечник и цепляет к поясу дубинку. Потом он берет в руки большой строительный прожектор и ходит с ним по двору. Он будет ходить так всю ночь. Иногда странная тоска выгоняет его со двора на улицу, насколько хватает кабеля. И не дай Бог какому-нибудь горе-работяге плестись в этот час с вечерней смены домой: Женя прижмет его палкой к стене, а потом будет светить прожектором в глаза, заглядывать в лицо и страшно мычать при этом. Это жуткое

зрелище, я видел. Я горжусь знакомством с ним, горжусь, что он жмет мне руку, — и это тоже оплачено твоим, полковник, подвигом. Если бы ты знал, как он ловит крыс руками, а потом жарит их живьем, подвешивая над огнем за хвосты к специально изобретенному для этого таганку!

Вот мы, полковник! И сколько нас, плодов твоей невероятной производительной силы, знает только Бог, которого ты давно уже переплюнул. Но каждому из нас ты заложил в сердцевину сердца маленькую частичку себя, и холод распада, который она принесла с собой, возвращается к нам неведомой ранее свободой. Однажды вечером я выйду из дома, зайду в телефонную будку и наберу пока еще неизвестный мне номер. Ровный, без всяких эмоций голос с той стороны сообщит мне, что отныне автобусы будут ходить пустыми. Вообще. Даже без шоферов. И это будет знак, по которому я пойму, что миссия твоя была не напрасна.

Полно, дубрава, шуметь! и ты, с утеса бегущий
 Быстрый ручей, не журчи! стихни, бляевье стад!
 Пан взялся за свирель: сплетенны из трости колена
 К влажным устам приложив, звонкую песнь он поет.
 Нимфы стеклись — и, едва муравы касаясь ногами,
 Хоры дриад и наяд пляшут по гласу его.

ИЗМАИЛ II

Рассказ

Я, Измаил, был в этой команде, в общем хоре летели к небу мои вопли, мои проклятия сливались с проклятиями остальных, а я орал все громче и заворачивал ругательства все круче, ибо в душе у меня был страх.

Г. Мелвилл, «Моби Дик».

Вы хотели бы, конечно, узнать мое имя, ведь не достоин доверия тот, кто не называет себя. Но имя — слово человека о человеке, каждый облекается в него, подобно тому как при рождении в плоть; но умирая, освобождаясь от плоти, таинственным образом сохраняет имя. Такова, как учат, воля и милость Бога нашего. Умирая... Если бы я мог сказать о себе с уверенностью: я мертв!

Но ныне, когда у меня достаточно времени для раздумий (если время еще существует вокруг, ведь я не наблюдаю смены дня ночью и не испытываю потребности в пище и воде), я все больше склоняюсь к мысли, что сущность моя стала подобна волнам, проходящим мимо; медленно, одна сменяет другую, но не ошибешься, если скажешь: та, что сейчас поравнялась с тобой, — та же, что была здесь за несколько мгновений до этого, еще раньше, всегда. Произносить теперь свое имя кажется мне не более уместным, чем наделять именами каждую из этих медленных волн.

Я почти обрел покой — покой, навевающий мысли о равновесии неба или, что, пожалуй, вернее, равновесии преисподней. Мой разум, мое сознание похоже на море вокруг, и только одно возмущает его гладкую металлическую поверхность: почему же именно я оказался здесь, единственный живой из многих, кто начинал этот путь; почему не другой из тех, что навсегда остались в океане? Что это: та высшая мудрость, недоступная пониманию смертного, или произвол, бессмысленный случай? Но есть ли в мироздании место произволу?

Почти постоянно я размышляю об этом. Я чувствую: поиски ответа теперь — единственное действие, обладающее смыслом. И я почти уже забыл, что когда-то, до того, как я впервые поднялся в Нантакете на борт этого корабля, когда я делил отпущенное мне время жизни между двумя причудами: склонностью к размышлению и тягой к морским странствиям, — люди звали меня Измаил.

Смысл происшедшего мне неясен, как не был ясен, я понимаю теперь, и тем, кто раньше был здесь со мной. В нантакетскую гавань и дальше, до самой

катастрофы, мои спутники направлялись побуждениями, вырванными из всякой разумной связи; понадобились годы, чтобы почувствовать в себе это стремление, понять же до конца невозможно и теперь ни им, ни мне, единственному оставшемуся в живых свидетелю.

Чувство вины живет во мне незаметно, ничем не проявляя себя, но что иное может заставлять меня теперь то и дело отступать от истины? Что иное может служить причиной тому, что я постоянно пытаюсь поставить себя в один ряд с моими погибшими спутниками? Ведь в тот день, когда я появился на нантакетской пристани, ничто еще не отличало меня от обыкновенных жителей земли; решив сменить на время затхлость холостяцкой комнатухи на свежий океанский ветер и матросскую долю, я был весел и беззаботен. Ожидавшая меня в море работа не была мне в новинку и не пугала своей тяжестью — в общем, я чувствовал себя так, как чувствовал бы себя на моем месте любой молодой человек романтического склада, подающий порой страсти к приключениям. Я шел по усыпанной галькой и выложенной гнилыми досками набережной, насвистывая сквозь зубы, взбирался на деревянные помосты и подолгу наблюдал за суетой матросов, занятых погрузкой кораблей. Здесь я дышал полной грудью, и это наполняло меня радостью.

Я не спешил выбирать китобоец — корабль, на котором мне предстояло провести несколько лет. В гавани стояло несколько десятков судов, я пока лишь полюбовался каждым из них, их приземистой крестьянской статью. Это были самые обычные китобойцы, все, что нужно, было на них просмолено и покрашено, а команда занималась тем, чем ей положено было заниматься. Только один из них вызвал мое любопытство чем-то особенным — здесь не было такого гомона и толкотни, как на остальных. Корабль стоял на погрузке: человек пять переносили с берега в трюм тюки и бочонки, но эта обыкновенная работа выглядела как-то натужно, неестественно, потому что проходила в полном безмолвии и чрезмерной сосредоточенности. Люди, поднимавшиеся и спускавшиеся по сходням, не разговаривали, не подшучивали друг над другом, как это заведено у матросов всего мира. А когда пожилой матрос с бочонком на плечах споткнулся и не смог его удержать, бочонок упал, ударив по ногам идущего впереди, и я, конечно, ожидал услышать крепкую брань, но и тут ничего не произошло. Все остановилось на минуту, пока матрос с усилием поднял свою ношу, а затем, сохраняя молчание, двинулись дальше. Странное впечатление произвела на меня эта сцена, но и она недолго занимала мои мысли — слишком многое я успел уже в этот день увидеть. До заката я оставался в гавани, а после, усталым вернувшись в гостиницу, сытно поужинал и быстро уснул.

Последующие дни не принесли ничего нового. Каждое утро я отправлялся в гавань, поднимался на китобойцы, расспрашивал, но одни отправлялись на промысел еще не скоро, а на тех, что выходили в море завтра-послезавтра, команда уже была набрана; иногда помощники капитана, занимавшиеся набором команды, производили на меня столь неприятное впечатление, что я спешил распрощаться, хотя их условия вполне меня устраивали. Вечер за вечером я возвращался в гостиницу, так и не определив свою судьбу.

На корабле с безмолвными матросами ничего больше не происходило; каждый день проходил я мимо, но на палубе не видел никакого движения, казалось, что все работы на нем прекращены, и я решил, что подниматься туда не имеет смысла — все равно никого не найдешь. На борту его, почерневшем от воды и смолы, свежей белой краской четкими буквами без завитушек и украшений, какими так часто грешат моряки, было выведено: «Пекод». Я любил поэзию морских названий, фантазию, с которой щедро раздаются кораблям, вельботам, даже самой утлой лодчонке имена любимых женщин, случайных портовых подруг, богов всех стран света и просто резкие выразительные имена вроде этого, заставившего меня вспомнить сильные хищные клювы морских птиц, что часами парят над океаном, высматривая добычу, и поражают ее, молниеносно падая в воду, так что не успеваешь заметить мгновение, когда незадачливая рыба, решившая покормиться в благодатных слоях планктона и мелких водорослей или подставить свою темную спинку солнечным лучам,

окрашивающим воду в удивительный зелено-голубой цвет, вдруг оказывается в кляве не знающего промаха охотника и косит быстро мутнеющим на воздухе глазом на спасительную гладь воды, удаляющуюся все дальше, все безвозвратнее. Я зафотнил название.

Наступил день, когда мне стало понятно, что жалкий звон двух-трех монет, оставшихся в моем кармане, — ясное указание, что медлить и привередничать больше ни к чему, и я дал себе зарок, что сегодня, что бы ни случилось, вернусь в гостиницу уже зачисленным в команду какого-нибудь судна. Я разыскал на пристани одного из тех людей, каких много в любом порту, которые знают все и вся, что связано с морем, кораблями и моряками. Я объяснил, что ищу китобоец, который вышел бы в море возможно скорее и команда которого еще не полностью подобрана, сунул ему в руку одну из своих монет и поинтересовался, не сможет ли он чем-либо мне помочь: советом или знакомством? Внимательно и долго, исказив почему-то лицо, он меня рассматривал, потом, не сказав ни слова, показал рукой и пошел прочь, слегка прихрамывая. Я помню, что удивился тому, что не заметил, как он отвернулся: только что передо мной было его лицо со странной гримасой, а вот уже удалялась сутулая спина.

Я проследил направление его жеста и в изумлении увидел уже знакомый мне корабль. Я мог бы поклясться, что «Пекод» и не собирается выходить в море в ближайшие две-три недели. Уже в третий раз должен был я отправляться в плавание за китами и хорошо знал, какая суматоха царит на китобойце в последние несколько дней перед отплытием — ведь необходимо доставить на борт и разместить все, что только может понадобиться в течении двух-, а то и трехлетнего плавания. На «Пекоде» же, как и прежде, совсем ничего не происходило, и палуба его оставалась по-прежнему пустынной. Но я был молод (говорю «был», а здравый смысл, который и мешал мне сейчас, наверное, постигнуть суть моего положения, подсказывает, талдычит назойливо где-то вокруг рассудка: о чем ты, ведь это было совсем недавно), и это не насторожило меня. Однако на борт «Пекода» я поднимался, испытывая сильное недоверие к словам человека с пристани. Но поднявшись по трапу (трап был на редкость бесшумен, ни единого скрипа не раздалось, будто я проходил по ковру), я обнаружил, что китобоец не безлюден: из трюма, со стороны кают, доносились звуки плотницкой работы, а на палубе я увидел обструганные доски — внутри корабля что-то ремонтировали. Поднявшись на шканцы, я увидел круглый деревянный стол (еще обратил внимание, что под одну из его ножек подложена щепка — косолапый), на нем лежали листы дешевой желтой бумаги с какими-то записями да две толстые книги, а неподалеку — я заметил его потом, оторвавшись наконец от многих деталей, которые сразу бросились в глаза, — неподвижно стоял статный человек, одетый в штаны и куртку морского покроя, и не отрываясь смотрел в море.

Я остановился на почтительном расстоянии. Он был словно из камня, не делал ни малейшего движения, я видел его со спины, но был уверен, что и взгляд его так же неподвижен, как тело (между тем и море и небо были пустынно — ни кораблей, ни облаков). Тогда я подошел ближе, но и шаги мои, отозвавшиеся в палубных досках, не вывели его из оцепенения. Решиться нарушить его сосредоточенность было нелегко, ибо от этой погрузившейся в размышление или созерцание фигуры веяло внушающей почтение величием, но в конце концов я ободрил себя тем, что и сам пришел сюда не из праздного любопытства. «Сэр! — позвал я. — Сэр, вы меня слышите?» Он резко повернулся, и я прочитал испуг в его глазах. Он смотрел на меня в упор непонимающим взглядом, не мог, наверное, расстаться с миром своих дум, вернуться в мир земли и воды, и я сумел внимательно разглядеть его: это был человек не молодой и не старый — лет сорока, плотно сжатые тонкие женственные губы и выступающий вперед лоб выдавали недюжинную волю, глаза смотрели внутрь собеседника, словно пытались подробнее рассмотреть то, что скрыто в нем за переплетом кожи; в целом же лицо говорило о благородстве и еще — какими-то неуловимыми признаками — о доброте. «Сэр, — повторил я, — я хотел бы наняться матросом на это судно. Не найдется ли для меня места? Я иду в море не первый раз, умею все, что положено, и считался исправным матросом». Его взгляд стал

еще острее, он спросил мое имя, и я назвался. «Я — Старбек, старший помощник...— представился он и замялся,— старший помощник капитана». И замолчал опять. Весь наш разговор проходил так, после каждой фразы наступало молчание, он будто ждал, что я буду говорить дальше, но говорить-то мне было нечего — по-моему, и всех дел было занести мое имя в корабельную книгу да назначить день отплытия, и я повторил: «Мистер Старбек, я слышал, что на вашем судне нужны матросы, я хотел бы быть зачисленным в команду». «Значит,— ответил Старбек,— тебе все известно. Почему же ты не пришел раньше?» Это начинало действовать мне на нервы, и я взорвался. «Сэр,— почти кричал я, и Старбек поморщился,— мне ничего не известно, я даже не понимаю, о чем вы говорите. Я нуждаюсь в деньгах и потому ищу китобоец, который выйдет в море возможно скорее. В порту мне указали на «Пекод». Если же вышла ошибка, скажите, и я отправлюсь восвояси искать другой корабль, потому что мне не хочется дольше задерживаться на суше. Дурачить же меня и загадывать мне загадки ни к чему». «Да,— ответил Старбек, и свет в его глазах потух,— тебе действительно придется поискать другой корабль. Команда уже набрана, так что...»

Я заметил, что он, продолжая разговаривать со мной, смотрит уже мимо, в сторону лестницы, ведущей на мостик. Я последовал его взгляду и увидел то, что в первое мгновение заставило меня испытать настоящий ужас, как бывает в детстве, когда все ощущения обострены, а впечатления выпуклы и отчетливы. Я испытал не обычный человеческий страх перед чем-то, что может представлять опасность, а оказался на миг погруженным в другой, магический мир, где и привычные, повседневные предметы, скажем, стул или чайная чашка, вдруг обретают совсем иное, мистическое, необъяснимое значение. Там стоял человек весьма примечательной наружности. Он был одет в просторную хлопковую китайскую куртку черного цвета и такие же штаны. Его лицо, неподвижное, с четко обозначенными скулами, словно вырезанное из мрамора, нет, скорее из дерева, из какого-то темного тропического дерева, не было ни желтым, ни коричневым — цветом оно походило на темную медь с золотистым отливом. Голову, на которой были уложены заплетенные в мелкие косички черные волосы, смазанные каким-то жирным составом, венчал широкий белый тюрбан, еще больше оттенявший темноту его кожи. Но господствовали на этом лице, конечно, глаза. Они приковывали к себе, и не сразу поймешь почему, только потом я это определил: в них не было никакого выражения. Это не было осоловелой пустотой сытости и скудоумия, глаза его напоминали окна в неведомый мир, в бездну, заглядывать в которую и страшно и вроде бы ни к чему, а потому и притягательно так, что взгляд не отведешь. Признаться, никакое, даже самое подробное, описание не сможет дать о внешности этого человека достоверного представления. Но я уверен: если бы мне нужно было представить себе облик князя тьмы, то именно это лицо тут же всплыло бы у меня в памяти. Я так никогда и не узнал, откуда он был родом, но мне кажется, что происходил этот туземец с островов Индийского океана — Филиппин или Мальдив. И поныне роль его в нашем безнадежном плавании остается для меня загадкой, слишком уж он отличался от любого из нас. Но в том, что я испытал, впервые увидев его, теперь, с высоты своего положения, я вижу прообраз всего ужасного, что предстояло мне пережить в скором будущем.

Туземец, видимо, давно уже присутствовал незамеченным при нашем разговоре, поэтому когда Старбек обратился к нему: «Федалла! (Так звали этого необычного человека.) Этот молодой матрос хочет наняться на „Пекод“», — тот в ответ лишь коротко прошипел: «Знаю. Подойди ко мне, Старбек!» (Когда он раздвигал губы, я видел у него во рту один-единственный сверкающий белизной зуб, показавшийся мне огромным, прямо-таки исполинским.) Они бурно совещались о чем-то, Старбек внушительно жестикулировал, но говорил совсем тихо, а в шипении туземца было трудно что-либо разобрать, и я ничего не уловил из их разговора, хотя и стоял почти рядом. Я ждал и пытался понять, почему этот темнолицый Федалла позволяет себе так вольно и властно обращаться к самому старшему помощнику — второму человеку на корабле. Только в одном случае это было объяснимо, но неужели же этот живой призрак и есть капитан китобойца? Нет, я был уверен, что подобное невозможно, никогда мне не приходилось встречать на американском китобойце цветного капитана. Однако

цепь странных событий, сопровождавших все мои встречи с «Пекодом», достигла уже такой длины, что пробила брешь в стене юношеской самоуверенности, и я решил воспользоваться тем, что занятые беседой Старбек и туземец не обращают на меня ни малейшего внимания, и незаметно покинуть корабль. От греха подальше.

Я двинулся потихоньку к трапу, но старший помощник, обернувшись, остановил меня жестом. «Хорошо, — сказал он с неопределенной гримасой, — мы возьмем тебя. Ты получишь...» И тут он назвал долю, вдвое превышающую ту, которой довольствуются обычно матросы. «Но будь готов к тому, что промысел может... может несколько затянуться». Я опешил. Все опасения, появившиеся минуту назад, тут же вылетели из головы, и я уже считал, что на долю мне выпала величайшая удача. Я понимал, что предстоящее плавание будет связано, по-видимому, с контрабандой или другим незаконным промыслом — так бывало часто, никакой капитан не откажется от дополнительных барышей, если это не мешает добыче спермацета и не заставляет особенно рисковать. Матросы, которым удавалось побывать в подобном плавании, ходили потом на берегу королями, всем своим видом давали понять, что денег у них полны карманы, и помногу раз повторяли в кабаках свои рассказы. Слушатели завидовали и почитали их за счастливых. Доля же, названная мне, превышала даже ту, что платили обычно этим везучим. В душе у меня забился восторг удачи, знакомый всякому, кто хоть раз в жизни брал в руки кости или садился за карточный стол.

«Но ты, — продолжал тем временем Старбек, — должен сегодня же перевезти на «Пекод» свои вещи и больше уже не отлучаться с корабля до самого отплытия. Здесь много работы, и у тебя не будет времени разгуливать по берегу. Мы выйдем в море, как только все будет закончено. — Он показал рукой, и я понял, что он имеет в виду звуки, доносившиеся из трюма. — Если это устраивает тебя, я хотел бы, чтобы ты немедленно отправился за вещами. К закату ты должен вернуться. Иди». Далее полагалось занести мое имя в судовую книгу, и я задержался, ожидая этой формальности. Но Старбек будто забыл о книге, я собрался уже напомнить, но он опередил меня, поймав мой взгляд: «А, ты об этом. Иди, в этом нет необходимости». «Но, сэр...» — «Не волнуйся, Измаил, все, что тебе будет причитаться, тебе заплатят. Поспеши, тебе нужно успеть до заката». И он отвернулся, встал лицом к океану — так же, как стоял, когда я увидел его впервые.

Условие Старбека было мне не только не в тягость, но наоборот, пришлось как нельзя кстати. Хозяин гостиницы давно уже с подозрением поглядывал на меня, надеясь, видимо, хоть взглядом ощупать степень набитости моего кошелька, и его подозрительность не была лишена оснований. Перспектива же сменить сомнительный уют жесткой гостиничной постели, щедро дарившей свое покровительство изобилующим в ней насекомым, на полумрак матросского кубрика и легкое покачивание гамака была для меня скорее приятной, чем обременительной. Сундучок с небольшим количеством нажитых вещей я погрузил на тележку, пообещав хозяину, что попрошу кого-нибудь прикатить ее из гавани назад, рассчитался последними монетами и успел вернуться на «Пекод», когда солнце только коснулось верхушек желтых сосен на холме, полого спускавшемся к воде, к пристани. Я думал, что Старбек похвалит меня за точность, но он лишь мельком взглянул в мою сторону, увлеченный какими-то записями, которые, стоило мне подойти, испуганно прикрыл, как школьница любовную записку, одной из толстых книг. Старбек часто что-то писал, но теперь его записи исчезли. Я искал их, но безрезультатно, и никогда не узнаю, что завещал старший помощник грубой корабельной бумаге.

Я спустился вниз по узкой лестнице. В кубрике горела лампа и две свечи. Спускаясь, я слышал тихий разговор: говорили двое, один что-то доказывал, другой кратко отвечал. Со мной никто не поздоровался, на мое появление просто не обратили внимания, только прекратили разговор. Люди лежали в гамаках, подвешенных в два ряда друг над другом, большинство были раздеты по пояс, и в свете свечного огня тела белых казались мертвенно-бледными, тела желтых отливали золотом, а черное тело отражало огонек темной слоновой костью: здесь

были негры, азиаты, туземцы с далеких островов — в общем, самая обычная команда китобойного корабля. Кого только не подбирает судно на своем пути: перевернутые вельботы с выбравшимися на них еле живыми людьми; уцелевшие после кораблекрушения, которых, уцепившихся за обломок доски, зачастую сутками носит по океану; дикари, отнесенные в своих лодках в открытое море, — эти встречи обычны для китобойца. И все они принимаются на борт, никто не интересуется их прошлым, они вольны называть себя тем именем, каким считают нужным, и ничего о себе не рассказывать. Многие из этих дважды рожденных на свет человеков оседают навсегда в Нантакете, проводят большую часть жизни, добывая китов, лишь ненадолго возвращаются в гавань, где портовые шлюхи и владельцы кабаков быстро и ловко, за неделю-другую, перетягивают в свои кошельки содержимое их карманов, и опять отправляются в море на несколько лет. И самые дикие дикари зачастую остаются здесь, выучивают несколько фраз по-английски и чувствуют себя вполне в своей тарелке — из них выходят обычно хорошие гарпунщики. Вот и в кубрике под гамаком одного из тех, чья кожа матово темнела, почти сливаясь с окружающим полумраком, я увидел любовно начищенный, зловеще поблескивающий наконечник гарпуна.

Я немного постоял, но ничего не последовало. Кто-то со вздохом повернул голову, но даже не посмотрел на меня. Однако за этот день произошло столько такого, что требовало от меня объяснения, что на монастырское безмолвие в кубрике, где обыкновенно до поздней ночи не умолкает перебранка и морские рассказы, мне было уже в высшей степени наплевать — не хотят разговаривать, и Господь с ними. Я устал, мне пришлось изрядно набегаться за сегодняшний день, да и просыпаться я привык вместе с солнцем. Отыскав свободный гамак, я втащил в кубрик свой сундучок, поставил его рядом и лег, уповая на то, что у этого гамака действительно нет хозяина и какой-нибудь вернувшийся среди ночи гарпунщик не вытряхнет меня из него по-свойски на пол.

Потянулись обыкновенные будни. Первое впечатление — взгляд с берега, будто на «Пекоде» не было и нет никаких приготовлений к выходу в море, — оказалось ошибкой. По всему китобойцу шла напряженная, спешная работа, но люди старались делать все как можно незаметнее, таились от чужих глаз, друг от друга. Там, где можно было обойтись одному, работали всегда в одиночку, но делалось все быстро и споро — все матросы были бывальными моряками, и я, отправлявшийся в море уже ни много ни мало в третий раз, часто чувствовал себя просто юнгой, когда приходилось работать вместе с ними. Приятельских отношений я ни с кем не завел, да и не навязывался кому-либо в друзья; наши отношения с командой ограничивались короткими репликами, необходимыми в общем деле, — на «Пекоде» вообще говорили мало. Ну что же, сказал я себе, если подобралось такое общество, где ни у кого нет желания ни пошутить, ни излить душу, ни просто перекинуться парой слов, так в этом нет ничего дурного. Мне доводилось и на суше не перемолвится ни с кем по паре месяцев, и я не очень-то мучался от одиночества. А китобоец — судно невеликое, весь долгий промысел лицом к лицу с одними и теми же людьми, так что скорее они успеют мне опостылеть, чем станет не хватать их общества.

Уже давно на борту появились еще два помощника: Стабб и Флааск. Как и полагается помощникам, отвечающим за запасы и снаряжение, они носились по кораблю от бушприта до кормы и от киля до клотика, все подсчитывали, все проверяли, я ни разу не видел, чтобы кто-то из них стоял на месте. Федалла, встреча с которым оставила во мне такое сильное впечатление, с тех пор не появлялся, я высматривал его белый тюрбан, но тщетно; и от сердца у меня отлегло: может быть, не придется все-таки делить два года с этим посланцем дьявола тесное пространство корабля, может быть, беззубый туземец и не собирался отправляться с нами в океан, а все мои опасения были порождены слишком деятельным воображением? Дай-то Бог.

Мне задавали работу, я старался выполнять ее как можно лучше: мыл, строгал, драил, чинил, дважды в день получал немудреную пищу; а с заходом солнца спускался в кубрик, где все так же тихо было вечерами, и, утомленный, мгновенно засыпал. Кроме нас, матросов, на «Пекоде» работали и люди с берега.

Это они что-то делали в трюме и каютах, тщательно хоронясь от лишнего взгляда. Они поднимались на борт еще до восхода, а уходили с корабля уже ночью и короткий путь от трапа до спуска в трюм стремились преодолеть побыстрее, по-воровски жались к фальшборту, к стене. Раз мне понадобилось кое-что из плотницкого инструмента, и я подумал спуститься вниз, к ним, попросить нужную вещь на несколько минут, но дверь, ведущая в помещение, где работали эти скрытные мастера, оказалась заперта, и сколько раз я ни проверял впоследствии — никогда не видел ее открытой.

Настал день отплытия. Мы вышли на палубу, и Старбек объявил, чтобы все были готовы: через час «Пекод» отдает швартовы. Я удивился: на корабле все еще не появлялся капитан. То, что он не приходил сюда ни разу во время подготовки к промыслу, было вполне естественно: китобоец недолго стоит в родной гавани, люди стараются каждую свободную минуту провести либо с семьей, либо в развлечениях, которых будут вскоре снова надолго лишены, и капитаны, если они, конечно, доверяют своим помощникам, зачастую появляются на своих кораблях только перед самым отходом. Конечно, могло быть, что капитан уже здесь, что я просто не заметил, как он поднялся на борт, но существует традиция (а китобой очень опасаются нарушать свои традиции): капитан, прибывая на судно, знакомится с командой. Этого не произошло и, по-видимому, не предполагалось. Но Старбек распорядился делово, назначал вахты, и я забыл и об этой странности, еще одной в ряду многих. Все они с того момента, как я впервые увидел «Пекод», поднимутся в моей памяти позже; в море, в долгие часы спокойных ночных вахт я начну размышлять обо всем, что было со мной, и буду пытаться постигнуть истинную цель нашего путешествия.

Все мы — матросы и гарпунщики — сгрудились у фальшборта, перед нами стояли Фласк и Старбек, только что объявивший о скором отплытии. И тут заговорил один из матросов. Это был человек на рубеже расцвета и тех лет, которые называют преклонными, — лет пятидесяти. Он выглядел настоящим морским волком, всю работу по кораблю делал так споро и аккуратно, что за этим чувствовался недюжинный опыт, ему и задания давали самые сложные, самые важные. В команде были люди и старше, но и они относились к нему с молчаливым уважением и откровенно признавали за первого. Для меня было удивительно, что заговорил именно он, самый нелюдимый, наверное, из всей команды. За дни, проведенные на «Пекоде», я не смог узнать его имени и никогда не слышал от него ни слова, в лучшем случае он указывал на что-то пальцем, как некий китобойский Кратил. И сейчас, от неожиданности, его голос показался мне величественным, грозным и пророчествовающим, будто заговорил египетский сфинкс или древний оракул. «Старбек, — сказал он, — я долго думал. Я не иду». Старбек не изменил позы, ничем не проявил своего отношения к его словам, молчал. «Старбек, — повторил матрос, — ты слышишь меня? Я не иду с вами. У меня есть жена, она родила мне сына. И родит еще. Почему я должен идти с вами?» Старбек молчал. «Старбек, подумай, что с ними будет. Я небогат, я ничего не смог им оставить. Отпусти меня, Старбек, я не могу допустить, чтобы мои дети нищенствовали по дорогам». Опять без ответа. Тогда матрос вышел вперед и стал к нам лицом, рассматривая нас, словно выискивая единомышленников, но все стояли понуриив головы или принужденно смотрели в сторону, будто были в чем-то виноваты перед ним (теперь я знаю; какое напряжение сил требовалось каждому, чтобы пережить это мгновение, не сорваться, не броситься к трапу, к берегу, который вот-вот уже станет недосыгаем). Лишь я один смотрел в изумлении прямо на него, и он метнулся, стал напротив, впился глазами в мои глаза: «А ты как оказался здесь? Ты еще молод, зачем тебе отправляться в это безумное плавание? Что тебя тянет туда? Или ты еще слишком неразумен и ужас не сковывает твои движения? Но послушай тогда: уходи, уходи, беги, пока еще остается время!» «Я не понимаю, о чем вы, — пролепетал я. — Зачем вы говорите мне все это? Я нанялся на «Пекод» бить китов, как и все вы. Я не понимаю, почему мне должно быть так страшно, как вы говорите. Да если бы я и захотел уйти, то теперь никак уже нельзя, мы ведь вот-вот отчалим. И вы не можете уйти, ведь теперь некогда уже искать замену». «Ах да, ты же нанялся бить китов, как и все мы, — повторил он, и на губах его возникла больная, кривая усмешка. — Что ж, Бог тебе помощник. Но нет, ты врешь, ты сказал, что я не могу бросить

этот проклятый корабль. Это ложь, и ты не смел говорить мне этого. И мне нет дела, остался до отплытия час или минута, никто не может мне помешать послать к дьяволу ваш «Пекод» вместе со всеми вами. Отойди, Старбек, дай мне пройти!»

Старбек спокойно шагнул в сторону. Матрос сделал несколько неторопливых шагов, явно пытаясь показать свое превосходство, но потом бросился к трапу почти бегом — и, прежде чем ступить на сходни, вдруг остановился, будто натолкнулся на прозрачную стену. На него было больно смотреть: когда он обернулся, страшная мука отразилась в его лице, губы двигались, он мучительно порывался что-то сказать, но слова только клокотали в горле, я чувствовал, каким усилием он удерживает их в себе. Потом остановившая его стена будто поддавалась напору его тела, он провалился сквозь нее, как по другую сторону зеркала, быстро пошел, потом побежал прочь и скоро скрылся за постройками. Тогда я услышал очень тихий голос — говоривший, должно быть, не стремился быть услышанным: «Глупец, он решил, что теперь с этим покончено». Наверное, это был Фласк, он стоял ближе всех ко мне. Я обернулся, но лицо его оставалось безучастным. А рядом с ним — Старбек, сжавший губы так плотно, что они превратились в тонкую прямую линию, такой же спокойный, казалось, как и обычно. Но опустив нечаянно глаза, я вдруг увидел его руки: сведенные судорогой пальцы мелко дрожали. Вместо слов и лица, которые он так хорошо умел подчинить себе, только его руки смогли выразить в эту минуту то, что происходило у него в душе. И тут я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной со спины, будто маленькие иголки заскакали у меня по коже. Федалла. Его фигура не сразу проявилась в проеме двери, ведущей вниз, к каютам, — все тот же черный костюм и темная кожа почти сливались с мраком корабельного нутра, и только яркое белое пятно тюрбана различил я сначала. Он, наверное, давно уже стоял там, мы не замечали его, поглощенные разыгравшей сценой. Во мне будто что-то оборвалось: он снова был на «Пекоде», он не покинул корабль, он, теперь это очевидно, отправляется в море вместе с нами, — и страх в одно мгновение поднялся к самому горлу. Теперь все уже смотрели на Федаллу, знали, видимо, что тот должен объяснить нечто важное. И он произнес наконец, обводя всех медленным взглядом, с удовлетворением в голосе-шипении: «Быть готовыми! Капитан приказал — «Пекод» уходит».

Я встал на вахту, когда на океан уже опускалась ночь. Небо было ясным, с первыми звездами. Команда разошлась — матросы в кубрик, помощники в каюты, — только двое остались на палубе: я и второй помощник Стабб. Облокотившись на фальшборт, Стабб медленно курил дешевую сигару, а я держал штурвал, поглядывая на картушку, и размышлял обо всем, что случилось за эти дни. Выстраивая события в ряд, обнаружив во всем, что сопутствовало моему появлению на «Пекоде», присутствие скрытого смысла, некоей тайны, угадываемой в словах, поступках тех, кто встретился мне здесь, я был уверен, что промысел, в котором мне выпало участвовать, обычным не будет. Что стояло за этим? Преступление ли, прошлое или будущее, какой-то случай, известный команде, но тщательно скрываемый от посторонних, а может быть, просто добыча кашалотов в каких-то особых, опасных, запрещенных местах — изображение молодого человека рисовало самые красочные картины. И хотя ни одна из них не казалась мне достаточно реальной, я поспешил определить свою позицию в том, что происходило, и в том, что может произойти. Я думал о том, что понятие «преступление» неоднозначно. Если истинная цель нашего плавания не связана с угрозой чьей-либо жизни, достоинству, свободе — что ж, я буду даже рад почувствовать себя авантюристом, рад, что на берегу мои рассказы будут слушать потом разинув рот, как и сам я слушал еще недавно. Но если речь идет об убийстве и насилии — я должен стать на защиту тех, кому угрожает опасность, пусть мне придется в одиночку противостоять всей команде «Пекода». Так я четко определил, как мне надлежит поступать, и почувствовал облегчение. Уверенность вернулась ко мне, и подспудный страх, поселившийся в душе помимо моей воли, отступил, рассеялся. Я поднял глаза к небу и попросил Господа укрепить меня, если настанет тяжелая минута сомнения.

Вскоре мы вошли в промысловые воды, и теперь нам то и дело встречались другие китобойцы. Кто-то из них обрабатывал добытого кита, и на много миль

вокруг распространялся запах горелого китового жира; некоторые только-только, как и мы, пришли сюда и рыскали по океану, ожидая сигнала из «вороньего гнезда», когда дозорный заметит на горизонте первую жертву; другие уже возвращались домой, обойдя едва не весь свет, и здесь, поблизости от дома, задержались наполнить спермацетом пять-шесть оставшихся пустыми бочек.

Но движение «Пекода» не было похоже на их деловитую суету — «Пекод» не рыскал подобно другим, а шел уверенно вперед, почти точно на юг, и каждый день вахтенные помощники, возвращаясь из капитанской каюты, командовали лишь незначительные поправки к курсу и ничего больше. Простояв у штурвала не одну вахту, я стал замечать, что всякий раз, стоит кому-нибудь из них спуститься вниз, в лице у него появляется нечто такое, что невольно заставляло пробежать по моей спине волну мелкой дрожи, словно от холода. Я продолжал наблюдать: обратил внимание, что наш стюард никогда не относит в капитанскую каюту ни обедов, ни ужинов, и имел неосторожность спросить его об этом, но он посмотрел на меня как на зачумленного и старался с тех пор держаться от меня подальше. Самым же необъяснимым, не укладывающимся уже ни в какие догадки, было то, что на мачтах — в «вороньих гнездах» — не стояли наблюдатели. Неужели наше плавание вовсе не связано с добычей китов? Ведь первое дело для каждого капитана — лишь только корабль приходит туда, где есть возможность встретить кашалота, тут же, в любую погоду, в любое время суток, ставятся дозорные. Китобоец старается не пропустить ни одного кита, ведь никто не знает, как сложится промысел в дальнейшем: вдруг кораблю совсем не суждено больше встретить левиафана — и такое, рассказывают, случалось. Бывало, что после трехлетних странствий китобойцы так и возвращались в Нантакет с пустым трюмом. Но «вороньи гнезда» «Пекода» пустовали, а помощники все так же спускались вниз, так же возвращались на палубу и поправляли курс, будто все шло как положено. Между помощниками, гарпунщиками, матросами, обращая на нас внимания не больше, чем на гипсовые статуи вокруг нантакетской церкви, перемещался безучастный ко всему Федалла. За время нашего плавания я ни разу не видел, чтобы он чем-нибудь был занят; его любимое место было на полубаке: он стоял там, прислонившись к мачте, и не отрываясь смотрел в океан перед собой. Казалось, его задача и заключалась в неподвижности или безучастном перемещении между нами. Теперь я знаю: то, что Федалла был с нами на «Пекоде», — это очень важно, может быть, именно здесь и лежит ключ к ответу на вопрос, который только и занимает сейчас мои мысли. Но постигнуть истинный смысл этого знака — темнокожего беззубого знака, — нет, не могу.

Мы покинули воды, где китобойцы встречались нам не реже чем два раза на дню. «Пекод» уходил теперь на полном ходу все южнее и южнее, мы пересекли экватор и теперь, по моим подсчетам, находились уже где-то на широте Парагвая. Теперь уже никто, ни один корабль не пересекал нашего пути, и за долгие дни плавания ни разу не показалась на горизонте полоска земли. Несколько раз у самого борта поднимались из воды головы кашалотов, но и тогда никто не крикнул аврала и не бросился спускать вельботы. В конце концов мы попали в штиль, да еще в мертвом месте — не было даже слабого течения. Фласк каждую ночь по два раза выносил на палубу квадрант, потом подолгу сидел над таблицами, определяя наше местоположение, и всякий раз оказывалось, что мы не сдвинулись ни на милю. Было жарко, и матросы на ночь не спускались в кубрик — лежали, разложив постели прямо на палубе. Пока «Пекод» двигался, каждый был чем-то занят: чинили паруса, драили палубу, — волей-неволей приходилось перекидываться хоть редкими фразами; теперь же все будто перестали замечать друг друга, за целый день можно было не услышать ни слова. Странное зрелище являл собой «Пекод»: стоявший без движения посреди океана, он напоминал корабль мертвых, из тех, встречу с которым, случись она с моряком, он не может забыть до самого конца своей жизни. Никакого движения не было на палубе — люди лежали вповалку: кто смотрел в небо, кто зарывался лицом в набитую соломой подушку; лишь следуя за солнцем, люди изредка меняли места, выкраивая клочок тени от мачты или провисшего паруса. Так же текло и мое время, но когда мне случалось подниматься и проходить между ними, я чувствовал себя словно в мертвецкой.

К полудню четвертого дня ударили резкие порывы ветра. На «Пекоде» все пришло в движение. Старбек приказал поставить все паруса, и китобоец вновь помчался вперед прежним курсом, в то время как ветер становился все сильнее, а волны, обгонявшие корабль, все больше и больше. Это еще не было ураганом, но сильный шторм был уже неминуем. И вот пришла та первая волна, которая сумела накрыть корабль, прошла от кормы до бушприта. Я был на палубе — вода схватила меня, поволокла по доскам к страшному краю, за которым бурлила черная бездна. Я судорожно за что-то схватился и распластался, пытаюсь противоборствовать страшной силе, стремящейся воссоединиться с породившей ее стихией, погребенной под горой воды. Волна схлынула, и за короткую передышку перед следующей я успел поднять голову и разом охватил взглядом всю картину, расплывавшуюся в глазах из-за соленых капель на ресницах: на фоне черного неба матросы, одетые в белое, уцепившись за леера и рей, пытались свернуть колотящиеся паруса. На мостике уверенно, словно набегающие волны не могли причинить ему вреда, стоял Старбек. «Черт знает, как он там удержался», — подумал я. Рядом, обхватив руками стойку компаса, присел Федалла. Он что-то возбужденно кричал, выглядело это даже смешно, так несвойственна была возбужденность его лицу, но Старбек, казалось, не слушал, смотрел на мачты, запрокинув голову.

Новый вал обрушился на меня, сразу же за ним другой, а когда я пришел в себя и обрел способность видеть — не поверил глазам: паруса, которые матросы только что пытались убрать, теперь вновь закрепились. Были сняты только добавочные, все главные оставались на своих местах, надувшись куполом под ураганным ветром. Это было самоубийство. Мелькнула мысль: это сумасшедший, сумасшедший командует нами. Ударил новый порыв, и я, решив, что «Пекод» сейчас неминуемо перевернется, приготовился к смерти и начал, запинаясь, читать короткую молитву. Но произошло чудо — корабль устоял. С ужасающей скоростью китобоец неся по ревушему, дыбашемуся водяными скалами океану, обгоняя волны, готовые в любую минуту начисто снести все с его палубы. Это было движение на грани гибели, ветер так кренил корабль, что я каждую минуту ждал: вот-вот — и «Пекод» ляжет на воду. И все же китобоец всякий раз как-то выравнивался, выкарабкивался из волны и летел дальше, то взбираясь на валы, то проваливаясь в пучину, почти скрываясь под водой, и тогда по обоим его бортам вырастали черные водяные стены. С палубы казалось, что они поднимаются до самого неба.

Первым погиб Фласк. Остаток дня и всю ночь вся команда провела на палубе, противопоставив свои жалкие силы великой мощи океана. Когда же наступило утро, ветер достиг неопишуемой силы. С оглушительным треском разорвался грот-марсель. В это мгновение мне показалось, что Бог не совсем оставил нас: единственный шанс на спасение виделся мне в том, чтобы отпустить в море по ветру все поставленные паруса и отдаться на волю волн. Это теперь я понимаю, что в решении оставить на мачтах всю оснастку тоже была своя мудрость. Но это была мудрость сумасшедшего — только сумасшедший мог бы отважиться на это. «Пекод» обгонял огромные волны, и именно это, несомненно, не дало ему превратиться в щепки под ударом какой-нибудь из них, но ни одному моряку в здравом рассудке подобное не пришло бы на ум. Разорванный парус бился на мачте равномерно и безнадежно. И тут сорвался фок-рей. Упав на палубу, он убил, а может быть, только оглушил Фласка. Мы бросились к нему, но накрывшая «Пекод» волна не дала нам приблизиться, а когда вода схлынула, на палубе его уже не было.

Другим концом рей висел на такелаже, и полотно паруса металось по палубе от борта к борту. Двое матросов и гарпунщик пытались совладать с ним, долго угадывали его движение, чтобы приблизиться, но в какой-то момент ветер резко сменил направление, парус хлопнул, и я даже не заметил, как они были сброшены в пучину. Все это происходило очень быстро, так быстро, что я не успевал осознать происходящее, не успевал почувствовать ни страха, ни холода неминуемой гибели.

Корабль, лишившись двух парусов, потерял скорость, и гигантские валы настигли его. Это был ад. Лишь только палуба показывалась из воды, как снова

тысячи тонн обрушивались сверху, угрожая раздавить, разнести китобоец. Мне думается, что в эти первые секунды погибло не меньше половины команды — все, кто не успел хоть за что-нибудь схватиться, удержаться. Мне не суждено было больше увидеть ни Стабба, ни двух темнокожих гарпунщиков.

Меня, оказавшегося, когда пришел первый вал, беспомощным и беззащитным, вода подхватила, ударила обо что-то, и потащила туда, к гибельному краю. В моей памяти в то время, когда я уже чувствовал, что воздух в груди кончается, а отчаянные попытки за что-нибудь уцепиться, задержать это движение, ни к чему не приводят, вдруг всплыло: «И рассеет его, и подвергнет одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Но провидение вновь не позволило мне сгинуть: в самый последний момент, когда все мое тело и ослабевший разум предчувствовали уже последнее предуготованное мне падение, в руку мне попался канат, часть оборванного такелажа. Я судорожно сжал кисть, чувствуя, как вода заливает мне легкие, из последних сил попытался подтянуться подальше от борта, но канат начал разматываться. Оказаться сейчас в волнах с веревкой в руках или без нее — исход один, и конец мой был решен. Но тут напор воды стал ослабевать, и вскоре я уже смог глотнуть воздуху. Волна уходила. Это уже запоздавшие ее щупальца тянулись, уходя с палубы, растекались в разных направлениях. И меня не унесло за борт, а откинуло прямо к двери, к лестнице в трюм, в кубрик. Я поднял голову и увидел «Пекод», выбирающийся из волны, как всплывающий левиафан, кое-где людей, тех немногих, видимо, кто был еще жив: кто на палубе, кто на мачтах, они цеплялись за канаты, за выломанные доски, за все, за что можно было схватиться.

В моем мозгу возникла ясная мысль: я опять беззащитен, следующая волна принесет с собой мою смерть. «Спасайся, спасайся!» — все закричало внутри, и, видя уже новую водяную гору, нависшую над кораблем, я рванул дверь на себя, втиснулся внутрь, привалился к двери спиной и закинул скобу. Новый удар потряс «Пекод», и я кубарем полетел вниз, разбив лицо о ступени. Было темно, я ничего не видел, но был уверен — здесь никого не может быть, в шторм никто не спускается внутрь корабля; если судно гибнет, у тех, кто на палубе, есть, пусть призрачная, надежда спастись: уцепиться за обломок, удержаться на воде, надеясь на подмогу, — находящиеся же в трюме обречены. Не следовало и мне тут оставаться, нужно было выбираться наверх, но я решил дать себе несколько минут отдыха. И здесь, где было тепло и сухо, на меня навалилась усталость. После полутора суток борьбы за существование, расслабившись лишь на несколько мгновений, я не смог уже двинуть ни рукой, ни ногой и хотя убеждал себя, что нужно перемочь слабость, подняться на палубу, к воде и ветру, но уже все глубже и глубже погружался в черное пространство сна, сродного с беспмятством.

Сколько я спал — не знаю. А когда проснулся, вспомнил все (где я, что значат тяжелые удары в борт), то изумился — еще жив. Пошатываясь, теряя равновесие из-за головы, казавшейся непомерно легкой, я вскарабкался наверх и попытался открыть дверь, но она не поддавалась. Разбитое тело ныло; сжав зубы, я снова и снова пихал дверь плечом. Наконец она чуть двинулась, открыла узкую щель, и в нее сейчас же ударила брызгами вода, выплеснулась на разбитое, окровавленное лицо, и я чуть не взвыл от боли. В конце концов я сумел расширить щель настолько, что смог протиснуться наружу. Поперек двери лежало тело мертвого матроса — оно и не давало ее распахнуть. Я попятился от обезображенного трупа и не сразу обратил внимание, что буря заметно утихла: волны накрывали палубу уже редко, и силы их не хватало на то, чтобы сметать все на своем пути, как раньше. Почти все паруса «Пекода» были оборваны — некоторые унесло в море, другие болтались и хлопали на ветру, превратившись в куски истрепанного полотна; вся палуба была завалена обломками, расщепленным деревом, отовсюду торчали выбитые, изломанные доски. Вдобавок все было опутано скрученными и спутавшимися такелажными канатами. И среди этого хаоса, около бизани, я увидел Старбека и Федаллу.

С трудом пробираясь между обломками, я пошел на корму. Они что-то кричали друг другу, пересиливая ветер, но замолчали, стоило мне приблизиться.

Я услышал, и то смутно, только последнюю фразу, нечто вроде: «Ты должен повиноваться, Старбек!» Я обратился к старшему помощнику: «Сэр, скажите ради всего святого, остался ли еще кто-нибудь живой здесь, жив ли наш капитан? Если да, спустимся к нему, мы должны решить, что делать для нашего спасения. Нас четверо, только четверо здесь, посмотрите, ведь больше никого не осталось, сейчас не время для таинственности». Он ответил очень спокойно: «Конечно, ты прав. Но незачем идти туда всем, сейчас кто-то должен оставаться на палубе. Что ж, Федалла, иди». И Федалла пошел, пробираясь, как и я только что, между обломками крушения. Однако хаос, царивший на палубе, казалось, не мог помешать его движению, он шел будто не по качающейся заваленной палубе, а по воздуху, над ней, ни разу не посмотрел себе под ноги, держал голову прямо, как всегда, словно все вокруг шло привычным чередом. Он скрылся за дверь, проскользнув в оставленную мною щель, не обратив внимания на труп под ногами, через который переступил безучастно, как через кусок дерева. Я присел на палубу; сверху то и дело окатывало водой, но мне было уже все равно. Старбек сзади прислонился к мачте, смотрел никуда, перед собой.

Наконец из дверного проема появилась черная фигура. Как я надеялся, что их будет двое! В эту секунду я понял, не рассудком — рассудок мой давно уже молчал, — а чем-то более глубоким и важным вдруг понял, что участь наша давно уже была решена. Старбек тоже весь подался вперед, я спиной ощущал его напряжение. Федалла видел это. Он выдержал величественную паузу, вытянул руку, выставив указательный палец в ту сторону, куда двигался «Пекод», и расхохотался властно, победно, жутко — наслаждался, видимо, минутой своего торжества. Смеялся он медленно, медленно раздвигал губы, медленно обнажал свой единственный зуб. Меня трясло: не от страха — от холода, могильный холод пронзил меня. И в это мгновение, подломившись почти у самого основания, начала медленно падать стена — точно на то место, где он стоял и хохотал. Я закрыл глаза. Раздался треск, удар, за борт полетела щепка, куски дерева — и все было кончено. Я бросился было туда: быть может, туземец еще жив и нужно помочь ему выбраться, не дать унести в море его безжизненное тело, — но Старбек удержал меня: «Не надо. Он мертв». И я согласился с ним без колебаний.

На меня напало полное безразличие ко всему. Нужно было что-то делать, думать о том, как избежать участи остальных, но я сидел, привалившись к сломанной мачте, и не мог заставить себя двинуться с места. С другой стороны сидел неподвижный Старбек и что-то бормотал, но я не хотел прислушиваться. Должно быть, он был безумен. Впрочем, не знаю. Наконец старший помощник хрипло рассмеялся, и речь его стала громче и отчетливее — тогда я понял, что он обращается ко мне. «Ну почему, — говорил Старбек, — не могу, не могу понять, почему именно ты? Ведь ты был похож на слепого котенка, который никак не может попасть мордой в миску. Все, все, кто был на этом проклятом корабле, — я знал каждого. Через сколько лет душевной муки, через какой страх прошли они, прежде чем собраться на «Пекоде». Ты думаешь, это не жутко — заставить себя отказаться от всего, чем обладаешь, и ради чего!.. И тут появляешься ты. Если бы не Федалла, никогда бы тебе не идти с нами, он настоял, чтобы я взял тебя. Ты, не способный ничего понять, — да и откуда тебе было узнать это самому, ты был настолько смешон, нет, ты был позорен для нас, нам становилось стыдно за себя самих, потому что мы были с тобой рядом! А теперь все они там, в океане, а ты... Ты остался. Почему ты остался живым?» «Старбек, — попытался я успокоить его, — не надо впадать в отчаяние. Шторм утихает, возможно, мы еще сумеем спастись. Нужно идти к капитану, ему наверняка нужна наша помощь, иначе он давно бы поднялся на палубу. Ведь он же там, в каюте, вы же все время ходили туда к нему, а, Старбек?» Он повернулся и уставился на меня в изумлении — теперь я уже не сомневался, что он сошел с ума. «Так ты что же... ты так ничего и не понял? Да нет, ты не мог... Неужели ты и вправду ничего не понял? — Тут он опять расхохотался. — Тогда слушай! Наш капитан никогда не поднимется на палубу. Не дай тебе Бог, если он поднимется сюда. Ты хочешь видеть его — что же, иди к нему сам, посмотри. Он там, внизу. Давай, иди, хватит, пришло твое время!» Я понадеялся, что с ним ничего не случится, пока меня не будет рядом, и пошел. На темной лестнице опять поскользнулся, ударился коленом. На «Пекоде» капитанская каюта была

расположена необычно — не в приспособленной для этого кормовой надстройке, а внизу, в отгороженной части трюма. Туда был сделан удобный спуск, все было оборудовано как подобает, и все же место было выбрано странное, отнюдь не лучшее. Я думал, что дверь будет, как обычно, заперта и придется в крайнем случае ее высадить, — но нет, она подалась, когда я толкнул. Я вошел и ничего не мог сначала различить — было совсем темно. Ощупью я нашел настенный канделябр со свечой и коробку с селитряными спичками, чиркнул, зажег огонь. А когда обернулся, в первое мгновение мне показалось, что падаю в бездну, и я в ужасе прижался к переборке. Пол этого оказавшегося совсем пустым помещения был прозрачным, стеклянным, наверное, по ту сторону холодно чернела океанская глубь. И оттуда ко мне, к днищу «Пекода», к этому окну в пучину медленно поднималось огромное белое пятно — гигантская, с ужасными рубцами, обезображенная следами встреч с десятками направленных в нее когда-то гарпунов голова Белого Кита.

«И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». В душе моей нет страха. Страх не успел поселиться в ней раньше, а теперь для страха во мне больше нет места. Давно уже исчез Старбек. Я задремал однажды, а когда проснулся, уже не мог его найти. Я думаю, он сам ушел в воду, ведь ураган к тому времени почти утих и его не могло бы смыть волной. Я понимаю его. Я помню — как-то раз на вахте я подслушал, как он говорил сам себе: «Нужно всех простить перед смертью. Жаль, если не удастся попросить прощения у всех». Прости меня, Старбек!

У меня не осталось ни компаса, ни каких-нибудь навигационных приборов, поэтому я не могу определить свое местоположение, да вряд ли, я думаю, из этого что-нибудь бы и вышло. Я давно не спускался вниз, но знаю: наш капитан здесь, это он ведет «Пекод» так уверенно в место, известное только ему одному.

Давно уже молочного цвета небо надо мной светит все время одинаковым ровным светом, море будто из ртути. Долгое время я был совсем один, но теперь все чаще и чаще я вижу, как то там, то тут пускают свои фонтаны исполинские кашалоты. И все так же ровно и медленно движется «Пекод», все дальше унося своего единственного пассажира в направлении, которое некогда было югом.

Читайте в ближайших номерах:

ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС

Потерянный рай

Эмиграция: попытка автопортрета

Фрагменты книги

* * *

Эту книгу мы писали десять лет назад, уже тогда подозревая, что увлекший нас феномен третьей волны российской эмиграции так эфемерен, что нуждается в немедленном запечатлении...

Мы — последние. За нами никого, ибо четвертой волны уже не будет, будет постоянный эмигрантский прилив, равномерно омывающий берега Запада.

Но это уже совсем другая история, которая не имеет отношения к нашей — недолгой, но бурной.

Петр Вайль, Александр Генис.

Нью-Йорк, апрель 1992 года.

МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ

*

НА СМЕРТЬ ЛОЛИТЫ

...стоя на высоком скате, я не мог наслушаться этой музыкальной вибрации, этих всплесков отдельных возгласов на фоне ровного рокотания, и тогда-то мне стало ясно, что пронзительно-безнадежный ужас состоит не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в этом хоре...

«Лолита», часть II, глава 36.

...за то что ты взял грешника врасплох
за то что взял врасплох
за то что взял — как бражника ослепшего:
плюх-плюх от вспыхнувшего света —
и увяз в кисейной занавеске
в темноту спасительную порываясь
сквозь мучительную радугу в очах
и все сползая все сполза...

И здесь,
за крылышки мучнистые берясь
двумя перстами: властно — на правах
Спасителя, брезгливо — на правах
Создателя, и скорбно — на правах
Судьи, чтобы вначале рассмотреть
задумчиво — откуда что взялось? —
тут, на свету, а после — отпустить...
За то, что улизнуть не удалось, —
я должен умереть.

* *
*

Эта примета

забытая в детстве на даче меж окон,
наспех крестом заколоченных, — кончилось лето:
прах мотылька-полуночника, сплюснутый кокон

бедной сильфиды,

рыжая хвоя сосновая,
мертвенный запах рассвета...

Знать бы, что это —

мне нынче зимою приснится

в ночь полнолуния в грохочущем поезде в длинном туннеле:

* *
*

Кто мне ломит грудь и крошит суставы,
хлопает крылами — точно рубаха,
на веревке сохнувшая,
с размаха ударяет в пах
туго зашнурованным башмаком армейским,
дышит перегаром,
песком аравийским скрипит на зубах?

Все, что я имел,
перейдя через реку вброд, я на чужом берегу оставил;
улав от потерь,
в предрассветный час посреди пустыни
слышу будто издали: кто-то стонет
и скрипит постель.

Это ты, постылое мое тело,
глеешь и смердишь на одре дощатом:
всего, что просило, нынче с избытком ты лишено...
Так о чем еще
напоследок молишь?

— Ничего не надо, одно всего лишь,
всего лишь одно:

ты, моя душа,—
в этот час боренья, в этот час падения, рассыпая
свое белоснежное оперенье,
снежные свои
хлопья распыляя по чистому полю,—
прежде чем тебя отпущу на волю,
прежде чем навек разожмутся руки,—
не спасай меня от нездешней муки!
Но благослови.



ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ

*

БАЛЛОНЧИК

Попытка дискурса

Мне привезли из Германии газовый баллон. Конечно, я мог бы купить его здесь; но к кому обратиться? И потом, говорят, сейчас можно нарваться на уже использованный, заправленный вторично дихлофосом. Итак, у меня появился баллон, с ним моя жизнь пошла по-иному.

Не снаружи. Я как был человек, человек, таким и остался. Все то же — и лицо, и одежда, и, пожалуй, мысли.

Кроме души. В душе что-то сместилось. А это смещение, внешне ничего не меняя, меняет все. Помню, как знакомый поэт, дотоле голь перекатная, феноменальная пьянь, впервые попал за границу и угодил сразу в Париж: всего через месяц вернулся он оттуда совершенно тем же — и совсем другим. Разумеется, это был все тот же ханурик, употреблявший все те же слова-паразиты и те же немногие напитки, но на нем был дорогой пиджак «босс», купленный на Блошином рынке, да еще прежде жалкую свою шею он склонял на правый бок, а теперь перестал. Он держал теперь плечи расправленными в своем пиджаке, а голову прямо. И все. Он не написал за год ни одной строчки лучше своих прежних, а может быть, и вообще ни одной строчки, но это был уже другой человек, другого достоинства. И когда он пил все те же немногие напитки, чувствовалось, что он уже знает о существовании других напитков, совсем других. Он изменил отношение к себе самому, и это передалось окружающим; и жизнь его с той поры, не меняясь по существу, изменилась во всех отношениях.

Так и моя жизнь изменилась с появлением этой штучки. Ибо я увидел и себя и все совсем по-другому.

Он понадобился мне для безопасности. Как и всем. Моя жизнь определена одним неистовым, всеобъемлющим, хотя чаще всего бессознательным или полусознательным тяготением к без-Опасности. Моя квартира — выгородка безопасного пространства из угрожающего, безумного в своей продуманности космоса. Моя работа — выгородка порядка из хаоса окружающей жизни. Я ищу жену и с ней сочиняю ребенка, то есть иду на серьезнейшее осложнение жизни, дабы умножить крайне небольшое число людей, которым всерьез есть до меня дело, которые, окружая меня стеной, иллюзорно, но до поры до времени действительно загораживали бы мне равнодушную бездну. Я приобретаю книги, окружая себя лишь на треть прочитанной библиотекой, главное назначение которой — исполнить нечто более важное: облечь меня пленкой вневременной вечности культуры, броней, дополнительно защищающей меня в жизни, осажденной со всех сторон смертью.

Разумеется, поскольку жизнь не только сопротивляется смерти, но и тяготеет к ней, я в сильной степени наделен и инстинктом саморазрушения. Я пью, курю, пускаюсь в разные житейские авантюры, конфликтую с начальством. И, однако, я бессознательно стремлюсь как-то приручить, одомашнить этот инстинкт, ограничить его. Упоения в бою я ищу на краю бездны, высланной матрасиком. Пью не запоем, знаю меру, которую редко перехожу, курю сигареты с фильтром, оставляя большие окурки; вступаю в борьбу с начальством, потому что в грош не ставлю свою работу и потеря ее не разобьет мне жизнь.

Насилие — единственное, чего я боюсь. В боязни все равны; это иллюзия, что есть люди смелые, а есть трусливые. Люди есть люди, просто каждый из нас подключен к своему источнику страха и чувствителен именно к нему. Я знал в Питере одного щедедушного музыканта, который почему-то совершенно не

боялся высоты. Патологически не боялся и потому подрабатывал чисткой косых острых крыш огромных зданий в стиле северного модерна на Петроградской стороне. Он боялся всего, только не высоты: спуститься с шестого этажа по канату, на котором висела люлька для фасадных работ, было для него пустячным секундным делом.

Я боюсь только насилия. Потому что все остальное оставляет меня живым и невредимым. Насилие же ставит целью убить меня. Предварительно искалечив. Но даже если ему и не удастся меня убить — ведь идеал достижим не всегда, — то уж унизит и искалечит оно меня обязательно.

Оно обязательно прорвет мою целостность, безобразно нарушит полноту моей духовной формы, гадко обдерет и растопчет мое совершенство. Да, совершенство; я настаиваю на этом слове. Пусть падшее, пусть искаженное, но и в искажении проступающее совершенство. Ибо все, что совершенно, тем самым совершенно. Не будучи совершенно, живое не могло бы быть вызвано к жизни. Не будучи совершенным — полным, круглым, — не могло бы жить. Нам только кажется, что такой-то уродлив, смешон, безумен, гадок; на самом деле он просто несет в себе иную, незнакомую нам формулу совершенства. Все живое совершенно, а я живой. И я не такой плохой. То есть я-то плохой. Я бываю туповат, черств, эгоистичен, скандален. Мои притязания смешны, выходки непростибельны. Я тираню своих близких и равнодушен к их страданиям из-за меня. Но я пропущу женщину с ребенком в автобус впереди себя. Я люблю смотреть вверх и могу отыскать на небе Полярную звезду. Я даже знаю, где именно родился Тициан и две предполагаемые даты его рождения.

И я верю в Бога. Не настолько, увы, чтобы следовать всем Его заповедям, но настолько, чтобы всем сердцем чувствовать: заповеди Его прекрасны и прекрасней их только Его крестная смерть и воскресение. Верю настолько, чтобы испытывать стыд за то, что Он за меня умер, а я живу, верю в Него — и не соблюдаю Его заповедей.

Я безмерен и исключителен, как все без исключения люди, включая уголовников и партийных руководителей. Я — это целый мир, где всего много, самого хорошего и самого дурного. Знаю, это звучит банально; в том-то и беда, что правда всегда банальна, а люди всегда хотят чего-то новенького; впрочем, и это банально. Да, безмерен; и, однако, эта безмерность Кем-то вымерена и заключена в тесную оболочку, ограничена таким небольшим и невзрачным телом. Почему-то последнее обстоятельство для меня особенно драгоценно. Это чудесное ограничение неограниченного по своей природе, это изящество мысли, заключившей необъятный мир в небольшое тело, заставляет понять без слов: безмерное не есть безразмерное. Оно живет по иным пространственным законам, выразить которые мы бессильны.

Я ценю в себе это постоянное усилие безмерности, туго распирающее тесную оболочку тела, наполняющее каждую клеточку рвущейся наружу душой. Я дорожу каждой трепещущей клеточкой, ибо она заряжена душой. Мое тело — одушевленное тело. Но еще более дорожу я ненарушимой непрерывностью душевной жизни, которую обеспечивает облекающий скафандр тела. Непрерывность формы — для понимающего этим сказано все.

Впрочем, не знаю, поймете ли вы меня, будете ли со мной заодно, если я скажу, что мне, например, ненавистны прозрачно-белесые гольфы, или получулки до колен, или как их еще там, которые недавно носили наши женщины, а может быть, носят еще и сейчас (я почти перестал следить за тем, что у наших женщин на ногах). Ненавистны потому, что прозрачность их сохраняет форму ноги, не переводя в иное эстетическое качество, а край гольфа перерезает ногу под коленом, пересекает непрерывную текучесть формы, и наше зрение неприятно раздваивается: мы видим одновременно и женскую ножку, воспетую тем, кто дорогой ценой купил это право, и солдатскую лапу в почему-то прозрачном и светлом кирзовом сапоге...

Остро чувствую непрерывность в себе и потому со-чувствую и дорожу ею в другом. Ни за что на свете не мог бы я нарушить эту божественную полноту и непрерывность внутренней жизни во встречном. Я боюсь даже окликнуть его, спросить о чем-то: ведь это случится с ним так внезапно, так неожиданно, это прервет поток его мыслей, больше — его интуиций, может быть, безотчетно ведущих его к самому главному... И тут я влезу! И тем более не мог бы я ударить человека или проткнуть скафандр его тела. Когда мне приходится похлопать кого-нибудь по плечу в очереди, чтобы сказать: «Вы уронили три рубля», — или

еще что-то, я чувствую, как подушечки пальцев слегка вминаются в мягкое и останавливаются, наткнувшись на кость, и болезненно содрогаюсь. Изю всех сил не хочу я этого проникновения в чужое тело.

И во сто крат более не хочу, чтобы кто-то посторонний проник в мое. Не приемлю этого даже в столь желанной многим форме добровольного, что называется, поллюбовного соглашения, которое официально, но, как ни странно, совершенно правильно именуется случайной связью. Именно потому не хочу случайной связи, что она связь; а связь, теснейшая физическая близость, не может быть случайной, она — важнейшее и самое загадочное на земле: взаимопроникновение, смешение, с-двоение тел и душ дотолы отдельных людей. Людей, созданных для раздельной смерти, значит, казалось бы, и для раздельной жизни. И это смешение, стоящее на грани противоестественного, есть настоятельное требование естества. И такую лишь по видимости простую, а по существу смутную, странную и чрезвычайно серьезную вещь мы не можем (а если можем, то горе нам) делать случайно, превращая связь — диффузию, перетекание своего тела в другое, частичную жертву своего тела и души — в нечто, подобное верховой езде или акробатическому этюду. Сделать это с первой подвернувшейся женщиной, то есть одушевленным предметом, хотя бы и привлекательным внешне, но совершенно законченным, заколоченным в свою оболочку, для меня все равно что по собственной воле предпочсть привычному, пусть одинокому существованию в изолированной квартире — комнату в коммуналке. Нет, для этого нужен человек, женщина: иное и потому влекущее существо, но такое, которое я ощутил бы продолжением незаконченного себя, как тело не может быть нормально законченным без какой-то существенной его части. Я должен буквально осознавать женщину сотворенной из моего, из меня вынутого и недостающего мне ребра. Только это превращает ненормальное и неприличное — а ведь я с детства знаю достоверно, что это ненормально и неприлично, — в естественное.

Но тогда — сколь же гадко насильственное проникновение в тебя? Какой-нибудь мускулистый скот или стадо сопливой мелюзги, слишком толстокожей, чтобы чувствовать неповторимость собственной жизни (а уж чужой-то и подавно), спугав свою недоступную их чувствам безмерность с безразмерностью самоутверждения и захмелев от нее, подойдет к тебе, как ты когда-то в детстве к паучку, чтобы оборвать по очереди его лапки, наблюдая, как смешно он пляшет, примерится к тебе как к движущемуся и тем привлечшему его внимание предмету, к мишени, — примерится и запросто прорвет твой скафандр, осквернит храм твоего тела, унизит Божий образ, напечатленный на тебе, как бы низко ты ни пал. Все дело в этом. Конечно, кто ты такой, чтобы тебе не набили морду, не заехали в рыло, не дали по хлебальнику (примерно так они называют человеческое лицо, стихийные бахтинианцы). Ты же не Толстой, не Леонардо да Винчи; а если бы и Леонардо, невелика разница и с точки зрения Бога, и с точки зрения этой шпаны (хоть и по разным причинам). Так что смирайся. Но ведь обидно не за себя, не только за себя; обидно за Божий образ, божественное достоинство, мною утраченные, но ведь не до конца, не до конца! — и вот их х-то во мне попирают безнаказанно... Непереносимо. Как всякое извращение, это вызывает во мне болезненное содрогание еще до того, как произойдет.

Ты слышишь хруст носового хряща, и ощущение нечеловеческой, зверской боли входит в тебя (это боит тебя — ногами по лицу — двое в пустом вагоне полуночного трамвая № 11 где-то между 1-й и 3-й Парковыми), чувствуешь, как уходит под диафрагму живот и не хватает воздуха (это лупит тебя старшекласник в школьной уборной), тебя разрубают надвое простым ребром ладони (это ломает тебе ключицу молча, без предупреждения подвыпивший «синий берет», стоящий на остановке); ты собираешь в едином предчувствии все случившееся с тобой и множишь на двадцать, когда темным вечером видишь перед собой... Квинтэссенция многих видов битвы, физического искажения порядка твоего мира. Как это ужасно — и как невыносимо легко.

Насилие. Оно окружает меня как воздух; оно доносится из прошлого. Говорят, наш век — век насилия. Ну да, как и всякий другой, только еще сильнее. Оно вечно, как — со времен падения человека — вечен материализм. Ибо насилие и есть главное дело материализма. Со времен Каина до наших дней — кто сочтет, сколько пролилось крови? И всегда по одной причине: убийца, с его точки зрения, вовсе не уничтожал безмерный мир, отмеченный печатью высочайшего, божественного, не нарушимого людьми достоинства, но всего-навсего

го — устранял мешающий ему предмет путем умелого, профессионального (и тем с материалистической точки зрения уже оправданного) попадания в цель. Убийца — за исключением чисто психопатологических случаев — всегда был всего лишь целесообразен. Психологически он запросто, как умеет опять-таки лишь прирожденный материалист, трансформировал безмерность в отмеренность, вводя какой-нибудь произвольно взятый, но ему родственный, интимно чувствуемый показатель: жертва вымерялась, без остатка исчерпывалась тем, что была знаком-носителем той или иной идеи, веры, нации, класса, порока — или просто пола.

Вот что отличает материалиста. Со школьной скамьи затвердив, что вселенная бесконечна, он на деле не понимает бесконечности хоть чего-нибудь и стремится свести ее к конечному; а последнее присвоить себе. Он не может пройти мимо живой и живущей сама по себе вещи, особенно если эта вещь привлекательна или отличительна. И он насилует женщину, гонит и бьет мыслящего и живущего на свой лад. Познание есть овладение, обладание. Но для него овладеть значит попользоваться, разломать, испортить; овладение для него есть то, что достигается извне, прямым, зримым усилием силы.

История пропустила сквозь себя феноменальное количество хулиганья. Хулиганы, претендующие на роль великих мужей, двигателей и светочей истории (и зачастую нахрапом занимающие это место на страницах учебников), не переводились в ней и не переведутся, по всей вероятности, никогда. Они — ее общее место. Но не в них одних дело; дело и в тех, кто нам куда более дорог, — во всяческих рыцарях Печального Образа, воителях за правое дело с мечом в руках, во всяческих благородных дуэлянтах, от мифических мушкетеров до вполне реального декабриста Михаила Лунина (до самого — страшно вымолвить — Пушкина, уже смертельно раненного, но выстрелившего в своего противника и, думая, что попал, крикнувшего: «Браво!»), — дело в том, что и они... Как это сказать? Как выразиться, чтобы не нарушить спокойствия возможного читателя? Я не о том, что они поступили плохо, или неправильно, или не по-христиански; я вообще не об оценке, я только о непосредственном своем ощущении, может быть, ошибочном, но что же делать, если оно — есть? Как бы это... Ну вот обычный пример. Человек поскользнулся на апельсиновой корке и упал, а нам смешно. Отчего? От несоответствия некоей вещи — человека, долженствующего занимать вертикальное положение в пространстве, — самой себе. Между тем для упавшего все это отнюдь не смешно, а весьма огорчительно. И что же? Юмор, строящийся на том, что воспринимаем внешнее, зримое и не воспринимаем незримое, внутреннее, считается совершенно нормальным, следовательно, опирается на законы нормального человеческого восприятия другого.

Я вот о чем. Господь, чудесным образом вмести в безмерность бессмертного духа в небольшую, удобообозримую оболочку тленного тела, создал тем самым ситуацию повышенной опасности. Падший человек самым порядком вещей отключен от жизни духа во встречном. Плотная, непрерывная, гипнотически зримая симпатичная или антипатичная телесная оболочка ближнего отсекает от нас незримую жизнь его духа, отключает нас от ее пульсации, трепета. Конечно, косвенно, через выражение глаз, интонацию, жест, этот трепет, эта жизнь духа трогает наши души, но непосредственная подключенность к чужому внутреннему крайне затруднена. В противном случае наладилась бы единая, общечеловеческая душевная протяженность, возникло бы естественное, произвольное отношение к другому как — буквально — продолжению себя, а это сделало бы невозможным не то что стрелять в другого или резать из-за каких бы то ни было целей, а... Но, увы, таков человек. Таков любой человек, самый цивилизованный и нравственный. В Англии еще недавно вешали. Сейчас смертную казнь отменили. У нас все спорят. Но ведь и наличие виселицы, и ее отмена, и споры определяются все тем же: «имеем ли мы право лишать другого жизни» и т. п., — то есть наличием (или отсутствием) в нас развитого нравственного чувства, тогда как я-то говорю о чувстве самом элементарном, психофизиологическом: о том, что называется быть в чужой шкуре, но, буквально, всем осязанием души. Тогда что говорить, имею ли я право вешать, бить, стрелять? Допустим, имею право; все равно ведь не стану: не смогу, и все. Так просто. Ан нет — человек устроен по-другому, и это норма, и, значит, так надо. Если надо — значит, надо. Эта отключка твоего духа от духа другого совершается сама собой и на каждом шагу, но ее можно вызвать свободно, волевым усилием. Духовным усилием отклю-

читься от чужого духа так, чтобы он ни на йоту не влиял на тебя, не связывал твои действия. Каратэ. Ненавижу каратэ, все эти тэквондо и кунфу, практику совершенного овладения своим духом для угашения духа ближнего, превращенного в мишень. Черпая энергию из космоса, обращаешь ее против живой частицы того же космоса; рассматриваешь ближнего в прорезь между указательным и мизинцем: в прицел. Раз-ближня его, дистанцируешься, дабы у-ничтожить его: вернуть целый мир в исходное ничто. Не понимаю, как людям может нравиться глядеть на эти ожившие циркули, вся кажущаяся красота которых зиждется на противостоительной смеси духовности и материализма, на предельности духовного усилия по превращению себя в механизм. Не понимаю — и что с того? Они понимают, а их миллионы; и — они не понимают меня. Ибо мне выпал странный дар, напрасный, случайный дар. Иногда — не всегда, конечно, далеко не всегда, — иногда внезапно я чувствую первого встречного как себя. Нет. Скажем, у пьяницы двоится в глазах... Нет. Лучше так.

В молодости я, как многие в моем поколении, экспериментировал на себе: таблетки и всяческая психоделия. И после какой-то — пятой, шестой — таблетки циклодола, помноженной на кружку пива, и впрямь начинало двоиться в глазах. И помню, когда торшер, отделяясь по контуру от второго торшера, стоящего на месте, вдруг шел на тебя, было не до смеха. А здесь я чувствую сходное раздвоение души. Оставаясь собой, я отделяюсь от себя по контуру и, спокойно преодолевая кажущуюся плотность оболочки встречного, перемещаюсь внутрь его. Недолгое, очень недолгое время я вижу другого из себя как внешнюю форму с предполагаемым внутренним содержанием — и одновременно вижу другого из него же самого, а значит, именно не вижу другого целиком, всех его контуров (ведь я не вижу всего себя, например не вижу свое лицо). Я чувствую его — свою — безмерность, безмерность внутреннего мира безногого, которому подаю мелочь в переходе метро «Курская». Его душа перестает, подобно всем чужим душам, быть чем-то гипотетическим, во всяком случае маленьким, конечным и завернутым в нужное тело. Чем-то никак не абсолютным, вполне относительным. На секунду я вижу все его глазами... всех гипотетических ближних, вышагивающих на здоровых ногах, всю мимо идущую чужую, на шагающих ногах, счастливаю жизнь... и довольно об этом. Я знаю — значит, не могу рассказать. Привкус этого знания всегда со мной.

Я наделен несчастным даром чувствовать. Ненужным и вредным. Я не могу судить воров, проституток, правителей, наркоту и кривоту. Не потому, что обязал себя выполнять заповедь «не судите — и не будете судимы». Просто потому, что я вижу их всех изнутри, а свое дерьмо, простите, не пахнет.

И есть только одна порода людей, проникнуть внутрь которой я бессилён — по определению. Это насильники.

Насилие окружает меня, как океан омывает островок. С детства я знаю: все решает сила. Я был рослым в раннем детстве и, побеждая в ранних, вегетарианских драках, с удовольствием чувствовал: мой рейтинг растёт. Потом, как это часто бывает, положение изменилось: побеждать начали меня, и в полном соответствии с этим не только моя оценка в глазах окружающих, но и моя самооценка органично упала. В провинциальном нашем институте пользовались уважением не те студенты, которые лучше учились, а те, что лучше дрались с местной шпаной. Я вышел в какие-то люди, небольшие, но все-таки; что же, взрослость, солидный возраст избавляют от диктата силы? Лишь в малой мере, лишь внутри условной выгородки работы и семьи. Но ведь и на работе еще совсем недавно мы не позволяли себе говорить, что думаем, и дома, прежде чем сказать известные вещи, отключали телефон и переходили на шепот. Почему? Только из страха перед силой, только из молчаливого признания ее верховенства. Что уж говорить о том, что за порогом? Каждый день, выходя из дома, я не могу быть уверен, что вернусь домой целым и невредимым. И не могу об этом не думать. А ведь мне по дороге надо подумать еще о стольких вещах, и без того не прибавляющих радости. Весь мир против меня. Милиция не бережет меня ни в малейшей степени. Добавлю: у нас нет, я бы сказал, топографического неравенства. В том смысле, что у нас нет кварталов, где и в самом деле можно чувствовать себя неприкосновенным, где, если у тебя нет средств здесь поселиться, ты по крайней мере можешь гулять, отдыхая, освобождаясь на несколько часов от гнетущего давления опасности. За меня — никто. Против — всякий, кто может идти навстречу. Сто десять лет назад бомбой убили царя Александра II. Теперь хотят убить меня. В ненадежном году. Сколько помню себя, всегда живу в

ненадежном году в ненадежном месте. Раньше, по крайней мере, некоторые виды насилия существовали не для всех, например теракт признавал себя как нечто величественное, не могущее унижаться до такой мелюзги, как я. В нашем веке убийство при помощи бомбы из ритуального стало обыденным, из вертикального — горизонтальным, опустилось до вокзала в Болонье, до московского метро, до взрыва самодельных взрывпакетов на казанских и питерских улицах. Бомба, способная, как сказано в старинном романе из жизни бомбистов «Петербург», превратить все вокруг себя в сплошную кровавую слякоть, нацелена ныне в каждого. Страшное дело.

А не страшно — где? Весь мир лежит во зле! Весь-весь. Стоит включить телевизор, открыть журнал, заглянуть в бестселлер — и образы силы, мускульной и сексуальной, но всегда животной, биологической, ворвутся и заполнят твой мир. Мясо белое, черное, желтое, бог знает какое еще. Шейпинг, бодибилдинг, армрестлинг. Виртуозное битье, всеми способами, из любой позиции. И такая же сама собой разумеющаяся готовность женщины встать в любую позу, обнажив и мастерски выпятив любой участок тела. Единственная альтернатива современного телевидения, отечественного и зарубежного, — вздутый бицепс или подрагивающая лакированная попка. Вопросы, что и как обнажать, какую конфигурацию задать телу в пространстве, это уже не вопросы нравственности, а вопросы имиджа и сексуального престижа. То, что когда-то вызвало бы отвращение и брезгливость — женщина, обратившая к нам свой тыл, где полоска зондеркупальника прикрывает только заднепроходное отверстие, при этом наклонившаяся и смотрящая на нас между ног, — теперь происходит всенародно, на эстраде — и входит в дом крупным телевизионным планом; но главное — воспринимается как нечто нормальное, естественно-соблазнительное. Это мы не гадость смотрим невозможно скверную — это мы, оказывается, видим мир без ханжества и лицемерия. И все. Повторяю, я далек от нравственных оценок, меня интересует совершенно иное, не нормативное. Меня интересует смена ментальности. Ибо мы имеем дело не с развращенностью людей: разврат связан с пресыщением и чрезмерным утончением чувственности, — нет, мы имеем дело по-своему с совершенно здоровым восприятием именно этого животного, скотского как красивого, правильного и потому беспорочно-невинно-желанного. Мы имеем дело не с Древним Римом периода упадка, а с невинностью первобытного человека, но облаченного в набедренную повязку от Валентино и умашенного дезодорантами и туалетной водой «Тед Лапидус». Мы — цивилизованные (и потому много возомнившие о себе, вот ужас, потому непробиваемые, вот ужас-то) кроманьонцы и уже не поймем странной, придурочной правды о красоте дрожащей слабости, об изяществе больной человечности, нам уже никогда не понравится чахоточная дева, и не почувствуем мы уже кровно того, кому она нравилась, сколько бы памятник мы ему ни ставили... Поверхность, видимость, глянец обложки, парафиновые груди и протеиновые бицепсы, каратистская нога (попирающая прах), бьющая в лицо (зрящее в Небо), — отныне и навеки наш удел.

Удивляться ли, что я чувствую себя очень легким снаружи и мне очень тяжело внутри? Что я чувствую свое небытие в жизни, где я, за полнейшей своей неуместностью, равен нулю? Я не могу быть нигде, сегодня нигде — ни у нас, ни на Западе, ни в Китае, ни в Африке, нигде. Удивляться ли, что я чувствую — воздух имеет вес? И этот вес медленно, но верно искривил мой позвоночник, сплюснул грудь и согнул шею. Я иду и смотрю под ноги, в землю, стремясь задержаться на ней и не полететь подобно листку, оторвавшемуся от ветки родимой, — хотя бы за счет коэффициента сцепления. И все это время ожидаю нападения. Изю дня в день, год за годом.

Но вот мне привезли баллон; и я изменился. Я расцвел, как утренний уединенный бутон, которого еще не видит никто — а он уже расцвел, ничего не напишешь. Я не прибавил себе росту хотя бы на локоть и не могу отжаться от пола ни на один раз больше, чем вчера, когда я и не думал ни разу от него отжиматься. Но я расправил плечи, разогнул спину, округлил грудь. Отныне я смотрю прямо перед собой, а разговаривая, гляжу собеседнику прямо в глаза; и все потому, что отныне я не один — со мной защитник.

Иду, ни о чем не беспокоясь, думая о своем. Вот блаженство: думать только о своем и ничего не бояться. Все гарантии безопасности берет на себя телохранитель, невесомый, но грозный цилиндрок в правом кармане. Повторяю (приятно повторить): я иду распрямив плечи, глядя перед собой, думая о своем, и

чувствую, как туго я разрезаю свистящий воздух. Словно бы тело потяжелело и с удовольствием увесистого снаряда сокрушает сопротивление атмосферы.

Да, этот пятиграммовый цилиндр прибавляет мне весу. Ибо вооруженный не равен безоружному. Шпага дворянина, револьвер героя вестерна дистанцируют их от окружающих, заранее отбивая охоту фамильярничать. Мой баллон — мой клинок, мой кольт сорок пятого калибра. Правда, встречные не знают этого, но я-то знаю. Я знаю, что вооружен и никому не позволю оскорбить себя безнаказанно, — и с меня вполне довольно сего сознания.

Однако баллончик не только телохранитель — он и мой друг. Уже не могу обходиться без него, даже идя выбрасывать мусор, чувствую себя дискомфортно, если забыл его взять. Он нужен мне постоянно, как тот же револьвер ковбою, как трубка курильщику, как зеркальце и губная помада женщине. Приятно осязая пальцами всегда прохладное, твердое в отличие от человеческого тельце, которое не страшно мять, невозможно обидеть, начиная понимать, до какой степени человек не самодостаточен. Даже самому уверенному в себе нужен предмет, который прибавлял бы ему некую часть, недостающую для того, чтобы чувствовать себя целым. Полным. И это всегда предмет, а не человек: молчаливое нечто, в которое можешь вложить недостающее тебе, произвольно персонифицировать его — и постоянно владеть, зная, что он (оно) не изменит и не изменится, капсулируя в себе необходимый смысл, тобою в него вложенный. В сущности, это чувство изъятости из тебя некоей недостающей насущной частицы, ноющее чувство собственной недостаточности вложено в тебя Богом, дабы ты памятовал, что — ушербен, ибо лишен Его и нуждаешься в Нем; но мы не понимаем голоса, звучащего в нас: ведь этому языку мы никогда не учились, — и истолковываем голос на свой вкус. Мы не хотим носить знаки своего падения, то есть честно жить с сознанием своей принципиальной неполноценности и искать Бога там, где Он есть, — на небе. Мы нуждаемся в таком Боге, который помогал бы нам жить на земле, да еще и санкционировал бы наше право жить так, как нам нравится; поэтому мы изобрели тьмы вещей, овеществляющих Бога, и постарались заполучить каждый свою, по своему вкусу и сходной цене. Купить чувство полноты и целостности. Каждому свое, от сигаретки в руках или туши для ресниц до машины «мерседес», виллы на берегу океана или президентского кресла.

Но что даст такое же непосредственное, сиюминутное физическое чувство уверенности в себе, чувство своей невредимости, как оружие в твоей горячей руке? Горячее оружие.

(Давно, лет пятнадцать тому, мне страшно нравилась песня Битлз, ее стремное название: «Happiness Is a Warm Gun». Счастье — это горячее ружье. Горячее огнестрельное оружие. Вероятно, раскаленное, дымящееся после выстрела. Или еще как-то. Но мне почему-то всегда хотелось так: «Счастье — в горячем оружии». Знаю, перевод неточный, но мне так звучится.)

Да, оружие. Сравнение со шпагой и револьвером верно не только психологически. Оно верно и буквально. Двадцатый век, редуцируя свой страшный опыт использования истребительной силы газа (газовые атаки первой мировой войны, газовые камеры второй мировой, изготовление химического оружия и применение его нами против моджахедов в Афганистане и Хусейном против курдов в Ираке и т. д. и т. п.), на самом излете открыл наконец вполне действенное, но гуманное оружие, первое гуманное оружие за всю историю цивилизации, — газовые пистолеты и баллоны. Убивать, но не до смерти — мог ли человек надеяться, что когда-либо сказка станет былью? Больше того — ликвидировать, не причиняя существенного вреда здоровью! Я уже вижу газовые автоматы и пулеметы, вижу вертолетную войну, проливающуюся дождем газовых пуль. Это вполне возможно, хочется думать, в локальных горячих точках планеты, в нормальных ближневосточных, латиноамериканских, африканских, закавказских конфликтах.

Выключить, лишит сознания на каких-нибудь полчаса... очнулся — а ты и весь твой батальон уже в плену. О, я вижу, как воинственные народы, продолжая заниматься любимым делом, именно в его ходе перековываются, отучаются от жестокости, кровавости, ритуального зверства, заменяя их в своих сердцах на простую функциональность, а там, возможно, и на нежнейшую гуманность, вовсе не препятствующую воинственности, но прививающую ей теплоту и дружелюбие взамен отсеченной гневливости... О, я вижу безграничную перспективу — и наша Русь, что-то слишком долго спотыкающаяся, снова

понесется на газу, словно бойкая, необгонимая тройка, — и, как встарь, посторонятся и расступятся перед ней другие народы и государства.

Да, в кармане моем не простое средство индивидуальной защиты, но — горячее оружие. А когда горячее оружие доходит до такого человека, как я, разумно предположить, что еще раньше оно появилось у множества других людей, более инициативных и менее демилитаризованных. Наипаче же молодых.

Безвидно гуляет оружие по нашим улицам, движется друг другу навстречу. Вооружен, наверно, каждый десятый. Торговля баллонами, полицейскими, портативными, дамскими, загримированными под авторучку, идет в каждой школе.

... Вот ведь какая закавыка: я приврал себе — и вполне искренно, — что, сунув оружие в карман, перестал беспокоиться и расслабился. Сначала-то я себе верил, то есть вроде бы так и чувствовал. Но, как известно, когда кажется, тогда крестятся. И чем дальше, тем сильнее мне переставало казаться, пока наконец я не понял, что вовсе не шагнул в безопасность, а сменил напряжение на напряжение, шагнул из одной опасности в другую. Вся штука в том, что я сменил уровень. У человека, живущего на свободе, не меньше, а больше проблем, чем у зэка в зоне, только это проблемы иного уровня: проблемы свободного человека.

Раньше я испытывал гнетущее напряжение жертвы, на которую идет всесторонняя охота; теперь — четкое, концентрированное напряжение вооруженного среди вооруженных. И я не могу сказать, что совсем не жалею об этой смене. Свобода — это риск, и свобода — это ответственность: эту старую истину я, может быть, впервые постигаю так ясно. Быть жертвой тяжело, страшно, но нравственно комфортно, а ведь человек — существо нравственное, и дать послабку собственной совести ему весьма желанно. В том, что меня побили беззащитного, виноват не я — и могу спать спокойно, перетерпев только физическую боль. Но если я защищен, вооружен и все же надо мной учинено насилие, тогда виноват я сам, мое неумение или — хуже — нерешительность. Или нежелание — в том смысле, что, будучи христианином не только номинально, я должен бы подставить левую щеку, получив удар в правую. Но тогда зачем огород городить? Зачем держать оружие в кармане? Из того, что оно таки у меня в кармане, понятно, что я как-то сумел решить для себя вопрос в смысле уклонения от заповеди. Я ничего не дерзаю утверждать, просто принял для себя, одного себя, пока меня не разубедили, что заповедь Христа исходно относилась не к шпане, которая вряд ли водилась в большом количестве в древней Иудее, ветхозаветном, патриархальном обществе с жестким и действенным моральным кодексом. Нет, слова Христовы, кажется мне (только кажется), имели в виду ситуацию, общую для любого времени, типичную для всякого быта и уклада: ситуацию спонтанного гнева или давней вражды среди нормальных, очеловеченных людей. Людей, сполна наделенных человечностью, но потерявших ее под влиянием минуты или ложной, предвзятой идеи. Вот тут неожиданная, непредсказуемая кротость обиженного, вот тут добровольное подставление второй щеки действует как эмоционально-нравственный шок, заставляет одуматься и сокрушиться сердцем. Но когда речь идет о недоллюдях, дебилах, крысятах, получающих удовольствие от съедения слабого, о тех, кого вразумляет лишь то, что им единственно доступно: сила, — тогда для их же блага, для умножения добра, а не злобы позвольте мне достать маленький баллончик...

Нет, во всем виноваты только неумение и нерешительность. И я должен винить во всем только себя. А не хочется... Да, свобода — это дискомфорт, это неприятное мужество, перманентная готовность напрячь свои жалкие силы... Не хочется. Временами я жалею о своем выборе. И боюсь его последствий.

Но выбор сделан. Я сам этого хотел. И должен подчиниться логике своего выбора. И сосредоточиться на его плюсах, а не на минусах.

Оружие демократично; оно уравнивает шансы, восполняя врожденную физическую неполноценность или тщедушие. Оно позволяет человеку сублитному не заниматься противоестественным для него накачиванием мышц. Газ отменяет многие традиционные способы защиты. Он делает бездейственным нож, мгновенно отключает самую лютую собаку. Газ не нуждается в глушителе, и я лишь внутренним слухом могу услышать немой шум идущих в ночи страшных боев.

Газ, как всякое оружие, и требователен. Он с необходимостью предполагает некоторые навыки в обращении. Когда я бреду по городу, когда иду по жизни — вооруженный среди вооруженных, — я должен быть готов в любую секунду

осуществить три фундаментальных принципа ведения боя, сформулированных Суворовым, но незыблемых во все времена.

Глазомер. Есть по меньшей мере два элементарных правила: а) не направляй струю газа против ветра; б) расстояние между тобой и противником должно быть не меньше метра или около того. И то и другое не требует объяснений для человека, не желающего повредить себе. Но понять еще не значит исполнить. Определить мгновенно и безошибочно направление ветра не всегда легко, и если уж не дует мне в спину или лицо ураганный ветер или, по крайней мере, я не нахожусь, скажем, на нашей славной Профсоюзной, в трубе, почти всегда продуваемой на восток, в сторону Академической, то что прикажете делать? Послунывить палец, как индеец племени делаваров, и поднять его? Кто будет ждать, пока я подготовлюсь? Но даже если я и уверен, что стою с подветренной стороны, что мне делать — ведь и мой противник стоит именно напротив меня, и стрелять в него значит попасть в себя? Только одно: развернуть его по ветру. Так. Ну те-с, а если их несколько и они начнут окружать тебя — и тут еще ветер с их стороны бьет в лицо? Тогда как? Таки плохо, как говорится в затрепанном анекдоте. Значит, по крайней мере нужно постараться соблюсти дистанцию, при которой сохраняется свобода движений вправо или влево, вперед или назад.

И вот я бреду в ночи, слабо освещаемой московскими фонарями, которым давно пора дать вторую группу инвалидности, и держу руку в кармане, пристально вглядываясь, не движется ли навстречу темная кучка, клубок тел, воплощающий мои недетские страхи; и держусь ближе к проезжей части. Главное, чтобы, приблизившись, кучка не притиснула тебя к стене дома, лишив свободы действий. Заранее прикидываю направление ветра и готовлюсь действовать, готовлюсь маневрировать, насколько это в моих силах.

Быстрота. Изложенное выше необходимо, но совершенно недостаточно в случае, если идущие на тебя тоже вооружены. Собственно, если они вооружены все, тебе уже ничто не поможет, но если вооружен один или двое, ты можешь спасти себя — если быстрее выхватишь оружие и нажмешь курок (кнопку). Быстрее и более метко. Баллон устроен так, что нажать ты можешь только в нужном направлении, — но ведь надо еще попасть в лицо. А баллон не имеет дула и прицела — чтобы аэрозолем навскидку попасть куда надо, даже учитывая радиус распыления, сектор охвата, надо пристреляться. Но не станешь же платить за баллон по триста пятьдесят рублей, только чтобы потренироваться. Значит, надо тренироваться вхолостую — на быстроту выхватывания и нажима, во всем прочем надеясь только на сектор охвата: авось да зацепишь. До сих пор не могу решить, что лучше — газовый пистолет, чья дула отключает, говорят, при попадании даже в коленку (но ведь надо еще попасть!), или баллон, требующий непременно попадания в лицо, но зато распыляющий, создающий стену между тобой и нападающим.

Натиск. И глазомера и быстроты недостаточно, если нет главного — железной решимости: начавши, идти до конца. Будучи обнажено, оружие должно выстрелить, — и если ты уже выхватил баллон из кармана, и ты сам, и те, кто на тебя нападает, должны быть уверены, что ты пустишь его в ход: брызнешь парализантом в человеческое лицо. Только в этом твой шанс их утратить, а там — помогай тебе Бог, если они сами окажутся при оружии... Газ защищает тебя, но он же может свергнуть тебя и в худшую опасность, вот почему я говорю, что побаиваюсь последствий своего решения. Газ требует жесткого выбора, налагая на тебя ответственность за твое поведение: если ты останешься безответной овцой, тебя, по всей вероятности, всего-навсего немного побьют, слегка потопчут, возможно, ограбят — и все, но если в твоих руках увидят эту игрушку, а отбиться ты все же не решишься или не сможешь, то... Не хочется думать о подробностях того, что с тобой сделают.

Вот вопрос: смогу ли я ошпарить (как сказал бы, пожалуй, Северянин) или (играя корнями слов, чтобы слегка заслонить от себя серьезность темы) ошпарить человеческое лицо? Опять же это вопрос не нравственный; нравственный вопрос, безусловно возникающий здесь, я, как уже доложено, для себя решил — временно, по крайней мере. Я задаю этот вопрос в смысле: хватит ли пороху?

Могу ли?

По счастью, мне еще не пришлось проверить это на практике, но кажется — да. Вот почему. Тут дело в форме насилия. Вроде бы какая разница, ведь, по существу, насилие всегда равно себе, стало быть, всегда должно быть равно

невозможным для меня. А вот не скажите. Форма — великая вещь: она видоизменяет и само содержание, то есть делает несъедобное съедобным. Ведь форма есть способ жизни, способ соединения, вхождения в контакт с тебе подобным. Вот он и подобен тебе, и говорит на одном с тобой языке — а может отвернуться от тебя после второго твоего слова или жеста и не захотеть с тобой разговаривать; а может заглотить наживку — и только успевай говорить, а уж он будет слушать, открыв рот. Все — в форме. И то, что другой подобен тебе, что внутренний мир его таков же точно, как и твой — абсолютен и неприкосновенен, — это открывается только через форму физического взаимодействия с другим, а еще точнее — через представление о том, как ты сейчас двинешь кулаком по этому мягкому лицу или всадишь нож в этот теплый живот... Но горячее оружие делает тебя холодным, отделяя тебя от противника пространством, помещая его в перспективу, с которой — пусть и вблизи — ты обзираешь его целиком, видишь не крупным, но средним планом, силуэтно, как вредный предмет. И ты не коснешься его, на твоих стерильных пальцах не останется даже мельчайших следов кожи другого, когда ты пошлешь — просто туда — пулю или газ и они всего-навсего пересекут некоторое пространство и устранят препятствие к твоей нормальной жизни.

И тогда ты увидишь в нем не мир, даже во вражде к тебе открытый тебе же навстречу, занятый тобой же, проявивший злой интерес к тебе; ты не содрогнешься от страдания, причиненного ему тобою, как это неизбежно будет, когда рука твоя, всадившая нож, получит ответный горестный толчок: пульс пробитого тела. Нет, ты увидишь в нем тогда... Я работал когда-то в выставочном зале, и мне доводилось сидеть за столом консультанта. Ко мне подходили некоторые посетители что-то спросить, но чаще — пожаловаться. Они ругали «абстракционизм» — скопом все современное искусство, которое у нас выставлялось, — наш гардероб, не берущий у них те или иные вещи, наше кафе, жутко дорогое и отвратное. Они жаловались нам на нас же, ругательски ругая нас в моем лице. Они ненавидели меня, употребляли в мой адрес бранные выражения, змеино шипели, орали и только что не заушали меня. Первое время я пытался защищать современное искусство, потом мне это надоело и только хотелось сказать: «Господа братья и сестры! Вы имеете полное право не любить и не понимать что угодно. Вы можете не любить советский стиль обслуживания, равно как и качество советского общепита. Я понимаю, что вы живые. Но поймите и вы наконец, что ко мне все это прямого отношения не имеет. Я не пишу картин, не выставляю их, а всего только могу немножко объяснить — и то если захотите. Я не властен над гардеробщицей, а если бы работал в нашем кафе, то — с моим умением воровать — давно был бы посажен в тюрьму и мы с вами просто не встретились бы. Поймите — это нетрудно — и перестаньте употреблять меня вместо плеватальницы». А еще потом я понял: они и сами знают, что ненавидят не меня лично. Я был для них не собой, но воплощением системы, обрекшей их на тотальную жизненную неудачу. Эта система с успехом держала против них круговую оборону, представляя гладкой, слепой стеной, — и вдруг в одном месте стены открылось оконце, в нем сидит человек, и на нем официально написано: «Я. К вашим услугам». Все, что было виновно в их кошмаре, имело отныне лицо. Мое лицо. Я персонифицировал систему; я был мифологический герой, как Мелеагр, Эней или — поскольку я воплощал мировое зло — Ангра-Майнью. И потому меня как частного лица не было вообще — или почти не было: я был вытеснен из себя на собственную периферию, выселен на самый край личного бытия, как... Ну, как тяжело больной, умирающий человек. И когда я понял, кто я для них, мне удалось вжиться в исчезновение, отойти на последний краешек своего «я» и спокойно, безлично подставлять им для плеванья свой мифологический лик.

Так и сейчас я увижу в противниках своих, коль скоро между нами расстояние и вся чернота душевной, ветреной, морозной ночи, не живых людей, но персонификацию угрозы, сгусток ночного зла, материализацию шпанства, зверства и власти тьмы. И, кажется мне сейчас, я с наслаждением нажму гашетку, с упоением рвану чеку, со вкусом пошлю прямую, ровную, как Невский проспект, как кратчайшее расстояние между двумя точками, струю газа в свиное рыло насилия, в зловонную пасть мира бицепсов и трицепсов. Как из пулемета, как из гиперболоида, четкой линией огня посеку я всю эту нечисть, выпущу дух из этих пузырей земли. И — дальше, дальше, бей, струя, шипи, газ, рвись в безграничное пространство, за горизонт, за край земли, туда, туда, рвись за грань

земного притяжения, сквозь озоновую дыру — и дальше, дальше, лети очищающим паром до самых холодных звезд... Ведь моя брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ибо иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Но я сокрушу мышцу нечестивому и злему так, чтобы искать и не найти его нечестия. Обрушатся они в яму, которую выкопали; в сети, которую скрыли они, запутается нога их. Доколе мне слагать скорбь в сердце своем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Душа моя среди львов; я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы — копыя и стрелы, и у которых язык — острый меч. Яд у них, как яд змеи, глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже! Сокруши зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов! С Твоей помощью сделаю я им то же, что Ты — Мадиаму, и Сисаре, и Иавину у потока Киссона. И будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром. И постыдятся и смутятся навеки, и посрамятся и погибнут. Ибо Господь мой — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего. И обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш.

И я, ничтожное орудие десницы Его, защищу малых мира сего от таких же малых, возомнивших себя в неразумии своем великими. От лица всех хилых и немощных, разумных и милосердных, неимущих и беззащитных, от имени их покажу этим безумцам силу слабого, уповающего на Господа, — и ничтожество сильного, могучего лишь своею силой. И низвергну их во прах, да вразумятся они, и обратятся, и спасутся.

Надо мной живет старикан. Он неустанно стучит молотком, утром, днем и вечером, изо дня в день, который год. Вообще в нашем доме многие увлекаются слесарно-плотничьими работами, но этот — особенный виртуоз: извлекает из простого молотка всю гамму звуков за счет разнообразия приемов — от пиццикато нежного постукивания до крутого хард-рока кувалды. Вряд ли он ремонтирует квартиру: капитальные стены нашего дома состоят из кирпича, перемежающегося сухой штукатуркой, некапитальные — только из сухой штукатурки. Гвоздь сюда не вобьешь, только дюбель. К тому же сколько гвоздей можно вколотить в стены одной квартиры? Их число не безгранично же, а это идет, повторяю, который год. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, он занимается чеканкой — и в промышленных количествах. Или делает фальшивые деньги — если только фальшивомонетчики используют молоток. Или выдалбливает из дерева, из каких-нибудь корешков, что-нибудь художественно-самодеятельное. Я не против чеканки и народного творчества, даже не против изготовления фальшивых денег — я за всю свою жизнь других денег и не видел, какая мне разница, кто их печатает. Но этот старик не дает мне жить. Он начинает стучать уже с утра, а ночью, стоит начать засыпать (между тремя и четырьмя), он встает (старческая бессонница) и начинает ходить туда-сюда, стуча чеботами. Такие шлепанцы без задников, с тяжелыми шлепающими каблучками — одна из немногих у нас вещей, соответствующих своему названию. И что замечательно: все, что можно передвигать по квартире (столы, стулья, вероятно, сундуки, даже кровати), день-деньской permanently перетаскивается из комнаты в комнату, и только волоком... У, как могут скрипеть его половицы! И как может усиливать скрип мой потолок! И как хочу я стереть в порошок моего мучителя! Я пытался полюбить своего врага заочно: представить, что у него слишком много свободного времени, аденома простаты и все, что ему по возрасту положено, — и поэтому, а вовсе не из вредности он не дает мне спать. Пытался полюбить его очно. Но не получается. Честно, не получается. Как не получается и усовестить его. Это совершенно бессовестный старикан, его не пронять тем, что у меня бессонница и маленький ребенок. Он не вступает в переговоры и сразу захлопывает дверь, а я стою как оплеванный. Вероятно, он убежден, что его дом — его крепость. Я разделяю его убеждение — и в отношении себя тоже, но вот это уже до него почему-то не доходит.

Впрочем, это я так только говорю: старикан, дедулька. Чтобы снизить накал ситуации. На самом деле это крепкий, кряжистый мужик в возрасте почтенном, но живее всех живых. Он уложит меня если не одной левой, то левой и правой наверное.

Сколько раз в своем воображении, разгоряченном хроническим недосыпанием, взбегал я по лестнице, плечом высаживал его дверь и, вздымая над собою гранату, с криком «ложись, гады!» аккуратно укладывал дедушку на пол, читал ему лекцию о правилах поведения в общежитии и, пожелав спокойной ночи, тихо закрывал за собой дверь. И вот теперь она есть у меня, эта возможность... Нет, дверь можно не высаживать, а, позвонив, упредить его движение на полсекунды... О, сладострастие момента, упоение срыва!

Но как раз сама эта позиция сильного, сама возможность карать побуждает миловать. Побуждает не спешить, быть ответственным. Я говорю себе: «Погоди. Наказать его ты всегда успеешь. И это наказание жестоко. У тебя в кармане козырной туз, и ты можешь потерпеть, пока тебя не довели до крайности. А лучше без крайностей. Потенциально ты победил — так попробуй еще раз поискать для дедка оправданий».

Я терплю, и терпение мое теперь растяжимо, а главное, оно теперь спокойно, мое терпение: я контролирую ситуацию — в конце ее виден по-немецки исправно действующий газовый кнут... Почему-то теперь дед видится мне хоть и по-прежнему вреднявым, но уже не столь бессовестным, сколь чудачковатым энтузиастом, живущим на свой идиотский лад — по законам свинского добра и дурацкой красоты...

Да, ситуация обладания оружием вся в этом стыке сладострастия выстрела, упругого короткого нажатия на курок — и знания последствий этого выстрела, физического бремени ответственности, укрощающего всякое сладострастие, сублимирующего его в зрячее спокойствие собранной, ожидающей силы.

Но на самом-то деле в глубине души я знаю, что мое понимание старикана — чистая фикция, а стоит за ним и прикрывается им другое. То есть нет, понимание не фикция, понять-то я его могу, но понять мною же созданную фигуру. Разумеется, мне нетрудно понять то, что я же сам и сочинил. Но такое «понимание» ни на йоту не прибавляет приязни к настоящему старику; сколько ни твержу: войди в его положение, прости и не обращай внимания, — он продолжает тянуть из меня жилы, выжимать душу. Возможно, я и желаю ему добра, но никакого его, живого его внутри контура, мерцающего в моем сознании, нет; есть движущаяся, молотящая и необыкновенно мешающая жить плоская фигурка, которую нужно вовсе не убить, не лишиться живое жизни, а просто подавить огнем, вынуть из коробочки сознания.

Вот чего я боюсь, вот почему оттягиваю визит к нему, мороча себе голову попытками якобы его понять: боюсь, что не смогу в него пальнуть.

Или того, что смогу.

Вот что я пытаюсь замотать от самого себя: баллон мне нужен, чтобы его не использовать.

Потому что если он меня доведет, наорет и оплюет, а я не смогу выстрелить ему в лицо, взять на душу то, как исказится его лицо, как покатится он на пол среди бела дня, как завоюет его жена (а потом — милиция, и шум на весь подъезд, и спустя неделю встречи с ним на лестничной площадке...)... Если не смогу одним движением кисти вызвать все это на свою голову — а очень вероятно, что я таки не смогу, — уже никогда не прощу себе, что, будучи оплеван этим хамлом и имея полную возможность его образцово наказать для острастки и вразумления, я просто смалодушничал.

А если я таки смогу достойно проучить дедушку — а очень вероятно, что смогу, — я перестану быть тем, кем считаю себя, и, оказывается, считаю ложно. И с этим жить я не смогу тоже.

Я не считал себя хорошим, а только — немного одухотворенным. Слегка, мало-мальски. И я всего-навсего хотел не быть жертвой несчастных дебилов, хотящих вышибить из меня дух. В конце концов, я не настолько виноват в том, что они несчастны, чтобы они отыгрывались именно на мне. Всего лишь не быть их несчастной жертвой. И, вооружась, я всего лишь следовал логике самозащиты, не отступая от нее и не превышая своей компетенции.

Человек, не желающий быть жертвой, должен быть вооружен и в критической ситуации должен сметь и уметь применить оружие.

Я не желаю быть жертвой.

Следовательно...

Простой силлогизм. Но в конце его меня ждал неприятный вывод: человек, не желающий быть жертвой, сможет не быть ею только в случае, если станет

охотником. Тогда тот, кто охотился на него, сам станет жертвой. Но в этот момент я утрачу способность чувствовать другого изнутри. Ларчик его души, хотя бы изредка так просто, ни с того ни с сего открывавшийся мне, захлопнется навсегда. Он отлепится от меня, слепившись в того, чья душа — потемки. И когда с чувством физиологического удовольствия нажму я курок, обнажится: да, человек и впрямь не есть всего лишь средство, он есть цель. Моя цель. Мишень.

И лишь только пойму это всею огнепаляющей кровью, вынужден буду понять умом: никакой я не тот, кем себя мнил, а тот я самый-пресамый, которых тьмы и тьмы и от кого так хочу быть подальше, а не вышло — так по крайней мере иметь кое-что в кармане.

Но есть ли выход из положения, при котором я либо жертва, либо охотник? Или третьего не дано?

Положим, я знаю, что — есть, но стараюсь быть честным до конца: честно загнать себя в угол, признав, что выхода нет (а сам знаю, что есть). Этот выход довольно известен, он не нов. Его указал апостол: «Совершенная любовь вон изгоняет страх». Почему она изгоняет страх? Это каждый скажет: потому что страх разделяет и уединяет, а любовь соединяет. Но почему она соединяет? А потому опять же, что любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Добавлю от себя: она и не то, что за вздохами естественно следует. Потому она соединяет, что в любви — не в «хорошей, большой любви» и не в той, что сильна, как смерть, но в любви просто, любви по определению, той, которой в ее высшем пределе больше никто не имеет, как положивший живот свой за други своя, — в любви главное даже не тяготение друг к другу, а то именно самое, что случается порою со мной: видение другого изнутри его. Как самого себя. Не то чтобы ты вдруг понял другого до конца, но ты его — почувствовал. Слегка, но до прожилок; краешком, но до мозга костей. Как и самого себя. В плотной весомости души и легкости как бы случайно облекающего ее тела.

Любовь не преодолевает страха, но, переводя зрение в иной ракурс, вводит в пространство, где о самом существовании страха слыхом не слыхивали. В пространство-до-страха. Из сектора газа — в зону Рая. Раскрывая поры души, любовь — голос небесного тяготения — соединяет меня с Тем, Чей это голос, и через Него с любимым из созданных Им.

Даже с тем, кого не бояться нельзя: со встречным.

Вот он возник из темноты, созданный Тем же по тому же образу и подобию, другой такой же, тот же, что и я, другой. Идет не на меня, не против меня — ко мне. Два малых света идут: соединиться на миг — и разойтись в темноту.

Тихий луч любви, тонкая серебряная нить пронзает мой потолок и его пол, сшивая воедино меня и дедульку, — и тут же истлевает от самовозгорания.

Многие знают все о любви; немногие знают любовь. Осведомленность еще не знание. Я знаю... Иногда. Вдруг. Даром.

Если бы удалось зафиксировать это мгновенное, скоротечное знание, научиться получать его произвольно, направляя в нужную сторону... Ведь Он сказал: «Царство Небесное усилием берется». Усилием дисциплины. Быть профессионалом. Но Он сказал еще: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит».

Понимай как умеешь.

Если бы я мог быть профессионалом любви, мастером любви — не в их скотском смысле... Тогда...

Тогда я должен был бы выбросить свое оружие. Или продать его за три с половиной сотни, за десять пудов муки. Пока на нее не подняли цену.

Не могу.

Зная — один из ста? один из тысячи? — саму любовь, все равно не умею любить постоянно.

Я никого не люблю, кроме себя; а себя я ненавижу.



ГЕННАДИЙ ФРОЛОВ

*

В МИГ ЛЮБОЙ

Урия

Да нет, я не брошу укора
В тебя, псалмопевец Давид,
За то, что прельстил твои взоры
Прекрасной Вирсавии вид.

Пожалуй, и судей не хватит,
Коль каждому ставить в вину,
Что смог он, как ты, обрюхатить
Когда-нибудь чью-то жену.

.....
.....
.....
.....

Но с мужем как быть ее, право,
Но что мы поделаем с ним,
Чтоб грех твой покрыть, из-под Раввы
Отозванным в Ерусалим,

Но все же родного порога
Не переступившим, любя,
Поскольку Израиль и Бога
Превыше вознес, чем себя!..

* *
*

Как можно требовать от других
Того, что сам им не можешь дать?
Что же, давай выползай, мой стих,
Из того, без чего не видна звезда.
А звезда не видна без кромешной тьмы —
Разве от света отделишь свет? —
Где вы, страдавшие на земле умы,
Сердца, прочертившие в мире след?

О вас сказать бы — да слов не найти.
О себе подумать бы — да мыслей нет.
Снова белая яблоня стоит на пути,
Снова с розовой вишни слетает цвет.
Пробивается из лиловой грязи трава,
Огуречник шершавый запахи льет.

И такая над садом нежная синева,
Что ни час не важен, ни день, ни год.

Только теперь я понял в этой глуши,
Отчего блажен тот, кто духом нищ,
Когда все грехи, что я совершил,
Вошли в назем, как зола с пепелищ.
Наконец-то ни каяться я не хочу,
Ни делеять в сердце к себе бывшему мечь,
И впервые не страшно мне знать, что вручу
Господу душу такой, как есть.

* *
*

Тик-да-так, да-так, да-тик —
Ходит-бродит маятник!

За секундами секунды,
За минутами часы.
Вот уже скопились груды —
Перевесили весы.

Вот уже весь пол завален —
Шагу некуда шагнуть...
Дом души моей печален,
Заметен из дому путь.

Край далекий, снег глубокий,
Две синицы на кусту.
Над трубой дымок высокий
Замерзает на лету.

Дай мне воли в чистом поле
На последние деньки,
Звонкий бор на косогоре,
Ласку дружеской руки.

И еще мне дай надежду,
Что, когда пора придет,

Предо мною сад забрезжит,
Среди сада — водомет.

Я увижу: между кленов
Ручеек в траве бежит.
На траве темно-зеленой
Стол из мрамора стоит.

И сидят в любезном круге
Все, ушедшие давно,
И лукавые подружки
Подливают им вино.

Здесь отец певцов российских;
С ним беседует другой —
С первым ветром мусикийским
Над безумной головой.

Здесь в распахнутых мундирах
Двое с сумрачной судьбой
Говорят о вьюге мира,
Глядя в вечер голубой.

Там найду я жадным взором
Среди братьев одного —
И вздохну его простором,
Ветром вольности его!..

* *
*

Птичий свист не тревожит пространство,
Нет на кладбище ни деревца.
Только бабочка с нежным упрямством
Все кружит и кружит у лица.

Близко так, что касается кожи
Ее крылышек тонкий атлас.
Словно хочет открыть и не может
Мне какую-то тайну о нас.

* *
*

Слева сосны, а справа кладбище,
Хвоя падает на траву.
Я на свете пожить был бы рад еще,
Да, быть может, и поживу.

Поживу еще, мысль додумаю,
Что назвать пока не могу.
В старость старую юность юную,
Как сумею, поберегу.

Вечер полон осенней сырости,
Электричка гудит во мгле.
Дай по милости, Господи, милости
Уходящей во тьму земле.

Все едино и все единственно.
За оградой кресты могил.
«Я есмь Жизнь, Я есмь Путь и Истина!» —
Сам когда-то Ты говорил.

И я верую, Боже, верую —
Укрепи ж меня, просвети! —

Что еще сквозь распад и скверну я
Из себя смогу прорасти.

Как весною трава-муравушка,
Перетлевший прах отряхнув,
Сам себя потихоньку за ушко
Да на солнышко потянув.

Оттого б и хотел жизнь долгую,
Хоть и малой не заслужил,
Что теперь лишь понял, как многое,
Переживши, не пережил.

Ибо знаю душой отныне я,
Что по воле Твоей готов
В миг любой уже без уныния
Отойти от земных даров.

От пространств этих сине-пепельных,
Где закат еще не погас,
От всего их великолепия,
Так любимого мной сейчас.

* *
*

Слышу я: что охвачены мы распадом —
Каждый в отдельности и вся страна, —
Что приближаются, что — вот! — уже рядом
Апокалипсические времена.

Но что же здесь нового? Еще с грехопадения,
Надо полагать, они приближаются к нам,
Ничуть не мешая прозреньям и заблуждениям
Героев и злодеев житейских драм.

Да ведь тем и прекрасен мир сущий,
Что для каждого едины в нем вечность и миг,
Что даже Страшный суд, все человечество ждущий,
Ничего не отменяет ни для мертвых, ни для живых!..



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЛЕОНИД БЕЖИН

*

УСПАЛЬНИЦА БЕЗ ПРАХА

Записки сентиментального созерцателя

Не умер, а ушел... За этими словами скрывается не только одна из самых таинственных, влекущих и завораживающих загадок русской истории — загадка смерти императора Александра I, — но и прообраз многих духовных драм, воплощенных как в художественной литературе (достаточно вспомнить «Живой труп»), так и в судьбе ее творцов — от Толстого до Гоголя. Пожалуй, лишь самозванство в такой же степени укоренено в подпочве национального сознания и столь же причудливыми всплесками вырывается наружу, но присвоение чужого имени, разыгрываемое как исторический фарс и осуществляемое как политическая авантюра, лишено того внутреннего измерения, которое и делает уход в безымянность актом духовной драмы. Делает даже независимо от того, доказан ли этот факт исторически, — вот почему легенда об уходе Александра получила такое распространение еще в 1825 году, когда, по официальной версии, император скончался в Таганроге, а затем возродилась вновь с появлением в Сибири старца Федора Кузмича.

Старца Федора, удивительно похожего на императора Александра — и голосом, и внешностью, и осанкой, и манерами (руку за поясок закладывал). Удивительно похожего — по отзыву бывших придворных. А если добавить к этому многие другие совпадения (по свидетельству современников, старец знал об императоре то, что мог знать только сам император), за туманным и зыбким покровом легенды начнет вырисовываться быль. Многие историки приложили руку к тому, чтобы туман рассеялся, и в первую очередь князь В. В. Барятинский, чья книга «Царственный мистик» — образец строгого документального исследования. В то же время многие сознательно или бессознательно сгущали туман, и особенно великий князь Николай Михайлович, в чьей брошюре отрицалась тождественность двух фигур — императора и сибирского старца. Собственно, историки до сих пор не вынесли окончательного суждения — умер или ушел? Им не хватает как бы последнего факта, последнего документального свидетельства, но, может быть, именно это и позволяет ответить на вопрос не с позиций историка, а с позиций свободного эссеиста, интуитивного приверженца версии об уходе, сентиментального созерцателя связанных с Александром реалий и мест.

I

Неужели — он? Неужели этот статный, осанистый, белобородый старик, появляющийся иногда на улицах старого Томска, и есть император Александр I, который не умер в Таганроге, а, инсценировав собственную смерть и похороны, ушел неизвестно куда — в скит, в затвор, в схиму, чтобы через двенадцать лет поселиться в Сибири под именем Федора Кузмича?! Удивительная, право, история! Удивительная, загадочная, непостижимая — прибыть вместе с партией ссыльных из Красноуфимска, где его судили за бродяжничество и приговорили к двадцати ударам плетью (императора-то!), и поселиться сначала в деревне Зерцалы, приписанной к казенному винокуренному заводу, затем у лихого казака Сидорова, построившего для него избушку на заднем дворе, затем неподалеку от села Краснореченского в такой же — чуть больше улья — избушке, выходявшей окнами на пасеку крестьянина Латышева, и наконец в четырех верстах от Томска, на займке купца Хромова, чьи работники сколотили для него келью. И так сколотили, хитрецы, что в погребке, под полом, слышалось певучее журчанье: спустись туда по лесенке и зачерпни родниковой

водички! Сколотили и тем самым уважили старца, любившего чистоту и содержавшего свои вещи в строгом порядке. Да и вещей-то всего было: скамейка, стол, кровать с деревянным бруском вместо подушки, складной аналой и икона Почаевской Божией Матери. В этой келье старец проводил лето, а зимой перебирался в Томск, на Монастырскую улицу, где у него — уж почтенный Семен Феофанович позаботился — был отдельный домик, укрывшийся в саду, за большим, двухэтажным хромовским домом. В нем-то и зимовал таинственный старец, лишь изредка появляясь на улицах Томска — статный, осанистый, с развевающейся по ветру бородой: неужели Александр Благословенный?! Глянь, Марья, посмотри, Аграфена, обернись, Калистрат, — неужели Он?! Победитель Наполеона, изгнавший французов из русской земли и освободивший Европу от супостата, — неужели?!.. Жил во дворцах, едал на серебре и злате, душился сладкими духами, носил мундир с эполетами, а теперь в простой рубахе, подпоясанный ремешком, и старой, вылинявшей дохе бредет по пыльной обочине! Ну чудеса... право же, только ахнуть!

Так перешептывались, дивились и ахали Марья, Аграфена, Калистрат и прочие томские обыватели, когда встречался им Федор Кузмич, и слухи летели за ним следом, словно змейки степной поземки: Александр... Александр... Слухи слухами, но очень уж смахивало на правду, что под именем старца скрывается августейшая особа, ведь узнал же его сосланный в Сибирь истопник из царского дворца, который после встречи с Федором Кузмичом (товарищ его заболел, и он обратился к старцу-целителю за помощью) осеял себя крестным знамением и божился, что это государь Александр Павлович! Узнал и бывший солдат, помнивший государя еще по тем временам, когда под барабанный бой маршировал на дворцовом плацу. Узнала и некая чиновница, упавшая в обморок при звуках знакомого голоса. А главное, сам Федор Кузмич, уезжая из деревни Зерцалы, оставил там загадочный вензель, изображающий букву «А» с короною над нею и парящим голубком вместо перечерка! Оставил в тамошней часовне, и многие видели этот вензель, нарисованный карандашом и раскрашенный зеленовато-голубой и желтой красками. Видели, и как было не заподозрить в нем намек на царское происхождение старца: короны над буквами из простого форсу не рисуют! Поэтому и заговорили по всей Сибири, что на заимке купца Хромова поселился император Александр, — заговорили в крестьянских избах, купеческих домах и дворянских особняках, в банках и казенных управах, в трактирах и чайных, в рудниках и на золотых приисках. Заговорили, и слухи превратились в молву, а молва стала легендой. Легендой удивительно русской, поскольку ни в какой иной стране не могло случиться, чтобы император, добровольно отказавшись от власти, отказался бы и от собственного имени, богатства, привычных условий жизни и, проведя двенадцать лет в затворничестве, пройдя суровый путь иноческого послушания, поста и уединенной молитвы, поднялся бы до вершин святости.

Легенда, удивительно отвечающая духовному складу, внутреннему, сокровенному образу России, но самое-то русское в ней, пожалуй, то, что это не легенда, а быль. Да, да, самая настоящая быль, хотя и вынужденная принять форму легенды, поскольку есть некая закономерность, некая таинственная обусловленность в том, чтобы факты, подобные уходу Александра, существовали в истории возвышенно и прикровенно, а не опускались до плоской и однозначной очевидности. Эти закономерность и обусловленность не позволяют подвергать такого рода факты унижительной процедуре доказательств, оскорбляя их избыточными документальными свидетельствами и подтверждениями, не оставляющими простора для фантазии и воображения, ведь перед нами факты особого — духовного — ряда, их же следует не доказывать, а знать и в них следует верить. Знать как быль и верить как в легенду — к этому мы и будем стремиться, рассказывая историю превращения императора Александра I в старца Федора Кузмича, а пока еще несколько слов о возникновении легенды.

Зимой 1864 года старец Федор Кузмич покинул этот мир — это произошло в том самом доме на Монастырской улице, где он в смиреннии провел последние годы. Правда, незадолго до смерти он вернулся в свою старую келью к казаку Сидорову, но прожил там всего несколько месяцев, и когда Семен Феофанович Хромов захел навестить его, он попросился назад в Томск. Попросился уже совершенно больной и ослабевший: его вывели под руки и усадили в повозку. Прощаясь с Сидоровым и его женой, старец сказал: «Ну, спасибо всем и за все». Сказал, махнул рукой — и поехали. Отправились сначала в деревню Коробейниково и переночевали у тамошнего крестьянина Ивана Яковлевича Коробейникова, чью маленькую дочь Феокисту старец очень любил, а ранним утром двинулись в Томск. В шестидесяти пяти верстах от Томска, неподалеку от деревни Турунтаевой, случилось чудо: по обеим сторонам

дороги появились светящиеся столбы, сопровождавшие повозку до самого Томска и исчезнувшие лишь на Воскресенской горке. Помимо купца Хромова столбы эти видели правивший лошаадьми ямщик и дочь Семена Феофановича Анна Семеновна, которая и воскликнула, обращаясь к старцу: «Батюшка, перед нами идут какие-то столбы!» Федор Кузмич ничего ей не ответил и лишь тихо прошептал: «О, Пречистый Боже, благодарю...» Благодарил же он за то, что столбы как бы охраняли повозку, проезжавшую по тем местам, где частенько пошаливали — в оврагах слышался лихой посвист, на дорогу падало подрубленное дерево, и бородастый мужик с кистенем останавливал лошадей и зычным голосом требовал: «Кошелек или жизнь!»

Охрана оказалась надежной, и до Томска добрались благополучно, но Федору Кузмичу так и не стало лучше: он слабел и силы его покидали, словно кто-то невидимый стоял над ним, постепенно отнимая его у плоти и освобождая душу для иной, вечной, жизни. Освобождая так, как дыханием отогревают стекло, затянутое льдом, чтобы в нем забрезжил голубоватый свет, вот и в облике Федора Кузмича — бледном лице, почти бескровных губах, прозрачной коже лба — все заметнее обозначалось нечто голубоватое, нездешнее... «Батюшка, объяви хоть имя своего ангела, чтобы в молитвах наших упоминать его», — зывала к старцу жена Хромова, со слезами наклоняясь над его кроватью, но Федор Кузмич хранил имя ангела в тайне: «Это Бог знает». «Тогда, батюшка, упомяни хоть имена твоих родителей, чтобы нам можно было молиться за них», — уговаривала другая гостья, но Федор Кузмич остерегал ее: «И этого тебе нельзя знать. Святая Церковь за них молится». После этих неудавшихся попыток — глупые женщины, чего с них взять! — сам Семен Феофанович пожаловал в келью, сбросил в сених шубу, очистил от снега валенки и упал на колени перед старцем: «Благослови меня, батюшка, спросить тебя об одном важном деле». «Говори, Бог тебя благословит», — ответил Федор Кузмич, не открывая глаз. «Есть молва, — Семен Феофанович придвинулся вплотную к кровати и понизил голос до шепота, — что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный... Правда ли это?» После этих слов Федор Кузмич, слегка приподнявшись на локте, стал креститься и говорить: «Чудны дела Твои, Господи... Нет тайны, которая бы не открылась»; а на следующий день подозвал к себе Хромова и сказал: «Панок, хотя ты знаешь, кто я, но, когда умру, не величь меня и схорони просто». Так наступило 20 января — тот самый день, на котором заканчивались земные сроки старца. Заканчивались, словно кто-то невидимый держал в руке маятник: вправо... влево... вправо... И вот в 8 часов 45 минут вечера Федор Кузмич повернулся на спину, вздохнул три раза и без мучений и стонов затих навсегда. Земные сроки закончились — маятник остановился.

Итак, в восемь с минутами... Тело умершего обмыли (при этом, по свидетельству Хромова, он сидел на стуле как живой), одели в длинную белую рубаху — такова была воля покойного — и положили на стол. Три священника в рясах читали псалтырь над покойным, а утром 23 января тело старца переложили в гроб из крепких кедровых досок, пронесли по улице и похоронили в ограде Богородице-Алексеевского мужского монастыря. На большом деревянном кресте была надпись: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Феодора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года». Благословенного — как Александра. Вспомним сказанное: «Ты меня не величь»; но не сдержался Семен Феофанович и в посмертной надписи все-таки возвеличил старца: знайте, кто лежит под этим крестом! После Федора Кузмича остались вещи: деревянный посох, суконный черный кафтан, перламутровый крест, икона Почаевской Божией Матери с едва заметным вензелем «А» и — что самое примечательное — метрическое свидетельство о бракосочетании великого князя Александра Павловича с принцессой Баден-Дурлахской Луизой-Марией-Августой, впоследствии императрицей Елизаветой Алексеевной. Право же, такому документу самое место в дворянских архивах, а он хранился у сибирского ссыльного, осужденного за бродяжничество. Уникальный, особой важности документ — у бродяги! Странное дело... Купец Хромов выразился об этом так: «Старца называют бродягою, а вот у него имеется бумага о бракосочетании Александра Павловича». И слова эти слышала томская жительница Балахина — и слышала, и видела в руках у Хромова метрическое свидетельство: синеватого цвета лист с черной печатью внизу, некоторые строки отпечатаны типографским способом, а некоторые вписаны от руки.

Об этом свидетельстве Хромов рассказывал и настоятелю Алексеевского монастыря архимандриту Ионе — рассказывал накануне отъезда в Петербург, куда и отправился со свидетельством и прочими бумагами, раскрывающими тайну старца.

Что это была за поездка, легко представить: Хромов, степенный, богобоязненный, доляный к власти сибирский купец, — и вот в его доме живет и на его руках умирает император, скрывающий свое имя. Император-то скрывает, но Хромов, проницательный человек, догадывается! А тут еще обнаруживается свидетельство и кое-какие бумаги, о которых Хромов рассказал одному, другому, но сам-то он чувствует: дело государственное! Затрагивающее святая святых власти — августейшую особу! Значит, надо ехать в столицу, в Петербург. Показать им бумаги, а там разберутся. Вот Семен Феофанович и снарядился в дорогу. Снарядился, приехал и стал разыскивать влиятельных лиц — тех, кому можно было доверить столь важные сведения. Искал ли он выгоды для себя? Вряд ли: в государственных делах о себе лучше не думать, а то легко и головы лишиться. Для Хромова было важно, чтобы узнали наверху и сообщили еще выше, поэтому он и обратился к влиятельным лицам. Побывал у обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева — тот даже прослезился, когда Хромов поведал ему о подвижнической жизни старца. Прослезился, выдвинул ящик письменного стола со врезом зеленого сукна посередине, властно протянул руку и слегка пошевелил сухими пальцами, как бы внушая Хромову: а ну-ка, братец, давай сюда документы. Вероятнее всего, в этом столе и осталось метрическое свидетельство о бракосочетании Александра, Хромова же вскоре пригласили к графу И. И. Воронцову-Дашкову, бывшему министру императорского двора. В просторном светлом зале вокруг большого стола сидели восемь генералов. Вот как об этом рассказывает сам Хромов:

«— Правда ли, что этот старец Александр I? — спросили они меня.

— Вам, как людям ученым, это лучше знать! — отвечал я.

Потом между ними завязался спор.

Одни говорили, что этого быть не могло, потому что история подробно говорит о болезни, смерти и погребении императора Александра I. Другие же возражали и говорили, что все могло быть. Спор был продолжительный. Дошло до того, что один из генералов сказал мне, указывая в сторону Петропавловской крепости:

— Если вы, Хромов, станете распространять молву о старце и называть его Александром I, то вы наживете себе много неприятностей.

Тогда со своего места встал И. И. Воронцов-Дашков и сказал мне:

— Не бойтесь, Хромов, вы находитесь под моей защитой».

Струхнул малость Семен Феофанович, когда пригрозили ему Петропавловской крепостью, чего уж там скрывать, струхнул, но виду не показал и перед грозными генералами держался с достоинством, все примечая и все запоминая. «Много было говорено здесь, но, по-видимому, не пришли ни к какому соглашению, — пишет он и далее приводит следующий загадочный случай. — Среди генералов был и тот, который приезжал ко мне с приглашением к Дашкову. Впоследствии я узнал, что это — Рудановский. Через некоторое время я получаю от этого Рудановского телеграмму:

«Приготовьте мне квартиру».

Я очистил в своем доме квартиру.

Вскоре Рудановский действительно приехал в Томск и жил у меня. Он постоянно бывал на панихидах в келии старца, всегда усердно молился. Зачем приезжал Рудановский — осталось для меня тайной».

II

Помимо Рудановского могилу посещали и другие знатные лица: цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II), великий князь Алексей Александрович, начальник главного тюремного управления М. Н. Галкин-Врасский, военный министр А. Н. Куропаткин, министр путей сообщения князь М. И. Хилков, и всякий раз эти посещения выглядели странно — во всяком случае, для томских жителей, изрядно озадаченных ими и тщетно пытавшихся уразуметь, почему старцу оказывается такое внимание. Понятно, святой человек, но мало ли святых на Руси — и поближе к столице! А тут глухая Сибирь, резной бревенчатый Томск, где высоких домов-то — раз-два и обчелся, и вдруг такое паломничество! Неспроста, что и говорить, неспроста! Не иначе как здесь какая-то тайна! А если есть тайна — значит, должны быть желающие ее разгадать, и вот стали появляться брошюры о Федоре Кузмиче, а затем и ученые книги, доказывающие, что под его именем скрывался император Александр Павлович. Правда, эта версия тотчас же опровергалась в других не менее ученых книгах, среди которых особой известностью пользовалась работа

великого князя Николая Михайловича, но и у противников отождествления старца Федора с Александром не находилось достаточных аргументов, чтобы победить в этом споре. Одним словом, окончательно вопрос так и не был выяснен, и можно без преувеличения сказать, что он до сих пор относится к числу неразрешенных исторических загадок. Намерены ли мы ее разгадать? Вот тут, пожалуй, надо объясниться — и да и нет. Мы не собираемся представить читателю новые неопровержимые доказательства тождественности двух фигур, да и старые-то будем приводить лишь в той мере, в какой это отвечает избранному нами жанру свободного эссе, основанного на созерцании предметных реалий, тех, в которых таинственно живет, мерцает, фосфоресцирует волшебный отсвет прошлого. Собственно, автор этих строк, фигура отчасти условная, и есть такой романтический и сентиментальный созерцатель, а вовсе не дотошный историк, замуровавший себя в архивах.

Представим, что нам случайно довелось услышать такой диалог:

«— Неужели вы допускаете, что это мог быть император Александр Первый?»

— Допускаю; больше того, я даже уверен в этом.

— Легенда это, не более, нужно признать, весьма замечательная легенда, но все-таки не факт.

— Скажите в таком случае, кто бы мог быть другой.

— Не знаю. Но убежден, что это был один из тех таинственных людей, которых в Сибири всегда немало. Скорее всего один из «искавших истины» образованных людей того времени, пожелавших скинуть с себя все старое, чтобы «обновиться» телом и духом.

— Но кто, как его фамилия?

— Не знаю, откуда же мне знать. Я не настолько знаком с историей дворянских родов, чтобы определенно сказать, кто из членов какого-нибудь рода решился на такой подвиг.

— Вряд ли кто и скажет, да вряд ли и был такой человек и мог быть, кроме того, чьи нравственные силы и дух превышали всех остальных. Впрочем, оставим этот разговор до другого времени, я получу из Томска кое-какие справки и тогда уже фактически разобью ваш скептицизм».

Представим, хотя особых усилий воображения тут не требуется, поскольку диалог этот состоялся на самом деле и его участники — реально существовавшие люди: П. П. Баснин, автор заметки в журнале «Исторический вестник», и А. А. Черкасов, написавший известные в свое время «Записки охотника Восточной Сибири». Как следует из приведенного диалога, Александр Александрович Черкасов действительно знал, что старец Федор и Александр Благословенный — одно и то же лицо. Знал изначально, основываясь на некоем безотчетном внутреннем чувстве, поэтому он и говорит: «...нравственные силы и дух превышали всех остальных». Это самое замечательное место в его рассуждениях. Замечательное и важное для нас, поскольку оно свидетельствует о знании куда более глубоком и, я бы сказал, духовном, чем осведомленность в конкретных исторических реалиях. Пора наконец привыкнуть, что знания доступны не только уму, но и сердцу и существуют особые — неразгаданные — каналы для передачи знаний. Неразгаданные и рационально непостижимые каналы духовной связи между множеством окружающих нас миров, поэтому дело вовсе не в справках, которые Александр Александрович надеется получить из Томска: получит или не получит — это ничего не изменит. Дело в том, что он «допускает и даже уверен»: старец Федор — это Александр Благословенный; и подобная уверенность сближает его с теми, кто обладал таким же непоколебимым знанием. Прежде всего с купцом Хромовым, чья жизнь перевернулась из-за того, что на его заимке поселился Александр Благословенный. «Вам, как людям ученым, лучше знать». Лукавит Семен Феофанович — он, не слишком ученый и «не шибко грамотный», как раз и знает то, в чем сомневаются грозные генералы. Точно так же знает это и добрейший Николай Карлович Шильдер, автор четырехтомной истории царствования Александра I. Знает, несмотря на то, что в своей истории открыто не говорит об этом, а лишь загадочно попыхивает трубочкой, предоставляя читателю самому поразмыслить и сделать окончательный вывод. Знает и историк-энтузиаст К. Н. Михайлов, заставший в живых Н. К. Шильдера, беседовавший с ним и смело поставивший тире в заглавии своей книги «Император Александр I — старец Федор Козьмич». И наконец, знает человек совсем иного склада — поэт, философ и духовидец Даниил Андреев, к свидетельству которого мы сейчас и обратимся.

Но сначала позволю себе поделиться воспоминанием о самом первом знакомстве с творчеством Даниила Леонидовича, а заодно пропеть хвалу одинокой комнате,

занавешенному окну, мигающей желтой лампе под пыльным колпаком и старому креслу, в котором я когда-то читал «Розу Мира». Читал еще не изданную книгой (по тем временам такое казалось немислимым) и перепечатанную на плохой машинке, читал по две-три странички в день, чтобы вникнуть, постичь, запомнить, и дивной музыкой звучали небывалые слова — Шаданакар, Энроф, Звента-Свентана, Нэртис, Олирна, и доносились зовы далеких миров, и ангелы трубили в золотые трубы. Трубили ангелы, и мы с моим другом, вечно хохочущим краснолицым толстяком, опиравшимся на палку, бродили затем по бульварам, сидели на утонувших в снегу скамейках, ломали купленный в булочной душистый черный хлеб и всерьез замыслили создать общество «Роза Мира», которое объединило бы таких же, как мы, чудаков и мечтателей. Вот тогда-то — в старом кресле, под желтой мигающей лампой — я и прочел завораживающе-прекрасные, заряженные высокой творческой энергией главы о Федоре Кузмиче, и больше всего поразили в них строки: «Я не могу вдаваться здесь в изложение аргументов в пользу этой так называемой легенды. Я не историческое исследование пищу, а метаисторический очерк. Тот же, перед чьим внутренним зрением промчался в воздушных пучинах лучезарный гигант; тот, кто с замиранием и благоговением воспринял смысл неповторимого пути, по которому шел столетие назад этот просветленный,— того не могли бы поколебать в его знании ни недостаточность научных доказательств, ни даже полное их отсутствие». «Тот, перед чьим внутренним зрением...» — это о себе и о Владимирской тюрьме, где Даниилу Андрееву, приговоренному Особым совещанием к двадцатипятилетнему сроку, и являлись видения, составившие духовидческую основу «Розы Мира». «...не могли бы поколебать в его знании...» — это о том, что открывается сердцу и духовному зрению.

Мне повезло, и, может быть, даже больше — посчастливилось, и это счастье было следствием некоего совпадения, предусмотренного теми, кто, незримо управляя моей судьбой, сначала посадил меня в старое кресло с «Розой Мира» на коленях, а затем как бы позволил почувствовать рядом с собой скрытое присутствие ее автора, соприкоснуться с ним и войти в его духовное поле: я познакомился со вдовой поэта Аллой Александровной Андреевой и другими близко знавшими его людьми — Вадимом Андреевичем и Валентиной Гурьевной Сафоновыми, Виктором Михайловичем Василенко. Когда-нибудь я расскажу подробно об этих людях, а сейчас — об Алле Александровне, женщине, побывавшей в самых нижних слоях земного ада, пережившей допросы и лагеря (они проходили по одному «делу» с мужем), но не утратившей творческой окрыленности, жизнелюбия, веры и сохранившей удивительную способность души воспламеняться добротой, отзывчивостью, желанием помочь ближнему. Итак, я познакомился и, когда бывал у нее, все пытал, выспрашивал об отношении Даниила Леонидовича к Федору Кузмичу: что говорил и часто ли заговаривал на эту тему, в каких словах, с каким выражением лица и жестами рук. Выражением... жестами... — наверное, выспрашивал так дотошно, что однажды Алла Александровна не выдержала и, дабы умирить мой пыл и придать предметную очерченность моим устремлениям, подарила мне портрет. Тот самый знаменитый портрет Федора Кузмича, который описывается в «Розе Мира», — старец изображен на нем во весь рост, правая рука прижата к груди, а большой палец левой заложен за поясок длинной белой рубахи. Орлиный взор строг, губы крепко сжаты. Высокий лоб, поднятые дуги бровей и аскетически запавшие щеки выдают напряжение внутренней духовной работы: перед нами человек, опаленный огнем поста и молитвы.

Этот портрет я спрятал под стекло, чтобы постоянно рассматривать его и одновременно с присутствием творца «Розы Мира» ощущать присутствие этого человека — благое присутствие просветленного, врачующего и предостерегающего. А вскоре рядом с подаренным мне портретом появился другой, купленный мною в маленьком музейчике под Аустерлицем, куда я попал случайно, путешествуя по Чехии с туристской группой. Странная, признаться, была группа, со всеми признаками несчастных русских туристских групп. Странная и похожая на команду подвыпивших музыкантов, играющих на похоронах: все пошатывались, поеживались на ветру и тянули вразнобой. Один — в магазин, другой — в пивную, третий — в подвальчик-варьете. Вот и я был предоставлен самому себе и сначала исходил пешком всю старую Прагу, припахивающую характерно угольным, с кислинкой дымом печных труб и окутанную розовым осенним туманом, посмотрел на трубочистов в высоких цилиндрах, послушал грохот приземистых красных трамваев, постоял на Карловом мосту, разглядывая наброски уличных художников, побывал на вилле Бертрамка, где хранится светло-каштановый, даже чуть рыжеватый локон Моцарта, а затем оказался под тем самым Аустерлицем, о котором еще со школьных лет, со

времен прочтения «Войны и мира», знал, что именно там Александр I столкнулся в сражении с Наполеоном. И вот маячившее в мечтательной дымке, завораживающее и несбыточное там превратилось в реально случившееся здесь, и я увидел тот холм, с которого Александр наблюдал за сражением, почувствовал неуловимое дыхание окружавшего его пространства, и гений здешних мест пронесся надо мною, заставляя неким усилием души, знакомым всем сентиментальным созерцателям, соединить пространство со временем — с поздней осенью 1805 года, когда это происходило. Соединить и тем самым наполнить его предметами, некогда бывшими, но более не существующими, утратившими свою материальную оболочку, истлевшими и распавшимися: чугунными пушками на больших деревянных колесах, шарающимися от взрывов лошадьми, дымом от выстрелов, барабанной дробью, запахом солдатских сапог, сгоревшего пороха и окровавленных бинтов. И среди всего этого передо мной возникла закутанная в плащ фигура, и я угадал черты лица — те, которые затем распознал на купленном в музее портрете. Лица, словно бы овечьного некоей мечтательной голубиной, излучающего романтическую открытость, веру в возвышенные идеалы. Светлого, открытого, с правильными, рельефно вылепленными чертами, чуть затуманенным взглядом красивых глаз и тонкими выпуклыми губами — лица молодого Александра. Угадал и понял, что я знаю. Знаю тайну, которая связывает два портрета. Тайну императора Александра I и старца Федора Кузмича. Вернее (не побоимся и мы поставить тире), императора Александра — старца Федора.

III

Знаю и поэтому должен поехать. Романтический и сентиментальный созерцатель предметов, сохранивших свечение прошлых времен; я должен поехать по тем местам, где свершалось это событие — может быть, одно из самых значительных в русской истории, не уступающее по важности Бородинской битве, пожару Москвы, освобождению Европы от Наполеона и прочим событиям военной и политической истории. Не уступающее как событие истории духовной, творимой не на изрытом ядрами поле, не в солдатской палатке и походном шатре полководца, а за решетчатым окошечком монастыря, на дощатом полу, стертom от долгого стояния на коленях перед лампадкой, озаряющей тусклые лики. Иными словами, на том невидимом поле брани между добром и злом, на которое отважится выйти не всякий воин, а лишь силач, богатырь и умелец в ратном деле, которому не страшен огонь Змея Горыныча и свист Соловья-разбойника. Богатырь без коня и доспехов, с крестом на впалой груди, утонувшими в глазных ямах пылающими зрачками, бледным от ночных бдений лицом и головой, склоненной «в предстоянии и молитве», — он-то и творит историю, которая еще не написана нами и веки которой мы едва различаем в тумане.

Думаю, что и Федор Кузмич подолгу простаивал на коленях и молился, отводя несчастья и беды от своей многострадальной родины, и его незримое вмешательство прочитывается на многих событиях истории девятнадцатого века. Истории, которая творилась не только в Москве, Петербурге и Царском Селе — на аудиенциях, военных парадах и торжественных официальных молебнах, но и в Таганроге, Красноуфимске, Томске и других местах, где разворачивалась великая и уединенная духовная драма — драма царя, сменившего скипетр и державу на суму и страннический посох, посвятившего вторую половину жизни исканию истины, а после смерти причисленного к лику святых. Причисленного и канонизированного наравне с прочими русскими святыми и, таким образом, разделившего посмертную судьбу Александра Невского, небесного покровителя Александра Благословенного. Удивительное повторение судеб — благоверный князь и праведный император! Повторение с тою лишь разницей, что уход Александра Благословенного таит в себе еще более жгучую тайну, чем величественное небрежение властью Александра Невского. Поэтому, побывав под Аустерлицем, вписанным в историю деяний Александра, я должен был побывать и там, где совершал свои деяния Федор Кузмич. Побывать, чтобы соприкоснуться с иной — духовной — историей, различить ее подземные токи, услышать родниковый шелест, распознать тихое журчанье ключевой воды. И вот готовлюсь к экспедиции — листаю старинные журналы и книги за столиком Румянцевской библиотеки, под строгой зеленой лампой, накрывающей шатром желтоватого света и почтенного Шильдера, и великого князя Николая Михайловича, и историка-энтузиаста Михайлова, и «Русский архив», и «Исторический вестник». Листаю, усердно делаю выписки, а затем с «головой, легкой от утомления», иду пешком до метро и чувствую себя

счастливейшим на свете, оттого что скоро экспедиция, и я готовлюсь, и заветная книжечка пухнет от записей, и уже куплены билеты, и подобралась компания: мой вечно хохочущий друг, знакомый драматический писатель с редкой бородкой, немного вьющимися волосами, небрежно повязанным галстуком и той рассеянной мечтательностью во взгляде, какая бывает у сельских священников или провинциальных интеллигентов, и миловидная художница с рыжеватой челкой и бусинками цыганских сережек в ушах — оформитель будущей книги.

Компания вполне пристойная, чинная, не в пример той, с которой я путешествовал по Чехии. К тому же все охвачены благородным стремлением проникнуть в тайну Федора Кузмича, обнаружив архивный документ, свидетельство, связанный с ним предмет или хотя бы место, где он жил. Я давно убедился в том, что человек как бы намагничивает места своего присутствия, особенно человек выдающийся, редкий, необыкновенный, и даже если, кроме места, ничего не осталось, мы чувствуем этот магнетизм, это напряженное духовное поле. И — происходит общение, мы что-то улавливаем, нам что-то передается: сигнал, ток, импульс. Поэтому хотелось разыскать хотя бы место — на большее я, признаться, не слишком надеялся. Предметы, архивные документы — какое там! Нас разделяет более сотни лет, и не мирных, спокойных, благополучных, отмеченных знаком Ангела, а кровавых, страшных, жестоких, прошедших под знаком Зверя. Место же — застроенная уродливыми, грязно-серыми домами площадочка, холмик, овражек — должно остаться. Должно — и нам хотелось. Мы наметили маршрут, упаковали чемоданы (самый большой оказался у нашей миловидной художницы), отец Геннадий, священник церкви Воскресения Словущаго, что на Успенском вражке (ныне улица Неждановой, а в недалеком прошлом — Брюсовский переулок), благословил нас перед дорогой, и мы отправились в Таганрог. В Таганрог, где все начиналось и откуда с сумой и странническим посохом ушел в неведомое русский император. Ушел, чтобы посвятить вторую половину жизни... а после смерти быть причисленным... И вот думаешь: знал бы Пушкин... Пушкин, написавший свое убийственное: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Знал бы об этом начале — в какой-то воображаемый нами момент Александр, уже переодетый и изменивший внешность, стоит и смотрит туда, в некое ночное пространство, где горят звезды, мерцает в облаках луна и едва обозначен в тумане изгиб дороги. И вот он сейчас уйдет: сделает шаг — и канет. Канет, растворится во тьме и больше никогда не увидит своего дома, книг, кресел, письменного прибора. Почему-то в последний момент больше всего жаль мелочей — да, да, письменного прибора с какой-нибудь там замысловатой чернильницей, очиненными гусиными перьями, душистым порошком, которым посыпали письма... И ему тоже жаль — несмотря на грозное величие минуты. Жаль этого тепла, этого уюта, этой привычной и милой жизни.

Если бы Пушкин об этом знал, он бы понял своего тезку, ведь и сам Пушкин тоже ушел. Ушел, но по-иному — через дуэль и смерть. Его миссия была завершена, поэтому смешно думать, что дуэль затеяли Геккеры и Дантес. Ее затеял сам Пушкин — как свой уход; но в уход Александра I он скорее всего не верил, хотя вокруг поговаривали и слухи до него, вероятно, доносились. Поговаривали среди декабристов, с которыми Пушкин был близок, но вряд ли он относился к этим разговорам всерьез. «Есть основания предполагать, — говорил кто-нибудь из друзей, придвигаясь к нему вплотную и значительно понижая голос, — что Александр Первый не умер в Таганроге, а ушел неизвестно куда. В гроб же вместо него положили...» «Пустое!» — небрежно отмахивался Александр Сергеевич, и лицо его принимало рассеянно-безучастное выражение, означавшее, что его совершенно не занимает обсуждение подобных сплетен. Одним словом, Александр Павлович так и остался для Александра Сергеевича «слабым и лукавым властителем», который окончил дни в пыльном южном городке. Да, да, повез туда жену для поправки здоровья и сам неожиданно умер — такая нелепая участь. Простыл на ветру, подхватил какое-то воспаление — и конец! Именно конец, а не начало: так скорее всего осознавал это Пушкин. Если бы не так — вместо четверостишия о «слабом и лукавом властителе» могла родиться драма еще большего «скорбного закала», чем «Борис Годунов». Но, видимо, какие-то силы удерживали, не позволяли — силы и земные и небесные. С земными, собственно, все ясно: Николай I, ставший императором в нарушение закона о престолонаследии и помазанный на царство при живом помазаннике. Ему, конечно же, было известно, что его брат лишь инсценировал собственную смерть, и вот он здесь, в Зимнем дворце, правит, а тот в глухом монастыре перед заветной

иконкой молится. Поэтому задача Николая заключалась в том, чтобы сохранить фамильную тайну. Сохранить любой ценой, а тут Пушкин, чья слава гремит по всей России и чьи стихи твердят наизусть и чиновники, и студенты, и лихие гусары, и провинциальные барышни: конечно же, нельзя допустить... Нельзя — любой ценой, любыми средствами... И вот оценим с этой точки зрения дату — 1837 год. В январе умер Пушкин, а через два месяца в деревне Зерцалы появился старец Федор Кузмич. Совпадение, к которому мы еще вернемся, рассказывая о путешествии в Петербург и встрече с человеком, который предложил свое — неожиданное — истолкование загадочных обстоятельств, связанных со смертью Пушкина.

Вернемся, а сейчас обратимся к небесным силам, державшим поэта в неведении о том, что случилось в Таганроге. При этом снова подчеркнем, что Пушкин свою духовную миссию завершал: уже написаны поэмы, маленькие трагедии, сказки, «Евгений Онегин». Уже создан русский литературный язык. Уже обозначены темы всей будущей русской литературы — от Достоевского до Ремизова. Александр же лишь приступал к выполнению своей духовной миссии — ему предстояло пройти подвижнический путь сибирского старца. Поэтому нельзя было, чтобы Пушкин стал выразителем миссии Александра: в этом случае он придал бы классическое завершение тому, чему еще предстояло развиваться. Придал бы и нарушил некую эзотерическую замкнутость, необходимую для накопления духовной энергии, — глубинное, тайное, сокровенное стало бы явным и миссия Александра оказалась бы прерванной. Этого же небесные силы, устанавливающие некую метаисторическую согласованность человеческих судеб, допустить не могли. Вот и получилось, что старец вышел из затвора за несколько месяцев до (сентябрь 1836 года), а поселился в Сибири через два месяца после смерти Пушкина. Когда же готовилась дуэль и для Пушкина уже распахивались небесные двери его будущего ухода, Александр, чья спина была исполосована плетью, вместе со ссыльными шел по этапу. Собственно, они оба шли, но каждый к своей цели, и уход Пушкина делал возможным явление Александра. И еще один знаменательный факт обратного порядка: будучи в Таганроге, Пушкин останавливался в том самом доме, где через пять лет после этого якобы умер Александр. Так косвенно сблизила их судьба — именно косвенно, а не напрямую, и точно так же через много лет она сблизила Александра с другим величайшим гением русской словесности — Львом Толстым. Толстой по материнской линии состоял в родстве с князем П. М. Волконским, генерал-адъютантом Александра, с которым у императора были особо доверительные отношения. Кроме того, существуют указания на то, что молодой Толстой посетил однажды сибирского старца и провел целый день в его келье. Во всяком случае, академик Всеволод Николаев, автор изданной в Сан-Франциско книги «Александр Первый — старец Феодор Кузьмич», пишет об этом как об известном факте: «...когда Феодор Кузьмич жил на пасеке Лагышева, т. е. в конце 50-х годов, старца посетил будущий знаменитый писатель Лев Николаевич Толстой». Другие исследователи берут на себя смелость отрицать этот факт, и мы не будем вступать в полемику, вполне удовлетворившись некоей неясностью, существующей в этом вопросе, ведь и повесть Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузмича» осталась незаконченной. Незаконченной — словно кто-то остановил, не позволил; но об этом мы поговорим, рассказывая о путешествии в Петербург и встрече с человеком, который и в вопросе о Толстом предложил свое — неожиданное — объяснение.

IV

А пока мы в Таганроге — ждем троллейбуса, чтобы ехать в гостиницу. И рядом с нами ждет толпа таких же, как мы, приезжих — с сумками и чемоданами. И города, собственно, еще не видно, виден только вокзал. Вокзал, пыльная площадь, ларьки, палатки — одним словом, то, что вселяет в приезжих некую необъяснимую и непередаваемую тоску, смешанную с экзистенциальным сомнением в собственном бытии. Тоску, вызывающую недоуменный вопрос: зачем я здесь и я ли это?! Город же, подтверждающий факт вашего бытия и содержащий в себе ответ на вопрос «зачем?», словно бы отделен от вас невидимой стеной и отодвинут в неопределенное будущее, роковым и неотвратимым образом связанное с прибытием душного, скрипучего, неуклюжего троллейбуса, в который вас внесет толпа вместе с сумками и чемоданами. Так встретил нас Таганрог, представший в своем привокзально-палаточном облике, и в то же время первым, сразу обозначившимся во мне чувством

было: здесь. Именно здесь случилось то, что вот уже более полутора веков гипнотически воздействует на умы, вызывая столько домыслов, предположений, догадок, гипотез: император-то вовсе не умер, а в гроб вместо него... Именно, именно — странно подумать, и эта странность объясняется, конечно же, не свойствами самого места, какими бы причудливыми они ни были, а неким сближением, таинственной связью: здесь, рядом с вами. С вами, который несколько дней назад находился непростительно близко от дома, на беспечном отдалении от этих мест и вдруг оказался рядом... рядом настолько, что само место приобрело значение неустрашимой жизненной данности: вы теперь здесь пребываете, можно даже сказать, живете.

Мы устроились в гостинице, оставили в номерах вещи и, охваченные нетерпеливой горячкой, устремились в город. Во-первых, нам нужен был центр, а во-вторых, краеведческий музей, — а где же еще искать сведения о пребывавшем здесь императоре как не в милом, добром, патриархальном краеведческом с фамильными портретами в тяжелых золоченых рамах, диванами и креслами, обитыми полосатым тиком, коврами и дорожками, устилающими дубовый паркет, висящими на стенах чубуками и кальянами и выставленными в витринах фарфоровыми сервизами. Одним словом, что-нибудь да найдется, и, вскочив на ходу в первый случайно подвернувшийся трамвай (не ждать же целый час следующего), мы по обычаю всех приезжих стали спрашивать, как доехать до краеведческого. Доехать-то просто, ответили нам, да вся беда в том, что закрыт ваш краеведческий. Давным-давно закрыт на ремонт, и неизвестно, когда откроется. Признаться, мы приуныли, услышав такой ответ, и потянуло на нас сиротским холодком невезения. Холодком, от которого особенно зябко в чужом городе. Трамвай же ходко бежал по рельсам, безучастный к нашему унынию, и тут мы увидели другой музей, о котором вовсе и не помышляли, — градостроительства и архитектуры. Другой — и тоже безучастный к нашим устремлениям, как бегущий по рельсам трамвай: ну что там может быть связано с Александром! Он же тут не градостроительством занимался, а переживал духовную драму! Но день клонился к вечеру, деваться было некуда, и мы решили зайти. Зайти и спросить — а вдруг? Не повезло с одним музеем — повезет с другим. И какой-нибудь дремлющий в кресле старичок-смотритель или сторож со связкой ключей посоветует, подскажет, наведет на след — бывает... И мы зашли: здравствуйте... мы такие-то и такие-то... хотели бы узнать... Александр I... в Таганроге... какие-то вещи... И вдруг — я могу поручиться! — комнату озарило неким нездешним сиянием, отблески его легли на наши лица, и нам ответили: да, да, сохранились подлинные вещи Александра I из его путевого дворца. Вот, пожалуйста, они выставлены в соседнем зале нашего музея.

Мы бросились в соседний зал: неужели?! Подлинные... из путевого дворца?! И действительно, на музейных подиумах стояли замечательные, старинные, распространяющие вокруг себя некую благоуханную ауру, создающие атмосферу изящества, благородства и тонкого вкуса, я бы даже сказал, звучащие, музыкально согласованные друг с другом, насколько способны звучать в едином строе, вещи — лаковый овальный столик на выгнутых ножках, кресло с украшенными резьбой подлокотниками, секретер с откинутой крышкой, голубая ваза, подсвечники и прочие мелкие вещицы. Мелкие, но ведь каким-то образом уцелели, не сгнули, и вот они теперь передо мной. Признаться, меня охватил зябкий, недоверчивый восторг: вещи Александра! Те самые, которые он брал в руки, — вот они... И я тоже могу прикоснуться! Воспользоваться тем, что в зале нет смотрителя, и прикоснуться, потрогать, погладить рукой — подлинные... Потрогать и ощутить его касание — с той, запредельной, зазеркальной стороны. Я протягиваю руку, и с той стороны — он. Протягивает, и подушечки наших пальцев... Одним словом, вещи в моем сознании приобрели образ человека, и из воздуха — тончайших эфирных нитей — соткалось, возникло, обозначилось: тонкие выпуклые губы, чуть затуманенный взгляд красивых глаз... Впрочем, здесь он был уже не тот, что под Аустерлицем, — гораздо старше, но в выражении лица оставалась эта немецкая мечтательность, шиллеровская сентиментальность и нечто неуловимо женственное, безвольное, ускользающе-скрытое, заставившее Пушкина сказать: «...слабый и лукавый...» Пушкин, конечно, угадал, хотя и выразил свою догадку в форме беспощадной эпиграммы. Если же снять иронию и довериться психологии — действительно слабый и лукавый... Можно даже добавить: двойственный, вечно сомневающийся в себе и других, недоверчивый — целый набор черт, свидетельствующих не о достоинствах или недостатках, а о сложности душевного устройства. И эти вещи тоже часть портрета. Прихотливо

разбросанные в пространстве, они доносят нечто невыразимо александровское, свойственное только ему, его непередаваемой самости: овальный столик — могучую статую высокой фигуры, подлокотники кресла — напряжение сильных ладоней, накрывающих резных крылатых львов, подсвечники — очертания склоненной в задумчивости головы.

Но главное — чернильный прибор, который я пытался представить, рисуя в воображении картину: ночь... звезды... холод неизвестности... Александр уходит, и ему жалъ расставаться с любимыми вещами, в которых заключено тепло привычной жизни. Пытался представить, и вот он — есть... Чернильный прибор с его письменного стола — фарфоровый, затейливого вида, явно из тех вещей, к которым привыкают, привязываются, особенно такие люди, как Александр со свойственным ему культом письменных принадлежностей. И так получается, что я как бы вызвал из небытия, усилием воли материализовал этот чернильный прибор: сначала подумал, а затем увидел. Увидел и словно бы узнал — тот самый... Это чувство узнавания распространилось и на другие вещи, существовавшие независимо от моего воображения, но словно бы знакомые мне потому, что я о них либо читал, либо слышал. И подсвечники — шевельнулась догадка — те же... Не в них ли стояли свечи, которые Александр однажды зажег во время дождя, а затем забыл потушить, и слуга сказал ему: нехорошо, мол, дурное предзнаменование, свечи днем только над покойником горят. Сказал, и царю запомнилось: «Эти свечи у меня из головы не выходят». Такими же знакомыми показались мне и вещи императрицы Елизаветы Алексеевны — столик для рукоделия, коврик с надписью «То свято место, где ты молилась», зеркало, часы. Знакомыми потому, что я столько прочел и могу представить, как она шурилась на свет, вдвывая нитку в иголку, как протыкала иголкой туго натянутый шелк, прогоняя по нему стежки разноцветной вышивки, как опускалась на колени перед иконой и рассеянно крестилась, откидывая пряди волос со лба, как азартно подсаживалась к зеркалу, стараясь смотреть на себя так, чтобы не замечать своего же ответного взгляда, как нехотя догоняла и нетерпеливо опережала взглядом золоченые стрелки, вздыхая о том, что слишком уж быстро летит, и сетуя, до чего же медленно тянется упрямое время. Могу представить, словно все эти жесты, взгляды, сетования и вздохи запечатлелись в вещах, из которых складывается некий предметный портрет их хозяйки.

Итак, нашим первым открытием было то, что сохранились вещи из путевого дворца, — а сам дворец? Вернее, одноэтажный каменный дом, названный дворцом лишь потому, что там останавливался император? Он-то сохранился? Пощадило ли его окаянное время, прокатившееся бульдозером по старинным особнякам и усадьбам? Но, признаться, надежда была слабенькая, и я заранее готовил себе утешение: ладно, не дом, так место. Попытаемся разыскать хотя бы место, где стоял путевой дворец, а остальное восстановит воображение: окна, стены, крышу. И вот я спрашиваю у сотрудников музея: где? Совсем неподалеку, отвечают, в двух шагах, и не просто место, а тот самый дом, сохранившийся, уцелевший и даже ни разу не перестраивавшийся, — вот уж действительно чудо! Правда, внутри все изменено, поскольку там сейчас детский противотуберкулезный санаторий, но чего же вы хотели! Это уж было бы слишком, чтобы остались в первозданном виде покои императора и императрицы, столовая, гостиная и прочие комнаты. Слишком, знаете ли, слишком, этого и желать нельзя. Поэтому мы торопливо распрощались, напоследок еще раз оглядели музейные залы и отправились на улицу III Интернационала, где и находился царский дворец. Дворец Александра и Елизаветы Алексеевны — где ж ему еще находиться как не на улице с таким названием! Отправились всей нашей дружной компанией — впереди мой краснолицый, вечно хохочущий друг с миловидной художницей, а сзади мы со знакомым драматическим писателем. Отправились, и наконец вот он перед нами, этот дом, — с красивым благородным фасадом, двумя слабо обозначенными выступами-ризалитами, замками над высокими окнами и карнизом, украшенным сухариками. Дом, где якобы умер... но на самом деле не умер, а ушел в никуда... одним словом, именно здесь все и происходило.

Именно, именно — представьте себе! — здесь, но только в другое время, когда вас еще не было, и вот теперь время прошло, а вы появились. Появились и пытаетесь внушить себе, что место важнее времени и невозможность оказаться в том загадочном пространстве, которое мы именуем тогда, оправдана вашим пребыванием здесь. Оправдана, и поэтому вы — свидетель тех событий, которые происходили в этом доме. Свидетель и очевидец, а как же иначе, — ведь вы же видите и дом, и окна, и украшенный сухариками карниз! Видите и стараетесь связать некоей воображаемой

нитью, мысленно сблизить это с тем, что именно сюда 13 сентября 1825 года в сопровождении бывалого, испытанного служакки генерал-адъютанта Дибича и мудрого, опытного, осмотрительного лейб-медика баронета Виллие прибыл Александр — усталый, осунувшийся, в запыленном дорожном платье. Обошел чисто убранные комнаты, стуча каблуками сапог по паркету, распахивая перед собой высокие белые двери, откидывая тяжелые портеры на окнах и пробуя косточками сжатых в кулак пальцев тугую упругость диванов. Постоял у окна, глядя на теплое, солнечное, золотисто-янтарное море, изгиб залива, паруса рыбаков. Задумался о том, о чем обычно думает человек на новом месте, — впрочем, не таком уж новым, поскольку он бывал здесь и раньше и ему запомнилось: тихий, уютный, глухой уголок. Лучше и не найдешь, чтобы осуществилось это... Но решился ли он, переступил ли ту последнюю черту, которая отделяла его от такой милой, привычной и ненавистой ему жизни? В те дни, пожалуй, еще нет: знал, что когда-нибудь, но — когда? Завтра, через месяц, через полгода? Это должен был решить случай и случай же должен был подсказать — как. Ему же оставалось только не торопить события и ждать, и вот 15 сентября он пишет Аракчееву: «Здесь мое помещение мне нравится. Воздух прекрасный, вид на море, жильё довольно хорошее; впрочем, надеюсь, что сам увидишь». Иными словами, устраивается на долгий срок и еще приглашает гостей — значит, время еще не настало. Александр здоров, бодр и деятелен.

10 октября он едет в Область войска Донского и посещает Новочеркасск, станицу Аксайскую и Нахичевань, а 20 октября вместе с генералом Дибичем направляется в Крым. С Дибичем и — на этот раз — без Виллие, поскольку нет никакой необходимости иметь с собой врача. Повторяем, он здоров, бодр и деятелен настолько, что во время крымского путешествия покупает Ореанду, которая понравилась ему своими пальмами, кипарисами и видом на море. Покупает, признавшись Дибичу, что намерен построить здесь для себя дворец и разбить великолепный — с образцами пышной южной растительности — парк. «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить в Ореанде как частное лицо... Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок позволять выйти в отставку», — говорит он, хотя при этом у него в бумагах хранится подробный церемониал погребения императрицы Екатерины II. Зачем он ему, если он собирается жить в Ореанде как частное лицо? Жить и не умирать. А может быть, все-таки... если не умирать, так инсценировать собственную смерть и похороны в согласии со строгим официальным церемониалом?! Инсценировать — и, испытав странное, одновременно и влекущее и отталкивающее чувство присутствия на собственных похоронах (лицезрения себя в гробу), уйти, исчезнуть, кануть. Разговоры же о скором переселении в Крым и выходе в отставку — это для Дибича. Для Дибича и тех, кто в эту минуту мог находиться рядом и слышать слова императора. Пусть о них и думают, что он просто устал — как солдат, отслуживший двадцать пять лет. Устал и мечтает об отдыхе — это им понятно. А что действительно происходит у него в душе — одному Богу известно. Богу и тому человеку, у которого он побывал накануне и с которым долго беседовал наедине, — Серафиму Саровскому. Наедине, без посторонних, с глазу на глаз, а глаза у Серафима были удивительные, по-детски ясные, жгуче-прозрачные, проникающие в самую душу — глаза святого человека. Что ему сказал Александр, приняв благословение, и что он ответил Александру, коснувшись его головы легкой сухой ладошкой и трижды перекрестив во имя Отца, Сына и Святого Духа, навеки останется для нас тайной. Тайной, которую мы не откроем, и загадкой, которую не разгадаем, сколько бы ни сидели в архивах и библиотеках. Не откроем, не разгадаем, — и все-таки что?

V

«Едва императрица Мария Федоровна вошла в опочивальню и увидела тело супруга, громкий вопль излетел из груди ее.

Шталмейстер Муханов и доктор Роджерсон поддержали Марию Федоровну. Великие княжны тихо плакали.

С минуту все стояли неподвижно. Страшная тишина была вокруг мертвеца.

Тогда императрица стала приближаться к телу. Колени ее медленно гибались, и она поникла, целуя маленькую, изящную, уже пожелтевшую, восковую руку императора.

— Ах, друг мой, — могла она только промолвить.

Вдруг загрохотали барабаны караула, стоявшего с другой стороны опочивальни.

Вошли Александр и Елизавета, сопровождаемые графом Паленом и князем Платоном Зубовым.

Златокудрый, юный Александр, несмотря на всю скорбь свою, проехавшись в Зимний дворец и обратно, овеянный весенним дыханием солнечного, прелестного утра, получив уже множество знаков беспредельного обожания со стороны государственных чинов, гвардии и толпившегося на улицах радостного народа, входя в опочивальню, внес с собою струю жизни и отражение блеска ее на нежных алых устах и чуть опущенных ланитах и на прекрасных очах своих.

Но когда он впервые увидел изуродованное лицо своего отца, с надвинутым на проломленный висок и защищенный глаз краем шляпы, накрашенное и подмазанное и все же, несмотря на гримировку, обнаруживавшее ужасные синие кровоподтеки, тогда юноша впервые ясно понял и представил себе, что произошло с несчастным родителем его. Пораженный, немой, побелев, как полотно, неподвижно остановился он, вперив широко раскрытый, полный ужаса взор на страшные останки самодержца.

Императрица-мать на шум обернулась к входящим.

Несколько мгновений она переводила взор с сына на мертвого мужа и обратно.

Затем, отступив от тела, она сказала сыну негромко, но отчетливо, с выражением глубочайшего горя и совершенного достоинства:

— Теперь вас поздравляю: вы император.

При этих словах император Александр как сноп рухнул во весь рост без чувств. Никто не успел поддержать его».

«Теперь — поздравляю». Какая убийственная высокомерная издевка под видом поздравления! Значит, знала. Знала, что Александр причастен к заговору, и даже не пыталась скрыть свое презрение. «Ах, друг мой» и «вы император» — сколько самых разных оттенков в этих словах: она называет другом убитого и изуродованного Павла и императором — унаследовавшего престол Александра. Другом и — императором: поистине шекспировская сцена, во всяком случае так ее воссоздает Н. А. Энгельгардт в журнале «Исторический вестник». И главное в этой сцене даже не то, что знает Мария Федоровна, а то, что Александр, по существу, не знает. Да, он причастен, но в то же время и не причастен к заговору, потому что зачинщики скрыли свое намерение убить Павла. Уверяю вас, ни капли крови, убеждал Александра жестокий и вероломный граф Пален, мы не посягаем на жизнь вашего родителя, а хотим лишь избавить страну от тирана. Согласитесь, что дальше так продолжаться не может... страна устала, шептал он Александру на ухо, и в голосе его, внешне почтительном и подобострастном, сквозил внушительный холодок угрозы. Избавить от тирана,— тут-то юный ученик Лагарпа, воспитанный на идеях французского Просвещения, дрогнул... дрогнул и сдался; заглушив в себе слабый голос сомнения и ухватившись за обещание Палена, что ни капли крови не упадет на пол Михайловского замка. И вот перед ним накрашенное и подмазанное лицо с надвинутым на проломленный висок и защищенный глаз краем шляпы. Тиран? Нет, отец, бранивший, наказывавший и даже унижавший его когда-то, доводивший до слез своими несправедливыми придирками и вздорными выходками, но все-таки — отец, неправдоподобно маленький, жалкий, превращенный кем-то в неподвижную восковую куклу. И рядом скорбно-величественная, надменная, одновременно и властная и беспомощная мать — не императрица, а женщина, мучительно переживающая свое горе. И сам он — не избавитель страны от тиранов, а растерянный, испуганный, потрясенный мальчишка с подгибающимися от страха коленями, крапивным румянцем на щеках и предательски пылающими ушами. Мальчишка, на глазах которого случилось это... ужасное и непостижимое, именуемое смертью. И в том-то весь ужас, что это — случившееся — он не может отдалить, отстранить, отодвинуть от себя, как отдалают все страшные дети, старающиеся об этом не думать, а, наоборот, должен приблизить, потому что он виноват.

Виноват, хотя ему пообещали, а он поверил. Но он все равно виноват, потому что это случилось, произошло, стало свершившимся событием, которое вобрало в себя и его сомнения, и его доверчивость, и внезапный ужас, и запоздалое раскаяние. Вобрало, и тут мы подходим к главному, с чего начинается нравственное движение в душе Александра: к невольному участию в убийстве. Невольному — словно кто-то велел ему оказаться там, в Михайловском замке, когда Николай Зубов наносил удар золотой табакеркой в висок Павлу, а граф Пален (скорее всего именно он, а не Скорятин) душил его собственными руками. Кто-то приказал, заставил, и это был вовсе не Пален, потому что иначе участие Александра из невольного превратилось

бы в подневольное, но оно оставалось именно невольным — значит, приказал и заставлял кто-то другой, неведомый и всемогущий, кому имя Рок, Судьба, Провидение. Этот неведомый все предусмотрел и учел заранее: подневольное участие в заговоре (приказывал — Пален) сняло бы с Александра всякую вину за убийство отца и сделало невозможным вынесение приговора, сознательное (по собственной воле) — причислило бы к обычным заговорщикам и навлекло законное возмездие, и лишь как невольный участник заговора Александр сам вынес приговор и свершил возмездие не по закону, а по собственной совести. Возмездие, растянувшееся на многие годы и завершившееся мнимой смертью в Таганроге — и мнимой и действительной, потому что умер тот Александр, который сначала доверился Палену, а затем, получив известие о смерти отца, воскликнул с рыданием в голосе: «Вы убили его! Где ваша клятва мне?!» «Полно ребячиться! Нас всех поднимут на штыки. Лишь вы еще можете спасти положение», — ответил на это Пален, вынуждая Александра выйти к караулу; и он вышел... сказал, обращаясь к неприветливо-хмурым и угрюмым семеновцам: «Все будет при мне, как при бабушке», а в 1825 году умер и был торжественно похоронен в соборе Петропавловской крепости. Да, да, тот ребячливый, знавший за собой некую слабость, раздвоенность, женскую уступчивость души. Умер, но зато другой — появился. Суровый, мужественный и закаленный.

Появился не сразу, постепенно, после долгой душевной борьбы, о которой нам, собственно, ничего не известно. Нам, полагающимся на исторические свидетельства и документы, — ничего, если не считать некоторых... случайных сохранившихся... к примеру: «Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен явиться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места... Одним словом, мой любезный друг, я знаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом». И далее: «Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы». Это написано им до вступления на престол — восемнадцатилетним юношей, искренним, чистым, мечтательным, по-немецки сентиментальным, еще не ощутившим на губах солоноватый привкус отцеубийства. Но план уже есть, тайный план, доверенный лишь такому близкому другу, как Виктор Павлович Кочубей, тогдашний российский посланник в Константинополе (ему и адресовано письмо, посланное с доверенным лицом), — отречься от престола и поселиться на берегах Рейна. Наивный, романтический план, явно навеянный чтением Руссо. — общаться с друзьями и изучать природу. И лишь навязчивый привкус на губах заставил расстаться с мыслью о спокойной частной жизни и выбрать иной путь — покаяния, поста и молитвы. Путь нравственного совершенствования и духовного делания — русский путь, придававший сентиментальным мечтаньям и горячим порывам суровый и трезвый закал каждодневной внутренней работы. Каждодневной и ежечасной, как чтение Давидовых псалмов или повторение Иисусовой молитвы: заставил, и Александр выбрал, хотя этот план не раскрыл никому, и нам, полагающимся на свидетельства и документы, приходится лишь догадываться, как он постепенно складывался и овладевал его сознанием.

Вот отрывок из письма Лагарпу, относящегося к началу царствования Александра: «Когда Провидение благословит меня возвести Россию на степень желаемого мною благоденствия, первым моим делом будет сложить с себя бремя правления и удалиться в какой-нибудь уголок Европы, где безмятежно буду наслаждаться добром, утвержденным в отечестве». Тут все звучит уже несколько по-иному: благоденствие России, утвержденное в отечестве добро; но все-таки его по-прежнему влечет Европа с ее безмятежными уголками. Влечет настолько, что он все чаще задумывается о том, кому непосредственно передать престол. Летом 1819 года после линейного учения под Красным Селом император обедает с братом Николаем и его женой великой княгиней Александрой Федоровной. На почтительном отдалении замерли лакеи, слуга разливает серебряным половничком суп. Происходит такой разговор: император доволен тем, как его брат командовал бригадой, и весьма обрадован отношением великого князя к службе. С радостью взирает он и на семейное счастье молодой четы (у великой княгини к тому времени уже родился сын, будущий император Алек-

сандр II, и она была беременна дочерью Марией). Сам он никогда не испытывал этого счастья — из-за той легкомысленной связи, которую имел в молодости, и из-за того, что их с братом Константином вовремя не научили его ценить. Поэтому у обоих даже нет детей, которых можно было бы признать наследниками. К тому же он не чувствует себя настолько здоровым и крепким физически, чтобы надлежащим образом справляться с обязанностями монарха. Да, да, он не преувеличивает: физическое здоровье и крепость — одно из важнейших условий успешного царствования, особенно в их беспокойный век, его же силы, увя, слабеют, и он не в состоянии исполнять свои обязанности так, как их сам понимает. Вот почему он считает за долг и непреложно решил отказаться от престола, лишь только заметит по упадку своих сил, что настало тому время. Отказаться — в пользу великого князя Николая, потому что Константин, будучи одних с ним лет, в тех же семейных обстоятельствах, со врожденным сверх того отвращением от престола, решительно не хочет ему наследовать. Итак, Николай должен наперед знать, что призывается в будущем к императорскому сану.

Такой знаменательный разговор, вызвавший слезы на глазах великого князя Николая и его супруги, которые долго не могли подыскать слова в ответ. Император Александр, сам необыкновенно серьезный и взволнованный, считает нужным их утешить: минута переворота, так утраившая молодую чегу, еще не наступила и до нее, быть может, пройдет еще лет десять. Его же цель теперь была только та, чтобы Николай Павлович и Александра Федоровна заблаговременно приучили себя к мысли о непреложно ожидающем их будущем. Десять лет — нет, оказалось гораздо меньше: всего шесть... Через шесть лет Николай, торжественно вступив на престол, водрузил в память о брате колонну с ангелом — Александрийский столп. Да, да, не статую-памятник (император верхом на коне, при всех регалиях власти), а символический и во многом загадочный столп, выше которого вознес свой нерукотворный памятник Пушкин. И действительно «главою непокорной», а там — покорно склоненная голова ангела с крестом, как бы и не помышляющего ни о каком возвышении: не ошибся ли Пушкин в выборе символа державного величия? не упустил ли некоего тайного смысла, вложенного в фигуру царственного ангела? К этим вопросам мы вернемся позже, а сейчас еще одно признание Александра — может быть, самое произвольное, высказанное по другому поводу, но имеющее непосредственное отношение к нашей теме. Признание, относящееся ко временам вторжения Наполеона в Россию — тут уже не до безмятежных уголков Европы. «Я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться хлебом в недрах Сибири, чем подпишу стыд моего отечества и добрых моих подданных». Или по другой версии: «...питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, коих жертвы я умею ценить» — с такими словами император обращается к полковнику Мишо, который был послан к нему Кутузовым с донесением о сдаче Москвы. Вот оно! Соединились и совпали два образа, два портрета, и мягкие, женственные, «античные» черты Александра впервые слились в суровый и строгий облик старца Федора Кузмича. Слили, и мы увидели: да это же одно и то же лицо, один и тот же взгляд, одни и те же жесты, а люди — разные. Император, чья величественная фигура отражается в зеркальном паркете Зимнего дворца, и бородатый старик с краюхой хлеба, замаливающий грехи в глубинных недрах Сибири! Как отдельная, самостоятельная личность каждый из них не вызывает удивления, но стоит их соединить, сблизить (расположить рядом два портрета) — и в нас проснется сознание удивительной человеческой загадки.

«Отращу себе бороду», «питаться хлебом в недрах Сибири» — это говорит совсем не тот человек, который мечтал поселиться на берегах Рейна. Значит, план уже был — не только план отречения, но и ухода. Тайный, секретный план, который он не раскрывал никому. Или почти никому, а если раскрывал, то с таким расчетом, чтобы собеседник понял, но не придал значения, придал значение, но — ничего не понял. Вот почему своей мечтой о берегах Рейна он делится с русскими, а о заветном намерении скрыться в Сибири говорит француз: Сибирь для полковника Мишо та же отвлеченная экзотика, что и для русских Рейн. Поэтому можно сказать — как бы случайно обмолвиться. Француз же — иноплеменик, перед ним не страшно. Что ему седая борода, суковатый посох и пачкающая пальцы корочка запеченного в золе картофеля, пища странников и бродяг, — все равно не придаст значения. А если и придаст, то вряд ли что-нибудь поймет. Подумает: так, пустые фантазии, мираж, дым, вечно застигающий воображение этих странных русских. Подумает, но на всякий случай запишет — все-таки не последний крестьянин произнес эти слова, а

император. Император огромной, кроткой, причудливой и необъяснимой страны, именуемой Россией. Поэтому на всякий случай — пусть узнают потомки. Узнают и рассудят: может быть, им видней... И вот я перечитываю слова Александра, увековеченные по-французски полковником Мишо, и передо мной расстилается все та же огромная, кроткая, причудливая и необъяснимая... и тому, что в ней понятно, я не придаю значения, а то, чему придаю, остается совершенно непонятным...

И самое непонятное для меня то, как могло резное, отделанное орехом кресло из путевого дворца Александра оказаться на свалке, а пьедестал его памятника со золотой надписью превратиться в памятник жертвам революционных боев, установленный в 1918 году на городском кладбище Таганрога. Да, да, на обычной дворовой свалке, где его подобрала одна из сотрудниц музея, и — на могиле несчастных жертв, которую мы со знакомым драматическим писателем долго разыскивали среди прочих могил и полуразрушенных склепов. Кресло — и пьедестал. Как? Попытаемся если и не ответить на этот вопрос, то хотя бы рассказать подробнее о его возникновении. Итак, сначала кресло...

Я услышал о нем от молоденькой сотрудницы музея по имени Алла Августовна — молоденькой, строгой, серьезной и даже как бы несколько флегматичной по отношению к музейным редкостям: свойство вполне объяснимое и не вызывающее удивления потому, что настоящий профессионал всегда бережет эмоции, связанные с предметом его каждодневных занятий. Вот и добрейшая Алла Августовна суховато, заученно, с профессиональным бесстрашием поведала мне о том, что после октябрьского переворота 1917 года царский путевой дворец освободили от излишнего декора, разбили на клетушки и отдали нуждающимся. Соответственно и мебель распределили, особо не задумываясь над тем, кому она попадет в руки: вот тебе, Сидоров, стол из карельской березы — будешь на нем гнутые гвозди выпрямлять, а тебе, Марфуткина, ваза — шелуху от семечек сплевывать. Распределили поровну, чтобы всем хватило — и Сидорову, и Марфуткиной, и Спиридоновой, и многим другим. Кое-что, понятно, приберегли — самое ценное, отделанное серебром или золотом, — но основная часть дворцовой обстановки досталась тем, кто успел. Так и получилось, что в некоторых домах Таганрога до сих пор хранятся императорские вещи, особенно мебель — столы, стулья, кресла, — только поискать. Впрочем, иногда и искать не надо — вышел на свалку и... За столько-то лет и обивка поистерлась, и лак потускнел, и дерево рассохлось, вот и выбрасывают. И кресла, и стулья, и овальные столы из карельской березы. Так однажды и Алла Августовна вышла, пригляделась и наметанным глазом определила: не простая вещица. Извлекла из-под груды мусора, смахнула пыль, и действительно — изящное, старинной работы кресло, напоминающее лучшие образцы мебели начала XIX века. Правда, обивка содрана и из сиденья торчат ржавые пружины, но — из лучших образцов, и, быть может, сам император сиживал, заложив ногу на ногу и задумчиво откинувшись на высокую спинку, или императрица, присев на краешек и аккуратно подобрав платье, рассеянно листала французский роман. Одним словом, реликвия...

Реликвия из числа тех, которые вызывают во мне благоговейный трепет и некий обморочный восторг, прорывающийся в восклицаниях: «Ах, неужели!» — безостановочном кивании головой, блаженно-радостном потирании рук и прочих жестах сочувственного доверия к собеседнику. Да, да, трепет и восторг, ведь я же не профессионал, а дилетант, сентиментальный созерцатель, для которого вещи окутаны некоей мерцающей серебристой аурой, похожей на свечение ночной луны, и в этом завораживающем свечении возникают призраки, тени, профили, силуэты тех, кого давно уже нет, но они есть, поскольку оставлены знаки их присутствия на земле. Оставлены знаки, и поэтому я, конечно же, не мог не увидеть, и в ответ на мой умоляющий взгляд Алла Августовна терпеливо вздохнула, посмотрела на часы, прикидывая, сколько это отнимет времени, и обреченно развела руками: «Ну что ж, пойдемте...» Пойдемте — и мы отправились в дом ее бабушки, где хранилось кресло, долго плутали по улочкам, куда-то сворачивали, ныряли во дворики, выныривали в переулки, и наконец вот оно — в глубине маленькой комнаты. Комнаты с обычным телевизором, покрытым вышитой дорожкой комодом, трехстворчатым зеркалом, кактусами на окнах, и среди всего этого — кресло из путевого дворца Александра! Непостижимо — из путевого дворца, и, быть может, он сам, заложив ногу на ногу и откинувшись на высокую спинку, или императрица... рассеянно листала... Одним словом, я пытался связать, сопоставить внешний облик вещи с ее историей — тем таинственным и необъяснимым, что отличает ее от прочих вещей в этой комнате. Добрейшая Алла Августовна не торопила меня, но все-таки посматривала на часы,

и было ясно, что нельзя бесконечно затягивать этот миг, что существуют приличия и надо прощаться. Прощаться со старым креслом — как странно! Без обивки, пружины торчат из сиденья — а как будто с человеком... Приоткрыли на минуту дверцу, и... свидание окончено. Исчезли призраки, тени, профили, силуэты, и только знаешь: то, чего нет, есть и сам ты — держатель знака, врученного тебе на вечное хранение.

VI

Однако продолжим. Продолжим нашу повесть и одновременно с этим закончим рассказ о Таганроге, а напоследок, как обещали, посетим старое городское кладбище, отыщем ту самую могилу, где возвышается памятник, некогда бывший пьедесталом. Пьедесталом, или, иными словами, основанием, подножием для чего-то, призванного возвышаться, и вот как все перевернулось — в буквальном смысле с ног на голову, если отныне возвышается само подножие! Возвышается как памятник жертвам революционных боев: революционных — значит, против ненавистного царизма, а памятником жертвам стал царь. Не статуя, а пьедестал, подножие, попирающее тех, кто низвергал статую. Какой парадокс, какой чудовищный гротеск: те, кто дерзновенно возвысил себя над царем, оказались погребенными под его ногами! Возвышение головой вниз: поистине этим памятником творцы революции выразили самую ее суть. Выразили случайно, как бы и не помышляя об этом, а просто польстившись на мрамор или гранит, но недаром сказано: чем случайней, тем вернее. И вот эпоха обретает свой обманчивый символ, мы же со знакомым драматическим писателем едем на кладбище в пыльном южном трамвае, чтобы отыскать странный памятник — один из тех, которых так много в огромной, кроткой, причудливой и необъяснимой стране. Приезжаем и долго ищем, переходя от одной могилы к другой, он же, как полагается, ускользает. Ускользает и словно бы нас морочит, водит вокруг одного и того же места, а сам не показывается. Мы со знакомым писателем вконец измучились, расспрашивая прохожих: посылают направо — он слева, поворачиваем налево, а он тут как тут — справа. И так получается, что все вроде бы знают: есть такой памятник, — но направить толком никто не может. Никто, даже из тех, кто живет совсем рядом. Вроде бы есть, а где именно — и не вспомнить. Кружили мы, кружили и лишь чудом вышли: вот он, этот призрачный, мнимый, ускользающий памятник, который некогда стоял в центре города, на Банковской площади (это место мы потом нашли), а теперь скромно ютится здесь, на кладбище, затерянный среди могил. Затерянный и неразличимый, но, может быть, в этом есть свой смысл? Смысл-судьба, смысл-жребий, таинственный контур которого проступает в том, что такой же мнимой и призрачной была смерть Александра. Мертвец ожил, и памятник — исчез. Исчез, и лишь пьедестал напоминает о великой мистификации, известной под именем — болезнь и смерть императора Александра I в Таганроге.

Куда отправился Александр после того, как в четверг, 19 ноября 1825 года он, по сообщению официального протокола, испустил последний вздох и императрица Елизавета Алексеевна, не отходившая от августейшего больного, сама закрыла ему глаза и подвязала платком подбородок? И, добавим мы, отправился не замеченным? По одной версии, императора приняла на борт яхта лорда Лондондерри, ожидавшая его на внешнем рейде Таганрогского порта, но как он мог выйти из дворца, охраняемого караулом? Не по тому ли подземному ходу, который соединял императорский дворец с домом Ширинских-Шихматовых, фасадом выходящим к морю, окруженным садом? «Через сад вниз, с высокого берега Таганрогского залива, шла ступенчатая дорога, спускаясь к заливу. Слева от дома примыкал большой Петровский парк, отделявший дом от города. С другой же стороны, приблизительно в 300-х метрах, стоял царский дворец, тоже окруженный садовыми деревьями. Во время Крымской войны дом князей Ширинских, неизвестно по какой причине, подвергся жестокой бомбардировке английской эскадры, целью которой были — Мариуполь и порт Таганрога, бывшие на значительном расстоянии от дома. Это была так называемая Керченская экспедиция английского флота. Чем обязан был дом князей Ширинских вниманию английских моряков, оставалось загадкой на все последующие годы. По всему фасаду дома, как и в комнатах внутри, было всажено множество ядер разного калибра. Было очевидно, что дом никакого стратегического значения иметь не мог, стоя одиноко на отлете города. А ведь только по фасаду его насчитывали больше 200 попаданий ядрами, не считая тех, что влетели в разбитые окна, разрушая все внутри. Вид этих разрушений показывая, что здесь не было места

ошибке, а была определенная цель — разрушение. В таком виде дом простоял до 1917 года, когда мы его увидели, приехав всей семьей в апреле месяце из Петрограда. Мой отец, Алексей Александрович Лебедев, профессор Политехнического института в Петрограде, был родным братом собственника авиационного завода „Лебедь” в Таганроге. Завод еще не был закончен постройкой и находился за городом, где был и аэродром. Завод был большой, и постройка его отличалась необыкновенными для того времени размерами... Дирекция завода нуждалась в подходящем помещении, и выбор остановился на доме, называвшемся тогда „Дом в ядрах”. Он принадлежал уже греку-коммерсанту, и он его продал моему дяде для нужд дирекции. Для составления сметы и плана общих ремонтных работ был приглашен архитектор. Два верхних этажа дома были в полуразрушенном состоянии, а нижний сохранился несколько лучше. После бомбардировки здесь никто не жил, и время заканчивало его разрушение. Когда нижний этаж немного очистили от кирпичей и частных обвалов, мой дядя пригласил директора завода Дидерикса и других из дирекции, позвалили и нам, детям, посмотреть этот любопытный дом. Помню, как старшие выражали удивление, что стены дома все же смогли выдержать столь сильную бомбардировку. После беглого осмотра снаружи мой дядя пригласил всех спуститься в подвал, и там, в глубине его, с правой стороны, смотря на море, обнаружился подземный ход. Дядя показывал его всем посетителям и объяснял, что его направление ведет прямо к царскому дворцу. По нему можно было пройти 20—30 метров. Дальше он был завален гнилыми досками, упавшими с потолка балками и просто землей. Взрослые, обмениваясь мнениями, высказывали по этому поводу свои замечания, из которых я отлично запомнил только одну фразу: „здесь и был выход”».

Ну разумеется... В такой загадочной истории должен быть подземный ход, о котором и рассказывает инженер А. А. Лебедев, племянник владельца авиационного завода, чье свидетельство опубликовано журналом «Имперский вестник» (1990, № 11). Журналом, судя по названию, редким, издаваемым в Нью-Йорке Российским имперским союзом-орденом; мне его передал Александр Николаевич Стрижов, большой книжник, собиратель материалов по русской истории. Передал уже после того, как я вернулся из Таганрога, и тем самым смутил мою душу, наполнив ее запоздалым раскаянием. Как же так — не попытаться найти, разузнать! Ход-то подземный — значит, уцелел хотя бы частично! А ну как в пыли, под обломками — отпечатки больших подошв с подковками и шляпками гвоздей: следы Александра! Или оброненный по дороге платок! Или... Одним словом, воображение мое разыгралось, и стал я звонить в Таганрог: может быть, знают в музее? Добрейшей Аллы Августовны на месте не оказалось, а другая сотрудница сначала ничего не поняла... потом с оттенком неприязненного удивления переспросила: «Подземный ход?» — как бы ревнуя местную реликвию к назойливому любопытству со стороны... потом пообещала навести справки... потом с чувством превосходства местного знатока над посторонним незнайкой ответила, что дом давно снесен, а подземный ход... в музее о нем ничего не известно, да и где доказательства, что он был? А если и был, то это еще не значит, что он вел ко дворцу! Мало ли этих подземных ходов! Вот, скажем, в доме... — сотрудница назвала еще одну старинную постройку Таганрога. Но из этого же нельзя сделать вывод... Одним словом, здесь нужен строгий научный подход! Так я был посрамлен в моем дилетантском невежестве, и мне представилась местная реликвия, окруженная высоким деревянным забором, к которому оставлен лишь один — научный — подход. Посрамлен вместе с инженером Лебедевым, с той же дилетантской наивностью писавшим: «Было бы очень интересно, чтобы кто-либо из живших в Таганроге рассказал о дальнейшей судьбе этой знаменитости города». Увы, никто не расскажет — во всяком случае, из сотрудников музея. Но, может быть, найдется и еще подход к забору и некий энтузиаст доберется — по камушкам, по досочкам, по настилу из еловых веток — до тайны подземного хода?..

Версия, по которой Александра I приняла на борт английская яхта, не единственная отвечает на вопрос, куда он исчез после Таганрога. Отвечает или, скажем мягче, пытается ответить, поскольку до окончательного ответа, конечно, еще далеко. Есть и другие версии: скрылся в Почаевском монастыре, в пещерах Киево-Печерской лавры, в Свеаборгской крепости. По самой фантастической из них, Александр бежал в Англию, а оттуда в Тибет, куда Николай I тайно посылал ему деньги. Бежал, чтобы изучать практику медитации и восточную медицину; невероятно, но куда только не заносило русских людей в поисках истины, и поэтому версию так же трудно принять, как и отвергнуть. Даниил Андреев считал (или, точнее, знал?), что Александр I

проходил послушание у Серафима Саровского, к которому отправился из Таганрога пешком.

Эта версия представляется наиболее достоверной: Александр у Серафима Саровского. Тем более, что, мы помним, он посетил преподобного по пути в Таганрог: может быть, готовился? «Примете ли на послушание бывшего императора всероссийского и благословите ли на уход?» Может быть, может быть, но не будем брать на себя ответственность окончательного выбора и вернемся к этой теме, рассказывая о путешествии в Петербург и встрече с человеком, отстаивающим еще одну — тобольскую — версию исчезновения Александра. Вернемся, а пока доверимся случаю, так же как доверились мы, покидая Таганрог: испробовали все версии на билетном кассире, и оказалось, что есть билеты только до Киева. Так выпала нам киевская версия, и уже следующим вечером мы ехали в пустом плацкартном вагоне, без света, без проводника, со странным подобием занавесок на окнах и черными от железнодорожной гари полотенцами, — ехали, поеживались от холода, натыкались впотьмах на углы вагонных полок и от некоего смутного чувства таинственности нашего отбытия из Таганрога, полнейшей свободы (одни во всем вагоне!), грусти и необъяснимой радости пили водку, купленную у проводника-невидимки (появился и снова канул), говорили об Александре и, окрыленные предстоящим свиданием с Киевом, пели украинские песни. Пели всю ночь — вернее, подпевали нашей миловидной художнице, которая помнила их гораздо больше, чем мы, и — в отличие от моего друга, знакомого писателя и меня — обладала довольно приятным голосом. Поэтому нам оставалось лишь подпевать, с воодушевлением подхватывая концы повторяющихся куплетов и тем самым показывать, что и мы тоже... знаете ли, поем... Впрочем, зачем я об этом рассказываю? И какое отношение это имеет к Александру? К Александру, положившему в гроб своего двойника и темной осенней ночью... умершему... и тем, кто его провожал, виделась уменьшающаяся фигурка быстро шагающего человека. Какое же отношение? Но имеет — уверяю, имеет, и, наверное, все дело в чувстве таинственности, свободы и грусти, неким образом связанным с ним. Точнее я это выразить не могу и потому закончу: пели всю ночь, к утру ненадолго заснули, а когда проснулись, за окном уже мелькали подсолнухи и белые хатки. Вскоре мы прибыли в Киев.

VII

Доверимся случаю и, пока мы в Киеве, примем условно версию, по которой Александр I скрывался в пещерах Киево-Печерской лавры. Эту версию как одну из возможных выдвинул К. Н. Михайлов, автор книги «Император Александр I — старец Федор Козмич». Выдвинул, ссылаясь на некие косвенные данные, подтверждающие, что Федор Кузмич — еще до появления в Сибири — бывал в Лавре, а затем поддерживал прочные связи с ее обитателями. Бывал и поддерживал — это действительно так. Ну, скажем, среди вещей, обнаруженных после его смерти, был и молитвенник киево-печерского издания. Конечно, это еще не доказательство, но добавим, что в Федоре Кузмиче угадывается человек, который словно бы хранит некие дорогие ему воспоминания о Лавре и — складывается такое впечатление — лично знает многих печерских старцев. Вот как он напутствует свою воспитанницу Александру Никифоровну, позднее прозванную майоршей Федоровой, посылая ее в паломничество по святым местам России, — напутствует, особенно настаивая на том, чтобы она посетила Киев: «Есть там так называемые пещеры, и живет в этих пещерах великий подвижник — старец Парфений и еще один старец, Афанасий. Живут они: один — в Дальних, а другой — в Ближних пещерах, отыщи их там непременно, попроси их помолиться за тебя, расскажи им о житее своем. В особенности не забудь побывать у Парфения. Если он спросит тебя, зачем ты пришла к нему, скажи, что просить благословения; ходила по святым местам и пришла из Красной Речки, что бы ни спрашивал он тебя, говори ему чистую правду, потому что великий это подвижник и угодник Божий». Старец Парфений — это ему принадлежат слова о Федоре Кузмиче: «Он будет столпом от земли до неба». Слова, произнесенные в пещерах Киевской лавры и адресованные Александре Никифоровне, которая послушно выполнила поручение Федора Кузмича, добралась до Киева и отыскала старца Парфения в пещерах Лавры, где и нам предстоит побывать, поэтому и о словах стоит задуматься.

Заметим: сказано не «есть», а — «будет». Таким образом, Федору Кузмичу приписывается некая особая миссия, особая роль духовного существа, чье могуще-

ство проявится в равной степени и на земле и на небе, как пишет об этом Даниил Андреев.

Не только Даниил Андреев и старец Парфений сумели распознать миссию Александра. Назовем и еще одно духовное лицо — московский митрополит Филарет. Тот самый Филарет, под чье благословение не раз подходил Александр, вот он-то и сделал приписку на черновом проекте манифеста о престолонаследии: «...чаем непреемственного царствия на небесах». Александр, просматривая черновик, подчеркнул эту фразу. Вероятно, он подумал, что уж это слишком — написать, будто он желает царствовать на небе, да еще беспреемственно, как высшие иерархи светлых сил. Поэтому князь А. Н. Голицын заменил подчеркнутую фразу словами более скромными, но при этом лишенными и всякого провидческого смысла: «...о принятии души нашей, по неизреченному Его милосердию, в Царствие Его Вечное». Вот и сравним теперь две фразы — одну нашептал ангел, а другую добросовестно составил князь Голицын. Сравним по дороге в Киево-Печерскую лавру, куда нам давно пора отправиться. Мы уже побродили по улицам Подола, поднялись на Владимирскую горку, посмотрели на Днепр с крутого обрыва и вроде бы вдохнули, вобрали вместе с воздухом, уловили как запах то, что называют Киевом: классические купола и шпили, державный гранит и мрамор; барочные завитки соборов, гулкую брусчатку мостовых, а на самом деле — нечто среднее между суровым византийским благочинием и разгульной Запорожской Сечью. Вдохнули, вобрали, уловили, а теперь — пора, и вот мы с драматическим писателем просыпаемся ранним утром в квартире, где нас приютили знакомые нашей миловидной художницы, завтракаем на маленькой — со спичечный коробок, — безбытной, беспосудной кухоньке, пьем кофе, оказавшийся чаем, завариваем чай из банки, припахивающей кофе, затем доезжаем на метро до центра города и пешком идем в Лавру. Пешком — по утренним улицам, еще не сбросившим пелену тумана, а только слегка зарозовевшим, зазолотившимся от кособогаго слепящего солнца, и с каждым шагом она все ближе — Лавра, и мы чувствуем, как вместе с ней приближается нечто такое же розовое и золотистое, похожее на большое облако, но при этом словно невидимое и лишь обозначенное теплым, ласкающим, благотворным дыханием воздуха. Да, да, невидимое облако — или поле, распространяющее вокруг разряды светлой энергии: это и называют намоленным местом. Местом, где совершалось великое духовное творчество избранных, осветлявших молитвами свою душу, и куда каждый приходил и оставлял. Приходил — с чистыми помыслами и оставлял — частичку добра. А чистые помыслы и добрые намерения — это тоже своего рода материя, легкая, воздушная ткань, плавающая над нами, вздымающаяся от порывов ветра и снова опадающая прозрачным покрывалом, поэтому нам и хорошо в таких местах. И все-таки был ли здесь Федор Кузмич? С этой мыслью мы ходим по монастырю, стоим на службе в соборе, сквозь решетчатые окна которого проникает солнце, сидим во дворе перед трапезной, где завтракают монахи, и спускаемся в пещеры — те самые, куда Федор Кузмич послал свою воспитанницу. Спускаемся, держа в руках тоненькую, слегка выгнутую, медово-горчичного цвета церковную свечку и защищая ладонью мерцающее синеватое пламя: и все-таки был ли здесь?.. Кланяемся, крестимся, встаем на колени перед мощами: и все-таки был ли?.. У знакомого драматического писателя в Москве заболела дочка (звонил по телефону, и ему сказали), и я знаю, о чем он просит в молитвах. Знаю и тоже прошу за него: и все-таки был ли... был ли?.. Нет покоя от этой мысли...

И нет покоя потому, что об Александре точно известно — был; а вот Федор Кузмич? Иными словами, уже после Таганрога?.. Не в расшитом мундире с эполетами и высоким стоячим воротником, подпирающим подбородок, а в простой черной рясе и клобуке?.. Вот вопрос, на который нам сейчас не ответить, и мы можем лишь мысленно сопоставить, сблизить, соединить воображаемый облик Федора Кузмича с мерцанием синеватого пламени, каменными ступенями и низкими, сумрачными сводами пещеры. Соединить, снова сказав себе: здесь! Да, да, именно здесь — если не Федор Кузмич, то Александр, причем даже не один раз: в 1816 и 1817 годах. Ему, как и его бабке Екатерине, было свойственно это постоянно возникающее стремление — сесть в карету и по-царски осмотреть владения. Вот он и совершает свои имперские путешествия по русским городам — Туле, Калуге, Ярославлю, Чернигову, Житомиру — и, конечно же, останавливается в Киеве. Останавливается и посещает Лавру, где долго беседует со схимником Вассианом. «Благословите меня, — просит Александр. — Еще в Петербурге наслышался о вас и пришел поговорить с вами. Благословите меня». Отшельник, видя перед собой царя, хочет поклониться ему в

ноги, но Александр не позволяет: «Поклоняться надлежит одному Богу. Я человек, как и прочие, и христианин. Исповедуйте меня так, как вообще исповедуете всех духовных сынов ваших». Не позволяет и сам целует ему руку. Обратим внимание: «еще в Петербурге слышался» и «исповедуйте». Значит, заранее готовился к исповеди и собирался высказать нечто очень для себя важное. Что именно — мы, конечно же, не знаем, а лишь догадываемся: слишком уж он настойчиво себя унижает, отказывается от почестей, подобающих царскому званию (почти как Федор Кузмич: «Панок, ты меня не величай»), и в христианском смиреннии уравнивает со всеми прочими людьми. Будто бы он и не царь вовсе, а самый обычный верующий, ищущий пути к спасению. Недаром он так и говорит наместнику Лавры: «Благословите как священник и обходитесь со мною как с простым верующим, пришедшим в сию обитель искать путей к спасению; ибо все дела мои и вся слава принадлежат не мне, а имени Божию, научившему меня познавать истинное величие».

Так в чем же он исповедовался здесь, в Киево-Печерской лавре? Не случайно же приехал сюда еще раз, чтобы вновь встретиться со схимником Вассианом, — уже в 1817 году. Беседа длилась больше часа, и не ее ли отголоском было то, в чем император признался за обедом? Заговорили об обязанностях людей, занимающих различное положение в обществе — в том числе и монархов, — и Александр произнес с той особенной твердостью и при этом с неким сентиментальным воодушевлением в голосе и рассеянной мечтательностью во взгляде, с какой высказывал самые заветные и глубоко хранимые мысли: «Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в минуту опасности первым идти ей навстречу. Он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют. По прошествии этого срока он должен удалиться». Эти слова приводит в своем дневнике полковник Михайловский-Данилевский, любимый флигель-адъютант императора. Он же отмечает, что при этом «на устах государя явилась улыбка выразительная» и он продолжал: «Что касается меня — я пока чувствую себя хорошо, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят...» «Тут, — пишет Михайловский-Данилевский, — несколько присутствующих прервали императора и, как нетрудно догадаться, уверяли, что и в шестьдесят лет он будет здоров и свеж... Неужели, подумал я, государь питает в душе своей мысль об отречении от престола, приведенную в исполнение Диоклетианом и Карлом Пятым? Как бы то ни было, но сии слова Александра должны принадлежать истории». «Когда мне будет пятьдесят» — и символическое многоотчие. Но, может быть, на исповеди он договорил то, о чем предпочел умолчать в светской беседе? Договорил и тем самым выдал в себе будущего Федора Кузмича?..

И еще одно мистическое совпадение. Через месяц после посещения Киево-Печерской лавры император Александр присутствует на закладке храма и беседует с Карлом Лаврентьевичем Витбергом. Закладка происходит в Москве, на Воробьевых горах, причем император обращается к Витбергу с несколько странной фразой: «Конечно, я не могу надеяться что-либо видеть при себе». Собственно, смысл этой фразы понятен: император выражает опасение, что ему не доведется увидеть храм построенным — вот он стоит, сверкая куполами, и колокольный звон разносится над Москвой-рекой. Не доведется. — но почему?! Ему же всего-навсего сорок лет, и благодаря спартанскому воспитанию, полученному в детстве, он отличается превосходным здоровьем. Следует согласиться с В. В. Бяратинским, автором книги «Царственный мистик (Император Александр I — Федор Кузьмич)», который так комментирует эту фразу: «...при всей медленности производства работ, особенно художественных, в России, — мог бы надеяться „видеть что-либо при себе“». Правда, не слишком определенное выражение «что-либо» указывает на то, что проект Витберга был прекрасным проектом мечтателя, прекрасным и неосуществимым (тут мы с Бяратинским готовы поспорить), но император вряд ли вдавался в архитектурные детали проекта и имел в виду совсем другое — туманное и загадочное. Мы это улавливаем по всему строю фразы — уклончивой и несколько даже нескладной, неказистой, синтаксически неустойчивой; но самым непроницаемым туманом окутано словечко «при себе». Что оно означает? При себе как императоре? По тому смыслу, который вкладывал в него Александр, — да, но ведь фразу-то нашептал ангел, тот же самый, что склонялся над ухом митрополита Филарета, поэтому и словечко имеет еще и некий мистический смысл. «При себе» означает в этом физическом облике, в этой материальной оболочке, в этом телесном воплощении. Саму возможность видеть Александр как бы не отрицает, но не при себе, какой он сейчас, а в ином облике, в иной оболочке, в ином воплощении. Так невольно звучит эта фраза,

и нам остается лишь представить Воробьевы горы, какими они были сто семьдесят лет назад: серые крыши изб, мутные дужи в колеях дороги, затянутая дождливым маревом Москва-река, лодчонка на приколе, — и вот среди всего этого закладывается некий фантастический, небывалый по красоте, невиданный по замыслу храм и беседуют двое, император и зодчий, те, кому не дано построить его на земле, но зато поручено возвести на небе.

VIII

В Киеве мы снова доверились билетному кассиру, надеясь, что он поможет нам перенестись за Урал, а оттуда в Сибирь, но надежды оказались тщетными: ни улететь, ни уехать мы не смогли. Мои друзья приуныли и дружно сетовали на неудачу и роптали на судьбу, переставшую нам благоприятствовать, и лишь я не сетовал и не роптал, понимая, что причина невезения всегда в нас самих: или мы этого не заслужили, или нам это не надо. В данном случае совпало и то и другое: у знакомого драматического писателя, который давно стал мне другом, никак не выздоравливала дочка, и к тому же что-то разладилось в нашей компании. Что-то неуловимое, неосознанное, но — разладилось, и мы все это чувствовали. Билетный кассир сделал последнюю попытку нас снова сблизить: выдал четыре билета в Почаев, в тот самый монастырь, где, по версии историка Михайлова, мог скрываться Федор Кузмич. Мы собрались в дорогу, но в последний момент не выдержал драматический писатель — решил ехать в Москву к больной дочке, — и я, третий лишний в осиротевшей компании, обреченно поехал с ним. Поехал, хотя мне было жаль возвращать кассиру билеты в Почаев. Жаль — но в то же время я ни о чем не жалел, вспоминая мудрое правило: либо не заслужил, либо не надо. Не жалел, но в то же время было жаль — в таких сомнениях я и приехал в Москву.

Приехал, засел за новые книги об Александре, которые удалось достать, а самого одолевало: либо... либо... Ну, допустим, в Почаев мне действительно не надо, а в Красноуфимск, а в Томск? Не побывав в этих городах, я не смогу соединить два портрета, поставить тире между именами Александр и Федор Кузмич. Значит, надо, непременно надо, и дело даже не столько в том, что не заслужил, а в том, что не готов. Внутренне не готов к тому, чтобы постигнуть во всей глубине духовную драму Александра. Александра, который обращался к Богу с такой молитвой: «О, Владыко, человеколюбче Господи, Отец, Сын и Святой Дух, Троица Святая; благодарю Тя, Господи, за Твое великое милосердие и многое терпение. Аще бы не Ты, Господи, и не Твоя благодать покрыла мя, грешнаго, во вся дни, и нощи, и часы, то уже бы аз, окаянный, погибл, аки прах, пред лицом ветра, за свое окаянство, и любность, и слабность, и за вся свои преестественные грехи. Уже бо не престаю и не престану часа того, что не сотворить греха, а когда восхощет прийти ко отцу своему духовному на покаяние, отча лица устыдихся греха, утаих и оные забых и не могох всего исповедать срама ради и множества грехов моих, тем же убо покаяние мое нечистое есть и ложно рекомо, но Ты, Господи, сведый тайну сердца моего, молчатися разреши и прости в моем согрешении и прости грешную душу мою, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Обращался уже тогда, когда носил имя Федор Кузмич, а свое истинное утаивал даже на исповеди. Отсюда и сокрушение о «нечистом и ложном покаянии», и признание в том, что «тайна сердца» его принадлежит одному лишь Богу. Удивительная молитва — переписываешь эти слова и думаешь о том, как он их шептал наедине! В бревенчатой сибирской избе с прорубленным узким окошечком... стоя на коленях на дощатом полу... перед иконой, озаряемой белесым утренним светом, Да, да, почему-то особенно ясно представляешь белесый утренний свет и то, как упираются в пол колени... И вот он шепчет, осеняя себя крестом: «...Господи, сведый тайну сердца моего...» Он, некогда смотревший на Неву из окон Зимнего дворца и гулявший по дорожкам царскосельского парка с мостиками, павильонами и античными статуями... Действительно — «тайна сердца», которую не дано разгадать...

А если не разгадать, то хотя бы прикоснуться, чуть-чуть приблизиться к разгадке, и вот я тоже шепчу слова молитвы, как будто они, подобно намагниченным крупинкам металла, хранят некое веяние, некий неуловимый холодок, похожий на тот, который сквозил в щели сибирской избы. Шепчу и собираюсь в дорогу, но не в Сибирь, а в Петербург, чтобы посмотреть на Неву из окон дворца и погулять по дорожкам царскосельского парка. Посмотреть, погулять и тем самым подготовиться к сибирской поездке. Красноуфимск и Томск — завершение, Петербург —

начало. Отсюда Александр уезжал в Таганрог, зная, что больше сюда не вернется, и мне хочется поймать отпечаток этого знания — на стенах домов, под пролетами арок, меж прутьев чугунных решеток. Отпечаток и как бы некий след, придающий особое выражение этим домам, аркам и решеткам старинных парков: Александр с ними прощается. Грохочут колеса по брусчатке, лошади выгибают шеи, кучер натягивает вожжи и рассекает воздух кнутом, и император, слегка приподнявшись на сиденье... в последний раз видит то, что должен увидеть и я: Зимний, Александро-Невскую лавру, дворец на Каменном острове. Увидеть и поймать след. И вот я снова доверяюсь могуществу билетного кассира, прострачивающего цифрами синеватый бланк, а затем забираюсь на вагонную полку, долго ворочаюсь и пытаюсь заснуть под ночным фонариком купе, проваливаюсь в странное забытие с полным сознанием, что я не сплю, а думаю, хотя на самом деле сплю и просыпаюсь уже тогда, когда за окном возникает нечто дымное, кирпичное, заводское, питерское... Что дальше? Ну конечно же — для каждого приехавшего это испытанный ритуал — пройтись по Невскому. Разумеется, пешком и от начала до конца — пройтись и убедиться, что ты не где-нибудь, а именно в Питере и перед тобой Аничков мост, кони Клодта, дворец Кшесинской, памятник Екатерине...

Екатерине... И тут я словно бы очнулся, и мне показалось, почудилось, померещилось, как мерещится просвет в ночном тумане, нечто александровское, будто бы улавливаемое в воздухе, витающее, сквозящее: все-таки родная бабка. Властная, вельможная и простая — из тех, у кого к запаху французских духов примешивается здоровый и крепкий чесночный запах. Ее и не назовешь иначе как матушка государыня, хотя с Вольтером переписывалась и своего внука воспитывала по новейшей европейской методе: «Комната, куда он был перенесен, обширна, чтобы воздух в ней был лучше... Балюстрада препятствует приближаться к постели ребенка многим людям сразу: скопление народа в комнате избегается, и там не зажигается никогда более двух свечей, чтобы воздух не был слишком душным. Маленькая кровать мсье Александра, так как он не знает ни люльки, ни укачивания, — железная, без навеса; спит он на кожаном матрасе, покрытом простыней, у него есть подушечка и легкое английское одеяло. Всякие оглушительные заигрывания с ним избегаются, но в комнате всегда говорят громко, даже во время его сна. Тщательно следят, чтобы термометр в его комнате не подымался никогда выше четырнадцати или пятнадцати градусов тепла. Каждый день, когда выметают в его комнате, ребенка выносят в другую комнату, а в спальне его открывают окна для притока свежего воздуха... С самого рождения его приучили к ежедневному обмыванию в ванне, если он здоров... Как только пришла весна и сделалось тепло, сняли чепчик с его головы, и мсье Александра стали выносить на воздух, приучать его сидеть на траве и на песке, даже спать тут несколько часов в тени в хорошую погоду. Он не знает и не терпит на ножках чулок, и на него не надевают ничего такого, что могло бы даже мальски стеснять его в движениях... Любимое платье его — это очень коротенькая рубашечка и маленький вязаный, но довольно широкий жилетик; когда его выносят гулять, то сверх этого надевают на него легкое полотняное или тафтяное платье. Он не знает простуды...» Обо всех этих подробностях Екатерина сообщает в письме шведскому королю Густаву III — сообщает, явно гордясь тем, что ее стараниями мсье Александр с детства усваивает суровый спартанский дух, который поможет ему выдержать тяжелое бремя власти. Гордясь и в то же время жалея, что ее собственного сына Павла воспитывали совсем иначе и сердобольные нянюшки кутали его в мехах, носили на руках и кормили с ложечки, отчего он вырос болезненным и хилым.

В 1779 году у Александра рождается брат Константин, и когда наступает пора позаботиться об их образовании, Екатерина сама подбирает им учителей и даже пишет «Бабушкину азбуку» — сборник нравоучительных повестей, бесед, пословиц, сказок и поговорок, своеобразное детское чтение для своих внуков. Пишет «Азбуку» и составляет краткое изложение событий русской истории от основания Руси до татарского нашествия — своего рода учебник для будущих монархов. Трезвый, практический ум Екатерины подсказывает ей, что наряду с книжными знаниями мальчикам для их развития нужны живые и яркие впечатления, поэтому, готовясь к одному из своих имперских путешествий — в Новороссию и Крым, — она собирается взять с собой внуков: пускай воочию увидят страну, которой им предстоит управлять. Великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария Федоровна, родители будущих венценосцев, всерьез напуганы: они считают, что мальчики еще слишком малы для такого путешествия; но властная Екатерина настаивает на своем, и лишь внезапная болезнь Константина не позволяет ей осуществить это намерение. Не

позволяет в 1786 году, но зато весной 1787 года, находясь в Москве, Екатерина вызывает к себе внуков, и вот они въезжают в Кремль, окруженные дядьками и няньками, резко выпрыгивают из кареты и бегут навстречу любимой бабке, которая наклоняется, чтобы приласкать их, поцеловать и обнять. Затем они целый день носятся по дворцу, смеются, проказничают, дурачатся, дергают за фалды караульных, и юный, восторженный, сентиментальный Александр, слегка отстав от брата, задумчиво смотрит сквозь теремные окошечки на зубчатые стены, островерхие башни и златоглавые соборы.

Вечером, утомившись, они сидят рядом с бабкой, и она читает им нравоучительную повесть из своей «Азбуки» и рассказывает о Ярославе Мудром, Дмитрие Донском, Александре Невском... О том самом Александре, в честь которого... да, да, мой мальчик, тебе тоже предстоят такие же подвиги, и твое имя прославится так же, как и имя твоего великого тезки. Так говорит Екатерина, обнимая за плечи внука, — и я словно бы слышу ее глуховатый, раскатистый голос с бархатистым грудным призывом и легкой хрипотцой на высоких нотах...

Слышу, направляясь к Дворцовой площади и уже издали угадывая: силуэт ангела с крестом, барельефы с четырех сторон основания, шлемы, щиты, венки, античные фигуры — Александровская колонна. Ее поставил здесь Николай I в память о брате. Но ведь он же знал! Знал и поэтому старательно уничтожал письма, дневники и прочие документы, содержавшие хотя бы намек на династийную тайну — уход Александра. И в то же время сам выдал эту тайну, водрузив в самом центре столицы, на Дворцовой площади, памятник живому царю, которого не извляли в виде статуи, а представили аллегорически — ангелом, несущим крест. И вся символическая атрибутика колонны указывала на добровольный отказ от власти — поэтому и двуглавые орлы без корон, хотя во всех других случаях они изображаются с коронами. Корона — символ царской власти, и, снимая их с голов орла, Николай как бы соблюдал тот же самый династийный этикет, который не позволял мириться с тем, чтобы в императорской усыпальнице лежали останки постороннего человека, похороненного вместо Александра: поэтому и могила в Петропавловской крепости оказалась пустой. Пустой, как утверждают очевидцы, присутствовавшие при ее вскрытии, — их свидетельства приводит в одной из своих работ Н. Я. Эйдельман. Вскрытие состоялось в первые годы после октябрьского переворота, а до этого при регулярном осмотре императорской усыпальницы могила Александра I никогда не вскрывалась и не осматривалась. Специальная комиссия по ревизии царских гробниц «молча и не задерживаясь проходила мимо этой гробницы. Это указывало, что комиссия подчинялась некоей инструкции свыше. Никому и в голову не приходило вносить поправку в такое упущение, так как знали, что осматривать нечего — гроб пустой. Какими-то путями было известно, что еще в начале царствования императора Николая Первого по его личному приказанию гробница его умершего брата не открывалась и вообще доступ к ней для осмотра был воспрещен», — рассказывает вдова прокурора петроградской судебной палаты Ольга Николаевна Альбова, чье свидетельство записано С. В. Байкаловым-Латышевым и опубликовано в журнале «Имперский вестник».

Усыпальница без праха, двуглавые орлы без корон — вот тема для разговора между людьми, испытывающими склонность к мистическим загадкам и некое непреодолимое влечение ко всему странному, необъяснимому и таинственному. Людьями того особого склада, который позволяет часами... забыв обо всем на свете... Признаться, был и у меня такой упоительный разговорчик. Еще в Москве я узнал, что в Петербурге есть человек, занимающийся Александром I, — один из сотрудников Эрмитажа. И даже вроде бы была телепередача, в которой он участвовал, — о мнимой смерти в Таганроге, двенадцатилетнем затворе и появлении в Сибири под именем старца Федора Кузмича. Вроде бы... как мне говорили... но сам я не видел, но зато у меня было записано имя — Анатолий Федорович Хрипанков, и я без труда разыскал его в Эрмитаже. Это оказался именно тот человек... способный часами... забыв обо всем на свете... И вот мы устроились в прокуренном служебном коридорчике, где толпились командированные, стрекотала пишущая машинка и без конца звонил телефон, и начался наш упоительный, восторженный, сумбурный разговорчик. Начался с Александровской колонны, которую мой собеседник изучил во всех подробностях (орлы без корон...), а затем перекинулся на самого Александра и причины его ухода. Тут обнаружилось, что в трактовке этого вопроса я больший мистик, чем Анатолий Федорович. Хрипанков же особенно напирал на социально-экономическую сторону, связывая уход императора с неудачей его реформ и прочим. Анатолий Федорович убежденно доказывал, что после Таганрога Александр скры-

вался под Тобольском, в Иоанно-Предтечевском монастыре, что вместо него был похоронен фельдшер Масков, чьи останки затем извлекли из императорской гробницы и спрятали под полом Чесменской церкви, что Дибича убрали как человека, который слишком много знал и не умел молчать...

После разговора с Анатолием Федоровичем Хрипанковым я еду в Александроневскую лавру, где император Александр отстоял не одну службу, где были похоронены его дочери и где он молился за два дня до отъезда в Таганрог, затем завтракал у митрополита Серафима и удивил его странной просьбой — отслужить для него одного панихиду. «Панихиду?» — спросил митрополит и посмотрел на государя с тем выражением, с каким смотрят на людей, перед которыми преклоняются, но чьим словам отказываются верить. «Да, — ответил Александр и вздохнул, как бы отдавая себе отчет в необычности своей просьбы и приписывая ее тем сокрушенным чувствам, которыми он не хотел бы делиться с окружающими. — Отправляясь куда-либо, я обыкновенно приношу молитву в Казанском соборе, но настоящее мое путешествие не похоже на прежние... И к тому же здесь почивают мои малолетние дочери и вблизи отсюда столь же дорогая мне... Да будет мой путь под покровом этих ангелов». Итак, панихида по живому и здравствующему... Действительно «настоящее путешествие не похоже на прежние» — не похоже настолько, что даже у осторожного и уклончивого Н. К. Шильдера, автора официальной истории царствования Александра I, возникает «загадочный вопрос», не свидетельствует ли его поведение о твердой решимости не возвращаться более императором.

А вот как описывает Шильдер сам отъезд из Петербурга:

«В 4 часа с четвертью пополуночи коляска, запряженная тройкой, остановилась у монастырских ворот Невской лавры. Здесь ожидали Государя, предупрежденные о его посещении, митрополит Серафим, архимандриты в полном облачении и все братия. Александр в фуражке, шинели и сюртуке, без шпаги, поспешно вышел из коляски, приложился к кресту, был окроплен святою водою, принял благословение от митрополита и, приказав затворить за собою ворота, направился в соборную церковь. Монашествующие пели тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя». Войдя в собор, Государь остановился перед ракою святого Александра Невского, и началось молебствие...

Когда наступило время чтения Св. Евангелия, император, приблизившись к митрополиту, сказал: «Положите мне Евангелие на голову» — и с этими словами стал на колени под Евангелие.

По окончании молебна Государь возложил три земных поклона перед мощами благоверного князя, приложился к его образу и раскланялся с бывшими при молебствии».

Здесь мы прервемся, чтобы лучше запомнить все связанное с соборной церковью и ракой Александра Невского, которую нам предстоит увидеть: остановился перед... возложил три земных поклона... приложился к образу... Затем Шильдер приводит слова митрополита: «Ваше величество, не угодно ли пожаловать ко мне в келью?» И ответ императора: «Очень хорошо, только ненадолго; я уже и так полчаса по маршруту промешкал». Ответ, в котором сквозит, проглядывает нечто неуловимо Александровское, некая присущая только ему словесная пластика, некое передаваемое выражение речи, особенно в словах «по маршруту промешкал». Сразу представляешь, как он торопился, как взволнован, каким охвачен нетерпением: скорей бы! Как будто его что-то гонит из Петербурга — и гонит именно привязанность к нему, невозможность с ним расстаться... Далее у Шильдера следует сцена посещения схимника — «достопочтенного отца Алексея», который приглашает императора в свою келью. Сцена, исполненная мрачной символики, отбрасывающая отсвет на все последующие события, поэтому постараемся пересказать ее, сохранив наиболее важные подробности.

Итак, император принял приглашение и направился в келью схимника. Направился молча... по узким коридорам... в полутьме... погруженный в собственные мысли. Все, что происходило вокруг, он воспринимал как нечто постороннее, и вдруг такое совпадение, такое созвучие: он словно бы получает ответ на свои мысли. Странное, пугающее, одновременно отталкивающее и притягивающее зрелище является ему, когда перед ним открывают дверь кельи. Открывают дверь, и он вздрагивает от неожиданности: пол и стены до половины обиты черным сукном и все внутреннее убранство состоит из большого распятия с предстоящими Богоматерью и евангелистом Иоанном, длинной черной деревянной скамьи (длинной — черной — деревянной: даже от этих определений веет суровым аскетизмом) и икон с мерцающей перед ними лампадой. Схимник падает ниц перед распятием и властно

обращается к Александру: «Государь, молись». Александр кладет три земных поклона, а схимник читает отпуск и осеняет его крестом. После этого Александр вполголоса спрашивает у митрополита: «Все ли здесь имущество схимника? Где он спит? Я не вижу постели». Вполголоса, но схимник слышит и вопрос императора и ответ митрополита: «Спит он на том же полу, перед сим самым распятием, пред которым молится». Некая неуверенность проскальзывает в этой фразе, скорее похожей на уклончивое умозаключение митрополита, чем на точный ответ, и схимник решительно произносит: «Нет, государь, и у меня есть постель, пойдем, я покажу тебе ее». С этими словами он ведет императора за перегородку и, как бы отвечая на его мысли, показывает ему черный гроб, в котором приготовлена схи́ма, свечи и все относящееся к погребению. «Смотри, вот постель моя,— говорит схимник,— и не моя только, а постель всех нас. В нее все мы, государь, ляжем и будем спать долго». Пораженный этим зрелищем император замер в оцепенении: вот зачем он едет и что ему предстоит! Значит, и он должен, как этот схимник... живым лечь... Замер, глядя на гроб, схиму, свечи... глядя напряженно, пристально и как бы даже притрагиваясь взглядом. Затем отошел в сторону, и схимник, следивший за каждым его движением, вновь обратился к нему со словами: «Государь, я человек старый и многое видел на свете; благоволите выслушать слова мои. До великой чумы в Москве нравы были чище, народ набожнее, но после чумы нравы испортились; в 1812 году наступило время исправления и набожности; но по окончании войны сей нравы еще более испортились. Ты государь наш и должен бдеть над нравами. Ты сын православной церкви и должен любить и охранять ее. Так хочет Господь Бог наш». Выслушав схимника, Александр задумчиво произнес: «Многие длинные и красноречивые речи слышал я, но ни одна так мне не понравилась, как краткие слова сего старца». Затем он принял от схимника благословение и вышел из кельи вместе с митрополитом. «Садясь в коляску, он поднял к небу глаза, наполненные слезами, и, обратясь еще раз к митрополиту и братии, сказал: «Помолитесь обо мне и жене моей». Лаврою до самых ворот он ехал с открытою головою, часто оборачиваясь, кланялся и крестился, смотря на собор»,— пишет Шильдер, упоминая те самые ворота, перед которыми я стою, и мне невыразимо странно, что это я и ворота те самые... Те самые, и если бы я попал сюда немного раньше... совсем немного — всего сто шестьдесят пять лет назад,— я бы застал, увидел, как он часто оборачивался... кланялся... крестился, ведь это происходило здесь, на этом самом месте, где я сейчас стою и завороженно всматриваюсь в очертания монастырских стен, соборов и голых весенних деревьев. Сейчас и тогда — вот и вся разница. Собственно, никакой разницы и нет, потому что в тех слоях, где пребывает Александр, сейчас и тогда не существует и он всегда есть — такой, каким его описал Шильдер, и такой, каким он открылся взору Даниила Андреева. И лишь там, где пребываю я, сохраняется действие того тяжелого, плотного, временного, что мы связываем со словом «сейчас». Сохраняется, но есть ворота в монастырских стенах... есть купол Свято-Троицкого собора... и есть Александр, перед которым я преклоняюсь, которого люблю и чью молитву повторяю. «Ты, Господи, сведый тайну сердца моего»,— произношу я беззвучно, и «сейчас» превращается в «тогда», а «тогда» становится вечностью.

Да, да, становится, и мне чудится, будто я застал, увидел и островки белеющего снега посреди мощеного двора, решетчатые рамы арочных окон, нищих, протягивающих руку за подающим, продавцов иконок — все это словно бы явилось оттуда, из тех далеких времен, и я чувствую себя свидетелем тайны, которую нес в себе человек, ехавший с непокрытой головой и крестившийся на купол собора. И вот я вхожу в этот собор, покупаю свечку, отыскиваю раку благоверного князя и мысленно соотношу с ней то, что обозначено словами «возложил три земных поклона и приложился к образу». Соотношу даже как бы повторяю, воспроизвожу два этих жеста, словно бы тем самым совершая ритуал, возвращающий пространству того, кого унесло время. Повторяю мысленно, в воображении, чтобы это был не я, а он — он, чье физическое присутствие рядом кажется мне иногда настолько реальным, что хочется протянуть руку и коснуться складок одежды, коснуться рукоятки шпаги, коснуться его руки...

IX

Из Лавры я еду в Петропавловскую крепость, чтобы постоять у надгробия, как некогда, судя по его признанию, стоял историк-энтузиаст К. Н. Михайлов, задумавший написать книгу об Александре, и стояли многие, задававшие себе вопрос, чей прах хранится там, внизу, под белым итальянским мрамором. И в самом деле, чтобы

уловить смутное веяние тайны, похожее на талый запах почерневшего льда, который доносится с Невы, надо прийти сюда — к камню. Камню как символу, как некоему загадочному знаку, и вот я еду, но Петропавловский собор оказывается закрытым на реставрацию, и я долго стучусь в дверь, прежде чем ее открывает молодая, невысокого роста женщина в форме сержанта милиции. Милиционер для меня — это тоже символ, но отнюдь не загадочный, а, напротив, удручающе понятный, означающий, что вам никогда не попасть туда, куда вы так стремитесь. Никогда, как бы вы ни упрашивали, как бы ни убеждали и с каким умоляющим и панибратски-заискивающим выражением лица ни смотрели, но я все же решил попробовать, возлагая надежды на то обстоятельство, что милицейское звание носит женщина. Все-таки женщина, а не мужчина, поэтому я с панибратски-заискивающим и умоляющим выражением объяснил, что приехал из Москвы... что мне очень нужно... необходимо осмотреть одно надгробие. Просто осмотреть, постоять возле него минуту, с жаром упрашивал и убеждал я, из опасения получить немедленный отказ не позволяя собеседнице произнести в ответ ни слова, но тут она дождалась паузы и спросила: «Надгробие Александра Первого?» «Да,— сознался я, чувствуя себя немного обескураженным.— Как вы догадались?» «Я здесь работаю уже пять лет»,— сказала она, и по ее терпеливо-снисходительной улыбке и обреченному вздоху, выражающему привычную готовность мириться с подобным недоумением, я понял, что передо мной милиционер-энтузиаст, которая проявляет на своем посту не только бдительность, но и любознательность.

Понял, и мы разговорились. Я узнал имя женщины — Галина Васильевна Кузнецова, и наш разговор принял то же направление, по которому двинулись и мы сами,— надгробие Александра. И чем ближе мы подходили, тем ошутимее становилась для меня некая причудливая странноватость, диковинность и веселящая абсурдность всей ситуации: мы с милиционером мирно беседуем о тайне мраморного надгробия. Мирно, обстоятельно, неторопливо — скажите пожалуйста! Беседуем о тайне имперской, государственной, династийной, и тут я зримо представил себе тот длинный и извилистый путь, который проделала эта тайна, столь бережно хранимая и передаваемая из рук в руки. От Николая I — к Александру II, от Александра II — к Александру III, от Александра III — к Николаю II. Да, да, передаваемая, словно сказочный ларец с зайцем, селезнем, яйцом и иголкой. И на самом кончике иголки — тайна мнимой смерти Александра I. Понятно, почему члены царствующей фамилии столь ревностно следили за сохранностью ларца: нельзя было во всеуслышание объявить народу, что нарушен священный порядок престолонаследия, что умерший вовсе не умер, а живой правит при живом. Живом, но скрывшемся, ушедшем, канувшем, превратившемся в безымянного бродягу,— нельзя, иначе это легло бы позором на всю династию. Теперь-то мы видим, что это не позор, а слава, но тогда они так считали: нельзя, иначе — позор. Вот почему Александр III, когда его спрашивали о тайне смерти Александра I, молча показывал на портрет старца Федора Кузмича, висевший у него в кабинете. Об этом мне рассказывал публицист и философ Виктор Николаевич Тростников, побывавший в Америке и встречавшийся там с племянником последнего русского государя Тихоном Николаевичем Куликовским-Романовым, от которого он и услышал историю с портретом. Услышал, записал на магнитофон и воспроизвел эту запись на вечере, посвященном памяти Александра I,— удивительно было слышать глуховатый старческий голос, произносящий как живые имена Александра III и Федора Кузмича.

Итак, понятно, почему цари, но почему большевики? Почему они, свергнув царей, столь ревностно оберегали чужую — династийную — тайну? Столь ревностно, что даже позаботились о выпуске специальной брошюры профессора К. В. Кудряшова «Александр Первый и тайна Федора Козьмича», в которой отрицается всякая возможность отождествления Александра Павловича с сибирским старцем. Отрицается даже еще более решительно, чем в брошюре великого князя Николая Михайловича,— почему? Почтенный профессор выдает себя строчкой о том, что нет никакой необходимости окружать личность Александра «необыкновенным ореолом нравственной высоты». Вот чего они боялись — высоты нравственности, которой сами были полностью лишены. Низовая мораль большевиков восставала против морального совершенства, против «необыкновенного ореола», осенявшего голову праведника. Тем более в царе, носителе власти. Тем-то и страшен был для большевиков Александр Благословенный, что своим подвигом (и — подвигом) он задавал понятию власти тот высший духовный уровень, по сравнению с которым все их действия выглядят падением в зияющую inferнальную бездну. Поэтому некий

инстинкт выживания требовал от них усилий по разоблачению легенды о Федоре Кузмиче: так и появилась у мраморного надгробия символическая фигура милиционера. Милиционера, который никогда не допустил бы, чтобы кто-нибудь открыл ларец, выпустил зайца, подстрелил селезня и добыл из яйца иголку. Александр в сознании всех оставался «лукавым и слабым» властителем, который в начале своего царствования склонялся к либеральным реформам, всерьез задумывался о введении конституции, об отмене крепостного права, но затем понял несбыточность своих мечтаний и заслонился от хаоса русской жизни угрюмой фигурой Аракчеева. Оставался на протяжении полтора веков, и лишь сейчас наступает время раскрытия тайны, похожего на раскрытие некоего мистического цветка. Да, да, именно сейчас — я это чувствую, и моя догадка основана на том, что мы присутствуем при распаде тех гигантских космических образований, которые проецировались на русской истории в виде деспотических режимов, не позволявших проявиться духовным свершениям Александра Благословенного, создававших для них чуждую, непроницаемую среду, похожею на скваненый крепким морозом воздух.

Постояв у надгробия и побеседовав с сержантом милиции Галиной Кузнецовой, я отправился дальше — туда, откуда император уезжал в Таганрог. Уезжал глубокой ночью, один, без всякой свиты. Тройка лошадей бежала рысью, и стук копыт разносился по пустынным петербургским улицам. Да, да, так и представляешь себе: тройка лошадей... дробный стук копыт... и одинокая царская коляска... На Троицком мосту Александр велел остановиться, помолился на крепостной собор Петра и Павла и, глядя на Зимний дворец, на окутанную туманом набережную Невы, сказал: «Какой прекрасный вид и какое великолепное здание!» «Заметно было, — рассказывает кучер Илья Байков, — что эти два слова он произнес с каким-то глубоким чувством успокоительного удовольствия и скрытого предчувствия». Глядя на Зимний... Уезжал же он из дворца на Каменном острове, и вот я отыскиваю этот небольшой двухэтажный дворец, белеющий колоннами из-за решетчатой ограды, подхожу к воротам и долго смотрю, как стает с дорожек последний снег, догорает в окнах холодное закатное солнце, раскачиваются черные галки на голых ветках, и меня охватывает ощущение сквозной весенней открытости пространства, продуваемого всеми ветрами, незащищенности и потерянности в мире — тревожное ощущение, неким странным образом совпадающее с тем, что должен был чувствовать тот, кто глубокой ночью... спустился по этим ступеням... сел в коляску, запряженную тройкой... Совпадающее — потому что он был один в тот миг, словно ему хотелось, чтобы никто не мешал, чтобы ничье присутствие не ограждало от сквозного пространства, чтобы сознание одиночества передавалось белым колоннам, светящимся окнам, решетчатой ограде. Тем самым, на которые я смотрю. Смотрю, и то, что передалось им, возвращается мне, и я как бы попадаю в некое поле, оставленное здесь Александром, и испытываю все те чувства, с которыми он спустился... сел... вздохнул... перекрестился и велел кучеру ехать. Велел, и коляска тронулась, лошади побежали рысью... и стук копыт... Все это я могу представить, но мне сейчас важнее понять другое — то, что заставляло его улыбаться при людях и плакать в одиночестве.

Иными словами, душа Александра... Александра, которого современники наградили прозвищем «очаровательный сфинкс». По мнению Наполеона, «русский император — человек несомненно выдающийся; он обладает умом, грацией, образованием. Он легко вкрадывается в душу, но доверять ему нельзя: у него нет искренности». Это настоящий грек древней Византии». Сходное мнение высказывает об Александре и Форнгаген: «У него никогда не бывает ни минуты искренности и простоты, он всегда настороже». Еще более саркастичен в оценках шведский посланник в Париже Лагербиелки: «Александр в политике своей тонок, как кончик иголки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». При этом великий князь Николай Михайлович отмечает, что «в собственной царской семье и мать, и супруга, и братья с их женами называли Александра нашим ангелом — *notre ange*». «Нечто ангельское» находят в нем и другие близко знавшие его люди. Что вкладывается в это определение, может быть, самое поразительное из всех, относящихся к Александру? Определение, которое воплотилось в склоненной фигуре, увенчивающей Александровскую колонну, что оно означает? Если Наполеон и прочие современники, имевшие возможность наблюдать Александра со стороны, говорят о неискренности и даже фальшивости, то это определение свидетельствует о противоположном — об искренности, доброте, отзывчивости и некоей умиленной кротости, которая была столь свойственна сентиментальной и романтической натуре Александра. Учтивый, любезный,

обворожительный на балах и дипломатических приемах; он совершенно менялся, лишь только затворял за собой двери, и мало кто догадывался (особенно из сторонних наблюдателей), что в эти минуты он плакал, стоя на коленях перед иконой и закрывая лицо ладонями. Плакал от сомнений в себе и неудовлетворенности сделанным, плакал от неверия в собственные силы и разочарованности в людях, плакал от ужаса жизни и стремления к Богу. Плакал, и омытая этими слезами душа обретала то, что и сделало его умершим при жизни и живым после смерти.

Умершим для современников, так и не разгадавших его до конца, и живым — для потомков. Для потомков, среди которых и я, сидящий на лавочке перед дворцом, слушающий капель (стучит по карнизам, перилам и ступеням), старающийся донести до своего сознания, что нахожусь сейчас в пространстве, некогда окружавшем Александра. Донести во всей простоте и непостижимости этого факта: нахожусь там, где был он. Пожалуй, это самое главное во всей поездке: сейчас — некогда. Соединение в пространстве того, что несоединимо во времени, — самое главное, и это сбылось, свершилось, и я сижу на лавочке, слушаю капель, и падает сухая ветка с дерева, и сторожика с облезлой рыжей собакой словно появляется из прошлого и кажется воспоминанием, а в воспоминаниях сквозит изменчивый ответ реальности. Собственно, это все — я понимаю, что достиг некоей магической точки, некоего потаенного деления на шкале, определившего смысл моей поездки, ведь не ради же Александровской колонны, Петропавловского собора и дворца на Каменном острове я сюда ехал! Конечно же, я ехал ради этой точки, ради потаенного деления, и теперь оно найдено, и мне остается лишь увидеть два места, которые я видел и раньше, теперь же мне предстоит сверить их с тем делением — Михайловский замок и Царское Село. Сверить — значит, мысленно соотнести с Александром, обозначить его присутствие там, где я столько раз бывал, не соотнося и не сближая, и вот пустой грохочущий петербургский трамвай довозит меня до мрачной громады Михайловского замка, я издала вглядываюсь в него, и присутствие Александра как бы проступает строкой из воспоминаний современника: «Не проходило дня, в который бы Котлубицкий не приносил цесаревичу Александру Павловичу выговоры за ошибку какого-нибудь караула. И какие были выговоры! — дурак, скотина». Бедняга Котлубицкий — его потом сослали в Арзамас за слишком буквальную передачу этих слов, но слова сохранились, и я со странной грустью соотношу: юный Александр... тесаный гранит крепостных стен... рвы с подъемными мостами... караулы с ружьями... «дурак, скотина!» Да, да, Александр и вспыльчивый Павел, никому не доверявший и стремившийся отгородиться от всего мира, вспыльчивый и беззащитный... удар табакеркой в висок... и слова императрицы-матери: «Теперь вас поздравляю...» Табакеркой, которая потом лежала на бархатной подушечке под стеклянным колпаком — фамильная реликвия Зубовых...

Соотношу, а на следующее утро стою на службе в Лавре, ставлю свечку благоверному князю Александру Невскому и еду на Витебский вокзал, где долго дожидаюсь электрички. Приходится слоняться по вокзалу, а вокзал грязный, пыльный, замусоренный, вселяющий в душу такое беспросветное уныние, что невольно думаешь, какая у нас в России дрянная, случайная, неупорядоченная жизнь. Думаешь и как бы приписываешь эти мысли Александру, сказавшему о русских, что каждый из них «либо плут, либо дурак», и при этом проникшему в такие последние глубины и сокровенные бездны народного сознания, которые давали бы полное право добавить: «...либо святой». Тайная святость под покровом дрянной... случайной... неупорядоченной... — вот александровская Россия, какой она была прежде и какой остается теперь, и я слоняюсь по вокзалу в ожидании электрички, думаю его мыслями и словно бы вижу то, что когда-то видел он. Наконец подали... Приходится брать штурмом двери, врваться в вагон, захватывать место и тотчас уступать его старушке с сумками, которая не успела ворваться и захватить: так я еду в Царское Село. В Царское, знаете ли, в набитой битком электричке. Но что поделаешь — русская жизнь, и я терпеливо выстаиваю положенные сорок минут, стараясь не всматриваться в мелькающие за окнами серые платформы, желтые дома, дымящиеся свалки мусора, а затем выхожу на маленькой пригородной станции, носящей имя Пушкина. Я пешком добираюсь до Екатерининского дворца, брожу по старинному парку, слушаю птиц, различаю в воздухе неулловимое веяние освободившейся от снега, но еще не пророхшей земли и снова мысленно произношу то, что стало привычным обозначением моих странствий по следам Александра: здесь! Здесь он бродил... слушал птиц...

различал неуловимое веяние... и здесь начиналась для него та Россия, которой суждено было протянуться до глухой Сибири и парами незримых токов вознестись до небесного Града, где ему уготовано вечное — непремественное — царство.

X

Глухая Сибирь — это Томск, где я бывал и раньше и куда мне предстояло поехать снова, чтобы разыскать места, или, точнее, пространственные и отчасти символические ориентиры, обозначающие присутствие Федора Кузмича и позволяющие мне, сентиментальному созерцателю, вздохнуть с привычным чувством удовлетворения: вот, дескать, он здесь был. Да, да, именно здесь, и поэтому само пространство надделено некоей загадочной силой воздействия, неким магнетизмом, некоей особой напряженностью, придающей нашим поискам характер возвышенного ритуала: вот, дескать... Одним словом, мне предстояло... на поезде... через Урал и Западную Сибирь, ощутив протяженность пространства и в полной мере осознав, что я совершаю путешествие, а не переносусь в ревушей крылатой машине на другой конец света и не испытываю при этом чувства некоей обманутости от несовпадения пространства и времени: за несколько часов — тысячи километров. Словом, поехать, чтобы разыскать, хотя, признаться, я не слишком надеялся, и говорю об этом не ради игры с читателем, который любит заранее запланированные неожиданности: не надеялись, не думали, не гадали, а тут посыпалось как из рога изобилия... Уверяю вас — нет, я и в самом деле считал: ну что там могло сохраниться, в этом самом Томске! После стольких лет царского и стольких лет советского режима — ничего, кроме самих мест, и в этом, собственно, вся символика! Алексеевский монастырь? Конечно разрушили... Дом купца Хромова? Сгорел или разобрали по бревнышку... Найти бы Монастырскую улицу, на которой он жил, и то была бы удача... С этими мыслями я и собирался в дорогу, и когда до отъезда оставалось дня три, решил на всякий случай погадать. Гадаю же я всегда по Евангелию — такая-то страница, такая-то строчка. И вот открываю, отсчитываю, и мне выпадает: «Посылаю ангела Моего». Ангела — помогать мне в дороге, и тут я понял, что поеду не зря...

Не зря, и волшебный рог изобилия навис над моей головой, но посыпалось из него не сразу, чему я, впрочем, не слишком удивился, потому что давно уже понял, в чем заключается скрытый экзистенциальный смысл любого путешествия: путешествуем мы не столько на поезде, сколько по поезду, и из тех новых мест, которые нам встречаются, удается лучше всего изучить вокзал и гостиницу. Да, да, вокзал с окошечком билетного кассира и тучей мух над буфетной стойкой и гостиницу с пыльным графином, чахлым цветком в горшке и жалким эстампиком в дешевой окантовке. Изучить до последней трещины в стене, сырого развода на потолке, пятнышка на обоях за те бесконечные часы, которые мы там проводим. Вот и на этот раз, добравшись поздно вечером до Ярославского вокзала, я сразу уперся в знакомую экзистенцию: поезд задерживался отправлением на два часа, о чем отстраненно-бесстрастным голосом сообщил диктор. Задерживался отправлением — даже сама лексика таила в себе нечто вокзальное, предвещавшее удручающе-бессмысленное стояние у фонарного столба, сидение на лавке, хождение по платформе, разглядывание расписания поездов, чтение заголовков газет на лотках — одним словом, пустопорожную трату времени. Этой пустопорожной трате я и предался, чувствуя себя богачом, которому нечего купить на свои миллионы, и мне стала открываться ночная жизнь вокзала, где я, благопристойный пассажир с добротным кожаным чемоданом и билетом в мягкий вагон, был случайным гостем, а хозяевами — бомжи, нищие, инвалиды, воры и проститутки. Странное дело, но, не слишком заметных днем (во всяком случае, для милиции), ночь их как-то высветила и определила. И они даже собрались неким своим мирком — под фонарем и круглыми вокзальными часами. Собрались, сгрудились, сплотились, и, как это бывает при столь тесной близости многих людей, вдруг обозначилось некое движение, прокатилась волна. Волна отчаянного, лихорадочного, бесшабашного, бесстыдного веселья, как это бывает... Стихийный порыв — шапку оземь и в пляс! И действительно, весь мирок заколыхался, кто-то хлопнул в ладоши, кто-то топнул ногой, и началась пляска. Дикая, грубая, надрывная — пляска бомжей, нищих, инвалидов, воров и проституток, вскидывавших руки, высоко подбрасывавших колени, ухарски выпячивавших грудь и шутовски гримасничавших напоказ толпе, и я смотрел на это, отчетливо понимая, что еду по следам не Александра, а по следам Федора Кузмича.

Да, да, в том-то вся и разница: не Александра, отклонявшегося на мягкую спинку сиденья, чтобы любопытный прохожий не мог узнать его, увидев в окне коляски, а Федора Кузмича, который с каторжниками шел по этапу. С каторжниками, ворами, проститутками, среди которых он был своим, поскольку судили его за бродяжничество. Царя-то — за бродяжничество, да еще наказали плетью: как это там... положили на лавку... подняли рубаху... Отсчитали двадцать ударов.... Наказали, и вот он шел вместе с прочими осужденными, и, быть может, на одном из привалов они тоже сгрудились, сплотились, и обозначилось движение, прокатилась волна, и нечто вроде пляски... с гримасами... нелепыми ужимками... Представив эту картину, я вдруг осознал страшное различие между тем, как он заранее готовился к уходу, вынашивал эту мысль, еще до конца не веря, что она осуществится (поэтому и не обнаружил акт о престолонаследии, а спрятал его в сундуке), и тою реальностью, с которой он столкнулся, когда осуществилось, сбылось, и он оказался среди ссыльных, и конвоир с ружьем говорит ему «ты». Реальностью каждодневной, однообразной, тягучей, словно расплавленный свечной воск, и ему приходится с ней мириться, терпеть, сдерживать себя, постоянно заботясь о том, чтобы не выдать тайну. Не выдать, не проговориться, не обмолвиться ненароком, кто он есть на самом деле. Соединение тайны с реальностью — вот что больше всего мучит, тревожит, не дает покоя. Купец Хромов рассказывает, что однажды работники запели при старце известную в те времена песню:

Ездил русский белый царь,
Православный государь,
Из своей земли далекой
Злобу поражать...

Старец сидел на завалинке у своей кельи. Лишь только он услышал эти слова, как «задрожал, заплакал и ушел в свою келью, а затем подозвал одного из латышевских рабочих, приказал прекратить пение, а после просил Латышева, чтобы он не позволял своим рабочим петь песни об Александре I». Тревожит, не дает покоя, судя по тому, как он иногда гневается и с какой детской обидчивостью заявляет о своих правах окружающим: «Однажды при починке рамы окна кельи Федора Кузьмича его сильно беспокоили. Старец не вытерпел и, разсердившись, гневно сказал: „Перестаньте! Если бы вы знали, кто я, вы бы не осмелились меня так беспокоить. Стоит мне написать одну строчку в Петербург, и вас на свете не будет“».

Удивительный случай, словно переносщий старца из царского в совдеповский режим: вот он один в своей келье — как бы интеллигент, творческий человек... и сломалась рама окна... И надо вызвать плотника, чтобы ее починить... И это нарушает привычный ход всего дня, он с утра мается и страдает из-за того, что придут чужие и помешают, отвлекут, своим присутствием нарушат некую атмосферу... К тому же надо будет с ними общаться, разговаривать: ну что, мол, ребята?.. Надо, а ему не хочется, и вот он с утра не находит себе места, а тут еще плотник стучит молотком и позволяет себе всякие шуточки, обращаясь с ним слишком коротко, без должного почтения: ну что, мол, батя?.. Слишком коротко — конечно же, он не выдержал... Не выдержал и чуть было не выдал свою великую тайну, хотя повод-то был совершенно ничтожный и мелкий. Но в том-то вся загадка: в других случаях крепился, а тут — «если бы вы знали, кто я...». Еще минута — и скажет! И кому! Плотнику, понимающему раму, — истинный советский парадокс, возникающий от смешения понятий: великое унизило до малого, а малое возвысилось до великого. Парадокс, в котором заключено все — и обидчивость Федора Кузмича, и танец бомжей, нищих и инвалидов, и задержка отправлением, и изнурительное ожидание на вокзале, раз-сердившее (на старинный лад — через букву «з») меня настолько, что я готов ворваться к диспетчеру, пригрозить, потребовать объяснений и с детской обидчивостью заявить о своих правах: «Если бы вы знали, кто я... стоит мне написать строчку...» Видно, эта неосуществившаяся угроза подействовала, и вскоре к перрону подали поезд. Подали, и вот я еду в Екатеринбург, угадываю некую белесость и скудость в воздухе, навеянные близостью Азии, и смотрю на гигантские каменные выбросы по обеим сторонам дороги — начало Урала. На вторые сутки высаживаюсь в Екатеринбурге, провожу остаток ночи в гостинице, а утром беру билет до Красноуфимска, сетуя на то, что приходится делать такой крюк, хотя можно было из Москвы доехать прямо до Красноуфимска. Можно было — по другой ветке, но я не догадался, и ангел вовремя не шепнул, и теперь я возвращался назад. Возвращался и как бы не чувствовал приближения того духовного поля, которое обозначилось в сознании

именем Александра. Да, да, цвела черемуха по склонам, посверкивали ржавой водой болотца, млела на солнце клейкая молодая листва, сквозило тонкое марево облаков, а я не чувствовал — не чувствовал до тех пор, пока не мелькнуло названиице маленькой станции — Кленовская или Кленовский... И тут я вспомнил.

«Это было ранней осенью 1836 года.

К одной из кузниц близ г. Красноуфимска, Пермской губернии, подъехал на очень хорошей, породистой лошади всадник, высокий, плечистый, красивый старик, по виду лет около 60-ти, одетый в обыкновенный черный крестьянский кафтан. Подковывая по его просьбе лошадей, кузнец обратил внимание на не совсем обычную наружность прибывшего. Несмотря на то, что на нем был надет простой крестьянский костюм, он вовсе не походил на крестьянина ни своею наружностью, ни манерою говорить.

Ясно было видно, что это человек не простой.

Кузнец начал спрашивать незнакомца, кто он такой, откуда и куда едет, где приобрел такую прекрасную лошадь... Но тот отвечал нехотя и настолько уклончиво, что возбудил подозрение и у кузнеца, и у собравшегося около кузницы народа. Старик без всякого с его стороны сопротивления был задержан и отправлен в город.

На допросе он назвал себя крестьянином Федором Козьмичом и заявил, что лошадь принадлежит ему, но от дальнейших показаний отказался, объявив себя бродягою, не помнящим родства. Вследствие этого старика посадили в тюрьму, затем судили за бродяжничество и приговорили к ссылке в Сибирь, а предварительно к двадцати ударам плетьюми».

Так рассказывает о появлении Федора Кузмича близ Красноуфимска старинная брошюра. Близ Красноуфимска — или, точнее, в Кленовской волости Красноуфимского уезда. Уточним и дату: 4 сентября 1836 года. Именно в этот день угрюмый, хмурый, бородатый мужик, прибывавший подковы (или, напротив, круглый, веселый, с бритым лицом), встретил в дверях кузницы высокого, плечистого старика, одетого в крестьянский кафтан, но по манерам смахивавшего на барина. Встретил приветливо, даже с некоторою угодливостью, с желанием оказать почтение и одновременно расположить к себе: мол, заходи, добрый человек, располагайся... Про себя же наверняка подумал: эге, дядя, а ты, видать, не из простых... Ну и решил доложить куда следует. Может быть, не раз уже докладывал о всяких подобных случаях и даже числился по некоему секретному ведомству — такое предположение высказывает Анатолий Федорович Хрипанков. Надо заметить, весьма обоснованное предположение, без которого весь эпизод выглядит несколько странно: мало ли у кого какая лошадь и кто во что одет, не каждого же сдавать в участок! А тут задержали и отправили в город — явно неспроста. Возможно, некий невзрачный господин надоумил: вы тут, братки, приглядывайте... Возможно, и предписание имелось, некая инструкция... Возможно, Николай I специально расставил посты, чтобы его брат тайно не проник в Москву, Петербург, Киев и прочие административные центры: дело-то государственное... Федор Кузмич же своим поведением как бы говорил: пожалуйста, согласен и на Сибирь, и на иные забытые Богом места... Главное, что он вышел из затвора, а где после этого жить — особого значения не имело...

Красноуфимский земский суд приговорил его к наказанию плетьюми и к отдаче в солдаты, в случае же негодности — к отсылке в Херсонскую крепость, за неспособностью же к работам — к ссылке «прямо в Сибирь на поселение». Зачитанным приговором Федору Кузмич «остался доволен», но сам расписываться не стал — доверил мешанину Григорию Шпыневу. Решение суда отослали по инстанциям, но вскоре оно было возвращено пермским губернатором — возвращено со следующим предписанием: «Федора Козьмина, как имеющего 65 лет от роду и, следовательно, не способного ни к военной службе, ни к крепостным работам, сослать в Сибирь на поселение», что и было в точности исполнено. 12 октября Федор Кузмич получил двадцать ударов плетьюми, и на следующий день его отправили по этапу в Тюмень, а оттуда в Томскую губернию. Такова последовательность событий в Красноуфимске: факты, имена, даты. К этому же времени относится и рассказ крестьянки Феклы Степановны Коробейниковой, слышанный ею от самого Федора Кузмича: «По какому-то случаю дано было знать императору Николаю Павловичу, и по распоряжению его величества был прислан великий князь Михаил Павлович. Он по приезде своем в город прямо явился в острог и первого посетил старца Федора Кузмича и сильно оскорбился на начальствующих, хотел их привлечь к суду, но старец уговорил великого князя оставить все в забвении. Просил также, чтобы его осудили на поселение в Сибирь...» Одним словом, вот что происходило там, где мне вскоре

предстоит побывать... Происходило — и я снова буду охотиться за тенью этих событий, как будто они еще не отошли, не отлетели и возвещают о себе неким печальным гулом. Печальным, ровным, далеким — главное, его услышать, различить в шуме улицы, угадать в шелесте, шорохах, скрипах, и тогда события оживут и я, их зачарованный свидетель, перенесусь туда, где ушедшее время совпадает с окружающим меня пространством.

Так оно и случается: поезд замедляет ход, я спрыгиваю, прячу в камеру хранения чемодан и, не дожидаясь автобуса, пешком отправляюсь в город, если называть этим словом не грязно-серые бетонные коробки, уныло-однообразными рядами поставленные вдоль улицы, а нечто неуловимо-ускользающе-затаенно-живое, чем обладают старинные домики, церкви, деревья. Вот они показались вдали за поворотом дороги, и я понимаю, что передо мною уцелевший островок настоящего Красноуфимска, того самого, куда доставили на телеге Федора Кузмича и где он стоял перед судьями, зачитывавшими приговор, и где его наказывали плетьюми, а затем — сто семнадцатью по счету — он шагал в колонне ссыльных из сорок четвертой партии. Да, да, именно здесь, он, победитель Наполеона... И я брожу вдоль черных бревенчатых домов, накрытых шапками сирени, разглядываю резные тесовые ворота, вдыхаю запах сырых поленьев, долетающий из дворов, и все пытаюсь уяснить, осмыслить, донести до своего сознания: именно здесь... победитель... Выбираюсь на высокий берег Уфы — передо мной холмистые дали, туман, леса. Внизу, у берега, склонившиеся к воде ивы, полузатонувшие лодки. Запахло дымком — мальчишки жгут костер, и вот он уже стелется над водой, этот прозрачный дым, словно обхватывая ее руками... Красиво, но во всем что-то холодное, уральское... И как не похоже на знакомый и близкий ему Петербург, набережную Невы, мосты над каналами... Не похоже и странно, насмешливо, грубо отчуждено: ты теперь не там, а здесь. Попробуй привыкни к этому, залетный воробышек, царский властелин, как ты сам себя величаешь... Попробуй, когда дохнет в лицо угрюмой, безнадежной, холодной, как уральский чугун, тоской и вспомнится то прежнее, чему не будет возврата. Да, да, не будет Петербурга, Невы, мостов над каналами, а будет Сибирь... Сибирь, батюшка, Томская губерния, куда доставят тебя по этапу. И заживешь ты там, сам себе удивляясь, и в этом удивлении скажешь однажды: «Я родился в древах, если бы эти древа на меня посмотрели, то без ветра бы вершинами покачали».

XI

«Посылаю ангела Моего» — знаете ли, сбылось. Сбылось, и в Томске он явился, посланный мне ангел: я заметил это по некоему дуновению, некоему освобождающему вздоху, протянувшемуся в воздухе, некоей благоуханной свежести, оповещающей о приближении небесного посланника. Почувствовал, лишь только сошел с поезда, по которому вдоволь напутешествовался за день и две ночи — напутешествовался, насмотрелся в окна на безлистые, мертвые, белые деревья, торчавшие из болот (их особенно много было на подступах к Омску), на выжженную прошлогоднюю траву вдоль железнодорожной насыпи, на полосатые шлагбаумы переездов, на серые крыши редких домиков, и вот наконец Томск, уютный, тихий, деревянный, резной — не город, а печатный пряник. Во всяком случае, таким он мне показался. Тут-то и протянулся в воздухе освобождающий вздох, и я почувствовал, что мне тайно сопутствует везение. Везение в моих поисках, в моей охоте за тенью событий, связывающих этот город с именем человека, который в первой жизни поднялся до вершин земной славы, а во второй — до вершин святости. Уютный, тихий, деревянный — с именем Александра, назвавшегося старцем Федором Кузмичом. Иными словами, ангел повел крылом — и мне открылось. Недолгое пребывание в Томске принесло счастливые находки, настолько счастливые, что оставалась возможность недоверчивого сомнения: я ли это поднимаюсь на крыльцо хромовского дома, рядом с которым стояла келья Федора Кузмича (вот оно, точное место), и держу в руках его полотняную рубаху, вязаную шапочку и ссохшуюся губку! Да, да, рубаха и шапочку, которые носил любимый внук Екатерины, освободитель Европы, создатель Священного союза... Впрочем, все это было потом, начались же мои находки с того, что, получив номер в гостинице, я заглянул в городскую библиотеку. И там мне рассказали, как найти Алексеевский монастырь — не место, а именно сам монастырь, от которого сохранились часть стены, главный собор и еще кое-какие постройки. «Пойдете прямо... потом свернете и увидите», — объяснили мне, не подозревая, что эти слова звучат для меня как призывные ангельские трубы.

Торопливо распрощавшись с сотрудниками библиотеки, я устремился в указанном направлении, затем свернул и увидел тот самый Богородице-Алексеевский монастырь, где Федор Кузмич часто бывал, поскольку жил неподалеку, на Монастырской улице, а сюда зааживал постоать на службе, помолиться перед иконами, побеседовать с настоятелем и монахами. Обычное дело — по-соседски... Здесь же его и похоронили, а в 1904 году состоялось торжественное освящение часовни, сооруженной над могилой, — каменной, с высоким куполом, с круглыми окнами для света. Разумеется, уцелеть она не могла — за столько-то лет борьбы с религией! Но я знал, где она находилась — в трех саженях к северо-востоку от главного алтаря монастырской церкви, как сказано в старинной брошюре. Три сажени — это шесть метров сорок сантиметров, алтарь же церкви — вот он передо мной, и теперь остается лишь отсчитать метры... два... четыре... шесть... Неужели под моими ногами кости Федора Кузмича?! Асфальт, какие-то гаражи — неужели?!.. Правда, среди томских обывателей ходили слухи, что останки Федора Кузмича однажды ночью были тайно вывезены в Петербург, и даже вроде бы находились свидетели — те, которые помнят, как в темноте... какие-то люди... раскапывали могилу... Эти слухи, безусловно, заслуживают внимания, ведь по логике вещей царствующему дому следовало заменить ложные останки на подлинные, похоронив Федора Кузмича в Петропавловской крепости, под надгробием с именем Александра, но подобная логика опровергается следующим рассказом архимандрита Ионы, настоятеля Алексеевского монастыря:

«1903 г. 10 июля при рытье канав для фундамента строящейся на могиле Феодора Козьмича часовни обнаружилась могила старца. При этом присутствовал я с подрядчиком Иваном Петровичем Ледневым и архитектором Викентием Флорентиновичем Оржешко.

При осмотре могилы Великого старца оказалось, что каменный склеп уцелел отлично. Доски, покрывающие этот склеп, также оказались целыми. Но одна из них провалилась, упала на гроб и проломила крышку последнего. Так как нужно было исправить повреждение и плотно закрыть гроб, то приподнята была крышка, и при зажжении восковой свечи был усмотрен остов человека, голова которого покоилась на подушке. Подушка эта истлела. Голова же, склоненная несколько на левую сторону, обрисовалась весьма ясно. Волосы на голове и бороде сохранились в целости: цвета они белого, т. е. седые. Борода волнистая — протянулась широко на правую сторону. Явственно обрисовались также ноги, обутые в башмаки; башмаки эти носками своими загнулись и, кажется, истлели. Вся остальная фигура человека представляется в виде серой массы».

Таким образом, до конца не установлено, где же все-таки скрываются останки Федора Кузмича, и нам приходится разгадывать ту же загадку, что и с усыпальницей в соборе Петропавловской крепости, — именно ту же самую, поскольку усыпальницу императора и могилу сибирского старца связывает одна и та же династийная тайна. Если при живом Александре его ложные останки долго блуждали по России, прежде чем обрели пристанище в царской усыпальнице, откуда были потом извлечены, то вполне резонно предположить, что такая же участь ожидала и останки Федора Кузмича, но это опять же логика, хотя логика и не рациональная, а мистическая. Реальность же остается непроясненной, и поэтому я, добросовестно отсчитавший шесть метров, пребываю в некотором сомнении, в неуверенности: действительно ли под моими ногами... кости... Федора Кузмича?! Конечно же, здешним краеведам можно было бы призвать на помощь архитекторов и произвести раскопки, но позднее я узнал, что церковь считает кощунственным тревожить прах сибирского святого, а церковь в таких вопросах — высшая нравственная инстанция. Таким образом, не установлено, но я, отсчитавший, все-таки чувствую себя паломником, добравшимся до святыни: здесь стояла часовня и находилась могила; и как странно, случайно, таинственно через это «здесь» соединены два мира: монастырское кладбище, кресты, колокольный звон, некогда плывший над домами, — и асфальт, гаражи... Гаражи, асфальт и я, несурзанный паломник, путешествующий по святым местам с записной книжечкой, командировочным удостоверением и рекомендательным письмом в государственные учреждения: такой-то и такой-то... направляется для сбора материалов... просьба оказывать содействие... Вроде бы что мне Федор Кузмич! Какое мне дело до его тайны! А вот прочел когда-то неоконченную повесть Толстого, затем главы из «Розы Мира», затем исторические исследования и материалы, и с тех пор меня не оставляет стремление постигнуть величие этого человека, прикоснуться к тайне и, словно бы прорвав светящуюся матовую бумагу, наклеенную на оконную

раму, проникнуть в тот исчезнувший мир. Проникнуть же можно только через «здесь», и вот я ежжу, расспрашиваю, разыскиваю те места, где светится на оконной раме волшебная матовая бумага...

Из Алексеевского монастыря я отправляюсь на поиски Монастырской улицы. Собственно, это должно быть просто: Монастырская — значит, где-то рядом. Уж не эта ли, именуемая теперь улицей Крылова? Очень похожа — как раз подводит к главным воротам. Другой похожей поблизости нет, и это убеждает меня, что удалось найти улицу, где жил купец Хромов, а у него во дворе — особняком, в маленькой келье — старец Федор Кузмич. И жил и умер на этой улице — конечно же, я несколько раз прошел ее из конца в конец, стараясь представить, как со скрипом открывалась калитка в глухих воротах, из нее высовывался цепной дворовый пес, любивший полаять на прохожих, и, опираясь о палку, выходил белобородый старик, одетый в длинную белую рубаху, и направлялся к Алексеевскому монастырю, откуда доносился колокольный звон, созывавший прихожан на службу. Да, да, со скрипом открывалась (я даже слышал этот протяжный скрип) — вот только где, в каком месте? В середине улицы или в конце? Я задавал себе эти вопросы, как бы ожидая толчка некоей догадки, некоего интуитивного прозрения, которое указало бы точку в пространстве, откуда исходили незримые токи присутствия Федора Кузмича, но прозрение не наступало — слишком глубоко погребена была Монастырская улица под улицей Крылова. Лишь кое-где чернели потрескавшимися бревнами купеческие дома, в окнах цвела герань и виднелись медные шарик старинных кроватей, остальная же часть улицы напоминала некий архитектурный скелет со сломанными костями деревянных свай и торчащими ребрами бетонных конструкций. Наверное, никто из жителей и не помнит, что когда-то здесь жили Хромовы. На всякий случай я спросил у проходившей мимо женщины, не скажет ли она, как эта улица называлась раньше и знакома ли ей фамилия Хромовых. Спросил, и мне повезло: женщина оказалась потомственной жительницей Томска и сразу же ответила, что улица называлась Монастырской, а Хромовы — одна из известнейших купеческих фамилий. Вот только где находился дом Семена Феофановича, она не знает, хотя слышала, что поблизости. Может быть, в конце, может быть, в середине — словом, неподалеку.

Этот ответ меня воодушевил: значит, предание сохраняется и в памяти нынешних жителей улицы Крылова не утрачены имена тех, кто жил на погребенной под ней Монастырской. Значит, не только в книгах можно встретить фамилию Хромовых, а вот пожалуй ста — услышать от случайного прохожего! Воодушевленный, я решил продолжать расспросы, но на этот раз вместо потомственных жителей попадались те, кого занесло сюда шальным ветром — кто приехал недавно, осел ненадолго и поэтому торопился пройти мимо, недоуменно пожав плечами: Хромовы? извините, никогда не слышали... Вот тогда-то я и надумал заглянуть в редакцию местной газеты — а вдруг они мне укажут точку, откуда исходят незримые токи. Надумал, признаться, неспроста — в библиотеке мне сказали, что была заметка в местной газете о Федоре Кузмиче, предполагаемом месте его захоронения и о тех, кто умеет улавливать незримые токи с помощью лозы и вертящейся рамки, — рудознатца и кладоискателя, исследовавших территорию монастыря. Эту заметку я и хотел прочесть, а заодно и поговорить с сотрудниками газеты: журналисты народ бывалый, чем-нибудь да помогут. Встретили меня очень приветливо — предмет моих интересов у всех вызывал живой отклик. Встретили, усадили за стол, принесли подшивку газет, заварили крепкого чая, всегда предлагаемого гостям, которых не приглашали, но которым рады, и я внимательно изучил заметку. Рудознатцы оплошали — строптивая лоза взбунтовалась совсем не на том месте, где могли скрываться останки Федора Кузмича, — но в заметке меня заинтересовала полемика между сотрудником историко-архитектурного музея Николаем Серебренниковым и краеведом-энтузиастом Виктором Федоровым, который, видно, слишком уж страдальчески горел, идеей доказать тождество двух личностей — Александра и старца Федора. Страдальчески, жертвенно, мученически, а такие люди меня притягивали, несмотря на соблазн потушить их огонь ссылками на факты и авторитетные мнения, которому и поддался его оппонент. Что, братец, и тебя приворожила тайна Федора Кузмича? — подумал я, угадывая в краеведе-энтузиасте родственную душу.

Сотрудники газеты дали мне адрес и объяснили, как разыскать Виктора Федорова. Напоследок я спросил о доме купца Хромова, надеясь на самый приблизительный ответ: есть предположения... хотя точно не установлено... но согласно косвенным данным... И тут вторично затрубили ангельские трубы — дом Хромова, оказывается, цел! Цел и невредим, даже не перестраивался! И находится по адресу улица Крылова, 26 — совсем

рядом! Я, конечно же, проходил мимо него, но мог ли я подумать, что это тот самый, во дворе которого... келья Федора Кузмича... Да, да, сказали мне, как раз напротив кафе «Иней» и стояла келья. На месте ее сейчас какие-то деревья, вы сразу найдете... Я снова бросился на улицу Крылова, лихорадочно отсчитывая номера домов — 22-й... 24-й... и наконец 26-й! Тот, увидеть который я так мечтал, — двухэтажный, деревянный, на каменном подклете, в центре строенное окно, наличники с резными завитками, два островерхих козырька на крыше, крылечко со ступеньками. И вот я вхожу... Сам себе не верю, но собственными ногами вхожу в дом, где столько раз бывал... присаживался к столу... пил чай из блюдца... уступая просьбам хозяев, надламывал обсыпанный маком крендель... благодарил, прикладывая руку к груди... и удалялся в свою келью. Удалялся тропиной, проложенной в саду, и хозяева всегда смотрели, как седая голова его величественно проплывала в окнах. Кого угощал ты чаем, купец Хромов? Императора Александра... Поистине удивительная, странная, загадочная история у этого дома — самая подходящая для того, чтобы разбить его изнутри на крошечные комнатки, посадить комендантшу в ватной безрукавке и устроить здесь общежитие. Не музей, куда съезжались бы люди со всего света, а женское общежитие — вот пожалуй, и белые на веревках сушится, и чайник на плите кипит, одним словом, всюду жизнь... Я разговорился с комендантшей и, разумеется, начал с вопроса об Александре: слышала ли она, что в этом доме... Нет, об Александре она не слышала, но зато показала мне лесенку наверх, в кастелянскую, где до самого последнего времени жила старушка — наследница прежних хозяев. Да, да, наверху, под крышей, доживала свой век, а внизу стирали, гоняли чай, засыпали под радио... Поистине история удивительная, странная, загадочная...

Побывал я и там, где деревца... — на месте кельи. После смерти Федора Кузмича его келью берегли как реликвию, как память о святом человеке: в ней молились и служили службы. Так и продержалась она до тех страшных годов — двадцатых, пролетарских, безбожных. Позднее в Москве я встретил женщину, потомственную томичанку, которая помнила, как выглядела келья, — ее мать вела в ней полы. И вот она мне рассказывала об убранстве кельи, о лампадах, свечах и иконах, а я вспоминал место — голое место, которое я застал, пыльных деревьев и кафе «Иней». Вспоминал и думал, что это не просто отсутствие, не просто некое ничто, не просто зияние пустоты (пустырь как символ социалистических свершений!), а наследие тех самых безбожных, пролетарских, двадцатых. Наследие, которого вроде бы и нет, но оно есть, и мы от него не скоро избавимся... Таким же пустым и голым местом оказалась для меня и заимка Хромова, куда старец Федор Кузмич перебрался летом: я отправился туда на следующее утро. Отправился, вспоминая рассказ дочери Хромова о том, как однажды летом они с матерью поехали на заимку к старцу (в четырех верстах от Томска). Был чудный солнечный день. Подъехав к заимке, они увидели Федора Кузмича гуляющим по полю (по-военному руки) и марширующим. Когда они с ним поздоровались, старец сказал им: «Панушки, был такой же прекрасный солнечный день, когда я отстал от общества. Где был и кто был, — а очутился у вас на полянке». Вот и это летнее утро было таким же солнечным, и полянка была, но где домик старца с журчавшим под ним родником? Конечно же, и следа не осталось, как не осталось следов и от прежней Хромовки, нынешняя же — полуизба-полудачка — возникла на пустом месте, поэтому и название словно бы ей и не принадлежит. Название — ей, а она — названию: так и пребывают во взаимном отстранении, не ведая друг о друге, две Хромовки, не новая на месте старой, а — новая на голом месте. Да, да, на голом, доставшемся в наследство... Поэтому из всех жителей, к которым я обращался, лишь один махнул рукой в сторону бывшей заимки: вроде бы там... Так я и вышел на ту поляночку, где все утонуло в бурьяне, где ничего не осталось и ничего не напоминало, но был такой же солнечный день, и что мне мешало представить, как старец — по-военному руки — маршировал перед двумя женщинами, приехавшими его навестить...

В город я вернулся пешком — по старой дороге, которой ходил и Федор Кузмич, когда случалась нужда побывать в Томске. Из Томска на заимку Хромов, конечно, возил его на лошади, а вот с заимки в Томск старец ходил этой дорогой — с заплечной котомкой, с посохом, как странник... Краеведы рассказывают, что в старые времена дорога была освещена фонариками и вообще имела цивилизованный вид: в праздничные дни по ней гулял народ и прокатывались тройки с бубенчиками. При советском режиме цивилизованный лоск с нее, понятно, сошел — ухабы, рытвины, чертополох... К тому же по ней проложили рельсы и пустили трамвай, который грохочет на всю округу и поднимает облака пыли: но все-таки этой дорогой, опираясь

о страннический посох, в город неузнанно вступал император, называвший себя Федором Кузмичом...

В городе я разыскал Виктора Федорова, с которым давно собирался встретиться, — разыскал в университете, где он работал, но не на кафедре истории или литературы, а в коридорчике, куда выходили двери разных хозяйственных служб. И вот за одной из этих дверей с табличкой, обозначающей некую административную должность, я и увидел человека с рассеянным взглядом, тихим голосом и бледным, несколько даже изможденным лицом мученика-дилетанта, который днем добросовестно выполняет свои должностные обязанности (ну, скажем, по снабжению...), но зато ночами, когда молчит телефон, спят жена и дети, предается изобретению вечного двигателя, поискам лекарства против рака или доказательству существования Атлантиды. Да, да, есть это в русском характере — в ночной тишине, на кухне, под мигающим светом лампы... Вот и Виктор Федоров прочел однажды, что многие считают сибирского старца Федора Кузмича, умершего в его родном городе, императором Александром I. Прочел и решил доказать, что этого не могло быть. Начал доказывать и собрал более ста доказательств, что это так и было. Более ста, среди которых есть и неизвестные науке, найденные им самим, — к примеру, Виктор Федоров установил, что посмертная маска Александра, фотография которой приводится в большинстве работ, снята с живого и снята самим Александром, чтобы посвященные в его тайну люди могли представить ее как свидетельство смерти императора. Виктор Федоров, не чуждый криминалистике, также провел графологическую экспертизу, подтвердившую идентичность почерков Александра и Федора Кузмича. Словом, было о чем поговорить нам, мученикам-дилетантам, разгадывающим тайну сибирского старца, но тут я заболел...

Заболел, когда услышал от Виктора Федорова, что в Томске живет правнучка купца Хромова и у нее хранится рубаха, вязаная шапочка и другие вещи старца Федора Кузмича. Хранится как наследство от прадеда, как семейная реликвия, которую она никому не показывает, даже работникам музея. Был такой случай: пришли, просили показать, но она так и не вынесла, опасаясь, что ее реликвию заберут в музей. Поэтому даже в Томске рубаху и шапочку Федора Кузмича мало кто видел — Виктору Федорову тоже не довелось. Он даже не знает адреса женщины и может дать лишь телефон людей, которые сами тоже не знают, но зато у них есть телефон тех, кто, может быть, знает. Короче, выстраивалась цепочка, и мне ничего не оставалось делать как хвататься за ее конец. Прибежав в гостиницу, я стал звонить тем, которые не знают, но у которых, может быть, есть. Дозвонился. Получил, но оказалось, что был не телефон, а адрес. Я помчался по этому адресу, но нужных мне людей не застал, и мне дали еще один номер телефона. Я снова стал дозваниваться: то не брали трубку, то линия была занята. Странное дело, думал я, если людей нет дома, то кто же разговаривает по телефону?! Наконец взяли, и тут все уперлось в одного человека, который пообещал. Не сам, а через другого человека, так сказать, друга дома. Короче, он там бывал. Бывал и пользовался таким доверием, что для него выносили. Он даже чувствовал некоторые права и поэтому относился с ревностью к тем, кто мог бы на них посягнуть. К тому же он был начинающий литератор... Когда я об этом услышал, я понял, что вряд ли... Нет, нет, мы со всей душой... готовы помочь... пойти навстречу... но, знаете ли, вряд ли... Вряд ли, потому что это наше и мы вынуждены оберегать... Вот если бы вы были не литератор, а, допустим, аптекарь или водитель трамвая — тогда пожалуйста... А поскольку вы, как и мы, то уж извините... Так мне было внушено, и, признаваясь, я приуныл: неужели придется уехать, не увидев рубаху Федора Кузмича?! Не увидев, не прикоснувшись, не погладив подушечками пальцев тонкое льняное полотно — ну уж нет! Останусь здесь на зиму, сниму квартиру и буду упрямо рыскать по всему городу, пока не найду и не увижу. Одним словом, я решил и уже хотел было сдавать обратный билет в Москву, купленный за несколько дней до этого, как блеснули на солнце золотые ангельские трубы и надо мною грянула победная песнь...

У меня в руках телефон Евгении Александровны — правнучки Семена Феофановича Хромова! Откуда? Принес ангел — иначе и не объяснишь случившееся. Принес и вложил мне в руку, поэтому не буду вдаваться в подробности, рассказывать, как и через кого: чудо есть чудо... Причем ангел меня надоумил: когда будешь звонить, не говори про рубаху... вроде бы ты о ней ничего и не знаешь. Не говори, а то спугнешь... Выдумай какой-нибудь предлог, совершенно невинный. Главное, чтобы тебя пригласили в дом, а уж там... И вот я набираю номер: здравствуйте... я такой-то... приехал из Москвы... собираюсь писать о Федоре Кузмиче... изучаю материалы...

хотел бы показать вам кое-какие фотографии и задать несколько вопросов. О фотографиях я упомянул с расчетом — ведь их по телефону не покажешь. И мне любезно отвечают: пожалуйста, заходите, будем рады вас видеть. Настолько любезно, что я засомневался, стоило ли мне хитрить и прибегать к уловкам, и, может быть, не ангел толкнул на это, а кто-нибудь другой — бесенок с рожками, хвостом и копытцами. Впрочем, времени для сомнений оставалось немного, и я заспешил на встречу с Евгенией Александровной. Как я понял из ее объяснения, жила она неподалеку от дома Хромова, в таком же старом деревянном домике с заборчиком и калиткой. Разыскал я этот дом, толкнул калитку и увидел у крыльца пожилую невысокую женщину, опрятно одетую, с коротко подстриженными седыми волосами и с тою розоватой окраской лица, которая бывает при полнейшей, чистой седине. Лица простого и доброго, с правильными русскими чертами (такой могла быть сельская учительница или жена священника). Евгения Александровна пригласила меня в дом, где все было так, как в старых сибирских домах, — множество всяких уголков, закуточков, коридорчиков и большая комната в центре. Комната с цветами на подоконниках, фотографиями на стенах, вазочкой на комодке, кружевными салфеточками на подушках дивана — как говорилось раньше, гостиная. Мы устроились за столом, накрытом скатертью, и я достал фотографии, стал расспрашивать о Федоре Кузмиче, купце Хромове, о тех преданиях, которые сохранились в семье, и разговор у нас завязался. Доверительный, душевный разговор: Евгения Александровна участливо меня выслушивала и охотно отвечала на вопросы. Да, да, предание сохранялось, и в семье все были уверены... что Федор Кузмич — это не кто иной, как... вот, пожалуйста, прочтите... И Евгения Александровна достала из шкатулочки письмо своего деда Ивана Григорьевича Чистякова (зятя купца Хромова), в котором были такие строчки: «Дело о Федоре Кузьмиче двинулось вперед, уже открыто пишут, что это император Александр Первый».

Участливо, охотно, но вскоре я почувствовал, что разговор затухает. Затухает, как костер под дождем: погорел, потрещал, подымил — и затух. И сколько ни подкладывай сухие ветки, ни подсовывай скомканную бумагу — снова не вспыхнет... Я забеспокоился: что же делать? Спросить напрямую? Мол, я слышал, что у вас... рубашка... старца Федора Кузмича... Нет, напрямую нельзя, ангел предупреждал не напрасно. Надо ждать, и я терпеливо жду, а в разговоре уже возникают долгие паузы, обязывающие меня встать, поблагодарить за гостеприимство и с прощальным поклоном произнести: «Мне пора». Хозяйка же должна будет ответить: «Ну что вы! Что вы!» — и тоже встать, своим обреченным видом показывая, что удержать меня она не в силах. Так она проводит меня до дверей, и мы простимся. Простимся, и я никогда... Но тут блеснула на солнце медь — это ангелы вскинули трубы. Евгения Александровна сделала мне знак, что ей нужно на минуту отлучиться, и исчезла за занавесочкой. Исчезла и зашуршала там бумагой, словно что-то разворачивая, что-то доставая. Доставая очень бережно и аккуратно, как некую драгоценность... Я замер, вслушиваясь в эти звуки: только бы не обмануться. Только бы это оказалось тем предметом, ради которого я приехал! И вот еще минута, и Евгения Александровна выносит из-за занавески портрет Федора Кузмича — тот самый, знаменитый, с прижатой к груди ладонью и заложеным за поясок большим пальцем левой руки, но только я знал его по позднейшим копиям, а это очень ранняя, старинная, на пожелтевшей фотографической бумаге. Портрет спрятан под стекло и вставлен в раму — кем? Быть может, самим Семеном Феофановичем Хромовым или Иваном Григорьевичем Чистяковым, людьми трезвыми, основательными и отнюдь не легковверными, не падкими до рассказней и слухов. Уж они-то взвешивали каждое услышанное слово, прежде чем принять его на веру, но портрет хранили не только как реликвию, но и как святыню. Хранили сами и детям завещали хранить. Значит, знали, кто такой старец Федор. Знали и даже более того — были твердо убеждены и служили этому убеждению как своему купеческому делу, которое надо двигать вперед и распространять вишьре, вовлекая в него как можно больше людей (собственно, в этом и смысл письма Ивана Григорьевича: дело двинулось... уже открыто говорят...).

Показав мне портрет, Евгения Александровна снова исчезла за занавеской, и вот тут-то я приготовился... Приготовился даже не к встрече с предметом... ради которого... а к тому, что сейчас произойдет нечто, как бы не совпадающее с предметным миром, с теми вещами, которые нас окружают (цветами, фотографиями, вазочкой, кружевными салфеточками), и с нами самими, — не совпадающее и иное, как бывают иными по отношению к нам события, уже свершившиеся в истории, но

посылающие нам некие призрачные свечения, смутные отзвуки, неясные отголоски, как будто они до сих пор свершаются рядом с нами. И события и люди — такие, как Александр Благословенный, чьим присутствием словно бы оваяло меня в тот момент, когда Евгения Александровна развернула передо мной длинную и необыкновенно широкую полотняную рубашку с небольшим разрезом сверху и прорезью для пуговицы. Да, да, оваяло присутствием, как будто он вошел — незримо, бестелесно, но это был именно он, высокий, статный, физически сильный и духовно просветленный старец, о котором другой просветленный сказал в «Розе Мира»: «Детской дерзостью была бы попытка догадываться о том, какие дали «миров иных» приоткрывались ему в последние годы и в какой последовательности постигал он тайну за тайной». Развернула рубашку, а затем достала вязаную шапочку — коричневатую с желтыми полосками, — и вновь возникло чувство некоего благого веяния: шапочка, покрывавшая его голову! Покрывавшая когда-то, а сейчас доносящая до нас свечение, отзвук, отголосок. И шапочка и засохшая губка — все, что осталось от Александра и к чему мне удалось прикоснуться, притронуться — мне, человеку этого времени и пространства, изумленно застывшему перед далями «миров иных». Удалось волею случая, и что я мог сказать после этого — только подняться, поблагодарить и произнести: «Мне пора». Я так и поступил, и хозяйка проводила меня до дверей, я спустился с крылечка, открыл калитку, и на этом закончилось мое путешествие.

Закончилось, хотя я еще несколько раз приходил в Алексеевский монастырь, стоял у дома Хромовых, бродил по Монастырской улице и поднимался на Воскресенскую горку, ту самую, на которой некая жительница Томска свиделась однажды с царем. Этот рассказ, встречающийся во многих источниках, относится ко времени прибытия Федора Кузмича по этапу в Томск. «Одна женщина страстно желала увидеть царя. И вот однажды она видит сон: является ей какой-то неизвестный старец и говорит: «Выйди завтра на Воскресенскую гору, и твое желание исполнится». Женщина вышла, куда ей было указано во сне, и видит, что приближается арестантская партия. Когда партия поравнялась с ней, из среды партии выделился какой-то несконанный, благообразного вида старик, подошел к женщине и тихо сказал ей: «Ты хотела видеть царя — смотри...» Это будто бы был Федор Кузмич». Приходил, стоял, бродил, поднимался, а в самый последний день удалось разыскать человека, который был свидетелем происшествия, для одних загадочного, для других естественного, — явления Федора Кузмича. Несколько дней подряд в одно и то же время его призрачная фигура возникала в окне часовни, а затем плавно двигалась по стене монастыря, вызывая удивленные возгласы и вздохи собравшихся. А людей собралось много, почти весь город. И вот одного из них удалось разыскать и расспросить — действительно ли... в окне часовни?.. И Виктор Петрович Черепанов, бывший звонарь кафедрального собора (как он сам не без гордости признался, «звонил при архиерее»), подтвердил: было... Подтвердил как свидетель, как очевидец, чему я не мог не обрадоваться, и все-таки это произошло уже после моего путешествия.

Да, да, путешествие закончилось, а это произошло. И закончилось оно потому, что самое главное в нем уже было: Евгения Александровна, правнучка купца Хромова, показала мне реликвии, хранившиеся в их семье, — рубашку и шапочку Федора Кузмича. Полотняную рубашку и вязаную шерстяную шапочку, в которых ходил по старому Томску любимый внук Екатерины, победитель Наполеона, собеседник Серафима Саровского и Пушкина, — мне, сентиментальному созерцателю, охотнику за исчезающей тенью... Поэтому на следующий день я сел в поезд и поехал в Москву, вспоминая деревянный домик, калитку, накрытый скатертью стол. Поехал, а вдогонку мне полетело письмо, которое я получил через неделю: Евгения Александровна послала мне фотографию прадеда, Семена Феофановича. Семен Феофанович стоял, держа в одной руке круглый картуз, а другой сжимая спинку кресла, в котором сидел облаченный в парадную рясу священник (быть может, архимандрит Иона?). Стоял крепко, по-богатырски — кряжистый, коренастый, невысокого роста, с волосами, по-купечески расчесанными на обе стороны, с усами и бородкой. Стоял и смотрел на меня строго и испытующе, как бы доверяя мне величайшую тайну русской истории — тайну сибирского старца Федора Кузмича.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ОТ СУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ...

Толковые словари русского языка пополнились еще одним — словарем тюремного и лагерного языка советского народа. Именно эту функцию, по сути, выполняет небольшой, но на редкость емкий двухтомник, скромно названный «Справочник по ГУЛАГу»¹. Он содержит более двух тысяч слов из официального и неофициального языка советских тюрем и лагерей. Каждая словарная статья выполнена с соблюдением всех требований энциклопедической культуры: дано слово, его синонимы, содержание, этимология, сфера употребления, примеры употребления, приводятся поговорки, цитируется тюремный и лагерный фольклор и т. д. Например:

«Гулаг, то же ГУЛАГ — Главное Управление ЛАГерей.

Содержание статьи:

- 1) Гулаг ОГПУ СССР;
- 2) Гулаг НКВД СССР;
- 3) Его задачи и организация;
- 4) Производительность гулаговской рабсилы;
- 5) Ее резервы;
- 6) Режим;
- 7) Лагерные комплексы на местах;
- 8) «Ликвидания» Гулага.

— I¹. (В) ГУЛАГ ОГПУ СССР, то же (В) ГУИТЛ ОГПУ СССР — новое с 1930 г. название «Концентрационных лагерей ОГПУ СССР» в связи с переименованием их в «Исправительно-трудовые». Независимо от Гулага ОГПУ продолжают существовать испр.-труд. лагеря НКВД и НКЮ РСФСР (и др. союзных республик). Из этих трех лагерных систем Г. является самой строгой.— I². Первый начальник Г.— Генрих Ягода, которого позже сменит Матвей Берман. Оба будут расстреляны как «враги народа» (см. *ежовщина* 1). — I³. Развивая соловецкий опыт (см. *Соловки* 9), Г. воздвигает первые гигантские стройки коммунизма, причем отсутствие механизации подменяет мускульной силой сотен тысяч голодных и плохо одетых заключенных...» — и т. д.

Или:

«маникюр — (ЕГ) вырывание ногтей (пытка при допросе; ср. *спецмеры*)».

Вошедшие в справочник статьи охватывают почти все сферы жизни, все аспекты существования ГУЛАГа — его функции, структуру, историю, географию, экономику, быт, психологию, идеологию, эстетику... Уникальность этого словаря еще и в том, что вся колоссальная работа по сбору материала, систематизации, обработке, проверке проделана одним человеком — французским лингвистом Жаком Росси. И работа эта была отнюдь не кабинетной. Сбор материалов для «Справочника по ГУЛАГу» начался в 1937 году. Именно тогда Жак Росси, блестящий полиглот и лингвист, работник Коминтерна и участник войны в Испании, обрел свою вторую родину — гулаговскую Россию. Возможность изучать тюремный и лагерный быт была предоставлена ему советской властью щедро — почти на четверть столетия: с 1937 по 1958 год — Лубянка, Бутырки, несколько десятков пересыльных тюрем, норильские лагеря, Александровский и Владимирский централы; с 1958 по 1961 год — ссылка в Среднюю Азию. Более прочной прикреплённости к истории, к жизни нашего народа трудно представить.

Карточки с отдельными словами, пишет Росси в авторском вступлении, «я начал составлять в 1961 году. Они систематически обсуждались с другими бывшими заключенными. Из нескольких тысяч составленных и проверенных карточек я отобрал немногим более 2 тысяч, которые и послужили для составления Справочника. Все карточки сверялись затем со множеством опубликованных материалов, таких, как декреты, законы, мемуарная литература».

Кроме словарных статей, «Справочник...» содержит пятнадцать приложений, среди которых таблицы суточного рациона советских заключенных и суточного

¹ Росси Жак. Справочник по ГУЛАГу. В двух частях. Издание второе, дополненное. Текст проверен Натальей Горбаневской. М. «Просвет». 1991. 543 стр.

рациона заключенных в царской России, сравнительная таблица лагерных режимов, материалы, связанные с «национальной политической» партии, образцы лагерной документации. Особого внимания заслуживает список книг, вышедших на Западе с 1919 по 1937 год включительно, в которых дана объективная картина советской пенитенциарной системы. «После чистки 1937 года,— замечает Росси,— не видеть ее мог лишь тот, кто не хотел». «Справочник...» завершается общей библиографией (в основном здесь указаны издания, выходявшие на Западе в 30—80-е годы), именным и тематическим указателями.

Словари и справочники, как известно, издаются для работы, а не для чтения. Но для нас сегодня «Справочник...» Росси — это еще и книга для чтения, для размышлений. Размышлений над тем, что же вместили прожитые нашим обществом десятилетия. И много ли было в русской истории периодов, насытивших язык целой страны подобным количеством новых слов и понятий. Блат, туфта, чекист, лагерь, шмон, заначка, зона, поселенец, спецотдел, тройка, троцкист, ГПУ, КГБ, ВЧК, ВКП(б) и так далее и так далее — на пятьсот страниц!

Язык оставляет в себе только те новые слова, которые прочно прикреплены к жизни общества. Характер изменений в языке — это характер изменений в самой жизни. А изменения эти были разительными. Наш век переосмыслил, насытил новым содержанием сгнившие старые слова. Скажем, слово «лагерь», в прошлом веке звучавшее достаточно нейтрально, к середине XX века стало одним из самых страшных слов русского языка. Поразительные изменения произошли в синонимических рядах. Словарь Даля дает около десяти синонимов слову «тюрьма»: «острог», «темница», «арестантская», «мешок», «блосница», «крепость», «каземат» и т. д. Словарь же Росси, детище нашей жизни, одних официальных названий тюрьмы приводит сорок пять (Сизо или следственный изолятор, Следственная тюрьма, Спецобъект, Специальная тюрьма, Стационарная тюрьма, Т-ма КГБ, Т-ма МВД, Т-ма МГБ, Т-ма на общем режиме, Т-ма особого назначения, Общая тюрьма, Особое конструкторское бюро и т. д.) и еще сорок одно обозначение на эзковском жаргоне (Исправдом, Закрытка, Больница, Внутрянка, Дача, Дом отдыха, Кичман, Крытка, Пересылка, Политзакрытка, Уголовка, Централ, Шарага и т. д.).

Мысль о том, что лагерная зона в нашей стране располагалась по обе стороны колючей проволоки, высказывалась не раз. Но это утверждение многими воспринимается не более как эффектная метафора. Словарь Росси бесстрастно свидетельствует: никакой метафоричности здесь нет. Слов, а значит, и понятий (за которыми соответственно — умонастроение, мироощущение), родившихся в лагере и перешедших в «вольную жизнь», не просто много, а они, собственно, и являются чуть ли не повседневным нашим языком. Все те же: блат, туфта, закосить, темнить, филонить, стучать, закладывать и т. д. и т. д. Росси помечает эти слова особыми указателями: ДА, ГА, ДГА, где А — народное, Г — общетюремно-лагерное, Д — специфически уголовное. Но даже слова, обозначенные буквами Д или Г, то есть слова исключительно тюремного или уголовного обихода, кажутся нам удивительно знакомыми: «стрельнуть» (папиросу) или «загреть», «махнуться» (обменяться), «шебутной», «шмотки» и проч. и проч. Большинство из нас уже и не подозревают о происхождении этих слов.

Законы, по которым жил лагерь и по которым жила страна, практически одни и те же, это не только в словах, это и в реалиях, данных словарем:

«доска показателей — моральное средство поощрения; обязательно устанавливается везде, где работают недостаточно оплачиваемые люди, вольнонаемные или заключенные. Под эмблемой черепахи вывешивают фамилии «плетущихся в хвосту» (иногда это отдельная, черная «доска позора»), под самолетом, локомотивом или грузовиком — рекордсменов производства...»

Это про лагерь или про вольную жизнь?

И еще одна черта «Справочника...», которую необходимо отметить, — художественное своеобразие его текста. Это критерий, которым обычно не пользуются при оценке научной работы, но перед нами действительно неординарное явление. Сохраняя все достоинства научной работы — продуманность системы, отбора и расположения статей, лаконизм и выразительность формулировок, — текст «Справочника...» несет на себе еще и отпечаток личности автора, во многом обобщающего личный жизненный опыт:

«сухая голодовка — г. без питья. Считается более утомительной; то же черная г.

Примеч.: автору приходилось держать голодовки как с питьем воды, так и без питья, но не ощутил какой-либо разницы».

Из статьи «Спецмеры»:

«...массовое применение физических с. началось в ночь с 17 на 18 августа 1937 г. К утру 18 августа большинство подследственных в Бутырках (где

находился автор) вернулось с допросов с заметными следами побоев. Позже, встречая в лагерьях людей, проходивших следствие в других тюрьмах Советского Союза, мы констатировали, что массовые пытки начались по всему Сов. Союзу именно той ночью и что технические методы были применены те же повсюду...»

Жак Росси не только вспоминает, не только информирует — в своем «Справочнике...» он создает образ ГУЛАГа, создает его всей совокупностью статей, наиболее крупные из которых («Массовые аресты», «Массовые расстрелы», «Прокуратура», «Ссылка» и др.) дают общую картину, а более частные дополняют эту картину выразительными деталями и подробностями. Порой детали эти выглядят чуть ли не символами того абсурдного, кровавого беспредела, в который попало наше общество на несколько десятилетий.

Из статьи «Бирка»:

«бирка или ярлык — Г¹. (Г) Фанерная дощечка, которую, по инструкции, до погребения привязывают к большому пальцу левой ноги мертвого заключенного... Г³. Перед вывозкой покойника за лагерную зону дежурный вахтер, согласно инструкции, разбивает его череп деревянным молотком, либо пробивает грудную клетку раскаленным металлическим прутом, для предотвращения возможной попытки побега...»

Алена Безансона, известного политолога, написавшего предисловие к «Справочнику...», поразила в его авторе такая черта: «Я не заметил у него ни горечи, ни отчаяния, но, напротив, какую-то ясность и невозмутимость. Люди, подобные ему, многократно пересекали Ахерон: они ускользают от нашего суждения». Эта черта ощутима и в тексте «Справочника...». Сдержанность и продуманность слога заставляют почувствовать как бы определенную дистанцию между автором (который, повторяю, несмотря на научную бесстрастность языка, постоянно присутствует в тексте словаря) и его материалом. И не сразу можно сказать, чем эта дистанция заполнена. Во всяком случае, не только гневом, обидой, личной оскорбленностью. Скорее это дистанция, установленная аналитической мыслью. И мыслью для эмоционально настроенного читателя неожиданной. С точки зрения Росси, явление ГУЛАГа — отнюдь не специфически русское или советское явление. У него, прожившего целую жизнь в ГУЛАГе, хватило мужества и широты ума на размышления об общих для XX века исторических процессах: «Не считаю, чтобы тот или иной вид тоталитаризма или военной диктатуры были предпочтительней других... Если в Справочнике я стараюсь, на примере Гулага, показать реальное лицо тоталитаризма, то лишь потому, что именно с ним мне было дано познакомиться и — к величайшему моему удивлению — остаться живым».

Однако в том, что автор «Справочника...» имел в виду не только советское общество, утешение слабое, ибо персональный адрес «Справочника...» остается прежний: наше с вами любезное отечество, уровень именно его государственного и нравственного падения. «Не в официальных выступлениях советских деятелей ищите ответ на вопрос, что они на самом деле думают о правах человека. Этот ответ вы найдете в повседневных реалиях Гулага, ставшего неотъемлемой частью советской действительности», — пишет в своем вступлении Росси.

Чтение словаря Росси насыщает новым — неожиданным и жутковатым — смыслом старинную русскую поговорку «от сумы да от тюрьмы не зарекайся». Оказывается, что тюрьма да дума не где-то там, за колючей проволокой, а в нас самих, в строе нашего языка, наших чувств, в уровне нашего гражданского и человеческого самосознания. Печальным и очень опасным заблуждением является мысль о том, что сегодня мы «тему Гулага», слава богу, освоили. Ну как же! Ведь мы уже купили, а многие даже прочитали «Архипелаг ГУЛАГ» и «Колымские рассказы», и бранить Сталина не воспрещается, и общество «Мемориал» существует, и вообще — все очень сочувственно слушают, когда общество призывает к коллективному покаянию за прошлое. Отчего же не покаяться. Можно.

Увы. Для того чтобы заговорить на языке действительно свободных людей, начать жить и мыслить по нормам свободного общества, каждому из нас, и обществу нашему в целом, предстоит очень трудная и долгая работа по преодолению нашей внутренней зависимости от «тюрьмы» да от «сумы». Вот первый, и самый очевидный, вывод, который заставляет сделать чтение «Справочника по ГУЛАГу» Жака Росси.

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО.

«ДЕЛО» ХОЛМСА ЖИВЕТ...

Эта книга — очередное юбилейное издание¹. К юбилейным изданиям мы привыкли. Годовщины вождя, например, отмечались выпусками памятных серебряных рублей и сувенирными многотомниками в роскошных переплетах. Издание же этого сборника приурочено к дате совсем необычной — «к 100-летию со дня знаменитой схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти, «Наполеона преступного мира», у Рейхенбахского водопада 4 мая 1891 г.».

Дело в том, что эта книга, на оранжевой обложке которой изображены силуэты двух знаменитых квартирантов с Бейкер-стрит, принадлежит к довольно непривычному для нас жанру — жанру литературной мистификации. Жанр все же не нов для нашей литературы: Козьма Прутков, Черубина де Габриак, а в новейшей истории — описания походов будущего генерального секретаря на Малой земле.

Грандиозная холмсианская мистификация началась в 20-е годы, когда сам Конан Дойл еще не написал последний рассказ о Великом Сыщике. Внимательные исследователи, скрупулезно изучая все намеки, неточности, недомолвки и прямые указания, разбросанные на 1323 страницах шестидесяти рассказов Дойла (в мировом холмсоведении эти рассказы именуются Сакральные Тексты и их авторство приписывается д-ру Уотсону), сумели реконструировать подлинную биографию Холмса, периодически открывая новые подробности благородной деятельности Великого Детektива.

Рецензируемое издание является первым плодом деятельности Уральского Холмсианского Общества, появившегося в мае минувшего года в Екатеринбурге. Президент Общества — молодой екатеринбуржец Александр Шабуров, он же является составителем антологии и одним из авторов перевода «Энциклопедии Шерлокианы». Возьму на себя смелость открыть одну маленькую тайну. Замечательные графические иллюстрации сборника выполнены вовсе не Джоном Х. Уотсоном (как это указано в выходных данных). Среди многих талантов доктора дар рисовальщика, увы, не значился. Автор прекрасных рисунков все тот же Шабуров, профессиональный художник и книжный иллюстратор. Помимо этого тома Шабуров с единомышленниками уже выпустил первый номер холмсианской газеты «Элементарно, Ватсон!», а в их дальнейших планах — возведение в столице Урала памятника Великому Детективу. «Вряд ли против этого станут протестовать „демократы“, вряд ли он будет костю в горле у „консерваторов“», — писала екатеринбургская газета «Клип».

Антология «Приключения Великого Детектива Шерлока Холмса» — первое издание подобного рода в нашей стране, видимо, поэтому составители решили представить пусть кратко, но все направления холмсологии. Сборник открывается основой основ — двумя известными нашим читателям рассказами: «Приключение с побелевшим воином» и «Приключение с „львиной гривой“». Оба примечательны тем, что написаны самим Холмсом, в тот период, когда сыщик поселился в деревне, а его «верный Босуэлл», д-р Уотсон, остался в далеком Лондоне.

Впервые собраны воедино все переведенные на русский язык рассказы из сборника «Подвиги Шерлока Холмса» — плода совместных усилий Адриана Конан Дойла, сына сэра Артура, и популярного автора детективов Джона Диксона Карра. Но самой примечательной публикацией сборника являются, несомненно, выдержки из «Энциклопедии Шерлокианы, Универсального словаря сведений, установленных о Шерлоке Холмсе и его биографе Джоне Г. Уотсоне». Содержание этого труда вполне соответствует своему длинному названию. О Холмсе здесь можно узнать все, от манеры одеваться и финансового положения до философских воззрений.

Многие знаменитые литераторы так или иначе отдали дань уважения Великому Детективу. Одни в форме критической статьи, другие, подобно Эллери Куину, дополнили приключения Холмса новыми сенсационными делами (Эллери Куин представлен в сборнике романом «Этюд о страхе» — расследование Холмсом реального дела Джека Потрошителя), третьи писали пародии. В разделе «Пародии» составители антологии почему-то ограничились лишь авторами американского континента. Но блестящие имена этих американцев с лихвой компенсируют географическое ограничение. Две новеллы О. Генри о Шемроке Джолнсе, Хемлок Джонс Фрэнсиса Брет Гарта и рассказ Марка Твена, в котором действует как сам Холмс, так и его племянник Фетлок Джонс, который в конце концов и оказывается... Но не смею прежде времени раскрывать тайну. Пусть пародийный, но это детектив.

Вот-вот выйдет в свет второй том антологии, составленный из произведений отечественных литераторов. Шерлок Холмс, «человек, который никогда не жил, но который никогда не умрет», обретает должное почитание и в нашем отечестве.

ДАНИИЛ ДУБШАН.

¹ «Приключения Великого Детектива Шерлока Холмса». Т. 1. Составитель А. Е. Шабуров. «Клип» совместно с Уральским Холмсианским Обществом. Свердловск. 1991. 448 стр.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. КОРЖАВИН

*

В СОБЛАЗНАХ КРОВАВОЙ ЭПОХИ

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Меня всегда поражала спрессованность русской истории XIX и XX веков. Ну, например, то, что Л. Н. Толстой жил при Пушкине, пережил народовольцев и пятый год, дожил до кризиса символизма и умер за четыре года до первой мировой войны и за семь лет до девятьсот семнадцатого. А прожил всего семьдесят три года. Срок жизни солидный, но не уникальный: некоторые и подольше живут. Да и он мог бы, если бы не драматические события в семье, вызвавшие его уход. Но так видится из нашего времени. Конечно, жившим тогда, между двумя войнами, Отечественной и Крымской, время это особенно компактным не казалось. Все-таки целых тридцать восемь лет!

Когда я начал сознательно воспринимать жизнь — как я уже говорил, это произошло году в 1932—1933, — мир тоже был совсем иным, чем сейчас. Многого из того, что потом вошло в жизнь (а теперь в России рискует из нее выпасть из-за развала), еще не было. Но кое-что уже было. И многое из того, что появилось позже, было как бы задано тем, что уже было тогда. Авиация уже была, и давно, даже коммерческая, но в жизни она еще не ощущалась. Громадных лайнеров еще никто и не представлял. Летчики от нас были так же далеки, как наркомы. Постепенно переставали казаться небожителями шоферы, которых еще недавно называли почтительно механиками. Помню, как, приезжая по делам из Чернигова, заезжал к нам наш свойственник, инженер (это тогда тоже звучало гордо), на легковом автомобиле с шофером. Не помню даже, катался ли я на нем хоть разок (если и катался, то недолго — свойственник всегда спешил), но я все равно был горд и счастлив. Подумать только — к нам, именно к нам, а не к кому-нибудь приехал легковой автомобиль! Мальчишки вокруг мне завидовали. О том, чтоб иметь собственную машину, нелепо было даже мечтать. Правда, как я потом узнал, некоторые их имели. Например, летчики-испытатели в Москве. Но, во-первых, мы об этом не знали, а во-вторых, они тоже были высоко и далеко, выше, чем их поднимали аэропланы. Читал я однажды (в детской книжке типа «Сделай сам») и о геликоптерах — русского названия «вертолеты» тогда еще не было. Были ли где-нибудь уже сами вертолеты — не знаю. Вероятно, где-то работы уже велись — и в Америке и у нас, — но во второй мировой войне они не участвовали. Радио уже дошло и до Киева, отец собрал маленький детекторный приемник, а у знакомого парикмахера я видел и ламповый. По нему можно было слушать даже за границу. Я вовсе не нуждался тогда в иностранном вещании на русском языке (да и не было его еще в природе), но просто это поражало воображение. Как потом воображение деда, у которого я в ссылке, в сибирской деревне снимал квартиру, еще в 1950 году поражало, когда из установленного нами репродуктора раздавалось: «Внимание! Говорит Москва». «Ишь ты, ети твою мать! — простодушно восхищался дед. — В Москве говорят, а здесь слышно!» Дед не был ни наивным, ни глупым человеком, просто у него до сих пор не было радио. А ведь это на самом деле удивительно — что в Москве говорят, а в Сибири слышно. Просто мы привыкли и перестали удивляться. Но и репродуктор появился у нас не сразу — только году в тридцать шестом. Впрочем, к началу войны не только репродукторов, но и радиоприемников было уже довольно много. В городах особенно.

О высвобождении и использовании атомной энергии уже говорили, но казалось, что это еще далеко, а может, и несбыточно, как *perpetuum mobile*. Но некоторые физики, как теперь всем известно, не только говорили, а и работали над этим. Не

было еще и телевидения, даже в Америке. Но о такой возможности уже писали, она предполагалась. Так же как и телемеханика — дистанционное (по радио) управление машинами и приборами. Использование полупроводников, которые транзисторами у нас еще не назывались, уже тоже стояло на повестке дня. Но как бы вытекающая из всей этой электроники (радио, телевидения, телемеханики и транзисторов), базирующаяся на ней кибернетика показалась бы еще глупой сказкой почти любому.

Это уже было делом другой эпохи — эпохи НТР, плодами которой мы пользуемся (например, компьютером, на котором я это пишу), но ощутить очертания и возможности созданного ею мира до сих пор еще не можем. Это теперь, а тогда при всей нашей вере в технику, науку и человеческий разум — и говорить нечего. Неудивительно, что Сталин при появлении кибернетики не поверил даже в ее военное значение, которое всегда было для него решающим аргументом, и объявил ее лженаукой. Предыдущую эпоху Сталин — то с пользой для себя, то во вред — обманывал и подминал как хотел: он знал ее язык. Но кибернетика была языком иной эпохи, за ней он просто не мог угнаться и попытался прикончить ее привычным образом — расстрелять сзади всером от пуза, как ему удалось расстрелять революционную эпоху, языком которой владел в совершенстве.

Но язык менялся не только в этом смысле. Понятия и представления тех дней сегодня иногда трудней вообразить, чем мир без радио и телевидения. Психологически с той поры, с которой связано пробуждение моего сознания и начало моей биографии, мы пережили несколько эпох.

Эта разница эпох создает для меня определенные трудности. Упомянувшийся расстрел революционной эпохи, происшедший на моих глазах более полувека назад, совпал по времени с моим отрочеством и надолго определил содержание моей жизни, мои симпатии и антипатии. Сегодня я вижу тогдашние события совсем не так, как тогда. Возникает опасность как инерции тогдашних представлений, так и неопитского отталкивания от них. Поэтому я и говорю, что когда судно этого повествования войдет в пролив, ведущий через 1937 год, дальше надо плыть очень осторожно. Рифы на этом пути подстерегают с двух сторон, и нельзя приставать ни к тому, ни к другому берегу — ни к Сталину, ни к тем, кого он уничтожил. Они вовсе не одно и то же, как сегодня хотелось бы некоторым, но разнятся между собой не как Добро и Зло и не как правые и виноватые, как хотелось бы другим. И как казалось мне в детстве. Но всю жизнь я прожил под властью тех, кто уничтожил, или, точнее, заместил, уничтоженных, а не тех, кого уничтожили, или заместили. Временами это приводило к абберациям в смысле чрезмерного сочувствия к уничтоженным и замещенным.

Но отталкивание от заместивших, точнее от замещения, чрезмерным быть не могло. Дело не в людях, они были разные, но 1937 год, который их «выдвинул», — явление отвратительное. И сам по себе, и тем, что утвердил сталинщину. А она, что бы мы ни знали о тех замещенных, сама от себя наложила дополнительный страшный отпечаток на весь облик и дальнейшую историю страны, дополнительную тяжесть на жизнь людей.

Эпоха эта подбиралась к нам исподволь. Я уже говорил, как огорчала меня в детстве тихая подмена мировой революции странным «советским патриотизмом», в лучшем случае — казненным антифашизмом, а романтика интернационализма — «дружбой народов СССР». Мыслители «Памяти» и им подобные могут увидеть в этом признании подтверждение своих взглядов — еврейское отчуждение от всего русского. Но это неправда. Когда во время войны легализовался русский патриотизм, я его принял, сумел ощутить сквозь казенщину, без которой у нас ничего не бывало. С каким бы расчетом его ни легализовали, он был реальностью, волновал, а что касается меня, то и обогащал. Правда, и я при этом как-то увязывал его с идеологией, которой он, строго говоря, противоречил. Но что поделаешь! В таких отношениях с логикой мы все тогда жили. Но этот «советский патриотизм» был не только ложью. Он был подделкой без образца, чем-то без вкуса, без запаха, без идеи и без любви. Он исподволь отменял ложную систему ценностей и заменял ее идолом из папье-маше.

Многих может удивить то место, которое занял в наших душах и судьбе пронизанный романтикой революции и гражданской войны роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Теперь мне иногда кажется, что он и создал эту романтику или воссоздал ее на новом этапе для нас, родившихся в двадцатых. Хотя это, может быть, и абберация. Я прочел его рано, лет в одиннадцать.

Я давно далек от революционной романтики и давно не заглядывал в эту книгу. Слышал от многих, кому верю, что написана она наивно — особенно по языку — и художественной ценности не представляет. Наверно, в этом много правды. Конечно, книга эта не относится к выдающимся произведениям российской словесности. Высота, на которую она была поднята, призрачна и искусственна. Но и теперь я убежден, что и в литературном отношении этот роман стоит выше, чем многие

мастеровитые книги позднейшего периода. Прежде всего чем «Молодая гвардия» куда более талантливого, культурного и литературного Александра Фадеева. Я сейчас не о том, что Фадеев там по легкомыслию и цинизму преступно ободгал невинных людей, потом тяжело и долго расплачивавшихся за это. Роман этот был бы плох и без этого. В сущности, это не роман, а развернутый газетный очерк тех лет. Просто потому, что в нем есть событие, но нет личного авторского замысла, который это событие раскрывает. Поэтому все его герои не образы, а функциональные схемы, мастерски раскрашенные живыми — внешними и бытовыми — чертами. Все как будто индивидуально — один красивый, другой вспыльчивый, третий добрый, четвертый еще какой-нибудь, — но существуют только функционально. Никого из них ни в какой другой ситуации представить нельзя, в отличие, допустим, от героев его же «Разгрома», остающихся характерами при всей навязчивой тенденциозности, даже перевернутости авторского их освещения. Павел Корчагин — безусловно характер. Он не только совершает поступки, он — живет, его тоже можно представить в любой ситуации. К миру его ценностей, к его реакциям и поступкам, даже к его личной жизни можно по-разному относиться, но они реальны. Для многих из нас он раньше был воплощением идеала, теперь он воспринимался бы как воплощение трагичности — кем-то запутанная и во что-то запутавшаяся душа, отдавшая все силы и здоровье, вложившая свои лучшие качества и надежды, все свое стремление к Добру в то, что Добром не было.

О такой трагедии с тех пор уже писали неоднократно, на ином уровне самосознания и представления о литературе (например, Павел Нилин). И еще будут писать — лучше, законченней, мудрей и трезвей. Но в сгущающейся духоте середины тридцатых, среди тотальной имитации эта книга, искренне утверждая исчезавшие уже миражи и прелесть отменяемой эпохи, настаивала на их присутствии в настоящем (то есть на присутствии в нем — а значит, и необходимости — какого-то смысла) и воспринималась поэтому как глоток свежего воздуха. Это тоже было миражем, хотя другого рода. Но этого, несмотря на все свои «прозрения», я тогда еще не понимал. Я заглатывал с удовольствием обе наживки — и обаяние революции, и то, что оно распространяется и на наше время. Но вторую — все равно не очень глубоко и уверенно.

Конечно, и этот роман и его автор тоже были не вполне безупречны даже в той системе ценностей, которая их проносила. Некоторыми частностями они целиком соответствовали тому, что требовалось тогда от всех. Об одном из товарищей Павла узнается, что он примкнул к оппозиции, и именно его нам тут же показывают «морально разложившимся», то есть пьяницей, развратником и т. п. Да и вообще книга прославляла тех, кого в это время облыгивали и расстреливали, прославляла так, словно они по-прежнему у руля, создавала ложное представление преемственности и коммунистической легитимности сталинского режима, обманывала. Но это в частности. И все-таки за ней была некоторая историческая и человеческая реальность. Реальность заблуждения, но все же не всеобщее отвратительное, пустое и бездарное лицедейство.

А кем я тогда был сам? По причине возраста получилось так, что процессы тридцатых годов были первым преступлением Сталина, которое я воспринял сознательно. О процессах шахтинском, Промпартии и других фальшивках против интеллигенции я ничего не знал — даже их официальные версии знал только понаслышке. Да и судили на них классово чуждых контрреволюционеров, с которыми, как меня учили, и полагалось бороться, — их судьба меня не волновала. Коллективизацию я видел близко. Но впечатления от нее у меня были еще полумладенческими, отрывочными — вероятно, их безысходность располагала к тому, чтоб детское сознание на них не задерживалось.

Потом, и тут не было идеологического конфликта, — «мы» всегда были против уродующей душу частной собственности, а борьба требует жертв. Не знаю, как бы я воспринял все это, будь я тогда чуть старше и имеи друзей в деревне, но их не было. Все эти впечатления лежали без движения на дне сознания довольно долго. Я разделяю позор многих.

А тут судили революционеров за измену революции, а сама революция при этом отеснялась ликующей песней о достигнутом счастье. Было от чего голове идти кругом. Паразитально то, что в это достигнутое счастье, в расцвет колхозов, я верил, только оно меня почему-то не удовлетворяло. Было каким-то самодовольным и скучным, курым. Под стать ему была и тогдашняя «массовая» (то есть внушаемая массам) песня. Мне приходилось уже писать о той страшной роли, которую сыграли эти песни. Были среди них псевдореволюционные, псевдопатриотические, псевдолюбовные, были причудливо совмещившие, перемешавшие в себе все эти элементы. Все они придавали реальность всему, что нам внушалось в замещение реальност

как бы создавали искусственную среду обитания, искусственную логику, историю, революцию и Россию. И тогда центром этого искусственного мира, естественно, оказывался Сталин. Песни эти вроде и не создавали этот мир — просто делали вид, что в глубине его рождались и из глубины его пелись, задыхаясь от счастья. Нельзя сказать, что я всегда тогда был столь зорок, как в этих строках, я тоже загорался и пел со всеми. Я даже хотел приобщиться к этому счастью. И временами приобщался. Но все равно не мог преодолеть ощущения в нем чего-то механического и скучного.

Особенно меня раздражала «Катюша»¹. Может, именно тем, что она была о любви. В ней некая Катюша и некий боец на дальнем пограничье состоят в некой переписке, а умиленный автор лирически предлагает им следующий баланс отношений — пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет, так за так. Ничего себе любовь, которую следует беречь, да еще на определенных условиях! Теперь я понимаю, что замыслил эту песню не Исаковский, а некто вроде ГлавПУРа — надо было внушить девушкам патриотический долг хранить верность солдатам. После войны понадобилось будить в солдатах ностальгию, дабы не перебежали к союзникам. Отсюда в тех же учреждениях, очевидно, и родились замыслы песен «Летят перелетные птицы» и «Хороша страна Болгария»: М. В. Исаковский выступает здесь больше как исполнитель, чем как автор. Я охотно верю, что ему лично никуда не хотелось улетать, но не верю, что ему вдруг захотелось об этом петь или даже говорить. Его ведь никто и не выталкивал в дальние страны. Да не подумают про меня, что я согласно нынешней моде взялся «разоблачать» Исаковского. Скорей всего такие задания он воспринимал как почетные (я бы тоже тогда так их воспринял). То, что он писал, не противоречило его мироощущению и не содержало подлости. Кроме того, у него есть и очень хорошие песни, некоторые из них останутся навсегда. И вспомнил я об этом только в связи с «Катюшей», с тем образом любви, который она внушала.

Я тогда еще не мог понимать, что именно такая любовь только и могла быть у выдуманного положительного героя великой сталинской эпохи! Она была под стать всем остальным обстоятельствам его искусственного, схематического бытия, под стать всей остальной его безоблачно-счастливой, но без цвета, вкуса и запаха жизни. В безоблачность этого счастья я на первых порах (лет в одиннадцать — тринадцать) верил, но не воспринимал такое «счастье» как достойное воспевания.

Впрочем, у меня бывали сомнения и в самом этом «счастье». Детское смешивалось в моем сознании с недетским. Помню, в детской книжке А. Голубевой «Мальчик из Уржума» (о детских годах Кирова) пожилой рабочий, рассуждая о тогдашнем (то есть дореволюционном) социальном неравенстве, возмущался тем, что «у них» и бани свои, дворянские, и ложи в театре, и т. п. И когда на следующий день я читал в газете, что «в правительственной ложе появились товарищи...», это меня обескураживало. Это официальное сообщение явно противоречило официально же внушенной мне идее равенства. Той идее, стремление к которой было одним из объяснений необходимости Октября и советской власти. Я не поставил под сомнение эту идею, но заподозрил измену. Я уже знал из своих книжек, что во всякой революции находились люди, присваивавшие ее завоевания, свергавшие ее с высоты. «Выходит, и у нас так, — думал я сокрушенно. — А ведь наша революция с самого начала была нацелена против такого исхода»...

В религиозные средние века любая оппозиция неизбежно мыслилась как религиозная, и иногда от безвыходности она становилась крайней. Нечто подобное происходит — особенно с молодежью — и в закрытом идеологическом обществе. Не зря дьявола когда-то называли *imitator Dei* — имитатор Бога, — и неудивительно, что в каком-то смысле я тогда был *plus royalist que roi*. То, что со своим культом конечной цели (земного рая) и партии (образования более чем земного и по-земному изменчивого) идеология смахивает скорей на языческое идолопоклонство, ничего не меняет. Но если идеология — имитация религиозности, то дух сталинщины в свою очередь — уже имитация самой идеологии. Если идеология — соблазн, то дух сталинщины — имитация соблазна. Соблазну я предавался, но имитацию остро чувствовал всегда. Как ни грустно сознаться, духовная жизнь нескольких поколений — и моя, в частности, — в течение многих лет состояла в отстаивании соблазна от его имитации.

Сегодня к этому можно относиться как угодно иронически. Но так это было. И не только у тех, кого лично задело. Ни в моей семье, ни среди моих близких, ни среди соседей по дому и двору никто репрессиями прямо задел не был. Во всяком случае, так, чтоб я об этом знал. (Отец Гаррика был не в счет — о том, что у его уголовного дела была политическая подоплека, я узнал только в эмиграции.) Коро-

¹ Это не выражение отношения к автору «Враги сожгли родную хату», «Одинокой гармонии» и многих других хороших песен, а только к этой, наиболее известной во всем мире.

че — никаких личных причин особо остро воспринимать тридцать седьмой год у меня не было. А в целом как явление я его воспринимал острее, чем порой дети пострадавших, а иногда, как я убедился много позже, и сами пострадавшие. Те часто воспринимали случившееся с ними как личную беду, как случайную несправедливость, допущенную по отношению лично к ним. Я же реагировал прежде всего на создавшийся из-за этого в стране моральный и идейный (напоминаю — тогда все для меня оформлялось только идейно) климат, реагировал на обязательную для усвоения наглядную ложь и абракадабру. Это не значит, что я с тех пор раз и навсегда стал противником Сталина, это не так. Временами я даже оправдывал эту ложь и эту абракадабру (а это, может быть, хуже, чем не видеть их) — всегда были под рукой диалектика, сложность момента и прочие ухищрения телеологического сознания (а где было взять другое?), — но все-таки всегда знал, что это ложь и абракадабра.

Впрочем, и это пришло не сразу. Вначале я вообще воспринимал происходящее, как все дети, — занимали детективные сюжеты. Дешевые и поэтому доступные. Сильно хотелось самому поймать врага или шпиона. Очень скорбел, что живу не на границе, где, судя по пионерским газетам, юные пионеры чуть ли не ежедневно ловили шпионов-нарушителей. Вопрос о том, откуда сразу взялось столько шпионов, мне по малолетству в голову не приходил. Но и многим взрослым тоже — спокойней и удобней было проявлять инфантильность. Как известно, потом, отвечая на этот вопрос, герой того времени знаменитый пограничник Карацупа отвечал, что все им задержанные нарушители пробирались не к нам, а от нас. То есть — спасались люди.

Кстати, против реальных врагов режима, нарушавших границу, наши славные пограничники и чекисты оказывались бессильны. Член НТС Георгий Сергеевич Околович, ныне покойный, с товарищем аккурат в это время, когда «граница была на замке», перешли границу в самом напряженном месте — у станции Негорелое в двадцати километрах от Минска. Проникновение в страну оказалось сравнительно нетрудным, потому что все завалы (и остальные препятствия), преграждавшие путь нарушителю, были устроены вершинами к востоку — против тех, кто хотел убежать, а не «проникнуть». После этого они заехали в Питер, где Г. С. позвонил сестре по телефону, и хотя, как потом выяснилось, сестра тут же с перепугу на него донесла (к счастью, она не знала, под какой фамилией он здесь появился), оба нарушителя благополучно прибыли на Кубань, нанялись на монтажно-строительный поезд, проработали несколько месяцев, а когда товарищ заболел, уволились и тем же путем вернулись обратно. И направленные на этот раз прямо против них препятствия опять не помешали — они были подготовлены к их преодолению. Конечно, Георгий Сергеевич был натурой героической, он и спутник были хорошо подготовлены к этой операции. Но ведь и славные органы вроде считались подготовленными к противостоянию таким людям, а не случайным перепутанным овечкам. Но только вроде. На самом деле именно для противостояния овечкам и существовали тогда сталинские славные органы и только с этой задачей могли справляться. Во всяком случае, внутри страны. А может, это и было самым важным.

Но тогда, в детстве, я этого не знал и во врагов верил. Короче, несмотря на все, что меня царापало, участвовал в общем психозе. Верил, что враг народа Николаев от ненависти к нашим успехам (как же не успехи — вот уже год как исчезли трупы с киевских улиц!) целил в ЦК и попал в Кирова. И в том, что Зиновьев и Каменев ему помогали, я тоже не сомневался. Их имена, как и имя Киров, я услышал тогда впервые. Когда я начал читать, они уже не поминались как, вожди, но еще не проклинались как злодеи. Они так и предстали передо мной как убийцы Кирова. Впрочем, не обошлось без затруднений. В газетах почему-то стали печатать призывы всяких заграничных социалистов к советскому правительству пощадить Зиновьева и Каменева. Помню призыв «Амстердамского Интернационала», начинавшийся словами «дорогие товарищи!». Там получалось, что они оба невиновны. В то время как «все знали», что это не так. Выходила неувязка, особенно усилившаяся, когда этим призывам вяли и Зиновьева с Каменевым не расстреляли (расстреляли большинство их «подельцев», но не их). Скоро, правда, справедливость восторжествовала — Зиновьева с Каменевым в тюрьму вернули², судили снова и после того, как они во всем «сознались», благополучно расстреляли, но это вскоре, а не тогда. А тогда я не мог понять, зачем надо слушаться оппортунистов, когда всем известно, что они лакеи капитализма. С другой стороны, эти «лакеи» называли «нас» «дорогие товарищи» и говорили вполне человеческим языком, вполне достойно. Я это чувствовал, и это

² Разумеется, я защищаю Зиновьева и Каменева не вообще, а только от тогдашних обвинений. Невиновны они были только перед революцией и партией, а не перед страной, народом и жизнью. Они, конечно, преступники, но преступления они совершали не против партии, а вместе с ней.

меня озадачивало. Хотя очень скоро это надолго ушло на дно сознания. Как многое у многих. Все уступало дорогу психозу.

Дошло до того, что мы чуть не раскрыли врага и в своей среде. Кругом все орало, что врагом может оказаться каждый и надо быть бдительными — верить нельзя никому. Вот мы и постарались. Один наш одноклассник, имевший репутацию хулигана, хотя был просто драчуном и шалуном, однажды мелом разрисовал все парты свастиками, в просторечии тогда именовавшимися «фашистские знаки». Это не было даже шалостью, просто выходом энергии на перемене. Кстати, свастики мы все иногда рисовали — из любопытства, в порядке игры, — но его поступок совпал с какой-то особенно шумной антифашистской кампанией, а также с очередным взрывом «бдительности». Что тут поднялось! Каким благородным возмущением мы все вскипели! Жажда разоблачать была через край. Отец преступника был вызван в школу. Вел он себя сдержанно, но серьезность момента вполне сознавал — наше детское вдохновение тогда могло стоить ему головы. Слава Богу, все затихло, в раздувании этого эпизода не был заинтересован никто из взрослых. Помню, как я поделился возмущением со своим отцом. Мы с ним гуляли, был какой-то праздник, город был украшен, и наша жизнь казалась мне особенно счастливой, а поступок человека, подрывавшего это счастье путем рисования фашистских знаков, особенно гнусным. В этом духе я и выразился — довольно высокопарно. Отец мягко гасил мое вдохновение — говорил, что это мальчик, он баловался, ничего в этом страшного нет. Думаю, что и другие взрослые — и родители и учителя — вели себя так же. В общем, дело рассосалось. Все это происходило во мне, чередуясь с другими процессами, с отвращением от фальши, пугалось.

Отдельный штришок времени. Летом, кажется, 1937 года мы с матерью отдыхали в Сновске Черниговской области. Городок этот только что был переименован в Щорс в честь новооткрытого героя гражданской войны, «украинского Чапаева», комдива Николая Щорса, о котором много тогда шумели газеты и радио³. Это произошло настолько недавно, что станция при этом городке продолжала еще называться Сновская. Место это не было и не стало курортным. Но все же был там лес, речка. А главное, продукты на рынке были дешевле, чем в больших городах. Тогда еще в России на рынках продукты стоили дешевле, чем в магазинах, как во всем мире.

С нами в доме снимала комнату московская семья — отец, мать и дочь, девочка моих лет по имени Таня. Семья эта ни до, ни после никак с нами связана не была. Просто дачные знакомые. Вместе ходили в лес, пили чай с медом. Было еще и такое блюдо — масло, переваренное с медом, считалось, что оно полезно детям, его тоже вместе заготавливали впрок. Тогда еще очень заботились, чтоб дети за каникулы отъелись. Может, от голодных лет осталось?

Кем была по профессии Танина мать, я не знаю, не очень этим интересовался. Помню только, что это была приятная и красивая, уверенная в себе женщина. Но отец Тани был фигурой вполне примечательной. Во-первых, он был профессором, вузовским работником, как тогда говорили. Что преподавал, не помню. Вроде бы политэкономии. Во-вторых, и это главное, он был политэмигрантом! Следовательно, иностранным коммунистом, бежавшим от преследования буржуазной полиции. Поражала меня некоторая, как я бы сегодня сказал, буржуазность этого пролетарского бойца. Буржуазность не в смысле мещанства (мещанство понималось мной тогда только примитивно, и он с ним не ассоциировался), а в смысле спокойной привычки к определенному уровню жизни, не очень в ту пору доступному наличному пролетариату. Впрочем, может, это и не так — я о нем мало знаю. Да он и уехал вскоре.

Политэмигранты в нашей стране были кастой привилегированной. Наверно, считалось, что уж они-то точно верны Делу и на них проще положиться. Но и вообще утвердилось убеждение, что пострадавший от наших врагов должен быть вознагражден (привилегиями, чем же еще) у нас.

Я ничего плохого не могу сказать об этом человеке, которого, судя по всему, ожидала тогда нелегкая судьба — политэмигрантов брали под метелку. Конечно, он был коммунистом, но не всегда этим полностью определялся человек. Чем на самом деле жил Танин папа, что понимал, что чувствовал — я никогда не узнаю.

Что было с этой семьей дальше, тоже не знаю. Тогда она была гораздо более уважаемой, чем наша: с воспоминаниями о елке в московском Доме ученых и о прочих подобных элитных развлечениях Тани и ее родителей. Это само по себе

³ Только недавно я узнал и понял, что Сталин тогда создавал новую историю гражданской войны, в центре которой должен был оказаться он, и просовывал своих дружков — живых и мертвых, особенно из военной оппозиции, — в ее главные деятели. А мы верили. Сегодня я не чуточку заслуг в этой области, но и сегодня не люблю, когда меня дурчат.

было бесконечно далеко от нас, казалось фантастикой. Но это было еще не все. Была еще эта семья, может, благодаря политэмигрантству в некоторой степени и близкой к «сферам». Потом, когда глава семьи уехал, в разговорах его жены с моей матерью замелькали совсем другие реалии. Правда, повод для этого был серьезный — газеты опубликовали обвинительное заключение по делу Пятакова, Радека и прочих. В том числе и вышеупомянутых Зиновьева и Каменева. О некоторых из них, в частности о Радеке, Таниной маме, как, вероятно, и многим в Москве, было уже известно, что они арестованы. Радеком она восхищалась как яркой личностью (как я теперь думаю, больше по-женски, чем политически), говорила, что его любит Сталин, и, видимо, надеялась, что все разъяснится. Теперь она буквально впиалась в газету.

— Кто бы мог подумать! — сокрушенно повторяла она. — Радек был такой интересный, блестящий человек.

Каким человеком был Радек, сегодня может знать каждый — материалов есть достаточно. Если говорить о его моральных качествах, то пробы на этом «интересном», даже «блестящем» человеке нигде было ставить. И это не идеологическая оценка, а обычная, человеческая. Не предавал он других (конечно, единомышленников, в том числе и друзей, — враги ему не доверялись) только в тех редких случаях, когда не требовалось. Поразительна философская толерантность большевистских интеллектуалов (были и такие), в кругу которых он вращался, к этим его художествам — их рассматривали как причуду гения⁴. Диалектика, «классовое сознание» и «принципы партийности» делали их бессильными перед любой ординарной подлостью, если ее объясняли политически или если подлец, по их мнению, был «полезен делу». На этом и поймал и прищучил их Сталин.

Но тогда я, конечно, ничего этого не понимал и не знал. Я только наматывал на ус, что в примитивной измене обвиняют столь блестящего человека. Назывались и фамилии других обвиняемых. По-видимому, Танина мама принадлежала пусть не к тому же кругу, но хотя бы к его периферии. Поэтому ее очень все это волновало, и она не могла сдержаться, все время шепталась с моей матерью. Кстати, это тоже кое-что говорит о нравах, о том, что распространенное мнение о всеобщем недоверии людей друг к другу и всеобщем стукачестве неверно. Она ведь никогда до этого не видела нас, ничего о нас не знала, а о стукачах знала — в ее среде их хватало.

Сознавала ли она опасность, нависшую над ее мужем, а может, и над всей ее маленькой семьей? Не знаю. Не думаю, чтоб отчетливо. Но что-то ее очень тревожило, потому она и шепталась. Не думаю, что эта женщина — красивая, в цветущем возрасте — была особенно политизированной или идеологизированной. Не более чем в пределах нормы тогдашнего светского приличия — тогдашнее светское общество было идеологизированным. Другого светского общества она не знала, ибо к «бывшим людям» (термин тех лет) она явно не относилась (и она и ее муж были евреями), а по типу она была именно светской женщиной. Вероятно, была в ней и некоторая, сегодня издали не определяемая доля интеллигентности.

Такие женщины всегда стремятся к наличному светскому обществу и к наличной светской жизни, не задумываясь об их абсолютной ценности. Кстати, при Сталине и после него «в сферах» такого общества (отчасти политической богемы) уже не было: какова ни была его ценность, оно его раздражало, и он его уничтожил — всякое.

В каких кругах вращалась эта женщина потом, я не знаю. Дай Бог, чтоб не в лагерных. Но тогда она еще жила по правилам своего круга. Такие яркие его звезды, как Радек, не могли ей не нравиться. У меня нет твердой уверенности, что она тогда понимала всю его вздорность. Но что-то она чувствовала, что-то ее мучало. Рушился ее мир, и на душе ее было беспокойно.

Я очень не люблю этот мир, но женщин, летевших на счастье, как бабочка на огонь, мне все равно жалко. Плохо они ориентировались в этом вздыбленном мире, не те качества казались им проявлением силы и связи с духом жизни. И те из них, кто выходил замуж по расчету (с женщинами это случается), тоже часто выходили не за тех, просчитывались, ошибаясь — не в человеке, а в ходе истории. А их ли это было дело — угадывать этот ход?

Я сейчас не говорю о деятельницах, а просто о женщинах, о тех, кто в лагерях числился как ЧСИР — «член семьи изменника родины», — о людях, в массе вполне от меня далеких. Но разве такой уж грех — любовь красивой женщины к яркости, поклонению, светской жизни (или более примитивно — просто к достатку), чтоб ее за него мучать всю жизнь или расстреливать? Да и главное — а судьбы были кто?

Конечно, это мои теперешние мысли, а не тогдашние. Тогда я был — во всяком случае, теоретически, «внутри себя» — гораздо более ригористичен. Я относился к ним так, как Павел Коган в своем стихотворении «к дамочкам», весь маршрут

⁴ См. мемуары Марии Иоффе в журнале «Время и мы».

которых был, по его мнению, от ГОРТа до ТЭЖЭ (от одного из тогдашних привилегированных московских закрытых распределителей до парфюмерного магазина треста ТЭЖЭ) и которых от имени тех же «мальчиков моей поруки», «в лице молочниц и мамаш» бивших «контру на дому», он проклинал как «чертову породу».

Я был моложе Павла Когана, позже начал мыслить и многое оценивал более трезво. А вот «дамочек» мы с ним оценивали одинаково ригористично. Это был вопль оскорбленного аскетизма (хоть мы оба не были аскетами), уходившего из жизни вместе с революционной эпохой. А на «дамочках» просто зло срывалось.

И что с них было взять, с этих «безыдейных дамочек», которые как умели защищали свою женственность от изначально покрытого ржавчиной «железного» века, уготованного им идейными мужчинами нескольких поколений? За голод на Украине ответственные их мужья, а не они сами. И мне жаль их. За все — и за то, что кто-то, кто никак не был лучше, ставил к стенке их мужей, тоже. Особенно тех жалко, кто этих мужей любил или полюбил. Может, не все они светочи мудрости и духа, но они женщины⁵ и вели себя как женщины. И этого вполне достаточно. В наше время надо было прожить длинную и сложную жизнь, чтоб уразуметь эту простую истину.

Но тогда я был бесконечно далек от такого уразумения, хоть очень редко — даже в пору наибольшей ригористичности — относился к людям плохо исходя из принципов. Этой «беспринципности» я очень стыдился, но иначе не мог.

Разумеется, возникли эти мои мысли не тогда и не в связи с нашей временной соседкой. Хотя, как видел читатель, кое-какую информацию от нее усвоил и я. К тому времени меня уже бессознательно влекло ко всему, что противоречило официальным версиям происходящего. Не то чтоб я уже тогда «все понимал», совсем нет. Грубые детективные спектакли Вышинского и Шейнина еще поражали и мое воображение, но, по-видимому, незаметно для меня самого оскорбляли сознание. И все, что противоречило этому, вызывало мое жгучее любопытство.

Но все же реагировал я больше на атмосферу, чем на факты. Однако и факты накапливались.

Арестовали отца моего друга (собственно, и подружился мы после этого ареста — до этого иногда только стихи друг другу читали), нынешнего московского поэта Лазаря (Люсика) Шерешевского. Отец его был бухгалтером в обществе политкаторжан. До сих пор я полагаю, что поэтому он и сгорел: когда все это общество возвращали в исходное состояние, за компанию прихватили и его. Теперь выяснилось, что все было еще проще — его имя, «сознаваясь» под пытками, назвал как имя сообщника в каком-то липовом деле арестованный раньше знакомый. Обошлось это ему дорого — полутонн тогда не признавали: «десять лет без права переписки». Мы тогда еще не знали, что это означает смерть, меня лично больше поразили десять лет. Люсику я сочувствовал уже сознательно. Однажды даже сопровождал его в приемную НКВД на Владимирской. Пока он писал заявление (без него, по-видимому, не принимали передач и не сообщали сведений), я смотрел по сторонам, видел лица родственников тех, кто уже попал под топор. Лица были как лица, только по-особому замкнутые. Рядом с нами что-то писала женщина с интеллигентным лицом. Взглянула понимающе на нас, улыбнулась, когда я что-то сказал Люсику. Здесь друг с другом не разговаривали. Потом Люсик понес то, что написал, к окошку и получил информацию. Кажется, окончательного решения по делу еще не было. Мы вышли. Помнится, была весна. Во всяком случае, день был светлым и нежным. Серый гранит фасада главного здания НКВД на другой стороне улицы выглядел внушительно и неприступно. Что тогда творилось в кабинетах за этими стенами, я еще не знал. Но от всего вместе осталось несколько притупленное ощущение безысходной беды, свирепствующей где-то рядом и меня, к счастью, обошедшей.

Проникновение в суть происходившего шло у меня не через эти впечатления. Они только приплюсовывались ко всему остальному — к тому, что мне тогда, как здесь неоднократно отмечалось, вместо «идей» предлагали для поклонения бессмыслицу и муляжи, полную прострацию. Сердце жаждало выхода.

Тогда-то, лет с двенадцати-тринадцати, я опять начал писать стихи. Не то чтобы всерьез (что такое поэзия, я не представлял по-прежнему), но и не просто из тщеславия, а для романтического самовыражения.

Перечитывая написанное выше, я испытываю некоторое смущение — уж слишком мудрым и самостоятельным я выгляжу, не смотря на все оговорки. Неужели это

⁵ Даже та карлаговская дама, которая, стоя в небольшой очереди в конце 1953 года, со вздохом сказала подруге: «Хоть бы лагеря еще года два продержались — детей на ноги поставить». Эта фраза не делает чести ни уму, ни совести этой дамы, но все равно не на нее же взваливать вину за все, к чему она привыкла

уступка обычному соблазну мемуариста — стремлению прихорошиться перед объективом, особенно если своя рука владыка? Вряд ли. Тем более я не так уж сильно люблю себя в детстве. И потом, цель этих мемуаров рассказать не о том, какой я был мудрый, а как путался в трех соснах.

В годы «перестройки» появилось много людей, утверждающих, что они «всегда все понимали». И хотя о большинстве из них до этого и слышно не было, я, как ни странно, отчасти верю их хвастовству — конечно, если исклочить слово «все». «Все» в какой-то мере было понятно только «простым» людям (к которым отношу крестьян, торговцев, ремесленников и т. д.), понимавшим в наступившей жизни нечто существенное — ее крайнюю практическую несостоятельность, а часто и аморальность. Но к «комсомольцам двадцатых годов» (и тридцатых тоже), в том числе и к интеллигенции, сформировавшейся в это время, никакое «все», связанное с абсолютной системой ценностей, отношения не имеет. В лучшем случае, в хорошие минуты, мы понимали, что имеем дело с бессистемной абракадаброй, подменявшей официально провозглашаемую систему ценностей. Но то, что она тоже ложная, мы не понимали. О каком же «все» может идти речь, если этого, главного, непонимания мы в себе даже не подозревали!

Вероятно, многие могут вспомнить моменты, когда они кое о чем догадывались — ну, например, насчет процессов или что Сталин погубил и узурпировал революцию. Это теперь кажется не важным, а тогда это был невероятный — дух захватывало — порыв и прорыв к правде. И в то же время все это лежало на поверхности. И поэтому для того, чтоб понять и не принять сталинщину, нужно было затратить гораздо меньше интеллектуальных усилий, чем на то, чтоб ее не понять и принять. Однако ситуация была такова, что многие не жалели усилий. Догадывались, но угаданное помнили недолго, заговаривали сами себя и забывали (а теперь забывают, что забывали).

Потому что Сталин, как большевики в начале двадцатых, сумел овладеть ходом жизни — верней, подменить его. И помимо страха перед репрессиями был еще страх идти одному против всей жизни, вовсе тогда не казавшейся изнутри бедной — особенно нам, молодым, другой жизни не знавшим. Кругом цвела молодость, находя, чем жить и для чего цвести, и одному идти даже не против всех, а просто не в ногу со всеми — в том числе с хорошими людьми — казалось стыдной обделенностью. Это и приводило меня к непоследовательности и падениям. Впрочем, об этом позже.

А пока я, как сказано выше, занимался романтическим самовыражением — писал стихи на уроках. В основном, как потом это называлось, на историко-революционные темы. О том, как боролись и умирали революционеры при «проклятом царизме» и героические комсомолы во время гражданской войны. А также о том, как я сам буду бороться за мировую революцию и умру в боях за нее или от рук палачей-контрреволюционеров. Стихи были не только плохие (что естественно при такой направленной тематике), но и очень неумелые — даже в смысле стихосложения. Да и откуда им было быть другими — стихов я тогда, кроме попадавшихся случайно в учебниках и детских книжках, по-прежнему еще не читал, а с поэмами, если попадались (душкинскими, например, — тогда как раз с помпой отмечалось столетие со дня его гибели), мирился как с затрудненным пересказом прозы, интересовавшей меня гораздо больше. Впрочем, и в прозе я тогда мало что понимал.

Но ведь я и не собирался становиться поэтом и вообще литератором. Свои стихи (я пытался писать и рассказы, но еще менее удачно) я рассматривал только как подспорье в своем будущем служении мировой революции. В чем будет состоять это служение и каким образом может ему способствовать мое нынешнее творчество, я представлял весьма туманно. Ясно только было, что оно не будет слишком скромным. Так я прожил третий, четвертый, пятый классы. В шестом началось нечто другое. Но пока это еще не началось, оторвемся ненадолго от художественной литературы.

Я очень мало рассказываю о младших классах. Ну хотя бы об учителях. В первом классе у нас был учителем Израиль Самойлович, как говорили — студент-химик. Был он человеком, кажется, добрым, но нервным. Помню только его узкое лицо и коричневый трикотажный свитер — тогда никто особо не модничал. Это именно он попросил моих родителей посылать меня в школу как можно реже. Со второго класса нас вела Антонина Дмитриевна, маленькая и добрая интеллигентная женщина с трудной, как мне теперь кажется, женской судьбой. Неинтеллигентные учительницы в больших городах тогда еще были редкостью — даже среди учителей младших классов. Мы ее любили и верили ей. Характерная деталь тех лет — я не знал, что Израиль Самойлович еврей, а Антонина Дмитриевна русская, хотя их имена и отчества говорят сами за себя.

Четвертый класс, как я уже рассказывал, начался для меня с переселения наших классов в 44-ю школу-новостройку. Детство кончалось — мы стояли на пороге

отрочества. И вступили в него 1 сентября 1937 года, придя впервые в пятый класс. Началось оно для нас с бунта, главным устроителем коего был автор этих мемуаров. Надо сказать, что ко мне иногда прилипает репутация скандалиста, поскольку я, бывает, резко высказываю свое мнение. Но скандалов и вообще неприятностей людям я устраивать не люблю и не устраиваю. Хотел я быть скандалистом только в отрочестве — в подражание Маяковскому, которого я тогда читал как возмутителя мешанского болота. Но это было чуть позже описываемых сейчас событий. Да и речь тут идет не о скандале, а скорей, как уже сказано, о бунте. Дата этого бунта говорит в данном случае только о том, что и на фоне гибельных событий, связанных в общем представлении с осенью тридцать седьмого года, тогдашние дети все равно были детьми, учились, переживали и принимали всерьез трепавшие их и досаждавшие и без того обескураженным взрослым бури переходного возраста, и это не имело почти никакого отношения к специфике этой даты. Хотя, по моим тогдашним представлениям, я только вступался за правду и дружбу, то есть, как юный пионер, вел себя вполне добродетельно. Как меня и учили.

А дело было вот в чем. Явившись в пятый класс, мы узнали, что из наших двух классов намереваются сделать три, из каждого выделив по трети учеников для вновь образуемого. Исходили из принципа, что чем меньше в классе учеников, тем больше внимания каждому. Принцип, что и говорить, прекрасный. Другое дело, что в общегосударственном смысле это, как и то, что в новой школе все десять классов могли учиться в одну смену, не соответствовало никакой экономической реальности.

Но возмущало нас отнюдь не это. Возмущало только «самоуправство» дирекции. Мы прочулись вместе четыре года, сдружились, и нам вовсе не хотелось расставаться. И пенел Клааса застучал в мое сердце, жаждающее борьбы за справедливость. Особенно когда я себя увидел в списке переведенных в 5-в (а наш был 5-а). Сначала меня поддержал почти весь класс. Я призывал чуть ли не к забастовке. Кажется, один раз мы таки пробастовали несколько уроков — пошли в кино. Оно и раньше такое случалось, но теперь это продельвалось с высокой целью. Постепенно все утихомиривалось, но я не сдавался — приходил в школу, но на уроки не шел или шел в свой класс. В конце концов администрация сдалась, и меня оставили в покое — в своем старом классе. Так что защитил я только свои личные интересы, а не общественные, как хотелось бы. Произошло это потому, что последних не оказалось — как-то сами собой испарились. После этого мне не раз приходилось выступать как не принято, но больше никогда в жизни не претендовал я на роль народного вожака или трибуна. Выступал в индивидуальном порядке. Иногда мне кажется, что многие народные вожаки конца XIX — начала XX века начинали свою деятельность с не более серьезных поводов, чем я в первый раз, но в отличие от меня не могли вовремя остановиться.

Надо сказать, что это мое глупое противостояние дорого мне обошлось. Видимо, произошла слишком большая нервная растрата, и в конце полугодия я огреб единственную в моей жизни двойку за четверть. Была она по украинскому языку, который я тогда да и после знал довольно неплохо. Не скажу, что двойка эта точно определяла мои знания, но в то же время она не была результатом придиорок. Учительница украинского языка, женщина строгая, но умная и с педагогическим тактом, была нашим классным руководителем. Отношения с ней у меня были хорошие. Но как-то так вышло, что получалась двойка — что-то, видно, тогда застопорилось в моем мозгу. У меня и арифметика тогда шла туго — знаменитые запутанные задачи пятого класса. Я никогда не был особым математиком, но всё же не боялся этого предмета, а тут и он шел у меня с напряжением.

В процессе преодоления этих трудностей, часто чисто возрастных, заканчивалось и мое детство. Помню, как мне впервые в жизни сказали «вы». Это сделала именно в это время тетя Варя, торговашка на углу Жилианской и Владимирской семечками, леденцами и маковниками — так в Киеве назывались маленькие квадратички из мака — то ли с сахаром, то ли с медом. Очень тогда это подняло меня в моих глазах. Я почувствовал себя взрослым. Наступило отрочество.

Неожиданно я набрел сейчас на эту тему — на частную уличную торговлю на нашем углу. Этот «пережиток капитализма» то замирал там, то расцветал, но никогда не исчезал. Торговали чем угодно — леденцовыми петушками или рыбками на палочке, всякого рода и вида конфетами из переплавленного сахара, часто зеленью, в сезон — вареными пшенками (так на Юге называют початки кукурузы). По-видимому, даже еще в начале тридцатых это не возбранялось, продавцов никто не гнал. Потом начались на них гонения, и я видел, как, услышав крик: «Милиционер!» — торговки, подхватив юбки и корзины (обычно они сидели на корточках, скамеечках или кирпичач у своих корзин), спешно разбегались перед железной поступью пролетарской диктатуры. Видел я и как милиционер появлялся неожиданно и

сапогом расшвыривал корзины, и тогда несоциалистический элемент разбежался в панике, но все равно на ходу подхватывал корзины и спасал что можно из разбро- санного. Печально, что все — и дети и взрослые — относились к этим картинам как к естественным.

Торговками этими поначалу были исконно городские женщины (к ним относи- лась и тетя Варя), потом их ряды стали пополняться беглянками из деревни.

Стыдно вспомнить, но тогда мы не задумывались о том, кому они мешали, эти торговки, почему их надо было и по какому праву можно было преследовать и обрезать на ту полуподпольную, то ли собачью, то ли близкую к героической, но явно нелегкую жизнь, которую они вели. Их услугами пользовались все, всем они были удобны, в том числе и самым идейным, но к их судьбе все были брезгливо- безразличны — кто из идейности, кто и просто так. Через эти каналы входила в нас бесчеловечность. Потом она обратилась против всех. И то, что их гоняли, тоже. Гоняли-гоняли торговок — во имя доктрины, которая была не нужна даже тем, по чьим приказам гоняли, — а теперь и торговать нечем стало.

Впрочем, ряды торговок постепенно редели. К началу войны оставалась почти только одна тетя Варя, торговавшая то одним, то другим. Некоторое оживление в этом смысле я застал после войны, приехав в начале 1946 года в Киев на зимние каникулы. По-видимому, это были неизжитые последствия немецкой оккупации или результат послеоккупационной разрухи, когда начальству было не до того. Почетное место в этом воскресшем торговом ряду занимала все та же тетя Варя, постаревшая, но такая же острая на язык и активная. К 1951 году, когда я посетил родной город после ссылки, социализм был полностью восстановлен в правах — торговки исчезли.

Но на всех их появлениях и исчезновениях, в сущности, на всем их существова- нии, мое внимание долго не задерживалось. Я ведь вообще не был приучен уважать старания людей, направленные на личное (их и их семей) благополучие, — с детской прямолинейностью считал, что это, во-первых, отвлекает от общего дела, во-вторых, тем самым обедняет жизнь. К моему огорчению, все вокруг — и далекие и близкие, в том числе и мои родители, — занимались в основном только этим. Как-то сами собой у меня закрывались глаза на то, что давалось им это нелегко. Впрочем, последнее даже усиливало традиционное презрение к мешанству. Казалось, что это все дается им так тяжело чуть ли не по причине их социальной отсталости, а сам я рожден для жизни совсем иной. Такой, как в кино, где люди отдают все свое время исполнению долга, а бытовые вопросы у них то ли вообще отсутствуют, то ли их решает кто-то другой. Впрочем, в этом я бессознательно следовал большевистской традиции, с первых дней своей власти странно связавшей воедино — в своем и общем представлении — особую идейность и бескорыстное служение с особым снабжением. Так что оно даже начинало выглядеть как-то романтически. Правда, при Сталине, когда ореол романтичности утратила сама «идейность» (то, что теперь стали называть этим словом, романтизации не поддавалось), развеялся он и над особостью снабже- ния. Правда, в этом ореоле уже и не нуждались, поскольку той особости не стеснялись, а поедали недоступное другим с достоинством людей, чего-то в жизни добившихся. Но корни шли оттуда, из романтически-идейных времен.

Далеко, однако, завело меня воспоминание об уличных торговках. Но тогда я о них не думал — не до них было. Однако неблагоприятие — прежде всего уже упоминавшиеся ложь и внутреннюю пустоту происходящего — я ощущал. А раз так — следовало искать истину. И я погрузился в основу основ — в чтение основополож- ников марксизма. Это многих славный путь. О том, что мысль человечества этим не исчерпывается, я, пожалуй, знал, но основоположники, как мне тоже было известно, переработали это до меня, и мне не было смысла во всем копаться. Да и не готов я был к этому, и не было у мировой мысли ответа на мучившие меня вопросы. Они требовали не столько силы ума, сколько мужественной незамутненности сознания. Начал я, естественно, с самого, как я полагал, начала — с «Коммунистического манифеста» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Сначала в одиночку, а потом, как меня учили книжки о революционной борьбе, на которых я воспитывался, попытался организовать марксистский кружок. Не один, а со своими друзьями Люсиком и Гришей Шурманом (теперь он издал повесть под псевдонимом Шурмак). Мы тогда учились с Гришей в разных школах. С ним связаны мои первые шаги в, если можно так выразиться, детской литературной жизни. Следовательно, это было уже не в пятом классе — в пятом я еще в «свет» не выходил, — а позже.

Пригласили мы из обеих наших школ ребят, а главное, девушек (может, они и были одним из стимуляторов нашего революционного энтузиазма?). Провели время хорошо, не помню, прочли ли мы вместе хоть одну страничку «Манифеста», но говорили про многое. Потом решили немного вместе погулять по Саксаганского, и

там на нас напали хулиганы. Потом выяснилось, что они были подсланы нашим одноклассником Витей Ф., приревновавшим нас к одной из наших девушек, которую мы как раз презирали как дуру (дурой она не была — за глупость мы тогда принимали, как это часто бывает и у взрослых, отсутствие интеллектуальных интересов) и которую пригласили в наше высокоинтеллектуальное общество только из-за ее подруг. Недоразумение рассеялось, и больше столкновений не было. С миром, где девушек «завоевывают» таким образом, я столкнулся впервые. А он был кругом. Сам же этот Витька был вовсе не плохим парнем и хорошим товарищем. Так я думал и в школе, в этом утвердился, встретив его в Киеве после войны.

Это почти все, что я могу вспомнить о нашем кружке «Антисоветском», как написал бы в дознании следователь тогдашнего ГУБ НКВД⁶, если бы узнал об этом. Тем более что одним из его «организаторов», как я уже говорил, был сын «ныне разоблаченного врага народа» Люсик Шерешевский. Но, слава Богу, следователь об этом не узнал, а то у него был бы лишний грех на душе, а у некоторых из нас — сломанные жизни. Изучать марксизм можно и даже нужно было, но только в установленном порядке и в специально отведенных местах. С остальными же поступали, как с теми, кто в Отечественную, если рядом не было регулярных партизанских армий, незапланированно партизанил сам по себе. Дело, может быть, и патристическое, но, поскольку никто им этого не поручал, подозрительное — лучше посадить. Так же и нас могли посадить. Даже с большим основанием. И девочек наших, которые уж ни сном ни духом не были виноваты. Как теперь подумаю, какая каша могла завариться из-за меня, оторопь берет. А тогда — ничего...

Тогда мы обо всем этом часто и подолгу разговаривали вполне откровенно с Люсином, Гришей и со многими другими. Конечно, доверяли друг другу. Да и вообще товарищам. Забегая вперед могу сказать, что это доверие никогда меня не обмануло. Распространенное представление, что в те или какие-либо последующие годы из трех собеседников один обязательно был предатель, моим опытом не подтверждается. Посадили меня в 1947 году отнюдь не из-за предательства. Но это к слову.

И вовсе не все время мы себя чувствовали в конфронтации с режимом. Чаше мы, как и многие другие, хотели не столько изобличить товарища Сталина, сколько понять его правоту. Нам не могло прийти в голову, что это недостижимо и наказуемо. Тяжесть ситуации, в которой оказалась страна, мы (во всяком случае, я) все равно до конца представить себе не могли. Действительность была страшней и нелепей всего, что о ней можно было подумать. Но что мы вообще тогда понимали в жизни? Мы только чувствовали ложь и пустоту всепроникающей официальной пропаганды, которая постепенно становилась отравленной и душной средой нашего обитания. Колоссальной тратой национальных умственных и нравственных сил было даже противостояние этой атмосфере, а получалось так, что и до него надо было дорасти. А ведь возникали и колебания.

О том, как плясало наше мировоззрение, свидетельствует следующий почти забытый, но теперь внезапно всплывший в памяти эпизод. Однажды мы с Гришей познакомились где-то с женщиной среднего возраста. Ни имени ее, ни профессии я не помню⁷. Она была родом из Демиевки, знала и почитала моего дядю Иосифа и, наверно, поэтому отнеслась к нам с доверием — вылила на нас все, что ее переполняло. (Что характерно — она была большевичкой, а дядя ортодоксальный евреем, авторитет его на еврейской Демиевке был вполне «старорежимный», но вот — действовал! Подобное я наблюдал и у других малых народов.) То, что ее переполняло — что Сталин уничтожает лучших сынов революции и партии, — по нормальным меркам не отличалось ни особой мудростью, ни даже бескорыстием: у нее среди этих «лучших» были близкие. Это был просто взрыв оскорбленного революционного сознания, отнюдь не осознавшего своих собственных грехов и преступлений. Но тогда для того, чтоб не то что говорить, а даже подумать такое, необходимо было внутреннее мужество. Взрослые люди, с которыми мы делились своими сомнениями — чаще всего это были неплохие люди, — обычно снисходительно и дасково объясняли нам наши «наивные заблуждения». Были ли они искренни? Как понимать это слово? Они искренне говорили и защищали то, что думали. Весь вопрос, думали ли они искренне и думали ли что-нибудь по этому поводу вообще (на некоторых вся

⁶ ГУБ НКВД — Главное управление государственной безопасности НКВД, которое, собственно, и прodelьвало все то, с чем связано представление о тогдашнем НКВД. Отдельным наркоматом, министерством или комитетом ГБ стала потом. Существа дела эти «реформы» не меняли.

⁷ Г. Шурмак недавно напомнил мне, что она была женой репрессированного и работала для незаметности кастеляншей в том же детском саду, где была воспитательницей его мать. На даче этого детского сада мы и познакомились с ней.

эта проблематика свалилась неожиданно), но все равно они точно знали, что мы ошибаемся. Многие ведь и не догадывались, что должны об этом думать, — думать для них означало уяснять то, чему их учат. Теперь я понимаю, что вообще не ко всем надо предъявлять такие требования, что люди могут быть хороши и без мнения по многим поводам, но, как ни странно для того времени, нам непрерывно внушалось, что сознательным должен быть каждый. Конечно, термин «сознательность» понимался внушавшими прямо противоположно его значению, но мы понимали его буквально. И требовали сознательности от всех. И, касаясь этих тем, обычно налетали на конфуз. Люди не думали или не хотели думать, но — убеждали. И мы начинали сомневаться в собственных чувствах и элементарной логике...

И вдруг взрослый человек разделяет наши самые смелые мысли и предположения! Радость нашего общения была безграничной. Это был пир духа. Договорились до того, что следует гораздо шире распространять наши взгляды, чуть ли не организацию создать; чуть ли не листовки печатать. Расстались вполне восхищенные друг другом.

Но потом у нас начался очередной перелом во взглядах. И поскольку — слава Богу, только теоретически — полутонов в духе времени мы не понимали, то долг как будто бы велел сообщить об этой женщине куда надо. Но делать этого нам совершенно не хотелось. Почему? Конечно, это можно объяснить воспитанием — тем, что наши родители были порядочными людьми. Но, с другой стороны, родителей мы считали представителями то ли мелкобуржуазной интеллигенции, то ли мещанства и вроде бы следовать их «отсталой» морали не стремились. Откровениям своим нам изменять очень не хотелось, но доносить почему-то не хотелось тоже. Мы и не собирались. Только долго и мучительно подыскивали аргументы, почему в этом нет никакой необходимости.

На помощь нам пришла сама эта женщина. Словно почуяв неладное, она нашла возможность снова встретиться с нами и мимоходом сказала, что все это, конечно, досужие разговоры и делать нам ничего не надо. Мы с облегчением согласились и расстались навсегда, опять довольные друг другом. Раз делать ничего не надо, то и доносить не на что. Теперь уж мы могли не доносить как бы и не против совести. Такое тогда могло происходить с человеческой психикой, такими противоестественными могли быть «муки совести!» Самое печальное то, что со Сталиным действительно надо было бороться, но этого никто не делал. А при нашей тогдашней идеологии это было и бессмысленно. Но, видимо, в изнасилованной стране к этому не был готов никто.

К тому времени — ибо описанный выше эпизод имел место несколько позже, чем шестой класс, на переходе в который прервалась последовательность моего жизнеописания, — уже вошел в мою жизнь Маяковский, и весь наш бунт при его помощи постепенно сублимировался в ненависть к мещанству, в чем, как нам казалось, мы выступали с властью заодно. И это тоже было не так. Но биографически это уже больше относится к другим коллизиям — к моему, на этот раз серьезному и окончательному, увлечению поэзией, которое началось тоже именно в шестом классе.

НАЧАЛО

В дополнение к «Пионерской правде» и к республиканской пионерской газете на украинском языке (к сожалению, забыл название) в Киеве появилась всеукраинская пионерская газета на русском языке «Юный пионер» (в Киеве произносилось «пионэр»). Газета эта была мне приятна тем, что как бы стояла ближе к жизни киевских школьников. Там чаще появлялись номера знакомых школ, названия улиц и т. д. Но хотя в ней, как и в «Пионерской правде», печатались заметки и даже стихи самых настоящих школьников, это никак не ассоциировалось с тем, что там могу напечататься и я. И даже когда там были напечатаны какие-то стихи Люсика, ничего для меня не изменилось. Все равно так складно я писать не умел. Мистика печатного слова оставалась. Но стихи, из которых ни одного не помню (да их и нельзя было запомнить), я писать продолжал, хотя читать другим свои стихи все еще так и не начинал.

К тому времени мое знакомство с поэзией ограничивалось несколькими общеизвестными стихами Пушкина и Лермонтова. Попадались мне на глаза и отдельные, в обилии издававшиеся тогда к юбилеям сборнички стихов, но внимания на себе не задерживали. Поэзии я еще по-прежнему не понимал — даже Маяковского, которого я принял и полюбил раньше, чем Пушкина. Последнее может многих удивить. Но это неудивительно — он, как ни странно, намного проще. Должен сказать, что классическая русская поэзия вообще открылась мне только после современной — в основном двадцатых годов — при всей относительности последней. Подозреваю, что это нормально — вход в поэзию, особенно для варваров, каким был в этом смысле я, лежит чаще всего через современную поэзию. Конечно, есть и исключения.

Например, М. А. Булгаков, всю жизнь любивший и понимавший Пушкина, а поэзию XX века и на дух не принимавший. Но у него это было результатом любви и сознательного выбора, а я был просто неграмотен.

Но однажды я написал стихи менее плохие, чем обычно, и кто-то из моих друзей, не помню точно, Гриша или Люсик, предложил мне пойти с ним на занятие литкружка при газете «Юный пионер».

Прежде чем приступать к дальнейшему рассказу, хочу объяснить одну особенность глав, описывающих мою киевскую юность. Особенность эта — превалирование еврейских имен. Объясняется это вовсе не принципиальным отбором знакомых и друзей, а тем, что я говорил и писал по-русски, а по-русски в Киеве в это время говорили в основном евреи. Учился я в русской школе, посещал русские литкружки и т. д.

Надо ли говорить, что в кружке меня в пух и прах разгромили: и стихи, и пьесы, и что-то еще — писал я тогда все. Но я не огорчился — литературских амбиций у меня еще не было. Все, что там говорилось, вероятно, было наивно, громившие меня имели весьма приблизительное представление о литературном мастерстве, но в отличие от меня они что-то об этом слышали, знали, что существует такая материя, что все тут не так просто, как кажется. И я впервые начал понимать, что действительно все тут не так просто, как кажется. Руководила кружком Ариадна Григорьевна Давиденко (будущий писатель-фантаст А. Громова, это ее фамилия по мужу), с которой мы вскоре подружались на всю жизнь. Тогда она была молода, немногим старше нас, но уже окончила университет. Была умна, образованна, красива (все эти качества оставались при ней до конца). И была она уже тогда человеком явно литературным. После войны она жила в Москве.

В те же дни я с Люсиком — кажется, по каким-то его делам — опять побывал в редакции, где познакомился с заведующей отделом литературы (или культуры) Ниной Харитоновной Разумовской. Оба эти посещения редакции произвели на меня глубочайшее впечатление. Впервые в жизни я оказался там, где что-то печатают, на моих глазах делалась газета. Я озирался по сторонам, но ничего чудесного не видел. Входили и выходили какие-то люди вида, в общем, вполне ординарного, небожительство и не пахло. Сегодня, с высоты своего долгого опыта, я понимаю, что такое впечатление таит в себе опасный соблазн. Попадая в круги журналистской или литературной молодежи, в мир редакций, где достаточно много людей вполне заурядных, но среди которых на равных бродят и люди отнюдь не заурядные, а иногда и уже приобретшие известность, случайный человек быстро проникается убеждением, что не боги горшки обжигают. И сам смело принимается «обжигать». Но по отношению к литературе, искусству и подлинной журналистике утверждение это ложное. Если он не поймет этого вовремя — его жизнь разбита. Он или будет просто несчастен и жалок, или вдобавок озлобится, а то и просто начнет — конечно, в таком обществе, как наше, — проникать в литературу бандитскими способами. Впрочем, и от этого он не станет счастливым. Но тогда мне такие мысли в голову не приходили. Еще и потому, что на моем пути встретились такие люди, как Ариадна Григорьевна и Нина Харитоновна.

Нина Харитоновна мне понравилась. Несколько грузноватая женщина (как я потом узнал, она была тогда уже очень нездорова) лет сорока, с большими серыми умными и добрыми глазами, она создавала вокруг себя то, что я сегодня назвал бы атмосферой культуры. Как ни странно, она с первого раза почему-то отнеслась ко мне, к тому, что я ей показал, очень внимательно и серьезно — не думаю, что мои тогдашние стихи давали для этого хоть какие-то основания. Да она, собственно, и не говорила о них ничего хорошего, но сказала, что я, наверно, когда-нибудь — будет время — напишу что-нибудь очень стоящее. Не сейчас, а когда-нибудь. Это был первый человек, так меня воспринявший. Что она тогда почувствовала во мне и моих стихах? Может быть, то, что я почти ничего не писал попусту — стремился духовно самоопределиться (тогда — в романтике). Придало ли это мне тогда уверенности? Не знаю. Наверно, да. Но важнее всего для меня было то, что меня вообще не отвергли — я переходил в другую культурную среду, нащупывал другой мир, свой, — практически это уже начиналась юность.

Надо ли говорить, что и в детстве и в отрочестве я много читал. Ходил в детскую библиотеку имени Коцюбинского. Там работали интеллигентные женщины, давали мне читать с выбором. Но вообще мое чтение было беспорядочным. В основном любил книги про гражданскую войну, революцию и путешествия, но в поисках этого читал все подряд. Обожаю я ходить в самый близкий к нашему дому книжно-кафедральный магазин и подолгу простаивал у прилавка, мучительно рассматривая книги. Муки мои состояли в том, что у меня почти не было денег, буквально копейки. Но, как ни странно, и на копейки можно было тогда купить что-нибудь хорошее, издававшееся сериями типа «Школьная библиотека». И я покупал. Сборнички Пушкина, Гейне, «Гобсека» Бальзака, даже «Простую душу» Флобера (видимо, потому, что там шла речь о представительнице народа) и многое другое, не менее

ценное, было мной куплено именно там. Потом я стал покупать там и сборники современных поэтов, которые тоже, как правило, стоили очень дешево. Этот магазин неоднократно доставлял мне неожиданную радость, и я благодарен людям, которые в то страшное время находили для себя отдушину, занимаясь выпуском этих книг, пробывая под любыми предлогами и печатая, что можно, и таким образом сея свет.

Книгоцеем я был давно. Но теперь я начал запоем читать новых поэтов. И конечно, писать — очень скоро писать совсем по-другому. Но об этом позже, сейчас о чтении. Прежде всего, как знает читатель, я стал запоем читать Маяковского, кумира тогдашней молодежи. Он, а не Пушкин или Лермонтов, был моей первой любовью в поэзии. Только вот в поэзии ли? Забегая вперед отвечу: дело, по-видимому, было не только в поэзии, но все же и в ней.

Впрочем, Маяковский занял слишком большое место в моей жизни, чтобы упомянуть о нем здесь только мимоходом. Тем более что дело не ограничивается мной. Громадное место он занимает во внутренней биографии нескольких поколений нашей молодежи (не только поэтической, а вообще интеллигентной). Так что говорить о нем, о его роли и месте, которое он занимал в жизни и поэзии, придется более подробно. Хотя то, что я скажу, никак не претендует на анализ и оценку его творчества. Это больше обо мне, о нас, чем о нем. Но — в связи с ним.

МАЯКОВСКИЙ И НАША ЖИЗНЬ

(вставное эссе)

Я давно уже не поклонник этого поэта, и претензии мои к нему отнюдь не «гражданские» (такие людям моего поколения лучше предъявлять к самим себе), а глубинно эстетические, общекультурные. В чем-то они смыкаются с «мещанской» оппозицией ему, которая существовала всегда и которая в юности только усиливала мое тяготение к нему. В чем-то совсем не смыкаются. Конечно, я уже давно не презираю «мещанский» здравый смысл, не считаю даже, что он вовсе чужд или противопоставлен всему поэтическому, но и не считаю, конечно, что поэтическое сводится к нему. Я ненавижу все попытки подавить авторитетом некоего высокого вкуса (часто только считающегося таковым) непосредственность читательского восприятия, естественность читательской потребности. И я не считаю читательским восприятием человека, который случайно заглянул в стихи, ничего в них с первого раза не понял и обвиняет в этом не себя, а автора.

С Маяковским, конечно, все было непросто, скорей запутано. Трудности, которые при чтении его стихов испытывал рядовой читатель, не были трудностями обогащающими, необходимыми. Они часто представляли собой неоправданное насилие над читателем. И опять — Маяковский к этому насилью, безусловно, не сводится. А в то же время оно органическая часть его поэтического мировоззрения, которое позволяло ему идти на поводу у самоутверждения.

В этом смысле большое впечатление на меня произвела прочитанная в середине восьмидесятых книга Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского», особенно ее первая часть, о дореволюционном творчестве поэта. Там показывается, как это самоутверждение мешает читательской самоидентификации с автором, другими словами, сопереживанию, сочувствию. Это значит, что читателю для того, чтоб воспринять эти стихи, надо через что-то в себе переступить. Безусловно, эта демонстративная легализация самоутверждения (а вовсе не служение «атакующему классу») наложила свой глубинный (и неприятный) отпечаток на дальнейшее развитие русской поэзии.

Но я пишу сейчас не о том, каким я вижу Маяковского сегодня, а об его роли в нашей тогдашней жизни. Странно — это было время, когда «лучшего и талантливейшего» «насаждали, как картошку при Екатерине» (Пастернак), но при этом он был для нас единственно доступным глотком воздуха. Может быть, даже не очень свежего, но воздуха, а не суррогата, от которого нас потихоньку поташнивало — независимо от того, сознавали мы это или нет.

Прежде всего он был для нас отголоском предыдущей, послереволюционной эпохи и залогом того, что она продолжается и сегодня. Тем более что ведь сам Сталин его отметил. Тем самым, кстати (без всякой, впрочем, своей вины), поэт облегчал нам конформистские выходы. Но главное, чем он был привлекателен для нас, это его тотальный антимищанский пафос. Под этим знаком воспринималось и его дореволюционное творчество, и его приятие революции, и все последующее. От мещанского царства, таким образом, защищалась и любовь. «Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, / Потому что нет мне без него любви». Эти строчки сыграли, как ни странно, большую роль в развитии моих представлений о природе поэзии и о личности поэта. Да и личности вообще. При всей общественной направленности

моих интересов, становилось ясно, что в поэзии любые общественные чувства должны иметь личную (точней, личностную) подоплеку. Надо сказать, что потом, когда я стал понимать Пастернака, это было блестяще подкреплено и его опытом. «Нет мне без него любви» — означало, что поэтому нет любви в этом негармоническом мире, где человек зависим от «быта», от имущественных отношений, от всякой прозы. Эта романтическая ненависть к прозе была тогда свойственна не только Маяковскому и заводила порой очень далеко. «Я ненавижу мир, где женщины рожают, / Где скверных пьяниц рвет, где дважды два не пять», — писал в начале двадцатых молодой Павел Антокольский: роды женщин и рвота пьяниц — в одном антипозитическом ряду. В тогдашней молодой литературе разного качества очень презирались кухни, пеленки и все подобное, отрывавшее, по мнению одних, от общественной жизни, по мнению других — от поэтичности. Впрочем, в представлении многих это совпадало. Даже Пастернаку, которому по складу личности и дарования никак вроде бы не пристало отвращаться от прозы жизни, и тому показалось тогда адом место, «где женщин в детстве мучат тети, / А в браке дети тербят». Кстати, откуда взялись «тети»? Присматривали за девушками? Другими словами, делали то же, что потом иным способом дети: мешали женщине выполнять назначение более возвышенное — беспрепятственно окрылять?

В самом этом желании вечной гармонии, радости и высоты нет для поэта ничего зазорного. Оно, можно сказать, подпочва поэзии, причина боли, романтики трагической несовместимости с бытием. Но никогда это стремление к гармонии не выливалось в столь конкретные требования к бытию, выговоров ему. Это было в духе времени, когда люди стали «штурмовать небо», когда требование гармонии претворилось в утопические планы, когда невозможного не стало, ибо все жили для невозможного, а сомневающихся в этом считали низменными и, возмущившись, порой даже убивали сгоряча. Гармония стала утопией, утопия — критерием оценки жизни и требований к ней...

Так что фраза Маяковского о том, что без коммунизма ему нет любви, сегодня мудрой мне не кажется и сочувствия не вызывает. На свете жило и живет много поэтов, которым «была любовь» и без коммунизма, которые переживали ее драму в этом негармоническом мире. Более того, именно в противостоянии дисгармонической действительности особенно остро ощущалось обаяние поэзии.

Все это так. Но тогда только таким образом я мог получить представление о необходимости гармонии. Да, здесь она подменялась и огрублялась утопией, то есть реальным стремлением ее воплощения в жизни, но ведь очень много было на свете стихов, где и в подтексте не было ни гармонии, ни ее заменителя, а просто рассказывалось о перипетиях личной или общественной жизни. Для меня неудивительно, что на коммунизм клевали иногда подлинные поэтические личности во всем мире (Назым Хикмет, Поль Элюар) — заложенная в них тяга к гармонии соблазнялась утопией. Кстати, в творчестве эта тяга к гармонии могла оставаться самой собой. Как ни странно, соблазн коммунизма (конечно, если коммунисты не у власти) не всегда противоречит творчеству. Но все равно ведет к трагедии, к разладу, потому что гармония — естественная потребность, а утопия — ложное обещание, обман. И все-таки место гармонии (хоть я не знал еще этого термина) в поэзии я начал понимать на творчестве Маяковского. Через него мне потом открылись и другие поэты, включая Пушкина. Не говоря уж о том, что именно в связи с ним я вышел на Блока, Ахматову и других, больших и малых, в том числе и «революционно попутнических» поэтов XX века. Но это уже не его заслуга — другие выходы для меня, провинциального мальчишка из средней семьи, были если не просто закрыты, то плохо освещены, не видны. В связи с Маяковским всплывали их имена и строки, вспыхивал интерес.

У его популярности была еще одна причина, отчасти связанная со специфическим для того времени восприятием антимещанского пафоса, о котором уже говорилось. Но речь идет не о глубинном бунте против нормального бытия, а о самом наглядном неприятии «советского мещанина», к которому глубинный бунт при желании только подверстывался как исток. Этого мещанина мы ненавидели, хотя принимали за него нечто другое.

Надо сказать, что и тут мы хватали лишку. Насмешка над советским обывателем, захваченным врасплох идейной властью, определение ценности его личности и даже ее права на жизнь, исходящее из требований, которые представители этой власти вправе (и обязаны) были бы предъявлять только к самим себе, кажется мне сегодня противоестественным хамством. Кстати, как и вечные жалобы «идейных» на «примазавшихся» (слова-то какие инфантильные, Господи!) — дескать, все дурное от них. Если кто-то захватил и подчинил своей идее всю жизнь страны, не оставив никому никаких дорог кроме как с ним, если практически вынудил каждого жителя как бы оправдывать свое право на существование не только обязательной лояльностью, но

и тем, что его жизнь полезна этой, не своей, «идее», то этот «кто-то» не вправе жаловаться, что к нему «примазываются». Какими бы ни были эти «примазавшиеся» и как бы мы к ним ни относились, в том, что они вынуждены были к нему «примазываться», виноват он сам. А поскольку в большинстве случаев обыватель жил и чувствовал не совсем так, как выходило по «идее», достигался еще один, может быть, поначалу побочный, но оказавшийся полезным для власти эффект: этот обыватель всегда чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. Таков «самоубийца» Н. Эрдмана, таковы герои М. Зощенко. Все эти соображения я привожу здесь только для того, чтобы задним числом не участвовать в этой позорной травле обывателя.

Но Маяковскому мы были благодарны именно за нее. Обыватель, мелкий буржуа, бездуховное и безыдейное «мурло мещанина», — это было именно то, что погубило революцию и в то же время в отрицании чего, как мы были уверены, мы все были заодно с властью. Другими словами, злом, против которого можно было выступать (и к которому, что самое главное, можно было легально сводить все, что нам не нравилось). Это было нам очень нужно — особенно когда мы диалектически переходили на сторону власти...

Правда, мы и тут ошибались. Антимещанский пафос интересовал предыдущую формацию власти — Бухарина, Луначарского, Троцкого, вообще «революционеров». Они требовали идейности, а безыдейность ассоциировалась с мещанством. Инфантильный термин «примазавшиеся» — слово из их лексикона. Сталин же, при котором мы жили, не только этому антимещанскому пафосу не симпатизировал (конечно, отнюдь не из тех соображений, из которых исхожу сегодня я), но относился к нему враждебно. И, надо сказать, имел для этого все основания. Он рассуждал повсюду других людей, никакими идеями не обремененных, часто имевших весьма смутное представление о том, что такое идейность, но дисциплинированно готовых усвоить любое толкование и «выполнить любое задание». Из таких и формировался его аппарат — в центре и на местах, — его номенклатура. А ведь они-то, с точки зрения ортодоксального большевизма, в массе и должны считаться «безыдейными», «мещанами» и даже «примазавшимися».

В принципе такая «верноподданность» вещь нормальная для чиновника, а чиновники нужны любому нормальному государству. Но беда в том, что сталинское государство не было нормальным, что «чиновники» эти обязаны были быть стражами «идейности», что очень часто они были случайными, а то и малограмотными людьми и что проводить они должны были странные, чреватые страшными последствиями мероприятия. И «идеал» был приспособлен к уровню их понимания. Конечно, в нашем антимещанском пафосе было отрицание и этого «идеала» и его носителей, в сущности — номенклатуры. Даже когда мы оправдывали Сталина, эти люди мыслились как безыдейные мещане, пробравшиеся на важные посты. Но Сталин лучше знал, как и благодаря кому они «пробрались». Именно на таких он и ставил. Так что неудивительно, что он подверг разгрому фильм по сценарию известного тогда, обласканного самим Горьким писателя Александра Авдеенко о комсомольском работнике-мещанине «Закон жизни». С той поры номенклатурные и партийные работники должны были в фильмах и книгах выглядеть только положительно. И вообще борьба с мещанством не одобрялась. У нас не было больше мещан. То есть были, но в отдельных случаях.

Но Маяковский оставался «лучшим и талантливейшим», а у него антимещанский пафос присутствовал в полной мере. Даже зачатки номенклатуры он заметил (стихотворение «Помпадур», пьеса «Баня») и говорил об этом прямо, хоть и с революционных позиций. Но они тогда были для меня естественны.

И каковы бы ни были мои сегодняшние претензии к нему, в поэзии он был очень цельной фигурой и моей первой любовью. Конечно, он очень талантлив. И неудивительно, что через него мне открылись и многие другие поэты, часто на него совсем не похожие. Он был живым воплощением противостояния поэзии «быту», в том числе и тогдашнему, которому надо было противостоять. И мы за него хватались как за соломинку. То, что он был порой трудночитаем, нас не отталкивало — это мещане любят гладкопись, а нам в ее отсутствии открывается высокое причастие. Так чувствовал я, и не только я. Я ему подражал и даже старался — и в стихах и в жизни — вести себя скандально, хоть это и противоречит моей природе. Но зато — против мещанства. Соблазны далекой, запутавшейся (да и специально запутываемой) юности. Такую роль сыграл в нашей жизни Маяковский. Он нас возвращал к бунтовщицким истокам — и к культуре, располагал к непримиримости — и к конформизму, к правде — и к обману. И все-таки к какому-то духовному самосознанию. Потом оно у многих изменилось, но для того, чтобы измениться, оно должно было быть порождено, сохраниться и утвердиться, в то время как вся мощь сталинского оболванивания была направлена на его исчезновение. И в том, что оно не исчезло,

есть и его заслуга. Волей судеб? Конечно. Но для того, чтоб соответствовать этой воле судеб, надо было что-то и иметь. И сквозь все мое сегодняшнее неприятие его творческого направления я смиренно и с благодарностью признаю: что-то в нем было и есть. И это «что-то» — немалое.

* * *

Но все эти коллизии с Маяковским были потом — вскоре, но потом, — а тогда я только начал его читать. Правда, все, что было со мной до войны, было «вскоре» — срок был больно короткий. Ведь война началась уже через два с половиной года после того, как я впервые в тринадцать лет, шестиклассником, пришел на занятие литкружка, началась, когда мне было неполных шестнадцать и я перешел в девятый класс. Но очень многое вместились в эти два с половиной года, многое произошло во мне, со мной и страной.

За эти годы я навсегда ушел из жизни двора. Участие мое в жизни семьи тоже теперь сводилось к минимуму. Все мое время и внимание, кроме школы, занимали стихи, книги и разговоры с товарищами. Товарищами по школе и по литкружку. В сущности, это было одно целое, оно расширялось и перемешивалось. Я жил теперь в городе, где у меня появлялось все больше и больше знакомых и друзей, с которыми разговаривал о том, что волновало. Становился шире круг моих мыслей. Во-первых, потому, что я становился взрослей, во-вторых, к моим прежним размышлениям прибавились размышления о поэзии. Разумеется, мои тогдашние «мнения», как общественные, так и эстетические, были еще очень далеки от моего сегодняшнего понимания, но они у меня уже были. Даже о поэзии.

Впрочем, хотя кружок произвел на меня колоссальное впечатление, поначалу я по-прежнему не надеялся, что стану поэтом. Но стихи начал писать с каким-то невероятным упорством — в школе и дома. Пробовал себя и в других жанрах, писал еще рассказы и пьесы — из революционной жизни, конечно. Впрочем, и о шпионах тоже — как было в тринадцать лет обойти эту увлекательную и насущную тему! Написанное тасил в кружок, где оно неизменно обручивалось. Но это меня не останавливало — к следующему занятию кружка я снова что-нибудь приносил, и все повторялось. Но кое-что и менялось. Ведь обручивали меня с самых «высокопрофессиональных» позиций, какие только и могут быть у неофитов. Каждый, кто впервые хотя бы на отдалении сталкивался с литературными кругами или кружками, немедленно становится неофитом профессионализма, начинает горделиво понимать, «как это сделано». Это может быть и на пользу, если человеку есть что сказать и если он долго на этом не задерживается. Или безвредно — если человек в юности побалуется, а потом бросит. Это ведь литературная грамота. Процесс овладения ею в чем-то сходен с процессом овладения просто грамотой. Сначала ребенок не умеет писать вообще, потом, научившись, пишет везде, где удастся, и только в конце концов — там, где надо. С той только разницей, что до этого последнего этапа литературной грамотности собираются немногие. Жалко тех, для кого «как сделано?» останется высшей, и последней, мудростью или лучшим воспоминанием, что за этим так и не вспоминает о более элементарных вопросах — «что?» и «зачем?».

Но если на этапе литературной грамотности особенно не задерживаться, он необходим. Мне тогда, во всяком случае, он пошел на пользу. Рассуждения литкружковцев не могли быть особенно квалифицированы, то, что говорила Адочка (так мы называли между собой нашу руководительницу Ариадну Григорьевну), было вполне квалифицированно, но я поначалу ее мыслей до конца — по малограмотности — еще не понимал. Однако все вместе это открыло мне одно — что тут есть о чем думать. И этого оказалось достаточно. Развиваться я стал с того времени очень быстро. Если раньше я не понимал, что поэма одного из моих друзей представляет собой подражание «Думе про Опанаса» Эдуарда Багрицкого (до этого я слышал однажды по радио «Смерть пионерки», но не задумался над тем, кто ее автор), то теперь я любил Багрицкого и оперировал его именем вполне свободно⁸. Очень высоко

⁸ Не знаю, будет ли у меня дальше повод высказаться по поводу Багрицкого. Тогдашнее мое отношение к нему изменилось на резко критическое давно, хоть и много позже описываемого времени. И должен сказать прямо: какими бы измерениями ни руководствовались его нынешние критики, как бы ни использовали его в антисемитской пропаганде, с большинством их конкретных констатаций я согласен (но не с общими выводами, конечно). Не согласен я только с тем, что они говорят о «Думе». Я считаю, что против воли автора (то есть по воле его действительного, а не внушенного себе отношения к вещам) сочувствие поэмы не на стороне комиссара Иосифа Когана — это не больше чем официальный, ходульный образ тех лет (на его стороне в лучшем случае «историческая необходимость»). Оно — на стороне Опанаса, которого автор вроде бы и осуждает, и его живой трагедии.

котировался в моих глазах Асеев. Как друг Маяковского и как поэт антимещанского пафоса. Импонировала сама его формула приятия революции: «Да здравствует революция, / Прогнавшая власть стариков!» Впрочем, в те времена эти стихи Асеева, хотя сам он тогда был не только в славе, но и в чести, уже не печатались. Была такая категория произведений двадцатых годов — они не преследовались, но по возможности не печатались, а когда печатались (совсем их не печатать было нельзя — некоторые из них считались советской классикой), то искаженными, приглаженными, нафиксатуаренными. В них не было никакой политической взрывчатости, но они просто не соответствовали эмоциональной атмосфере наступившей эпохи, напоминали отмененные времена, которые поэтому тем, кто их не знал, начинали казаться романтическими и чистыми. Отсюда и тяга к революционной, «попутнической» литературе двадцатых годов, к ее «настоящим» текстам.

В магазине, который уже здесь упоминался, я набрел не только на Асеева (небольшой сборник избранных стихотворений «Наша сила»), но и на неизвестного мне тогда Александра Прокофьева. В шестидесятых годах среди ленинградской (нелитературной, правда) интеллигенции о Прокофьеве как о поэте судили по его поведению в должности главы ленинградской писательской организации, поведению, что говорить, очень непривлекательному, и поэтому считали чуть ли не бездарью, а он если уж чем точно не был, так это бездарью. Даже тогда, в момент наибольшего своего падения, когда он («секретарским» образом) печатал целые подборки невыразительных стихов, в них — пусть одно на десять — попадались стихи подлинные, первозданные. А когда я впервые прочел его предвосный сборник, я просто был ошеломлен и поражен яркостью его стихов. Признаюсь сразу — Прокофьев никогда не относился к числу моих любимых поэтов. Его внутренний мир не требовал самоуглубленного лиризма, необходимого мне для полной самоидентификации с автором. Но он мне всегда нравился, всегда поражал и радовал каким-то лихим упоением самим процессом жизни, яркостью восприятия. Особенно при первом чтении. К такому я не привык и такого не ждал. Это противоречило всем моим представлениям о поэзии. Но это было поэзией, в этом была сила поэзии. Я ее чувствовал, хоть не знал, почему это так.

Читал я и многих других поэтов. Старых тоже. Лермонтова, естественно (болезнь возраста, хоть у некоторых этот возраст навсегда), предпочитал Пушкину. Пушкина, следуя Маяковскому, «сбрасывал с парохода современности». Это мне давалось тем легче, что я искренне верил, что в отличие от Лермонтова, у которого глубокие чувства, у Пушкина одна только гладкопись. Но потом это прошло — Пушкин все равно как-то исподволь проникал в меня и проники.

Читал я и Ярослава Смелякова. Его «Любка» потрясала меня, как и многих, своим хотя и комсомольским по сюжету, но все же неприкрытым лиризмом. Из-за чего она и считалась упадочнической, особенно в годы первой пятилетки, энтузиастом которой Смеляков оставался до последних дней. Тем не менее на ее исходе он был арестован — еще не НКВД, а славными органами ОГПУ (другими словами, до вакханалии тридцать седьмого — может, поэтому он и не был объявлен «врагом народа») — за какую-то реальную или приписанную выходку (точно, в чем было дело, не знаю⁹) и в описываемое время заканчивал свой первый лагерный срок. Пока он сидел, сменились эпохи, посадили тех, кто его сажал (конечно, не за то, что они это сделали), а он все сидел. Но по окончании срока он вернулся в Москву. Это было уже перед войной, перед новым кругом его мытарств, через год или два после моего знакомства с его стихами.

После того как в мою жизнь вошел литкружок, время для меня сорвалось с места и полетело. Скоро я уже не только читал стихи, но и писать их стал иначе, чем писал до этого, начал серьезней относиться к своему творчеству — стихи стали четче и определенной. И понемногу я начинал чувствовать силу. Да и другие стали говорить обо мне серьезней.

Тогда я написал первое запомнившееся мне стихотворение, представляющее собой хоть и юношескую, наивную, но все же собственную реакцию на жизнь:

Так спокон веку повелось —
 Что умным в жизни счастья мало.
 А дураку — где взгляд ни брось,
 Судьба повсюду помогала.

Я разгадал секрет. И вот
 Я говорю: к нам счастье строго
 Не потому, что не везет,
 А потому, что надо много.

⁹ Подозреваю, что немалую роль в его аресте сыграло и «социальное происхождение». В эмиграции я узнал, что у его отца до революции где-то не то в Гродно, не то в Лиде был собственный пивной завод.

Стихотворение это, написанное в шестом классе, конечно, юношеское, неумелое. В нем «где» вместо «куда», «помогала» вместо «помогает», словесные неточности — вроде выражения «к нам счастье строго». Может удивить и нескромность отнесения «нас» (то есть и самого себя) к разряду заведомо умных. В принципе, как «ученик Маяковского», я тогда на такое был способен, но не поручусь, что и эта нескромность не результат неумелости. По-видимому, имеются в виду не «умные», а «мыслящие», «выскакивающие града». Впрочем, мне тогда понятия «умный» и «мыслящий» казались тождеством. Помню и такое четверостишие, где та же путаница:

О том, что нас мало, что будет беда,
 Жужжит мне дурак везде уже.
 Но сколько нас бродит по всем городам
 И влюбляется в умных девушек.

В этом четверостишии больше самосознания, ощущения поколения и даже четкости, но есть громоздкость, и всего стихотворения я не помню, так что приведенное раньше восьмистишие я так или иначе считаю первым своим стихотворением.

Но все больше погружаясь в занятия поэзией, я, так же как и все мои сверстники, продолжал учиться в школе. Большого противоречия между школой и своим увлечением я долго не замечал. У нас была хорошая учительница по языку и литературе Мария Ивановна Семенович. Потом, в конце моего пребывания в этой школе, у меня с ней вышел конфликт, но главного он не меняет. Она вполне соответствовала детскому представлению о том, что учитель литературы должен быть не только грамотным, но и культурным человеком, любящим и понимающим литературу. Она и сама писала стихи. Сднажды, уступая нашей с Люсиком просьбе, даже прочла нам их в пустом классе, и они нам понравились. Вроде, если мне не изменяет память, в них тоже была романтическая печаль по «весне военного коммунизма». Во всяком случае, они были вполне современны по интонации и поэтике. Так что особого противоречия между школьной и нешкольной литературой я чувствовать не мог.

Начались влюбленности. Мы с Гришей и еще несколько ребят были влюблены в его одноклассницу Тамару. А она «любила» не нас. Все это не мешало нам всем дружить самой нежной дружбой. Но все перипетии наших чувств отражались в стихах. Помню строки из забытого стихотворения:

Завтра — контрольная. Завтра — гроза.
 Выучил я до нормы...
 Но если из книги глядят глаза
 Вместо химических формул!

Напоминаю: все это происходило во второй половине тридцатых годов. Несмотря на все мои подозрения насчет преданной Сталиным революции и уничтожения настоящих революционеров, а также насчет безыдейности комсомольских работников, я до конца не знал и не представлял, какие это годы. У Д. Самойлова сказано о его ровесниках до войны: «В них были вера и доверье». У меня «вера» была не всегда (часто сомневался), но доверие — было. И не только к людям — оно у меня осталось и редко меня обманывало. Но и иное доверие, допустим доверие к званию. Не только к званию учителя (раз учит, значит, знает!), но, несмотря на филиппики против безыдейных карьеристов, даже к званию партработника. Я полагал (иногда), что некоторые из них чего-то не понимают, а иногда, поскольку держались они очень уверенно, — что они, вероятно, имеют в виду нечто, чего не понимаю я. Что они ведут себя уверенно, ничего, кроме последней установки, в виду не имея, а порой и не зная, что надо (или даже сознавая, что не надо) что-то иметь в виду, я мог себе тогда представить только отвлеченно, даже не теоретически, а риторически. При встрече с живым человеком это знание улётчивалось. И это способствовало моим переходам на официозные рельсы — тогда и позже.

Как я теперь понимаю, эти мои переходы на официозные рельсы были для меня, как это ни странно на первый взгляд, наиболее опасны. Когда я бывал «против», я все-таки бывал в какой-то степени осторожен, а когда «за», всякую осторожность терял. А этого делать нельзя было ни в коем случае. Для Сталина и сталинщины своих не было, сторонники не требовались. Требовались холопы, не задающие вопросов и знающие свое место. Неудивительно, что и арестован в 1947 году я был, находясь на восторженно-официальных позициях. Нужны они были кому-то, мои позиции!

В детстве они были тоже никому не нужны, но я этого еще не знал (впрочем, как в юности и молодости). И поэтому полагал, что антимещанский пафос тогдашних моих стихов соответствует не только моим чувствам и мыслям, но и «линии» и должен

быть близок и желателен тем, кто ее проводит. Кроме того, тут я следовал Маяковскому, перевозосимому за это же до небес. Да и партию ведь, если она партия, не могло же не пугать, что ее «великое дело» может потонуть в море безыдейности. Представить же, что к тому времени это образование уже не было партией и его ничто не могло волновать, я тогда до конца еще не мог.

Мои представления о партии — это тот определяемый вовсе не возрастом инфантильный антропоморфизм, в который впадали, ища объяснения примитивным решениям, не только зеленые юнцы, не только ошалевшие граждане изнасилованной страны, но и государственные деятели независимых и даже враждебных государств. Не говоря уж об «интеллектуалах», для которых все примитивное неправдоподобно. Всем человечеством мы придумывали объяснения и мотивы поступков Сталина и его порождений — ему и трудиться не надо было. Потому что то, что мы видели и что проявлялось достаточно открыто, было слишком нелепо, слишком низменно и слишком унижительно — хоть для меня, хоть для Черчилля (для него чуть менее — он не беспокоился о чистоте «идеи»).

Но тогда я все принимал за чистую монету, и неприятности у меня начались очень скоро. Все они исходили от директора нашей школы Ивана Федоровича Головача, личности вопреки мнению многих, кто его знал, примечательной, представлявшей собой любопытный штрих того времени. Ну хотя бы потому, что в школу он попал, будучи по неизвестной нам причине снят с поста редактора какого-то республиканского партийного журнала. Одно время он преподавал у нас украинский язык, и преподавал хорошо, чувствовалось, что он к этому вполне подготовлен. Пластов культуры за ним не ощущалось, но квалификация была. Видимо, кончил нечто вроде Института красной профессуры.

Оговорка насчет иного мнения многих о Головаче не лишняя. Такой высокоинтеллектуальный, порядочнейший и тонкий человек, как Ирина Владимировна Божко, преподававшая тогда русскую литературу в старших классах нашей школы, никакой примечательности за ним не признает. Она вспоминает об его примитивизме (приставал к уборщицам) и хамстве. Ей приходилось выдерживать неприятные схватки с ним на педсоветах (в том числе и в мою защиту). Ее он тоже травил как мог, чувствуя в ней «животное иной породы» (она происходила из старинной интеллигентной семьи), и испортил ей много крови. И конечно, все это характеризует его. Я и не утверждаю, что он был хорошим человеком. Но тривиальным — особенно для своего времени — он тоже не был.

Схватки мои с Головачом начались со стихов, которые я прочел то ли на школьном вечере, то ли даже на школьном литкружке, куда как раз в это время нелегкая занесла директора. Ей-Богу, они не были антисоветскими — что-то опять насчет мещанства. Или еще более глупые — против танцев. Танцы тогда перестали преследоваться и начали поощряться, даже пропагандироваться. Они должны были символизировать достигнутое счастье, заглушать память о недавних трупах на улицах и «громыхание черных марусь» (они же — «черные вороны»). Кое-что из этого я, наверно, чувствовал и тогда, но главное, что я справедливо чуял в общем танцевальном ликовании, это противопоставление дорожному мне революционному пуританству. Поэтому я всячески поносил тогдашних танцующих, за что сегодня запоздало прошу у них прощения, и разоблачал танцы как «скрытое лапанье», за что прошу у них прощения вдвойне. Во-первых, потому, что в танцах нет ничего плохого, во всяком случае гораздо меньше, чем в моем революционном пуританстве и идейности, во-вторых, потому, что слишком многое вскоре после этого легло на плечи тогдашних «безыдейных» парней и девушек — хорошо, что хоть потанцевали немного.

Тем не менее директор уловил в этих стихах крамолу. Возможно даже, почувствовал то, чего я и сам не сознавал, а именно — то, против чего я на самом деле протестовал. Он ничего не смыслил в литературе, в общекультурных вопросах, но политическую обстановку он, судя по всему, понимал тонко — не только нюхом чувствовал, но и понимал. Так или иначе, разразился скандал. На первый раз не очень крупный. Но с тех пор он буквально начал меня преследовать. Мог, встретив меня в коридоре с какой-нибудь бумагой в руках, остановить и вырвать ее для проверки. Со стороны (и из другого времени), вероятно, это выглядело смешно — крупный импозантный мужчина в сером костюме, борющийся с малолеткой-недомерком за какую-то бумажку. Но тогда это не выглядело смешно. Правда, и особой опасности я тоже в этом не ощущал. Может быть, по глупости. Вообще, оглядываясь назад, могу сказать, что судьба меня всю жизнь хранила, как лунатика. Лучше было бы сказать «Бог», но не хватает самомнения.

Однако ситуация эта должна была чем-то разрядиться, ибо писать я не бросал, а его это не переставало беспокоить. Он ясно чувствовал, а может, и сознавал существо нарождающегося строя и хотел к нему приспособиться. Может быть, это

было связано с обстоятельствами, при которых он был снят с поста редактора, не знаю. В сущности, очень многие из пострадавших тогда партийцев больше всего хотели доказать свою продолжающуюся верность партии. К тому времени уже давно силой вещей вся вера коммунистов сводилась только к вере в партию, в объединение партийцев, в самих себя как в фетиш, в тавтологию. Это был абсурд, но к нему привыкли, и он устраивал — и материально и нравственно. Потерять это значило потерять не только положение, но и оправдание жизни и кое-чего из содеянного. Почти все они хотели доказать свою преданность, но не всем была предоставлена такая возможность. У расстрелянных и посаженных ее не было (хоть и у них была такая потребность). Головачу повезло. И он старался — по-моему, вполне сознательно. События не заставили себя ждать.

Однажды (это было уже в седьмом классе) на каком-то праздничном вечере я прочел свое новое, довольно длинное стихотворение, точнее романтическую балладу. Написано оно было от имени некоего партизана гражданской войны и обращено к его боевой подруге, которую он когда-то любил и с которой вместе боролся с врагами революции. Потом он был ранен, потерял ее из виду и обнаружил только теперь. И — о ужас! — какие метаморфозы:

Я смотрю и вижу —
И глазам не верю.
Барыня какая-то.
Приняла меня.
Не она — работница
Мне открыла двери...
На диван сменила ты
Буйного коня.

Целиком стихотворение я не помню и не хочу помнить — все оно было написано в таком духе. Ритмически оно подражало смеляковской «Любке», но поэтически все было написано столь же наивно и неопределенно, как приведенные строки. Однако впечатление почти на всех, в том числе и на меня, производило оглушительное, как всеобщий крик души. Теперь я понимаю, что по тогдашним нормам оно действительно было на грани. Хотя буквальное содержание не дает для этого никаких оснований, при желании его вполне можно было бы истолковать как дополненный пинок в спину отгесняемым от сцены. Дескать, раньше-то вы, может, и «мчались в боях», а теперь омещанились, ожирели и всё предали. Но так никто не истолковывал. В том числе — вопреки собственному сюжету — и я сам. И дело не в каких-то поэтических иносказаниях — их тут и следа не было, — дело в контексте времени. Конечно, советская начальственная барыня конца тридцатых ни на каких конях никогда никуда не скакала, она с самого начала выбивалась в барство или быстро привыкла к нему, когда «выдвинули» ее мужа или ее саму. Но всем важна была констатация того, что бывшее раньше высокой романтикой (знали бы мы тогда, чем оно на самом деле было!) теперь превратилось в бессмысленное барство, в отступающую со всех сторон бездуховность. Собственно, эта коллизия часто встречалась в попутнической литературе двадцатых годов, и тогда это вовсе не считалось крамолой. Подсознательно я только подражал этой традиции — конечно, не с целью переадресовки обвинений. Но вне традиции я еще не умел ни мыслить, ни выражать себя. Да и не было у меня еще жизненного опыта для того, чтобы почувствовать реальные черты антигероя наступившего времени. Через год разразился уже упоминавшийся скандал с кинофильмом «Закон жизни» по сценарию дотоле вполне ласкаемого Александра Авдеенко, впервые нащупавшего образ этого героя. Состоялась первая тотальная проработка писателя с участием товарищей-писателей, «выяснилось» (у Сталина всегда все к случаю «выяснялось»), что свою тогда знаменитую книгу «Я люблю» написал не он сам, а Горький за него, словом, Авдеенко стерли в порошок. Таким путем всем дали понять, что этот герой неприкасаем, находится под особой охраной государства и партии.

А наш директор знал заранее, куда идет дело. Может быть, потому, что знал, откуда оно шло. Поразительно, что при всей травле он никакой личной враждебности ко мне не испытывал, скорей симпатию. И иногда потом разговаривал со мной вполне откровенно. Но это потом.

Я не помню, что именно он предпринял сразу, но какая-то атака была. Причем имела она целью, как вскоре стало ясно, выпереть меня из школы. Известную роль, кроме баллады, сыграло в этом и каким-то образом попавшее ему на глаза другое мое стихотворение — «Лирическое отступление» (подражание асеевскому). Его он счел упадническим. Дело вышло громкое. Оно усугублялось еще одним моим «преступлением» — я «проявил неуважение» к Герою Советского Союза, участнику

боев на озере Хасан. Это была первая, еще до боев в Монголии, схватка наших войск с японцами, и тогда много о ней писали в газетах и говорили по радио. Пионеры клялись этими героями. А я... На самом деле никакого неуважения к этому герою я не мог проявить, ибо его не испытывал. Было другое. Однако расскажу по порядку.

Была устроена встреча нашего отряда с этим героем, тогда курсантом артиллерийского училища. Для этого мы с нашей пионервожатой приехали в училище на Соломинку. Нас принял довольно приятный рыжий парень, видимо, член комитета комсомола, отвел в какой-то класс, усадил, сел за стол, предупредил, что герой сейчас придет, и стал говорить что-то подобающее случаю. Мы, как положено в таких ситуациях, молча внимали. Когда появился сам герой (я помню его фамилию, но не хочу ее называть, ибо он тут вообще ни при чем), рыжий сделал соответствующий знак рукой и вполголоса предложил: «Встаньте, ребята, встаньте...» Все встали, я не встал. Вот и вся история. Почему я это сделал? Я вполне уважал героя и его героизм, но меня оскорбила преднамеренность, инсценировка такого дружного проявления этого уважения, словно его на самом деле не было и надо было его имитировать. Конечно, в своих истолкованиях я был не совсем прав. Рыжий ничего не собирался инсценировать — его просто подвела инерция военных ритуалов, вполне уместных в армии, но не уместных на гражданке. Но слишком много было вокруг фальсификаций, слишком они меня раздражали, и слишком похож был этот эпизод на любую из них, так что в каком-то смысле я был и прав. Но когда я вспоминаю, что было с этими хорошими ребятами года через полтора после моего «подвига», в 1941 году, мне становится не по себе — лучше бы встал. Но независимо от моих чувств — тогдашних и позднейших — поступок этот в то время работал против меня, приплюсовывался к числу моих прегрешений.

Не помню, стали меня тогда гнать из школы или нет, но произошло что-то такое, отчего я, возмущенный, отправился искать правды и защиты в райком комсомола. С чего я взял, что секретарь райкома должен разбираться в поэзии и вообще в тех проблемах, которые меня волновали, сказать трудно. Часто потом мы в своем кругу издевались над невежеством всяких руководителей в наших делах. Но тут ничего нельзя было поделывать — им вменено было в обязанность нами руководить и нас учить, а они не отказались. Но я ведь шел сам за поддержкой, уверенный, что если что-то понятно мне, то уж им, старшим товарищам, и подавно. По родству идей.

Наша школа находилась в ведении Железнодорожного райкома ЛКСМУ. К его секретарю товарищу Миндлину меня пропустили беспрепятственно, хотя у него сидели какие-то люди. Обстановка мне понравилась: люди в спецовках, гудки паровозов за окнами, гуца жизни. Тогда еще по инерции стиль поведения в райкомах комсомола оставался внешне менее официальным и более простым, чем после войны¹⁰. Я сильно приободрился — ведь в отличие от булгаковского профессора Преображенского я «любил пролетариат», даже был воспитан в духе романтизации этого класса.

— В чем дело? — повернулся ко мне довольно дружелюбно товарищ Миндлин.

Я вкратце изложил свои обстоятельства. Несколько ироническое добродушие еще не покинуло его.

— Ну давай прочти, посмотрим.

Добродушие покинуло его, когда он услышал эпитаф. Эпитаф был из асеевского «Лирического отступления» — строки про «мертвый мир былого»:

...я доволен буду малым,
если грохнет он обвалом,
я и то почту за счастье,
если брызнет он на части,
если, мне сломавши шею,
станет чуть он хороше...

Лицо товарища Миндлина посуровело.

— Это ты написал? — грозно спросил он, ткнув в мою сторону указательным пальцем, хотя перед чтением я торжественно произнес: «Эпитаф». Может, он не

¹⁰ Внешне — ибо какая простота могла существовать между людьми там, где далеко не все доверяли друг другу. При всем моем отрицательном отношении к предыдущей формации, там этого в такой степени не было. П. Г. Григоренко в 1933 году мог после речи члена Политбюро С. В. Косиора даже в парткоме института высказать в частной беседе довольно резкие суждения о ней, обвинять руководство в преднамеренной организации голода на Украине. Все-таки этих людей что-то объединяло, и они могли разговаривать между собой. У их наследников не было и этого.

знал смысла этого слова, а может, впечатление от этих «ужасных» строк вышибло это слово из памяти.

— Нет, — удивленно ответил я. Дескать, как можно не знать таких простых вещей?

— А кто? — не снижал тона товарищ Миндлин.

— Асеев.

— Что? — взревел товарищ Миндлин. — А ты знаешь, кто это такой?

Бедный секретарь спутал Асеева с Есениным, который тогда официально не одобрялся, и просить защиты у райкома, принеся стихи с эпитафией из него, было бы наглостью.

— Знаю, — сказал я. — Поэт, друг Маяковского, его сейчас на Сталинскую премию выдвинули.

Тревога товарища Миндлина несколько улеглась. Но подозрительность осталась. И тут он задал свой самый знаменательный вопрос:

— Какого года издания книжка?

В этом вопросе — подсознательное признание происшедшего переворота. И даже его характера. Все книги, изданные до определенной даты, пусть в советских же государственных и партийных издательствах, подозрительны. Мало ли что могли там эти «враги народа» напропускать. Хотя вроде моги и знать, что ни Есенина, чье авторство он заподозрил, ни упадничества, в котором заподозрил меня, эти «враги народа» и сами очень даже не жаловали.

Но он зря беспокоился. Книжка была самого недавнего года издания. Тем не менее камертон разговору был дан. Меня начали воспитывать, что-то мне объяснять. От меня требовали скромности.

В принципе обвинения в отсутствии скромности я тогда вполне заслуживал. Думаю, что это объяснялось не свойствами характера, а возрастом и идеологией — ведь еще недавно молодежь воспитывали на том, что она все понимает лучше старших. Правда, уже несколько лет нас ориентировали на «авторитет учителя» (жертвой одной из кампаний по его внедрению я скоро стану), но это шло как-то параллельно. Кроме того, самомнения прибавляла мне и приобщенность к авангардизму и к творчеству. Да и мой любимый Маяковский не располагал к скромности. Но в данном случае требование скромности означало требование отказаться от самостоятельного мышления. В сущности, я ведь доказывал очевидное — что Асеев не Есенин, что он друг Маяковского.

Очень рассмешили меня тогда слова сидевшего рядом рабочего. Он сказал серьезно и доверительно:

— Максима Горького читал? Там у него тоже... этот... сокол... Тоже высоко летал... Как бы и тебе так не кончить...

Тогда меня это насмешило. Как же! Истолковать «Песню о Соколе» прямо противоположно ее смыслу, как призыв не летать, — это надо было уметь! За это в школе поставили бы двойку! Но сегодня меня это не смешит. Ну так этот рабочий не знал и не понимал литературы и даже Горького — что из этого? Зато он чувствовал, в какое время живет, и давал мне добрый совет. Конечно, можно спросить — зачем ему было быть при этом комсомольским активистом? Но на то и двоемыслие, мозги были запутаны не только у меня. По-разному, но у всех.

Так или иначе, дело рассосалось.

Вероятно, на независимости моего поведения как-то сказывались мои относительные успехи в, если можно так выразиться, юношеских литературных кругах. Писали мы — я и мои друзья — все серьезней, наш вес в литкружке вырос, мы стали там доминировать. Однажды даже выпустили свой журнал и отправили на конкурс, объявленный «Пионерской правдой». Оттуда пришел восторженный отзыв Елены Ширман¹¹ (отметившей, к слову сказать, всех, кроме меня). Но несмотря на этот отзыв, премии нам, по ее словам, не полагалось — мы не выполнили каких-то условий конкурса. Это была высшая точка нашего успеха.

С увлечением поэзией, все более серьезным отношением к ней связано и более быстрое интеллектуальное развитие. Вело это и к расширению круга знакомств, иногда очень ценных и интересных. Сблизились мы и с Ариадной Григорьевной, стали бывать у нее дома. Муж ее оказался очень интересным и необычайно образованным человеком, по любому возникающему вопросу у него можно было

¹¹ Елена Ширман — молодой поэт тех лет, тогда внештатный сотрудник «Пионерской правды». Летом 1942 года вместе с родителями и гранками листовок с карикатурами на нацистских вождей ушла пешком из Ростова, в который уже входили немцы, но была достигнута ими на хуторе около станции Буденновская в Сальских степях и расстреляна. Потом ее стихи печатались в сборниках погибших на войне поэтов и были собраны вместе в книге Сарры и Инны (псевдоним — Татьяна Комарова) Бабеньшевых «История одной судьбы».

получить самые исчерпывающие и при этом нетривиальные сведения. По профессии Адочкин муж был журналист, но я почему-то считал, что он «только» фотограф, и это сбивало меня с толку. По дикости я тогда еще не знал, что бывают фотографы экстра-класса, художники. Впрочем, и сама Адочка, несмотря на молодость, была вполне ему под стать. Мне повезло, что с самого начала сознательной жизни я встретил таких людей.

Мужа Ариадны Григорьевны расстреляли немцы. Причем даже не за то, что он был евреем — хотя он был им, — а как заложника за несколько дней до «окончательного решения» еврейского вопроса в Киеве. Когда стали взрываться здания на Крещатике, немецкие солдаты ворвались в дом, где они жили, и увели всех мужчин. Так это случилось. А всего за год-полтора до этого, сидя у Адочки, даже такие «оппозиционеры», как мы, и в страшном сне не могли бы себе представить, что немцы будут ходить по нашему Киеву и врывать в квартиры. С этой стороны, хоть нам прожужжали уши, что война будет, и мы в этом не сомневались, мы почему-то чувствовали себя в полной безопасности.

Все, что нам предстояло хлебнуть, было еще впереди, а пока наши литературные связи расширились и постепенно вышли за границы нашего кружка. И однажды мы — а именно Гриша и я — пришли в литкружок Дворца пионеров. В Киеве и в русскоязычной среде чаще произносили на украинский лад — Палац пионеров или просто Палац.

О кружке при «палаце» мы уже были много наслышаны. Руководил им Евгений Георгиевич Адельгейм, известный критик. Кружок вел хорошо и интересно. Происходил он из обрусевших шведов, но из-за фамилии вынес потом на себе всю тяжесть антисемитизма, особенно во время «борьбы с космополитизмом». Впрочем, и до антисемитизма ему доставалось — он вполне справедливо разнес очередной шедевр Корнейчука, пьесу «В степях Украины». А она была сочтена нужной. Доставалось ему часто, хотя в герои он не метил. Просто был талантливым и культурным человеком, отчего и попадал «пальцем в небо» (если попаданием в точку считать угадывание «верховой воли»). Я помню его в тот день, когда вскоре после его выступления в украинской «Литературке» в «Правде» появилась статья, превозносящая разруганную им пьесу. Тогда я еще не знал, что означает статья в «Правде», тем более что Адельгейма она и не поминала. А означала она, что критик ошибся, потому что вошел в противоречие с выяснившейся истиной. Такая мода, как мне кажется, только входила в жизнь, и до конца этого не понимал не только я, но и сам критик. Но, конечно, понимал он и чувствовал больше меня. Я, между нами говоря, ничего плохого в этой пьесе не видел — она высмеивала тех председателей колхозов, которые останавливались на достигнутом и не стремились из социализма дальше в коммунизм. Конечно, она оставляла в стороне вопрос о мировой революции, но все же — хоть что-то! Такая меня тогда волновала и такой, значит, тогда представлялась мне проблематика сельской жизни — расцвечать дальше или остановить свой расцвет. Конечно, в одинаковые понятия мы вкладывали разное содержание, но тут мой инфантилизм сливался с государственным. Точно мне иногда вспоминать о самом себе тогдашнем, о своей тогдашней бесчеловечной «идейной» логике, да что поделаешь — это было.

Тем не менее глаза и лицо нашего руководителя в этот день я запомнил. Мы вместе выходили из «палаца» после кружка, и кто-то завел разговор о правдинской статье. Мои старшие друзья были в отличие от меня согласны с руководителем, а не с «Правдой»: просто больше меня понимали в литературе. Он отвечал с горечью и недоумением и вовсе не делал перед нами вид, что пересмотрел свои взгляды, — тогда этого еще то ли не требовалось, то ли люди еще не осознали, что требуется. Все уже были «опытные» и знали, что нельзя спорить с «политикой». Но ведь это была не политика. Потом все поймут — «не умом, так поротой задницей» (выражение А. Н. Толстого), — что все, во что вложена амбиция товарища Сталина, — политика. Но тогда в полной мере этого не сознавал не только я, но и наш руководитель. Он пока только недоумевал — ощущал некоторую растерянность от невозможности усомниться в тех элементарных вещах, которые были сейчас попораны. И я ему сочувствовал, несмотря на мое идиотское отношение к проблеме. Мне было отвратительно насилье над мыслью, хоть я этого не сознавал. Да и слов таких мелкобуржуазных тогда отнюдь не читал.

Но в тот день, когда мы пришли на кружок — это было то ли в конце 1939, то ли в начале 1940 года, незадолго до экзаменов, — Адельгейм по телефону отменил занятие, и его не было. Не было и наиболее видных членов кружка. Правда, мы до тех пор о них не слышали, но здесь их уважали, и, как я потом понял, уважали не зря. Хотя занятие было отменено, собравшиеся члены кружка предложили нам, как новеньким, почитать им что-нибудь для знакомства. Мы согласились. В те годы (и много позже) я был готов читать кому угодно сколько угодно. Мы понравились. Но

это было одобрение без «хозяев». Когда мы пришли в следующий раз и стали читать при полном вкворуме, «хозяева» обнаружили. Все они оказались старше нас, семиклассников. Это были десятиклассники Яков Гальперин и Марк Бердичевский, а также приехавший из Москвы на каникулы Муня (полной формы этого имени не знаю) Люмкис, тогда уже студент ИФЛИ. Был в их компании тогда и Толя Юдин (тоже уже ифлиец), но сейчас его тут не было. До этой группы, развитие которой было прервано войной, была раньше в Киеве, как я узнал, и другая, где видную роль играл Сергей Спирт, стихов которого я почти не знаю. Не знаю ничего и о других членах этой группы, разве кроме Петра Винтмана, с которым я познакомился, когда он вернулся с финской войны, но ничего об этой предыдущей группе он не рассказывал — во всяком случае, мне. Как и Сергей Спирт, с Большой войны он не вернулся. Многие из людей близких мне поколений откуда-нибудь не возвращались — товарищ Сталин за все расплачивался щедро. Со Спиртом как-то был связан и будущий Иван Елагин — тогда Залик Матвеев (мать у него была еврейка), с которым мы подружились в эмиграции и который как-то упомянул о Спирте, но вскользь. Поразительно, что мы с Елагиным жили в довоенном Киеве, писали и читали стихи и ни разу не соприкоснулись — даже кругами. А я ведь не жил замкнуто.

Но пора вернуться во Дворец пионеров. «Хозяева» поначалу оказались не очень любезны — окатили нас ушатом холодной воды, то есть изругали вдрызг и Гришу и меня. Ругань была квалифицированной и несправедливой одновременно, квалификация прикрывала несправедливость. Мы не были обескуражены (привыкли к ругани, хотя не к столь массивной), но были удивлены. Однако не сдавались — защищались как могли. Собрание кончилось тем, что Люмкис прочел переводы из Рембо — он был очень хорошим переводчиком, переводил с иностранных языков на русский, а иногда и с русского на украинский. Тогда он прочел перевод на украинский тютчевского «Лебедя». Мне все это понравилось. Тем не менее я готовился к новым боям. Но они не понадобились.

Однажды, вскоре после этого разноса, меня кто-то окликнул на улице. Я сначала не понял, что это меня, ибо окликали не по имени. Но на улице народу было мало и больше окликать было некого. И кто-то явно за мной бежал. При ближайшем рассмотрении бежавший оказался Яшей Гальпериним.

— Слушай,— сказал он,— где ты пропадаешь? Ты нам понравился, мы решили, что в тебе что-то есть.

Вот так! То обложили с ног до головы, то «что-то есть». Но я не обижался. Начался разговор, бесконечный разговор молодых поэтов об искусстве, вообще бесконечный русский разговор обо всем. Погуляли, а поскольку встретились на улице, где он жил, то зашли к нему. Кажется, у него уже кто-то сидел в ожидании что-то читал. У Яши было много книг и много друзей, все старше меня, был даже один актер, любивший стихи, была прелестная невеста, одноклассница Надя Головатенко. Всех их я скоро узнал. Вообще он жил полной жизнью — как в таких случаях говорят, словно знал, что жить ему недолго.

У Яши я также встретился и с Марком Бердичевским. Выяснилось, что мы с ним давно знакомы. Когда мне было года три, а ему пять, наши матери целое лето вместе проработали в Феофании — монастыре, расположенном в Голосеевском лесу (за Демиевкой). Там в это время еще был монастырь, жили монахи, но, видимо, его потеснили какой-то детской колонией, где и работали наши матери. Ну, и мы там жили при матерях. Я помнил, что там был «большой мальчик», а он помнил про маленького, но, конечно, мы друг для друга не связались с этим воспоминанием. Догадались и подсказали родители. Короче, я стал часто бывать у своих новых друзей, вошел в эту компанию не то как равный, не то как «сын полка» — и был счастлив. Молодым поэтам нужны старшие товарищи.

Между тем учебный год, с которым связано появление в моей жизни новых друзей, постепенно шел к концу. Он был отмечен отнюдь не только радостными событиями и не только такими мелкими пока неприятностями, как мои схватки с Головачом или беседы с Миндлиным (хотя и за ними стояло многое). Были события гораздо более крупные, которые касались уже многих и не должны были ни у кого вызывать радость. Но тогда эти события меня, как ни странно, беспокоили не очень, а если вызывали беспокойство, то какое-то причудливое и странное. А события эти были мирового значения.

За несколько дней до начала этого учебного года был подписан договор Молотова—Риббентропа. Затем вторжением Гитлера в Польшу началась вторая мировая война. На семнадцатый день после ее начала мы вторглись в Польшу с востока для «освобождения» Западной Украины и Западной Белоруссии (что, еще через много лет освобожденные вспоминали, как хорошо им жилось «за Польщу»). Через некоторое время началась война с Финляндией. После ее окончания мы захватили

Прибалтику, а также возвратили себе Бессарабию, принадлежности коей к Румынии никогда не признавали, прихватив в уплату за временное пользование ею и Северную Буковину.

Должен, к стыду своему, сознаться, что в отличие от мирового общественного мнения я к этим событиям отнесся одобрительно. В свете моего коммунистического мировоззрения, в договоре с Гитлером не было ничего предосудительного — обыкновенное лавирование пролетарского государства в капиталистическом мире. С моей точки зрения, официальный антифашизм только отвлекал от классового сознания и чистого коммунизма — не все ли нам равно, каковы оттенки того или иного капитализма? А вторжение в Польшу только подтверждало, что Сталин не на словах, а на деле делал мировую революцию. Так же расценил я все остальные захваты и прихваты. И даже если бы я тогда узнал, что «финский обстрел наших позиций», послуживший поводом для начала открыто подготавливавшейся войны, происходил через головы финнов из нашего Ораниенбаума, я бы все равно не очень возмущился. Я и так не верил в официальное объяснение, но знал, что революция может потребовать и не такого. Мне самому от этого тошно, я таким не был, но так думал. Это и был «честный коммунизм», тот самый, который и обеспечил победу нечестному, то есть догматическому сектантству, с его моралью и логикой — другого коммунизма не бывает. Не нравится догматизм — откажитесь от коммунизма. Приспособить его к здравому смыслу невозможно. Трансформировать в прострацию — нетрудно. Сектантская логика может принять и самоубийство.

Во всяком случае, атмосфера от такого «возвращения коммунизма» не очищалась, становилось все душней. В этой атмосфере преследовал меня Головач и интересовался годом издания книги Асеева Миндлин. Правда, к этому я еще мог относиться как к частностям («власть на местах»). Но тут вдруг газеты стали всем объяснять, что в течение всей своей истории русский народ противостоял вовсе не немцам, как ошибочно считали раньше, а французам и англичанам, благо в истории хватало примеров, подтверждающих это. Согласно этой установке пересматривались программы по истории, то есть стремились вдолбить это нужное только локально представление — навсегда. Этот с виду пустячный факт показывал, что людей превращали — тотально, вместе с их психологией — в чурки однородного использования, что я ощущал и с чем не мог примириться. Идеология — даже та чушь, которую я исповедовал, — претендует все же на более фундаментальное отношение к миру, не так уж зависящее от обстоятельств. Такое «воспитание» больше всего изобличает в Сталине временщика, несмотря на всю его любовь к монументальности.

Страшнее всего для меня эта прострация выразилась в тотальной антипольской пропаганде после ввода войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Раздвигалась ненависть уже не против польских панов, не против капиталистов и кулаков (все это идеология разрешала), а против поляков вообще. Странно и тягостно выглядело это движение к мировой революции. Из всего обильного печатного материала этому централизованному умопомрачению противостояло лишь одно стихотворение Асеева, которое я прочел только в многотиражке киевского Дворца пионеров, а потом в сборнике — в периодике я его не видел. Лишь там были такие строки (привожу без леечки):

Не верь, трудовой польский народ,
Кто сказкой начнет забавить,
Что только затем мы шагнули вперед,
Чтоб горя тебе прибавить.

.....
Мы переходим черту границ
Не с тем, чтобы нас боялись,
Не с тем, чтоб пред нами падали ниц,—
А чтоб во весь рост выпрямлялись!

О соответствии этих строк реальности говорить не будем: к ней не имел отношения вся наша идеология — и моя и Асеева. Трудовому польскому народу безусловно от «нас» досталось. Но досталось от «нас» и украинскому, и белорусскому, и всем прочим народам, в том числе и нам самим, кто б мы ни были. И с чем мы могли переходить границу, если интересовались, какого года издания книжка? Но тем не менее я до сих пор благодарен Асееву за эти не очень хорошие стихи: за то, что они настаивали на том, во что верили, за то, что не поддались общему утару. Хотя угорели все остальные по негласной команде, о которой Асеев, как и я, наивно не догадывался. И, как я, удивлялся. Тоже до времени.

Было еще обстоятельство, которое должно было бы заставить меня задуматься, — поток вещей оттуда. Мальчишки выменивали у польских пленных на хлеб авторучки.

которые у нас считались предметом роскоши. Мы почти целый год потом писали в реквизированных польских тетрадах. Все это показывало, что освобожденные жили гораздо зажиточней, чем освободители. Но это на меня не действовало. Зато за нами было будущее! И потом — зато мы были сильны! И двигались к мировой революции!

Постепенно дело шло к экзаменам — для Яши и Марка выпускным, для меня к подобию выпускных, за семилетку. Хотя я продолжал с ними видаться, в основном наша дружба развернулась в следующем году, в последний год перед войной, когда они были уже студентами, а я — восьмиклассником.

ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДВОЕННЫЙ

Последний предвоенный учебный год начался для меня отнюдь не мирно, хотя первые его часы как будто не предвещали ничего дурного. Дело в том, что первый день вообще был тогда для нас не учебным, а праздничным. Он совпадал с МЮДом — Международным юношеским днем, — который до войны широко отмечался. В этот день, как правило, светлый, солнечный, теплый и нежаркий, «как бы хрустальный», занятий в старших классах не бывало, и все с удовольствием отправлялись на демонстрацию. Нам — мне и моим сверстникам — впервые подошел возраст участвовать в такой демонстрации, от этого наше настроение было особенно приподнятым. За что и против чего были эти демонстрации, сказать трудно. Скорее всего это была инерция двадцатых годов, когда все это происходило под знаком КИМа — Коммунистического интернационала молодежи — и было как бы символической поддержкой коммунистической молодежи мира в ее борьбе с капитализмом. Теперь направленность слиняла, и если демонстранты несли лозунги, то это были просто дежурные лозунги, обращенные к молодежи, они существовали, так сказать, для порядка, для обязательного напоминания о нашем причастии дьяволу, но ими никто из нас не интересовался. Волновала встреча после каникул, юность, радовал светлый хороший день. В рядах раздавались шутки, смех, подначки, настроение было самое беспечное. От этого, как говорится в древних повестях, «настало мне и кончение». За всем этим я забыл о том, о чем кричали все заборы, газеты и репродукторы, о чем всегда говорили в школе, а именно — что «враг не дремлет». Впрочем, если б я об этом и помнил, ничего бы не изменилось. Ибо мне предстояло впервые по-настоящему столкнуться с тогдашней действительностью. Читатель может не ужасаться — кончилась тогда для меня эта встреча не так уж страшно, да и полный смысл происшедшего я уразумел гораздо позже, мое тогдашнее мировоззрение не давало мне возможности понимать увиденное адекватно. Но несправедливость я чувствовал все-таки по-юношески глубоко, и стоило мне это происшествие довольно дорого.

А началось все с глупой шутки, которых было немало в тот день ввиду общей легкомысленной настроенности. Кто-то из задней шеренги, балуясь, неожиданно толкнул меня в спину, и я упал на идущего впереди, чем вызвал очередной взрыв смеха. Возможно, я тут же дал бы сдачи, но до этого не дошло. Нарушение увидел следивший за порядком завуч. В нашей школе он был недавно, я не помню, что он преподавал, забыл его имя. Производил он впечатление сухаря, был высок, худощав, смотрел на все строго и подозрительно, прозвище имел Глиста. Но за него вышла замуж наша учительница литературы Марья Ивановна, из-за чего совершила потом ряд некорректных поступков, что тогда меня возмущало — именно потому, что я хорошо к ней относился. Но возмущение давно прошло — от любящих женщин я уже давно не требую объективности. Но речь об ее муже. У нас он не преподавал, но ко мне всегда относился настороженно, как к возмутителю спокойствия. Я теперь нисколько не горжусь тем, что в какой-то степени им и был, — не так много было тогда у людей спокойствия, чтоб его еще возмущать, ставить их в затруднительное положение. Но мне теперь шестьдесят пять лет, а тогда было пятнадцать. И именно с пятнадцатилетними он брался иметь дело. Но я никому специально досадить не стремился, а с ним вообще дела не имел.

Не успел я прийти в себя после толчка, как раздался его голос:

— Это кто тут хулиганит? Ах Мандель!.. А ну-ка выходи из рядов.

Я вышел.

— А теперь иди домой! Я запрещаю тебе дальше участвовать в демонстрации.

Вот тебе на! Меня толкнули, и я же виноват! Ведь все это видели. Но никаких и ничьих объяснений завуч не слушал.

— Сказано — иди домой, значит, иди.

Я опешил. Даже если б я был виноват, бросалась в глаза несоразмерность вины и наказания. Это выглядело капризом. За что мне портили праздник? Такой вопиющей несправедливости вынести я не мог. Я отказался и вернулся на свое место.

— Ну смотри! — пригрозил мне завуч, и угроза эта, как выяснилось, не была пустой.

День прошел так же весело, как начался. На демонстрации мы много шутили, кричали: «Да здравствует товарищ Кацнельсон!» — это была фамилия нашего вожатого-десятиклассника Левы. Вожатого мы любили, и почему было не побаловать? Впрочем, при Брежневе за этот «лозунг» сионизм бы пришли; тогда этого не было, но и тогда кое-где, как я потом случайно узнал, отнеслись к нему серьезно. Стали копать. Вызывали украинского поэта Абрама Кацнельсона, с которым мы не были знакомы (приняли во внимание наше увлечение литературой). Что их взволновало? Неужто заподозрили попытку выставить собственные лозунги — впервые после известной троцкистской демонстрации 7 ноября 1927 года? Вряд ли. Но — бдили. Серьезными делами занимались люди в нашем Царстве Принудительной Инфантильности. Впрочем, ругать их особенно не надо — они ведь могли бы и группу из нас сварганить во главе с тем или другим Кацнельсоном, а то и с обоими. Однако не сделали. Дело обошлось без наших славных органов, об интересе которых я узнал только случайно. Но и без них оно было достаточно отвратно и показательно...

День закончился вполне безоблачно. А наутро я был снят с уроков и исключен из школы за хулиганство.

Я был потрясен. Меня обвиняли уже во всяких грехах, но чтоб в хулиганстве! Потом мне объясняли, что дисциплина есть дисциплина и я все равно должен был подчиниться завучу. Но, жалея сегодня о многом, что делал, я никогда не жалел о том, что не знал этого толкования дисциплины и не подчинился. Подводить логическую базу под произвол и недостойно и наивно. Сегодня, когда я впервые за много лет опять думаю об этом эпизоде, я с высоты своего опыта понимаю, что никакое подчинение мне бы тогда не помогло. Уж слишком не слушал ничьих объяснений завуч, слишком кричаще был он несправедлив. Если бы я и ушел домой, зафиксированное таким образом «хулиганство» все равно было бы таким же образом наказано. Ибо дело было не в «хулиганстве», не в неподчинении, а во мне самом — в том, что Головач твердо решил от меня избавиться и только искал удобного случая. А шестерка завуч услужливо помог его создать, тем более что это соответствовало его собственным чувствам. Должен сказать, что Головача я, в общем, простил. И не только потому, что потом он был расстрелян немцами в оккупированном Киеве, и по другим причинам. Он был человек, может, и грубый, но и сильно перепуганный своим снижением. Он хотел от меня избавиться, но, повторю, я не чувствовал его ненависти к себе или желания погубить. Цель его была проста. В самый разгар конфликта он выразил ее так: «Ты учиться будешь, но не в этой школе». Кстати говоря, когда я еще учился в его школе, в перерывах между схватками мы иногда с ним беседовали вполне конфиденциально о сложных вопросах современности — это вроде была воспитательная работа со мной, — и он никогда не использовал этих бесед для интриг против меня. И даже потом, когда я уже учился в другой школе и мы с ним случайно встретились в парикмахерской, у нас с ним произошел вполне доверительный разговор. Я заговорил о Сталине, сказал нечто вполне положительное — я тогда так и думал, — а он оторвался от газеты, посмотрел на меня и вдруг сказал, что, конечно, все так, но судить еще рано, ибо многие всходы посеянного Сталиным еще не взошли. Это — о божестве, не имеющем измерений! И кому — пятнадцатилетнему мечущемуся мальчику!

Но на поведение его в школе это не отражалось — он планомерно продолжал меня выживать. Привыкли они разделять личное и общественное! Культивировалась же в их среде как доблесть готовность топтать и предавать «вредных делу» людей, не считаясь с личными их качествами и личными своими симпатиями. Правда, в данном случае «вред» от меня мог произойти только для него, а не для «дела», но навыки уже были выработаны. А ситуация и впрямь была сумасшедшая. Он имел все основания бояться моего «гражданского пафоса», ибо, в случае чего, поскольку это произошло в «его» школе, мои грехи приплюсуются к его биографии, и ему не выплыть. Конечно, он действовал очень грубо, но ведь пребывание в партии, да еще неподалеку от ее относительных верхов (к тому же на Украине во время коллективизации), не приучало его к «белым перчаткам», в которых, по известным словам Ленина, не делаются революции. Я отнюдь не оправдываю его, тем более его гнусностей, и вовсе не думаю, что он был хорошим человеком. Но сам режим, которому он служил, был изначально гнусен и становился все гнусней. Он был человеком, нравственно искалеченным партией и временем.

Вероятно, это же можно отнести и к завучу. В конце концов, я о нем мало знаю, у него тоже могли быть обстоятельства, вынуждавшие его поступать так, а не иначе, — в те времена у многих бывали «обстоятельства». Но из того, что и как я о нем помню, этого не выходит, выходит мелкий человек, желающий угодить начальнику или

способный почувствовать себя оскорбленным тем, что кто-то (пятнадцатилетний мальчишка) «много об себе понимает», готовый из мести или угодничества на низость, подобную той, о которой я рассказал. В жизни всегда было достаточно подлости, но все же не задача учителя — обогащать опыт учеников ранним общением с ней. Между тем он нам всем преподавал урок торжествующей подлости.

Искушенный современный читатель, даже уже не очень молодой, но лет на двадцать моложе меня, может подивиться моей наивности. У него почти с малолетства нет иллюзий. А у меня, росшего во времена массивированной подлости — раскулачивания, ягодщины, ежовщины, — такой наивности и вовсе не должно было быть. Чему было так удивляться? Тем более пытаться удивить кого-то былой житейской (во всяком случае, с виду) подлостью сегодня, во времена покупных отметок, «зарезанных» по поручению начальства абитуриентов, мафий и рэкета. Но я никого не хочу удивить, я просто хочу рассказать, как к этому шло и как это было.

Удивляться было чему, хоть это были времена массивированной подлости и полыхала она как пожар на громадных пространствах. Но общая подлость времени очень долго людям не причастным (и не задетым!) не была ясна. В сферу политики, идей и т. п. из них мало кто вмешивался, и многим происходящее там казалось драмой идей, пусть неблизких, пусть странных, но идей. А это не ассоциировалось с подлостью. Мгновенной проекции этой подлости на быт, в том числе и на школьный быт, не было. Это сказывалось, но постепенно. Скачкообразный рост компрометации моральных норм и утверждения бесчестия шел с политических верхов, из сталинского окружения, и распространялся медленно (путем подбора «кадров» прежде всего). До школы он дошел не сразу. Поэтому неудивительно, что, столкнувшись с открытой элементарной подлостью со стороны людей, считавшихся педагогами, я был ошеломлен.

Недостойные люди всегда бывали, но описанное выше поведение завуча и Головача раньше было невозможно. В гимназии за это просто можно было получить пощечину и тут же отставку, но и в советской школе оно было немыслимо — учителя все еще ощущали себя культуртрегерами и не могли позволить себе такого. Впрочем, несмотря на тридцать седьмой год, тогда еще и в армии не допустили бы дедовщины. Разложение вызревает медленно.

И похоже, не только я считал такое поведение недопустимым. На педсовете некоторые учителя оказали Головачу сопротивление, но он его не столько преодолел, сколько игнорировал. Я был еще больше ошарашен. Но по-прежнему был уверен, что это скоро разъяснится и справедливость восторжествует. Да и чему тут было разъясняться, чему торжествовать? Тем не менее ничего не разъяснилось, а восторжествовала прострация — глубокомысленный разговор о проступке, которого не было.

Ребята мне сочувствовали, поддерживали меня. Защищала меня и комсомольская организация школы в лице ее секретаря Левы Рабиновича, с которым я потом на этой почве сдружился. Что нас сдружило? Политическая оппозиция? Но ни он, ни я тогда в оппозиции не были — наоборот, мы вступались за советский порядок. Он просто знал, как было дело, а для того, чтоб не знать, надо было себя не уважать. Теперь я понимаю, что именно это и только это от всех и требовалось. Но тогда этого, тем более в такой окончательной форме, не понимал никто. В это втягивались, но не понимали. И я тоже не мог поверить в непререкаемость абсурда.

Я появлялся в классе на уроках, хотя было строго-настроено приказано меня не пускать. Одни учителя меня выгоняли, а я сопротивлялся, другие нет. Как говорится, шла борьба. Я и сам воспринимал это как борьбу за справедливость и намеревался, как меня учили, отстаивать ее до конца. Поразительно, что о справедливости я тогда думал больше, чем о нависшей надо мной угрозе оказаться на улице. А это вполне могло случиться. Дело происходило в начале восьмого класса, а обязательным тогда в СССР было только семилетнее обучение. Но такого уровня производства я представить себе не мог.

Но все хорошо в меру — партизанская борьба в школе и неестественное мое положение начали меня утомлять, и я отправился искать справедливости выше, в областной комитет комсомола. Помещался он в самом центре города, на Крещатике, в небольшом, но уютном двухэтажном особнячке. Комсомольские комитеты я все еще представлял себе по Николаю Островскому и подобной литературе. Так же представлял я себе и райком, когда ходил к товарищу Миндлину. Кстати, внешне его контора больше соответствовала моему представлению о комсомолки, чем обком, — легче мне от этого, как видел читатель, не было. Не уверен, что и от внутреннего схождения кому-нибудь стало лучше. Однако у обкома не было и внешнего сходства с былыми временами — никакой «братвы», никакого «даешь!»:

учреждение. Впрочем, не до такой степени учреждение, как, допустим, в шестидесятых, — нравы изменялись в эту сторону, но пока еще были проще, чем после войны. Хотя все уже было ничуть не менее живо.

Из этого не следует, что лживы были все, кто там тогда работал. Если б я даже так думал, то скоро бы в этом усомнился. Секретарша направила меня к заведующей школьным отделом — Зое Федотовой. Я звал эту женщину по имени-отчеству, но сейчас ее отчество, к сожалению, забыл. Поэтому в дальнейшем мне придется называть ее по фамилии, хотя наши отношения не были столь далекими (как не были они столь коротки, чтоб звать ее по имени). Несмотря на все хитросплетения политики, несмотря на то, что она была функционером страшного и бессмысленного режима, несмотря на все официозное, что она иногда по своей и не по своей воле говорила, я сохранил о ней самые теплые и благодарные воспоминания. Она — во всяком случае, когда я ее знал — была хорошим человеком.

В кабинете мне навстречу поднялась молодая светловолосая красивая женщина с очень милым и дружелюбным лицом. По типу пионервожатая, вообще активистка — тогда еще много было активисток из активности, а не из корысти. Корыстность (карьерная) появлялась у многих из них, уже когда их «выдвигали». Не знаю, что стало с этой женщиной потом, почему-то мне не верится, что она стала сволочью, что могла активничать во зло, даже если бы верила «авторитетным товарищам», что так надо, — а она была тогда склонна им верить. Скорее всего она просто отошла в сторону, стала учительницей или кем-либо в этом роде. Впрочем, она, еще, кажется, при мне, ушла в газету Дворца пионеров — это она напечатала стихотворение Асеева о поляках. Правда, это могла быть и временная командировка.

С ней связан очень короткий, но важный период моей жизни, и роль она в ней сыграла вполне положительную. Более того, я кое-чему у нее научился. Нет, не как у функционера или социального мыслителя, а как у живого и чувствующего человека, женщины. Да, она относилась с излишним доверием к системе, в этом смысле она понимала еще меньше, чем я. Но при всем том и несмотря на все это, она гораздо меньше, чем я, отошла от нормальной шкалы человеческих ценностей. Например, однажды, выслушав мои романтически-фанатические бредни о мещанстве, она вдруг сказала: «А ты не умеешь уважать людей!» Конечно, можно иронизировать: представитель античеловеческой системы кого-то обвиняет в неуважении к людям. Могут найтись охотники использовать эти мои слова, начав доказывать, что тогда-то и приходили в систему нефанатичные, человеческие люди. Неправда, система погружалась еще глубже в бесчеловечность, а не освобождалась от нее. Приходили всякие, а оставались человеческими немногие.

Похоже, это был первый день ее работы на этом поприще, и я был первым, кто к ней обратился. Когда я рассказал ей, в чем дело, она мне сразу поверила, отнеслась ко мне сочувственно, ласково и обещала помочь. Я был благодарен, но не удивлен: ведь такое простое и ясное дело! Да и факты были не только вопиющи, но и вполне проверяемы. Как ни странно, она тоже так думала. По политической неопытности она не понимала, что простых и ясных дел в нашей стране больше нет. Каждое зависит от политической подоплеки.

Я приходил к ней несколько раз. Она меня даже водила к первому секретарю обкома Сизоненко, который только что вернулся из Москвы. «От Сталина», как говорила Федотова, впрочем, может, он и впрямь присутствовал где-нибудь, где тот выступал. Но звучало это как: «с особыми полномочиями» или «с особым знанием». Думаю, что она и сама верила в это причастие.

Сизоненко оказался невысоким, худощавым, спортивного вида человеком, очень собранным — в общем, руководителем нового типа (определение сегодняшнее). Никакой «комсы», никакого панибратства. Но и ничего отталкивающего в его облике не было. В принципе тип администратора, против которого я ничего не имею. Неестественно это только было в комсомоле (я тогда еще не знал, что неестественно само существование комсомола).

От него тогда в какой-то степени зависела моя судьба. Но никто не знал, что его самого ждала судьба отнюдь не безоблачная. Вот она, как мне о ней рассказали. Он оставался в Киеве до последнего и застрел — не смог эвакуироваться. Не знаю, донесли на него или он сам зарегистрировался, но немецкие оккупационные власти о нем узнали. Однако, допросив, оставили в покое, и он продолжал жить в Киеве как частное лицо. Не сотрудничал с оккупантами, но и не боролся с ними. Надо сказать, что не ко всем членам партии немцы относились так либерально. Головача, который тоже оставался в Киеве до конца (работал по эвакуации) и тоже застрел, они расстреляли. Его, говорят, выдала одна из наших учительниц — не столько по политическим причинам, сколько из личной, и, вероятно, вполне заслуженной, ненависти. Не спорю, ненависть он умел заслужить, но такой способ сведения счетов

ничего, кроме омерзения, вызвать не может¹². Так или иначе, Головача расстреляли, а Сизоненко, занимавшего куда более видный пост, нет. По счастливому стечению обстоятельств его могли не посадить и наши (кажется, и не посадили), но карьера его после войны не возобновилась. Будем надеяться, что ему на пользу.

Но тогда я и Федотова не учли одного мощного и уже упомянутого фактора: политической подоплеки, определяемой политическим моментом, то есть политикой партии в данном вопросе. А эта политика в тот момент сводилась ко всемерной поддержке авторитета учителя. «Политика» в нашей стране вообще очень долго была делом инфантильно-серьезным. И опасным для окружающих, как бомба в руках ребенка.

Например, однажды, в начале семидесятых, был такой случай. Возле городка писателей Красная Пахра двое рабочих, хорошо известных в городке, были пойманы на том, что украли в расположенном поблизости колхозе или совхозе копну сена, а потом ее продали и пропили. Им грозила тюрьма. Писателям стало их жалко, они сложились и обратились за помощью к адвокату. Адвокат выслушал их и сказал, что сделать ничего нельзя. «Вот если б они трактор украли или грузовик, тогда б с дорогой душой, а они украли сено — тут я помочь ничем не могу». «Почему?» — удивились писатели. «А очень просто», — ответил знаток законов. — Леонид Ильич третьего дня в своем выступлении сказал, что надо беречь фураж. А про тракторы и грузовики он на этот раз ничего не говорил». В том и состояла «политика».

Также и этот злополучный «авторитет учителя». К моему делу он не имел никакого отношения. Но он касался политики партии в школе, а дело тоже касалось школы, да и конфликт мой был с педагогами. Следовательно, в свете политики я никак не мог быть прав в этом конфликте. И партия с комсомолом не должны были меня «поддерживать».

Собственно, таковы были сталинские методы создания авторитетов. Один старый журналист с гордостью утверждал, что партия умеет создавать авторитет, кому и когда ей надо. Например, он сам по поручению партии участвовал в создании авторитета С. М. Буденному (искусственного — сверх того, который у него был). Авторитет по-сталински означал внушение всеми средствами массовой информации искусственной популярности и высокого представления о данной личности (или группе), а также о непрекаемости ее власти и неприкосновенности ее имени или должности. Так же вождь создал и раздул до патологии свой «авторитет». Собственного умения быть популярным у него не было и в зачатке.

С теми же навыками власти взялись и за восстановление ими же попорченного «авторитета учителя», не понимая, что это вещи разные. Авторитет Буденного или даже Сталина надо было внушить людям, абсолютное большинство которых ни того, ни другого и в глаза никогда не видели. А учитель или офицер имеют дело с теми, кто их видит ежедневно. Поэтому, хотя они действительно должны быть наделены естественными правами (например, ставить отметки по совести), свой авторитет они могут завоевать только сами. Но кого интересует суть дела при проведении кампании? И Головач был бы не Головач, если б этого не понимал и не подвел меня под кампанию — под «политику».

Ни я, ни любой нормальный человек этого не знал и не предполагал. Казалось, все идет хорошо. Но в один прекрасный день я узнал, что в республиканской комсомольской газете на русском языке «Сталинское племя» появился подвал, так и называвшийся (большой замысловатости в таких делах не требовалось) — «Авторитет учителя». В нем рассказывалось и о нашей школе. Приводилась беседа с Головачом. И конечно, речь шла обо мне. Говорилось примерно следующее...

Господи, сколько раз после этого читал я такие — и похлеще — инсинуации и о себе и о других. Сколько раз после этого на моем веку хулиганы публично обвиняли в хулиганстве мирнейших людей, грязные люди топили в грязи чистых людей, а безыдейные устанавливали критерии идейности (подмена идейности намного отвратительней, чем она сама). Сколько раз после этого! Но тогда это было со мной впервые.

Головач и здесь остается Головачом. Хотя бы в том, что, подло пришив мое дело к «моменту», выдавая меня за дурака и фанфарона, он воздерживается от каких бы то ни было политических намеков. То ли не любит, то ли понимает, что они себе

¹² Должен сказать, что хотя в русской эмиграции до войны было немало людей, искренне убежденных, что все их беды от евреев, случаи выдачи евреев во время оккупации в этой среде чрезвычайно редки. Однажды муж одной моей знакомой встретил в оккупированной Праге знакомого еврея, сделавшего лично ему какую-то страшную гадость и которому был не прочь отомстить. Тот испугался: «Теперь вы можете сделать что угодно». «Нет, только не теперь», — был ответ. У нас же для многих любой момент был «теперь».

дороже. Говорилось примерно следующее. В восьмом классе этой школы учился Мандель. Он писал плохие стихи и всех, кто ему об этом говорил, обзывал мещанами. Однажды он на демонстрации затеял драку, и когда ему сделали замечание, в ответ нагрубил. Дальше шло о беспринципной позиции комитета комсомола и его секретаря, взявшего меня под защиту.

Все это было неприкрытой и глупой ложью. Впрочем, глупой ли? В тот день, когда появился этот подвал, я думал тоже, что глупой. Ведь это так легко опровергнуть! Федотова была возмущена не меньше меня. Но на второе утро она встретила меня с поджатыми губами. Оказалось, что истина выяснилась и мы с ней оба не правы. Оказалось, что, так или иначе, я должен был подчиниться, ибо, не подчинившись (чему виной самомнение), я грубо нарушил дисциплину. Все это, как стало мне ясно, разъяснил ей и другим один, по ее словам, оч-ч-чень авторитетный товарищ (слово «вождь», применявшееся раньше к руководителям такого ранга, теперь постепенно становилось атрибутом исключительно Сталина). При ближайшем рассмотрении этим авторитетным товарищем оказался тогдашний секретарь обкома партии Сердюк. Тот самый Сердюк, который в должности то ли председателя, то ли зампреда Центральной контрольной комиссии КПСС исключал П. Г. Григоренко, тогда верующего коммуниста, из партии. Пикантность была не в самом факте исключения — это дело естественное, — а в том, как этот «авторитетный товарищ» при этом открыто самовыражался и что его больше всего возмутило в тогдашней строго марксистско-ленинской концепции Григоренко. А возмутило его требование соблюдать «ленинский принцип». Во-первых, принцип оплаты высших функционеров и чиновников — чтоб получали не больше квалифицированного рабочего — и, во-вторых, принцип постоянной их сменяемости. Принципы эти вполне наивны и утопичны — ни одно государство с ними долго не просуществует. От них потом, как и от ленинизма, отказался и сам Григоренко. Но «авторитетного товарища» возмущала не утопичность, а... несправедливость (его слова привожу по памяти, но за смысл ручаюсь):

— Нет, это он не своей сменяемости требует и не свою зарплату сокращает! Он ведь специалист — его нельзя сменить и ему надо платить. Это он о моей зарплате заботится и меня хочет сменить.

Вот в чем была истинная природа его праведности и возмущения «ошибками» Григоренко. Такова была подлинная «идеология» этого специалиста по идеологии, его культурный и человеческий уровень. Вслушайтесь в его слова — это крик и боль души руководящего люмпена. В подобном положении оказались многие. Но те, кто поумней, свои чувства камуфлируют, этот же «авторитетный» простодушно, не ведая стыда, не понимая, как он при этом выглядит, выражает свои чувства вслух. Правда, простота эта хуже воровства, и даже намного хуже. Привык человек к концу жизни, что на занимаемых им постах стыд не нужен — утрутся и стерпят. Но все же такое бесстыдное простодушие не говорит об избытке ума и воображения. И именно об этом человеке с таким придыханием и поклонением говорила Федотова. Видимо, стиль такой установился в этих кругах — горячо верить в авторитет выдвигаемых товарищей. Механизм тут простой — деваться все равно было некуда, а «товарищи» эти в массе были таковы, что верить в их достоинства и слова можно было только горячо, даже горячечно, чтоб заглушить реальное впечатление¹³. Так понемногу втягивались в эту атмосферу. Откровенного цинизма тогда еще было мало, к нему только шло, но это — уже было. Если подумать, то ведь и все мы о гениальности Сталина знали не больше, чем Федотова о мудрости Сердюка. Однако доказательства находили. Даже я временами, и особенно перед арестом...

После сакрализации Сердюком поведения завуча и Головача вопрос о восстановлении справедливости, то есть меня в школе, отпадал сам собой. Тем не менее Федотова, отчасти предав себя, свой здравый смысл, все же и не помышляла о том, чтоб по-человечески предать меня, оставить на произвол судьбы. Конечно, за последние десятилетия у нас было много предательств и предателей, но большинство людей принципы, в том числе и справедливости, предавали легче, чем людей. Это симпатичней, чем наоборот, но вряд ли это хороший выход. Ибо тем самым предается общество, большое множество людей. Но бывает, что нет выбора. У нас с Федотовой его не было. И я должен был удовлетвориться тем, что был направлен в горно, с которым договорились о направлении меня в другую школу. Этим дело и заверши-

¹³ Почти как в армии. Я слышал однажды совет бывалого и обаятельного фронтовика-старшины солдатам-новичкам: чтоб легче служилось, надо полюбить своего командира, прямо-таки влюбиться в него. Разговор был дружеский, внеслужебный, во время перекура. Никакого холопства в этом человеке не ощущалось. Но ведь разговор шел не о том, как строить жизнь, а как пережить солдатчину. И офицер на фронте, который всегда рядом с тобой, в любом случае не то, что жлоб-небожитель. И все-таки он имел в виду командира не идиота.

лось. Но прежде чем перейти к новой школе и чтоб покончить с этой историей, хочу рассказать здесь о том, как она еще раз мне аукнулась, на этот раз забавно.

Редакции «Юного пионера», при которой был наш литкружок, и «Сталинского племени», напечатавшего инсинуацию про меня, помещались в одном коридоре, и сотрудники обеих газет хорошо знали друг друга. Ариадна Григорьевна потом очень сокрушалась, что не узнала об этой статье вовремя, ей бы ничего не стоило убедить автора выбросить абзац про меня. А потом нечто вроде литкружка образовалось и в комсомольской газете. И на каком-то занятии присутствовал ее редактор. В неприужденной обстановке, слово за слово — всплыла и эта история. Редактор (ему понравились мои стихи) несколько смутился и тоже выразил сожаление, что его не предупредили. Тогда ведь ничего не стоило все это вычеркнуть! А если б вычеркнули, не было б «политики», мнения Сердюка и меня бы восстановили в школе. Такая победа потом могла бы мне дорого обойтись, и хорошо, что ее не было, но это другая тема. Поражает же меня мистика сталинщины — вычеркнуть по знакомству мое имя из «принципиальной» статьи могли многие, но добиться справедливости после ее публикации не мог уже никто.

Но никто ничего не вычеркнул, и с направлением Федотовой я пошел в гороно. Поскольку все было заранее договорено, я быстро получил направление в другую школу и ушел. Этой другой, наиболее близкой к нашему дому русской школой-десятилеткой оказалась 33-я. Та самая бывшая еврейская, при которой когда-то был дневной санаторий. Только теперь она уже была русской (еврейским в ней оставался только один десятый класс) и помещалась в такой же новостройке, как и моя 44-я. Собственно, такая ссылка не была для меня особенно тяжелой. В эту школу только что перевели из неполной средней школы класс, где учился Гриша, где у меня было много знакомых.

Итак, я пришел в школу. Прежде всего к директору. Им был товарищ Шнеперман, явно оставшийся еще с «еврейских» времен. Представлял он собой тип местечкового выдвигенца. По-русски говорил плохо, неправильно (все остальные учителя, перешедшие из еврейской школы, этого недостатка не имели, а некоторые вообще были очень интеллигентны). На уроке (он преподавал историю) вполне мог сказать, что древляне устроили в Искоростене много «пожарей», — к величайшему, конечно, нашему удовольствию. Меня он встретил приветливо. Сказал, что, может, я и очень умный (ознакомился с личным делом), но он надеется, что я буду дисциплинирован. Каким он был человеком, не знаю. Подостей он не делал, но и вообще в школе почти не ощущался.

Дальше все пошло еще легче. Гриша попросил классную руководительницу Софью Наумовну принять его товарища в их класс.

— Твоего товарища? — переспросила она. — Мне кажется, я хорошо его знаю, этого твоего товарища.

Это была одна из воспитательниц дневного санатория, «хавертэ Шифра», товарищ Шифра (еврейское имя Шифра обычно в русской транскрипции звучит как Софья — правильно или нет, я не знаю). Оказывается, она была учительницей географии. И, должен сказать, очень хорошей, требовательной учительницей. В восьмом классе проходят географию СССР, и эту географию мы знали. Она, кроме всего прочего, заставляла нас для лучшего запоминания перерисовывать из учебника подробные карты областей, и я до сих пор представляю карту нашей страны достаточно отчетливо. Практически я смог применить эти знания очень скоро — во время эвакуации, лучше представляя, где я и куда меня везут. Но это было уже в июле 1941-го, через несколько месяцев. А сейчас на дворе был только сентябрь сорокового.

Я усеялся за последнюю парту у стены и очень скоро обнаружил за партией в соседнем ряду миниатюрную и очень активную девочку с косичками. Девочка одновременно стреляла из самодельной бумажной трубочки жеваными бумажками, следила за объяснениями учителя, отвечала на мои вопросы, подсказывала отвечающим у доски и веселыми остротами откликалась на все, что происходило в классе. Мы с ней подружились сразу и навсегда. Звали ее Женя Бирфирер. В Киеве всех Жень называли Жучками. Я скоро стал называть ее более ласково — Жуча. За мной последовали и другие. Потом я написал о ней стихотворение, которое почему-то очень понравилось Асееву. Поскольку ни в какие мои сборники оно не входит, приведу его полностью:

Жуча

Вот прыгает резвая умница,
Смеется задорно и громко.
Но вдруг замолчит, задумается,
Веселье в комочек скомкает.

Ты смелая, честная, жгучая,
 Всегда ты горюшь, в движении.
 Останься навеки Жучею,
 Не будь никогда Евгенией!

Стихотворение это я помню, хотя думаю, что все оно осталось в том времени, когда написано, когда все еще существовала внутренняя претензия на изменение экзистенциальной природы человека (зачем? по чьему проекту?). Сегодня этой тенденции не просто нет, а она и не кажется мне поэтической. Мудрая грустная женственность, все время обретающая и теряющая, для меня во сто крат поэтичней. Все это было давным-давно. Сегодня мне не больно оттого, что Женя не исполнила моего глупого призыва и стала взрослой, стала «Евгенией». Слава Богу, что это так — тем более что она стала хорошим человеком.

Из рассказанного ясно, что, подружившись с Женей, я скоро в нее и влюбился. Правда, неудачно. Потом с ней подружился и Гриша, и она влюбилась в него. О своих тогдашних чувствах сейчас говорить не буду — они понятны. Произошла драма, но не драма наших отношений с Гришей — мы все продолжали дружить как ни в чем не бывало, и я мужественно преодолевал горечь поражения, — а иная. Гриша однажды рассказал мне как лучшему другу, что они с Женей целуются, а я, потрясенный, записал это в спорадическое подобие дневника. Этот дневник обнаружил моя мать, прочла и, полная педагогической активности, отнесла его классной руководительнице Софье Наумовне, с которой была в хороших отношениях. Та не нашла ничего более умного как вызвать Жениного отца. Но на этом цепь местечковой «культурности» прервалась. Отец, человек разумный и серьезный, посоветовал учительнице не заниматься сплетнями, и дело заглохло. Но куда было деваться мне? Неудивительно, что мои отношения с матерью после этого никогда не были легкими.

Это тоже деталь времени — правда, связанная не только со сталинщиной, а с эпохой вообще. Набегание одна на другую разных культурных традиций и влияний создавало причудливое их сочетание в одном человеке.

С Женей я дружил и после войны, приходил к ней, когда бывал в Киеве, у нее была хорошая семья. Грустно, что Жени больше нет. А так ли уж давно все это было: девочка с косичками, стреляющая из самодельной трубки жеваными бумажками и одновременно спасающая кого-нибудь, гибнущего в это время у доски; злополучный дневник; и то, что все еще было впереди — и у нее и у меня. А теперь ее нет — у нас нынче часто уходят слишком рано, я задержался, но я далеко. К сожалению, это не только «путь вся земля», что тоже грустно, но на что роптать грешно, а и воздействие нашей изнасилованной жизни. Стране, с которой были тогда связаны наши надежды, грозит хаос. От этого и уходят рано — не в лучший мир, так в другую страну. Момент, как говорится, социальный.

Но тогда мы еще не знали будущего — ни своего, ни страны. Думали, спорили, но не знали. И о Сталине по-настоящему ничего не знали — даже мои старые друзья, даже я. Подумаешь — изменник революции, всего-то...

В этом классе и кроме Жени были люди, которые так или иначе запомнились на всю жизнь. Между тем жизнь некоторых из них по условиям времени оборвалась очень рано. Необходимо упомянуть Варшаву. Фамилия его была, естественно, Варшавский. Но так его звали только учителя. Имя его было, как я недавно узнал, Миля, но так его не звал никто. Был он для нас просто Варшава, на это имя и откликался. Жил он с матерью-медсестрой в подвале на Саксаганского, вход был по ступенькам вниз прямо с улицы, на которой с утра до ночи гремели и трезвонили трамваи. На нем был всегда один и тот же неизменный, чисто выстиранный парусиновый костюм и такие же туфли. Впрочем, тогда, до войны, насчет нарядов вообще было негусто. Даже самые богатые из нас по теперешним нормам выглядели бы убого. А Варшава с матерью и по тогдашним меркам жили бедно. Но Варшава нисколько не унывал, вся его квартира была завалена всякой периодикой, ею же полон был его портфель — Варшава был ее усердным собирателем. Мы тогда все очень интересовались политикой, дело ведь шло к войне. Но не только поэтому — чтли заграничных коммунистов, следили за симптомами охлаждения нашей «дружбы» с немцами (цинизм по отношению к мировой буржуазии я принимал, но ведь не дружбу, о которой вопили все газеты) и т. п. Варшава был ходячим справочником по этим вопросам. У него были свои любимые словечки: «дескать», например. Он вставлял это слово куда только можно. И всегда он светился добротой. Помню уже весной 1941-го военные занятия, маршировку вокруг военрука на площадке перед школой, зычную команду: «Варшавский! Пряжку н-на-а пуп!» И помню, как высокий нескладный Варшава без тени смущения поправляет на ходу ремень на парусиновых брюках.

Однако, когда пришлось, Варшава стал не только солдатом, но и сержантом. Гриша его встретил где-то на переформировании, когда Варшава уже был бывалым фронтовиком. Он обучал необстрелянных обращению с пулеметом. То же добродушие, то же «дескать», но и забота о том, чтоб люди чему-то научились перед боем. Варшава погиб вскоре после этой встречи. Он не увидел и не пережил почти ничего из того, о чем я здесь буду вспоминать.

А вот другая трагическая судьба — Жора Сизоненко, фамилия как у секретаря обкома, но человек совсем другого склада. Особой близости между нами не было, но были мы расположены друг к другу. Подозреваю, что особенно близок он не был ни с кем. Учился он очень хорошо, наверно, лучше всех, но был при этом скромн и мягок, неизменно и искренне доброжелателен ко всем. Было в нем то, что я бы теперь назвал врожденной интеллигентностью, может быть, даже аристократичностью, но это тогда мной не осознавалось. Жил он на Владимирской, по дороге к нам из школы и из центра города. Большеголовый, невысокий, плотный, но какой-то при этом соразмерный и неуловимо изящный, он приветливо окликал меня, стоя у двери своего дома, и мы с ним разговаривали — дружески, откровенно, на всякие темы (его интересовала и литература, и наши в ней дела), — но почти всегда не очень долго. Его окружала какая-то тайна. Мы знали, что жил он с матерью и теткой, что они были медсестрами (может, кто-то из них и врачом), но думаю, что по-настоящему о нем никто ничего не знал, но как-то не замечали, что не знали. Стены вокруг себя он не выстраивал. Или она была прозрачной? Что он скрывал, где и кем был его отец, я не знаю. Тогда многие многое скрывали, многие в чем-то были «виноваты» перед мучающей их властью.

Почему не эвакуировались его родные, тоже не знаю. Не успели? Не смогли? Надеялись, что пройдет необходимость скрываться яко тати? Знаю только, что и он оставался в Киеве и даже (о ужас!) учился в мединституте. Но с немцами он не ушел — значит, не хотел (жаль, остался бы жив!), — а такая возможность предоставлялась, даже навязывалась.

Дальнейшее я знаю со слов Жени. Она вернулась в Киев первая и сразу встретила Жору на улице. Он очень ей обрадовался, и они подружились. Она говорила, что он стал высоким и красивым парнем, возмужал. Говорила о его естественном благородстве. Дружба их, а это была именно дружба, прервалась неожиданно. Жору стали «куда-то» («куда надо», по Войновичу) вызывать, в результате чего он стал мрачнеть и в конце концов кончил самоубийством.

У меня нет сомнений, что его запугивали с целью сделать осведомителем. Как же! «Вы жили в Киеве при немцах, даже учились в институте — теперь вы должны искупить свой грех перед матерью-родиной, доказать ей свою верность. А если нет — сами понимаете». Чего тут было не понимать — каждый день сажали и высылали «за оккупацию». А уж из института выгнать за это, поломав тем самым жизнь, могли запросто. Тем более и тайна какая-то была — то ли сидел или расстрелян был кто-нибудь в семье, то ли с белыми ушел, — не от «них» же она была, эта тайна, почему же не поиграть. А когда уходили немцы, Жора небось не слушал «мещанских» уговоров, ждал: свои придут. Вот и не выдержал. А ведь был бы хорошим человеком, крупным врачом, ученым. Ничего не стало. У ублюдков был свой план профилактики. И почему мы все время кому-то что-то должны были доказывать, чтоб иметь право жить!

Были в классе и другие интересные люди. Шура Браверман, ставший выдающимся инженером, конструктором вертолетов, Володя Левицкий. Отец Володи был ученым-биологом, рудиментом кондовой украинской интеллигенции, разгромленной в начале тридцатых на процессе СВУ¹⁴ и в связи с ним. Володя — талантливый инженер, хороший человек, с которым я поддерживал теплые отношения до самой эмиграции, он жил и живет в Ленинграде. Теперь он, к сожалению, инвалид.

Но тогда, в сентябре 1940-го, я только встретился с этими ребятами, и все мои дружбы только завязывались. А время продолжало меняться. Неожиданно грянул указ — обучение в вузах и старших классах стало платным. То жутко гордились великим завоеванием — тем, что оно бесплатное, то вжик — и нет. В принципе и это нестрашно. На свете много стран, где обучение не бесплатное, и ничего — живут. На свете ведь бесплатного ничего нет. Например, госквартиры у нас почти бесплат-

¹⁴ Судебный процесс над Спилкой вызволения (Союзом освобождения) Украины, никогда не существовавшей антисоветской организацией, в которую якобы входили выдающиеся украинские интеллектуалы. Он был судебной фальшивкой ОГПУ, имеющей целью раздавить украинскую интеллигенцию после искусственного мора украинских крестьян во время коллективизации и раскулачивания.

ные, но их и ремонтировать не на что. Правда, и к бесплатности образования в нормальных странах приспособляются — способный человек, желающий учиться, учится. Но наше общество не было нормальным, и плата стала взиматься не ради самой платы, а опять-таки из социального планирования — чтоб «перекачать» часть молодежи из студентов в рабочие. Вполне возможно, не всем у нас тогда и полное среднее было необходимо, многие «тянули лямку» только потому, что такой установился стандарт — не в последнюю очередь благодаря пропаганде. Но сделано это было отвратительно. Когда я предложил собрать деньги для тех наших товарищей, которые сами за себя заплатить не могли, мне намекнули, что это надо делать тихо. Вне зависимости от того, как дети учились, они подлежали «перекачке» из-за материального положения их родителей — после того как были пролиты моря крови за социальное равенство. И если не в сознании, то уж точно в подсознании от этого оседало ощущение бессмыслицы.

Так что и в этой школе меня не оставляла в покое торжествующая сталинщина. А тут и у Гриши началась история. Началась она, собственно, раньше — с его речи на совещании юнкоров, куда нас умолила прийти Адочка. Дело в том, что редактор «Юного пионера» Шмушкевич, личность примитивная и brutальная¹⁵, после того как наш журнал, удостоившись одобрения работника «Пионерской правды», тем не менее не получил премии, углядел в этом недоброе и стал в чем-то подозревать нас и руководительницу. Появление наше на этом совещании в присутствии самого министра просвещения товарища Бухало должно было засвидетельствовать нашу лояльность. Засвидетельствовало оно прямо противоположное. Что-то не то говорил там и я, но в основном Гриша. Опять против формалистики, в том числе и в комсомоле.

И это аукнулось — дошло до школы. Здесь Грише чаще сочувствовали. Особенно члены комитета комсомола Сеня Богомолец и Марк Розенблат, оба из десятого (еврейского) класса. (Сеня потом погиб на фронте, Марк прошел войну, стал журналистом и до сих пор живет в Киеве.) Но делу был придан надлежащий размах — давили райком и обком. И члены комитета конфиденциально сообщили Грише, что сочувствуют ему, но будут голосовать за его исключение — видимо, в порядке комсомольской дисциплины.

Каким-то образом к этому делу имела отношение и Федотова, смягчала что могла — по доброте, а не из согласия. Но Гришу из комсомола исключили.

Не знаю, затруднило ли бы ему это поступление в вуз (как ни странно, тогда еще это учитывалось не так строго, как потом), но в те «университеты», куда очень в скором времени предстояло попасть всем нам, принимали без выписок из «личного дела комсомольца». Меня чаща сия миновала, поскольку на закрытые собрания несоюзная молодежь не допускалась. Да и ребята не хотели моего участия — ведь я уже был «меченый» и мог только ослабить их позиции. Возможно, это меня уберегло от новых неприятностей. Так что все к лучшему...

В это же время Головач выгнал из школы и Люсика. Между тем мы все продолжали жить в «самой счастливой и свободной стране, озаренной солнцем сталинской конституции».

История не останавливается, не делает перерыва для того, чтобы какое-либо поколение смогло «оклематься» — собрать по крупицам свой трагический опыт и спокойно осмыслить его. Все это относится и к моим воспоминаниям. Сейчас, когда я пишу эти строки, кончается январь 1991 года, и события не оставляют меня в покое. И если война против иракской тирании волнует меня только сама по себе (переживая за судьбы летчиков и вообще за успехи Америки), не колебля моих представлений о мире и жизни, то события в Прибалтике и Москве все же испытывают их добротность. Процесс, внутри которого мы жили и мыслили всю свою жизнь, приведя к чудовищным последствиям, еще не кончился, продолжает страшными конвульсиями трясти и без того давно уже усталую, измученную, истощенную болезнью страну; возможен летальный исход. Какое значение на этом фоне имеет, что понимали и чего не понимали интеллигентные юноши, читавшие друг другу стихи на улицах довоенного Киева?

¹⁵ Встретив меня после войны в Киеве и узнав, что я студент Литературного института Союза писателей, осведомился, кого и как туда принимают. Я объяснил, что молодых писателей, после творческого конкурса. Тут же он доверительно спросил: «А ты как попал?» Это было не недоверие лично к моим возможностям (он их не знал и ими не интересовался), а просто представление о том, что и творческие критерии, как и все остальные, существуют не на самом деле, а для блезиру и все как-то устраиваются.

Они что-то чувствовали, эти мальчики, но почти ничего не понимали. Прежде всего в человеческой жизни, в жизни уже упоминавшихся «молочниц и мамаш», в том, как она тяжело дается, и в том, что скрывается за ее приземленностью. Грех Сталина перед революцией некоторыми из нас сознавался, некоторыми отрицался или оправдывался, но проблема ощущалась всеми. Грех Сталина и самой революции перед страной не замечался вовсе. И только поэзия иногда выводила из этого тупика.

И все-таки все эти блуждания вплотьма имеют значение, хотя бы потому, что в конце концов — конечно, не скоро — привели к пониманию сути поэзии, а следовательно, и жизни. Конечно, не к разгадке ее «секрета», но к пониманию, что этот секрет есть. К более острому пониманию важности признания секрета и нелепости его игнорирования. А это вещи, нужные и сегодня, если наша страна и жизнь вообще будут продолжаться.

А тогда, в 1940 году, была юность, мне шел шестнадцатый год, и никто не знал, что полных шестнадцать мне стукнет уже не в Киеве, совсем в другом месте, при других жизненных обстоятельствах и другом жизненном опыте — в эвакуации.

В Европе война уже шла, но мы еще не воевали, хотя были уверены, что чаша сия не минует и нас. Но это была пора нашей юности. Она, несмотря ни на что, была одновременно и тревожной и безоблачной, мы пили эту безоблачность большими глотками, может быть, инстинктивно чувствуя ограниченность ее сроков. Но что война будет такой, какой она потом была, мы и представить себе тогда не могли. Эвакуироваться из своих домов, по нашим представлениям, предстояло немцам — если, конечно, успеют.

К этому времени меня уже больше всего на свете занимала поэзия. Все остальное — в связи с ней. И что-то существенное я стал в ней понимать. Каким образом — сказать трудно. Прежде всего, как уже говорилось, через Маяковского, стоящего в ней особняком. Потом через близкую мне тогда по духу революционно-романтическую поэзию двадцатых годов (поначалу всегда понятней ближайšie предшественники), явление хотя иногда и яркое, но межеумочное. Правда, начал я понимать и любить Блока, его лучшие стихи. Мое сегодняшнее отрицание некоторых тенденций его творчества, неоднократно мной высказанное, не изменило моего отношения к этим стихам. В большинстве из них он и теперь остается для меня великим русским поэтом. Открылся мне и Пастернак. Об Ахматовой и Мандельштаме я только слышал. Имя Цветаевой я впервые услышал лишь весной 1941 года, перед самой войной. И все же сквозь всю эту и иную путаницу в голове (о чем достаточно здесь говорилось) я уже что-то нащупывал. Рождалось ощущение формы как выраженной цельности внутреннего замысла (у многих до сих пор заслоненное «работой над формой», или «овладением формой»), а также представление об обобщенности, о том, что этот замысел не должен исчерпываться поводом, вызвавшим его к жизни, все равно, интимным или общественным переживанием он является. Формулы эти, конечно, не тогдашние, но ощущение в какой-то мере и тогдашнее.

А рядом с этим я чувствовал себя и старался быть ярым «футуристом», новатором даже. А также назло «мещанам», собственной сущности и в подражание Маяковскому — скандалистом. Все это, особенно последнее, шло мне как корове седло, но — *noblesse oblige!* Правда, часто за «скандализм» и я и другие принимали нежелание скрывать свое отношение к принятым нелепостям, попытки добиться справедливости и логичности в словах, с которыми к нам обращались (напомню эпизод в военном училище). Случалось мне и высказывать на всяких лекциях «О коммунистическом воспитании»¹⁶ с антимещанскими вопросами-тирадами, неадекватно резкими. А однажды я выматерился в доме одной «барышни» (наименование в нашем кругу презрительное), сокурсницы моих старших друзей-студентов. Причем в ее присутствии, в чем и была вся соль выходки, — этого тогда еще очень даже не полагалось. Именно для нее я и был приведен своими старшими друзьями в тот гостеприимный (по их мнению, богатый) дом — они считали свою сокурсницу глупенькой мещанкой. Вряд ли кто-нибудь из нас мог бы внятно объяснить, почему из-за этого следовало ее обижать, но в своем праве на это не сомневался никто. Возможно, она просто кому-то нравилась. Да и у меня самого она никаких отрицательных эмоций не вызвала. Но я считал своим долгом футуриста проявлять неуважение к нормам приличия и отчасти из-за этого купился, как говорится, на «слабó». «Сможешь?» —

¹⁶ Такие лекции тогда были популярны среди молодежи, собирали множество народу. Только в таком ракурсе можно было касаться любовной темы и морально-нравственных аспектов бытия. Впрочем, их связь с коммунизмом, со становлением мифического идеального «нового человека» казалась большинству посетителей вполне органичной, поскольку и коммунизм — кем сознательно, кем нет — противопоставлялся тому, что молодежь видела в жизни.

спросил меня кто-то, скорей всего Толя Баран, самый старший и единственно скандальный среди нас. «Смогу», — не колеблясь ответил я. Вот и был приведен.

Когда дошло до дела, мне уже совсем расхотелось хулиганить. Тем более приятели заставили меня читать стихи, которые очень умилили хозяйку. Но не таков был Толя Баран, чтоб отказать от своих планов. Он приступил к делу сразу же после чтения стихов и произведенного впечатления, прямо объявив, что вот он (то есть я) сейчас матюкнется. И повернулся ко мне: «Ведь матюкнешься, правда?» В ответ я и послал его куда подальше — совершенно даже искренне. Девушка рассмеялась и не обиделась. Может, сочла это новым веянием — ребята-то были поэты, элита курса, — вот и забежала вперед лет на двадцать, может, женским чутьем уловив чью-то игру. Не знаю. Что же касается меня, то удовольствия от своего антимещанского подвига я не получил. Но остальные были этой проделкой (в пушкинские времена это называлось бы шалостью) весьма довольны и со смехом рассказывали о ней приятелям — молоды мы еще были все, даже самые старшие из нас.

Я говорю «из нас», потому что к этому времени моя жизнь протекала уже не только в школе и в литкружке «Юного пионера», но только среди старых друзей, но я стал своим и в этом студенческом обществе, «младшим из компании ребят», если говорить словами одного моего более позднего, уже послевоенного стихотворения. Вообще моя жизнь складывалась так, что я большей частью бывал членом не одного, а двух или нескольких дружеских кругов. Круги эти никогда не бывали антагонистичными, чаще всего потом перемешивались, люди сближались и дружили уже без меня, но начиналось так.

Мне было очень приятно среди моих новых друзей. Буршевскими проделками вроде вышеописанной они больше, насколько мне известно, не занимались. Я просто часто заходил к ним, особенно к Яше Гальперину, который жил неподалеку, на Малой Васильевской, и чуть пореже к Марку Бердичевскому, жившему дальше, на Банковой. Кроме того, Марк занимался не только литературой — он учился на геологическом факультете и бывал больше занят.

Особенно мне запомнились встречи у Яши. Его семья состояла из четырех человек: его самого, отца, матери и сестры. Они четвером занимали две смежные комнаты в коммунальной квартире, в бельэтаже. Обычно мы сидели с ним в задней, уставленной книгами. Иногда там набивалось много народу. Бывала там и Яшина девушка, его одноклассница Надя Головатенко, о которой я уже говорил, — плотная и легкая, русоволосая, очень живая и милая, меня она звала Манделек. Были актеры из окружного военного театра, еще кто-то, приезжал из Москвы и ифлиец Люмкис. Потом, когда ребята поступили в университет, появились и уже упоминавшийся Толя Баран, и вернувшийся с финской войны Петр Винтман. Говорили больше всего о поэзии. Почти все эти ребята знали о ней гораздо больше, чем я, их поэтическая культура была гораздо выше моей.

Страшно подумать, что из всех этих ребят до конца войны почти никто не дожил, только Марк и я. Все, кроме Яши, погибли на фронте. Яша, которого не взяли в армию из-за хромоты, погиб в оккупированном Киеве. Мне много приходилось думать о том, как гибли в наше время люди — от насильий, от несправедливости, от террора. И конечно, я знал, во что обошлась нам война. Но чтоб вот так сразу: комната, полная людьми молодыми, талантливыми, которые столько обещали, — и уцелели только Марк и я, «младший из компании ребят», да еще где-то далеко от нас Надя Головатенко.

О ней когда-то говорили, что она предала Яшу. Я в это не верю. Я не встречал Надю после войны, но знаю, что она ее пережила и уехала из Киева. Знаю, что она отнюдь не избегала объяснений, а хотела их, даже сама на них шла. Но с ней не торопились объясняться: психоз первых послевоенных лет. Тем более что, по достоверным сведениям, они с Яшей перед его смертью разошлись, перестали встречаться, другими словами, она оставила его в трудный момент. Я понимаю, что благородного человека, от которого мы узнали о разрыве и который до конца оставался Яшиным другом, это оскорбило, но это ведь не доказательство такого страшного обвинения.

Правда, к сожалению, дело вообще было не столь просто. Примерно за месяц до смерти, весной 1943 года, Яша встретил «парня со своей улицы» по фамилии Левитин, полуеврея-полуукраинца, работавшего переводчиком в гестапо. Они никогда не были близки, но знакомы были. Поговорили и разошлись. Друзья, когда он им рассказал об этой встрече, посоветовали ему «лечь на дно» и просто не появляться на улице. И он залег — на квартире своего одноклассника. Здесь он получил записку от Нади, несмотря на ссору звавшей его поговорить, пошел к ней и... не вернулся. Друзья знали, что он пошел именно к Наде, и потому к ней вскоре явился один из них, Борис Коштелячук, и спросил: «Где Яша?» Вся в слезах, Надя сказала, что он здесь

был, что они поговорили и потом он ушел. А когда она взглянула в окно, то увидела, как к нему подошли Левитин с двумя немцами и увели с собой. Неизвестно, связана ли Надина записка с Левитиным (возможно, он заходил к ней и сказал, что она должна встретиться с Яшей и передать, как отвести нависшую над ним опасность) или вообще все это только совпадение, а Левитин просто выследил Яшу (вероятно, сам боялся и выслуживался). Сюжет показывает, что в самом крайнем случае этот Левитин запугал и обманул Надю, но никак не то, что она сама по каким-либо причинам его выдала. Она была потрясена случившимся. Кстати, никто ей не мешал выдать и тех, кто скрывал Яшу, — ведь она знала адрес. Да и Коштелянчука как пособника тоже, вместо того чтоб плакать перед ним. И никто не заставлял ее писать потом истерическое письмо Марку, где она клялась, что слухи об ее предательстве ложны, что она любила и любит Яшу. Тем более что она этим открывала свой адрес (она тогда жила не в Киеве), а «сотрудничество с врагом» тогда толковалось широко и каралось жестоко.

Нет, она не предательница. А что касается претензий к ее личной жизни, к тому, что она рассталась с Яшей, то тут вообще надо быть осторожными. Во-первых, мы просто не знаем, по какой причине это произошло, не знаем даже, она ли бросила. Но я допускаю худшее: бросила она, и по малопривлекательной причине — потому, что не выдержала тяжести, что у нее не хватило больше сил быть невестой человека, не имеющего легального права на существование. Но можно ли за это осуждать женщину? Конечно, находились люди — и женщины и мужчины, — чья любовь выносила и такую, временами казавшуюся безысходной тяжесть. Но это поведение, достойное восхищения и поклонения, а вовсе не норма. Людей, способных на такое, всегда мало. Никого нельзя третировать за то, что он до такого уровня не дотягивает. Судить — и любым судом — надо тех, кто заставляет людей испытывать себя таким образом, а не тех, кто не выдерживает такого испытания. Человек не рождается выносить такие перегрузки.

И я вспоминаю Надю с нежностью и жалостью — помню только ее юность, ее смех, ее «Манделек», ее уверенность в будущем своем счастье — и надеюсь, что жизнь не совсем обманула ее ожидания. Она тоже часть нашей судьбы.

Но все эти проблемы возникли потом. А тогда цвела юность, цвел Киев, наш Киев с его парками, садами, по которым мы бродили, читая стихи, балуясь, аукаясь, ведя серьезные и несерьезные разговоры, заходя по дороге в букинистические магазины, где мы искали Пастернака, а иногда и в кафе, в одном из которых, на Фундуклеевской, я впервые опрокинул в себя рюмку водки. Мы все очень любили друг друга и были счастливы. Это счастье было настолько скоропалительным (для меня), что почти забылось и вспомнилось только сейчас, к случаю. Ибо вскоре после начала войны оно было заслонено потоком трагических событий, потом — послевоенным антисемитизмом, особенно тупым и brutальным в моем родном городе, а потом внезапно и неприятно воскресшими более ранними воспоминаниями о Киеве, о которых здесь уже шла речь и которые никак не вязались с представлением о счастье. Но тогда мы все-таки были счастливы, несмотря на все страхи и сомнения недалеко ушедшего тридцать седьмого года. И, как это ни грешно, не было почему-то у нас никакого *momento mori* по поводу того, что наш Киев — это город, на тротуарах которого, как мы сами в детстве видели, еще недавно валялись умиравшие от голода крестьяне. Но тут мы не отличались от всех наших сверстников той поры, хоть это очень скоро аукнулось некоторым из нас более непосредственно, чем другим, очень страшно и совсем несправедливо. Вся жизнь после коллективизации была замешана на чудовищном грехе и грех рождала в ответ. Но сейчас я пишу о своей юности, которая у каждого человека одна, а у меня, как и у всех моих одногодков, она была еще очень коротка.

Жили мы все, точней наши родители, очень скудно и тесно. Квартирные условия Яшиной, например, семьи выглядели роскошно, а занимали они вчетвером две небольшие смежные комнаты в коммунальной квартире. Семьи большинства остальных друзей тоже жили в коммунальных квартирах (отдельная из всех моих знакомых была только у Жени), но занимали в них по одной комнате. Правда, снабжение в Киеве как столице Украины было хорошее. Это значит, что в магазинах были кое-какие самые элементарные товары, которые, правда, то исчезали, то появлялись, но они — были. Мне самому однажды пришлось занять с ночи очередь в пассаже (примерно в том доме, где после войны жил Виктор Некрасов), чтобы купить ботинки (самые обычные, я и тогда не был модником). Я полагал, что так живут везде. И только когда во время войны я столкнулся с довоенными жителями других городов (даже таких «крупных пролетарских центров», как Днепрпетровск и Свердловск), я понял, что довоенное снабжение Киева было исключительно хорошим. Но и узнав, воспринял это спокойно. И не только потому, что уже шла война, по сравнению с

которой все было хорошо. Просто мы так относились к жизни. Я не говорю о старших — о тех, кто помнил другое время. Помнить-то они помнили, но были подавлены — победная поступь иррациональности, захватившая их детей, давила их память и здравый смысл. Кроме того, все, что они могли сказать, было заранее дезавуировано пропагандой, объявлено результатом не преодоленных «родимых пятен» и вообще отсталости. Конечно, отсутствие представления об иной жизни помогало нашему «парению». Но дело было не только в неведении. До войны мы получили возможность воочию убедиться в том, что даже в таких, по общему признанию, не очень богатых странах, как Польша, Прибалтика, Румыния, люди живут гораздо богаче, чем мы. Но это на нас не действовало. Говорю «на нас», потому что это не моя личная особенность. Как бы всем нам, людям близких мне поколений, ни приходилось эмпирически барахтаться, а некоторым и ловчить (речь отнюдь не только о фанатиках, интеллектуалах или «идеологах», а обо всех), в целом мы, люди, начавшие жить и понимать в новую эпоху, относились к общим условиям жизни спокойно, как к данности. Не только не сознавали своей обделенности, но чувствовали себя во времени хорошо и свободно, гордились своей современностью и сознательностью.

Все это достаточно алогично. Иногда мне даже кажется, что тут действовало нечто иррациональное — например, космическое облучение, влияющее на чувства и мысли людей (согласно профессору Чижевскому). Но если это даже так, все равно действовало и представление о жизни как о некоей служебности и подсобности, а о всех ее благах — как об удобствах на биваках во время перманентного, вечно длящегося и вечно стремительного похода неизвестно куда и зачем. А что важно на биваке? Переночевать, подкрепиться — и снова в поход. Сталину такая психология очень даже пригодилась, он умело использовал ее, старался внедрить как можно глубже, но выдумал ее не он.

Из этого можно сделать ложный вывод, что весь народ тогда вдруг ни с того ни с сего ударился в безоглядный фанатизм, чего и в «романтические» двадцатые годы не было. Тогда партия на это даже не претендовала (прямо признавалось, что в целом народ хотя и идет за большевиками, все же до высоты их идеологии пока «не дорос»). А уж при нас этого и подавно не было. Нет, большинство людей в своей частной жизни оставались самими собой: как могли выкручивались и увертывались, даже помогали друг другу выкручиваться и увертываться от этой напасти, но — в индивидуальном порядке, не делая опасных, то есть жестоко наказуемых обобщений. Так что нельзя отрицать и роли террора в формировании и поддержании такого сознания, такого представления о жизни.

Так или иначе, представление это все равно присутствовало в атмосфере времени, в подсознании. Не очень глубоко — потом в плену и в оккупации оно у многих на время или навсегда испарялось, — но присутствовало. Я ведь жалел девочку Адю за то, что ей предстоит жить при капитализме. И это года через два после трупов на киевских улицах.

Как это получилось? Как ни странно, думаю, что это получилось в значительной степени само собой. Просто власть, контролируя коммуникации, а это она считала не только своим правом, но и обязанностью, овладела языком общения, получила контроль над мышлением. Вряд ли это было результатом сознательно сформулированного плана — таких высот постижения законов психологии большевики никогда не достигали. Но они вышли к этому эмпирически, и многие из них сами потом оказались жертвами возникшей в результате их деятельности реальности, точнее антиреальности, возможности которой столь чутко уловил Сталин.

Антиреальность эта следующими поколениями не осознавалась, но гнет ее они чувствовали. И единственной иллюзией освобождения от ее гнета, единственной возможностью противостояния — пусть только эмоционального — бессмыслице сталинщины была романтика. Любая. Отъезд по приказу и призыву (обязательно далеко, лучше всего на Дальний Восток), война в Испании, даже в Финляндии и т. п.

И вместе с этим протест против... покоя и сытости:

И мы уходим в синие дороги
От сытых снов и сытого житья,—

писал Яша Гальперин. О том, какие были вокруг и позади нас тогда покой и сытость, здесь уже говорилось. Но что-то ведь имел в виду и автор этих стихов, а также все, кому они нравились. Конечно, кое-что шло от традиции, от дурной школы популярного тогда среди нас Багрицкого, но кое-что и от нашей пусть причудливой, но все же реакции на жизнь. Ведь такие по духу стихи вполне мог бы тогда написать и я. Неприятие духоты мы принимали (и, что греха таить, хотели принимать) за неприятие сытости и мещанства.

Конечно, вскоре нам пришлось убедиться, что это не совсем так. Волей судьбы вскоре в «синие дороги» уйти пришлось нам всем (а многим на них и остаться). Они действительно были без всякого намека на сытость, почему часто и отливали синевою, но романтики в них не было, и от «мещанства» они не уводили. Конечно, встречались на этих путях, прежде всего военных, — и отнюдь не редко — и героизм и благородство. Но были они неотрывны от житейской обыкновенности и земной грешности — короче, имело это все другой характер и иную природу, чем наша романтика. Это соприкосновение с народом для тех, кто уцелел, было живительным и обогащающим. Но когда мы до войны говорили и писали об этом, мы, в сущности, не знали об этом ничего. Так же как и тогдашние московские «студенческие» поэты, в том числе и погибшие на войне Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий. И только с этим настроением было у многих связано ощущение полноты и осмысленности жизни. Не было ничего другого, за что можно было ухватиться. В Киеве больше всех отдал этому дань в своих стихах Яша:

Полуистлевшие расскажут фото
О наших лицах, смуглых и суровых,
Пластинки, уцелевшие от бомб,
Заговорят глухими голосами,
Отличными от наших голосов,
И рыжие газетные столбцы
Откроют наспех деланные сводки.

В глубокодумье мемуаров сыщут
Крупинцы наших мыслей и страданий.
Из строк возьмут тяжелые слова,
Рожденные в затишши боев,
И, верно, будут удивляться, как
Могли мы думать о траве и небе.

Но никогда сердцами не поймут
Ни нашей скорби по убитым, ни
Молчания умерших городов,
Еще дымящихся... Ни неумной,
Как голод, ненависти... И ни той
Бесовской гордости, что нам одним
Дано и выстрадать и победить.

Настроение это было свойственно тогда многим молодым идеалистам. Вспомните строки Павла Когана о мальчиках будущего, которые, проснувшись, «будут плакать ночью (имеется в виду — от зависти.— Н. К.) о времени большевиков», или большое стихотворение Николая Майорова «Мы и многое другое».

Помню, как, приехав после войны в отпуск из армии, Борис Слуцкий, их ровесник и товарищ, все допытывался у меня, ощущаю ли я свое поколение (тогда еще возрастная разница между нами, сегодня незначительная, не только казалась, но и была существенной) просто очередным «дежурным» поколением или, как ощущали себя он и его товарищи, поколением совершенно особым, которому выпала особая историческая роль. Но я ничем не мог ему помочь — такой «окрышенности» у меня и моих сверстников уже не было. Да и у его сверстников она значительно слиняла. Кульчицкий успел еще в начале войны, до своей гибели, написать вполне антиромантическое стихотворение «Мечтатель-фантазер, лентяй-завистник». Д. Самойлов потом, вспоминая об этом времени, говорил о ребятах, «что в сорок первом шли в солдаты / И в гуманисты — в сорок пятом». Это существенная «смена вех» — в сорок первом эти ребята не были гуманистами даже по отношению к самим себе. Слуцкий «продержался» дольше всех. Но «продержался» чисто теоретически. Высшие достижения его творчества, коих, как известно, у него немало, а следовательно, и его подлинная человеческая сущность, совсем в другом — в прямо противоположном отношении к жизни и людям. Он был поэтом.

Сегодня все это уже в прошлом. Нет ни Самойлова, ни Слуцкого, ни Наровчатова, ни многих других людей, с которыми я потом так или иначе тоже дружил всю жизнь, порой нелегкую и опасную. Но во времена, о которых идет речь, я еще не обо всех из них даже слышал.

Но они доходили до нас всякого рода московскими «веяниями» через наших ифлийцев — Муню Люмкиса, Толю Юдина и Сарика (Семена) Гудзенко. Сарика я потом хорошо знал в Москве, но в Киеве видел только однажды мельком, Муню Люмкиса видел в Киеве и встретил в 1942 году в Свердловске, а видел ли когда-либо Толю Юдина, вскоре погибшего на фронте, я вообще не убежден. Но слышал о нем много (и только хорошее), хотя он единственный в этой компании не был поэтом.

И слышал именно как об одном из нашей компании. Поэтому запросто его и называю Толей — «мертвые остаются молодыми».

Вероятно, «бесовская гордость», о которой говорилось в Яшинных стихах, тоже была привезена в Киев кем-либо из этих ребят. Не помню, чтоб она тогда произвела особенно большое впечатление именно на меня, хотя по малолетству я ее принимал, но Яшины стихи нравились. У него были еще хорошие стихи на эту тему, более заливчатские (привожу что помню):

Я говорю: быть может, скоро
Мы все подохнем, тамада,
И пепелищем станет город,
Где мы родились, тамада,
Опустится старинный ворон
На Золотые ворота.

Мы слушаем тебя, страда!
Плоты стучат, и воздух горек.
Но что из этого — который
Мы тост подыдем, тамада?

Я говорю: когда беда
Близка — с любимыми не спорят.
К любимым рвутся, тамада,
С которыми обычно в споре,
Как рвется из консерваторий
Рев струн и меди, тамада!

Дальше я помню только самый конец. Оказывалось, что «мы пьем»

За солнцем взятые просторы
Взахлеб грохочущей весны.
За зелена, за ветер спорый,
Летящий наискось в весну.
За то, что мы еще поспорим,
Еще поспорим — за весну!

В этом стихотворении звучит та же жертвенность, что и в предыдущем, что и у Когана и Майорова, но она не утверждается, из нее исходят как из очевидности. Мы выбрали эту судьбу, мы согласны погибнуть, но пока можно — мы живем, и давайте веселиться. И трогает это стихотворение упоением жизнью, каким-то трагически-мажорным тоном. И все-таки мы тут не только жертвенность, не только «добровольный навоз истории», все-таки — «мы еще поспорим, еще поспорим за весну».

Впрочем, у Яши проскальзывали и другие тональности:

Вселенные рождаются и канут
В небытие. Но ты вечна,
Привычка умниц — поднимать стаканы
И не скулить в глухие времена.

Это из другого пиршественного стихотворения. Строки поэтически, может быть, и наивные (автору было восемнадцать, и он только начинал), но с попыткой иного самосознания. Тут уже не героические ужасы предстоящей последней войны за мировую гармонию, не «бесовская гордость» за грядущее участие в ней, а «только» пир «умниц», противопоставленный глухим временам. Но так далеко он заходил редко, заносили волна стиха и подспудное чувство реальности, естественная и непосредственная реакция на нее. В принципе Яшу, как Кульчицкого, Майорова, Когана и других, эта «бесовская гордость» тоже волновала и утешала. Увлекало то же стремление уверить самих себя, что век наш хоть и суров, но не бессмыслен, что мы в трудных условиях и без пресловутых «белых перчаток» боремся за коммунизм, творим нечто небывалое. И — более того — способны и имеем право нести свет своего опыта другим странам и народам.

Эта неосновательная, воистину бесовская, безвыходная, как все бесовское, гордость, да еще в ее сталинском варианте, для каждого из нас в свое время рухнула и рассыпалась, обернулась стыдом и неловкостью. Яше в ее иллюзорности пришлось убедиться очень скоро, намного раньше, чем нам, его друзьям, и большинству людей его склада вообще. И в самых страшных для него обстоятельствах — в оккупированном Киеве. Судьба была на редкость несправедлива и жестока к нему.

Впрочем, его жизнь в оккупированном Киеве требует особого рассмотрения. Это несколько выбивается из хода моего повествования — это не моя биография и даже

не моя память: во время оккупации меня в Киеве не было. Но я видел многих людей, которые тогда в нем жили, видел их по обе стороны советской границы, знал Яшу и знаю, что происходило со страной. Этого мне кажется достаточно для той отнюдь не беллетристической и не повествовательно-бытовой реконструкции, которую я хочу предпринять. А судьба его хоть по сюжету и не типична, но очень существенна для понимания нашего времени и нашей, в том числе и моей, судьбы. Что-то наше общее в ней проявилось острее, чем в судьбе большинства из нас.

Почему Яша застрел в Киеве, читателю уже известно. Его хромота исключала зачисление в армию, и он вступил то ли в ополчение, то ли в истребительный батальон — добровольческое формирование, несшее караульную службу и занимавшееся вылавливанием парашютистов-диверсантов. Я его встретил перед своим отъездом в гастроном на углу Красноармейской и Саксаганского, там он мне сообщил об этом. Настроение его было приподнятое, как у человека, чей звездный час приближается. Я же уезжал из Киева вместе с родителями, уезжал неохотно, утаскиваемый материнским почти истерическим страхом, и испытывал по этому поводу комплекс неполноценности. Это была наша последняя встреча. Уехали мы вскоре после этого, приблизительно 9 июля, и я не знаю, как он жил в последующие два месяца, до 19 сентября 1941 года, дня, когда немцы вошли в город. Не знаю, чем занималась часть, в которую он вступил, и занималась ли вообще чем-либо. В царившем тогда беспорядке ее и просто могли не использовать, да и вообще не собрать. Знаю только, что у Яши такой порыв был и что он из-за него остался. Возможно, потом, ощутив военную бесполезность своего пребывания в городе, он не прочь был бы и уехать — предположить это вполне можно, но знать точно нельзя. Впрочем, практического значения это «потом» уже не имело бы все равно — Киев оказался в окружении. 19 сентября немцы медленно и церемонно вошли в Киев. Многие их приветствовали вполне искренне. Яша это видел.

Рассказывая о его трагедии в оккупированном нацистами городе (я вовсе не хочу сказать, что все немецкие солдаты и офицеры были нацистами, но город оккупировали нацисты, во власти которых находились и они), я меньше всего хочу рассусоливать очевидное. Читатель уже знает, что в конце концов нацисты Яшу «разоблачили» и расстреляли. Его уличили в том, что он в действительности еврей и что фамилия его Гальперин. Так что никакой фальсификации допущено не было и нормы гитлеровско-розенберговской законности нарушены не были. Во всяком случае, гораздо меньше, чем нарушило советские нормы сталинское МГБ, написав в обвинительном акте против моей приятельницы, что она полностью изобличена в том, что является дочерью ранее разоблаченного врага народа такого-то. Во-первых, ее не надо было изобличать, ибо она своего родства не скрывала, во-вторых, состоять с кем бы то ни было в родстве и жить при этом среди людей юридически в СССР не запрещалось. А быть человеком еврейского происхождения в гитлеровском рейхе и на территориях, им оккупированных, и жить при этом в обществе (на самом деле не только в обществе — просто жить на земле, но это законодательно не объявлялось) юридически было запрещено. Правда, сами эти «юридические нормы» человечество объявило преступными, но это уже потом. Впрочем, о том, что его происхождение кается смертью, Яша ни до оккупации, ни в первые дни оккупации знать не мог. Первый в мире открытый акт массового и поголовного истребления евреев был совершен в его родном городе, в Бабьем Яре, но только 29 сентября 1941 года, через десять дней после начала оккупации. А до этой даты никто, в том числе и Яша, ничего подобного представить себе не мог. Даже немецкий приказ о явке евреев на место казни был понят буквально, как был написан, — как приказ о выселении евреев в другие местности. Да он и без того был достаточно жестоким, грубым и оскорбительным, так что в свете «нового порядка» выглядел реально. Что происхождение при этом порядке обрекает на унижение, издевательства, погромы — это Яша, наверно, представлял хорошо. И, надо думать, сразу начал мимикрировать. Естественно, он не переставал это делать и после Бабьего Яра.

Безусловно история юноши, которому запрещено существование на земле, и прежде всего в городе, где только что так ярко цвела его юность, история юноши, чье существование на земле зависит от случайной нежелательной встречи на улице, которому любой косой взгляд как автоматная очередь, который вечно скрывается и которому ежесекундно грозит, а потом вследствие случайности, оплошности или предательства наступает «разоблачение», — достаточно тяжела и драматична сама по себе, чтоб волновать и ужасать. Но таких историй, в которых нормальный, ничего никому дурного не сделавший человек выступает как дичь, за которой охотятся, которой повсюду расставляют силки и капканы, было тогда множество. Было их много и в первые годы советской власти, когда преследовали за социальное происхождение, да этого и потом хватало. Но я сейчас пишу о Яше, а его преследовали,

«разоблачили» и убили не домашние рыцари классовой ненависти, о которых я не раз писал и буду писать, а германские нацисты, которых здесь разоблачать ни к чему¹⁷, о них уже достаточно написано. Да и нацистские преследования таковы, что за ними исчезает индивидуальная судьба — они видели в Яше лишь его происхождение. Это не просто преступно, но и ублюдочно. В моем рассказе нацисты будут только страшным фоном, драконом над городом, которому надо не попасться, Тартаром. Все это могло в любой момент отнять у него жизнь, но к этому он был пусть не морально, то хотя бы логически готов, во всяком случае это не могло его поразить.

Но в жизни оккупированного города в те страшные дни была еще одна сторона, которая была вполне способна его поразить и имела отношение к его подлинной судьбе, что бы с ним ни случилось потом. Оккупация не только угрожала его жизни, но этой своей стороной она еще неожиданно подрывала и веру в абсолютность его правоты, до того для него очевидной. А к этому он никак не был готов. Как любой бы из нас тогда на его месте. Но к этому уже ни немцы, ни даже только нацисты отношения не имели. Разве что только косвенно, тем, что из-за них перестала действовать власть сталинских репрессивных органов и развязались языки, заработала оглушенная память. Вылезла из всех щелей и заголосила своим неопровержимым, хоть и не всегда приятным голосом доселе подавляемая и подменяемая правда нашей внутренней жизни — той жизни, в которой и он и мы в последние месяцы перед войной, несмотря на все наши тревоги и сомнения, были счастливы. И которая теперь ему, вероятно, должна была вспоминаться как светлый сон. И правда эта оказалась прежде всего правдой отчаяния, а часто и ненависти.

Впрочем, так ли уж это было для него неожиданно?

Ведь о такой возможности говорилось, она предполагалась. Мол, если что случится, то при таком населении не жди добра. Из «этой оперы» и все рассказанное мной выше о нашем дворе, и приведенные мной слова моего приятеля о «крестьянах, вышедших в города». Но ведь трезвые мои оценки положения и отношение к проблеме — сегодняшние, а не тогдашние. Тогда же, хоть я таких слов о бывших крестьянах не произносил, я тоже рвался «в завтра, вперед» и презирал всякую косность, к которой относил и любую личную обиду на советскую власть, тем более в ее столкновении с «идиотизмом деревенской жизни». Несмотря ни на что, несмотря на ежедневные столкновения с реальным, а не доктринерским идиотизмом этой прогрессивной власти. Все равно — для нас за ней был прогресс, а за теми — косность. И я, конечно, предполагал, что в случае чего эта «косность», к тому же оскорбленная, еще «нам» аукнется (истинных масштабов этого «оскорбления» я, несмотря на трупы на улицах в детстве, тогда не представлял, да они и были непредставимы). «Нам» — это всем советским, прогрессивным гражданам, самой власти, а не евреям, как сегодня хотелось бы истолковать мои слова некоторым. Впрочем, и евреям тоже, хотя большинство евреев вокруг вовсе не были прогрессивны и «не рвались в завтра», а по нашей же раскладке были мещанами. Просто мы знали: реакции и косности всегда сопутствует антисемитизм, и у каждого был за спиной такой двор, как наш.

Читатели, которые захотят увидеть причину такого мироощущения в еврейском происхождении, безусловно найдутся. Но это не так, распространенность этой общественной болезни гораздо шире и сидит она глубже. Я помню один горячий разговор, состоявшийся году в 1952-м в общежитии карагандинского горного техникума, где я учился после ссылки. Мои товарищи рассуждали о том, как может быть плохо в Караганде в случае войны или вражеского десанта. Ведь кругом — обозленная сволочь, от которой добра не жди. Пикантность этих филиппик заключалась в том, что это была Караганда и сами обличающие были из ущемленных и властью рассматривались как обозленные. Это были дети раскулаченных, загнанных сюда бедой, и немцы, обязанные каждые десять дней отмечаться в спецкомендатуре и получать разрешение на поездку к родителям даже в рядом расположенный Темиртау. И все-таки они ощущали себя причастными к некоей высокой правде, с высоты которой они никогда ни на что не обзываются в отличие от окружающей их мутной темноты. Это были хорошие и порядочные парни. Когда после сообщения о врачах-«убийцах» я открыто при всех сказал, что это все неправда, мне не поверили, однако промолчали, щадя мои чувства. Но, главное, ни один не донес, а слышали это человек десять. И вот у этих же ребят при личном их опыте — такая озабоченность, такая не свойственная им гордыня: как здорово умели нам ее внушать! Это

¹⁷ Разумеется, и нацизм может еще раз воскреснуть. Но не потому, что он недоразоблачен, а потому, что есть люди, которых тяготит христианская цивилизация. Это мышление особого рода, не признающее общечеловеческой морали и даже не подменяющее ее, как коммунизм.

было с пострадавшими и уже в начале пятидесятых. Чего же можно было требовать от нас довоенных, тогда еще лично не пуганных...

Короче, сама встреча с этим «духом подвалов», с этой косностью, с этим «идиотизмом экс-деревенской жизни», как она ни была неприятна, не могла быть для Яши открытием и потрясением. Открытием и потрясением для него было то, что идиотизм этот «идиотизмом» был и казался только издали — пока помалкивал в тряпочку, изредка нечленораздельными воплями проявляя подавленную ярость. А когда он открыто заговорил, он оказался отнюдь не идиотизмом и вполне мог сказать кое-что в защиту своей правоты и в оправдание своей ярости. Я сейчас говорю не об оправдании чьего-то поведения — оно было у каждого свое и у каждого свой ответ перед Богом. Но правота ярости тех, кто до этого страдал и помалкивал, сегодня не вызывает сомнения ни у кого из выживших Яшиных друзей. Путь к осознанию этой правоты проделали все мы, но не сразу, в более зрелом возрасте, да и в менее трагических личных обстоятельствах. И когда последствия «великого перелома» если не улеглись (они не скоро и не просто улягутся), то все же потеряли остроту. На Яшу же все это свалилось в одночасье, в восемнадцать-девятнадцать лет, и в обстоятельствах запутанных и жестоких и по отношению к нему и вообще. И всего через восемь лет после этого «перелома». Для моих сверстников, кому в сорок первом было около шестнадцати (даже если «перелом» коснулся их семьи), это было давно, полжизни, точней всю сознательную жизнь назад. Но для тех, кому тогда было двадцать шесть, это вовсе еще не было плюсквамперфектум. И если их «ломали» восемь—двенадцать лет назад, то рана от этого перелома еще и сейчас была достаточно свежей — жгла. И требовала возмездия. Справедливого? Это уже зависело от индивидуальных качеств взыскующего. Не говоря уж о том, что справедливость возмездия, гарантом которой выступает Гитлер, вообще сомнительна.

Но боль сомнительной быть не может, и редко она сомневается в своей правоте. В довоенных дружеских компаниях, в которых вращался Яша, можно было этой боли не замечать, тем более что мы с ней прямо не соприкасались, а она о себе помалкивала. Ее легко было списывать на издержки прогресса или философски оправдывать пресловутой исторической необходимостью.

Но попробуйте прямо сказать в лицо живому человеку, который ничего дурного ни вам, ни вообще не сделал, или даже просто подумать, что все оскорбления и несправедливости, часто наглые и хамские, которые на него обрушились, исторически необходимы, что его и следовало и ограбить и вместе с женой, родителями и малыми детьми выгнать из родного дома, да и вообще полностью отдать их в руки самых ленивых и бессовестных пьяниц их села, потому что когда-нибудь это приведет ко всеобщему счастью! Тут при любом вашем юном доктринерстве язык застрянет в гортани. А ведь этот живой человек уже не молчит, он требовательно спрашивает: «Как же так? С нами это было, а вы жили — не замечали. А вот теперь, когда так же поступают с вами, вы небось замечаете...»

Я здесь взял случай умеренный — все-таки при всех претензиях тут нет истерического: «Это вы все сделали!» Хотя и с этим вопрошанием тоже не все в порядке. Это «вы» здесь не совсем правомерно. «Так же» пока, в начале оккупации, поступали только с евреями, с теми, кто не успел или не захотел уехать. Среди них почти уже не было парработников и совсем немного таких «идеалистов», как Яша. В основном это был люд или бедный, или «бывший» (как мой дядя), другими словами, больше терпевший, чем «не замечавший». И страдающий сейчас не по своим грехам, а потому, что Гитлер был «рыцарем» своей жлобской и античеловеческой идеи, замешанной на ненависти, только не классовой, как у Ленина, а расовой — кстати говоря, ничего хорошего не сулившей в будущем ни русским, ни украинцам. В сущности, он и не скрывал этого, ибо в отличие от Сталина не идеи подчинял прагматике (иногда кажущейся, но здесь это не важно), а прагматике идее. Но так или иначе, по отношению к большинству оставшихся тогда в Киеве евреев это «вы» было и несправедливо и, выражаясь по-научному, некорректно.

Да, по отношению к большинству... А как по отношению к самому Яше? И ко всем его друзьям разного происхождения? По отношению к общему нашему ощущение счастья над подобной бедой? Да, в этом не было уголовного преступления, мстить за это — особенно смертью — могли только ублюдки. Но грех — был. Да, он отнюдь не был специфически еврейским, он относился к большинству советской учащейся (и не только учащейся) молодежи, но он — был. И дело было не в тех, кто «мстил» (кому ни попадя, поскольку дозволили, как Кудрицкий), а в тех, кто вопрошал.

Конечно, можно было по старинке обзывать в душе всех этих людей мешанами и как-то внутренне держаться, дожидаясь, когда придут наши. Но в винницком парке открывалась кровавая яма с месивом тел — в ней «наш» НКВД тайно хоронил своих

расстрелянных. Люди узнавали своих родных, близких. Почему-то руки убитых были связаны, а губы сшиты колючей проволокой... От этого и сегодня тошно, а тогда? Тем более если принять во внимание фон, на котором все это открывалось, — на каждую такую яму у гитлеровской пропаганды немедленно находилась свой виновный в ней «комиссар Хаим Рабинович». Имя «комиссара» варьировалось, но особой выдумкой себя эта пропаганда не утруждала — лишь бы не выходило за пределы примитивной экзотики еврейского анекдота. Серьезной критики эти сообщения, конечно, не выдерживали. Тогда не было комиссаров, отходила в прошлое экзотичность имен у функционеров. Кроме того, количество евреев среди руководящих энкаведистов (как и вообще среди функционеров) после 1937 года быстро сокращалось, и, конечно, отнюдь не все расстрельщики были евреями. И уж тем более не все евреи расстрельщиками. И в любом случае Яша не нес ответственности за эти ямы. Но при виде расстрельных ям логика умолкала. Да и кто его знает, кто нес за них ответственность? Может, и впрямь названные немцами комиссары? Было от чего голове пойти кругом. «Как же так? — могли его спросить самые доброжелательные люди, понимавшие, что смешно его винить в этих преступлениях. — Вы же считали эту власть своей. За нее воюют ваши друзья».

А в газетах шел поток страшных воспоминаний — тех, кого пытали, добиваясь фантастических самооговоров, кого выгоняли на мороз из собственных домов, у кого на глазах умирали от голода их дети, мужа, родители. Иногда эти воспоминания подавались в новом, гитлеровском духе, чаще они бывали просты и бесхитростны. Но рассказывали и те и другие правду. А Яша по природе был художником, он умел отличать правду от лжи. Да ведь он и раньше кое-что из этого (не все, конечно) знал, просто, как все мы, прощал, исходя из того, что революции не делаются в белых перчатках. Он просто впервые осознал, что такое эта грязь, на которую он якобы соглашался и котбррой так противопоставлены белые перчатки. Но он не знал, что и эти перчатки, и презрение к ним, и сама революция как высшая ценность бытия — все эти вещи не открыты им, а ему внушены. Как и большинству других. В том числе и тем, кто сейчас готов был валить это все на него. Это последнее могло и должно было вызывать презрение (если он не был совершенно раздавлен ситуацией). Но вопрос «как же так?» все равно не мог не приходиться ему в голову.

Я полностью отдаю себе отчет, что это «возвращение правды» происходило в обстановке чужеземной, да еще нацистской, оккупации, мало подходящей для какого бы то ни было катарсиса, что правда эта допускалась другой кривдой только потому, что была или казалась ей в тот момент выгодной. Я вполне согласен с духом и смыслом строк Николая Глазкова, сказавшего:

Господи, вступи за Советы,
Сохрани страну от высших рас.
Потому что все Твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас.

Я бы, пожалуй, только заменил слово «чаще» на что-нибудь вроде «откровенней» или «наглее», а так у этого, по общему убеждению, едва ли не самого независимого поэта как предвоенного, так и послевоенного поколения все верно. Кем бы ни был Сталин, все равно Гитлер оставался Гитлером. И связывать его имя со справедливостью не приходится.

Конечно, и правда от внешних обстоятельств не перестает быть правдой, тем более правда боли. Но оттого, что возможность ее выражения была связана с победами и духом нацизма, эта возможность не освобождала и не окрыляла, а наделяла новой тяжестью. Людей не очень высокого пошиба она еще глубже погружала в духоту слепой, парализующей дух ненависти. Остальным приходилось хитрить с немецкой властью, как привыкли хитрить с советской. Я встречал и в тюрьме и на Западе много людей вполне порядочных, оказавшихся во время войны на стороне противника, связавших с ним свою судьбу. Подлецов среди них было никак не больше, чем в любой другой группе наших людей. Я далек от того, чтобы решительно осуждать их за этот выбор. Ведь правду о коллективизации и прочих большевистских и сталинских художествах они начали понимать не в 1988 году, как многие из нас, не к концу пятидесятых, как я, а по крайней мере — и то в том случае, если сами этого не пережили, — уже тогда, в 1941-м. Что они должны были делать? У меня нет ответа на этот вопрос. Они, наверно, сделали неправильный выбор, а какой был правильный, если выбор у всего человечества был между Сталиным и Гитлером? Просто перед ними он стоял более непосредственно, более жестоко и более безысходно, чем перед всеми другими. А как он стоял перед девятнадцатилетним Яшей, которому вдобавок официально запрещалось существовать на земле?

Я здесь почти не пишу о Бабьем Яре. Не пишу потому, что эта акция целиком германская, германскими в ней были и идеи, и тактический замысел, и вооруженные соединения, этот замысел воплотившие. Даже дивизии СС «Галичина» эта честь доверена не была. Конечно, находилась мразь, которая постаралась на этом нажиться. Были, например, возчики, подражавшиеся отвозить разрешенный еврейский скарб на сборные пункты (ведь говорилось-то о переселении), а потом, смекнув, в чем дело, кнутом и вожжами, с ругательствами отгонявшие хозяев от этого скарба. Но мразь такая есть всегда — важно, разрешают ли ей проявиться. Впрочем, это ничего не меняло — ограбленным недолго оставалось тосковать о потерянном имуществе. Конечно, косвенно эта акция повлияла на атмосферу городской жизни, но поначалу даже не все антисемиты ее одобрили — смущала сама по себе поголовность. Еще и потому, что в ней проявилось отношение нацистов к другим народам вообще, а это наводило на невеселые мысли.

Мало пишу я про Бабий Яр еще и потому, что пишу о Яше, он туда не пошел. Да, не пошел, тем самым нарушив приказ немецких властей. И потом еще много месяцев безнаказанно жил в Киеве. И даже куда-то выезжал для выменивания орденов.

Следовательно — была такая возможность. Следовательно — были люди. И это имеет отношение к моей теме. Быть людьми было тогда нелегко. Опасность окружала со всех сторон. И исходила она не только от патентованной мрази. Хотя и мразь нельзя сбрасывать со счета. Того же Кудрицкого. Ведь есть предатели из удовольствия, испытывающие «творческий подъем» от возможности таким образом вершить судьбы других людей. Плохие времена поднимают всю эту нечисть на поверхность. Такие люди представляли опасность для Яши с первого дня. Они рыскали, вынюхивали, из-за них приходилось ежеминутно быть настороже. Но, во-первых, тип этот был знакомый и понятный еще с довоенных времен. Борис Филиппов в одном из очерков вспоминает об одном таком человеке. Он произносил, подозрительно следя за реакцией слушателей, не терпящие возражений неграмотные речи о верности товарищу Сталину, и его все побаивались. А потом, при перемене декораций, стал в той же манере блюсти идеологическую верность «товарищу Хитлеру», и его опять побаивались. Все, даже приставленный к власовской газете от германской армии немец, унтер-офицер, бывший петербургский гвардеец — «павлон», как он сам себя называл. Но все эти подлецы представляли только физическую опасность для Яши, в тех условиях, может быть, для него решающую, но вызывали презрение и не подрывали духа.

Но были люди, действительно оскорбленные тем, что открывалось в недавнем прошлом, или тем страшным и невыносимым, что они пережили, впервые получившие возможность говорить о своей боли и правоте, но примитивно жаждавшие мести. Тоже с первого дня. Однако те, кто был виновен, были далеко, а многие из них, к слову сказать, даже расстреляны самим Сталиным. Их было не достать. Но гитлеровская пропаганда усиленно, хоть и топорно, разрабатывала версию о тотальной виновности евреев. Это было соблазнительно — евреи тогда для многих, особенно на Украине, ассоциировались с властью¹⁸ и в то же время они, в отличие от власти, были под рукой. Палачество порождает палачество.

Эти люди становились на скользкий путь мщения кому попало, их «как же так?» было требовательным и несправедливым, их тоже надо было опасаться, против них надо было принимать меры предосторожности, но той безусловной правоты перед ними, в которой он нуждался, Яша чувствовать не мог.

Но «как же так?», вероятно, говорили Яше и люди, которые никаких счетов с ним не сводили, которые так или иначе его скрывали и прикрывали. Особенно в начале оккупации, в медовый месяц дружбы германских властей с украинскими националистами, когда последние чувствовали себя, что называется, на коне, считая себя не клеветами, а союзниками Германии в борьбе с большевиками. Роман этот кончился очень быстро. Гитлер скоро решил, что он и так победит и никакие союзники ему не нужны. И однажды ночью все активисты и функционеры украинского движения были арестованы, а многие и расстреляны. И скоро он получил в тылу своих войск УПА — Украинскую повстанческую армию (бандеровцев). Впрочем, это вообще его почерк. С русскими он вел себя еще глупей — жадность фюрера сгубила.

У меня очень мало сведений о Яшиной жизни в оккупации. Все получены от Марка Бердичевского и добыты им в послевоенном Киеве. В эмиграции, где еще

¹⁸ Евреев — активистов и функционеров действительно тогда было много. Но они никогда не были большинством этого слоя, а в последние годы их удельный вес в нем быстро падал. Да и исходило все не от них.

недавно было довольно много киевлян, живших в городе при немцах, мне ничего о Яше узнать не удалось. Он был поэтом, но ни Николай Морщен, ни ныне покойные Иван Елагин и Ольга Анстей — поэты, жившие тогда в Киеве, — не слыхали ни его имени, ни псевдонима. А ведь он точно жил в Киеве и даже печатался под псевдонимом Яків Галич. Может, так происходило потому, что печатался он главным образом по-украински и выдавал себя за украинца, а тогда это выглядело вроде как конъюнктурно. Но вряд ли это так. Ольга Анстей сама писала по-русски и по-украински. Может, сказывалась возрастная разница? Они были несколько старше, чем он. Не знаю. Чтоб понять, почему это произошло, надо лучше, чем я, представлять жизнь оккупированного Киева.

Знаю от Марка, что какие-то украинские интеллигенты, в каком-то ограниченном смысле поставившие на «новый порядок», первые приняли в Яше участие. Прежде всего речь идет о представителе видной украинской семьи (из которой вышла Леся Украинка) Светозаре Драгоманове, с которым он познакомился в начале войны. Он, пользуясь своим влиянием, добыл Яше фальшивые документы, объявив, что Яша сын его расстрелянного большевиками друга Галича и только был усыновлен евреем Гальпериним. Яша долго жил у Драгомановых, он так и остался в этом кругу — особенно расширять знакомства ему не было резона. Они безусловно знали, кто он такой, но покрывали его. Общаться с ними ему было нетрудно — он блестяще владел украинским, он ведь окончил украинскую школу. Как и все мы, он любил украинскую поэзию. В этом кругу он близко сошелся с поэтом Борисом Коштелянчуком, человеком в высшей степени благородным и талантливым, который сам на этот «новый порядок» не ставил ни в коей мере, — сужу по его стихам, которые мне когда-то читал Марк. Я его тоже немного знал, точнее несколько раз видел до войны. После войны он уехал из Киева. Насколько я знаю, арестован он не был, просто где-то запропал, отошел в сторону. Видимо, сотрудничать не мог не только с Гитлером, но и со Сталиным. А может, и МГБ пробовало с ним играть, как, по-видимому, с Жорой Сизоненко. Во время оккупации Яша — во всяком случае, часто и подолгу — жил у Бориса. К нему он и не вернулся, когда его схватили. Вряд ли мимо такого человека, как Борис, могла пройти страшная и безысходная трагедия украинской деревни. Вероятно, и разговоры были на эти темы.

Известно, что Яша познакомился с редактором украинской газеты Штепой, довоенным ректором Киевского университета, по специальности ученым-марксистом. Известно, что он говорил о Яше: «Гальперин — умный человек. Он, хоть и сам еврей, понимает историческую необходимость уничтожения еврейского народа». Какие основания дал Яша для этого глубокомысленного утверждения? Поддакнул ли к месту, понимая, что потерять расположение этого человека значит потерять жизнь? Или просто, будучи деморализован всем, что открылось, не смог противостоять пропагандистскому напору? Это навсегда останется тайной. По-видимому, эти слова были сказаны после Бабьего Яра и отражают стремление Штепы и близких ему людей приспособиться к психологии и действиям «дорогого союзника» в борьбе за независимость Украины. До Бабьего Яра тотального уничтожения еще никто не представлял. Могли доходить сведения о расправах в отдельных городах и местечках, но их можно было по старой памяти отнестись к эксцессам. Они еще могли не ставить вплотную перед идеологами вопроса о принятии или непринятии гитлеровского «окончательного решения». Теперь он встал перед ними. Я не был знаком с г-ном Штепой ни в Киеве, ни за границей. Помню, что после войны киевских интеллигентов удивляла происшедшая с ним метаморфоза. От него, видимо, этого не ждали. Не ждали не только этих страшных слов, а просто сотрудничества с нацистами.

Но в слова эти стоит вдуматься, за ними тоже встанет нечто иное, чем видится. Прежде всего я не согласен, что эти слова — инерция одной только привычной фразеологии экс-преподавателя марксизма. Я вообще не убежден, что Штепа был таким ненавистником еврейского народа. Яшу он, во всяком случае, покрывал. Почему? Иногда антисемиты делают исключение для своих старых друзей, действуют старые сантименты. Но никаких общих сентиментальных воспоминаний у этих двоих не было, до войны они вряд ли были знакомы. Тогда почему он это делал? Ценил Яшин ум? Но для расиста это не довод — тем хуже, если умный. Следует помнить, что, несмотря на эти свои слова, Бабий Яр устраивал не Штепа, что по этому поводу с ним не советовались, что он так же был поставлен перед фактом, как и все человечество (да и факт этот, сколько удавалось, отрицался). От него требовалось только одобрение и оправдание чудовищной акции властей. Что он мастерски и проделывал, ибо дело это для него было профессиональное и не новое. К той добродетели «понимания исторической необходимости», которую он увидел и оценил в Яше, он прибился задолго до сорок первого года. Еще в 1933 году. Я не знаю, что он тогда делал, но ясно одно — что

историческую необходимость геноцида украинских крестьян он осознал и обосновал тогда (или чуть позже, но сделал это, раз сделал карьеру) не менее глубоко, чем теперь историческую необходимость уничтожения еврейского народа. Так что не торопитесь возмущаться. Первая «необходимость» ничуть не моральней второй. Или возмущайтесь глубже, но тогда не только им. А вот Яшу он не выдавал. И мало сказать не выдавал — покрывал. А это было строго-настрого запрещено, об этом могли донести, а немцы шуток не понимали. Но он печатал его в своей газете — конечно, под псевдонимом. Псевдоним Яків Галич Яша придумал себе по какому-то случаю еще до войны. Под этим псевдонимом Яша однажды напечатал у Штепы большую подвальную статью под нехитрым заголовком «Слова та діла Йосипа Сталіна», после которой уповать на возвращение «своих» для него уже не имело смысла. «Свои» скорее бы простили службу в полиции и палачество, чем такую статью. Я ее не читал, но содержание ее нетрудно представить. Слова и дела у Сталина расходились так часто и так явно, что любой мог бы написать об этом вполне убедительно. Это и заставляло меня внутренне поешиваться, когда я в 1946 году узнал об этой статье. И дело было не только в том, что как раз тогда я был сталинистом. Я, и перестав им быть, долго потом считал, что не там бы об этом говорить. Я объяснял написание этой статьи только желанием спастись, а это тогда не считалось смягчающим обстоятельством. И несмотря на то, что мне было очень жаль Яшу, одинокого, затравленно мечущегося по родному городу в поисках спасения, — я осуждал его. Мы все тогда были очень ригористичны, и соображение о том, что «не судите и не судимы будете» или что «ты не знаешь, как сам бы повел себя на его месте», были мне не очень доступны. «Героизм, — говорил тогда, впрочем, без тени осуждения или юмора, Борис Слуцкий, юрист по образованию, — из категории доблести превратились в категорию долга». Практически это означало, что государство брало на себя право судить уголовным судом за отсутствие личного, самопожертвенного героизма. Подчеркиваю: не за неподчинение военному приказу или нарушение присяги, а именно — сверхъестественного самопожертвования. «Почему в безвыходной обстановке попали в плен, если имели возможность застрелиться?» — не смущаясь спрашивали следователи. Так далеко я не заходил, но писать статьи в «их» газеты спасения ради, прислуживать «их» лагерю — это для меня было слишком. Тем более что он зря старался — все равно расстреляли. Нацисты ведь!

Где мне было тогда разобраться, что статья эта печаталась не нацистами, а украинскими националистами, да еще в начале оккупации, в расцвет медового месяца их «союзнических отношений» с Германией, когда их лидеры еще всерьез надеялись на толику своей независимости, достаточной, чтоб приккрыть Яшу. А расстреляло его гестапо, которого и они боялись.

Но теперь я думаю иначе. Я думаю, что Яша вообще был искренен, что, кроме естественной жадности спастись, им тут руководила еще жажда отделиться от сталинских бесчинств, от тех, кто их творил, от всего, что теперь открылось и впервые предстало перед ним не в виде отдельных нетипичных издержек большого пути, а во всей своей целостности, масштабности и отвратительности. Принципиальность, конечно, хорошая вещь, но из принципиальности защищать, допустим, сталинский геноцид украинского крестьянства, да еще глядя в глаза его жертвам, может быть, и мужественно, но вряд ли достойно. А героическая гибель за это — нелепа. Куда достойней, если все равно погибать, став, как многие, одной из неотличимых жертв другого геноцида — расистского, погибнуть, отрекшись от Сталина. Другими словами, лучше было сделать так, как сделал Яша.

Впрочем, к этому все равно шло. Когда медовый месяц сотрудничества германских властей с частью украинских националистов кончился, резко, по-видимому, ухудшилась и Яшина ситуация. По-видимому, исчезли многие из тех, кто ему помогал. Вероятно, стал более осторожен и многоопытный Штепа, который все равно продолжал быть редактором. Еще хуже стал относиться к сотрудничеству с немцами Борис Коштелянчук. В одном из стихотворений он даже сравнивал поведение сотрудничающих с поведением сыновей, держащих за руки мать, когда ее насилюют чужие. Вероятно, в нашей проклятой ситуации это чрезмерно, но это мне видно издалека. Гнев его был бескорыстен и благороден. И куда исчезали у нас тогда такие люди!

В сущности, это все, что я хотел рассказать о жизни Яши во время оккупации. Больше я сам ничего не знаю. Знаю, что он жил тяжело, нервничал. Писал стихи. Иногда их печатал. С какой интенсивностью и до конца ли жизни он имел такую возможность — тоже не знаю. Одно из них, очень хорошее, написано по-украински. Даю, что помню (перевод наиболее непонятных слов — в скобках):

СМІХ

Ви чули, весняна злива (весенний разлив) прийшла,
 Жбурляючи (швыря) град і грім.
 Поетам сняться солодкі сні
 Про безлич блискучих рим (про несчетность блестящих рифм).
 Ім снится — рима на риму йде
 Мов крига (как льдина) на кригу — в удар.
 У видавництва чемний (в издательстве вежливый) касир
 Сплачує гонорар.
 Але не бачити (видать) музи ім,
 Не бачити музи ім,
 Вона співуча и навісна (шальная)
 І дасться лише навісним.
 А я кажу (говорю) їй — будь що будь,
 З тобою життя пройду.
 Бачу — біду, чую — біду,
 Передчуваю — біду.
 Але залізо в очах моїх.
 Пломінь (пламя) в жилах моїх.
 А на губах, тонких і злих,
 Непереборний сміх.
 Ох, не забудьте мене ох, не забудьте
 Синіх осінніх днів.
 Стали жорстокими очі мої.
 В серці моему — гнів.
 Заповідає коханка мені:
 — Плач, скажений (бесись), а пиши.
 — Де ти? — питаюся (допытываюсь) я у душі.
 Та й не знаходжу душі.
 Але відкаже (откликается) зненависть — тут!
 Помста (месть) відкаже — є (я есть).
 Бери трипочуча (трепещущее) горе це,
 Вона по праву твоє.
 Бери трипочуче горе це
 Та не здіймай каяття (каянья).
 Болямы, радошамы, слізьмы
 Пріймаю тебе жыття!
 Болямы, радошамы, слізьмы,
 Дыханням останнім (последним) клянусь:
 Я шче, людонькы, посміюсь.
 Люто шче посміюсь!

Когда я в 1946 году впервые услышал эти стихи, я понял конец однозначно — речь идет о приходе Советской Армии, несущей весну. И тогда — «я посмеюсь». Это было мне тогда близко, а поэтому и несомненно. Но в стихотворении нет этой темы, и оно к этому не подводит. Есть только романтический протест против мертвечины в окружающей жизни и вера в грядущее торжество над ней. Стихотворение было напечатано в каком-то открытом украинском издании (кажется, во Львове) и не было воспринято как политическое. Кто бы стал печатать стихи, жаждущие его посрамления и гибели! Да и над кем бы мог посмеяться автор статьи о словах и делах великого Сталина, если б дожил до возвращения в Киев родного НКВД? Но стихотворение полно жизни и поэзии.

Остальные Яшины стихи этого времени, дошедшие до меня в отрывках, звучат не столь уверенно и оптимистично. Мотив подавленности ясно и сильно обозначен в другом стихотворении — по-видимому, связанном с экспедицией за продуктами:

Дорога, дорога, дорога,
 Ах, сытая хлябь лошадей!
 Спаси нас от черта, от Бога,
 А паче всего от людей —
 От их недреманного ока
 И длинных ослиных ушей.

Это хорошие стихи, но по ним можно судить и о той напряженности, в которой перманентно пребывал их автор. Впрочем, это естественно для человека, подлежащего уничтожению и только благодаря случаю и друзьям пока его избежавшего. Этому можно удивляться — значит, свет не без добрых и подлинных людей. Тому, что в конце концов он этой участи не избежал, удивляться не приходится — большинство других она постигла раньше.

Но писать об этом не хочется. Преступления нацистов давно всячески осуждены и понятны. Ужасаться лишний раз по поводу этих преступлений унизительно. Но судьба близкого мне человека, попавшего в щель между двумя льдинами — гитлеризмом и сталинщиной, — меня волнует остро. В момент, когда Яшу убили, у него практически не было никакого выхода. Остаться после ухода немцев было для него смертельно опасно, уходить с ними, как Иван Елагин, который по матери был евреем (мать убили немцы в Царском Селе), — тоже. Нам тогда казалось, что выход есть — только бы победить. Победить безусловно надо было, но выходом это не было.

Однако это уже касается времен войны, а мое повествование еще топчется в последних предвоенных месяцах. Яшина судьба — исключение: ее проблематика касается всей нашей судьбы.

Не могу не упомянуть в этой связи еще одно имя — Гали Якубской. Еще один образ, еще одна судьба. И опять, как часто в наше время, без конца и без начала. Высокая, красивая, стройная, она однажды пришла в редакцию «Юного пионера» на занятие литкружка и прочла живые и как-то очень свободно звучащие, хоть, конечно, несовершенные стихи и очень нам понравилась. Я проводил ее домой.

Я ей тоже почитал стихи — в том числе и свое боевое выступление против танцев как «скрытого лапанья» (большой я тогда был моралист, как все южные мальчишки). Ее природную женственность это возмутило, и на следующем занятии она прочла гневную филиппику против меня. Мы подружились. Она, по-видимому, тогда была не только по-женски трезвей и взрослей, но и культурней большинства из нас. И это неудивительно — ее отец, профессор Якубский, был личностью в литературных кругах Киева известной (всем, но не нам). Правда, отец с матерью были в разводе, а она жила с матерью. Но она общалась и с отцом, так что на ее развитии это не сказалось. Конечно, все мы повлблились в нее, но в таком возрасте влюбленность — это нежная дружба, так что особых конфликтов по этому поводу не было. Не помню, чтоб она бывала у кого-либо из нас, но мы у нее бывали, хотя, в сущности, знали о ней очень мало. Да и сейчас я знаю немногим больше.

Не помню, через отца или через мать она была связана родством с самыми высокими слоями традиционной украинской интеллигенции. Хотя училась она в русской школе — это тогда бывало во многих украинских интеллигентных семьях.

Однажды она пригласила нас в гости на дачу в Корчеватое. Туда надо было добираться на каком-то захудалом пригородном поезде, который медленно и долго тащился туда с вокзала через Киев-II и какой-то Киев-III. Я там бывал у Гали несколько раз — с Гришей и один. Разумеется, в основном мое внимание поглощено было самой Галей, но боковым зрением я замечал и среду ее тамошнего обитания.

Это была маленькая украинская культурная, точней художественная, еще точней — театрално-художественная колония. В центре ее был очень почтенного вида старец с очень знаменитой фамилией, чуть ли не сам Саксаганский. Обычно он сидел в плетеном кресле посреди зеленого двора. Он уже явно не играл и ничего не ставил — очень был стар, — но вся жизнь в этой колонии вертелась вокруг него. Молодые женщины почтительно хлопотали возле его кресла. Встречали меня все окружающие, если я попадал в поле их зрения (кроме Галиной мамы — та всегда была с поджатыми губами), очень вежливо и доброжелательно. Естественно, это было проявление не их отношения ко мне (они меня не знали, и отношения не было), а воспитанности и интеллигентности. Я, естественно, относился к ним с большим пиететом.

Вспомнил я о них всех сейчас только потому, что ни Галя, ни ее отец, ни мать из Киева не эвакуировались, а, как формулировали это после войны, «ушли с немцами». Говорили еще, что она вышла замуж за венгерского офицера, но для нашего послевоенного ригоризма это было то же самое. Видимо, этот мир — думал я тогда, — в котором Галя жила и который я мельком видел, был миром мне чуждым, узким, националистическим. Жаль, что он каким-то образом засосал и Галю. Жаль, что она оказалась не той, за кого мы ее принимали.

Мне стыдно теперь, что я так думал, стыдно за свою былую «правоту» и «осведомленность». Что я мог знать? Я до сих пор ничего не знаю. Прежде всего я не знаю, каким человеком был ее отец, что ему пришлось пережить при советской власти, почему уехал. Не знаю даже, был ли он русским или украинцем. Это был особый мир старой киевской интеллигенции, куда я не мог быть вхож — хотя бы по малолетству. Я видел однажды одного из приятелей Гали, человека ее круга, тоже эвакуировавшегося не с нами, а с немцами. Это потом дороги разных слоев интеллигенции перемешались и наступило взаимопонимание, а тогда его не было. Они были другие люди. В этом мире старшие не откровенничали с младшими. Один бывший киевлянин, встреченный мной на Западе, рассказал мне, что жил он, как все советские дети, и совсем уж было собрался в начале войны идти добровольцем в Красную Армию, но его отец и старший брат впервые серьезно с ним поговорили,

развернули перед ним мартиролог их семьи при советской власти. После этого ему был задан вопрос: «Так что ж, ты их собираешься защищать?» И он отказался.

Свое отношение к этой проблеме я уже здесь высказал. Сочувствия такому выбору у меня нет. Ненависть их к режиму безусловно справедлива, но она и самоослепляюща. Но и осуждения у меня нет (осуждаю, как и во всех лагерях, только доносчиков и согласившихся на палачество). Ситуация и впрямь была безвыходной. Я просто хочу сказать, что сегодня понимаю, что должен был чувствовать украинский интеллигент через восемь лет после намеренно организованного мора его народа, понимаю, что и другие люди, окружавшие Галю, тоже имели свои резоны относиться ко всему не так, как я. А ведь, положа руку на сердце, внушали мы ей тогда эйфористические глупости — и когда отрицали Сталина, и когда его принимали. То, что мы были искренни, ничего не меняет. Вполне возможно, в какой-то момент другие люди, по-другому ей близкие, выложили перед ней свои карты — не детский идеализм, а жизненный опыт, давно наболевшее. И заразили ее своей, иной эйфорией, не более умной, но иной. Ибо чем как не эйфорией можно объяснить принятие совсем неглупыми людьми немецкой оккупации как освобождения? Ведь Гитлер не только не был, он почти и не притворялся спасителем. Эйфория вообще играет большую роль в безвыходных ситуациях. А в иных мы и не жили.

Все, что я здесь говорю о Галином выборе,— только мои предположения. Откуда мне вообще знать, что было с Галей, как ей пришлось поворачиваться в оккупации и как жили те, кого я видел в Корчеватом. Но во что я уж совсем не верю — это в то, что Галя «оказалась» не той, какой я ее знал. Она была человеком внутренне свободным, с естественным чувством собственного достоинства, никогда не опускавшимся до притворства. Я вспоминаю Галю, какой она была и какой должна была быть, какой не могла бы быть нигде вне России, даже если судьба ее, как я надеюсь, сложилась благополучно, и испытываю прежде всего нежность и благодарность судьбе за то, что я ее знал. Благодарность совершенно бескорыстную, ибо, повторяю, влюбленность с моей стороны была детской, а с ее стороны не было никакой. Просто она была прекрасной и я с ней дружил. И конечно, мне больно за ее и за нашу судьбу. Ибо «совсем не тем, за что мы ее принимали», оказалась не Галя, не мы, а «наша великая эпоха», так или иначе подмявшая каждого из нас.

Но это понимание далось нам не сразу и недешево. А тогда, перед войной, нам, включая и Яшу и Галю, конечно, не нравились топорно-захватские, шапкозакидательские песни вроде «Если завтра война» (мне больше было по сердцу симоновское «Да, враг был храбр. Тем больше наша слава», хотя и эта мудрость тоже невелика), но это больше оскорбляло наш вкус, иногда здравый смысл, но не представление о жизни — в невероятности собственной мощи мы не сомневались. Тем более что у нас победа сменялась победой — озеро Хасан, река Халхин-Гол. Мы только не знали, какими силами, над какими силами* и с какими потерями достигались эти победы. Не знали, что в армии не только автоматов (о них мы и не слышали), но и винтовок образца 1891 дробь 1930 года на всех не хватает. Завесу над тайной приоткрыла война с Финляндией, но тут можно было все свалить на климатические условия. После этого, правда, начались учения войск в условиях, приближенных к боевым, бывали даже раненые и убитые (это мы знали, это касалось наших товарищей). Но нужного оружия в достаточном количестве от этого не появилось. Этого мы ничего не знали, на этот счет мы были спокойны.

Волновали дела литературные. Я уже говорил, что мы начали посещать обсуждения стихов в клубе писателей. Стали крепнуть мои литературные связи. Начались знакомства с московскими писателями. До этого мы знали только киевских, в основном русских. Только однажды мы ходили к Павло Тычине. О нем в далеких от литературы кругах сложилось превратное представление, чуть ли не как о графомане. Винной были его стихи, написанные с перепугу (украинскому интеллигенту было чего пугаться), но поднятые на щит пропагандой. Они-то и были в школьных учебниках. Между тем это замечательный поэт-лирик и во многом человек не от мира сего. И то и другое мы о нем знали. Однако пришли к нему с идиотским, но в духе времени предложением организовать литературную студию для молодежи. Он, естественно, стал отбиваться руками и ногами. Упирали на то, что студия — это занятия и лекции, к которым надо готовиться, а поэта «никакую калалкою не примусыш шось готувать» (никакой скалкой не заставишь к чему-то готовиться). Фраза эта нас вполне примирила с отказом, и мы ушли. Он нам понравился, но это не было настоящим литературным общением. С москвичами у меня такое общение началось.

Преддверием этому был какой-то парадный пленум, «тусовка», как сказали бы сегодня, правления Союза писателей СССР, состоявшийся в Киеве. Кажется, он был посвящен юбилею Тараса Шевченко. Мы тогда относились к этому серьезно — бегали к гостинице «Континенталь» смотреть на приехавших писателей. Помню долговязую

фигуру молодого Михалкова, помню Кассиля, Алексея Толстого. Я испытывал некоторый трепет, завидовал. Где мне было знать, что они вовсе не в восторге от необходимости присутствовать на предстоящих заседаниях (другое дело — погулять по Киеву), что там вовсе не придется заниматься серьезным делом или интересными разговорами — хотя бы о том же Шевченко, — а нужно будет только толочь воду в ступе, демонстрировать расцвет культурной жизни. А ведь многие из них и впрямь были еще писателями.

Тогда, конечно, никаких личных контактов с московскими писателями у меня не возникло. Контакты начались чуть позже, когда они стали бывать в Киеве по одному. Наверно, они и раньше так приезжали, но я был мал и это проходило мимо моего внимания. А теперь я начал их посещать в номерах гостиницы «Континенталь», где они обычно останавливались.

О том, что приезжал Николай Асеев, я уже рассказывал. Он выступал публично и читал главы из поэмы «Маяковский начинается», за которую получил или должен был получить Сталинскую премию. Поэма, кстати, была вполне честная, филиппика насчет «литературного гангстера Авербаха», который тогда был «разоблачен» как «враг народа», была не конъюнктурным подвыванием стае, а искренней ненавистью. Как и филиппика против другого, правда, более талантливого и ловкого, так никем и не разоблаченного, а до конца жизни всех разоблачавшего литературного гангстера Ермилова. Он был представлен под прозрачным псевдонимом Немилов, но с указанием должности и места работы («Вы нынче в «Красной нови» у кормила, / Решив, что корень кормила от корм»). Вещь была слишком «партийная» (несла знамя футуристически-лефовской партии), но вполне тешила мою тогда футуристическую душу. Кроме собственных стихов Асеев на своих вечерах читал две главы из пастернаковского «Пятого года», что было поступком. Пастернак был в немилости. Только недавно почти все более или менее видные писатели были награждены орденами. Пастернака наградой обошли. Это, конечно, смешно, но смешно сегодня. А тогда, как ни странно, ордена принимали всерьез. Не только известные писатели, но и мы — все жили внутри этого заданного, недобровольно-инфантильного мира. Не знаю, как ему самому, но многим и многим было обидно, что Пастернака обошли. И кроме того, это был знак для других. А Асеев его пропагандировал с трибуны. Кстати говоря, он читал хорошо, выразительно и многим впервые открывал этого большого поэта. Все это к нему располагало.

И я пришел к Асееву (не помню, договорившись или нет). Я подошел к нему после выступления и о чем-то заговорил — вероятно, ругал гладкопись и сокрушался о забвении традиций Маяковского. Это забвение — при внешнем почитании — меня тогда волновало. Его тоже, и он, видимо, согласился на мой визит. Когда я к нему пришел, у него кто-то сидел, но принял он меня приветливо. Был он высок, большеглаз, приятен, свободен в манерах. Поговорили, потом я читал ему стихи. Тогда-то ему и понравилась «Жуча», о чем я уже рассказывал. Он велел переписать для него, что я и исполнил, добавив еще одно стихотворение, названное мной «Из цикла „Собственность“».

Приверженность к собственности, корезающей души, он ненавидел всю жизнь, я тогда тоже — все это входило в антимещанский комплекс. Но при этом он мне рассказывал о доме своих родителей, об укладе, о блюдах и напитках исконно русских, и рассказывал отнюдь не в хулу. По поводу какого-то моего антимещанского стихотворения, давно мной теперь забытого, где город как окружающая среда ощущался враждебно, сказал:

— Вы вот так про город... А это вам кажется. Он не враждебен вам. Просто пока ни вы его не знаете, ни он вас...

Не так глупо и не так футуристически сказано.

Вот еще одно его высказывание, не помню, по какому поводу. На этот раз почему-то об итальянцах:

— А итальянский мужик что — фашист? Он такой же фашист, как подмосковный мужик коммунист. Знаете, как поют?

И он стал скандировать:

Надоело пушше смерти
В доме е-лек-три-чество.
Ишшо пушше надоело
Качество-количество.

— Это ведь против нивелировки, а не против электричества, — закончил он.

В общем, он оказался гораздо более почвенным, чем его литературная позиция. Не думаю, чтоб я все это тогда освоил, но было мне интересно и какие-то мои

представления расширяло. Встреча эта имела неожиданное продолжение. Оказывался, Асеев в Москве рассказывал обо мне и показывал мои стихи многим литераторам, аттестуя их наилучшим образом. И когда я приехал в 1944 году в Москву, многие имели некоторые представления обо мне.

Приходил я и к Иосифу Павловичу Уткину. Он был широко известен тогда как автор «Поэмы о рыжем Мотэле» и многих лирических стихов. Кроме того, — может быть, именно по этой причине — он был мальчиком для битья. Лирика до самой смерти Сталина находилась под подозрением, в лучшем случае извинялась, если перекрывалась другими заслугами. Так ведь и сборники строились — лирика в самом конце, после «серьезного чтения». Кроме Пастернака, Уткин был единственным из известных мне тогдашних «взрослых» поэтов, которого обнесли на пиру — не наградили орденом на общем празднике расцвета советской литературы. Не знаю, кто постарался, — по-моему, это было несправедливо. Конечно, он не был звездой первой величины. Меня давно не умиляет «Рыжий Мотэле», да он и сам, как мне показалось, был не в восторге от того, что его имя как-то подмигивающе ассоциируется именно с этой поэмой. Он был лириком, а не юмористом. Впрочем, вероятно, и ценность его лирики весьма относительна. Лирика требует внутренней свободы, а он начинал как комсомольский поэт, другими словами — добровольно ограничивал свой внутренний мир и свои реакции искусственной целенаправленностью. На этом была печать двадцатых годов — в тридцатых у Смелякова это выглядело иначе, иногда нелепей, но трагичней и противоречивей. Впрочем, может, я и не прав — я давно не читал Уткина. Его обвиняли в мещанстве, приводили в доказательство строки из стихотворения «Гитара»:

Мне за былую муку
Покой теперь хорош.
(Простреленную руку
Сильнее бережешь.)

Надо сказать, что и я с этим к нему сунулся от большого ума. Дескать, как вы такое допустили? И получил резонную отповедь: «Надо думать самому, а не повторять за другими». И, естественно, он был прав, в этих строках — особенно в контексте стихотворения — отчетливо слышалась самоирония. Чувствовалось, что он травмирован своим остракизмом. В одном из объявлений об его выступлении по инерции было написано: «Выступление поэта-орденоносца» — тогда все приезжавшие были орденосцами. Он с достоинством поправил: «Нет, я не орденосец». От Уткина, когда мы вышли с ним пройтись, я впервые услышал о Вяземском, о Денисе Давыдове — для меня это все в то время была terra incognita. Вообще он тогда был ориентирован на культуру, на историю русской поэзии. Для меня же поэзия в принципе начиналась с Блока, а где-то в тылу, как предыстория, помещались Пушкин, Лермонтов и Некрасов. Мне кажется, что в нем шла какая-то напряженная внутренняя работа. Больше я его никогда не видел. В 1944 году, когда я уже жил в Москве, он погиб в авиакатастрофе.

Весьма красочным было мое знакомство с Ильей Григорьевичем Эренбургом. Меня потом с ним связывали пусть не очень близкие, но теплые отношения. Но они не были продолжением этой довоенной встречи — он о ней начисто забыл. А я помню до сих пор, что естественно. Эренбург был тогда фигурой знаменитой и интригующей. В то время цвела еще вся советско-германская дружба, хотя поговаривали о трещинах и называли немцев «наши заклятые друзья». А он только что вернулся из захваченного ими Парижа и опубликовал в газете «Труд» очерки о падении Парижа. Следовательно, «что-то знал», был посвящен. На самом деле, как он неоднократно писал, ничего он не знал, но откуда мы тогда могли знать, как все обстоит «на самом деле».

Пришли мы к нему вдвоем с Ариадной Григорьевной — приглашать к себе в литкружок. Говорить должен был я, и, конечно, в глубине души я не собирался ограничить разговор официальной задачей. Но из этого сначала ничего не получилось. Мы постучали в дверь номера, услышали: «Войдите!» — и вошли. Нам навстречу с видом «что вам угодно?» поднялся Эренбург. Он был очень вежлив и очень холоден. Цель его, как я теперь понимаю, была как можно скорее выпроводить нас из номера. Я был ошеломлен и смят. Дело было не только в его выжидающей позе — дело было в сукне его костюма, в не виданном мной никогда мохнатом сукне. Я даже не знал, что такое бывает, усталился на эти длинные ворсинки и не мог слова вымолвить. Все слова застревали в горле.

— Я... Мы...

Дальше дело не шло. Тогда инициативу взяла на себя Ариадна Григорьевна.

— Я вижу, Эма, у вас ничего не получается, придется мне,— начала она, и Эренбург повернулся к ней.

Она коротко изложила суть дела, и Эренбург так же коротко отказался от приглашения, сославшись на занятость. Мы вышли.

— Чего ж я ходил! — огорчился я.— Даже стихов не почитал.

— А знаете что,— сказала Адочка и рассмеялась.— Вернитесь. Извинитесь и скажите, что смутились, но хотите почитать стихи. У вас такой вид, что... Ей-Богу, сойдет.

Не знаю, какой у меня тогда был вид (развязность моя была чисто литературно-подражательной, и от опытного взгляда это укрыться не могло), но так я и поступил. И действительно сошло. Эренбург не выразил удивления по поводу моего вторичного появления и согласился меня выслушать. Он отнесся ко мне серьезно. Одно стихотворение ему понравилось, и он попросил его переписать. Вот оно:

Боль начинает наплывать
Опять, тебе назло.
А ты скорее за слова,
Но больше нету слов.

И ты поймешь: спастись нельзя,
И боль залет глаза...
Ведь ты давно уж все сказал,
Что надо б тут сказать.

Беседу, которую он со мной тогда вел, я не помню. Помню только, что она была о стихах и что он говорил вещи, умерявшие мой новаторский пыл. Но я понимал, что они серьезные. Удивило, что он считал себя главным образом поэтом, хотя некоторые его стихи нравились мне уже тогда. Кстати, он мне доверительно сообщил, что под инициалами М. Ц. в журнале «Молодая гвардия» напечатаны стихи Марины Цветаевой. Я всем своим видом показал, что вполне понимаю важность этого события, хотя впервые услышал это имя. В завершение встречи он взял меня на свое выступление, и на глазах всего интеллигентного Киева я вышел из роскошного по тогдашним меркам «ЗИСа» вместе с самим Эренбургом, и он распорядился меня пропустить. Дня через два я был на его вечере в Союзе писателей, и вдруг в антракте он разглядел меня, шагнул ко мне сквозь кольцо окружавших и радостно приветствовал. На меня смотрели все вокруг — кто с завистью, кто с неприязнью. Я был очень смущен. Сегодня трудно представить, кем тогда был Эренбург. Потом, во время войны, он стал гораздо знаменитей, но тогда на фоне тотальной сталинщины в глазах интеллигенции он выглядел совершенно особо. Да и шутка ли — человек приехал прямо из оккупированного Парижа.

Потом он начисто забыл эту встречу. И неудивительно. Такие начались события, стольким самым разным людям он вдруг сделался необходимым, что было не до того, чтоб умиленно помнить подающего надежды пятнадцатилетнего киевского мальчика. А события шли к войне — полным ходом.

НАЧАЛО ВОЙНЫ. РАССТАВАНИЕ С КИЕВОМ, ДЕТСТВОМ И ОТРОЧЕСТВОМ

В описании предвоенных недель следует избежать модернизации. Нельзя, чтоб сегодняшнее знание вторгалось в тогдашнее восприятие. А нам, жившим тогда, войну предвещало все и как бы ничто ее не предвещало. Она уже шла в Европе, придвинулась к нашим границам (чему мы, то есть Сталин, немало поспособствовали), и мы знали, что она на носу. Да этого особенно никто и не скрывал — разумеется, не писали в газетах, а «доверительно» сообщали по неофициальным каналам. Да и в газетах вдруг появлялись статьи, вроде эренбургских в «Труде», тоже не очень подтверждающие прочность «дружбы» с нацистами. В то же время все мы занимались своими делами и строили планы — в общем, жили так, словно она за горами. Даже историческое «Опровержение ТАСС» за неделю до войны, только подтвердившее в наших глазах то, что опровергало, все равно не изменило нашего отношения к жизни. Не надо забывать, что мы жили в Киеве, относительно недалеко от границы, и это прибавляло нам осведомленности. Но все равно мы ничего не боялись, мы ведь были под защитой такой сильной армии. Правда, она несколько оскандалилась в Финляндии, но ведь это была война специфическая. Мы все равно сильны — тем более из нашего финского опыта были сделаны надлежащие выводы! Мы не боялись...

Помню, как, сдав последний экзамен этого года, мы втроем — я, Гриша и Галя Якубская — ночью забрели куда-то далеко по Брест-Литовскому шоссе, почти до Святошина, и стояли на мосту через железную дорогу Киев — Коростень, по которой осуществлялись основные перевозки к западной границе. Была чудесная июньская ночь, не жаркая и не душная, благоуханная киевская летняя ночь, говорили о стихах, о жизни, а под нами через короткие промежутки времени один за другим пронеслись воинские составы. Ночь была светлой, кроме того, вокруг моста горели огни, и на платформах под брезентом вполне отчетливо вырисовывались танки, часовые на площадках, задранные вверх зачехленные жерла орудий и всякая иная техника. А также красноармейцы в дверях теплушек. Эшелон за эшелон. И так много недель подряд — об этом давно говорили — мы были не первыми из наших знакомых, видевшими это. В то, что нападение Германии на нас было внезапным, я потом не верил никогда.

Но приближение войны угадывалось в городе не только по перестуку воинских эшелонов под святошинским мостом. Думаю, что в город сквозь «границу на замке» проникали немецкие агенты с разными заданиями, в том числе — распространять слухи и подготавливать панику. Мне даже кажется, что с одной такой агентшей я столкнулся — тоже за несколько дней до войны — на Владимирской горке. Помнится, это было 15 июня, в последнее мирное воскресенье. Она сидела на скамейке над Днепром, что-то вязала, рядом сидели разные люди, в основном простые. Собственно, ничего особенного она не говорила, вроде бы вела религиозную пропаганду, грозила Божьими карами. Но угрозы были очень конкретны — она грозила той несметной силой, которая уже собралась и вот-вот, скоро-скоро, двинется против этой безбожной власти, а против нее уж никому не устоять¹⁹. Народ слушал и не особенно вникал. Может, на силу несметную и обратили бы внимание, но, как ни странно, мешала аргументация Богом. Средний советский горожанин считал еще тогда веру в Бога пережитком темноты и невежества, и обращение к Нему (кошунственное в таком контексте, но это другая тема) придавало всем этим пророчествам в его восприятии привкус «отсталости» и нереальности. Но расчет мог быть и на то, что это мина замедленного действия, которая сработает, когда все начнет подтверждаться.

Пока же ее сосед на скамейке, человек средних лет, по виду рабочий, прослушав все это, мрачно промолвил:

— Насчет Бога вы бросьте... Розшифровали вже... Давно розшифровали...

Мальчик лет десяти, по виду еврей, что-то крикнул в ответ кому-то, кто его позвал. Вроде того что «иду... подожди!». Этого хватило, чтоб ораторша буквально взорвалась:

— А, еврей! Проклятое семя.

И вдруг, как-то издевательски скандируя, перешла на идиш: «Ви из айер Гот? Ви из айер Гот?» Это означает: «Где ваш Бог? Где ваш Бог?» Обращенный к мальчику этот вопрос звучал несколько странно для верующего человека. И как-то это было неуловимо не по-нашему. Наш антисемит не стал бы укорять мальчика вопросом на идиш, где находится его Бог. Мальчик, не понимая, чего от него хотят (он и идиш мог не понимать), удивился, но особенно задумываться над этими словами не стал и побежал, куда его позвали. Мне стало скучно, я счел эту тетку не совсем нормальной и отошел от нее. Впрочем, это сделали почти все, кто ее окружал. Но потом, когда оказалось, что несметная сила действительно нависала тогда над нашей страной, я стал думать, что это говорилось неспроста, это была подготовка. Чтоб потом, когда все разразится, это казалось пророчеством и ослабляло сопротивление. Вряд ли сама эта женщина явилась из-за границы, она не производила впечатление человека, следящего за развитием политических событий. А говорила «в самую точку». Возможно, какой-то «нарушитель границы» явился к ней и так взбодрил ее, а возможно, что-то просто висело в воздухе.

Тем не менее война началась неожиданно. В этот день мы с друзьями договорились устроить пикник где-то за городом. Сбор был назначен часов на пол-одиннадцатого у Жени. Утром, когда я встал, все было как обычно, но почему-то молчала тарелка радиорепродуктора, всегда столь говорливая. Только один раз что-то включилось, и бодрый голос произнес: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! Начинаем передачу для детей». После чего опять наступило молчание. Это было непонятно, но я решил, что что-то поломалось и чинят. Поев, я побежал к Жене. Она жила на Саксаганского, на изгибе улицы, новый их дом был так и построен — изгибом.

¹⁹ Получалось, что Гитлер чуть ли не божественная сила. Некоторые люди, даже верующие, тогда считали: хоть с чертом — лишь бы против большевиков. Но тот, кто идет с чертом, с ним и остается. Говорю о чисто духовной стороне дела, а не о политической или организационной. И конечно, не о выборе людей, которому я не судья, особенно в тех страшных обстоятельствах.

Подходя к нему, я увидел у ее подъезда почти всех наших, сбившихся в маленькую стайку. Внимание их привлекало что-то, происходившее впереди их, за изгибом улицы. Я не обратил на это особого внимания и бодро крикнул:

— Ну что? Едем!

— Да ты что, охрелен? Не видишь?

И тогда я увидел, чем было занято их внимание. У входа в расположенный через два-три дома от Жениного Клинический институт (проще — больница мединститута) стоит несколько карет «скорой помощи», и из них кого-то выносят на носилках.

— Не видишь? Раненых привезли. Из Жулян! Жуляны бомбили! Война!

Жулянами назывался поселок, уже тогда присоединенный к городу. Это существенная часть Киевского железнодорожного узла. Кроме того, там вокруг были военные аэродромы.

Значит, бомбили Жуляны! Странное молчание репродуктора становилось понятным²⁰. Тем не менее никто толком ничего не знал. Раненые могли и впрямь быть из Жулян, но это могло быть результатом не бомбежки, а крушения поездов — может быть, даже крупного. А радио по-прежнему молчало. Не по поводу ситуации, а просто не издавало ни звука. Жена передала рассказ соседа. В пять утра тот, выйдя на балкон, увидел, как вдали, за железной дорогой, какие-то самолеты бомбят расположенные там аэродромы. (Бомбы он счел цементными, бомбометание — учебным, а зрелище — захватывающе красивым. Что самолеты в киевском небе могут быть не нашими, он и представить себе не мог.) Кроме того, знакомые звонили в штаб округа, где им ответили, что сегодня в четыре часа утра немцы напали на нашу страну. Но это была как бы подпольная деятельность, да и вообще слухи. Слухам нас учили не верить. На пикник мы тем не менее не поехали.

Как мы отнеслись к новой перспективе? Помню, что я решил пойти домой поест, меня сопровождал Варшава. Но по дороге нас застал ливень, и мы забежали в продгам на углу Тарасовской. И Варшава сказал:

— Знаешь, если это не подтвердится, я даже буду разочарован.

Не стоит особенно жестко осуждать Варшаву за эти глупые слова, он высказал то, что было на уме у многих. Это еще было детством. Кроме того, он не вернулся с этой войны, которая, как известно, не обманула в тот день его ожиданий. Но погиб он уже взрослым человеком, бывалым солдатом, мечтавшим о победе и мирной жизни.

Но в тот день такое «боевое» настроение было, если говорить о городской молодежи, всеобщим. В одном из сценариев Г. Чухрая была такая, потом не использованная, заготовка. Герои-влюбленные, впервые начавшие целоваться где-то на лестнице, узнают о начале войны так. Вдруг мимо них с радостным кличем «ура!» пронесется, размахивая самодельными саблями, счастливая пацанва, потревожив их счастье. «Вы что?» — спрашивает недовольный юноша. И слышит ликующий ответ: «Война!»

Впрочем, у ребят это объяснялось жаждой киноподвигов, а у нас тем, что теперь все пойдет по-настоящему, исчезнет тяготи́на ирреальности. И то и другое не подтвердилось, и то и другое было эйфорией.

Но открылось все это потом. А пока, переждав дождь, я прибежал домой. Дома тоже никто ничего не знал. Радио продолжало молчать. Я сел есть, и вдруг радио заговорило. Внезапно, как двумя часами раньше. Но на этот раз оно уже не обещало передачу для детей. «Внимание! Внимание! Говорит Москва. В двенадцать часов по всем радиостанциям Советского Союза...» Дальше я мог не слушать. Дальше все было ясно... И лишь на секунду колыхнуло — почему выступит Молотов, а не Сталин? Но это промелькнуло и исчезло. Мысль о том, какое право имели наши вожди более восьми часов не сообщать всему народу, что он уже воюет, не пришла в голову и на секунду. Я твердо верил, что высшие соображения это вполне позволяют. Поскольку они вообще позволяют все.

Я снова побегал к Жене. Ее отец был тогда же или на следующий день мобилизован — направлен в штаб Юго-Западного фронта. Первые дни нами всеми владела эйфория — ждали известий о нашем победном контрнаступлении, иначе ведь и быть не могло. Но ни из сводок Генштаба Красной Армии, ни из заменивших их некоторое время спустя сообщений «От Советского Информбюро» этого вычитать нельзя было. Из них вообще ничего нельзя было вычитать. Там наши войска вели непрерывные бои на сменяющих друг друга направлениях, причем каждое новое неизменно бывало восточней предыдущего. Но эйфория не сдавалась — с тем, что

²⁰ Эта «понятливость» показывает, насколько были извращены наши представления. Почему радио смело молчать о таком событии, касающемся всего народа? Кто имел право на такие высшие соображения, которые разрешали ему это?

мы отступаем, душа упорно не соглашалась. Впрочем, не только эйфория и не только пропаганда. Старик Кацеленбойген, один из наших соседей-родственников, несмотря на бородатость и «старорежимность», верил в нашу победу не меньше, чем пропаганда, и более искренне. Правда, обходился он без классового анализа. Он говорил:

— Не беспокойтесь! Немец, он так всегда... Хорошо подготавливается, собирается с силами и таки наносит страшный удар. И — получает два таких же в ответ!

В отличие от моего дяди Армейши немцев он не ждал, а от них уехал.

Но вскоре эйфория начала рассасываться сама собой, и вовсе не под прямым воздействием немецких военных успехов. Успехи можно было считать временной случайностью, мы ведь ждали контрнаступления со дня на день. Но косвенное воздействие этих успехов сказывалось. Под этими ударами начало откровенней проявляться воздействие сталинщины на человеческую основу.

Однажды вечером я подобрал на улице Саксаганского листовку. Нет, не немецкую. Немцы тогда листовок в Киеве еще, по-видимому, не разбрасывали, во всяком случае я их не помню. Нашу. Их, несколько штук, сбросил кто-то неизвестно зачем, может быть, из озорства, с прогрозотавшего мимо меня военного грузовика. Она явно предназначалась не для города, а для армии. Листовка черным по белому предупреждала, что оставление позиций без приказа, сдача в плен, переход на сторону врага и еще что-то являются изменой родине и влекут за собой расстрел для совершившего это деяние и тяжелые последствия для его семьи.

Поразила меня, правда мельком, даже правовая сторона этого дела, хоть я был тогда по уровню правосознания варваром. Действительно, при чем тут семья? Но больше всего поразил меня характер взаимоотношений руководства со своим народом, выразившийся в этих фразах. Получалось, что в этой войне народ защищает не себя, а правительство и только и норовит вернуться от этой чести. Это больно резануло меня по сердцу и сильно противоречило тому патриотическому подъему, который я испытывал и видел вокруг себя. Мне казалось, что война всех объединила и все вокруг горят единой жадной победы. Разве что кроме таких темных и нехороших людей, как Кудрицкий.

Теперь я знаю, что не только. Что рядом жили и другие люди, ждавшие немцев, точней — связанной с ними перемены власти. Но они пока помалкивали, и я о них не знал.

И мне было страшно, сознавал я это или нет, оттого, что в такой момент власть испытывает необходимость запугивать своих защитников²¹. И хоть подсознательно, хоть мимолетно (эту листовку я скоро забыл), но я впервые ощутил, что дело не так просто, как мне казалось.

Нет, я отнюдь не разделяю того убеждения эмигрантов предшествующей волны, что поражения 1941 года начались с пораженчества. Потом, к зиме, когда гитлеризм себя показал, русский народ, согласно этой версии, начал сопротивляться. Тут эта историософия кончается. Но ведь летом 1942 года опять началось немецкое наступление, началось с пленения десятков тысяч наших солдат. Выходит, русский народ опять передумал?

На самом деле причина наших первоначальных поражений была не в пораженчестве, а в «гениальном сталинском руководстве», в общей неготовности страны к войне. Пораженчество действительно имело место у некоторых с первого дня. Но оно не было тотальным. Большинство людей, встреченных мной на Западе, попали в плен, а не сами перебежали к противнику. Не от пораженчества возникали поражения, а, наоборот, из поражений возникало, укреплялось и расширялось пораженчество. Такое бывает отнюдь не всегда, но тогда — было. И это неудивительно. Убеждение, что мы сильны, было в глазах многих единственным оправданием нашей трудной жизни, а когда мы вдобавок ко всему вдруг оказались еще столь очевидно слабы, то власть стала выглядеть не только жестокой, но и кругом несостоятельной. И многие, попадая в трудное положение, поднимали руки вверх с облегчением. Правда, немцы сделали от себя все возможное, чтоб это облегчение было обманчивым, и многие эмигранты второй волны, испытавшие это «облегчение» и отнюдь не просоветски настроенные, вспоминают их с ненавистью. Но об этом лучше читать в их собственных воспоминаниях. В дни, о которых я говорю, я еще

²¹ В сущности, такое отношение к народу как к средству было изначальной традицией присвоенного Сталиным большевизма, исходившего из того, что его «высокие идеалы» все равно недостаточно доступны большинству людей, которых надо использовать для достижения этих идеалов. И поэтому «революционность» масс надо стимулировать (для их же, правда, конечной пользы) любыми искусственными средствами, включая обман и террор. Объективно это было для защиты самих «творцов будущего», но то, что для них, этих «творцов», было средством, для Сталина было первопричиной: он сам и его властвование.

не думал ни о поражении, ни о пораженчестве, а упрямо ждал нашего контрнаступления и боялся, что война кончится без меня.

Между тем в городе явочным порядком началась эвакуация. Начали ее энкавэдэшники, первыми приступившие к вывозу своих семей. Наткнулся я на это случайно. Однажды под вечер, дней через пять-шесть после начала войны, возвращаясь к себе, около дома на углу Кузнечной и Саксаганского, где жил мой одноклассник, товарищ первых школьных лет, я увидел грузовик, груженный домашним скарбом, как при переезде на дачу. У грузовика хлопотал друг этого моего товарища, с которым я тоже был знаком и о котором знал, что он сын крупного энкавэди́ста. Тем не менее он казался мне, а может, и был неплохим парнем. Я подошел, поздоровался и удивленно спросил:

— Вы что, на дачу?

— Да... — иронически скривил он губы, — на дачу...

«А куда же?» — хотел наивно спросить я, но не спросил, хоть еще не догадался куда. Догадался я только потом, распрощавшись с ним, по дороге домой. И это меня поразило. О какой же обороне могла идти речь, если люди, которые должны были быть ее центром, втихаря вывозят своих? Наше воспитание исключало такое отношение к вещам. И те же «воспитатели» ставили нас перед фактом, противоречащим этому воспитанию. И мы должны были этот факт принять. Оказывается, можно было требовать героизма от окружающих, судить за его отсутствие, а самим, как наиболее верным и ценным кадрам, — драпать. И породить панику, с которой сами по долгу службы обязаны были бороться. Это и была сталинщина.

На фронте во многих (но тоже не во всех) обстоятельствах вынуждены были прибегать к другой системе ценностей. Но в принципе именно война утвердила, ввела в быт как норму противоестественные обычаи сталинщины. Военная иерархия и фразеология, законсервированные как норма жизни, вообще очень этому способствовали. Но это все стало ясно потом. И это привилегированное право на комфортабельное, с большим количеством багажа бегство было первым моим столкновением с этой системой жизни. Системой не политики, не репрессий даже, а самой повседневной жизни. Она и до этого существовала, конечно, но тут впервые проявлялась открыто.

В эти дни я пошел рыть окопы, пошел добровольно. Перед этим я вступил в комсомол, и на этот раз меня приняли без проволочек — кажется, сразу в райкоме, хоть и не выдали билета (бланков не было). У райкома мы и собирались. Все были из разных учреждений и предприятий, люди незнакомые, но хорошо понимавшие друг друга. Обращал на себя внимание только молодой человек, чернявый, в какой-то зеленовато-черной рубашке, как-то уж очень расслабленно болтавший среди нас (временами потом за его расслабленностью угадывалась тренированность и сила). Как потом выяснилось, ни к какой организации он не принадлежал. В том, что он был заброшенным парашютистом, у меня ни тогда, ни потом сомнения не было. У других тоже. Но уровень бардака, как увидит читатель, был такой, что это ему ничем не грозило. Однако начну по порядку.

Мы знали, что должны рыть окопы, но где будем рыть, было военной тайной. Потом оказалось, что в Ирпене, где-то на холме, в лесу, у железной дороги (как я через много лет понял, против тамошнего Дома творчества). Но для сохранности тайны добирались мы туда (с парашютистом вместе) круглым путем. До Пущи-Водницы трамваем № 20, а потом пешком через лес. Шли очень долго и пришли совершенно измочаленные. Придя, увидели на железной дороге поезд с дощечкой «Киев — Ирпень» и поняли, где мы. При себе мы имели согласно инструкции продуктов на один раз, и все. Нам велели соорудить шалаши. Потом мы развели костры: сидели, болтали. Одна девочка рассказала, что вчера брата взяли в армию и мама очень плакала. И тут парашютист решил выдать заряд советского патриотизма.

— Она не должна плакать, она должна гордиться, — сказал он, уверенный, что говорит то, что надо. И попал пальцем в небо.

У костра воцарилось неловкое молчание. Советский патриотизм получился явно на тогдашний немецкий, точнее, на гитлеровский лад. От наших матерей даже при Сталине не требовалось, чтоб они не плакали. Тем более в частных разговорах. В общем, кто-то о нем сообщил представителю райкома — все-таки не анекдотчик, не сомнительное мнение высказал, а шпион. Представитель потом приходил, беседовал с ним и ушел, так и не выяснив, кто он и откуда. Райкомовцу не до того было, и так голова у него шла кругом. Он должен был на следующее утро выдать нам еду и шанцевый инструмент, а ни того, ни другого у него не было. И концов было не найти. Тут не до шпионов.

Эту ночь у костра я помню. Был там очень милый и интеллигентный парень по имени Карен, с которым мы быстро нашли общий язык, хоть он был намного

образованной меня. Помню ощущение нашей дружеской близости, хотя никогда потом его не встречал. И все эти милые чистые мальчики и девочки. Мелькнули мы в жизни друг друга и исчезли...

Наутро мы ничего не получили — ни еды, ни лопат — и примерно в полдень пошли домой. Прямо через Святошино. В стороне, озираясь и все стремясь запомнить, брел шпион. Я весьма чужд детективному ражу (обвинения кого-либо в стукачестве, часто возникавшие в обществе, меня всегда раздражали), но в этом случае не сомневаюсь, что так и было — шпион. Был он человеком явно не очень образованным или умным, но способным — говорил по-русски почти хорошо (утверждал, что с Западной Украины, а может, и впрямь состоял в националистической организации) и свое дело, видимо, знал. Но не думаю, что его миссия была полезна пославшим его. Он, вероятно, собрал ценные сведения, но не знал, с кем связаться. Если б война велась правильной (по Жукову), Киев вообще был бы оставлен без боя. Но война велась так, что Киев попал в окружение и позорно пал. Так что в обоих случаях сведения, добытые им с риском для жизни, пропадали зря. И еще он не знал, что, несмотря на весь тот бардак, который так облегчал его работу и который так оттенял великолепный немецкий порядок, мы все-таки победим. А впрочем, черт с ним, с этим гитлеровским «комсомольцем двадцатых годов». Людям более молодым может все это показаться рудиментом обычного психоза сталинской «бдительности» и вообще «охотой за ведьмами». Но немцы действительно забрасывали в наш тыл парашютистов — в основном диверсантов, но и разведчиков тоже, а на первых порах и просто сеятелей паники. Кое-кого из них, из числа эмигрантов, я потом встречал на Западе. Попадались они (кто попадался) на незнании алогичных реалий советской жизни и на таких противостепенностях, как проявленная «нашим» шпионом, — то, что матерям при уходе детей на фронт, мол, надо не плакать, а гордиться. А «наш»-то и попался — но сошло.

Впрочем, скоро я чуть было не пошел добровольцем в комсомольский истребительный батальон, созданный для ловли парашютистов. Но это уже было после выступления Сталина 3 июля, когда стало ясно, что немецкое наступление легко не остановить.

Надо сказать, что к этому времени уже всюду шла эвакуация. Одной из первых уезжала Женя вместе с Укрпромкооперацией, где ее отец занимал до ухода в армию крупный пост и в доме которой они жили. Мы с Гришей то ли помогали ей собраться, то ли просто болтались под ногами. Помню, как мы мудрили над подаренным ей нами к именинам громадным старинным фолиантом гётевского «Фауста». Увезти его с собой она никак не могла, и мы сочиняли на нем пропагандистскую надпись для немцев, если они поселятся в этом доме. Это было наивно, но этого интернационализма я и теперь не стыжусь. Бредом и преступлением я считаю интернационализм только политический — право жертвовать интересами и жизнью какой-либо страны во имя ожидающегося счастья всего человечества, как было с Россией.

И вдруг среди общего предотьезного бедлама мы обнаружили на столике черновик очень интересного документа. Автором его был кто-то из Жениных соседей и сослуживцев ее отца. Я его никогда не видел, близким человеком их семье он не был. Почему он писал этот документ именно у них (иначе б не остался черновик), не знаю. Видимо, сближало общее несчастье. Забежал посоветоваться и за сочувствием. Это было прошение об эвакуации, направленное руководству не то киевского, не то всеукраинского НКВД. Почему он не мог или не хотел эвакуироваться вместе с сослуживцами, рассчитывал ли на более привилегированные условия, которые предоставлял своим сотрудникам его адресат, — тоже не знаю. Интересно другое — почему он считал возможным обратиться с такой просьбой в это недостижимое учреждение.

Оказывается, в первые годы революции он был заграничным агентом ЧК. Он подробно рассказывал об этой своей работе, о своих камуфляжах, о провалах (один, я помню, был при свидании с британским консулом, кажется, в Болгарии), о добытых тайнах — сюжет был явно авантюрный. Но за ним всплывала моя любимая идейность. Я проникся уважением к человеку с такой биографией. И не приходило мне в голову, что документ этот глупый и неблагородный. Я оставляю в стороне то, что он вообще занимался за границей подрывной деятельностью, мешал людям жить — во имя своих непрожеванных идей. Но глупо было то, что при такой биографии он вообще напоминал о себе этому учреждению. Таких оно уничтожало в первую очередь. Теперь, ввиду сегодняшних обстоятельств, оно могло эту экзекуцию отложить, но могло и ускорить. Да и подло по отношению к товарищам и коллегам, которых оно уже уничтожило. Впрочем, и подлость эта тоже вполне может объясняться глупостью мировоззрения, верой в «маму ВКП(б)», которая все равно всегда права, вездой,

которая заменяла этой публике любую другую веру, даже в коммунизм. Но тогда я так не думал.

Женя уехала, а я пошел в истребительный батальон. Он помещался на Крещатике, в знакомом мне помещении обкома комсомола. Командиром его был молодой человек по фамилии Усачев. Была там на какой-то должности еще молодая, но по моим тогдашним ощущениям взрослая девушка. Мне показали мою постель. Видел я еще двух-трех ребят, тоже постарше меня, вернувшихся с дежурства. Похоже, что их добровольность была относительной — они были выделены в батальон комсомольскими организациями предприятий. Кстати, то же было в основном и с рытьем окопов. Это не значит, что против воли, но и не совсем определяется понятием «добровольно». Сталинщина имела склонность к «организованной стихийности», даже когда естественная была за нее. Как в «Чонкине» Войновича, где по воле райкома крестьяне, собравшиеся на стихийный митинг по случаю начала войны, разгоняются, а потом «организованно» сгоняются на «правильный» стихийный митинг. Но тогда удивление по поводу такой «добровольности» заглушалось тем, что все вокруг воспринимали ее как нормальный факт. Правда, в армию многие шли добровольцами на самом деле — и тогда и позже. Но армия не комсомольская организация.

Дома известие о моем патриотическом поступке, когда я с ним туда явился, было воспринято панически. Но на первых порах я все же из дома вырвался и вернулся в батальон. Собственно, никакого батальона я не видел — максимум человек шесть. В нем наверняка было больше людей, но явно ненамного. Может, он еще не был собран. В основном мы сидели на балконе, а мимо нас, заполнив весь Крещатик, проходили войска. Их было очень много, главным образом пехота. Но двигалась эта пехота не в сторону фронта, а от него, в сторону тыла — к мостам через Днепр. Вероятно, это было правильное решение, видимо, на всех не хватало оружия. Очевидно, Жуков уже тогда собирался отвести войска за Ворсклу, что их спасло бы и чему помещал Сталин, погубив их в киевском котле (кроме тех, кого Жуков успел увести), но зрелище это было несколько обескураживающим. Казалось, что Киев собираются сдавать без боя. А если так, то зачем мы?

На следующий день родители уговорили меня уехать с ними. Говорили, что там, куда я приеду, я свободно пойду в армию, а здесь все так непонятно. Тетка, которая оставалась, говорила, что если я буду в батальоне, то потом им худо придется: ведь у нас такой дворник. Бедная, она не понимала, что участь ее решена независимо от моего поведения. Уезжать мне очень не хотелось. Но обстановка бегства уже воцарялась в городе. Ребят, близких к призывному возрасту, вызывали повестками в военкоматы и бесполокво отправляли колоннами на работу в тыл, чтоб этот резерв не достался немцам. Делалось это вполне безответственно. Они редко куда доходили — всем властям по дороге было не до них, — а потом долго искали и не всегда в эвакуационной каше находили своих родителей, а иногда и просто попадали в руки немцев. Безответственность эта была чем-то новым для нас. Мы еще верили в предусмотрительность властей.

Эвакуировались заводы. Уезжал мой двоюродный брат с женой, отцом-равнином и матерью. Его родной брат пришел пешком из Луцка, где был загороно, и рассказывал всякие ужасы. Украинские партизаны стреляли в спину красноармейцам. Через два дня он тоже уехал. Мать побежала в батальон и сказала, что я уезжаю с родителями, там ничего не имели против. Все же мал я еще был в их глазах и неловок. Так что мой патриотический порыв никакого приложения не получил. Логически уговорить себя в правильности моего отъезда было можно. А может, и вправду он был правильным — ну куда я тогда годился? Но все равно в глубине души мне было больно и стыдно. Особенно через месяц, когда такие отряды вместе с войсками (кстати говоря, генерала Власова) выбивали немецкий десант из Голосеевского леса — с холмов над Демиевкой. Конечно, я был лопух, неловкий и т. п., оправданий сколько угодно, но «все же... все же... все же...» (А. Твардовский).

Нечто подобное я чувствую и теперь, когда пишу эти строки, верней, чувствовал в понедельник, 19 августа 1991 года, когда мои друзья защищали свободу вместе с Ельциным и когда неясно было, чем дело кончится, а я жил в гостях в штате Коннектикут, в старинном, затененном деревьями доме, правда без электричества (то есть света и горячей пищи), поскольку энергоснабжение было нарушено ураганом «Боб» — скорость ветра 165 километров в час, 51 метр в секунду. Но это — неприятности, а там стояли на кону их жизни. А защищали они и мою судьбу — ведь мне просто не было бы смысла дальше жить, если бы путч удался. Было противно, что я как бы сижу в стороне. В стороне от своей судьбы... Примерно то же, хотя и с меньшими основаниями (я не так еще был вовлечен в жизнь), я чувствовал и тогда, в июле 1941-го.

Уезжали все вокруг. Но уехать при этом нам было не так легко. К промышленным гигантам даже киевского масштаба мы отношения не имели. О том, что уже существует организованная эвакуация частных граждан через райсоветы, мы не знали (впрочем, «организованность» чаще всего ограничивалась выдачей эвакуационного удостоверения, мало кого интересовавшего). Отец решил присоседиться к племяннику, уезжавшему с заводом «Червоный двигун», а уезжали они на барже с какого-то причала Киевского речного порта. Мы взяли с собой вещей столько, сколько смогли унести на себе, чемодан и несколько небольших узлов — атлетов среди нас не было. В последний момент тетка молча сунула в один из них какой-то «довоенный» отрез — последнюю ценную вещь; сохранившуюся «с мирного времени». И мы на нанятой подводке отправились на пристань. Там то ли потому, что не нашли нужного причала, то ли потому, что нужная баржа уже уплыла, то ли просто по ошибке — это и тогда было непонятно — мы погрузились на другую баржу. Но поскольку считалось, что все плывем в Днепропетровск, то с этим смирились — там и поищем родственников и их завод.

До отплытия в Днепропетровск было еще далеко, хоть от пристани отошли мы довольно скоро, часа через два после водворения. Ноплыли мы недолго — нас причалили к противоположному берегу ниже пристани, почти против Киево-Печерской лавры, аккуратно между двумя мостами, все время исправно бомбившимися немцами. В мосты немцы ни разу не попали, бомбы ложились неточно, но именно поэтому могли угодить в нас. Впрочем, все-таки не угодили — мы были пришвартованы на некотором отдалении от мостов, в километре или двух, а «юнкерсы» пикировали на мосты.

Мы могли наблюдать это дня два-три. Приходили крестьянские девушки из близлежащих деревень. На все предложения продать что-нибудь показывали язык, стоя, впрочем, на безопасном расстоянии. Издевались над нашим бегством. Вероятно, в этом была и изрядная доля антиеврейской настроенности, но главное в другом — бежала ненавистная власть и те, кто, по их представлениям, был с ней связан. Они не знали и не понимали, что «власть» бежит иначе. Впрочем, что-то и понимали — настоящей власти, хоть и бегущей, они бы остереглись языки показывать. Ведь она еще все контролировала. Но уж очень хотелось на ком-то отыграться. К их «отсталости» я относился совершенно спокойно. Она не была неожиданной. И своего «передовизма» я не терял. И все же неприятно, когда радуются твоей беде. Сегодня я понимаю, что при их биографиях это было извинительно. И все же... И все же — не более того.

А на баржах — их было несколько, хоть я не помню, чтоб они сообщались между собой или с берегом, — шла скученная, скомканная жизнь, плакали дети, стирались и сушились пеленки. Людей особо мне близких там не было. К «высоте» моего приятия действительности и к Маяковскому тоже никто не был причастен — принимали как данность... Я лежал, смотрел на Киев — на лавру, на парки и соборы — и мечтал о том, что все мы сюда скоро, может быть осенью, вернемся, как после каникул, обнимем друг друга, расскажем о пережитом и начнем опять жить и дружить, как раньше...

И вдруг — я до сих пор помню этот момент — острой болью пронзила меня трезвая и беспощадная мысль, что ничего этого никогда уже не будет... Нет, это не было пораженчеством, я знал, что мы победим, что, может, и вернемся, но почувствовал, что если даже и вернемся, то не все и не так, вернемся в другую жизнь и другими людьми. Это не было отчаянием, просто констатацией неприятного факта, с которым ничего не поделаешь. Думаю, что это первая моя взрослая мысль, первое мое прозрение реальной трагичности бытия.

На этом, собственно, можно завершить рассказ о детстве, о пути во взрослость. Но четко сюжетно я его дотяну до более поздней точки.

Дня через два подошел буксир и потащил все наши баржи без остановок в Днепропетровск. Мимо Триполья, о котором я рассказывал, мимо Ржищева, где родилась моя мать, мимо Канева, где я уже бывал и где над Днепром похоронен Тарас Шевченко, мимо Черкасс, Кременчуга, Нижне-Днепровска (тогда Днепродзержинска), где моя мать держала экзамен экстерном за гимназию. И в Днепропетровск, куда мы вроде эвакуировались. Но в Днепропетровск нас, кроме лиц с местной пропиской, не пустили. Наши баржи несколько часов проторчали посреди Днепра, а потом были пришвартованы к противоположному берегу, к станции Ново-Московск (в сущности, левобережный узел Днепропетровска), где в спешном порядке погрузили на открытые угольные платформы. И оставили. Так что поиски родственников и их завода отпадали сами собой. Но уже не до этого было. Помню жуткую темноту, неустройство, нахальную местечковую семью, глава которой защищал то, что считал в той тесноте своим правом, возглашая: «Мы тоже советские граждане»

ны!» — и какое-то покорство судьбе: везут, не говоря куда и как, ну и пусть!.. Но до темноты нас никуда не повезли, а ночью началась бомбежка. Я слышал про массивные налеты на Сталинград и знаю, что бомбежки бывают куда более ужасные, чем та в Ново-Московске. Но я более страшной не видел — Бог милывал.

Кругом взрывалось, грохотало, светилось, было страшно ощущать себя маленьким и беззащитным, все, даже дети, замолкли. Потом все стихло, и тут эшелон тронулся. Везли нас по кругу — на Павлоград, Лозовую, Славянск, почти до Харькова, а потом, видимо передумав, на юг, в Ясиноватую. Оттуда в Ростов. Это уже была Россия. По Ростову мы немного походили, думали остаться, но концов никаких не было, и мы вернулись в эшелон. Во второй половине дня он тронулся — на Азов.

По дороге я встретил первого великорусского «антисемита». Какой-то человек вскочил на площадку нашей платформы с чайником в руках, ему надо было чуток доехать. Был он в меру рыж, озорноват, по виду железнодорожный рабочий. Он на все корки поносил евреев за бегство с фронта, имея в виду население нашего эшелона. Было это достаточно нелепо, в основном тут были женщины и дети, и он это видел. Да и вообще евреям оставаться в оккупации было никак нельзя, и он это хорошо понимал. Кроме того, военкоматы, которые могли загрести в армию, существовали не только там, откуда, но и там, куда мы ехали. И это тоже было ему известно. Но ругался. Не столько от злости, сколько потому, что это его развлекало. Не скажу, что это выглядело особенно благородно, но он мне почему-то не показался ни страшным, ни отталкивающим, а скорее привлекательным. Как мне кажется, антипатии он ни у кого не вызывал, даже у местечковых. Кавычки у слова «антисемит» относятся только к этому человеку и таким, как он, а их было и есть много в России. Но это не исключало наличия в Великороссии антисемитов и без кавычек, правда их всегда намного меньше. Могут сказать, что когда люди становятся толпой, кавычки эти могут исчезнуть и там, где они есть. Но я вообще говорю не об отчаянных ситуациях, когда мало кто сохраняет достоинство. Во всяком случае, в очень тяжелых обстоятельствах, предшествовавших ныне разгромленному заговору и вызванной им, происходящей и сегодня (24 августа 1991 года) революции, русский народ ни на какой экстремизм и расовую ненависть подбить не удалось. Хотя все проблемы существования пока по-прежнему остры.

Поезд подошел к Азову. Там нам объявили, что нас повезут в Александровский район Ростовской области и распределят по колхозам. Начиналась — хоть на самом деле началась она не там, а чуть позже — другая жизнь, не та, к которой я привык. Детство, в которое кусочком вторглось и счастливое отрочество, — кончилось. Начиналась суровая юность.

Бостон, США.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

НИКОЛАЙ ПОКРОВСКИЙ

*

СКИТСКИЕ БИОГРАФИИ

Испокон веков, с древнейших времен на Руси чтили подвиг лесных пустынножителей, скитских старцев и стариц, строивших свои скромные кельи в непроходимых местах, среди лесов, болот, а то и в труднодоступных горных ущельях. Здесь, вдали от «мирских плещей», от раздоров и соблазнов шумного мира, пустынники надеялись спасти свои души, проводя дни в тяжких трудах для пропитания братии и заходящих паломников, в размышлениях о смысле бытия — посреди величественного храма природы, в долгих молитвах. В строгие литургические мелодии древнерусского знаменного распева вплетался шум соседнего ручья, вода которого шла и на приготовление общей трапезы, и на полив тщательно возделанных огородов близ келий.

История русского пустынножительства находится с XIV века под огромным, определяющим воздействием личности и дела преп. Сергия Радонежского. Анализируя это явление, В. О. Ключевский сто лет назад в юбилейной речи в Московской духовной академии говорил, что столетиями непреходящее значение этого дела связано прежде всего с укреплением нравственных сил общества, «нравственным воспитанием народа». Самопожертвование, трудолюбие, добротолубие — основные житейские уроки пустытника миру; читая дошедшие до нас рассказы о нем, «видишь перед собою практическую школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были умение отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах». И эти уроки были тем действеннее, чем нагляднее Сергий и десятки, а затем и сотни его последователей во все новых лесных скитах демонстрировали свое реальное пренебрежение к гленимым богатствам этого мира. «Все худотно, все нищетно, все сиротинско» в этих первых лесных пустынях — и огромно их этическое воздействие на окрестных жителей, на общество.

Однако шли годы, и на месте уединенных келий первых пустытников часто возникали большие монастыри, славившиеся по всей Руси именами своих основателей. Монастыри богатели, многие из них становились обширными образцовыми хозяйствами. И хотя немалая часть доходов шла на дела благотворительности, хотя общежительный устав препятствовал созданию индивидуальных богатств монахов, менее чем через век после кончины Сергия Радонежского русская церковь была разделена страстным спором о допустимости церковных богатств, о совместимости монастырских «стяжаний» с основами христианской любви и принципами монашеской жизни. Церковь к XVI веку владела уже почти одной пятой всех земель, населенных зависимыми крестьянами (это, кстати говоря, средневропейский уровень). А образцовое ведение хозяйства включало тогда закабаление крестьян долгами и, хуже того, неизбежное прямое насилие, без которого не обходился барщина, отработки. Крупнейший православный авторитет XVI века Максим Грек, протестуя против подобной практики основателя одного из монастырей Пафнутия, гневно восклицал в связи с его канонизацией: «Он держал села, и на деньги росты (то есть проценты. — *Н. П.*) имал, и люди и слуги держал, и судил, и кнутъем бил — ино ему чудотворцем как быть?» И тут же Максим противопоставлял Пафнутию Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского. К тысячаелетию христианства на Руси, в 1988 году, сам Максим Грек был канонизирован, объявлен святым — несмотря на два с лишним десятка лет заключения по приговору двух церковных соборов XVI века. Его труды, как и труды его старшего единомышленника преподобного Нила Сорского, всегда высоко чтились на Руси, в том числе и среди монахов, переписывались в сотнях списков. В сочинениях «нестяжателей» повторялись заповеди Писания, Ефрема Сирина о пропитании от трудов рук своих, вспоминался первоначальный пустынножительный идеал бедности. Идеал этот не забывался на Руси.

А если мирские тревоги подчас настигали инока в большом богатом монастыре, он, как не раз бывало, мог уйти от них дальше в лес, в безлюдные места, основав новую пустынь. И когда направление подобного движения совпадало с направлением основных потоков крестьянских миграций (или предвосхищало их), то земля, однажды отвоеванная у леса трудом пустынников для хлебопашества, продолжала кормить людей, даже когда первоначальное скитское поселение исчезало почему-либо.

В Сибири со второй половины XVII века в этой сложной, подчас противоречивой взаимосвязи монастырской и крестьянской колонизации появляются новые черты. Они связаны с распространением здесь старообрядчества. Гонения на старую веру совпадут с резким усилением феодального насилия над крестьянством. Потоки беглецов, ищущих убежища на окраинах страны, сразу стали гораздо многочисленнее, а тайные лесные форпосты старообрядцев превратились в немаловажную часть механизма вольнонародной колонизации Сибири.

Так старообрядческое пустынножительство четко приняло черты оппозиционности и по отношению к антихристовым властям с их ревизскими сказками, рекрутчиной, и к синодальной церкви, подчиненной этим властям. В условиях подобного противостояния пустынники могли существовать лишь при негласной, но прочной поддержке крестьянских миров. И конечно, проблема монастырских стяжаний отпадала совершенно однозначно. Лесные скиты пополнялись выходцами из окрестных сел и деревень, и хозяйственный уклад крестьянской заимки и такого скита бывал довольно близок, а переход от одной к другому, как показывают документы XVIII века, в реальной жизни окраин России становился подчас вполне естественным. Особенно если учитывать, какую огромную роль играла вера в жизни обычных крестьян-старообрядцев. Но вместе с тем скитской старец, известный своей аскетической и набожной жизнью, знанием древних священных книг, мудрыми советами по духовным и мирским делам, приобретал исключительное влияние и в скиту и далеко за его пределами.

На заре петровской эры в нижегородских пределах на реке Керженец старообрядческий пустынножитель Софоний основал новое согласие. С первых десятилетий XVIII века софонтиевцы (часовенные — более позднее название этого старообрядческого течения; оно связано с тем, что по мере перехода софонтиевцев к беспоповской практике часовни становились основным помещением для общественной молитвы) займут весьма заметное место среди старообрядцев Урала и Сибири. Начитанные старцы-пустынножители будут пользоваться среди часовенных огромным авторитетом, а их тайные обители станут центрами согласий. Уже в первой четверти XVIII века, используя покровительство Демидовых, старообрядцы создадут свои главные пустынножительные общины в лесах близ Нижнетагильского, Висимошайтанского, Черноисточенского заводов. Вскоре на Урале и в Зауралье возникнут скиты и другого старообрядческого согласия, поморского. Главный монастырь этого согласия, знаменитая Выговская пустынь в Карелии, станет центром возникновения своеобразной народной культуры, литературы. Умелые рудозатцы из старообрядцев внесут свой существенный вклад в поиск рудных месторождений и строительство горных заводов не только на Урале, но и на Алтае. Вскоре старообрядческие скиты появятся в основных регионах русской крестьянской и промышленной колонизации Западной Сибири. Уже в начале второй половины XVIII века старообрядческие пустынножители будут строить свои тайные кельи на крайних южных границах тогдашней крестьянской колонизации и даже за ее пределами, на реках Убе, Ульбе, Бухтарме.

В этом широком движении слилось многое: и крестьянская извечная тяга к освоению новых мест в поисках самостоятельного хозяйствования, свободного от феодальных пут, и традиционное христианское стремление к монашеской аскезе, постижению другой, наряду с Писанием, книги Господа — книги природы. Прекрасные и пустынные места южных сибирских гор (как и когда-то дикая природа Урала) удивительно соответствовали этим надеждам и настроениям. Когда в 1969 году наши археографические группы впервые появились в горах, связанных с легендами о вольных «каменщиках» — беглецах из елизаветинской и екатерининской империи, о сказочной стране крестьянской утопии — Беловодье, меня прежде всего поразило там буйство дикой природы. Приведу описание краеведа А. Принтца, посетившего в 1863 году эти алтайские места, где за сотню лет до того стали возникать тайные заимки и скиты, а еще через сотню лет после А. Принтца и я видел ту же удивительную картину: «Не видав такой растительности, невозможно себе ничего подобного представить. Ветви разнообразных кустов и деревьев во многих местах совершенно заграждали путь, и надо было с силою через них пробираться и разводить их рукой, дабы они не попали в лицо. Трава так высока, что выше роста лошади и составляет ей немалое затруднение для прохода. Дудлы и пучки, в особенности первые, случалось видеть в полтора раза выше человека, сидящего на лошади. Вообще

южный скат Холзуна поражает изобильной растительностью. Местность, защищенная этим хребтом с севера, представляет как бы совсем другую природу. Из кустарников калина и бузина растут на этой стороне... также во множестве смородина и малина; из цветов — гвоздика и шток-роза... Мотыльков разных множество, они так и пестрели роями в воздухе... Из цветов характеристику бухтарминского ландшафта составляют следующие: кипрей, полынь, царския кудри, сарана, жаркия цветы и пучки».

Архивные источники XVIII века позволяют с удивительной отчетливостью проследить, как уже в 1740—1750 годах в этих местах потаенно возникают первые заимки, как вместе с хлебопашами и охотниками идут сюда пустынноики. Иные из их келий станут потом знаменитыми окрест. Другие будут разгромлены военными командами (в «веке осмнадцатом», как и в нашем столетии!). Но каждый раз документы о первых пустынноиках свидетельствуют о крайнем, суровом аскетизме их быта. Опять, как во времена Сергия, будто не было столетий процветания богатых монастырей! Снова лучина для освещения, береста для письма.

И что удивительно — тайное хлебопашество едва начинается, хлеба очень мало еще в районах пионерного освоения. Но авторитетные пустынноики сразу же пытаются организовать между первыми насельниками края элементарную взаимопомощь хлебом, поддержку новых хозяйств. И им доверяют. Таков, например, в верховьях Убы в 1750-х годах чернец часовенного согласия Кузьма (Некрасов), постриженный знаменитого Иова, убежавший в эти места из чувовских вотчин «господ барон Строгановых». Посланная из Усть-Каменогорска военная команда арестовала пустынноика и разгромила его келью. В судебном деле сохранился написанный с характерным аканьем полный список его «шкарпа»: «...образ медной адин, лошадь одна, седло русское с потником одно, котел медной адин, полог адин, топор адин, зипунов сермяжных два, шуба баранья одна, рукавицы одни». Запас общественного хлеба был спрятан в другом месте и уцелел, Кузьма устоял на допросах, не выдал этот тайник. Картина, знакомая тому, кто уже читал в № 9 «Нового мира» за 1991 год рассказы о разгроме в 1951 году дубчесских скитов часовенных, — как и за два века до того каратели жгли кельи, искали припасы, пытали монахов. Не было золотого века в минувших столетиях, хотя, конечно, при Берии гонения были круче, чем при Ушакове и Шешковском.

И опять — переписываю в барнаульском архиве сообщения о скитах XVIII века и безошибочно накладываю их на собственные экспедиционные впечатления о жизни, быте сегодняшних пустынноиков. 27 ноября 1759 года драгунский отряд бодро рапортует начальству об обнаружении и разгроме скита старца Исака Паклина в лесных дебрях по реке Ику, примерно на полдороге между нынешними Новосибирском и Барнаулом. Вот как описывают драгуны свою находку: «Наехали по одной речке в вершинах избу с сенми, крыта скалоу, и при оной избушке построен анбарчик, и как видно, что во оной неведомо кто жил. Во оной же избушке, где стояли образы, тут наделаны полочки, на которых оставлена кадиленка деревянная. Близ тое же избушки построен сараец, который крыт скалоу ж, и во оном сарае оставлен станок, и как видно, что точена была посуда деревянная. И блиско оной избушки сена было подкошено примерно копен на двадцать. Да после оного наехали в другой паде место, на котором была избушка... При этом стоит анбарчик и к оному пригорожен огород».

Скит очень небольшой по размеру — вряд ли избушка Паклина могла вместить более трех-четырех постоянных обитателей. Следствие получило непроверенные известия, что в обоих скитах было одно время человек восемь. Из других подобных дел известно, что в такого типа скитах в каждом «спасалось» (от антихриста и от начальников, или, в соответствии со старообрядческими взглядами, от антихристовых начальников) чаще всего не более двух-трех человек.

Несмотря на столь незначительные размеры скита и несомненную выгоду жизни в тайге несколько большим трудовым коллективом, обитавшие в соседней пади пустынноики жили своим, особым скитом. Это также весьма характерная особенность многих сибирских скитов — даже горсточка пустынноиков безопасности и уединения ради рассредоточивается на несколько обиталищ. В XVIII веке, как и в XX.

Примечательно и хозяйство обитателей этих двух избушек: огород, маленький сенокос на двадцать копен. И традиционная примета урало-сибирского старца-пустынножителя: деревянная посуда, сделанная собственными руками на токарном станке и пользовавшаяся зачастую неплохим спросом у окрестного населения не только из-за качества, но и потому, что она вышла из почитаемого скита.

Шестьдесят верст тайги, отделявших келью Паклина от большого села, не были непреодолимым препятствием для крестьян, поддерживавших пустынноиков и бывших тайными прихожанами главы скита.

Разыскивая в архивах Барнаула, Тобольска, Петербурга эти и подобные им документы о пустынножителях XVIII века, я уже мог сопоставлять их с первыми собственными впечатлениями о тайных пустынножительных поселениях наших дней. И картины оказались удивительно похожими — от внешнего вида, размеров, местоположения скитов до деталей быта и нелегкого каждодневного труда. Не говоря уж о богослужении, молитвах — традиционно древних и в XVII веке и в наши дни.

С сегодняшней практикой старообрядческого пустынножительства мне впервые довелось встретиться на Енисее.

Дело было в 1966 году во время нашей первой археографической экспедиции. Мы вышли к первой обители после нескольких дней пути по все более сужающемуся красивому ущелью. Тропа то вплотную подходила к реке, шла вдоль грохочущих порогов, то петляла между прибрежных скал, огромных лиственниц и кедров. Переночевав в маленькой охотничьей избушке, безлюдной, как и леса на многие десятки верст вокруг, мы к исходу следующего дня вышли наконец к жилью.

В конце небольшой поляны виднелась изгородь, а за нею стожок сена, огород и три-четыре небольших деревянных строения, крытых потемневшей лиственничной дранью. На соседнем склоне паслось несколько коров. Мяса в скиту не употребляли, но скот выменивали на хлеб; дело это было непростое — по многовековой традиции скит имел своих доверенных лиц в крестьянских поселениях региона, подчас не столь уж близких. В соседнем скиту нам довелось увидеть и поле поспевающей ржи, не очень, впрочем, большое.

Скит принадлежал к тому ответвлению часовенных, где особенно сильны были традиции крестьянского патриархального аскетизма, а монастырский завет нестяжания приводил к полному запрету денег. Брашна (пища), прошедшие через «торжище», считались оскверненными, хотя натуральный обмен допускался. Поэтому продукты, которые можно было достать только в магазине, в скиту этом не употреблялись. Сахара не было вообще, его заменял мед. (Позднее мы убедились, что скитские жители были прекрасными пасечниками; алтайские поморские скиты, где деньги признавались, поставляли мед даже на экспорт — кооперация платила им целых два рубля за килограмм, и матушки были очень довольны.) В 1972 году Минусинский собор часовенных сделал послабление, допустив потребление «макаронных изделий». Соль получали издалека путем обмена в местах ее добычи.

Большой огород, который мы увидели близ жилых построек, можно было в полном смысле этого слова назвать образцовым. Высокие грядки обильно унавоженной земли были заполнены традиционными культурами сибирского огорода. Вдобавок здесь, высоко в горах, зрели даже арбузы. Монашки рассказали нам потом, скольких трудов стоит их выращивание — грядки не раз приходилось укрывать от заморозков полосами плотной черной ткани. В огороде ни единой сорной травки, сгнившей ягоды. Можно себе представить, каких нелегких забот требовали эти грядки, а также сенокос, пасека, рыбная ловля, ремонт убогого жилья. Много умения и кропотливого труда требовало вышивание икон бисером, переписывание и переплетение книг, вырезание крестов из дерева. Неустанный труд — одно из важнейших правил этих скитов.

Не были здесь исключением и посетители вроде нас, археографов. Мои студенты долго потом вспоминали и радость труда на горных сенокосах, и особенно вкусную после этого, несмотря на все скитские запреты, трапезу, приготовленную гостеприимными матушками. И во время этих трапез, и в бесконечных беседах вам напомнят, сняв с книжной полки тяжелый фолиант с медными застежками, и правила знаменитого церковного писателя IV века Ефрема Сирина об обязательности для монаха неустанного труда, и более общий завет апостола Павла: «Кто не работает — тот не ест». Евангелие, Апостол, книги Ефрема Сирина и другого важнейшего авторитета монашеской этики, аввы Дорофея, постоянно будут встречаться в списках литературы, конфискованной в скитах воинскими командами XVIII века. В нашем столетии каратели жгли в уничтожаемых пустынях эти книги, не утруждая себя составлением списков. А сколько раз археографы с ужасом узнавали, что бесценные библиотеки древних книг, конфисковывавшиеся у старообрядцев властями и в оттепельные 60-е, и в застойные 70—80-е годы, долго валялись затем в каких-нибудь райисполкомовских амбарах, иногда даже начинали расхищаться (в лучшем случае), а потом все-таки уничтожались. Подчас всего лишь за несколько лет до прихода в село археографов.

До наших дней дошел-таки, был самоотверженно спасен немалый пласт сибирской старообрядческой литературы, в том числе огромное историческое сочинение, буквально опаленное огнем искомных губителей и ненавистников российской словесности (в самом спасенном сочинении эти губители названы народной переделкой страшной аббревиатуры — «аНКоВаДа»; это собирательный термин для обозначения единых органов, карательных, партийных, ныне в таком изобилии поставляющих

нам радетелей российской духовности, православия, казачества, соборности, предпринимательства — чего угодно, что сегодня интересует общество).

В трех томах этой недосожженной из-за просчета НКВД рукописи — история часовенного согласия старообрядцев с петровских времен до горбачевских. Она включает биографии сотни с лишним пустынножителей — на протяжении трех веков. В этих бесхитростных житиях сегодняшний читатель отметит многое. И давние добрые связи с крестьянской и горнозаводской округой, смотревшей на пустыничество как на высокий и достойный образ жизни. И то, что среди обитателей скитов большинство было выходцев из местных семей. Память о родных местах и семьях будет сохраняться на тысячеверстных путях невольных миграций пустынников. Но не менее отчетливой будет в скитах и историческая память о знаменитых старцах прошлых веков и недавних десятилетий, об устных и письменных заветах их, а также авторитет здравствующих отцов-пустынников.

Однако самое, пожалуй, удивительное в наш век — это сохранившаяся традиция бескомпромиссной защиты своего мирозерцания, своей веры. Защита эта отнюдь не включает хотя бы малейшего насилия над другими, наоборот — это ответ на насилие властей, ставших антихристовыми и особенно богоборными в XX веке. Уход от этих властей в самые глухие места, а если власти и там достигнут — тогда мученическая гибель.

А места и впрямь глухие — в ту пору, когда там появляются первые пустытники. Когда же доберется сюда, приблизится к ним суматошная наша цивилизация и «зверообразные» (по аттестации пустынников) власти — тогда поиск новой недоступной глухомани, еще дальше, за сотни и тысячи верст.

Найдите на карте востока России три известных города: Пермь, Челябинск, Тюмень. Треугольник между ними, верст по пятьсот в каждой стороне, включает основные скитские районы Урала конца XIX — начала XX века. Скиты эти прятались тогда в горах на восток от пермского города Кунгур, на берегах озер к северу от Челябинска (близ знаменитого своим художественным литьем города Касли) и на юго-запад от Тюмени, где в лесах по Исети и Ирюму еще при Петре I и Екатерине II находились важные старообрядческие центры и где крестьянские писатели создавали философские и исторические сочинения. Именно в этих местах начинаются биографии двух пустынниц, записанные в скитах и теперь издаваемые.

Отсчитайте тысячу километров точно на восток от Тюмени — и вы упретесь в болотистые леса бассейна левобережья Оби, близ верховьев рек Парбига, Чузика, Парабели. Это одна из вершин другого треугольника, со сторонами по-сибирски широкими, по тысяче—полторы километров каждая. Вторая вершина треугольника упрется в горные долины юга Сибири, у истоков Енисея, на тувинско-монгольской границе, а третья окажется на Нижнем Енисее, километрах в двухстах от зловеще знаменитой в 30—40-е годы ярцевской пересылки. Вершины этого сибирского треугольника — главные районы расселения пустынников из уральских скитов. Однако и на юге Алтая и на Дальнем Востоке создавали скиты уральские старцы и старицы. Но укрыться от властей не удалось — скиты были разгромлены.

Внутри каждого из этих треугольников совершались свои интенсивные миграции — из одного скитского района в другой, за сотни верст. И все это не по прямой, как мы отсчитали на карте, а извилистыми, чаще потаенными путями. И в каждом месте, где хоть на несколько лет останавливались пустытники, — тяжелый труд по созданию в таежных дебрях жилья, часовни, огородов, пашни.

Две из двухсот четырех глав трехтомной «Истории о отцах и пустынножителях, в последнее гонительное время подвизавшихся в северных краях Руския земли, в пределах Уральской и Сибирской пустыни» — это две жизни, описанные частично по собственным воспоминаниям пустынниц, частично же по устным рассказам и рукописям обитателей тех же и соседних скитов. Биографии очень характерные для этого Урало-Сибирского патерика. И в то же время неповторимые, как и каждая жизнь.

Две пустынницы — мать Тавифа и мать Анатолия — вышли из двух уральских семей, живших в конце XIX века в поселке Кыштымского завода, близ Каслей. Они были не единственными в своих семьях, кто ушел в скит. Пустынножителем стал брат м. Тавифы о. Антоний и ее сестра м. Алевтина. Пустынножительницами были и старшие сестры м. Анатолии — м. Елена и м. Мелетина. Подобные родственные

* Только что эта цифра изменилась. Новосибирский археограф Н. Д. Зольникова, посетив на таежной заимке Афанасия Герасимова, автора опубликованной в «Новом мире» «Повести о дубцеских скитах», уговорила его записать еще несколько биографий, в том числе и тех пустынников, у которых я гостил в 1966 году на Верхнем Енисее. В результате первый том патерика пополнился восемью новыми главами.

связи — дело частое в скитах. Четверо из этих шести в разное время возглавляли известные урало-сибирские скитские центры.

Несмотря на обилие сведений об этих пустынноиках, разбросанных в разных местах трехтомной «Истории...», многое писалось спустя долгие годы по памяти, поэтому понятны небольшие расхождения, неточные датировки — в пределах двух-трех лет. К тому же древнерусский жанр жития имеет свою специфику в отражении фактов биографии, и многие интересные нам детали «внешней» жизни не были существенны для законов этого жанра. Законам этим подчинялись и автобиографические повествования, обычные в старообрядческой литературе после Аввакума. Так, м. Анатолия, рассказывая о себе (явно по благословению старших в ските), описывает лишь тяжкие муки во время переселения на новое место и ничего другого о себе не сообщает. М. Акинфа, автор многих текстов трехтомника, приводя немало рассказов о других пустынноиках, о себе молчит. Лишь случайно мы узнаем, что м. Акинфа была в Сибири послушницей м. Тавифы и после кончины своей наставницы возглавила ее скит.

И тем не менее, сопоставляя разные рассказы, кое-что об этих двух кыштымских семьях старообрядцев можно узнать. Обе жили в заводском поселке, но были хорошо знакомы со всем циклом земледельческих работ; дети из обеих семей дружили между собой. М. Тавифа (Татьяна Михайловна), старшая в семье Михаила Людинскова, родилась в Кыштыме в 1886 году; на шестом году ее жизни, то есть около 1891 года, вся семья временно переехала в благодатные для хлебопашества сибирские края, в деревню Быструю на Среднем Енисее, под Минусинском. Там в этой семье примерно в 1894—1895 годах родились дети Афанасий и Александра, будущие о. Антоний и м. Алевтина, а около 1902/3 года семья вернулась на Кыштымский завод.

Другая семья — заводского жителя Василия (фамилия пока не установлена) — из поселка не выезжала. Старшая дочь Елена родилась около 1882 года; с семнадцатилетнего возраста она пыталась стать пустынноикой, и вскоре ей это удалось. В ее скит на озере Сунгуль через несколько лет, то есть около 1903/4 года, приходит ее десятилетняя сестра Анна (будущая м. Анатолия) вместе с третьей, восемнадцатилетней сестрой Марией (Мелетиной) и двумя сестрами Людинсковыми (в будущем — м. Тавифа и м. Алевтина).

У будущего о. Антония несколько иной, более сложный путь. Его биография (глава 57 первого тома патерика), написанная как по собственным его воспоминаниям, так и «с рукописи о. Михаила и некия старицы», сообщает, что после возвращения с семьей из-под Минусинска, «когда пришел Афанасий в возраст, восхоте удалиться от мира и жити в келии, просил о. Иринея прияти его в сожитие». Но о. Ириней отказал юноше по весьма важной причине: «...он посоветовал ему прежде отвести военную службу». В уральских скитах было тогда немало ярких сочинений, доказывавших, что царская власть после Алексея Михайловича стала антихристовой; на старообрядческих соборах утверждались нормы епитимьи за служение в царском войске. Но о. Ириней считает, что общий солдатский долг будущий пустынноик обязан исполнить. (В одной из деревень за Саянами в 1966 году могучий старик часовенного согласия рассказал мне, что в 1942-м, когда эти тувинские места еще не были в составе России, он сам послал на фронт своих семерых сыновей — и ни один не остался живым. В его огромном доме, срубленном им с сыновьями, стояла гулкая пустота. Но бывало и иное — уже после войны службе в армии иногда предпочитали смерть.)

Вернувшись от о. Ириней, Афанасий Михайлович жаловался своим сестрам в Сунгульском скиту: «Что бы я был девица? Жил бы теперь в келии». Ему было двадцать лет, когда в 1914 году он ушел на фронт и после года боев попал в германский плен, где провел больше трех лет, пока не объединил группу русских пленных и они решились на побег — «утекли в Россию, а здесь уже царя свергли, заняли власть советские — открыто дома жить ему было опасно». Некоторое время Афанасий Михайлович скрывался близ скита м. Елены; живший сам потаенно, он добывал и привозил им хлеб. Пустынноицы хотели, чтобы он был их духовным отцом — исповедоваться им было тогда некому, — но и будущий о. Антоний не мог взять на себя такую ответственность. Он сам ходил к руководительнице этого скита м. Фекле на исповедь, «она была духовная и разсудительная старица, посоветовала ему: „Тебе, Афанасий, не подходит здесь около старух жить, поезжай к о. Саве“». И Афанасий отправился за тысячу с лишним верст в тайное убежище главного скита часовенных, которое еще в 1917 году, когда наступило «смятение великое», было предусмотрительно перенесено о. Саввой (Александром Михайловичем Мягковым) из лесов правого притока Оби Чулыма в непроходимые болота обского левобережья (это северо-западный угол нашего сибирского треугольника). Там после нескольких лет испытания в 1928 году о. Савва постриг его, дав ему имя — о. Антоний.

О. Антоний был человеком удивительно мужественным и выносливым, умевшим находить пути и в таежных дебрях, и в обско-енисейских протоках и речушках. Талант этот очень пригодился пустынноикам, когда в 1936—1940 годах пришлось переводить обские скиты на Нижний Енисей (на реки Моховку, Сым и Дубчес). О. Антонию принадлежала основная роль в разведывании тайных путей в обход населенных пунктов, а затем и в организации этого сложнейшего предприятия. После разгрома дубчесских скитов, вернувшись из своего второго, теперь уже советского, плена, о. Антоний немало сделал для консолидации на новом месте этой древнейшей общины урало-сибирских пустынноиков и восстановления ее истории. После смерти в лагере о. Симеона — преемника о. Саввы — о. Антоний стоял во главе общины вплоть до своей смерти 13 марта 1977 года.

Теперь о пустынноиках двух кыштымских семей, которым посвящены публикуемые главы Урало-Сибирского патерика — 12-я и 14-я.

Глава 12 — «Повесть о м. Тавифе» — рассказывает о Татьяне Михайловне Людинской и написана ее братом о. Антонием и ее послушницей м. Акинфой. М. Тавифа более шестидесяти лет прожила в разных скитах Урала, Западной и Восточной Сибири, выполняла все скитские работы и умело руководила монашеской семьей, исходила многие тысячи верст в поисках все более глухих убежищ, была арестована в 1951 году во время разгрома дубчесских скитов, уцелела в тяжком заточении, где ей, как и мне, издателю ее биографии, пришлось узнать и пытку насильственного кормления при голодовке. Выйдя на свободу, она вернулась в часовенные скиты сначала Верхнего, а потом и Нижнего Енисея, где встретила с бывшими своими послушницами. Там же и скончалась в 1967 году, на второй год моего знакомства с енисейскими скитами.

Сестра м. Тавифы Александра Михайловна (около 1894/95—1928), пришедшая девятилетней девочкой в Сунгульский скит, с тех пор вела пустынноическую жизнь по строгому монастырскому уставу, хотя была пострижена под именем Алевтины лишь перед самой смертью. Дома начала учиться грамоте по Псалтири, но закончила образование уже в скиту, отличалась исключительной начитанностью, хорошо знала древнерусскую крюковую нотацию и обучала ей других. Славилась также как вышивальщица, изготовляла прекрасные иконы из бисера. Подобно соузнику Аввакума Епифанию м. Алевтина резала из дерева кресты. Ее раннюю смерть авторы трехтомника объясняют особой милостью Господа, который не дал ей дожить до самых страшных времен начавшегося раскрестьяничания.

Глава 14 — «О матери Анатолии» — посвящена младшей из трех сестер, ушедших в Сунгульский скит.

О старшей сестре Елене Васильевне, одной из основательниц Сунгульского скита, известно мало. Известно, что в отличие от других обитательниц скита она до конца своих дней оставалась в кельях на берегу озера Сунгуль, проводя там без малого тридцать лет. Чудом избежала многих опасностей, но любимых мест почти не покидала — лишь однажды она вынуждена была вместе со своими послушницами уехать в тюменские деревни, но вскоре вернулась назад. Она отличалась умением улаживать все внутренние распри, ее нравоучительные послания бережно сохранялись монахинями во время многочисленных путешествий по уральским и сибирским тропам и попали на страницы Урало-Сибирского патерика. В сорок пять лет она заболела раком, успела в письмах сделать все предсмертные распоряжения и наставления, прося руководителей тюменских и пермских скитов позаботиться об остающихся ее ученицах — послушницах и монахинях. Скончалась она 17 апреля 1927 года.

Вторая сестра, Мария Васильевна (1886—1944), постригшись в Сунгульском скиту после пяти лет послушничества под именем м. Мелетины, уезжала вместе с м. Тавифой и другими молодыми послушницами в тюменские убежища близ старинного Ирюмского центра — сначала на реку Танаевку, а затем в деревню Солобоево. В трагическом 1929 году скит тайно перемещается в болотистые леса левобережья Оби. Сначала жили лет пять на реке Таванге Пудинского района Томской области, затем передвинулись в еще менее доступные места близ реки Парбиг. Там еще с 1918 года укрывались пермские пустынноики. Около 1938 года эти женские скиты включились в тяжелейший тайный переход в леса левобережного Енисея. Продолав вместе со всеми нелегкий путь по Обско-Енисейскому каналу, м. Мелетина остановилась на Безимянке (близ реки Малый Кас), где умерла 28 июня 1944 года.

И наконец третья сестра, Анна Васильевна (ок. 1894—1966), которой и посвящена публикуемая глава 14, в Сунгульском скиту появилась в десятилетнем возрасте вместе со своей подругой и сверстницей Александрой Михайловной. Как и другие обитатели скита, уезжала в тюменские края, на реку Танаевку. Но после разгрома тюменских келий властями она отделилась от своих подруг и перебралась под покровительство матушки другого скита, Пермского, — Еванфии и Валентины. Часть пустынноик этого древнего скита вынуждена была все время перемещаться между

кунгурскими, нижнетагильскими и тюменскими лесами, а часть уже давно ушла в Сибирь, на Обь. В 1932/33 году туда же перемещается и Анна (постриженная перед этим под именем м. Анатолии) с больной м. Валентиной. Во время разгрома дубчесских скитов в 1951 году ее келья не была обнаружена и уцелела. Ей довелось поэтому собрать немногих спасшихся и вести их, укрываясь от самолетов, на новое место. Зимой 1965/66 года, в приближении смерти, м. Анатолия записывает для Урало-Сибирского патерика рассказ об этом своем путешествии по голодной Сибири, а также свои воспоминания о сверстницах, о Сунгульском ските и других женских скитах Урала. Ее повести легли в основу нескольких глав патерика. Ниже мы публикуем основную часть посвященной м. Анатолии главы 14, включившей ее рассказ о путешествии 1932/33 года.

Таковы пустынники двух уральских семей, упоминаемые в издаваемых главах патерика. В заключение перечислим основные сведения о трех уральских скитских объединениях, где все они укрывались до перемещения в Сибирь.

В центре внимания авторов двух глав (а в известной мере и всего второго тома патерика) — Сунгульский женский скит, история которого начинается вместе с нашим веком. Ему посвящена особая (11-я) глава патерика, написанная «с рукописи м. Анатолии и от повести о. Антония». Она имеет название «О сунгульских старицах — м. Фекле, м. Елене и о м. Мелетине».

Сунгульский женский скит возник около 1900 года близ запустевшего, к тому времени старинного мужского скита. Накануне создания женского скита, по свидетельству м. Анатолии, на Каслинском заводе делались попытки совмещения скитской жизни с семейным укладом. Историкам старообрядчества подобное известно для разных регионов и эпох. Но на Урале в конце прошлого века это не одобрили: родители забрали назад девицу Феодосию (будущую м. Феклу) из подобной кельи на Каслинском заводе, где о. Никон жил вместе со своей женой и дочерью. Вскоре в келью на Сунгуле ушла семнадцатилетняя Елена Васильевна. Там жила мать Феодосии и еще три старушки, соблюдавшие монашеский устав, не будучи постриженными в монахини. Отец, однако, вернул Елену домой. Родители согласились отпустить Елену и Феодосию в сунгульские кельи, лишь когда там появилась первая монахиня — черница Ксенофония. Вскоре обе «сия девицы получили ангельский чин: Феодосию накрывала м. Глафира, нарекла ее черницей Феклой, а Елену — о. Григорий, имя ей не переменял».

Так возник новый скит. Около 1903/4 года туда пришли сестры м. Елены — Мария и Анна, постриженные затем под именами м. Мелетины и м. Анатолии, а затем и сестра о. Антония Татьяна, ставшая м. Тавифой. Вскоре население скита превысило сорок человек, а в голодные 1921—1922 годы обитель пришлось разделять и перемещать все дальше на восток в поисках убежища от властей. Но при всех этих сложных перемещениях сунгульские старицы сохраняли удивительно прочную связь, преемственную систему авторитетов.

Каждый раз было очень тяжело расставаться с обжитыми местами, с таким трудом отвоеванными у тайги. Понятно поэтому, что пустынники сочинили немало поэтических плачей по оставляемым скитам с их часовнями, налаженным хозяйством и могилами прежних наставников. Несмотря на целенаправленное уничтожение старообрядческой литературы властями, несколько из таких плачей нам удалось скопировать. Во время первого перемещения Сунгульского скита, когда сначала должны были уехать в тюменские края более молодые пустынницы, «м. Елена пишет к рассеянным посланье» с наставлениями. Оно начинается так: «Мир вам, возлюбленные мои дочери и во Христе духовные сестры, отлученные овчата от своих матерей и рассеянное мое стадо по всем странам вселенная! Избранницы божия и странницы, повсюду залетняя птицы, не имеющей своего гнезда, залетевшая за далекия версты на чужия поля. Не видите превысоких Сунгульских гор и Сунгульского моря, оставили вы прекрасную пустыню и премилой Сунгульской край, а он точно как едемский рай».

Ныне близ этих райских мест, близ Кыштыма и Каслей, — иная пустыня, созданная страшной атомной катастрофой 1957 года. До истоков радиоактивной реки Теча рукой подать. Апокалиптика нашего века. Могла ли матушка Елена помыслить об этой другой модели отношений человека с природой? «Лицевой» (иллюстрированный) Апокалипсис она не раз держала в руках.

После смерти в 1927 году м. Елены Сунгульский скит был ликвидирован окончательно, а уцелевшие пустынницы ушли в скиты двух других центров — тюменского и пермского — и позднее перемещались на Обь в разное время небольшими группами вместе с монахинями этих двух центров.

В пермских и тюменских краях старообрядческое пустынножество имело уже очень долгую историю — где со времен Петра I, а где и раньше, с первых десятилетий церковного раскола. В XVIII — начале XIX века в тюменских деревнях по реке Ирью

и близ него активно боролся за свободу вероисповедания известный крестьянский писатель Мирон Галанин, много сделавший для сохранения ранней истории старообрядческого пустынножительства. Он представлял более радикальное направление согласия софонтиевцев (часовенных), чем его старший современник холоп Максим, ставший главой основного скитского центра этого согласия. Этот центр неоднократно перемещался в поисках малодоступных мест по уральским горам и тюменским лесам, то разделяясь на несколько частей, то опять объединяясь.

Вернемся к пермскому центру пустынножительства. Хотя старообрядческие пустынники издревле жили на западных склонах Урала, в пермских лесах, в пору, когда создавался — уже в нашем столетии — второй том патерика (о старицах), его авторы не имели древних письменных источников о первых женских скитах в том районе. По их просьбе в Сибири три старицы во главе с м. Анатолией, бывавшие в пермских скитах, записали свои воспоминания, легшие в основу соответствующих страниц патерика. Они изложили довольно смутные за прошествием многих десятилетий сведения о большом поселении пустынниц в лесах на западных склонах Среднего Урала, восточнее Кунгура. Там близ деревни Кедровки, недалеко от реки Сылвы жили около сорока стариц (возможно, в нескольких скитах под единым управлением). Историческое сознание старообрядцев придает (по слову апостола Павла — Евр. 13, 7) особое значение сохранению памяти о своих наставниках, руководителях общин. Как раз эти имена и поведали в Сибири матушки Анатолия, Флина и Акинфа, с них и начинается второй том патерика — «Родословия стариц». В XIX веке, возможно, еще до времен П. И. Мельникова-Печерского, а затем и в эти времена женскими скитами на Сылве управляли последовательно инокини схимницы Феодора, Зинаида и инокиня Венедикта. При ней всю общину пришлось перемещать в тюменско-ялutorовские края, поближе к скиту отцов Нифонта и Саввы. После кончины м. Венедикты женским скитом недолго управляла престарелая черноризица Акинфа. Когда же и она умерла, о. Нифонт с большим трудом уговорил стать во главе этого скита авторитетную м. Анатолию Невьянскую (не путать с м. Анатолией Сунгульской!). При ней община разделилась: часть в 1892 году ушла вместе с о. Саввой на Обь, часть осталась в тюменских краях, а часть вернулась на Урал. Там, уже под руководством м. Афанасия (бывшей во главе скита в 1910—1924 годах), поменяли несколько мест — скрывались в Невьянском заводе, оттуда переместились к древнему центру часовенных у Черной горы, а затем вернулись в пермские леса близ рек Сылвы, Лысьвы, Бись. Из этого последнего места монахини небольшими группами тайно перебрались на левобережье Оби.

Путешествие одной из таких групп в 1932/33 году и описано м. Анатолией в главе 14 патерика. Глава эта содержит не только бесхитростное изложение монашеских добродетелей, но и выписанную прямо из жизни историю труднейшего путешествия, предпринятого в начале 30-х годов двумя пустынницами с Урала в Кузбасс и оттуда на Нижнюю Обь. Организованный в богатейшем крае голод, вымирающие спецпоселения, запрещение властей продавать продовольствие всем «сомнительным», бессердечие от голодного отупения одних, но и бесстрашное милосердие других.

Впрочем, зачем пересказывать? Передо мной лежит текст этих двух глав; вот он — подлинный язык скитских писателей нашего века. Передаю этот текст дословно, без малейшей правки. Лишь знаки препинания, абзацы и заглавные буквы — от издателя; заменены на современные вышедшие из употребления буквы (ять, «и» девятичное, юс малый); древние кириллические цифры также заменены на современные арабские.

Глава 12. Повесть о м. Тавифе. С рукописи о. Антония и м. Акинфы

Мать Тавифа до накрытия бе Татияна, родися в лето 7394 [1886], в заводе Кыштыме Екатеринбургского уезда, родителей благочестивых и боящихся Бога. Тако и воспитана в добром наказании, и во страхе Божии и родительском, якоже предлежащее явит слово.

Понеже родители ея уежали на жительство в Сибирь, ради воспитания детей, и малютку Татияну увезли году на 6-м, и там проживали 12 лет. А у ея родителя родительница осталась в Росие, понеже жила в келии, черница Мария. И когда в Сибири проживали, егда перешло отроковице Татьяне 10 лет, тогда неоднократно родитель ей воспоминал: Танюшка, если бы мы жили в Росие, то ты бы пошла или нет к матери Марие в келию? Она отвечала: Пошла бы. Понеже в Сибири, [там,] где они жили, — пустынножителей не было.

А после 12-летнего проживания в Сибири родители ея паки возвратились обратно в Росию. Но тогда уже родитель не надпоминал ей, что поедешь или

нет в пустыню, но боялся ей вспомнить, понеже он хорошо знал, что ей не сказать то, что родитель ей желал, а она бы не желала того. А быть может, что сердечного желания нет у ней, и тогда может не ужиться. И тогда будет от Бога грех, а от людей стыд. Поэтому видимо молил Бога, дабы Господь вложил ей желание на пустынную жизнь, и тако Господь исполнил желание его.

В одно время в мясоде родитель ея уехал в дальну дорогу, и ездил целый месяц, и приезжая домой, оглядая семью и не видя своей любимой дщери Тани, и вопрошает супругу свою в тревожном виде: А Таня где? Она ответила: Нету. И сим ответом паче встревожила его: понеже лета у ней уже были возрастные, а время мясоед. И паче ужаснулся, и паки тревожнее перваго спросил: А где она? И тогда поведала, что у ней пришло желание в пустыню, и вот приезжал Василий Федорович из Каслей и говорит, что мы можем ее увезти в келию, потому что мы едим по сено мимо келии на виду, точию версты полторы. А всего верст 12 от нас. А до Каслей было ехать 30 верст за лишком. И когда услышал родитель ея, что Таня уехала в келию, от радости заплакал.

А почему Таня не дождалась родителя ехать в келию? Видимо тоже поопасилась жить весь мясоед дома, как бы не случилось каково препятствие ея горячему желанию, понеже исполнилось ей уже 18 лет. И потому нисколь не стала отлагать, попутчик прилучился, и поехала. В келии сроду не бывала и не знает, какова там жизнь, и старицы незнакомы. А спутник, когда привез Таню домой, и не торопится везти ее в келию: и потому что родня близка. И говорит, что погости да погости. А она сколь слез пролила о том, что ее не везут в келию, и наконец стала действовать самостоятельно. В одно время заметила, что коней запрягли, и Татьяна взяла под мышку свою котомочку, вышла, села на сани на бастричок¹, и ожидает, когда ворота откроют, и боится, как бы опять не остаться.

И вот когда спутник довез Татьяну Михайловну до келии, она слезла, а спутник заворотил коней и поехал. А она не знает, как и заходить в келию, не смеет, обычаев и порядков келейных не знает, и как будет проситься.

Но старушки увидели в окно, что какой-то человек подъехал, и вышли встречать, пригласили гостюшку в келию. И когда она зашла в келию, порадовася духом и возвеселися сердце ея. Сразу ж ей поглянулось, и далее начала гостить и присматриваться к житию и порядку пустынной жизни. Келия была на берегу озера Сунгула, а настоятельницы у них были мать Фекла и мать Елена. И тут Татьяна Михайловна до накрытия² поживе у них 5 лет и получила ангельский чин от отца Генадия, вместе с магушкой Мелетиной, и наречена бысть — черница Тавифа, 23 лет. Передана была в послушание матери Елене и поживе у ней всего 24 лета в полном искренем послушании и смирении. Отцы их редко посещали, понеже жили неблизко, но мать Тавифа все свои сердечные помыслы извещала своей духовной матери Елене³.

Но по накрытии матери Тавифы уже мало пожилы в покои, скоро наступил переворот власти. И тогда им пришлось жить в великом страхе и скудости. А семья была 40 человек. И приходилось по хлеб ездить за сотни верст. Хотя сами и присевали, но были неурожаи. И поэтому приходилось ездить далеко, а проездов не было, ловили, отбирали, арестовали. А поэтому опасныя места приходилось ездить ночами, и нередко и хищники нападали и грабили проезжих.

И все эти страхи были при них. Мать Тавифа, хотя еще и юная была летами, но всегда ее посылала мать Елена, как искреннюю и надежную послушницу. А естли сама поедет, то нередко с собой брала или одну посылала со иными сестрами в такия опасныя дороги, потому что мать Тавифа была во всем надежная и способна на всяко дело и никогда не откажется.

Но впоследствии жить на Сунгуле стало опасно. Неоднократно уже приезжали зорить, но Господь не попускал им, и уезжали обратно тщи. И когда стали развозить семью на новы места, в тюменския пределы, наперво проводили мать Тавифу в село Журавлево с некоею частию семьи, а иных во иныя места на

¹ Бастричок (сиб.) — «дрюк... шест...; стяг, которым сено и солома притягиваются на возу» (Даль В. Толковый словарь живаго великорусскаго языка. Сиб. — М. 1880, т. I, стр. 53).

² Накрытие — от «накрыть», вместо древнерусского «покрыть» — облечь в монашеские одежды, совершить обряд пострижения» («Словарь русского языка XI—XVII вв.». М. 1990, т. 16, стр. 184).

³ Это одно из свидетельств того, что в женских скитах при крайней необходимости обязанности духовника частично брали на себя авторитетные старицы, что, однако, не отменяло исповеди у духовного отца, как только к тому представлялась возможность.

пропитание. А мать Фекла и мать Елена пока остались на Сунгуле на старом месте.

А мать Тавифа из Журавлевой переехали в деревню Солобобеву⁴, и тут жили в келии на кладбище вместе с матерью Мелетиной, а семьи было 20 человек. И там вооружился враг на мать Тавифу и мать Мелетину таким образом:

Прииде к ним из миру погостить некая жена Ксения молодая и восхотела быть игуменией. И она подружилась с некоей слепой девицей Акилиной. И эта Ксения свое намерение сказала своей подруге Акилине, что вон как почитают старших матушек, и я их отправлю, и тогда я буду старшая и меня так же будут почитать. И потом Акилина замысел ксеннин рассказала матушкам, и так у ней ничего не состоялось, матушки побереглись. А потом сговорили Ксению возвратиться домой и отправили с подарками.

И по сем мать Елена опять уехала на Сунгул и там заболела. А когда у ней увеличилась болезнь, тогда потребовала мать Тавифу к себе. И служила ей до кончины. И тут мать Тавифа похоронила свою духовную мать Елену в лето 7435-м [1927].

И тогда поехали мать Фекла с матерью Тавифой на новы места на Танаевку и жили там 4 года.

А когда еще при живности матери Елены мать Тавифа жила в Солобобевой, тогда сестра ея по плоти, по накрытии мать Алевтина, тут же с ней жила в Солобобевой. А когда любезный брат ея поехал ко отцу Саве, и мать Алевтина (тогда еще была не накрыта) воделела с ним ехать в дальнюю пустыню от мирской молвы. Но обаче не решилась ехать самовольно, но решила съездить на Сунгул к матери Елене на совет. Но мать Елена не посоветовала ей ехать, и она осталась в Солобобевой. А когда ея любезный брат, приехавши ко отцу Саве, пояснил о ихней жизни, что близ мира, и тогда отец Сава сказал, что в крайнем случае можно даже и без благословения ехать из такого соблазна молодым.

А потом мать Алевтина сильно заболела, тогда приехала к матери Фекле на Танаевку и ту скончалась. И точию проводили сороковой день, сразу начали советовать о новых местах, потому что время жуткое, мир весь заволновался, кто куда поехали. Тогда вспомнили слова отца Савы, что молодым близ мира жить не полезно. Хотя раньше и никогда не думали куда-то ехать, но сразу надумали, что не примет ли нас отец Сава под свое крыло попечение. И паки проводили мать Тавифу. И когда отправляли мать Тавифу на новы места, тогда мать Фекла и мать Мелетина дали ей благословение управлять семьей и все духовныя дела. А до сего времени она была помощницей игумении, по определению матери Елены. И от сего еще более стала иметь заботу и попечение о сестрах.

И только мать Тавифа уехала с тремя девицами, еще не прошло 3-х недель, оставших на Танаевке власти раззорили, и что обрели при них книги, иконы и вещи забрали, а самих арестовали, затворили в келии и 3 дня подержали и отпустили. А молодых у них не застали, одна была мать Анатолия, но она сумела убежать. И тогда эти позорные старицы переехали в Солобобеву.

А мать Тавифа, когда приехали ко отцу Саве, и он приветил их и не оттринул, но сказал так, что: Не кланяйтесь, Бога просите, Бог управит. И я уже стар, а братия у меня еще молодые, и пецися о вас некому будет. Но вот меня приглашают на Тавангу и Коргу мои христороубцы; я узнаю, возможно, вас примут.

И тотчас же послал спешно одного брата на Тавангу прямо тайгой, расстояние было 100 верст. А время уже было осень, Воздвижение в дороге. А потому спешно, что матери Тавифе нужно поспеть к последнему пароходу, возвратиться обратно с результатом и с вестию к матери Фекле, уже позореным.

А когда посланный брат от отца Савы прибыл на Тавангу и Коргу и передал прозбу отца Савы о старицах позореных и не имущих где преклонить печальную главу, христороубцы усердно приняли прозбу отца Савы о старицах и с любовию пригласили. И с этим успехом и добрым приветом возвратился посланный брат ко отцу Саве и пояснил успех своего путешествия за молитвы отца Савы и

⁴ Солобобово — деревня близ реки Исеть, в восьмидесяти километрах от Тюмени, недалеко от Ирюмского центра, где действовало немало знаменитых руководителей часовенных, включая самого авторитетного их писателя, историка Мирона Галанина.

известил добрый привет христоролюбцев и приглашение. И отец Сава оставил трех молодых стариц у матери Афанасии на время.

А мать Тавифа возвратилась от отца Савы к матерям Фекле и Мелетине с радостью и пояснила им свои успехи в путешествии и благонадежное обретение мест. И тогда все порадовались и возблагодарили Бога и отца Саву, что не оставил ихней прозбы, но попекся яко же достояше.

И по сем мать Фекла направили некоторых из семьи с матерью Тавифой на новоселье. В генваре месяце отправились в путь, 12 генваря было условлено на некоем месте их встретить тавангинским христоролюбцам. И все это совпалося хорошо. Получили багаж (на станции) и отправились с христоролюбцами в Пудинский район на Коргу.

И как только мать Тавифа уехали, мать Фекла и мать Мелетина изменили свое намерение ехать к матери Тавифе, паче же отец Тарасий. А причина сему была такова. Ихний близкий и надежный христоролюбец Фома Абрамович ездил во Владивосток, присмотрел места и начал их приглашать и говорит, что там будет лучше этих мест, куда уехала мать Тавифа. И отец Кирилл с востока писал письмо им шипко приглашал их во Владивосток. И они уже были согласны и туда поехать.

Но мать Тавифа с попутным человеком послала решительный поклон матери Фекле и матери Мелетине, говоря: «Пускай едут сюда». И с этими словами приехал той человек в тюменский пределы в Солобоеву ко старицам и передал поклон, что мать Тавифа заказывала со мной вместе вам ехать к ней. И его спросили: Письмо есть или нет?

— Нет письма. Я приехал по семью, и вы собирайтесь со мною.

И тогда задумались отец Тарасий и мать Мелетина, не знают, что сказать, потому что совсем решили ехать во Владивосток. Но раззори, совет их Господь.

И пошли советовать к матери Фекле и говорят: Вот приехал человек от матери Тавифы, привез поклон и говорит, чтобы мы ехали к ней вместе с ним. И тогда мать, подвизаема Богом, резонно сказала: И что еще надо лучше сего, рас человек приехал, надо собираться и ехать с ним.

И так собрались с ним, поехали. И он довез их до Пудина благополучно, а с Пудина поехали 30 верст на конях. И даже до христоролюбцев не доехали, но прямо с пути повернули в келию — отец Тарасий, мать Фекла, мать Мелетина и юная послушница Валентина и прочии, и с багажом.

А потом не чрез долгое время, когда услышали, что во Владивостоке, куда хотели ехать отец Тарасий и матери, всех раззорили и прибили, тогда много дивились великому милосердию Божию, что наредил человека, ими же весть судьбами, отказал им туда ехать.

И тут они пожилы 5 лет, хотя не вместе: одни на Корге, а другие на Таванге, верст 10. И потом паки начали начальство посещать. И некоторые молодые тут преставились, а с некоторыми молодыми паки мать Тавифа отправилась на Парбик пешком 90 верст, напромки тайгой и болотами, под крило потомства отца Савы, к матери Афанасие⁵. Их любезно приняли старцы и мать Афанасия. Тут они пожилы около 4-х лет, и тут стало жить опасно.

И паки отцы начали розыскивать места в енисейских пределах. И по обретении новых мест, когда стали двигаться на новы места, и паки первым долгом проводили от стариц мать Тавифу с некими послушницами обживать новые места на Безымянке. А поехали на конех зимой, а время было сильно опасно, никого никуда не пропускали. Даже и простому было опасно пойти, а оне ехали на 3-х лошадях, воза большие и восемь человек старцев и стариц. И

⁵ М. Афанасия (ок. 1875—1938) — в миру Анисия, жительница завода Елаторка, что близ Ирковского центра часовенных. Менее семнадцати лет от роду она ушла по обету в известный пермско-тюменский скит м. Акинфы. Еще до пострижения она успешно вела все хозяйство этого скита, «келарила». Вместе с другими пустышницами она переселилась в томские пределы, на правобережье Оби, около 1892 года. Когда же ей исполнилось двадцать лет, она была пострижена. Позднее, уже после переселения скита в леса левобережья Оби, она стала там игуменьей. М. Македония (из томских крестьян), неутомимая переписчица книг и писательница этого скита, вспоминала, что м. Афанасия была игуменьей взыскательной, строгой в соблюдении отеческих заповедей, особенно следила за молчанием во время общей трапезы; но в то же время она отличалась крайней скромностью и смирением во всем, что касалось лично ее, за общим столом занимала последнее место. Эти порядки в ее скиту на Парбиге пользовались заслуженной славой, и скит этот был поэтому под особым покровительством главного пустынножительного центра отца Саввы. Этим и объяснялось решение м. Тавифы.

много за дорогу встретили трудностей и опасности, но вся сия минули благополучно за отеческия молитвы.

И тут на Безымянке мать Тавифа мало пожила, а когда поехали на Дупчес, то она поехала вперед с некоторыми послушницами. Хотя ей предупредил отец Симеон, что там вам будет трудно, да и отца духовнаго нет, но она ни на что не посмотрела. И когда направились жить на Малом Тугульчесе (приток Дупчеса с правой стороны), тогда и прочие семейные⁶ стали к ней подбежжать под ея управление, потому что она могла управлять. Поведением была кроткая, смиренная и незлобива, трудилась на всякой работе: была первая жница серпом, копала, сеяла и на мельнице молола водяной. Но хотя и трудно по первости было жить, потому что во всем было скудно, а больше всего в пищи и одежде, но нецыи сестры говорили: Хотя и трудновата жизнь, но с матерью Тавифой и ради Христа нам кажется не трудно.

По некоем времени Господь попустил нашествию⁷ быти врагом Божиим на Дубческия обители и на близ живущих мирян христоролюбцев. Все обители пожгли, а самих старцев и стариц вывезли (кромя малых, возмогших угонзнути⁸). Некоторых в миру оставили, а прочих по разным лагерям развели.

Мать Тавифа сначала 16 дней тюремный хлеб не принимала и сперва свои крошечки по малу принимала, а потом и так стала жить на одной воде. А когда узнали власти, что она хлебом не питается, и тогда накормили ю нуждею молосным. Насильно кормят чрез машинку: во уста вставляют трубку и пускают питательную жидкость. И по сем она стала принимать хлеб, и воду брала кипячону всегда в свою посудинку, а из общей посуды не питалась⁹. А в лагере было режимом не допускали, дабы кто из своих обителей был с ней, но все была одна. И поэтому ей было трудновато и скучновато быть одной в лагере.

А в заключении, от ареста и до освобождения, отбыла 3 года 8 месяц и несколько дней.

А из лагеря выехала в Минусинск и потом в Туву. Хотя там она и в келии жила, но не в той любимой пустыни, из нея же вывезли власти. При ней были две послушницы, а отцов своих, с которыми раньше жила, там не было. И поэтому все время о том плакала и беспокоилась, и молилась Богу усердно. И Господь своим промыслом наредил добраго человека в помощь им. И приехали во свою любимую пустыню ко своим отцам, потомству отца Савы, во обитель матери Анатолии, с которой мать Тавифа жила еще первыя лета пустынной жизни.

И тут еще пожила 6 лет. Все время радовалась и благодарила Бога, что он не презрел ея плачь и молитву.

А всего в пустыни поживе более 60 лет.

И говорит одна послушница ея: Жила я с матерью Тавифой 44 года и не видала, когда бы она зашумела на кого или грубо сестру потезала, но всегда с кротостию.

Грамотой была не быстрая, она дома в миру выучилась читать только азбуку, вечерню и покойный¹⁰ канон. А прочее училась во обители с большим трудом. Грамота плохо давалась, и сего ради много слез пролила, Бога просила. И с Божиею помочию изучилась читать, хотя нескоро, но слова называла правильно без повторения. Знаменному пению¹¹ научилась и служебный устав¹² добре знала. Молилась она усердно со страхом и со умилением, слезы у ней всегда были близки. Богородице полуторницу и ангелу хранителю лестовку¹³ молилась. А о правиле¹⁴ она шипко заботилась, как бы не оставить. А в последния годы своей

⁶ Семейные (семья) — традиционное название для всех обитателей одного скита, но возможен прямой смысл: близ скитов селились преданные пустынникам семейные крестьяне, признававшие духовное руководство главы скита.

⁷ Имеется в виду разгром дубчесских скитов в 1951 году.

⁸ «Угонзнути — убежать» (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб. 1912, т. III, стр. 1039).

⁹ Старообрядцы многих согласий, включая часовенных, не должны есть и пить вместе с иноверными, из их посуды.

¹⁰ Покойный — заупокойный.

¹¹ Знаменное пение — знаменный крюковой распев, обгчный для древней Руси, повсеместно бытует у старообрядцев, сохранивших и систему обучения ему.

¹² Служебный устав — устав праздничных и ежедневных богослужений.

¹³ Лестовка — старообрядческие четки.

¹⁴ Правило — из древнерусских значений слова: правило — богослужение, устав церковной службы.

жизни делала запас, к обычному повседневному правилу добавляла несколько лествиц. Часто голова болела и шея; а последи и руки еще пуще стали болеть, но она молиться не попускалась. И зело усердно молилась за умерших, и много поминала покойных и каждый день читала канон общий за умерших. А пред концем года за два не стала видеть читать, молилась за канон по Иисусовой молитве. Да и прочих заставляла молиться за упокой.

А послушниц у матери Тавифы было 11 стариц ей здано, и добре их наставляла на путь спасения. 7 уже покойных, а 4 еще в живых. Писавшая повесть сию мать Акинфа с матерью Тавифой жила 44 года. Но и о покойных ея послушницах мало нечто речем.

Во-первых — которая преставилась на Таванге черница Севастьяна. В последний день спросили ю: Сегодня будешь или нет питаться? А больная ответила: Какой же питаться, ведь я сегодня буду умирать. Тако и бысть: в той бо день и преставися.

Вторая послушница — мать Павлина, преставися на Сыму. О ней писано пространно в 1-й части, 46 глава.

Третья послушница ея — мать Александра¹⁵. О ней писано ниже во главе 18-й. О ней сама мать Тавифа пред кончиною сказала, что: Знайте, что мать Александра великая чудотворица. Вот таковы были послушницы матери Тавифы, поставльшей им во образ свою подвижную безвозвратную жизнь.

Как она и сама говорила к некоему, просившу рещи полезное слово, за один год до своей кончины о себе сказала, что отнележе пришла в пустыню, Господь сохранил, не бывало того в помысле — или возвратиться в мир, или инаго коего намерения, еже прейти во иную обитель, но всегда усердно желала в той обители жить со старицами, к коим пришла первее...

...24 июля [7475—1967 года] в воскресенье утром, в доходе 11 часа преставися мать Тавифа на вечную жизнь.

Глава 14. О матери Анатолии. С рукописи матери Акинфы и от иных

Мать Анатолия до накрытия бе Анна Васильевна, младшая сестра матери Елены и матери Мелетины. Еще отроковица суша 10 лет из Кыштыма завода пришла на Сунгул во обитель матери Феклы с подругой отроковицей Александрой, в великом посте, яко же воспоминается о них в повести о сунгульских старицах.

В поделии была искусна, могла святые иконы низать, древяны кресты вырезать, шолком и золотом пелены и чин¹⁶ шить. И яко остроумна суши, грамоте была горазда, во чтении и пении, яко же и Александра, подруга ея, впоследствии учила и прочих знаменному пению. И когда была лет 22-х, болела в тифу очень чежело, что даже изступала из ума. После сама сказывала, что не могла принимать святыню¹⁷, что не надо, но с великим трудом, говорит, понуждаю себя. Потом сказала матери Фекле. Она посоветовала мне молиться преподобному Венедикту и святителю Евтихию. И потом стало можно принимать святыню, за молитвы святых. После болезни, говорит, люте страдах от духа хульнаго, целую зиму, и бывши близ отчаяния. И егда прииде к нам отец Иоанн, исповедах ему беду свою, и повеле мне молитися сиче: Кресту твоему поклоняемся, владыко, и святое воскресение твое славим. И егда сиче молихся довольно, поклоняющися кресту Христову, и тогда силою честнаго креста свободихся от хульнаго беса. Еще говорил отец Иоанн: Когда враг приводит во отчаяние, говори ему: Я хотя погибшая овца, да всещедраго Отца. Дозде мать Анатолия.

А потом пришлось переезжать с Сунгулю старицам в тюменския пределы на реку Танаевку¹⁸. И там безбожнныя власти разорили их. И по сих в 7435 [1927]

¹⁵ М. Александра (1914/1915—1965) — в миру Агриппина, из сибирских крестьян. В 1941 году ушла с матерью в дубчесские скиты, где постриглась через шесть лет. Во время разгрома скитов была арестована, но совершила смелый побег в пути и скрылась. Источники отмечают ее удивительное трудолюбие в скитах на тяжелых полевых работах, умение хорошо владеть топором, иглой, пером и кистью.

¹⁶ Чин — монашеское одеяние.

¹⁷ Принимать святыню — причащаться.

¹⁸ Танаевка — около девяноста километров от Тюмени.

лето, после кончины матери Елены и разорения, Анна Васильевна перешла к матери Еванфии и Валентине¹⁹ и жизнь вовсе переменяла. И точно к Богу стала прибегать во всех скорбех и паче смиряться, а враг более вооружаться. А в лето 7437 [1928/29] получила ангельский чин от отца Лаврентия²⁰ и наречена бысть черница Анатолия.

И тут они мало пожили, пошло разорение. Отец Лаврентий уехал за Бийск, и там его взяли. Старицы переехали с Урала в Сибирь, в Пудинский район, на речку Тавангу. Сначала двое — мать Валентина и мать Анатолия уехали.

О сем многотрудном путешествии мать Анатолия пишет сие:

Начало нашего выезда из Лысвинского района в лето 7441-е [1932/33], весной отправились со станции Унь [в] Кузнецк. Около Кузнецка жили наши христороубцы, мы к ним приехали на квартиру, пожили тут около месяца, но место тут нам не приобрелось. Мы решили поехать дальше в тайгу, где жили старцы и старицы.

Из Новосибирска мы сели на параход, взяли билет до пристани Коломина. Когда доехали до назначенного места, вышли из парахода, направляемся на Дарму и на Парбик. Тут на берегу маленькой базарчик, мы ходим и унываем, как доедем до того места, куда нам надо. Путика²¹ у нас нету, страна чуждая, люди незнакомы и христиан не видится. Ну все же решили нанять извозчика на лошадке, довести нас до Дармы. Лошадь плохая, мы просим только увезти наши котомочки, а сами хотим пойти пешком за лошадкой. А мать Валентина была больная.

И вот когда направились, совсем средились с извозчиком, а ехать далеко, около 100 верст, вдруг идет параход, встречный нашему параходу. Смотрим, выходят из парахода 2 человека, мужчины с бородами, почтенны старички, подходят к базару, мы на них смотрим, и они смотрят на нас. Мы тогда насмелились спросить у них, не знают ли они, как нам проехать на Парбик. Они нас спросили: Куда едите; наверно к старушкам? Мы говорим: К ним. Они нам говорят: Вы неладно едите, тут вам не попасть к матерям. Вам надо ехать на Парабель и на Пудино и на Тавангу. Говорят: Давайте, садитесь с нами на параход и езжайте с нами на Парабель, билет возьмите в параходе. По совету их так мы и сотворили.

Когда приехали на Парабель, эти старички помогли нам купить лодку и нашли спутника. И поехали мы вверх по Парабели. Но спутник нам попал не шипко помочник.

Хлеба мы купили в Новосибирске печенаго немного, нам сказали: Дорогой лучше купите хлеба. А когда мы поехали дальше Парабелию, хлеба вовсе не стало, ни фунта не купишь. Тут люди живут выселенцы, они сами полумертвые от голода, и многия умерли с голода. Мы тогда совершенно обезхлебели, изнемогаем от голода. Мать Валентина больна, у ней рука сильно болела и питаться нечего. Только плачет и плачет, говорит: Наверно придется умирать на

¹⁹ Матери Еванфия и Валентина — пострижены в пермском скиту м. Александры на Черной горе, откуда скит вынужден был перебраться в Лаю (двадцать верст на север от Нижнего Тагила), затем на Танаевку, далее на юго-запад, на реку Бись на водоразделе Чусовой и Сылвы. Большинство пустынных этого скита вынуждены были перебраться в Западную Сибирь, на левобережье Оби (Кольванская тайга, река Парбиг и соседние реки). Здесь с пустынноцами женского скита матерей Еванфии, Валентины и Мелетины соединились обитательницы Сунгульского скита матери Фекла, Мелетина, Анаголия и другие. Во время этого тяжелого пути на Дубчес, уже преодолев почти весь Обско-Енисейский канал, скончалась игуменья Еванфия. Ее преемница мать Валентина была арестована в 1951 году во время разгрома дубчесских скитов, томилась в красноярской тюрьме и лагерях, а после освобождения создала и возглавила скит в Иркутской области.

²⁰ О. Лаврентий — из крестьян деревни Коптелы на реке Сылве Пермской губернии. Пострижен о. Варлаамом в тюменском скиту на реке Танаевке и отправлен оттуда назад в сылвинские скиты, где долго был духовником. Около 1931—1932 годов уехал под Бийск, Кузнецк и Абакан прискивать более безопасные места для уральских скитов, но был захвачен властями. В тюрьме его пытали, безрезультатно требуя, чтобы он топтал Евангелие. О его мученической кончине рассказано в главе 53 первого тома Урало-Сибирского патерика («Новый мир», 1991, № 9, стр. 83).

²¹ Путик — «путевник, маршрут, поденная роспись пути, привалам и ночлегам» (Даль В. Толковый словарь... 1882, т. III, стр. 544). В XIX веке путешественниками старообрядцы называли подобные росписи маршрута и возможных тайных приютов на ночлег на путях крестьянских побегов. Известны путешественники, ведущие в скиты Алтая, а отсюда — в сказочное Беловодье на «Опонских островах».

чужей стране, и нет верных людей, никто нас и знать не будет из наших братьев и сестр. Проехали мы около 100 верст своей силой, больше не можем работать. Где купим кринку молока, где кортовочек немного, больше нет ничего.

Доехали до какой-то деревушки, вышли на берег и седим, ждем катера, может нас подвезут. Просидели двой сутки, а катера нет, и поесть у нас нечего. И вот вечером седим и горюем, подходит к нам мужчина и спрашивает: Вы что здесь сидите долго и куда едите? Мы ему объяснили свое горе, едем ко своим, но работать не можем на лодке, обезсилили, и хлеба купить не можем, никто не продает. Он ушел, вечером опять пришел, погоревал с нами и говорит: Может бы кто продал, да никак нельзя, преследуют. Мы осмелились его попросить, если возможно, сотвори милость, не дайте нам помереть в дороге. Он говорит: Вот как потемне будет, люди упокоятся, вы придите ко мне, я живу за деревней в бараке, я вам сколь-нибудь уступлю хлеба. И когда стало темненько, мы пошли, потти боимся, и нужда заставляет пойти. Нашли его квартиру, и он нам продал большую булку хлеба, кринку молока и два яйца. И вот, слава Богу, пока опять живы.

С этой булкой мы ехали более ста верст до поселка Старицы. Я по ломотику питалась, а мать Валентина не знаю, чем жила. С нами еще ехала молодая жена к матери в гости в Старицу, говорит: Я вам там хлеба добуду. И когда мы подъехали к берегу этой деревни, нас встречает милиционер, спрашивает: Откуда и куда едите? Мать Валентина испугалась и не может что сказать. Женщина эта выскочила и убежала. Тут мы последние крошечки вытресли из мешочка, и больше нет надежды на жизнь. Пошла я в этот поселок искать хлеба. Вижу, люди сыты, хлебные. И прошла весь поселок по порядку из дому в дом, просила, молила, но милости не получила, не продал никто ни единого фунта.

Теперь мы оставили свою лодку и пошли пешком вверх по Чузику, пойти не можем, маленько порвем полевых стручечков гороху, поедим и опять пойдем. И вот встречается нам человек, который с нами ехал. спрашивает: Вы все еще хлеба не достали? Мы говорим: Нет. Он нам сказал: Вот тут есть заимка, вы зайдите, может тут продадут. Когда мы дошли до заимочки, зашли, видим — люди не голодны, мы стали просить продать нам сколь-нибудь хлеба. Они сначала молчат, мы приступили к ним с большим прошением: Христа ради не дайте умереть на дороге. Они нам продали муки фунта 4, да краюшку печенного хлеба дали. Вот маленько отошли от заимки, стали варить заваруху. Пообедали, слава Богу, и опять пошли вперед.

И опять нам встречается мужчина, мы спрашиваем: Где бы нам купить хлеба? Он говорит: Вот тут не шипко далеко жители Фадей Федорович Чикуров, вы к ним зайдите, они люди хлебные, тут может купите.

И вот мы тихоньку идем, дошли и до этой заимки, подходим вечерком, маленько начинает дождь, мы думаем: Где будем ночевать? Подошли к этому дому, зашли в дом, положили приходные поклоны, просим милости, говорим: Нельзя ли начевать у вас? Не оставте Христа ради. Они спрашивают: Откуда вы? Мы говорим: С Урала. Они говорят: Наверно, на Тавангу, матери Мелетины сестра. Мы говорим: К ним едем. Они нас приняли с великим благодеянием, как своих близких, говорят: Милости просим, раздевайтесь. И накормили нас ужином. И мы были рады ихнему привету даже до слез. Утром встаем и надо нам дальше ехать. Фадей Ф[едорович] говорит: Погостите у нас, маленько отдохните с дороги. Мы еще больше возрадовались ихнему приглашению и неделю отдыхали у них, спаси их Господи, празновали у них Ильин день.

И потом пошли дальше, поехали по Чузику. Тут уже дорога нам была во всем благополучная, люди, жившие здесь, по реке,— христианы, они нас наделили всякими продуктами для питания. И так последняя версты проехали мы с рабочими без труда и сыты. На Тавангу приехали 1-го августа. Вот и слава всемилостивому Богу за вся его благодеяния, до сих пор живем хранимы Богом. Дозде мать Анатолия.

Мать Акинфа: А потом к ним приехали и мать Еуанфия с сестрами. И жили они тут с матерью Феклой и матерью Мелетиной и матерью Тавифой вместе в одних келиях лет около 5-ти. А потом переселились в Красноярский край на Безмянку под печение старцев, последователей отца Савы — отца Симеона и отца Антония. Съехались тут все обители: матери Еванфия и Валентина и наши, матери Фекла и Мелетина, мать Флина и старица Алевтина. И вот тут были

дивны вещи, что Господь собрал во едину страну столько обителей²². Это было в 7447 [1938/39] году. И тут на Безимянке нецый от стариц отошли ко Господу, а оставшия переселялись в дупческия пределы в 7449 [1940/41] году, а иныя позднее. А матери Еванфия, Валентина и Анатолия с сестрами переехали с Безимянки на реку Моховку.

Сказывала мать Анатолия: В некое время на Безимянку носила часы маленькие поправить. И когда понесла обратно к матери Еванфии, дорогой не пошли, что-то повредила их. Опечалилась и помолилась преподобному Венедикту²³ дорогой ношью; и исправились часы и пошли в ход.

И тут на Моховке они жили все вместе, а потом стали новоселить ввиду опасности. Мать Еванфия осталась на старом месте, а матери Валентина и Анатолия пошли на новоселие. Тогда мать Еванфия сказала матери Анатолии: Ты утешай мать Валентину, если когда что-либо прилучится ей печальное. А прежде того никогда так не говорила. Как бы подобно ей предсказала, что ведь останитесь сиротами, потребуется утешать одна другую. И тако в конце той зимы мать Еванфия преставися.

Некогда прилучися матери Анатолии отъйти некамо²⁴ по некоей потребе и умедлить, то мать Валентина заботилась и просила ее поспешить, зане в неприсутствии духовнаго отца прощалась у ней во своих недостатках²⁵, яко показуеть от ея писания, каковое она имела пощение о покаянии. Пишет она:

Прелюбезная ми мати и чадо... Ты веси²⁶ моя скорби душевныя: много бо согрешаю и никому не поведаю, ожидая твоего прихода. А время не ждет, все течет со скоростию и к смерти движется. Когда тебя дождусь — не вем. Тако пища, слезы роня, и прося милости от Бога, дабы скорее сподобил мя видети тя в моем объятии. Прости мя, и благослови и помолись. Дозде от письма матери Валентины.

В лето 7455 [1946/47] мать Валентина и мать Анатолия с прочими переехали с Моховки на Дубчес к матери Тавифе. Построили им келии на Керженке, притоке Дупчеса.

И тут они жили до раззорения 7459 [1951] года. А пред раззорением мать Анатолия с немногими сестрами отделилась на другое место по совету отца Симеона ради опасности. И тут они Божиим промыслом были сохранены от раззорения. А мать Валентина с сестрами остались на старом месте и были раззорены и вывезены безбожными. Попустил Господь, и сильныя власти распудили²⁷ Христово стадо, сожгли святыя иконы, книги и келии. Осталась едина мать Анатолия с малой дружиной, разве кто возможе бегством угонзнути.

Сколько ей было скорби и слез, точию единому Богу извесно. К нему она прибежала во всяких скорбех и просила его помощи.

²² Столько обителей — имеется в виду, что во время тайных переселений в бассейн Нижнего Енисея под Безимянкой на некоторое время оказались вместе пустынники основных групп уральских скитов часовенного согласия, ранее разбросанные по Западной Сибири. Это отцы Симеон и Антоний с братией, представлявшие главный скит часовенных, возглавлявшийся ранее отцами Нифонтом и Саввой, это Сунгульский скит матерей Феклы, Мелетины, Тавифы и, наконец, пермский скит матерей Еванфии, Мелетины и Валентины. Мать Флина на Урале жила близ отца Саввы, а в 1917/18 году переселилась на Алтай, в скит м. Елизаветы (бывшей ранее послушницей пермской м. Александры), где была пострижена. Перу м. Флины принадлежат многие страницы Урало-Сибирского патерика.

²³ Преподобный Венедикт, согласно популярнейшей в скитах книге кратких житий и нравоучений «Русский Пролог», обладал даром исцеления не только людей, но и вещей. Так, он исправил поломанное решето («Пролог». М. 1643, л. 71).

²⁴ «Некамо — в некое место, куда-то» («Словарь русского языка XI—XVII вв.». Вып. XI. 1986, стр. 150).

²⁵ Таким образом, м. Анатолия практически принимала исповедь в отсутствие духовного отца (см. сноску 3).

²⁶ В еси — ведаешь.

²⁷ «Распудить — разогнать, разсеять» (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка..., т. III, стр. 82).

УСТНЫЙ РАССКАЗ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Из архива Е. Н. Опочинина

Публикуя в 1936 году воспоминания Евгения Николаевича Опочинина (1858—1928), Ю. Верховский, очевидно, не решился напечатать предлагаемый читателю фрагмент. И вряд ли публикатор не поверил мемуаристу: ведь в своем предисловии он особо настаивает на достоверности записок Опочинина: «...следует остановить внимание на двух характерных особенностях записей Е. Н. Опочинина. Первая — необычайная точность и, сказали бы мы, *правдивость памяти*, ему свойственная. Она сказывается в настойчивом стремлении воспроизвести по возможности буквально не только мысль, но и слова, сказанные Достоевским: показательна оговорка в скобках в одной из записей... «дышать было бы трудно (или «нечем»? — не помню)». Вторая особенность — прекрасный язык записей. Иногда удивительно схвачен именно язык, манера выражения Достоевского (тут интересен был бы детальный анализ). Это обусловлено, конечно, определенным литературным даром Е. Н. Опочинина»¹.

И с этой характеристикой нельзя не согласиться. Работая с архивными фондами Опочинина, поражаешься той скрупулезности и тщательности, с какой он собирал и хранил все приметы прошлого для потомков. Интерес Е. Н. Опочинина — писателя, историка, театроведа, журналиста, фольклориста, коллекционера — к старине и собирательству просто любительством не назовешь, это убеждение, нравственная позиция всей его жизни². Находясь в центре культурной жизни России конца XIX — начала XX века, он запечатлел портреты многих известных современников, с которыми был хорошо знаком, — П. П. Вяземского, А. Н. Майкова, А. П. Милюкова, Д. В. Григоровича, С. Н. Терпигорёва, Г. П. Данилевского, Я. П. Полонского, И. С. Тургенева и других.

Окончив Киевский университет, Е. Н. Опочинин зимой 1879 года приехал в Петербург и поступил на службу к президенту Общества любителей древней письменности князю Павлу Петровичу Вяземскому, стал посещать пятницы Я. П. Полонского и литературные вторники А. П. Милюкова, где в декабре 1879 года и состоялось его знакомство с Достоевским. Бывая в доме писателя, часто беседуя с ним, Опочинин испытал сильное воздействие личности Достоевского, что и засвидетельствовал в своих записках: «Тянет меня слушать его, хотя во многом с ним я и не согласен. Стараюсь доказать [уяснить?] себе, что это такое — простая ли симпатия к Достоевскому, как человеку, несомненно хорошему, или обаяние имени, знакомого и большого, под которым стоят: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»? Сложное и трудное дело для меня решить этот вопрос. Спросить разве его самого? Ну, нет, на это меня не хватит»³.

Записки Опочинина о Достоевском отрывочны, неоднородны по жанру: это и дневник, полный житейских подробностей, и эскизы, и рассказанные Достоевским микроновеллы, тексты рукописей Достоевского, по счастью, доставшиеся мемуаристу, тут же мнение о нем священника отца Алексия и многое другое. При чтении воспоминаний Опочинина становится ясно, что автор вряд ли рассчитывал на их публикацию, а выступал лишь в роли хроникера, стремящегося с максимальной точностью зафиксировать мысли, слова, жесты и оттенки настроения писателя:

«Все, что сейчас дома записал я под свежим впечатлением, Ф[едор] М[ихайлович] говорил, сильно нервничая, то двигая как бы произвольно руками, то передвигая

Вступительная статья и публикация *М. ОДЕССКОЙ*.

¹ Ю. Верховский, предисловие к публикации: Опочинин Е. Н., «Беседы с Достоевским» («Звенья»). М.—Л. 1936, № VI, стр. 456).

² Призывом оберегать национальные реликты от «всеуничтожающего» варварства проникнут очерк Е. Н. Опочинина «Русские коллекционеры и уцелевшие остатки старины» (см. нашу публикацию в журнале «Наше наследие», 1990, № 4; полностью воспоминания Е. Н. Опочинина не публиковались /см. еще один фрагмент в сб. «Встречи с прошлым», вып. 7, М., 1990, стр. 32—59/).

³ Опочинин Е. Н., «Беседы с Достоевским», стр. 466.

бумаги на столе. Только под конец, несмотря на произносимые едкие слова, он говорил довольно плавно и спокойно, но с губ его не сходила ироническая усмешка. В это время он чертил или рисовал что-то на довольно больших обрывках бумаги. Клочки эти я подобрал со стола, когда Д[остоевский] встал со мной проститься, и, оборвав лишнюю бумагу, положил в карман.

— Куда вам эта дрянь? — улыбаясь, спросил меня Ф[едор] М[ихайлович]⁴.

Записки Опочинина позволяют наблюдать за процессом движения мысли Достоевского. Поверяя молодому собеседнику ту или иную жизненную ситуацию, Достоевский проверяет реакцию слушателя на те загадки жизни и тайны человеческой природы, которые самого его застигали врасплох, ищет определенного ответа, как бы спасаясь от многоголосицы в собственных романах, морализирует, поучает.

Действительно ли рассказ о встрече с некротоманом услышан из уст Достоевского? Прямых доказательств тому нет, но есть литературный контекст — произведения писателя. Сразу же вспоминается рассказ «Бобок» (1873) с его кладбищенской тематикой и могильной эротикой, шокировавший современников: «Выбор таких сюжетов производит на читателя болезненное впечатление и заставляет подозревать, что у автора... что-то неладно в верхнем этаже»⁵.

Чем же вызвано столь неприятное впечатление? Оксюморонные сочетания «смерть — смех»⁶, мертвое — плотское, которыми пронизан весь рассказ, создают зловеще-болезненный эффект. Повествование ведет один из «подпольных» героев, находящийся на грани сумасшествия. И он спокойно, с глумливой ухмылочкой живописует атмосферу кладбища, эротические разговоры и сплетни разлагающихся трупов, говоря об этом как о чем-то обычном.

Герой публикуемого рассказа — еще одна вариация «подпольного» человека. Дмитрий Иванович N, весь сосредоточенный на своей тайной страсти, выходит из подполья по случаю проводов «великой красоты» в мир иной. «Он шел в последних рядах процессии, как и все, без шляпы, но выделялся среди опечаленных провожавших необыкновенно веселым лицом. Мне даже показалось, что он улыбался...» Совпадения поразительны — в «Бобке» читаем: «Ходил развлекаться, попал на похороны... Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости»⁷.

Дмитрий Иванович N, так же как и герой «Бобка», рассказывает о своей необычной страсти как о чем-то само собой разумеющемся, ищет сочувствия у собеседника и обижается, когда именно Достоевский, произведения которого он так любит, отказывается его понимать.

Красота в художественном мире Достоевского — это сила, и никто из героев его произведений не может устоять перед ней. «Такая красота — сила... с этакою красотой можно мир перевернуть!» — восхищается Аделаида Епанчина, рассматривая портрет Настасьи Филипповны.

Но красота способна возбуждать и содомские страсти — вспомним известный монолог Мити Карамазова: «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским». И далее: «...красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, и поле битвы — сердца людей»⁸.

В рассказе Дмитрий Иванович созерцает божественный покой красоты мертвой, красоты чистой и юной, «не загрязненной нашей земной страстью». «Я верю в это и полагаю, что великие сонмы небесных сил постоянно увеличиваются отходящими от нас существами, как принято говорить, неземной красоты... И чистоты, — позволю я себе прибавить, ибо только красота и чистота вместе открывают доступ в небеса». А тайна красоты неразрывно связана с тайной пола. «И скажу вам по правде, главное дело — это «последнее целование». Я готов бы упиваться им вечно, я с трудом отрываюсь от прекрасных чистых уст... А что до запаха — так он не более, как от увядших цветов... Только и всего. А зато радость, восторг, говорю вам, неизъяснимые, и ощущения острейшие!»

Рассказ этот — еще одна попытка разгадать все те же тайны.

⁴ Опочинин Е. Н., «Беседы с Достоевским», стр. 458.

⁵ «Дело», 1873, № 12, ч. 2, стр. 102.

⁶ См.: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1979, стр. 160—161.

⁷ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л. 1980, т. 21, стр. 43.

⁸ Там же, 1976, т. 14, стр. 100.

Как пишет Е. Н. Опочинин, вопросы пола волновали Достоевского. Чрезмерная откровенность и те подробности, в которые углублялся писатель, смущали его собеседника⁹. Другие современники Достоевского тоже оставили в своих воспоминаниях свидетельства об интересе писателя к сексопатологическим проявлениям. Один и тот же сюжет о растлении малолетней девочки, отраженный в романах («Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот»), варьируется и в устных рассказах Достоевского. Софья Ковалевская, например, вспоминает, как Федор Михайлович шокировал ее мать, поведав в их доме сюжет неосуществленного романа, в котором богатый и образованный молодой человек после разгульной ночи растлил десятилетнюю девочку¹⁰. З. А. Трубецкая приводит рассказ Достоевского в салоне А. П. Философовой о том, как еще в детстве будущему писателю случилось увидеть изнасилованную каким-то пьяным мерзавцем девятилетнюю девочку. Это воспоминание, по словам Достоевского, преследовало его всю жизнь «как самое ужасное преступление, как самый страшный грех»¹¹. И. И. Ясинский рассказывает о том, как Ф. М. Достоевский мистифицировал Тургенева своим покаянием в страшном грехе — соvrащении малолетней девочки¹². Подобные рассказы Достоевского, к которым, как видно, он имел склонность, вызвали немало сплетен и даже обличительное письмо Н. Н. Страхова Л. Толстому (от 28 ноября 1883 года), впоследствии опубликованное в октябрьской книжке «Современного мира» за 1913 год. Говоря о «пакоcтях», якобы чинимых Достоевским, ссылаясь на пример с девочкой — жертвой пaтoлогичеcких наклонностей писателя, Н. Н. Страхов идентифицирует Федора Михайловича с героями его собственных романов — Свидригайловым, Ставрогиним.

Неотступные мысли о полярности, антиномичности человеческой природы, о той бездне, какую таит в себе человеческая душа, человеческая психика, Достоевский воплощал не только в романических образах. Возможно, писатель нуждался в живой, непосредственной реакции аудитории, когда устно повторял или же варьировал сюжеты своих произведений, играя в них роль очевидца, героя, свидетеля. И хотя ситуация предлагаемого рассказа достаточно вызывающа даже для Достоевского, в нем сходятся сквозные темы, сюжеты, проблемы и герои известных читателю произведений писателя с «жестоким талантом».

Текст печатается по автографу: ЦГАЛИ, ф. 361, оп. 1, ед. хр. 6, лл. 38—56.

Е. Н. ОПОЧИНИН

Ф. М. Достоевский

(Мои воспоминания и заметки)

Во время одной из бесед моих с Ф. М. разговор наш по его почину перешел к отношениям полов и браку, а от этого как-то сам собой коснулся и вопроса о половой извращенности. При этом я заметил, что Ф. М. проявляет особый интерес к этому отделу патологии, останавливаясь с большим углублением на отдельных рассказанных им же случаях. В свое время я решил не записывать этих тяжелых примеров, но один случай, на котором с особенною подробностью остановился Ф. М. и который меня тогда сильно поразил, я решил восстановить здесь отчасти по памяти, отчасти же по сохранившимся кратким заметкам.

«В этом отношении (т. е. в половом), — говорил между прочим Ф. М., — столько всяких извращений, что и не перечтешь... Ну да это уж дело особой специальности медицинской разбираться во всех видах этой мерзости. Я думаю, однако же, что всякий человек до некоторой меры подвержен такой извращенности, если не на деле, то хотя бы мысленно... Только никто не хочет в этом сознаваться: будь же дело иначе,

⁹ «Из особой горячности, с какой он говорил об этих отношениях, я вижу, что он как будто очень интересуется ими. Всего сполна не буду записывать: пожалуй, уж слишком откровенно <...> Тут Ф[едор] М[ихайлович] вошел в подробности, которых не хочется мне приводить. И углублялся он в эти подробности с большим интересом... Говорил он дальше о „власти над человеком полового возбуждения“, о „подчинении ему воли“» («Звенья», стр. 462—463).

¹⁰ См.; Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М. 1951, стр. 108.

¹¹ Трубецкая З. А., «Достоевский и А. П. Философова». Публикация С. В. Белова («Русская литература», 1973, № 3, стр. 117).

¹² См.: Ясинский И. ер. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М.—Л. 1926, стр. 168—169. Об источниках этой легенды подробнее см.: Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск. 1978, стр. 75—109.

большой материал собрался бы у Мержеевского...^{*} А вот мне встретился в жизни один человек, который и не скрывал как будто своей — как бы это сказать? — ну, ненормальности, что ли, но только в известном смысле. И человек это был самый обыкновенный, заурядный и во всем остальном, кроме одной особенности, совершенно нормальный. Встретился я с ним в церкви на похоронах девицы одной, признаться, необыкновенно красивой, умершей в самых юных летах. Дело было так: в конце обряда отпевания, когда родные и знакомые умершей пошли дать ее телу «последнее целование», среди них появился никому из них не известный господин лет пятидесяти с лишком, по виду отставной чиновник, бритый, в общем, наружности ничем не выдающейся, притом и одетый скромно, хотя и весьма прилично.

Он как бы с особливим усердием поклонился телу и облобызал сначала в уста, а затем в сложные руки, необычно продолжительным поцелуем, на что многие даже обратили тогда внимание. Затем он еще раз поклонился гробу, замешался в толпе, и больше его никто не видал. После родные умершей, особенно мать и отец, старались допытаться, кто бы мог быть этот неизвестный «друг» (что «друг» — это было решено единогласно, а мать даже с трогательным чувством произносила это слово), строили всякие предположения, даже спрашивали кое-кого, но так ничего и не узнали. Узнать же очень хотелось, ибо некоторые из родных покойной девушки уверяли, что видели неизвестного в доме ее родителей за первой торжественной панихидой, причем им будто бы был принесен и возложен к гробу великолепнейший и весьма ценный венок из белых роз. Были у венка, как водится, и ленты, также белые муарового шелка, но слишком широкие и без всякой надписи. Разумеется, столь трогательное внимание возбудило всеобщее любопытство. Попытались обратиться по этому поводу и к матушке безвременно отошедшей, но она, будучи убита постигшем ее горем, ничего и никого упомянуть не могла, хотя венок и приметил.

Со временем происшествие это забылось. Забыл о нем и я, и, вероятно, никогда бы не вспомнил, если бы не новая встреча с «неизвестным другом». Произошла эта встреча при обстоятельствах, весьма схожих с теми, при коих его видели в первый раз, с тою лишь разницей, что я, будучи на кладбище, увидел его в числе провожавших чей-то белый, весь покрытый цветами гроб. Я не страдаю нездоровым любопытством и обычно не смотрю на печальную процессию похорон и даже стараюсь не присутствовать на них, но тут я был застигнут врасплох, почему, сняв шляпу, посторонился, и мимо меня проследовали и певчие, и духовенство, и несшие изукрашенный гроб, и, наконец, провожавшие его родные и знакомые, которых было очень много. Вот тут-то я и увидел «неизвестного друга», как я мысленно его называл. Он шел в последних рядах процессии, как и все, без шляпы, но выделялся среди опечаленных провожавших необыкновенно веселым лицом. Мне даже показалось, что он улыбался... К могиле вместе со всеми он не пошел, а остановился невдалеке от меня и, когда хвост процессии скрылся на мостках, стал закуривать. Чрезвычайно заинтересованный, я решил посмотреть, что будет делать он дальше. К удивлению моему, он сделал несколько шагов по направлению ко мне и вдруг заговорил:

— Изволили вы видеть, какая красавица? — спросил он меня, весь сияя восторгом.

— Кто? — спросил я, до чрезвычайности пораженный обращенным ко мне вопросом.

— Да в церкви-то вы были-с?

— Нет, — говорю, — не был.

— Жаль-с, очень жаль-с. Упустили случай увидеть великую красоту, единственную, можно сказать. Это-с, вы знаете, г-жа С. (Он назвал незнакомую мне фамилию.)

— Что же, она знакомая ваша или, может быть, родственница?

— Нет-с, не родственница и не знакомая даже. Познакомился я с нею лишь сегодня в церкви-с во время отпевания.

Ну, думаю, сумасшедший. Теперь понятен и первый случай, казавшийся такой загадкой. Однако, всмотревшись в загадочного друга, я сильно усомнился в правильности такого заключения: в глазах его, все еще сохранявших выражение удовлетворенности и даже будто радости, светился ум; движения и жесты его были спокойны и плавны без малейшей порывистости, столь свойственной умалишенным. Все это привело меня к мысли, что случай свел меня с каким-то весьма редким чудачком и что следует узнать его поближе. И вот я незамедлительно приступил к делу. Для начала я счел нужным назвать себя.

^{*} Мержеевский Иван Павлович (1838—1908) — врач-психиатр, автор многочисленных научных трудов; в 1883 году издавал журнал «Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии». (Прим. мемуариста.)

— Позвольте,— говорю,— познакомиться: я такой-то...

— Помилуйте-с! — остановил меня мой новый знакомец. — Я узнал вас с первого взгляда и, подходя сюда, лишь потому вам не поклонился, что опасался, как бы поклон мой не приняли за навязчивость...

— Ну, вот еще,— попробовал я протестовать. — Какая же навязчивость! Мне очень приятно...

— Нет, как же-с! Позвольте вам пояснить: ведь за известными лицами гоняются многие. И это из тщеславия: смотрите, мол, с кем я знаком! Я же, не претендуя на личное знакомство, знаю вас уже давно-с. И произведения ваши все читал, весьма и весьма их одобряю, а иные даже до увлечения, и с нетерпением ожидаю новых. Однако позвольте и мне назвать себя вам.

И мой собеседник четко, как будто по слогам, выговорил, по-старомодному склонив голову:

— Димитрий Иванович N, статский советник...

(Вы понимаете, что я не могу назвать его фамилию,— заметил Ф. М.)

— Я не посягаю на честь, чтобы скромное имя мое было вам известно, но весьма, признаюсь вам, счастлив, что судьба устроила нашу с вами встречу, ибо давно хотел вас кое о чем спросить, даже писать вам собирался.

И он предложил мне несколько вопросов относительно некоторых мест в моем последнем романе, вызвавших его недоумение. И, скажу я, вопросы его, сделанные с чрезвычайной деликатностью, были весьма дельные, пожалуй, под стать бы и иному критику.

Я отвечал как мог и, по-видимому, сумел удовлетворить своего собеседника. В это время мы двигались по мосткам кладбища и незаметно пришли в самый его конец, туда, где белеют ряды крестиков последнего «разряда».

Во время этой беседы меня все неотвязно беспокоила мысль о том, как бы навести Димитрия Ивановича на его давешние слова о «великой красоте» только что погребенной теперь умершей. И в то же время я чувствовал, как что-то жуткое забирается мне в душу... Воспользовавшись перерывом в разговоре, я наконец набрался смелости и спросил:

— А скажите, пожалуйста,— начал я робко,— для чего вы провожаете и присутствуете на отпевании незнакомых вам умерших?

Дмитрий Иванович обернул ко мне свое чисто выбритое лицо и с изумлением спросил в свою очередь меня:

— То есть как же это-с, я провожаю незнакомых мне умерших людей? Уж не полагаете ли вы, что я всяких умерших провожаю? Позвольте же объяснить вам, что случаи, когда я провожаю и напутствую своим прощанием умерших, бывают чрезвычайно редки. Столь же редко, сколь редко встречается нам видеть отошедшую из нашей утлой жизни (он так и сказал «утлой») великую красоту, которая в смерти становится еще выше и победительнее, ибо приобретает вид незнакомого и недоступного при жизни спокойствия.

— Но позвольте, как же вы можете уследить, что отошла в иной мир именно «великая красота»? Осведомляет вас об этом кто-либо, или вы сами по газетам следите? Но ведь в траурных-то объявлениях о красоте ничего не говорится...

— Конечно-с, в отношении газет вы правы: они не дают нужных мне указаний, но все-таки и без них не обойдешься, именно в них я почерпаю сведения о храме, где должно произойти отпевание, а равно и о месте погребения. Также и адрес в них имеется... О главном же, о красоте, как вы изволили упомянуть, меня действительно осведомляют, и знаете ли, кто-с?

Все это Дмитрий Иванович говорил мне с пафосом и даже как будто величественно, что сказывалось больше всего в его осанке. Мне показалось даже, что вся обычная чиновничья приниженность его исчезла в нем и что как будто он чувствует надо мной превосходство. Эта мысль промелькнула у меня в голове в то время, как он, глядя на меня в упор, ожидал ответа.

— Право, не знаю,— в недоумении сказал я. — Ведь не родные же умершей, надеюсь?

— О, никоим образом! От них все держится в совершеннейшей тайне-с. А дают мне сведения... гробовщики-с или их подручные, и притом за самое скромное вознаграждение. Ведь, знаете, они первые призываются и имеют дело с умершими для снятия мерки.

Я снова вернулся к мысли, что передо мной сумасшедший. Однако как будто и нет: говорит, очевидно, по-своему обстоятельно и вполне спокойно, словно излагая самое обыденное, простое дело. Но, думаю, так или иначе, надо идти до конца, и, приняв такое решение, спросил:

— Так вы, следовательно, на основании только этих указаний гробовщиков и идете провожать «великую красоту»?

— Никак нет! Разве же можно полагаться на грубых и необразованных людей?! Вот потому-то, что я на них не полагаюсь, всякий раз, как случится мне получить нужное указание, я непременно и неукоснительно подвергаю его своей личной проверке: под каким-либо предлогом являюсь в дом, иногда просто за панихидку. Дело безобидное-с: ведь не выгонят же человека, пришедшего помолиться? А иногда приношу венок-с, и притом богатейший-с, и если, случится, спросят, от кого, я отвечаю: от неизвестного лица-с... Да, от неизвестного лица-с... И тогда прием и за панихидами, и на выносе, и все остальное-с уже никого не удивляет, ибо сам-то я становлюсь уже лицом известным-с. Так вот тут и выходит: и неизвестный (это я о венке-с), а с другой стороны, и известный.

Тут Дмитрий Иванович коротко и как-то неприятно рассмеялся...

— Но, ради Бога, зачем вам это надо? К чему вы проделываете все это: подкупаете гробовщиков, хитрите, даже расходы несете? На что вам это? Что за цель? — засыпал я вопросами моего собеседника.

Всякий след улыбки, все время игравшей вокруг губ Дмитрия Ивановича, исчез с его лица. Он выпрямился, словно вырос, и торжественно заговорил:

— Сказать по правде, я удивлен, что вы меня не поняли... Давно уже я питал надежду вам и только вам сообщить свою затаеннейшую мысль. Поделиться ею... Ибо в вас вижу я человека, познавшего всю глубину человеческой души. Но раз вы меня еще не поняли, необходимым считаю ради ясности истолковать.

Поза и речь Дмитрия Ивановича стали еще торжественнее.

— Я уже докладывал вам, — начал он, — что истинная, великая красота, и притом же красота чистая (а это одно из условий для меня необходимых), не загрязненная нашей земной страстью, юная-с и лучезарная, — явление весьма редкое. И вот-с, такая-то красота покидает землю, чтобы стать ангелом. Я верю в это и полагаю, что великие сонмы небесных сил постоянно увеличиваются отходящими от нас существами, как принято говорить, неземной красоты... И чистоты, — позволю я себе прибавить, ибо только красота и чистота вместе открывают доступ в небеса. И неужели здесь, у нас, не должен отыскаться человек, который бы это постиг умом и сердцем и, не скорбя, а наоборот, — радуясь, напутствовал бы и чествовал своим последним лобзанием восходящего в свою область ангела?! Скажу вам прямо: я такой человек! Я постиг это и всякий раз, как случается мне, подобно как сегодня, чествовать недостойным своим лобзанием отшедшего от нас ангела, я возношусь духом от земли и испытываю неизъяснимый восторг...

Теперь глаза Дмитрия Ивановича горели действительно восторгом. Он перевел дух и продолжал:

— И скажу вам по правде, главное дело — это «последнее целование». Я готов бы упиваться им вечно, я с трудом отрываюсь от прекрасных чистых уст... Но вы знаете, нельзя обращать на себя слишком большое внимание...

Темная загадка почувствовалась мне в этих последних его словах...

— Послушайте, — не выдержал я. — Да ведь это же чудовищно, поймите! И какой же может быть восторг целовать, да еще так продолжительно, труп, большею частью к похоронам уже подвергающийся разложению. Посиневшие губы, трупный запах... Ведь это ужас!

— Какой же тут может быть ужас? — спокойно возразил мне Дмитрий Иванович. — Наоборот-с, великое наслаждение... В устах своих, слитых с ее устами, чувствую я холодок... Да, холодок-с, и столь упоительный, что с болью и трудом я могу оторваться... А что до запаха — так он не более, как от увядших цветов... Только и всего. А зато радость, восторг, говорю вам, неизъяснимые, и ощущения острейшие! Да вы сами при случае извольте испытать... Да-с, вспомните мои слова и испытайте. Тогда, быть может, поймете меня, и слова мои станут для вас ясны.

Одна мысль о том, что и мной могла бы овладеть такая ненормальность, испугала меня до того, что, поспешно приподняв шляпу, я чуть не бегом бросился по мосткам к выходу с кладбища.

Ф. М. умолк.

— Вот что, — как будто припомнив что-то нужное, после долгой паузы обратился он ко мне. — Вы про «случай»-то никому не рассказывайте: это может и на голову упасть. Мне Н. Н. и так говорит: «это все ваши фантазии: вы таких людей навьдумывали, что они вам самому покою не дают».

Я слушал это ужасное повествование, боясь проронить слово. Образ маньяка-чиновника, обрисованный Федором Михайловичем, выступал передо мной живым. Отвращение и гнев горели во мне, и жалость наполняла сердце, жалость к бедным

* Ник<олай> Ник<олаевич> Страхов. (Прим. мемуариста.)

умершим, останки которых подвергались при последнем прощании с землей гнусному, хотя и мысленному, посягательству.

Произнеся последнее слово своего рассказа об этом ужасающем случае, Ф. М. сидел сгорбившись в кресле и, казалось, что-то обдумывал. Я не считал удобным прерывать его размышления и также молчал. Так прошло минуты три-четыре. Наконец, как бы очнувшись, он порывисто поднял голову и спросил меня:

— Ну что же вы скажете? Известно ли вам было, каких уродов порождает в своей среде человечество?

Я порывисто стал говорить и упомянул, что таким уродам не место в жизни, что их надо уничтожать, что они заражают самый воздух, которым дышат.

— Вот, вот! Так и знал, что вы заговоритесь и скажете: надо уничтожать, как вредных насекомых. А более сдержанные люди так те предлагают удаление таких выродков так же вот, как поступают в иных местах с прокаженными — не у нас, конечно: у нас и прокаженные ходят на полной воле и рассыпают всюду свою заразу. А попробуй-ка поступать так, как необдуманно советуете вы в молодой своей горячности, — какой крик подняли бы все при первом же случае применения на деле суровой вашей меры! И первые начали бы шум газеты и каких, каких слов бы свободных не наговорили! А что до удаления всяких этих уродов, то, я уверен, никаких тюрем и казематов для помещения их не хватило бы. Да и как вы их тронете, когда многие из них, даром что все знают о их мерзостных противоестественных грехах, не только приняты повсюду, а и любимы в высшем нашем обществе и даже в самых высоких верхах. Посмотрел бы я, кто посмеет их тронуть, хотя о их мерзостях известно всем, и более всего властям.

— Тогда что же делать? Ведь нельзя же терпеть, чтобы такое зло распространялось и росло?.. — пробовал заметить я.

— Вот что я вам скажу, — волнуясь начал Ф. М. — Для этого одно средство: настоящая, крепкая и здоровая семья. Образуйте такую семью, чистую, с твердыми началами, воистину религиозную, да не возите детей в Европу, да не давайте им якшаться с французишками (ведь вся гниль и мерзость из вашей Европы). Словом сказать: хотите есть хороший хлеб без мух и тараканов, так пеките его в своей кухне, да следите в ней за чистотой!

Ну, подумалось мне, Ф. М. сел на своего любимого конька, но, оказалось, я ошибся: высказав последнее наставление, он замолчал, и я мог предложить ему беспокоивший меня вопрос:

— Скажите, Ф. М., встречали вы когда-либо после этого Дмитрия Ивановича?

— Нет. Он совсем пропал у меня из виду. Но зато я встретился как-то с одним его бывшим сослуживцем, и он расхвалил мне его так, что я почувствовал даже неловкость некоторую и уж, разумеется, не стал опровергать хвалителя. Дмитрий Иванович, по его словам, человек каких мало: и добрейший, и любезнейший, и аккуратнейший — все, одним словом, в превосходной степени... В одном только слове обошелся мой собеседник без превосходной степени, именно упомянув, что Дмитрий Иванович старый холостяк, к чему тут же добавил: «и по свойственной ему оригинальности чуждается женского общества».

Уходя от меня в это единственное свое посещение моего жалкого жилья у П. А. Зегниц, Ф. М., когда мы шли по коридору, заметил:

— А не хорошо тут у вас, и воздух дурной. Настоящие, как есть, меблированные комнаты. Ну да если у человека внутри его есть хоть какой-нибудь мир или миришко даже — так до окружающей его внешности ему и горя мало. Не так ли?



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Предварительные итоги XX века

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

*

ВИД ИЗ ОКНА

КОЖА ВРЕМЕНИ. В конце века, который мы сейчас провозжаем, я рассматриваю номер «Лайфа», вышедший в его середине (февраль 1953 года), журнал, помеченный важной для одного меня датой — днем моего рождения.

Как же выглядел, или, точнее, хотел выглядеть, мир, когда мы с этим «Лайфом» в нем появились? Странно. Во всем номере нет ни одного негра, ни одного мужчины без галстука, ни одной дамы без шляпы. Банка супа «Кэмпбел» всего лишь банка супа, а не шедевр поп-арта. Рекламные ковбои. Светлые, как бы флуоресцирующие краски холодных тонов: «красных» здесь нет, хотя Сталин еще жив. Зато есть сухощавый и невзрачный Эйзенхауэр, который в своей инаугурационной речи наставлял Америку в идеализме: «...блюсти веру отцов в бессмертное достоинство человека, гарантированное вечными нравственными ценностями и естественными правами. В этом миссия страны, назначенная ей судьбой». Хиппи еще не появились, а битников не пускали в респектабельное общество — еще некому сбивать Америку с толку, развращая ее сомнениями.

Мне трудно представить себя в этом мире длинных автомобилей и дамских панталон. Я не мог бы быть тем веснушчатым шалопаем, который привычно складывает ладони в предобеденной молитве. И моим отцом не мог бы стать тот уверенный, слегка ироничный, деловитый, с ранней сединой мужчина, который держит рекламный стакан виски посреди всеобщего прогресса.

А где-то за обложкой обитает еще живая Мерилин Монро. Она — высшая награда мужской Америке от женской — всегда готова отдать свою любовь скромному, работающему хозяину и добытчику, который ради нее и этих самых шалопаев каждый день на бирже и в конторе защищает свое скромное, умеренное счастье.

Странности этого безупречно причесанного и выглаженного мира оправданы тем состоянием бытийной нормы, которую безыскусно и потому искренне зафиксировал номер «Лайфа» от февраля 1953 года. Конечно же, это вымышленная, иллюзорная, поверхностная норма, которая с высоты нашего времени кажется одновременно наивной и циничной.

Однако в чужом, отделенном временем и пространством опыте меня как раз и волнует поверхность жизни — ее кожа. Ощущение истории кажется мне прежде всего тактильным. Только потершись о кожу эпохи, мы способны войти с ней в личный контакт. Мы двигаемся в истории, осознать которую можно лишь на ощупь. Сегодняшнюю дату определяет не газета, а воздух времени, оставляющий следы на наших внешних покровах — плащах, пиджаках, телах.

Опыт внешнего постижения мира чужд российским привычкам: мы любители потрохов истории. В ней нас волнует душа, смысл, предназначение, движущие силы, тайные энергии, подземные толчки, тектонические сдвиги — вечное, так сказать, *de profundis*.

Но попади к нам путешественник из прошлого, то потрясли бы его не столько достижения прогресса, сколько выходы портных. Не этика, а этикет меняет ткань жизни, выкройку ее фасона.

Одержимая своей катастрофой Россия погрязла теперь в прошлом не меньше, чем раньше в будущем. Известная русская болезнь — плохая ориентация во времени — помешала России заметить, что помимо Октября мир потрясали и другие, не менее важные и не менее актуальные, катаклизмы. К концу века история вышла из социальных глубин на поверхность, чтобы заняться не тайным, а явным. Пока мы выгрэбаем против подспудных течений, мир колеблут волны житейского моря.

Наше время лишено глубины уже потому, что все главное происходит в сфере очевидного. Не слово, не речь, не спрятанный в глубь рта язык, а хищное око завоевывает мир, чтобы его ощупать — если не руками, то хоть глазами.

Нынешние кризисы в Америке питаются самыми явными, самыми зримыми конфликтами — например, между мужчинами и женщинами. Война полов безнадежней всех холодных и горячих войн разделила общество куда более радикально, чем прежде: не на классы, не на партии, не на поколения, а надвое.

Мог ли Герберт Уэллс, пугавший морлоками замороченное классовою борьбой общество, предвидеть, что в конце столетия самыми бурными проблемами Америки будут те, что рождает наша биологическая природа: аборт, особенности куртуазного ритуала, получившие юридическую кличку *sexual harassment*, и право на добровольную смерть — эвтаназию?

История бежит от себя, возвращается вспять, чтобы заняться чуждыми ей вопросами — не об устройстве жизни, а о жизни как таковой. Теперь она решает примерно те же проблемы, что стоят перед всеми животными, начиная с амебы, — рождение, размножение, смерть. Впрочем, с такой триадой не соскучишься.

В мире, вышедшем на поверхность, все главное происходит снаружи, в области этикета, вопросам которого, например, занимается американский Верховный суд, решающий, можно ли джентльменам рассказывать дамам похабные анекдоты. Пока остальные считают, что американцы бесятся с жиру, сами американцы говорят о конце истории. Опять трагическое несовпадение: Россия в нее еще только вступает, Америка — уже выходит.

И все же всех нас делает современниками календарь, так кстати подводящий черту и веку и тысячелетию, что невольно будит апокалиптические кошмары. Идея конца кажется потребностью индивидуального сознания, отравленного перспективой перетекания истории в биологию. Но мне всегда казалось, что прогноз экологической смерти служит эвфемизмом; скрывающим страх перед собственной кончиной. Крах и социальной и технократической утопии вынуждает изменить масштаб предстоящего: экологическая катастрофа дает шанс не умереть в одиночку. Призрак гибели мира — последнее убежище личности, утратившей мечту о коллективном спасении. Все это муки квазирелигиозного сознания, решившего приблизить Страшный суд своими силами. Не худший вариант: растворить свои грехи в общих, придать смысл и завершенность мирозданию, пусть и за счет его ликвидации. В тени рукотворного апокалипсиса проще избавиться от ужаса персональной смерти.

В конце века я не верю в конец мира, потому что мне кажется это уж слишком легким выходом, избавляющим нас от личной ответственности.

Оптимизм ведь и в самом деле более ответственный склад сознания хотя бы потому, что свои трагедии труднее пережить, чем общие. Болезнь, развод, банкротство, кончина близких, а главное, скука, тоска обыденности страшнее глобальных катастроф: на миру и смерть красна.

Самое жуткое в апокалипсисе — это то, что его может и не быть. Жизнь продолжается за пределами нашего о ней представления, отказываясь раскрыть нам свой сокровенный смысл.

Вот и XX век завершается совсем не так пышно и грозно, как ждали. Мир лишь вывернулся наизнанку, обнажив вместо историософского нутра гладкую кожу этикета.

ТОЛПА РОБИНЗОНОВ. Мой любимый герой — Робинзон Крузо. И люблю я его как раз за поверхностность — суждений и привязанностей, замыслов и поступков. Средний человек, он лишен самомнения, равно присущего и тому, кто выше его, и тому, кто ниже. Его выделяет не богатство, не бедность, не воля, не характер, не гений, не злодейство — только судьба. Самое симпатичное в Робинзоне — постоянство: оставшись один, он сумел жить так, как будто ничего не произошло. Робинзон создал иллюзорный социум — не из коз и попугаев, а из самого себя. Выжив, сохранив разум и свои прежние представления о мире, он внушил нам надежду на то, что социальные ценности имманентно присущи и каждому по отдельности. Средний человек Робинзон Крузо репрезентативен: он достойно представляет человека перед природой как существо вменяемое, нравственное и разумное, как вполне удавшийся продукт европейской цивилизации.

Однако в XX веке с Робинзоном произошла трагическая метаморфоза. А ведь задачи ему предстояло решать знакомые, по словам Мандельштама — «задачи потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк».

Робинзон был так же одинок, как наш век в истории. XX столетие чувствовало себя оторванным от прошлого не хронологией, а самим качеством перемен. Ощущение порога — тревожная интуиция предшествующей эпохи — полностью воплотилось в нашей. Та часть сущи, которую осваивал XX век на глобусе истории, была необитаемым островом. Во всяком случае, в нашем отечестве. Не отсюда ли, между

прочим, и эта идея — разрушить все до основания? Есть в ней заразительный соблазн. Ведь она обещает радость созидательной деятельности на пустом месте.

Революция — своего рода эмиграция. Порвать рубаху, сжечь дом, зарезать корову и пуститься за океан, рассчитывая только на себя и удачу. Азартная эмоция начать все сначала — не она ли и привлекает нас в любой робинзонаде?

Оставшись на пустом берегу, Робинзон заново ощущает ценность каждой вещи: он остраняет предметный мир за счет дефицита. Поэтому у Дефо самые яркие герои — точильный станок и деревянная лопата.

Советский роман очень быстро нащупал эту тему. Так, например, Макаренко в своих книгах сумел подменить традиционный роман воспитания производственным романом. Посреди разрухи и нищеты вещи были и ярче, и интереснее, и дороже людей. В опустошенном революцией мире процветал культ вещей. По сути, весь советский роман — производственный. От «Цемент» до «Не хлебом единым», от Днепрогэса до Братской ГЭС, от Маяковского до Евтушенко советская культура воспевала рождение вещей. Дело было превыше всего, потому что мир без него пуст, как не поднятая целина.

Однако пока Робинзон трудится в одиночку, он подражает Творцу. Несколько робинзонов — это олимп. Но утрюма толпа робинзонов.

Пафос робинзонады растворился в темной воде массового общества, не различающего личного вклада. Не оттого ли американцы так любят сами строить и перестраивать свои дома, что тут труд нагляден — от начала до конца, от крыши до фундамента? Это ведь совсем не то же самое, что пахать от забора до обеда.

Человек XX века, этот обманутый робинзон, пришел из прошлого на необжитый остров будущего как его полновластный хозяин. Как и настоящий Робинзон, он не был нищим, с ним были потрепанные, но еще годные в дело останки старой цивилизации — остов разбитого бурей корабля. Поэтому, пожалуй, самые волнующие минуты (или десятилетия) он провел за инвентаризацией. Лозунг «грабь награбленное!» велик тем, что чужое добро нашло не только нового владельца, но и новое назначение и новую ценность. Есть варварская производственная поэзия в том, чтобы чинить сарай крышкой от роаяля.

Не зря и наша интеллигенция с пылом принимала участие в экспроприациях. Может быть, отсюда тот духовный подъем, которым пронизаны почти все мемуарные свидетельства о самых первых послереволюционных годах. Скажем, издательство «Всемирная литература» выпустило, перевело, отредактировало и прокомментировало сотни томов прошлой литературы в самое неподходящее для этого дела время — в гражданскую войну. Видимо, разруха только подчеркивала сладость революционной робинзонады. Другое дело, что семена для посева брали из чужого урожая.

В самых радикальных порывах XX века, хоронящего XIX, всегда присутствовал момент подробного прощания с усопшим — или убитым. Прежде чем сбрасывать классиков с парохода современности, на них бросали любопытствующий, если не влюбленный, взгляд. (Не той же робинзоновой алчностью питается и нынешний постмодернизм?) Затосковал наш век только тогда, когда окончательно распорядился наследством и остался наедине с самим собой.

Стоило XX веку оглядеться, как мираж исключительности растаял на заре массового общества, где одному никак не удавалось отличаться от других. Робинзонов оказалось слишком много — они потерялись в скучной толпе себе подобных. Что и неудивительно. В конце концов, Крузо был заурядным обывателем.

Массовое общество — это толпа без структуры. XIX век знал суровую иерархию, застывшую в сословном и культурном каноне. Отсюда его завидная устойчивость, явленная нам в совершенном и завершенном викторианстве.

XIX век был ориентирован строго по вертикали. XX открыл и освоил горизонталь. «Кто был никем, тот станет всем» — эта наполеоновская модель, воодушевившая на подвиги наше столетие, не учитывает множественного числа. Бонапарт сидел на чужом, приготовленном ему историей троне. Кухарка, управляющая государством, заняла свое место. Маленький капрал стал великим императором; маленький же человек, даже добравшись до вершины, остался маленьким человеком — той же кухаркой. Наполеон использовал в своих целях существовавшую и до него культуру. Захватившие власть кухарки, как писал Томас Манн о Гитлере, поучительно предписывали нации культурную программу.

Тоталитарные эксперименты были попытками вернуть двумерному горизонтальному обществу третье измерение, вернуть ему вершину. Старая пирамида — самая устойчивая во всей геометрии фигура, которую так уверенно оседлал когда-то Робинзон, — рухнула еще в окопах первой мировой войны, понять которую мы уже не способны, потому что ее истоки целиком в прошлом. Для нас та война опутана пустыми подробностями, которые лишь маскируют грандиозное недоразумение — трагическое противоречие между старым сознанием и новой мощью.

XX век жестоко и окончательно расправился с XIX, руины которого и пришлось обживать массовому обществу. Жидкое, текучее, аморфное, оно заполняло собой пустоты, оставшиеся от некогда величественных сооружений. Мир, лишенный оформленности, тосковал по жестким конструкциям, по новой пирамиде, которая могла бы вернуть истории прежнюю надежность, предсказуемость, повторяемость. XX век был заполнен поисками этой новой геометрии, способной смирить буйную стихию масс. Он жаждал закона — смысла как оправдания. Хотя жажда и осталась неутоленной, похмельем она нас все же наказала. Пожалуй, только сегодня мы сможем наконец найти подходящую верхнюю точку, с которой история нашего времени читается как репортаж с не удавшегося пиришества духа.

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ. Кафка писал: «Бесспорно мое отвращение к антитезам. Хотя они производят впечатление неожиданности, они не ошеломляют потому, что всегда лежат на поверхности». Тут слышится голос человека XIX века, который тоскует по нюансам и полутонам, по структурности жизни, по тому, что Леонтьев называл цветущей сложностью.

Однако в упрощенном и обобщенном мире XX века как раз антитезе предстояло пережить свой триумф. Тире — это родовое пятно революционного сознания — любимый знак препинания нашего столетия. Одно из таких тире соединяет и разделяет изначальный, свойственный самой человеческой природе антагонизм сердца и ума, который во все эпохи реализуется в конфликте романтизма с классицизмом. Намертво связанные друг с другом, они тянут каждый век в разные стороны. Но наше столетие с присущим ему радикализмом попыталось разрубить этот гордиев узел. Давайте пройдемся вдоль XX века, чтобы разобраться в тех псевдонимах, которые принимали романтизм и классицизм на протяжении его истории.

Родился XX век романтиком. Как и положено молодым, он восстал против догмы степенного прогресса, который и дальше собирался не торопясь завоевывать мир паром и электричеством. XIX век верил в учебник, задачник, справочник, энциклопедию, в Периодическую таблицу, в собрание частных истин, складывающихся в общую правду. По этому прямодушию мы сегодня тоскуем, но выходцам из XIX века он не нравился. Им он, наверное, казался сухим и безжизненным, как гимназический учитель, как «человек в футляре».

Заранее разложив все по полочкам, легче искать нужное в темноте. Но новый век, устав от порядка, искал внутреннего света, смягчающего сухие прагматические сумерки. Восстав против механической сложности, он искал простоты — нового языка, на котором говорит не ум, а сердце.

Запад открывал для себя африканские примитивы, в Европе появились Матисс и Пикассо, в Америке — Голливуд и танго.

Обнаружив условность и ограниченность правды XIX века, XX рвался сквозь нее — из сознания в подсознание. Мир как на дрожжах рос и ширился и вглубь. Палитра культуры становилась ярче, экзотичнее, причудливее, капризнее. Дух науки, который культивировал XIX век, сменялся духом искусства. Даже на место добротной и прочной ньютоновской вселенной пришла игривая и двусмысленная относительность Эйнштейна.

Во всем этом легко узнать вечные проделки задорного романтизма, который горазд ломать, а не строить, спрашивать, а не отвечать. Но романтик пишет на полях классицизма. Поэтому XIX век легко справлялся с разбухшим романтизмом чувственностью, переламаывая ее своей аскетической доблестью — верой в долг. XX век играл с куда более опасным огнем: реабилитируя голос сердца, внушая сомнения в разуме, он будил стихию, неизвестную прошлому, — массовое общество, которое новый романтизм освобождал от рациональной узды.

Вырвавшийся на волю человек XX века уже не нуждался в общей, объективной, отрезвляющей правде XIX века — правда у каждого была своя. Дух музыки, реявший над бывшим царством числа, зазвучал в музыке революции, той самой, которую звал слушать наш Блок.

Забываясь о симметрии, XX век нашел классицистский ответ романтическому вызову — модернизм. Оскорбляя критерии наивного правдоподобия, лелеемые XIX веком, он был на самом деле его преданным учеником — не авангардом, а арьергардом истории. Пока одни отвергали монополию разума, другие пытались утвердить ее навечно. Модернисты были апостолами порядка. Они верили в торжество конечных истин с куда большим фанатизмом, чем скромные просветители XIX века. Модернисты искали универсальную формулу мира, которую можно вывести, рассчитать, предсказать, воплотить. Абстракционизм Кандинского и супрематизм Малевича суть рецепты, которые сводят хаос жизни к алгебре, к новой и вечной гармонии, к окончательному триумфу ума над сердцем. Рационального начала, концепции в их картинах куда больше, чем у Репина.

Тихая наука XIX века, не устояв перед насилием художественного темперамента, преобразилась в могущественный Научный миф, который стремился подчинить мир своей правде — логике.

В этих координатах коммунизм был классицистским реваншем за романтический разгул революции. Тоталитаризм — это гипербола разума, поклоняющегося истине. Массовое общество нашло в нем себе логичную, научно обоснованную форму существования, ведь наука имеет дело с надличной правдой числа и факта.

Система против хаоса, техника против природы, государство против человека, общее благо против личного эгоизма, объективное против субъективного, деловитая магия против мистического экстаза, фантастика против реализма, смысл против бессмыслицы. В каждой из этих оппозиций можно проследить все ту же борьбу классицизма с романтизмом. Только для этого следует переклеить старые этикетки. Например, сфера фантастического, принадлежавшая раньше тоскующему сердцу XIX века, стала в XX железным рычагом разума: не реалисты, а фантасты мыслили умозрительными схемами, сводя жизнь к повторяющимся, то есть наукообразным явлениям. Другой пример — поэзия. Она достояние классицизма, стремящегося к вечной идеальной форме, а проза — дитя романтизма, оберегающая его стихийную природу: стихи — это камень, роман — это море.

И так во всем: война жизни с расчетом, схемы со стихией, умысла с абсурдом заполнила XX век, которому повезло лишь в том, что маятник, раскачивающийся между романтизмом и классицизмом, никогда не останавливался.

Стоило тоталитаризму отвердеть и обзавестись классицистскими колоннами, как появился сюрреализм, свергающий власть разума. В ответ на массовую театрализацию жизни является неореализм с его установкой на естественную, а не сыгранную действительность. Технократическое насилие над природой встречает отпор со стороны «благородных дикарей», в том числе и наших деревенщиков. Холодная война, логично разделившая добро и зло по классицистскому сценарию, взрывается молодежным бунтом, открывшим романтический третий путь в своем психоделическом бегстве.

Конечно, кажется, что на стороне разума сила: пушки, секретная полиция и концентрационные лагеря, — а на стороне чувства одни пустяки, цветочки. Но это не так. Классицизм питается воздухом абстракций, а романтизм, как Антей, припадая к земле, набирает от нее сил — не столько для прямой схватки, сколько для хитроумного обходного маневра. В результате логика постоянно проигрывает все сражения: смысл растворяется в бессмыслице. И если подводить итог этой долгой битвы, то победителем окажется не классицистская «правда», а романтическая «свобода», которой XX век нашел свой синоним — абсурд.

ВОЙНА СО СМЫСЛОМ. Даниил Хармс в стихотворении «Молитва перед сном» просил у Бога: «Разбуди меня сильного к битве со смыслами». Посреди державы и эпохи, подмявшей под себя бессмыслицу, Хармс сумел поставить веку диагноз и назначить лечение.

Давайте воздадим должное противникам. Ведь логика действительно логична. Ведь за каждым безумным проектом XX века — от орошения пустынь до осушения морей, от поворота истории до поворота рек, от строительства коммунизма до его перестройки — стояла Причина. Во всем этом был смысл, наглядный и доказуемый, как в формуле «советская власть плюс электрификация». Чем больше тракторов, тем больше хлеба. Чем больше школ, тем больше умных. Чем больше сеять, тем больше жать. Чем больше — тем лучше. Это экспансионистское мышление несет в себе благородное зерно, под которое не жаль было распахивать любую целину, — классицистскую мудрость здравого смысла. Возразить тут можно только одно: не работает. Жизнь не подчиняется ни сложению, ни умножению — в конце концов, не она, а мы придумали арифметику.

Абсурд, это убежище от непомерной власти таблицы умножения, оттенял собой весь XX век. На каждый его ответ абсурд находил свой вопрос. Разрушая, он строил, внося свой позитивный вклад в культуру нашего столетия.

История абсурда — это хроника отчаянной борьбы с хаосом, причем на его, а не на наших условиях. Только абсурд был до конца честен в своей претензии отразить мир таким, каков он есть, а не таким, каким нам хотелось бы его видеть. Внося смысл во вселенную, мы ее беззаботно упрощаем. Укладывая аморфную жизнь в любое прокрустово ложе, мы пытаемся приспособить к делу только те ее проявления, которые поддаются наблюдению и классификации.

Эта методология XIX века дорого обошлась XX, который всеми силами пытался упростить мир: придумав электрический уют, он думал, что усмирил молнию. Но гроза, как говорят физики, слишком сложное явление, чтобы наука могла ее описать. Все уюги одинаковы, а все грозы — разные. Жизнь в отличие от ученого не имеет дела с повторяющимися явлениями — только с уникальными.

Сколько раз мы уже натыкались на эту антиномию, принимая свои законы за общие, фантазию за правду, поэзию за прозу. Представление о мире как о книге, в которой уже есть все ответы, — величественное лирическое заблуждение, которое превращает Бога в писателя, а нас в читателей. Тем не менее в поисках адекватного прочтения XX век провел почти весь отмеренный ему срок (пока наконец не разлюбил читать вовсе). Только абсурд постоянно мешал ему углубляться в книгу бытия, утверждая, что смысл мира лежит не в его глубине, а на той поверхности, которую мы населяем.

Камю говорил: «Покончить с собой — значит признаться, что жизнь... сделалась непонятной».

Абсурд учил не умирать, а жить в непонятом мире. Каждый раз, когда очередное объяснение оказывалось ложным, он подхватывал отчаявшегося человека, брошенного здравым смыслом.

Не трагическими, а освобождающими кажутся открытия абсурда, история которого ведет нас от одной пропасти в другую, подхватывая на лету.

Чеховский герой не знал, что делать, но думал, что кто-то в будущем — узнает, и был за эту веру наказан бесплодностью. Герой Кафки расплачивается за то, что живет в мире, который ему непонятен. Персонажи Беккета уже и не задают вопросов, ибо твердо знают, что ответов нет и быть не может. И все же никто из них не отказывается от жизни, лишенной смысла. Может быть, потому, что смерть — это следствие разочарования в иллюзии смысла, которую абсурд и разоблачает? Абсурд нас удерживает на поверхности мира тем, что мешает заглянуть в его глубину.

В этом смысл и той «борьбы со смыслами», которую вел Хармс. Ведь строительство социализма велось над бездной, принимаемой за прочный фундамент. Попытка прорваться за пределы принципиально горизонтального и потому двухмерного мира XX века оборачивалась провалом — путь вверх вел вниз: вместо небоскреба Хлебникова получался котлован Платонова — яма в бытие, ставшая ему могилой.

Массовое общество обтекает землю, как океан, заливая собой все пустоты. Оно растекается по поверхности полого шара, не имеющего истинной глубины. Те, кто в детстве играл с лентой Мебиуса, имеющей только одну сторону, могут себе представить эту топологическую ловушку, реализовавшуюся и в социальном и в культурном пространстве нашего века.

С первых дней в Америке меня преследует навязчивый образ вот такого двухмерного, плоского мира, лишенного объема: мир всегда повернут в профиль, он весь как театральные декорации, где перспектива — всего лишь уловка сценографа. Нарисованная, мультипликационная жизнь, которая вся исчерпывается поверхностью, — бутафорские гири, этикетные чувства, вежливый мир. Его можно пощупать, но нельзя прочесть, изобразить — но не постичь, увидеть — но не узнать. Его тайна лежит на поверхности, она внешняя, а не внутренняя.

Но именно этот мир сумел справиться с хаосом, заставив его вещами, — он мебелировал пустоту. Это его способ обжить бездну, обставив и даже украсив ее клумбами. Он освоил и освоил трагические уроки абсурда, приспособив себя к жизни, лишенной смысла. С основанием не доверяя опыту XX века, он стремится продолжить XIX, подражая его внешности, но не его внутреннему содержанию, ибо тут содержания нет вообще — одна форма.

Суть этого мира — образ, а не слово. Глаз, а не язык — пророк его. Кино и телевизор вытесняют книгу, потому что ей больше нечего сказать в мире, лишенном языка. Слово рвется внутрь. Оно содержит в себе память, прошлое. Язык — это склад невостребованных смыслов, который обратился в кладбище с тех пор, как не поэт, а актер, лицедей, стал героем эпохи. Извините за плоский исторический каламбур, но вспомним Рейгана.

Впрочем, только актеру и месту в декоративной вселенной массового общества. Причем если тоталитарные режимы культивировали театр, то демократии ближе кино. Театральная роль — маска, в кино личина приросла к лицу. Она и есть единственная реальность: за белым экраном ничего больше нет — одна стена. Зато каждая роль уникальна, а не универсальна.

Как велика пропасть между «Черным квадратом» и Голливудом! Авангард вел нас в глубь бытия, к его умозрительному пределу, тогда когда пошлая реалистическая поделка масскульта всего лишь скользит по его поверхности. Модернисты вкладывали в жизнь содержание, щедро наделяя ее смыслом. Боевик или телесериал тщится отразить реальность в ее самых поверхностных проявлениях. Но как раз этим он близок абсурду, который создавал текст без подтекста, искусство, защищенное от интерпретации.

Абсурд так же условен, легковесен и бестелесен, как современные поп-звезды, променявшие свою плоть на вечную целлулоидную или эфирную жизнь. Кафкианский герой типологически близок протейному Майклу Джексону, который так легко меняет свой внешний облик, потому что внутреннего просто нет. Это утрированный Йозеф К., человек без свойств, чья неповторимость рождена пластической хирургией.

Набоков как-то заметил, что у Грегора Замзы был выход — воспользоваться превращением и вылететь в окно на подаренных ему автором крыльях. Упустив эту возможность — безмозгло порхать, — он отказался от свободы. Внешнее превращение не затронуло его человеческого нутра. А вот XX век сумел вывернуться из-под ярма смысла, используя метаморфозу себе на пользу в вывернутом наизнанку мире.

Однажды я беседовал с американцем о том, кто больше всех изменил наш век — Ленин, Гитлер, Сталин. Мой собеседник пожал плечами и сказал, что в его мире единственную революцию произвели «Битлз». И ведь правда — электрогитара и магнитофон, телевизор и Голливуд вышли победителями из схватки и с XIX и с XX веком. Масскульт, презревший глубину, ушел в сторону от вечного спора романтизма с классицизмом, став новой движущей силой истории.

Отсюда и перестройка. С тех пор как внешнее вытеснило внутреннее и мир надел джинсы, у коммунизма не осталось шансов. В массовом обществе капризы моды накатывают как волны, и никаким государственным волнорезом с ними не справиться: они ведь возмущают поверхность вод, а не их глубины. Вот и коммунизм победили по-абсурдистски: с ним просто перестали спорить. Каждый женатый человек знает, что лучший аргумент в семейной перебранке — молчание.

Умирая, XX век наконец усвоил урок: любая попытка упростить мир внесением в него схемы натывается на хаотическую игру неформальной, дикой жизни. Именно поэтому нельзя снять боевик на все времена. Именно поэтому любой халиф — на час, и бестселлеры живут неделями, и газетные сенсации доживают лишь до следующего утра. Произвол стихии всегда одолевает устроенный человеческой волей порядок. Но разве не об этом предупреждали абсурдисты, которые, обнажая хаос, учили доверять только тому, что лежит на поверхности жизни, заклиная нас не лезть в потроха вселенной?

Как-то я заметил, что в окружающем мире дороже всего мне бессмыслица. Или, говоря иначе, мне кажется имеющим смысл лишь то, что честно признается в своей беспомощности его найти. С одной стороны, это великие книги XX века, которые тем и отличаются от остальных, что оставляют читателя наедине с хаосом. С другой — то, что маскирует этот хаос жалкими и оттого трогательными подделками. Хуже всего — претензия на универсальность своего опыта осмысления мира, не позволяющего с собой так обходиться и потому выдающего автора с головы до ног.

Искусство нашего времени может быть либо откровенно беспомощным, либо откровенно фальшивым. Все остальное — от лукавого.

ВИД ИЗ ОКНА. То, что мы видим, выглядывая из окна в конце века, весьма похоже на пейзаж, открывавшийся человеку, жившему в его начале. Наше столетие как бы само себя вычло. Все его дикие выходы незаметно растворились в серых исторических буднях. Вроде все обошлось. Во всяком случае, прощального ядерного фейерверка не предвидится.

То, что осталось, уже было. Глобус теперь делит не идеология, а геополитика с ее прежними атрибутами — национализмом, суверенитетами, религиозными распрями, торговыми войнами, спорными границами, сферами влияния, балансом сил. Но сходство между будущим и прошлым, как все в наше время, внешнее, а не внутреннее. XX век лишил нас стремления к глубинному преображению жизни, к духовной революции, способной изменить и ход истории, и качество ее материала.

Тут очень кстати пришлось перестройка. Эта капсула XX века сумела в убыстренном, как в кино, темпе прокрутить всю его историю, чтобы последовательно отказаться от всех заблуждений, связанных с нереалистически завышенной оценкой человека. Смешно вспоминать, но ведь успехи перестройки отсчитывались публикациями запрещенных книг, каждой из которых приписывалась судьбоносная роль.

Провал перестройки даже больше, чем крах коммунизма, убедил окружающих в том, что правда еще не свобода. Может быть, поэтому и победа в холодной войне вместо упоения принесла тревожную растерянность, которая стерла последнюю тень утопии с лица XX века.

Мир, оставшийся без перспективы, нашел себе утешение в эскапизме. Жизнь, слишком голая, чтобы на нее можно было смотреть прямо, заставляет нас обвешивать себя бахромой. Закон, хорошо известный порнографическим журналам: обнаженная женщина слишком нага, чтобы будить вождление, так слегка прикроем ее кружевными чулками. Вместо того чтобы оголять реальность, украсим и занавесим ее. Вместо того чтобы срывать мишуру, приумножим декорации — спрячем обыденность под ритуалом, заменим этику этикетом, отольем мираж в бронзе, обернем пустоту в шелка и бархат.

Вот так, пудрой и помадой замазывая трещины в бытии, наш век впадает в детство. Сейчас он наклеил себе чужие усы и играет во взрослое, надежное, основательное и добропорядочное XIX столетие.

ВЗ НА ПОЛЯХ БЛАГОДЕТЕЛЬНОГО АБСУРДА

...Вышло так, что утешительные слова Александра Гениса о современном мире, который «усвоил и освоил трагические уроки абсурда, приспособив себя к жизни, лишенной смысла», я прочитала почти одновременно с заметкой в «Литературной газете» от 6 мая сего года. В заметке этой с подзаголовком «И все же захлестнет ли нас волна самоубийств?», в частности, сообщается: «Самоубийства — вторая, после автокатастроф, причина смертности среди американских студентов... При этом 85 процентов покушавшихся не видели в жизни смысла, хотя 93 процента из них были в материальном отношении абсолютно благополучны». (Далее весьма уместно цитируется Ф. Ницше: «У кого есть Зачем жить, может вынести почти любое Как».) Заметка эта писана, лишние подчеркнуть, не с пропагандными целями, как нередко бывало раньше («их нравы!»), и не с христианско-апологетическими (как опыт о «логическом самоубийце» в «Дневнике писателя» у Достоевского), а от имени озабоченной психологической службы, призванной предотвращать суицидные попытки у нас.

Ничего себе — освоение, приспособление, адаптация! И это — в «конце истории», о котором недавно, в 1989 году, писал прямо не упомянутый А. Генисом, но им подразумеваемый американский профессор Френсис Фукуяма (перевод его труда см. в «Вопросах философии», 1990, № 3). То есть в конце, по иссяканию «больших», идеологически заряженных катаклизмов, каковое иссякание, боюсь, только мерещится профессору, ибо вскорости после его публикации разлилась «буря в пустыне», чьи мотивы и предпосылки отнюдь не исчерпываются утилитарной борьбой за нефть...

Прочтя эссе Гениса, очень яркое, на мой взгляд, и очень типичное для нынешнего состояния умов, я ощутила новый прилив испуга перед наследством идеологического тоталитаризма. Самое дальнобойное его последствие, как постепенно выясняется, не в затверженности былых новоязовских схем (конечно, «старую собаку новым штучкам не выучишь»), но только — очень уж старую, а вообще-то человек существо гибкое, научаемое, схватчивое) и не в привычке к «образу врага» (быстро меркнувшему и сменяемому, увы, равномерно разлитым озлоблением). Самое страшное следствие долговременной утопической интоксикации — это предубежденность против всякого правдоискательства, смыслоискательства, экзистенциального углубления. Это надежда прожить с хлосом «на ты», сохраняя при этом мир в душе и порядок в текущих делах. Тщетная, иллюзорная, чисто рефлекторная надежда, которой сейчас захвачены именно самые свежие, продуктивные умы, способные к самоотчетности, чуткие к фальши, не желающие обманываться и обманываться.

Если вслед за «Видом из окна» читатель обратится к напечатанным на страницах этого же новомирского номера размышлениям психолога Любови Гуревич, он легко убедится, что авторы глядят на нынешний культурный ландшафт из одного, в общем, оконного проема. «Внося смысл во вселенную, мы ее беззаботно упрощаем», — пишет первый. А вторая как бы в продолжение предостерегает: «Нашедши истину обычно не хватает одного: разведения на земле определенного вида человека и избавления от прочих». Не стану особенно вдаваться в философские придирки: скажем, вносит, привносит смысл во вселенную только релятивист с целью более удобного ее описания; прямо противоположная позиция — предполагать во вселенной алицие смысла (ибо ничто не противоречит такому предположению) и и с к а т ь его усилиями ума, сердца и воли. Замечу лишь, что к соблазну человеческой селекцией смыслоненавистники стоят, быть может, куда ближе, чем смыслопоклонники. Ведь отрицание истины и смысла — тоже своего рода фетиш, ради торжества которого могут калечиться жизни упорствующих «фанатиков», производиться лоботомии, осуществляться психиатрический контроль (всем ведомо, что это не голые фантазии). Так уж устроен человек, существо трагическое, чей путь в истории отмечен страстью и кровью и кому не будет «защиты от судеб» в тихой заводи-безразличия.

«Абсурд нас удерживает на поверхности мира тем, что мешает заглянуть в его глубину», — обнадёжен Генис. Кого — нас? Нас — лишившихся врожденной душевной стереометрии? ставших «одномерными», по классическому определению западного социолога? Но как сделать людей таковыми? Чтоб не задумывались — особенно в юности, особенно студенты, молодой цвет наций, — чтоб руки на себя не накладывали и не громили сытый с поверхности мир под абсурдистским лозунгом «лучше умереть от голода, чем от скуки!», как французские юноши в 1968 году. Вот задача! Тут не обойдешься «воспитательной функцией» нового массового искусства или навыками нового плюралистского этикета. Тут могут понадобиться меры покрупче: «разведение», «избавление», а на горизонте — «окончательное решение». Короче, опасаясь взысканием смысла «упростить вселенную», мы рискуем упростить, усечь себя самих, да так, что потом и не поднимемся. Не жалкий ли вариант конца истории?

Нет, человек — тварь верт и к а л ь н а я. Будучи сращен с землей, человечество все-таки не может бесконечно распластаться по ней, студнем обтечь полый шарик, как

это изображает Генис в своей похвале безбурному массовому обществу. Современная массовая цивилизация имеет немало достоинств, удобств, гуманно-демократических черт, особенно в сравнении с каменящими архаическими деспотиями или с тоталитарными чудовищами. Грешно иронизировать над ее достижениями. Но учтем (да и сам Генис с этим не спорит), что массовое бытие не сегодня возникло и не только впереди, в третьем тысячелетии, нас поджидает. Серьезные аналитики с полным основанием назвали веком масс весь истекший XX век, который на его исходе люди тисцатся забыть, как кошмарный сон, или задвинуть подальше от глаз, как «скелет в комод». И эти же аналитики именно с эпохой масс связывают временные победы тоталитарных режимов. Бесструктурное, расплывшееся по горизонтали общество — со срезанной или не отраженной кроной, не утратившее, однако, естественного влечения к сублимации, — легко околдовать своекорыстными идеологемами, которые, овладевая массами, становятся, как известно, материальной силой. И если, оглядываясь назад, на близящийся к завершению массовидный век, мы видим над ним небо в тучах, кто пообещает нам, что впрямь это небо станет безоблачным? Новейшая цивилизация — цивилизация не только комфорта и жизнеобеспечения, но и суррогатов и подмен. За все приходится платить. И когда обманы выходят наружу, людям выпадает страдать, в том числе и физически.

Впрочем, автор «Вида из окна» ничего и не обещает. В хаосе и абсурде нельзя ведь обнаружить никакой проявляющей будущее закономерности, кроме, быть может, наипростейшей — пульсации. Фаза классицизма сменяется фазой романтизма, фаза порядка — фазой свободы, и наоборот. На этих «качелях» несложно разместить буквально все — связанное с искусством, нравами, политикой и тем же масскультом. Беспрецедентное — свести к надежно повторяющемуся прецеденту и так успокоить себя грезой о мире исторически непритязательном. Вечное возвращение: не спираль, не круг даже, сулящий некоторое разнообразие на орбите, а наводящий уныние маятник. Ничего нового впереди, новизна только имитируется; ведь подлинная новизна и Смысл — по существу своему синонимы; новизна — это, как сказал поэт, «прибавление к объему», движение к неведомому, но смыслоизлучающему пределу, а не раскачивание на месте.

Есть, однако, у А. Гениса наблюдения — по мне, ошеломляюще точные и обещающие действительное вхождение в новый эон. В перспективе произойдет, как считает автор, «перетекание истории в биологию»; история займется не устройством жизни, а жизнью как таковой — рождением, размножением, смертью. («Война полов», аборт, право на эвтаназию уже сейчас занимают Америку больше, чем классовые схватки и политические баталии, свидетельствует Генис.) Нашему наблюдателю кажется, что все это признаки перехода к «накожному» бытию, сосредоточенному на самом поверхностном уровне существования, между тем как раньше внимание людей было занято «потрохами истории», тектоническими сдвигами и прочая. Ан нет, совсем наоборот. То, что для амебы биология, для человека — таинственнейшая и глубочайшая глубь, тугой узел, каким душа связана с телом. Последствия выхода этих сил на историческую сцену непредсказуемы и грандиозны. Если такое совершается, значит, человечество на практике, а не только в творениях отдельных философских умов выпростается из пут социоцентризма, когда личность понималась как точка пересечения общественных отношений. Такой взгляд (марксистский, но не только) действительно скользил лишь по коже человеческой особи или даже по ее одежке.

Философия существования, поставившая человека перед лицом видимого абсурда и понудившая его как-то с этим справиться, повлияла на умственный климат через своих французских творцов — Сартра и Камю. Однако именно потому, что личность понималась ими слишком отвлеченно и бесплотна — как некий своевольный «проект», сам себя вытягивающий за волосы, — абсурд же предстал непроницаемой завесой, оба они понялись от экзистенциального подхода к привычно «общественному». Камю — к социально ответственному иррелигиозному гуманизму, Сартр — к сверхлевому анархизму, граничащему с проповедью террора. В итоге эта ветвь экзистенциального мышления мало что изменила в ориентированности своего столетия на социум, на кожаные одежды жизни.

Между тем то настроение, которое описывает Генис, как бы переводит человечество из исторической плоскости «общественных отношений» в объемный мир Книги Бытия, которая ведет историю человечества с грехопадения первой людской четы, с «рождения, размножения и смерти», но взятых в их сверхживотном, а значит, мистическом измерении. Мир, хочет он того или нет, как бы возвращается на рельсы священной истории, к ее центральной драме, существовавшей иной, чем драмы минувшего века. Генис, хотел он того или нет, высказал это. По крайней мере мои уши так расслышали. Здесь с чувством благодарности и некоторого изумления я умолкаю.

И. РОДНЯНСКАЯ.

ЛЮБОВЬ ГУРЕВИЧ

*

ПОДВИЖНАЯ МИШЕНЬ

О, странная игра с подвижной мишенью!
Не будучи нигде, цель может быть — везде!
Игра, где человек охотится за тенью,
За призраком ладьи на призрачной воде...

Ш. Бодлер.

От всего этого осталась только груда пыльной бумаги. Над чем-то я там бьюсь. Ясно по крайней мере, что пытаюсь установить, из чего состоит такая зыбкая вещь, как восприятие, и выработать систему, с помощью которой его можно описать. Карабкаюсь и соскальзываю. Пытаюсь сейчас извлечь из этого что-нибудь внятное и опять карабкаюсь и соскальзываю.

УЧИТЕЛЬ. Поступив после школы в вуз, я сразу же решила заняться научной работой. Но какую из наук? Что было предпочесть — в Институте культуры?

Сомнения пропали внезапно, как только у нас начались лекции по психологии чтения. Сам предмет не имел для меня ничего заранее привлекательного. Меня привлек лектор. Крупный вальяжный человек с нежно окрашенным породистым лицом, кокетливый, остроумный и перепуганный.

Было что-то в его лекциях, отчего они тогда, на первом курсе, так нравились. Сейчас мне это трудно понять. Перечитав записи, я не нашла в них ничего интересного. Но было же что-то. Или всего лишь живость, легкость, отсутствие скуки?

Сменив в жизни несколько ролей, В. Л. стал читать студентам курс психологии. Среди брошенных им занятий числилась и учеба в Театральном институте. Это и оставалось для него самым сокровенным. Но, будучи актером по природе, мог он сыграть и преподавателя. Тем более что аудитория напоминала и отчасти заменяла ему сцену.

Играя важную персону, он придавал себе величавый вид, но быть официальным всерьез он не мог — в этом отсутствии официальной ноты и заключалось, надо полагать, его обаяние. И в самой его небрежности, в том, как он кокетничал своими недостатками, и как лекцию он на ходу придумывал. Сам процесс забавлял его, он развлекался и развлекал аудиторию. Минимум научных терминов, пластичность: он много изображал, пользуясь тем, что психология — это про людей; выходил спектакль, студенты были довольны. «Им нужна живая струя», — говорил он.

Чтобы его слушать, не нужно было ничего знать — ни до лекции, ни после. Было известно, что на экзаменах он ставит сплошь пятерки. И чем менее искушенной была аудитория, тем лучше он себя чувствовал, сильнее воодушевлялся.

Наукой, разумеется, и не пахло. Он говорил о ней с иронией, а потом появился в нем даже некий именно против науки направленный пафос, хотя вообще пафос не был ему свойствен. Он уверял, что наука ни на что не может стодиться, — соблазну интеллектуальной игры подвержен не был и не мог концентрировать внимание на ее продукции.

Его-то я и выбрала себе в научные руководители. Я приехала из глубокой провинции, ни одного научного работника в глаза не видела, и меня пленил лектор.

ТЕМА. Я решилась, и нужно было к нему прийти. То есть нужно было его поймать. Он был величав и вместе точно мотылек: легкий, подвижный, несерьезный. Спустя два месяца поймала — на лету, в холле. И спросила: что мне делать, что читать?

«Читать ничего не нужно, книги ничего не лают. Думайте». — ответил Учитель.

И я пыталась думать. Как в жмурках гоняться неизвестно за кем с завязанными глазами.

Думать о психологии чтения... попробуйте. Полагаю, что не получится, а главное, не захочется. Есть в этом что-то неприятное с точки зрения обыденной жизни. В жизни есть книга и читающий, третьего не нужно.

Почему-то так: книга — вещь, в общем-то, для многих важная и любимая. И существует только в восприятии. И это восприятие никого не интересует. Нужны особые обстоятельства, нужен конфликт, чтобы в сознании произошло расщепление произведения искусства и его восприятия. Чтобы обнажилось значение восприятия и чтоб оно кого-то обеспокоило. Как это происходило со зрителем на выставках авангарда, когда он оказывался перед фактом, что он «не понимает». И тогда он спрашивал себя: что есть то, чего я не понимаю? как получилось, что не понимаю? должен ли понимать? Он, в сущности, не знает, что с этим делать. Но думает, что ему непонятен смысл. Он не ведает, что должен прежде всего не понимать, а видеть.

И случалось, что зритель пытался вступить в разговор с художником, благо на этих выставках художник иногда присутствовал. Он просил разъяснений. Но прозреть от слов художника он не мог, как прозревал после объяснений экскурсоводом картины на историческую тему. Да и что скажет зрителю художник, выражающий то, что он выражает — пластикой? — он не должен уметь высказать это словами, иначе то был бы поэт, а не художник. (Если это доступно выражению словами.) И художник, человек, по идее, видящий, уже не может представить себе состояния, в котором находится невидящий зритель. Кроме того, оно ему неинтересно. Художник, в конце концов, занимается живописью, а не психологией ее восприятия. Тут я подхожу к моменту, когда вроде бы уместен психолог. Уместен человек, который понимает, что происходит. Но, случись он тут, его вряд ли будут слушать. И поделом, ибо он начнет изъясняться языком, которым не может думать ни художник, ни зритель. Три линии не сойдутся в обозримом пространстве.

...Занимаясь наукой, уходишь за истиной куда-то далеко. И там находишь — другой язык. Его-то точно находишь. И им думаешь. Но говорить на нем в миру — нельзя. В миру на нем говорящий безумцу подобен.

Но я в своих занятиях психологией восприятия книги так далеко не ушла. Были они, так сказать, кустарными.

Собственно, науки такой не было. Нашлась только разрозненная и разномастная литература «на тему»: есть ли тема, на которую не писали? И поскольку я по природе человек читающий, то, несмотря на почтение, питаемое к Учителю, послушаться его я не могла и в литературе все же копалась. Научной она не была, скорее наукообразной: авторефераты и сопровождающие их статьи, но больше эссе, обходившиеся без систематичности и строгости мысли. Еще чаще — что-то неопределенное «про чтение». Термины везде имели неясное наполнение.

Любое понятие вставало неразрешимым вопросом. Что принимать за содержание? — в книге есть только буквы, но пишется она не ради их и не ради буквального, но ради чего-то, что каждому читающему приходится реконструировать заново. Что принимать за восприятие, если объект его не веществен? Что такое понимание?.. Все тут шатко, очередной термин, за который я пробовала ухватиться, чтобы «начать думать», оказывался соломинкой, или стулом, на который я пыталась усесться, но, словно у Кафки, он каждой ножкой упирался в точно такие же, имеющие ту же опору стулья, и этому не было конца.

В. Л. (если б я и сумела изъяснить свои трудности) тут помочь не мог. У него, видимо, таких проблем не было, он легко обходился одним термином: воображение. Воображение было его коньком, сквозной темой всего курса психологии. Отношение к искусству у него было актерски-шалашински-оперное. Главное в искусстве — создание наглядного образа. В основе художественного таланта — воображение. В основе чтения — воссоздающее воображение. Оно тоже творческое: дополняет созданный автором образ.

Образы, «оживающие до галлюцинаций», и еще «подключение собственной жизни» были рефреном его психологии чтения. Через образ происходит воздействие книги. Оно заключается в расширении сознания, в способности жить чужой жизнью. Влиял театр — он говорил о книге как о пьесе, которую нужно поставить.

Я не могла так думать о чтении, потому что для меня «образ» был только словом из учебника. У меня был другой опыт, первым пленившим искусством была поэзия, первым поэтом — Пушкин. Конечно, я признавала, что Г. Флобер, в согласии с теориями В. Л., высидел и воплотил Эмму Бовари, но интегрировать в одно целое все, что наговаривал о своих героях Пушкин, и представить их «живыми людьми» я не могла. И в этом не возникало нужды, стихи давали блаженство, значит, все, что нужно, совершалось, значит, я их «понимала».

В стихах много, я бы сказала, «абстрактных эмоций», много такого, что должно оставаться отвлеченным. Воображение, по-моему, способно только разрушить стихи. «Видишь, и мне наступила на горло, душит красавица ночь...» Слова тут должны оставаться словами. Слова, соседство их значений, их созвучье — «созвучье слов живых». Психические вибрации, заключенные в пространстве стиха, воображению недоступны, как недоступен зрению физический микромир. Смысл, заключенный во всех элементах формы — в звукописи, в ритме, в интонации, — внятный не уму, но подсознанию, сталкивается со смыслом высказывания, смешивается с подсознательными ассоциациями читающего. И стихи вызовут чувства, которые в них не названы и не описаны, но составляют как бы свойство их субстанции, как вкус и аромат — свойство плода, ничем наглядно не обозначенное в его строении. Да, стихи — скорее плод, которым можно лакомиться, чем муляж, который можно только видеть. Или пьянящий напиток с неповторимым букетом. И что понимать под восприятием, если мы не только смотрим, но и пьем, и что понимать под содержанием — количество, цвет и запах жидкости, ее химический состав, преобразование мира под действием опьянения, культуру виноделия...

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ФАКТЫ. Кроме знакомства с литературой по теме, «научность» моих занятий исчерпалась тем, что был у меня на руках некий эмпирический материал, отчеты, написанные студентками, прослушавшими на занятиях два рассказа.

Цели мои были довольно неопределенными. Прыгнуть в воду, не умея плавать, — вдруг что-нибудь получится? Посмотреть, как там. Посмотреть, как различается восприятие одного и того же текста разными людьми.

Различается, конечно. При чтении отзывов меня шатало от неустойчивости содержания рассказа. Мое собственное представление о нем разваливалось. Как будто то, что мне представлялось чем-то довольно плотным, обнаружило в себе множество щелей, сквозь которые могло протиснуться внутрь все, что угодно. Читательское вмешательство отнюдь не исчерпывалось «дополнением». Проникали настроение и страсть, вводился иной смысл, другая логика, по-новому соединяющая части рассказа. У текста словно появлялся новый автор, с другим взглядом на жизнь.

Меня поразило, как раскрывался каждый. Я б могла описать их характеры. Я видела в отчетах не что-то относящееся к специфике восприятия художественного текста, но упрямство, подозрительность или доброжелательность. Я видела прежде всего отношение к воспроизведенному факту. Плохо одетая долговязая девушка (в дождь) стоит под окнами бывшего одноклассника — вот ситуация, к которой у всех девятнадцатилетних читательниц отношение было. И они его высказывали. Рассказ трогал, если девушка узнавала в героине себя или свои чувства. Если нет, то критиковали — героиню или способности автора. Но необязательно так, не математический закон: кто-то узнавал себя, и это было неприятно.

На математический закон походило другое. Я открыла тогда для себя человеческое свойство, которое назвала потребностью в «да — нет». Человеку (по крайней мере советскому) необходимо поставить знак плюс или минус. Сказать «хорошо» или «плохо». Иначе он, вероятно, чувствует себя безоружным. Он старается произвести эту операцию и в тех случаях, когда у него нет определенного впечатления. И это как фильтр. Потом многое в его суждениях уже не будет непосредственным, но определится произведенной оценкой.

...Женщина, о которой читателю ничего не известно, в чужой ей стране стоит у окна отеля и смотрит в сад. Там под дождем она видит кошку. Ей хочется взять ее на руки... По-моему, это ни хорошо и ни плохо. Это — поэтично. Взгляд наблюдающего за ней с некоторой дистанции автора делает сцену поэтичной.

И все же основное содержание отзывов на рассказ Хемингуэя «Кошка под дождем» составляла оценка. В отличие от первого рассказа к этому девушке подключались мало. Писали без пафоса и волнения. Хемингуэя они не критиковали. Механизм «да — нет» был обращен на героиню; одни полагали, что рассказ о том, какая она бедная: к ней невнимателен муж и чего-то не дает жизнь, — другие утверждали, что у нее все есть и она, негодная, с жиру бесится.

Я не находила всему этому подтверждений в тексте. И если в первом случае отношение к героям как к живым и соответствующее их обсуждение не противоречили намерениям автора, то в случае с Х. это было, видимо, неуместно. Он не требовал со-чувствия и тем более суда. Он не индивидуализировал своих героев — у них и имен-то не было, — он их описывал, как современные ему художники писали человеческое лицо: так же, как яблоко или блузку, — как часть мира. Зритель же, глядя на картину, вместо того чтобы воспринимать живописную идею, силится понять, хороший или плохой изображен человек.

Рассказ X. — вещь, созданная для множества тонких ощущений, — не был использован по назначению. Энергия читателя ушла по другому руслу. А поскольку оснований для того, чтобы видеть в героях «хороших» или «плохих» людей, слишком мало, то происходит активное домысливание. Оно разрушает поэтичность текста. Для поэтичности нужно, чтобы сохранился флер или абстрактность, нужно ровно столько недосказанности, сколько хотел автор. Хотя, конечно, я не чувствую себя вправе утверждать что-либо о намерениях X. и о содержании рассказа тоже.

Содержание короткого литературного произведения, конечно, известно каждому, кто его прочел и кому оно не показалось непонятным. Создается впечатление, что оно известно литературоведам и публицистам. Однако психологу (хоть и без соответствующих знаний, я все же находилась в положении психолога), который имеет на руках три десятка отчетов и сквозь них проступает столько же версий содержания, оно не может быть известно. Психолог уже не осмелится утверждать, что знает, о чем тут написано.

Содержание не существует вне восприятия конкретным человеком. Логика приводит к тому, что есть сумма читательских восприятий плюс авторское и никакого «объективного» быть не может.

Однако сама ценность искусства (и неравно-ценность произведений) все же свидетельствует о чем-то объективном. С тем, что и сама ценность субъективна, могут согласиться исследователи, но не любители искусства. Поскольку я отношусь и к ним, то мне представляется, что объективное существует, что оно может проявляться в индивидуальном восприятии, — вот только нельзя утверждать, что тебе оно известно?

Это отсутствие объективного как наличного очень затрудняло анализ отчетов и просто размышление о них. Неизвестно, с чем сверять. Стремясь все же найти точку отсчета, транспарант, который можно накладывать на все разночтения, я вдруг сообразила, что могу узнать если не «объективное», то авторское представление о том, что в рассказе написано. Ибо автор первого рассказа молод и живет в Ленинграде.

Автора я нашла и от него, то есть от нее, узнала, что герой любит стоящую под его окном девушку. Только одна из читательниц (судя по отзыву и почерку, славная и симпатичная) высказала такое же понимание событий. Одна из трех десятков. Большинство утверждало противоположное — так можно ли чувства героя отнести к объективному содержанию рассказа?

Все же в разговоре с автором я на объективное содержание наткнулась. Но произошло это случайно и выглядело как курьез и даже как чертовщина. Дело в том, что в рассказе не было портрета героини и студенткам было предложено описать, каким они видят ее лицо. Несколько описаний совпали между собой, и, читая их, автор воскликнула: «Ну почему все описывают меня!» Я посмотрела, так и было: широкие скулы, крупный рот, серые глаза.

Этот рассказ действовал. Но не совсем так, как того хотела автор.

МОЯ ПРОБЛЕМА. По мере этих занятий постоянно возвращаясь к мыслям о чтении, я наталкивалась на свою личную проблему. Меня озадачивала сила воздействия книги, причем воздействия не только на сознание, но как будто на все существо и, более того, на самую реальность, что оборачивалось проблемой глобальной неустойчивости ее свойств.

Еще в нежном, тринадцатилетнем возрасте я ужаснулась тому, что не существую в качестве чего-то определенного, не знаю своего отношения к явлениям жизни, ибо оно зависит от того, в какой книге я нахожусь. И я не знаю, открывает ли книга что-то во мне или заставляет меня путать себя с кем-то другим. Чтение для меня не только гимнастика ума, источник развития, но, казалось, источник самой жизненной силы, а еще порок, гипноз, психотропное средство. Порок, ибо я не могу обойтись без него; гипноз, ибо отключает от реальности; психотропное средство, ибо на несколько дней определяет самочувствие и качество мира. Книга мир зачаровывает или выворачивает; прошлое, как оборотень, принимает другой вид; реальность оказывается (мнимом) бессильной, потому что в книге все названо словами и ритмически упорядочено. И она словно мощная силовая сетка накладывается на странный, бесструктурный мир, давая ему на короткое время свою организованность, а мне — определенность желаний и иллюзию вдохновения, когда чувствую, что способна на нечто сверхъестественное, — на самом же деле я в плену у сирен.

Наблюдая эту жуткую податливость, я приходила к тому, что книга может навсегда определить свойства реальности, в которой живешь, и, таким образом, слиться с нею. Вот тогда мир утрачивает непонятность. Но для этого нужно, чтобы читалась только одна книга. Она стала бы священной. Или один вид литературы, как это делал, например, Дон Кихот. Как люди, питавшиеся сказками, жили в сказочном мире. «Во что веришь, то и существует». Так сливались с реальностью различные

учения, религиозные системы и теории. Но художественное произведение достигает эффекта без дополнительных затрат и сопутствующих обстоятельств, необходимых для обобщения теорией. Эффект более сильный, но непродолжительный.

Что же происходит, когда мы читаем одну книгу за другой? Каждая, полная новых значений, лишь увеличивает непосильный уму хаос мира — если только мы не сопротивляемся с помощью нашей невосприимчивости, невнимания. Это не прибавление нового опыта к уже имеющемуся: книга и жизнь, одна книга и другая не поддаются сложению. Хотя, конечно, складываются поддельные, сшитые по заказу, по идеологической мерке книги. Но мир хорошей книги не оставляет места ни для твоего мира, ни для мира другого автора. Нельзя сложить даже современников — скажем, Толстого и Достоевского, не говоря уж об авторах разных эпох. Попробуй пристрой героя Толстого в роман Достоевского — страшно подумать, что случится. Попробуй вставь хоть цитату — живая плоть отторгнет чужое или изменит до неузнаваемости.

Если б чтение было, как учил В. Л., только работой воображения: воссозданием лиц, местностей, событий,— то ничего ужасного в нем не было бы. Но в книге еще всегда свой способ структурировать мир, склад мыслей, философия жизни, как там еще можно сказать. Чтобы воссоздать все это, нужно быть способным «иначе думать», то есть устранить собственный взгляд на вещи. Выходит, хороший читатель не может быть твердым, определенным человеком, у которого постоянная мера вещей.

Или книга не реализует своих свойств, не действует, или читатель — вечный, не имеющий ни родины, ни близких скиталец.

Заняться этой дилеммой не было практической возможности — воздействие чужого мира, такое, чтобы он оккупировал душу, происходит все же посредством больших произведений, внутри которых находишься не один день. А мне и о рассказах-то сложно было собрать материал.

Пришлось перейти на стихи. То есть просить как-то отозваться на прочитанное стихотворение. Хотя разговор о поэзии имел слишком много ограничений.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЭЗИИ. Опоры тут не было ни в чем.

Содержание сдвигалось с каждым читателем — это было как впервые увидеть второй глаз на нарисованном профиле. И тут я не могла смириться: когда дело касалось стихов, было невозможно сказать себе, что то содержание, которое здесь находишь,— лишь твоя версия. Как согласиться с тем, что не существует того, что любишь? Поэтому любимых стихов я не предлагала — чтобы не увидеть их разрушенными. Но так как по отношению к стихам «любить» означало и «понимать», то выходило, что речь должна пойти о непонятных мне стихах. То есть о тех, чья поэтическая ценность была для меня закрыта.

Те же проблемы и с испытуемыми. Если стихи действуют, человек слишком захвачен, чтобы наблюдать себя и говорить об этом. Следовательно, «переживающий не говорит, говорящий не переживает».

Однако «не переживающие» тоже ведь как-то относились к поэзии. Один из них сказал, что ему могут понравиться только те стихи, которые заставят его ломать голову. Это было для меня открытием. Я могла читать и воспринимать стихи лишь в состоянии, к которому подойдет слово «одержимость» или «воспламененность». В нем существо мое проявляется максимально полно и максимально полно переживание жизни. Но «ломать голову» в это время невозможно — как, попав в водоворот, решать алгебраическую задачу. Стихи, которые не захватывали, были непонятны, а усилия понять оставались бы напрасными — я просто не могла сосредоточить на них внимание.

Но ограниченность моего опыта была очевидна: я ведь почти равнодушна к поэзии нашего времени. Она именно не захватывала, я не чувствовала в ней привычного мне «возвышенного иступления». Она, кажется, обращена к уму — не к стихии. Поэзия, бывшая прежде соединением магии и точного расчета, обходится теперь без того и другого. Или я исчерпала свой лимит восприимчивости. Или это другое, мне неизвестное искусство.

Поэзия умного Пушкина (как Наташа Ростова) «не устаивала быть умной». Конечно, умный извлекает из нее больше, чем глупый, но ломать голову не приходится ни тому, ни другому. Однако не все приняли пушкинский тезис о том, что поэзия должна быть глуповата. Есть стихи, требующие усилий, есть чисто интеллектуальные наслаждения. Мой испытуемый, желавший ломать голову, тоже стал писать стихи и с тех пор фигурирует в ранге поэта.

У него и у меня стихи удовлетворяют разные потребности.

И я пришла к заключению, что прежде всего нужно определить способы, которыми искусство встраивается в личность.

ФУНКЦИИ ИСКУССТВА. Люди, прибегая к искусству, утоляют с его помощью одну или несколько своих потребностей. То есть искусство аристократично лишь наполовину и удовлетворяет не только им самим воспитуемые высокие и утонченные нужды, но и многое другое — независимо от того, призвано оно к тому или нет. Автор в процессе создания ориентируется на определенную потребность, но фактически произведение может использоваться иначе, и поэтому бытование его дитища оказывается неожиданным.

Функции искусства не просто рядоположены, следуя через запятую, но вступают друг с другом в разнородные отношения. Они могут перекрещиваться, встраиваться друг в друга или друг другу противоречить. Противоречия особенно много объясняют в расхождении оценок и точек зрения на произведение.

Примером функции, проявляющейся агрессивно, с другими вечно конфликтующей, является воспитательная. Поскольку искусство воздействует на психику и поскольку в нем может заключаться понятие о должном, от искусства начинают требовать, чтобы только должное, только прекрасный образец и идеал оно и содержало. Так хотели Платон, христиане, большевики. Собственно, так хотели все, уже нашедшие объективную истину. Нашедшим истину обычно не хватает одного: разведения на земле определенного вида человека и избавления от прочих. Им нужно однородное общество. В искусстве они видят орудие для достижения благой цели, и лучше всего, если оно будет воздействовать гипнотически. С этой очень распространенной точки зрения, в искусстве не должно изображаться зло, или, в крайнем случае, оно должно изображаться исключаящим соблазн способом.

Стоит встать на эту точку зрения, и самые умные люди, самые светлые головы начинают договариваться бог знает до чего. Например, Чаадаев называл Гомера преступным обольстителем, предрекая ему, «этому потворщику гнусных страстей, который наполнил сердца людей грязью», грядущее бесчестие.

Искусство все же изображает зло. Художник изображает ужасное, когда в нем видит сущее. Художник изображает зло, ибо считает, что у него нет права выбора, что всякое бытие имеет право на внимание и осмысление. И не всегда между добром и злом проведена черта. Искусство изображает зло, когда его целью бывает правда, познание или красота, которая нуждается в явных или скрытых контрастах.

С другой стороны, искусство изображает зло, возможно, и потому, что, как утверждает теория катарсиса, зло таким образом удаётся изжить. Я думаю, что сейчас в точности неизвестно, в какой степени переживание жестокости посредством искусства даёт безобидный выход агрессивным импульсам и служит психическому очищению, а в какой — утверждает жестокость в человеке. Во всяком случае, на этот счет в сегодняшнем мире чувствуется беззаботность.

Воспитательную функцию искусство исполняло преимущественно в устойчивые времена. Эпос и заклания, которым подражали тонны и километры советского романа, массивно воздействовали на чувство и на представление о должном.

Конечно, это в самом деле было бы славно: формировать с помощью светлого искусства и готового образца хорошего человека или утверждать в человеке высокое. Но фактически подлинное искусство последних веков аккумулирует в себе именно разрушительные силы. Оно не способно формировать личность, но оно даёт импульс к развитию. Оно компенсирует бедность человеческого жребия. И оно учит — свободе. Оно прививка от идеологизации, оно сужает область веры, оно, может быть, главная гарантия внутренней непрочности любого тоталитарного режима.

Но тот факт, что искусство нового времени индивидуалистично и при этом действует на психику множество других индивидуальностей, заключает в себе, мне кажется, гигантское противоречие.

Потребность в целой, уже готовой картине мира, в образце, реально существующей, и она очень сильна в молодости. Однообразное и высоконравственное искусство — как это упростило бы жизнь.

Но вместо образца — чужой мир. Чтобы адекватно воспринимать его, нужно на время перестать быть собой. Значит, постоянно расшатывать какие-то свои внутренние опоры. Полностью «жить чужой жизнью» невозможно — если эта жизнь не просто конструкция, но реальность, то ее ритм невоспроизводим, он неповторим, как рисунок на пальцах; а в той части, в которой возможно, это связано с неустойчивостью, имеющей много минусов. Неустойчивый человек не знает, кто он. Если это всерьез, а не игра, как у детей в пиратов, не приключение, то это ломка, постоянное разрушение смысла и броски к новым, недолговечным способам мыслить.

Но на деле это бывает редко. Люди скорее чрезвычайно устойчивы. Если они и меняют взгляды, то под влиянием не книг, а изменений в образе жизни, окружении, обстоятельствах. Они колеблются, но в четких пределах. То есть психическая структура определяет восприятие неизмеримо больше, чем подвергается влиянию. Как пружина, психика склонна принимать прежнюю форму, как только прекратится

приложенное к ней усилие. Так что новая идея совсем уж беспрепятственно может поселиться лишь в голове ненормального человека. И выходит — это правильно. Но тогда правильно, что к людям не пристает книжная мудрость и что от хороших книг люди не делаются лучше. Что книга — только река на пути, которую путник переходит вброд, одежда высыхает, и следа не остается. Хорошо, если купание освежило.

У постоянно читающих профессиональных гуманитариев образуется некий культурный слой, никак не связанный с их эмпирическим бытием и едва связанный с личностью. Прочитанное не забывается, оно насыщает этот слой, не влияя ни на ум, ни на личность в их проявлениях в миру.

Способом выхода из этого противоречия в современном мире является массовое искусство. Оно снова, как искусство давних эпох, отказывается от мира автора, от индивидуальности. Оно не требует вживания в новые значения. Оно состоит из крайне простых элементов смысла и воздействует на самые примитивные, архаические структуры. Оно ничего не требует, но дает насыщение или притупление того сенсорного и эмоционального голода, который, тревожа человека, заставляет его выходить за пределы нужд приспособления. Оно не может привести к наиболее сокровенным из переживаний, вызываемых искусством: к чувству безграничности своего «я», слияния с миром, к чувству, как бы обнимающему мир. Но эти переживания не взяты искусством на откуп: тут у него в конкурентах религия и наркотики.

Я сейчас думаю: если эпоха тоталитаризма на самом деле миновала, то искусство должно стать другим. Не потому, что будет отражать другой мир, но потому, что будут другие потребности. Если общество станет свободным, то отпадет необходимость в том, чтобы искусство было нашей свободой, нашей правдой, нашим достоинством, нашей религией. Что ему останется?

Общество, где будут возможности для раскрытия потенциала человека в его деятельности и где конкуренция потребует максимальной профессиональной отдачи, неизбежно сужает сферу обращения к искусству. А нормальные условия для спорта и квалифицированная психиатрическая помощь избавят, вероятно, от появления нового Достоевского или Кафки. Нечеловеческая мощь творений этих гениев станет вызывать в будущем то же изумление, с каким мы смотрим на древнеегипетскую скульптуру или икону XII века.

Но нам-то еще далеко до жизни удобной, в которой ослабнет напряженность неудовлетворенных потребностей. По крайней мере потребность в познании и понимании в ближайшем будущем останется достаточно сильна. Предназначенные им служить философия и наука все дальше уходят от непосвященных. Они уже не разговаривают с профанами. Более того, построена новая Вавилонская башня. И если языки других народов люди успешно изучают, то редко кто, не будучи профессионалом, способен овладеть языком и способом мысли какой-то специальной области. Почти то же относится к разным сегментам общества. Но если людям оказывается так трудно обмениваться опытом и результатами познания, то что, кроме искусства, способно тут на связующее усилие? Кроме искусства, которое может и это? Сие не должно быть особенно зазорным для него, ведь говорить придется о сложном, а в этом есть поэзия.

Всеобщее обособление, многовариантность и усложнение вновь требуют обратного: общего языка и хотя бы наружной простоты. Не мода на примитив, но глубокое к нему влечение свойственно нашему веку. Так сможет ли искусство быть подлинным и доступным многим? Или все же суждена неизбежная развилка: элитарное — массовое? А тем, кого не удовлетворяет второе и кто не знает, как подступиться к первому, останется только искусство прошлого?

Санкт-Петербург.

ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ СВЕТ

Арсений Тарковский. Собрание сочинений в трех томах. М. «Художественная литература». 1991.

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.

Арсений Тарковский.

...Размышления о лике национальной культуры берутся леволиберальным сознанием с ходу на подозрение: оно сразу видит тут заносчивое утверждение этнического преимущества, противоречащее общегуманистическим принципам.

А между тем яркая и даже, смею утверждать, не всегда равноценная в духовном отношении своеобразность, разумеется, существует — обусловленная историей, вероисповеданием, социальной органикой каждого народа. Больше того, без нее подлинное творчество чахнет: попытки полностью адаптировать авторское сознание к современной технократическо-прогрессивной идеологии оказываются губительны для литературы, и в первую очередь для поэзии как наиболее тонкого, рафинированного и почвенного вида творчества. Надо прямо сказать, что подлинная поэзия так же «не предусмотрена» новейшей цивилизацией, как и тоталитарным режимом.

Культурологи не раз отмечали, что глобальная секуляризация в России запоздала, а быть может, так и не наступила. А потому сознание российского литератора, стихотворца осталось укоренено в начале служения: творческая психология у нас и по сей день не имморальна, не релятивна.

В этом были и есть, безусловно, свои опасности и уплощения: со времен Белинского освободительная идеология подменила онтологическое служение истине идейным и требовала от культуры политической ангажированности и социальной службы, так что во второй половине прошлого века нашей эстетике десятилетиями грозила опасность.

«Серебряный век» стал в этом отношении попыткой выпрямления линии русской культуры, правда, с большими издержками, обусловленными мировым декадансом. Но революционный катаклизм вместе с жизнью взорвал и культуру. И те немногочисленные честные стихотворцы, кто, рискуя свободой, отстаивал свой независимый творческий мир и метод уже при советской власти, почти всегда вынуждены были едва ли не на ощупь и строго конспиративно

восстанавливать отечественную поэтическую традицию.

Арсений Тарковский — из их числа. Да, следует констатировать, что этот добросовестный и в меру благополучный переводчик, переводчик советский, ибо переводил не из потребности, а для заработка, человек лояльный и осторожный, был на деле, быть может, сам того до конца не осознавая, настоящим литературным подпольщиком, десятилетиями неуклонно творящим свой несравненный лирический микрокосм, который не пройдет, куда существует наша словесность.

Как поэт Тарковский формировался во второй половине 20-х годов, в суровое время симбиоза нэпмановской пошлости с новой идеологией, относительной свободой предпринимательства — с застенками ГПУ. Формировался — в тихом, но твердом противостоянии кипящему социальному аду. Авангардизм, конструктивизм, социальный заказ, наигранно бодрая публицистическая натуга, наконец, имитирующая реализм эклектика — все это было чуждо музе Тарковского изначально. На таком фоне возмужание лирического героя Тарковского удивляет своим достоинством, благородством.

Своеобразие поэтического мира Тарковского определило еще и то обстоятельство, что, с одной стороны, дореволюционная пора жизни его явственно пустила свои ростки и токи в грядущее, а с другой — не была достаточно долгой, чтобы определить духовный путь автора полностью. «Все детство мое, по блаженному жалкое./ В горячей спиртовке и пармской фиалке...» Разница в возрасте у Тарковского и его старших великих собратьев была не так уж и велика, но в свете последующего — любой дореволюционный год на вес золота, и им было, попросту говоря, гораздо больше «что вспомнить», чем А. Тарковскому. Потому, при всей своей традиционности, даже и каноничности, при том, что сам он себя считал поэтом «связей корневых» (да и был им по сути), все же творческий и даже, во многом, мироощущательский «этос» Тарковского в существенной степени принад-

лежит уже принципиально иной, то бишь пореволюционной эпохе.

Пантеистическая органика — доминанта лирики А. Тарковского. Так своеобразно преломился в его душе материализм эпохи, наложившись на его творческую метафизику. Не только время, но и — шире — все бытие воспринимал и ощущал он в неразсторжимом единстве, а личность своего лирического героя — как микромир, вмещающий в себя все элементы: от космических до глубинно кровных и родовых...

20-е годы не только объективно уродливы и отвратны, но и конкретно удивительны и причудливы; материалистическая доктрина наряду с техницизмом — в качестве какого-то побочного ответвления — давала, точнее, вселяла в души именно пантеистическое упоение миром. Очевидно, связано это было с утопией покорения природы, но порой — в качестве ереси — вместо агрессивной воли к покорению в некоторых душах возникло желание единения (вспомним Платонова, Заболоцкого). Сквознячки такого настроения пронизывают стихи Тарковского на протяжении всей его творческой деятельности.

При этом не имеющая замкнутых контуров и границ органика неожиданно и оригинально сочетается в его поэтике со стройностью, завершенностью, совершенством, а порой, надо признать, и нехваткой спонтанности лирического потока, дефицитом непринужденности, о которых ему, быть может, мечталось.

...У жившего до 40-х годов аналогичной органикой Пастернака — соответственно, — как было кем-то точно замечено, «не успевали просохнуть чернила» не остывающего стихового движения, у Тарковского же всегда: упорядоченная строфика, лаконизм и ясная, членораздельная речь. Недаром мерещится скрытое недовольство в стихах, обращенных поэтом к Марине Цветаевой: «Как я боюсь тебя забыть <...> И в твоём стихотворенье/ Тебя опять похоронить». Ведь в смысле внешних эмоций и средств выражения муза Тарковского скуповата: во всем его творчестве не больше восклицаний и ритмических диссонансов, чем в одном лирическом стихе Цветаевой, как правило, густо забомбардированном знаками восклицания.

Поэтика Тарковского сурова и лапидарна, и в этом ее особый, своеобразный драматизм, она именно драматична. Вместо, скажем, мандельштамовской веселости духа, чреватой стремительными срывами в невероятную боль, муза Тарковского обладает уравновешенностью, даже суховатой серьезностью — при умеренном, но прочном, в общем-то, оптимизме. Есть явный «минимализм» и в средствах выражения, и в жизненных установках лирического героя Тарковского, а в этой имманентной негромкости — величие и четкая мудрость, противостоящие балагану эпохи.

Такая позиция, точнее, такое соприродное свойство делало Тарковского в каком-

то смысле неуязвимым к соблазнам века сего, помогало укреплению внутреннего достоинства, невозмутимому усовершенствованию литературного качества...

И это же свойство особенно ценно в свете специфики творческой жизни Тарковского: оно ей безусловно споспешествовало и не давало угаснуть.

Старших современников Тарковского годами не печатали, травили, репрессировали, убивали, но окружающий мир знал, что они поэты, отторгал их, но именно в этом качестве. Смолodu каждый из них познал в той или иной степени известность, а то и славу, видел типографское, изящное в полиграфическом отношении отчуждение творческого продукта, встретился с благодарным читателем — всем этим вплоть до старости был обделен Тарковский (его первая книга лирики «Перед снегом» вышла в 1962 году, когда поэту исполнилось уже пятьдесят пять лет). В этом смысле его поэзия формировалась, отличалась, крепла, существовала вне диалога со средой: вместо нормального обоюдного взаимодействия — односторонняя «любовь без взаимности», ибо, повторяю, несмотря на ужас реальности, Тарковский, как явствует из его лирики, любил жизнь и по-доброму относился к миру, хотя вполне имел право на совершенно противоположное чувство.

Но специфика судьбы, конечно, не могла не сказаться и на своеобразии творческого развития, на собственно лирическом стиле. Лишенный внешней ясно выраженной поэтической биографии: жизненных вех, определяемых выходом книг, пауз между ними, должной критики, читательского эха и спроса, — Тарковский, может статься, и свое творчество и само время ощущал не в линейном развитии, но в некоем... монолите. Отсюда и отсутствие ярко контрастных и духовно различающихся один от другого творческих периодов, и резкой разницы в самой манере письма, и даже — дат под стихами. Сколь скрупулезно датировали свои лирические пьесы Мандельштам и Ахматова (вплоть до дня написания), не забывали зафиксировать год создания Заболоцкий и Пастернак — и эти временные отметины суть еще одна дополнительная стихотворная строчка, безусловно (как и название, посвящение и эпиграф) несущая на себе смысловую и художественную нагрузку.

Тарковскому подобный временной педантизм чужд совершенно, время для него едино, непреходящее, автобиография целокупна. (Правда, рукописи поэт датировал, но это, верно, была чисто рабочая датировка, личная памятка, нейтральная по отношению к читательскому сознанию: при обнаружении стихов он чаще всего ее ликвидировал, очевидно, считая, что тем самым никакого ущерба стихотворению не наносит.)

Все это убеждает, что у поэта не было маниакального для многих желания «удержать мгновение», печалиться о том, что — по слову Державина — «вечности жерлом

пожрется». В стихотворении «Вещи» (1957) Тарковский с явным ностальгическим удовольствием и точностью перечисляет приметы былого («вещи, среди которых я в детстве жил...»), но характерно признание в предпоследней строфе: «Но только по грядущему тоскую» — тосковать по грядущему и значит быть оптимистом.

...Драматичная сложность творческой созидательности Тарковского еще и в том, что по натуре он — в отличие от распространенных представлений — вовсе не был стихотворцем камерным, частным, лириком и только. И если в нигилистическую пору прошлого века задыхался без подобающего, должного отклика Афанасий Фет (которому, впрочем, принадлежат одни из самых страшных именно гражданственных строк о нашем отечестве (1880): «Где здравый русский смысл примолк как сирота, / Всех громогласней тать, убийца и безбожник»), то насколько же тяжелее было жить без читателей А. Тарковского, всегда тяготевшему к, если угодно, эпике — несмотря на небольшие стиховые объемы. Одна из феноменальных черт творчества этого замечательного поэта, что лирическую миниатюру в четыре—семь, как правило, строф он умел насытить содержанием и протяженным ладом настоящего эпического полотна, некоей суровой преобразенной гражданственностью — и в этом, пожалуй, основная родовая связь его лирики как с поздними стихами сродственных ему акмеистов, так и с поэзией его едва ли не двойника по литературной судьбе Семена Липкина.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе

И не покину пиршества живых —
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

На «пиршестве живых» поэту-нелегалу было, конечно, очень непросто. Так, например, однажды соучастники «пиров Валтасара», переусердствовав, решили — к юбилею своего Председателя — найти переводчика для поэтических грешков молодости Сосо Джугашвили, и выбор пал на Тарковского. И хотя, к счастью, пронесло и переводы не состоялись, сам факт этот свидетельствует, сколь легко было тогда запятнать свой «гербовник чести». И характерно утверждение «я пел со всеми вместе» — убеждающее, насколько же, так сказать, общечеловеческое единение поэта с миром превалировало в его сознании над социальной реальностью, в которой поэт не только не «пел со всеми вместе», но «пел» ровню противоположного литературному агитпропу и большинству советских людей.

Поразительно, как удалось Тарковскому сохранить свое творческое сознание не поврежденным, свободным... Речь идет, разумеется, не о свободе от пропаганды, но о

свободе главной, внутренней, по определению Блока — тайной. Кажется, ни разу не поддался он соблазну угождения — не только разбойной власти, но и более тонкому обольщению: нравиться читающей публике и при создании стихотворения полубессознательно ориентироваться на ее спрос.

Тарковский думал лишь о наилучшем выполнении собственных, поставленных им перед собою задач и никогда — чтобы кому-то потрафить; в тоталитарное время он, в целом, состоялся как поэт не советский — русский. И это — при минимальных уступках: поведенческая лояльность — вот, собственно, и вся плата, дань, которую пришлось ему заплатить режиму за возможность творчески воплотиться.

Новый трехтомник — наиболее полное на данный момент собрание стихов, прозы, эссе и даже — очаровательных шуточных рисунков поэта, оказывается, тонкого превосходного графика. Впервые в авторской композиционной последовательности напечатаны крупные стихотворные циклы: «Чистопольская тетраль» (1941), «Памяти М. И. Цветаевой» (1939—1963), «Памяти А. А. Ахматовой» (1966—1968), — и восстановленное композиционное единство делает стихи, подкрепляющие и усиливающие друг друга, еще прекраснее... Многие из лирики второго тома публикуется впервые по рукописи. (Правда, стихотворение «Хлеб», указанное как публикуемое впервые, было напечатано в 1928 году в № 37 бухаринского еженедельника «Прожектор».)

Следует сделать уточнения к фотографиям. На первой из них — не мать поэта, а ее сестра Александра Даниловна Рачковская. Фото Марины Тарковской датируется не концом 40-х, а 1955 годом. (Сообщено М. А. Тарковской.)

Можно оспорить и комментарий А. Лаврина к стихотворению «Превращении», считающего, что Тарковский ошибся, написав «дудка Марса», а «правильно: Марсия». Но педантизм в данном случае вряд ли уместен: смысл строфы может быть вполне связан и с римским Марсом, который, кстати, до того как превратиться в бога войны, был богом полей, природы.

Несмотря на эти и другие здесь не упомянутые огрехи, новое издание наследия Тарковского не только превосходный подарок всем, кто любит поэзию, но и — прочная ступень к его более капитальному изданию: например, в Большой Библиотеке поэта...

Будем надеяться, что и в нынешние смутные времена грядущее — за культурой, за высокой литературой, где творчество Тарковского — непреходящая компонента. Но, сдается, именно мы, современники поэта, особенно благодарны его музе: ведь после смерти Ахматовой она не оставила нас в нашем сиротстве.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

ЛЕС. СТЕПЬ. СВЕТ

Семен Липкин. Письмена. Стихотворения. Поэмы. М. «Художественная литература». 1991. 351 стр.

Поэзия Семена Липкина противится рецензионному подходу. О Липкине надобно писать подробно, разбирая стихотворение за стихотворением, осторожно намечая связующие смысловые линии и как можно дольше избегая генерализации. Здесь нет ощутимого единства лирического потока, когда голос опознается по любой строке, а господствующее настроение само просит назвать себя по имени. Нет и стройной архитектурной системы смыслов и противосмыслов, настоятельно требующей философско-филологического истолкования. Нет выраженной эволюции, хотя в книге «Письмена» собраны сочинения за более чем пятьдесят лет (1937—1989). Есть собрание очень разных (метрически, стилистически, интонационно, тематически, жанрово) стихотворений, обычно восхищающих, а подчас настораживающих глубокой продуманностью и кажущейся самодостаточностью. Есть неизменная серьезность контактов с миром, всегда знакомым и всегда неожиданным. Есть странное сочетание разнообразия и строгой сосредоточенности, укорененности в некоей точке, не будь которой, кажется, не было бы и многоцветья поэтического мира.

Тот, кто найдет эту точку опоры, наверно, сможет написать рецензию. Я же, догадываясь о существовании «точки», но не дерзая определениями, попытаюсь поделиться несколькими беглыми наблюдениями над стихами горячо любимого и почитаемого поэта.

Второй эпитет поставлен обдуманно. В стихах Липкина почти всегда слышится особая интонация, заставляющая на миг отвлечься от словесности и представить себе человека, обращающегося лично к тебе. Повествовательность тут неотрывна от исповедальности; даже если пересказывается индийский миф или монгольское предание, поэт, явно учитывая опыт прозы, строит речь свою так, что мы как будто видим его лицо, понимаем, что ему (поэту? человеку?) крайне необходимо поделиться с тобой и тем, что поивал он на своем веку, и тем, что прозрел сквозь столетия. Эта интимная доверительность и рождает ответное чувство — почтение к тому, кто сделал тебя своим собеседником.

Липкин рассказывает о разном, с равной степенью свободы и обстоятельности припоминая вчерашнюю прогулку, недавнее путешествие в Германию или на Псковщину, военные годы, одесское детство, евангельские события или времена Авраама. Любая ситуация неповторима, пластически конкретна и не равна самой себе. Сюжетные стихи тяготеют к притче. Медитативные — напоены личностным чувством, обобщение в них растет из медленного, в

твоём присутствии разворачивающегося размышления:

Добро — болван, добро — икона,
Кровавый жертвенник земли,
Добро — тоска Лаокоона,
И смерть змеи, и жизнь змеи.

Добро — ведро на коромысле
И капля из того ведра,
Добро — в тревожно-жгучей мысли,
Что мало сделал ты добра.

Перечень определений, движущихся от горького скепсиса сквозь напряжение трагедии к будничной ясности, замыкается тем, что сам перечень выстроило, — замыкается мыслью, что не давала и не дает поэту покоя, ибо и сделал вывод он не избавлен от жгучей тревоги. Добро названо, но не познано, так как грех остался с тобой — «мало сделал ты добра».

Скорбь «мятежного безволя», сознание, что ты мал и незадачлив и не можешь выдохнуть в мир то, ради чего призван, — устойчивая тема Липкина. Но, сознавая свою внешнюю слабость, помня о греховности, поэт знает о себе и другое:

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зикждительная, неземная,

И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.

Силу поэту давала слабость «человека в толпе». Тут нет парадокса, а есть страданное убеждение в глубинном родстве «владеющего словом» и того, кто, к несчастью, этого дара лишен. Может быть, вернее будет сказать о «простых» героях Липкина (раскулаченных мужиках, высланных горцах, греке с выбитыми зубами, варшавском портном, заброшенном на Тянь-Шань, Акулине Ивановне, которую колотит внук-пьяница, Марусе, у которой «взяли мужа», и т. д.) немного иначе. Слово, красота, дух пребывают в них, но потаенно; поэту же дано «высветлить» эту сокровенность и тем самым напомнить о человеческой сути. Поэтому в Настеньке, обещенной сезджим майором и случайно ставшей матерью, проступают не только «Черты бессмысленного счастья, / Любви бессмысленной черты», но и определенная красота Богородицы:

Она сойдет с ребенком к Дону,
Когда в цветах забродит хмель,
Когда Сикстинскую мадонну
С нее напишет Рафаэль.

И в силу той же веры стихотворение о страшной гибели молодой матери-еврейки и ее новорожденного сына становится словом о Богородице и завершается парадоксальной

строфой, в которой отмена евангельской истории продами XX века оказывается все же неокончательной, а подлинность вечной книги остается неколебимой:

Не стала иконой прославленной,
Свалившись на глиняный прах,
И мальчик упал окровавленный
С ее молоком на губах.
Еще не нуждаясь в спасенье,
Солдаты в казармы пошли,
Но так началось воскресенье
Людей, и любви, и земли.

Вера в воскресение не избавляет от страха, тревоги, одиночества, которыми не обойдены ни герои Липкина, ставшие ли «лагерной пылью», избежавшие ли этой участи, ни сам поэт. Правда, у него остается последний шанс — заметить свой страх и ужаснуться тому, как глубоко вошел он в душу. Назвать страх по имени и тем самым попытаться заклясть зло.

Тупо жду рокового я срока,
Только дума одна неотвязна:
Страх свой должен я спрятать глубоко,
И улыбка моя безобразна.

Процитированное стихотворение «Раннее лето» написано в 1949 году, когда Липкину, мягко говоря, было чего бояться. И все же больше всего боялся он не столько тогдашнего Чингиза (тем же годом датирована «Степная притча», где старый деспот объясняет: «Только тот, кто к победе ведет ненасытных, / Заставляя стенать и вопить незащитных <...> Кто еще не родившихся режет ножом, / Разрушает настойчивый труд грабежом, — / Ненавистный чужбине и страшный отчизне, / Только тот познает наслаждение жизни!»). Боялся он собственного страха. И так было всегда. «В дни грозы военной» тридцатитрехлетний поэт написал стихотворение «Беседа», в котором кающийся грешник не в силах назвать своего греха, но в силах расслышать голос Бога, называющего этот грех:

— Видел ты, как сияньем прикинулся мрак,
Но во тьме различал ты божественный знак.

Видел ты, как прикинулся правдой обман,
Почему же проник в твою душу дурман?

Пусть войной не пошел ты на черное зло,
Почему же в твой разум оно заползло?

Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой,
Говори, почему ты лукавишь с собой?

Почему же всей правды, скажи, почему,
Ты не выскажешь даже себе самому?

Не откроешь себе то, что скрыл ото всех?
Вот он, страшный твой грех, твой губительный грех!

Тридцать семь лет спустя Липкин объяснит свой страх, свой грех, как бы окликаая и «Беседу», и «Раннее лето», и «Степную притчу». Он напишет «Короткие рассказы», сталкивая старинное свидетельство о разрушении восточного города («Они пришли,

ограбили, сожгли, / Убили, уничтожили, ушли») со своей версией недавней истории:

О тех, кто ныне мир поверг во мрак,
Мы с той же краткостью расскажем так:

«Они пришли как мор, как черный слаз,
И не ушли, а растворились в нас».

«Не ушли». Зло как радиация, и за «расплывенье языка», «похоть души», «холопство разума», за смиренное существование в том времени, о котором «сказал один эка: / „Смерть стала роскошью, смерть стала сверхудобством”», надо будет платить не только современникам. Зная силу зла, зная его одуряющую власть и дьявольскую микрокрию, легко впасть в отчаяние. Временами кажется, что и это чувство знакомо поэту не понаслышке. Причем вспоминаются здесь не только стихи о немецких и советских концлагерях, поэма «Тбилиси в апреле 1956 года» (цитировалась чуть выше) или даже более страшная, «Соликамск в августе 1962 года», — еще настойчивее струна отчаянья звучит в стихотворении «Тайга» (1962).

Впрочем, что удивительного: влюбленное одухотворение деревьев — постоянный мотив поэзии Липкина. Именно лес способен одарить высшей красотой, напомнить об Эдеме, не знаящем грешного и мучающегося человека. Но это лес, где «запрещается рубка. / Днем тишина по-крестьянски важна. / Здесь невозможно была б душегубка. / Кажется, — здесь неизвестна война».

В «Тайге» все иначе; там «валятся деревья, как евреи, / А каждый ров — как Бабий Яр». «Растения поруганное право» оборачивается чудовищным ликом: «Четыре севера, четыре зоны, — / Четыре бездны, где гниют законы, / Четыре каторжных стены». На вопрос: «Зачем деревья мы казним?» — нет ответа, есть лишь «противодействие» казнимых, цепная реакция зла:

Зато и мстят они безумной власти!
Мы из-за них распались на две части,
И вора охраняет вор.
Нам, жалкому сообществу страданья,
Ты скоро ль скажешь слово оправданья,
Тайга, зеленый прокурор?

Поразительно, но даже здесь не исчезает вовсе молитва о прощении, надежда на слово оправданья. Отчаянье подступило — и ушло. Доверие к смыслу бытия сильнее.

Меняются эпохи, народы, культуры. Неизменен лес, неизменен как раз потому, что бесконечно разнолик. Неизменна степь, ибо ее простор дает ощущение воли, счастливой разомкнутости сознания, над которым уже не властны обстоятельства, даже такие, как война и смерть: «А! Не все ли равно мне — днем раньше погибнуть, днем позже. / Даже порой мне кажется: жизнь я прожил давно, / А теперь только воля осталась, ленивая воля». Та кочевая воля, что соединяет разделенные времена и народы, как соединяет их и лес, и страсть, и слово, и заставляет Липкина сказать: «...я кочевал

по земле Месопотамии, и, когда до войны я перевел калмыцкий эпос, а там говорилось о том, как вытаскивают из земли колья юрт, я вспоминал свой шатер и тепло овечье руно» (повесть «Картины и голоса»). Лишь человек, стремящийся вместить в себя весь гул тысячелетий, способен в ужасе бегства (поэма «Техник-интендант») расслышать влекущую мелодию вечной свободы, вечногo кочевья, цыганского, калмыцкого, древнееврейского странствия. А дышавший воздухом этих странствий может сказать о неизменности страсти, ненароком впадая в тональность финала пушкинских «Цыган» — поэмы о воле, что гуляет всемирной степью, луной пробегает за облаками, рождает мучительные сны и не желает обращаться в безжалостное себялюбивое насилие. А тому, кто все же нарушает ее беззаконный закон, она платит страшно и неожиданно, оставляя его один на один с судьбой:

Где великое дикое поле
Плавню сходит к хвалынской воде,
Видел я байронической боли
Тот же признак, что виден везде.

Средь уродливых, грубых диковин,
В длинных стойбищах с их тишиной,
Так же страстен и так же духовен
Поиск воли и дали иной.

У Липкина сродность всему сущему подразумевает надмирное странничество. Так оказывается: за состраданием к тем, кого пылью взметает ветер судьбы и беды, мерцает «кочевой огонь» — дух племени, утраченного обетованную землю:

Какая нам задана участь?
Где будет покой от погонь?
Иль мы — кочевая горючесть?
Бесплотный и вечный огонь?

Было бы соблазнительно свести дело к еврейскому мироощущению. Мешает русская поэтическая традиция, музыка которой поддерживает голос Липкина. Мешает не только Цветаева с ее кощунственно непреложным: «В сем христианнейшем из миров / Поэты — жида!» — но и несомненно более повлиявший на Липкина (мне лично кажется — главный из его поэтических учителей) Гумилев:

Земля, к чему шутить со мною:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездой,
Огнем пронизанной насквозь!

Но как у Гумилева рядом со стихами о бесконечном полете живут другие — о преодоленном бродяжничестве, об обретенной стране, где поэт уподобляется все тем же возлюбленным деревьям, «Безмолвно поднимаясь в вышину / Неисчислимые тысячелетья», — так и у Липкина стихотворение, открывающееся словами: «Кто мы? Кочевники», движется к вечному покою: могила друга; родная земля; вертикаль деревьев, уходящая в небо; могущество жизни, которую отличает от смерти нечто неопределимое, но вполне понятное:

Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.

И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвою,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.

Пути жизни и поэзии таинственны, но есть логика в соединении беспредельного кочевого размаха и не менее беспредельного устремления ввысь, неощутимой, как дыхание, молитвы и плотской конкретности, доверия к Творцу и сознания мощи зла, — есть логика в том парадоксальном синтезе, что возникает в лучших стихах Липкина. И читая «Новый Иерусалим», где библейская интонация, торжественность метафор и свобода нерифмованного стиха оказываются согласными средствами для построения символа русской земли, думаешь о том, что сама судьба поселила поэта близ монастырских стен, дабы появились эти святящиеся строки:

Не кровосмесительным, наговорным
Злым зельем чернокнижников,
А чистой, целомудренной кровью зари
Напоены облака, и река, и вода родника,
И широка, широка заря
Над Новым Иерусалимом.

Андрей НЕМЗЕР.

*

КРАСНЫЙ ФЕРЗЬ ПОД БОЕМ

Сигизмунд Кржижановский. Сказки для вундеркиндов. Повести, рассказы.
М. «Советский писатель». 1991. 699 стр.

Революцию он встретил тридцатилетним. И не поддался ни посулам ее идеологов, ни призывным кличам из другого лагеря. Масштаб события ему был ясен. Но особый вес оно получило для него благодаря своей тектонике, как и для Платонова, Бабеля, Пильняка. Только тех влек-

ло поближе к кратеру, а ему, Сигизмунду Кржижановскому, раньше всего бросались в глаза не кратеры, не истекающая оттуда лава, а смещение всего строя жизни к мистериальному жанру, резкие сдвиги, наклоны человеческого сознания «у бездны мрачной на краю».

Закипевшей мысли писателей 20—30-х трудно было управляться с подосновой фактов: не тот настрой. А подоснова заманчиво проступает наружу в непредсказуемые моменты обвалов и сдвигов. Раз так, кто-то ведь должен не упустить случай!..

Уже в начале 20-х строки Кржижановского отличались необычной уравновешенностью аналитизма, который если и ждал для себя чего-то доброго от разгула стихий, то редкого шанса заставить людское сознание врасплох, когда в его движениях нет затверженности. Вообще у этого писателя мы не отыщем и намека на желание угодить эпохе, сделавшись ее хроникером или портретистом. На тогдашнем историческом фоне он — как тот чудак из одноименной новеллы (ею открывается книга «Сказки для вундеркиндов»), который со своею нелепой бородкой и портфелем смотрит инопланетянином среди солдат, накрытых шквальным арталетом, — сторонний бою человек, полезший под огонь неспроста: только здесь, в кровавом месиве, он надеется разгадать природу страха.

Подобно чудаку-проблемисту, сам автор ищет свое посреди огня: то скользнет взглядом по ближайшей календарной примете, то отступит от горячих рубежей, дабы обменяться мнениями ну хотя бы с Фрэнсисом Бэконом, Спинозой или Кантом, не теряя, однако, иронической самоконтроля.

С. Кржижановскому известна заносчивость переломных эпох, готовых самой историей скомандовать «стоп!», откуда они собору не налюбовались. Линиям преемственности людского опыта грозит в такую пору разрыв, и, значит, нужна аварийная служба для устранения разрывов.

Среди писателей 20—30-х у Сигизмунда Кржижановского роль чудачковатого сказочника-анахорета, который вроде бы в упор не видит грозного официоза, не дерзит ему, как дерзили Замятин или Булгаков, а потихоньку реставрирует инструментальные познания, отброшенные или притупленные официозом, переговариваясь заодно с мастерами прошлого, кому сложнейшие из этих инструментов приходились точно по руке. И что же? Проницательствовал анахорет в тесной каморке на Арбате до преклонных лет (умер в 1950-м), не угодив, кажется, и в лубянской картотеку, ибо почти не издавался да и редакции крайне редко тревожил, ясно сознавая, что на дворе не его время. Однажды некий редактор, пролистав рукопись Кржижановского, выпалил ему в лицо: «Да поймите же вы! Ваша культура для нас оскорбительна!» А тот еще раньше все понял, работая по преимуществу в стол.

Сквозь те же 20—30-е этот арбатский отшельник проследовал словно транзитом, не позволив «веку-волкодаву» себя усновить, пробивая путь для культурной традиции через завалы спецкультуры.

Когда в конце 80-х Вадим Перельмутер издал и прокомментировал первую порцию неизвестной прозы С. Кржижановского

(«Новый мир» откликнулся на эту книгу, «Воспоминания о будущем», рецензией Ирины Васюченко «Арлекин против Кощея» — 1990, № 6), сразу всплыл вопрос: а на что она похожа? Уже названы имена Гофмана, По, Кафки, Борхеса (двое последних, впрочем, — из области позднейших аналогий, для догадок о восприятии их «уроков» у нас оснований нет). Иначе говоря, к прозе С. Кржижановского приложима характеристика «фантастический реализм». Причем фантастика здесь не из свиты социологии либо этики, ни на что злободневное намекать не стремится, оставаясь по преимуществу игрой ума или игрой с умами, сознаниями носителей той самой культуры, которую партийные культуртрегеры числят для себя «оскорбительной».

Нищие проблемисты и эрудиты Кржижановского мигмом распознают друг друга и, оказавшись рядышком где-нибудь на садовой скамейке, принимаются развешивать странноватые сюжеты — обычно без преамбул, словно не сомневаясь, что собеседнику не нужно длинных разгонов, ибо ядро предлагаемого сюжета — приключения пытливой мысли; а какой же порядочный советский нищий не озабочен вопросами гносеологии?

Чудаки-пытливцы заняты самой природой постигающей мысли, которая новому обществу без надобности: перечень правильных идей читайте, мол, на наших кумачах!

Налицо два мира: полунищий, но весь в кумачовой драпировке и вовсе нищий, от которого ноль внимания кумачам. Первый резво плебействует, отбросив багаж-балласт чуждой ему культуры, второй перехватывает отброшенное, стараясь сбереж и его объем и тайные коды, шифры, без знания которых с багажом не разберешься.

Ждете диалектической связи между двумя мирами, тоскливые позывных от второго к первому, вроде «И разве я не мерью пятилеткой... но...»? Не дождетесь. Мосты между мирами разведены. Мысль нищих пытливых Кржижановского ничуть не смущена собственной «странностью», мало заботится об удобствах ленивого сознания, которому подавай новый факт из старой серии. Так, барон Мюнхгаузен, явившийся в XX век по вызову нашего сказочника («Возвращение Мюнхгаузена»), предстает мастером «сложной игры фантазмами против фактов», когда твердый факт, подобно удаляемой с поля пешке, «снимается фантазмом». А этот последний нужен барону не для раскраски завиральных сюжетов — для свободных странствий «из мышления в мышление», которому язык фантазмов сродни. Так полагает барон.

Писателя занимает жизнь мысли, когда та сама себе госпожа, и его фантастические допущения прежде всего гносеологичны. Героем сказочного сюжета тут способно выступить нечто текущее, стоящее вне предметного ряда, — допустим, разговор, или

роль (отдельно от актера), или эхо, или «чуть-чуть», или щель.

Обширный раздел «Сказок для вундеркиндов» озаглавлен «Собиратель щелей» — по названию одной из новелл. А в самой новелле некий старец скликает к себе для воспитательных бесед... ну, кого да кого? Горное ущелье, древесное дупло, вырез в корпусе скрипки, зигзаг на лунном диске, зазор в черепной кости. Короче — щели. «Худо быть Божьему миру не целу. Вы, щели, раскол вщелили в вещи», — внушает воспитатель сборной компании. И та, себя же устыдившись, запаниковала, метнулась прочь, с глаз долой; щелистые рои вонзились в земную толщу, дабы там исчезнуть. Но потревоженная земля, пропустив их, стала смыкаться, защемляя жилища вместе с обитателями. Горестен тот день оказался для людей. А самоуправник старец — лже-благодетелем людским.

Новелла о скоплении щелей (как и многие из того же цикла) построена наподобие матрешки: сюжет вложен в сюжет. И про старца-реформатора здесь беседуют два сказочника-аналитика, которым важно разгадать секрет черноты в разрывах света, черноты, заглатывающей Солнце, когда обрывается нить жизни. Индивидуальной — твоей или моей. Чернота не есть ли род ритмической паузы? Тактовая организация бесчисленных форм движения подсказывает собеседникам образ метафизических усилий разума, когда тот, как бы опершись о края «быгтийной щели, нет-нет да расщепляющейся в бездну», заглядывает, покуда эти края не сомкнулись, в глубь расщепла. А значит, носитель разума, поймав свою паузу, хоть на миг да «останется быть один среди небытия, войдет живым в самую смерть».

Но ко времени ли подобные отвлеченности? За окном-то у сказочника что? Разоренная, в кольце крестьянских бунтов Москва, которую еще трясет тифозная горячка (новелла «Собиратель щелей» датирована 1922-м). Собратья-литераторы только-только потянулись сюда с фронтов, обтирая, так сказать, клинки и готовясь перелить в строку правду пережитого. А безвестный новеллист замеряет посреди всего развала некие расщепы в структуре Божьего мира.

Причем текст, которому ждать публикации долгих семьдесят лет, по-молодому энергичен, богато интонирован; в строении фразы, внезапности неологизма, парадокса — усилие авторской воли: не дать раньше срока сомкнуться все тем же расщепам, пусть возле них — всего лишь единственный чудак-наблюдатель. Тут энергия и выразительность письма добавляют некий штрих (особенно при оглядке из 90-х на 20-е) к знакомому облику ранней послеоктябрьской литературы. Штрих контрастный, ибо упорство авторской воли налицо, а ее направлению Октябрь не указ.

Читателю первой книги С. Кржижановского «Воспоминания о будущем» знаком сюжет, где герой, увлекшись женщиной, проникает в «зазеркальное» пространство, лежащее по ту сторону зрачка (тоже вроде бы сквозь щель) возлюбленной, обнаруживая там посреди туннелей и гротов целый синклит своих предшественников, так и не отыскавших пути назад («В зрачке»). Нечто похожее встретим и в «Сказках для вундеркиндов». Герой-повествователь из рассказа «Странствующее „странно“» решил «изучить одиночество» своей любимой, избрав удобной для себя наблюдательной площадкой циферблат ее часов. Конечно, занять там место не проще, чем протиснуться в женский зрачок. Но задумано — исполнено с помощью волшебного эликсира, преобразившего наблюдателя в микрочеловечка. Следует серия его приключений, по ходу которых первоначальная задача позабыта: надо осваиваться посреди тикающего мира шестерен, осей, стрелок, где водятся «бациллы времени».

Вообще букашечные человечки Кржижановского бойки и удачливы. Они акробатически перемещаются, держась за ресницу возлюбленной или ворсинку ткани, или прикинув к чешуйчатому боку блохи, или оседлав красный кровавый шарик внутри чьей-то артерии. Идеальные исполнители. Разведотряд в глубь расщепов бытия.

Фантазмы Кржижановского никогда не гротеск, не сатирическая гримаса в сторону одичавшего мира и не причудливые порождения подкорки, а инструменты самопознающей мысли, иного рода оптические устройства для «запрокинутого зрачка». С их помощью он раздвигает границы видимого, проникая даже в загадочное царство Времени.

Блуждая по циферблатному полю, крохотный человечек из сказки наблюдает вблизи рои секунд, облепивших «секундную стрелку, как воробьи ветвь орешника», знакомится с повадками «бацилл времени», которые вонзают в мозг человека тонкие жала да еще любят растравлять «пустым жалом — свои старые укусы»...

Повествователь у Кржижановского вскользь замечает, что людям с живой памятью «плохо пришлось в дни недавней революции», ибо нелегко хранить объем Прошлого при бесновании беспамятных. А вот посчастливилось крохотному человечку из сказки поймать «одну из юрких секунд... несмотря на ее злобное цоканье и тиканье». Остановить мгновение.

Тут одна из бесчисленных историко-культурных реминисценций, когда тот же Гёте, Ювенал или Кант охотно являлись по вызову автора-потомка.

Впрочем, уже своим речевым строем проза С. Кржижановского противостоит стихии беспамятства. Здесь слова, как и образы, при встрече обмениваются «ассоциативными рукопожатиями» (формула Кржижановского), сигналами давнего родства, поворота

чиваются к нам внезапными стяжениями корней («сложноплетение смыслов») или расщепами (в нужном месте слово «ямы» раскалывается на «я» и «мы»), как бы отдавая накопленную за века энергию. И — никаких пародий на новояз, будто он лишь померещился писательской братии. У всякого серьезного автора своя речевая санитария. Кржижановский спокойно брезгует советизмами. С тем его и примем.

По замечанию, подаренному автором персонажу, «нельзя вгонять в человека насильственную, чужую ему жизнь-фабрикат». Случилось, правда, арбатскому затворнику недолго постранивать в кочевую (для наших литераторов) пору начала 30-х, но местом паломничества он избрал Среднюю Азию, где упомянутая «жизнь-фабрикат» отторгалась традиционным укладом Востока. Итогом поездки явилась путевая проза «Салыр-Гюль». Ее подзаголовок «Узбекистанские импресси» похож на попытку пройти туда, где печатают, предьявив жанровый пропуск, хотя очерковый стандарт и не соблюден.

Писатель больше задерживается не на приметах социальной нови, а, скажем, на несходстве характеров «времени-сангвника» и «пространства-флегматика», разлегшегося «за горизонтным увальнем»; или на «арочном плене» горожан Востока, у которых даже обувные стельки «вырезаны по аркообразному шаблону» и кого в конце пути ждет длинный ларец надгробия с гостеприимно выгнутым верхом. Метафизика здешних бытовых ли, архитектурных форм занимает автора не меньше метафизики зазоров и щелей, намекающих на исчезновение материи.

У того духовного пространства, где развертываются сюжеты Кржижановского, характер, однако, не восточный, чуждый флегме, а скорее сангвинический, быть может, под воздействием дружественной ему субстанции Времени. И нетрудно заметить, что дух — искатель смыслов — готов отойти в глубь собственных владений, заняв круговую оборону против «жизни-фабриката». Во благо ли ему герметизм? И да и нет.

В повести «Клуб убийц букв» описаны тайные сходки сочинителей, которые угощают друг друга эзотерическими историями, зарекались доверять их бумаге: пусть умрут буквы, пригвождающие мысль к листу! Фантазмы, отлетев от материи, стряхнув литеры обратно в наборную кассу, водят хороводы между собой. Забавы? Все нег. Сочинители сюжетов, или «растратчики фантазмов», ищут случая поглубже высветить все те же расщепы бытия, продлить ось зрения, если повезет, и до «придоний» Стикса («реки, в которую выпадают все смыслы», скажет Кржижановский позднее).

А под рукой у сочинителей — культура-труженица. Такой, к примеру, ее образец, как «Гамлет». Для членов Клуба ставится воображаемый спектакль, где помимо персонажей участвуют сами «роли», их великие

исполнители из разных веков. Замысел спектакля стягивается к незримой линии (скрытому «расщепу») между здесь и там, по сю сторону подлунного мира и по ту. Знаменитое «Быть или не быть...» ложится на двухголосие. Вместо одного Гамлета на «сцене» — двое. Первый и второй Гамлеты как бы скользят по общей для них оси, наклоняя ее при перемене местами. Динамичная такая раскачка: вверх — вниз, «быть?» — «или не быть?», «умереть?» — «уснуть». И первый и второй принцы датские по очереди отщепляют от монолога строки, где отчетлив знак «не быть», и, вооружившись ими, будто зачерпывают нечто из упомянутых Стиксовых «придоний». А рядом с Гамлетами заглядывают в расщепы другие знакомые персонажи. Правда, имена их усечены как минимум на слог (Фелия, Гильден), кажется, закатившийся за грань бытия. По сути, все Шекспирово воинство занято здесь освоением «целины» небытия: видно, ищущему духу по сю сторону стало уже тесно.

Спросите: вполне ли серьезны и состоятельны подобные операции с мировой классикой? Ну капельку-то сарказма отрицать не возьмусь. А насчет состоятельности уместно сослаться на составителя и комментатора сборника В. Перельмутера. По его сведениям, главу о «Гамлете» очень высоко оценил А. Аникст, получивший доступ к рукописям Кржижановского, и заметил, что с этой неожиданной версией следовало бы познакомить постановщиков трагедии. В общем, «убийцы букв» не кощунствовали над великой пьесой, а честно шлифовали о ее грани свои умы. До безбуквенного блеска.

Но к концу повести среди членов Клуба назревает раскол: здешний тип одухотворенности готов вознестись над любой вещественностью, что сулит уже не пластику образов, не пир фантазмов, а холод деструкций. «Материеобязнь» — так назван в книге недуг, подстерегающий анахоретов, искателей смыслов, собирателей щелей. Можно сказать, что отдельные очаги такого недуга тут надежно заблокированы авторской иронией. Но этого мало. Мысль Кржижановского, редко покидавшая пределы уединенного сознания, собою недобольна — туда ли попала?..

Между доверием писателя-сказочника к пытливому сознанию и доверием к жизни не всегда полный лад. Подчас то и другое сходятся под острым углом, создавая не предусмотренное (сюжетом) напряжение в строке, меняя заданные фантазмам правила игры.

Помните крохотного человечка на циферблатном поле, где ему удалось изловить убегающее мгновенье? Недолго он оставался безобидным симпатягой, шмыгнувшим за грань видимого. Стоило крохотуле обнаружить недруга (соперника по любви) — и резкая смена ориентиров. Взамен пытливости — ярость, служение не разуму-искателю — «куцым страстишкам». По их под-

сказке учиняется мятеж, восстание в глубине вражеской плоти; прямо-таки с буденовской лихостью носится мститель по сосудам безответного недруга, оседлав кровавой шарик. В итоге труп. А ведь персонажи-пытливы так стремилась поглубже зачерпнуть из «придоний» Стикса! Здесь же у скакуна по жилам другая мечта — выжить, удрать от лопат могильщиков.

Так насколько же глубоко укоренена пытливость в нашей духовной природе?..

Незамолимый грех служилой литературы 20—30-х — сплошная идеологизация человека, гимны функционеру, исчерпанному набором типовых ролей. Куда же подевался человек неисчерпаемый? Что подельывает? О том спросите литераторов гонимых и крамольных. Хотя бы Андрея Платонова. Теперь из тех же одичалых лет к нам приходит безвестный сказочник с почти сказочной вестью о стойкости большой культуры и в пору одичания.

Накануне года великого перелома С. Кржижановский завершил «Возвращение Мюнхгаузена» (под нажимом друзей даже пробовал повесть напечатать — с обычным результатом), где популярный выдумщик отлучился из книги в мир, дабы посетить СССР. Большой умелец выбираться «из тины истины в вольный фантазм», барон рассчитывал, что с этим делом у коммунистов ему будет проще простого, ибо, по

слухам, все у них наоборот: дома стоят крышами вниз, газете-официозу присвоено неподобающее имя — «Правда». Оказалось, с фантазмами там хуже некуда.

Помните старца, обучавшего целый сонм щелей порядку («Худо быть Божьему миру не целу»)? Наконец-то мечта о миремонолите сбылась. Просветов больше не стало в одной отдельно взятой стране, где швы заделаны наглухо, всякий факт каменно упрям и «в сложной игре фантазмами против фактов, которая ведется на шахматнице», против строя баронских фигур — «неистребимый красный ферзь» с кровавыми зубами. Из сложной игры ничего не вышло, выдумщик барон снова нырнул под книжную обложку.

У самого же писателя, хотя на шахматницу он взглядывает мельком, красный ферзь — под перекрестным ударом фигур. «Затравленный и полуиздохший нищий» (по косвенной автохарактеристике), этот сказочник приходит к нам из глухих лет победителем тоталитарного монстра, с которым он впрямую-то и не воевал. Просто монстр, дабы протянуть подольше, приучал людей считать нормальной жизнью «жизнь-фабрика». А сказочник любым своим фантазмом удостоверял факт подмены.

В. КАМЯНОВ.

РЕДАКЦИЯ «НОВОГО МИРА»

благодарит

БРИТАНСКИЙ СОВЕТ В МОСКВЕ

за поддержку и сотрудничество

*

**«Novy Mir» would like
to express its gratitude
to the British Council in Moscow
for its support and help**

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВЛАСТЬ ТЬМЫ?

В России две напасти:
внизу — власть тьмы,
а наверху — тьма власти.

В. Гиляровский.

Банально сегодня утверждение, что нельзя жить так, как мы жили и, к сожалению, продолжаем жить. Но к констатации этой банальной истины в последние шесть-семь лет мы ничего более, увы, добавить так и не смогли. Ибо здесь возникает оставшийся без ответа вопрос о том, как нужно жить. Если этот вопрос стоит в плане обыденности, то ответить на него просто. Люди хотят жить так, как в странах, ныне именуемых цивилизованными.

Однако для того, чтобы ставить такие цели в политике, определяемые желанием народа жить в демократическом, свободном обществе, в котором верховенствуют нормы нравственности и закона, нелишне иметь в виду два очевидных обстоятельства. Первое состоит в том, что общественные, политические и государственные институты цивилизованных стран западного мира, определяющие их современный облик, естественно, вызревали столетиями. По крайней мере они берут свое начало с момента принятия христианства либо со времени революций в Нидерландах, Англии и во Франции. Второе обстоятельство, чрезвычайно важное для нас, заключается в необходимости определить наше положение относительно мировой траектории общественного развития, оценить наше общество как точку отсчета при движении в мировое содружество. Казалось бы, что и эти оценки даны достаточно убедительно. Различия в оценках носят непринципиальный характер: «казарменный социализм» (Ф. Бурлацкий, Г. Попов, Б. Ракицкий), «тоталитаризм», «авторитаризм» (А. Ципко, Ю. Афанасьев), «общество азиатского способа производства» (М. Восленский).

Есть ясность и в целях реформаторского движения. Вспору припомнить знаменитое: «Наши цели ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи!» И вот здесь начинается самое загадочное. С 1985 года берет начало бесчисленная череда постоянно появляющихся и тут же проваливающихся целей перестройки (в последние полтора года — реформ) и программ их реализации. Почему эти программы, по существу, не начинаясь, проваливались? Не ожидает ли подобная же судьба и вновь составляемые программы и, как закономерность, политическое фиаско их авторов?

Политики разных ориентаций, в общем, сходятся в стратегических целях реформ: свободное, правовое, демократическое общество с гарантиями прав и свобод личности, ее суверенности в отношениях с государством. В общественном сознании эта цель воспринимается просто: так, как за бутром. Однако, принимая различные решения по движению к этой цели, политики постоянно обнаруживают: что бы ни принималось, всегда возникало и возникает мощное противодействие принятому решению. Объяснение этому сводилось к борьбе демократов и коммунистов. Коммунистические структуры власти не давали ходу демократическим решениям, посему, мол, на седьмом году реформаторства у нас столь плачевные результаты. Сейчас дело другое. Демократы пришли к власти, но позитивных изменений нет.

Закономерность провала программ реформ лежит, по-видимому, в другой плоскости. За годы с октября 1917 года в обществе произошли колоссальные изменения, повредившие его наследственный механизм. Повреждения эти охватили фундаментальные, базовые компоненты цивилизованного общества: семьи, религии, культуры, образования. Именно эти общественные институты отвечают в обществе за процессы передачи ценностей последующим поколениям. Разрушение этих общественных систем привело к тому, что наше общество не есть общество в общепринятом смысле слова. Оно и мы, его составляющие, являемся своеобразными социальными мутантами. В силу этого мы непонятны не только себе, но и миру. Своей непонятностью мы вызываем и страх и жалость. Нам хотят помочь, но не знают как. Прежде всего потому, что мы сами не знаем, как помочь себе.

Да, с нами случилась беда. Ибо общество, которое мы пытаемся реформировать, уникально. Уникально своей болезнью. Имя ей — охлократия, что означает власть толпы. У охлократии мало общего с демократией. А посему советы, даваемые

западными специалистами, искренне желающими нам помочь, бесполезны. Бесполезны, ибо в своих советах они исходят из знаний собственного общества, из знаний закономерностей становления общественных институтов цивилизованного мира. Эти методы ориентированы на изучение обществ, социальных групп, социальных процессов, общественного сознания. Измерителем этих явлений служат люди. Социолог в своем анализе опирается на мнение людей. Однако охлократия — это может быть вовсе и не общество. В нем нет и не может быть мнений. В охлократическом сообществе господствуют инстинкты, эмоции, настроения. Законодателем эмоций в охлократии служит вождь, лидер. И это только одна из проблем реформации: привить культ знаний как альтернативу культу страстей и инстинктов. Возможно, наше сообщество есть резон изучать не только социологическими методами, фиксирующими настроения, эмоции, надежды, страсти, то есть весьма переменчивые элементы общественного сознания, но и методами зоопсихологии и этиологии. Этот вывод не кажется сегодня удивительным: люди нашей страны озабочены ныне не созданием, а выживанием.

В самом деле. Сравним данные органов статистики и социологических опросов с некоторыми закономерностями поведения особей в стае. В стае в периоды кризисов и стрессов, возникающих при угрозе для жизни, отмечаются явления неупорядоченных половых связей (промискуитет), снижение рождаемости, каннибализм. Растет смертность и агрессивность ее членов. Возникают случаи неповиновения вожаку, разделения стаи. Усиливается внутростаевая борьба за лидерство. Это у животных.

По данным Госкомстата СССР, общий коэффициент рождаемости с 1985 по 1990 год в Российской Федерации снизился на 19,3 процента (по стране — на 15,6 процента). Смертность от инфаркта миокарда за тот же период возросла на 12,2 процента по стране и на 16,6 процента по России. С 1986 по 1990 год число самоубийств в России возросло на 14,8 процента и на 11,1 процента по стране. Уровень самоубийств в 1990 году в России в 2,1 раза выше, чем в США. Число абортотворцев у женщин в Российской Федерации за период 1985—1988 годов увеличилось на 4,3 процента, их уровень в 4,3 раза выше, чем в США. Преступность за годы перестройки возросла в России на 26,1 процента. Социологи¹ зафиксировали, что в это время у молодежи формируются асоциальные формы поведения, привлекательными становятся ценности уголовного мира. Не считают зазорным совершить преступление (кражи, мошенничества, насилие против личности) от 48 до 66 процентов молодежи. Нормами поведения служат пьянство (43 процента молодых людей четырнадцати—восемнадцати лет), употребление наркотиков (12 процентов пробовали их, а от 4 до 8 процентов регулярно их употребляют). Неупорядоченные половые связи (панмиксия) характерны для 12 процентов старших школьников и 27 процентов учащихся ПТУ. Времяпрепровождение 44 процентов молодежи — безделье, пустые тусовки и поиск источников получения удовольствий. Психологи отмечают рост немотивированной жестокости и агрессивности среди молодежи.

Я не хочу абсолютизировать значение биологического фактора в анализе поведения людей. Но и приуменьшать его, а тем более игнорировать, было бы тоже опрометчиво. Особенно в изучении нашего нынешнего общества с достаточно четко выраженными чертами охлократического сознания его членов.

Родовыми признаками охлократического общества являются как минимум две его черты. В таком обществе ослаблена или отсутствует вовсе власть закона. Правовой нигилизм, неуважение к закону, конституции, институтам государственности и власти — доминанта подобного общества.

Естественно, правовое бескультурье и неуважение к закону компенсируются в охлократическом обществе нормами власти, основанными на насилии. Отрицание силы закона всегда и везде означает закон силы.носителем силы в таком обществе может быть только лидер, вождь, его ближайшее окружение и его партия как исполнительный механизм его воли и силы. Конечно же, в различных исторических обстоятельствах этот механизм осуществляется по-разному. Но одинаково его идеологическое и пропагандистское прикрытие. Насилие всегда оправдывалось интересами народа, стремлением власти апеллировать к понятным народу лозунгам свободы, социальной справедливости и гуманизма. Теория классового насилия оправдывала беззаконие, насилие одного класса над другими и государство как орудие преступного удержания власти, основанной на насилии. Сходным целям служат и упрощенные схемы апологетов приоритетности общечеловеческих ценностей, прав и свобод личности. Упрощенчество их в том, что как данность, как реальность провозглашается равенство для всех прав и свобод в обществе, разделенном по социально-имущественному положению, верованиям, национальности и т. д. Абстрактный морализм этой современной теории в дифференцированном

¹ Здесь и далее приведены данные социологических исследований, проведенных под руководством автора с 1987 года.

обществе, где равенство прав и свобод не более чем утопия, воспринимается охлократическим сознанием как право иметь права и свободы, которыми обладает более способный, более умелый и трудолюбивый, более сильный, наконец. Очевидно, что такое право можно осуществить только через насилие.

Кроме того в охлократическом обществе принижены нравственные ценности. Различия в понимании добра и зла размыты. Это естественно, ибо охлос и личность несовместимы, следовательно, допустима только охлократическая мораль. Личность в охлосе не свободна и в своем праве решать вопрос о добре и зле. «Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!» Так полагал Ф. М. Достоевский, с тревогой замечая активность охлократических бесов. Насилие и власть силы всегда безнравственны. Добром считается только то, что соответствует интересам обладателей власти и силы. Охлократическое сознание за добро принимает только то, что отвечает настроению и инстинкту толпы. Как легко, оказывается, одержать победу над политическим противником, бросив лозунг уже одичавшей и ставшей толпой массе: «Грабь награбленное!» Не стоит думать, что этот призыв и его реальное исполнение, завершившие в 1917 году процесс охлократизации, стали историческим фактом, невозможным ныне. Сегодня 41 процент студентов и 32 процента сотрудников высшей школы отвергают нравственные ограничения при экономических преобразованиях, считая, что в бизнесе не может быть никаких критериев, кроме экономической выгоды и экономической целесообразности. Такова мораль зарождающегося «среднего слоя». «Все, что экономически эффективно, является нравственным» — этот афоризм Н. Шмелева становится доминантой общественного сознания.

Вообще охлократическое общество — это общество с перевернутой системой ценностей, общество «зазеркалья». Платон в своих знаменитых диалогах «Государство» объясняет формирование охлократической морали: они «с бесчестием, как изгнанницу, вытолкнув вон стыдливость, обозвав ее глупостью, а рассудительность назовут недостатком мужества и выбросят ее, закидав грязью. В убеждении, что умеренность и порядок в расходовании средств — это деревенское невежество и черта низменная, они удалят их из своих пределов, опираясь на множество бесполезных прихотей... Оporожнив и очистив душу... они... низведут туда... наглость, разнузданность и распутство... наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность — свободой, распутство — великолепием, бесстыдство — мужеством... из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство».

Нравственный регресс, расплывчивость в различении добра и зла — это все признаки одичания человека, скатывания его в стадное состояние. Там, где нет христианских критериев, различающих и в словах и в делах добро и зло; там, где человек «потерял духовность и высшую идею свою» и, следовательно, по Ф. М. Достоевскому, «может быть, даже просто не существует»; там, где поведение людей определяется их страстями, а не разумом и знаниями, невнятными «прогрессивными» теориями, а не образованностью, — там всегда существует опасность охлократии. «...я их всех сосчитал, — откровенничает Петр Верховенский в «Бесах», — учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш... Школьники, убивающие мужаика, чтоб испытать ощущение, наши... Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают!» Так сбивалась толпа, формировалось особенное сознание охлократического общества. У него — ничего общего с демократическим сознанием, основывающимся на ценностях личности, нравственности и закона. Как же это все случилось? Предопределено ли нам злым роком ввергнуться в пучину охлократии? Можно и так считать, тем более здесь «все ясно». Если бы, мол, не большевики, не Октябрьская революция, не Ленин, то мы и сегодня жили бы припеваючи. Думаю, все не так просто. Об охлократии знали и писали уже со времен античной Греции. Она во весь голос проявила себя у санжюотов Великой французской революции. Она привела к власти Гитлера. Причины охлократии везде одинаковы: до крайности доведенное отчуждение человека от собственности, труда, власти, униженность и нищета, неспособность правителей решить жизненные проблемы народа. Отсюда и неуважение к закону и любой власти, кроме власти вождя-«освободителя».

Охлократия — это не какой-то особый государственный строй или особая формация. Охлократия — это скорее образ жизни, мировоззрение отчаявшегося и потерявшего себя человека. Очевидно, что охлос можно найти не только у нас, но и в самых благополучных странах мира. Следует признать, что мировая цивилизация еще не создала идеальных моделей общественного устройства, в которых преодолены беды отчуждения человека, объективно, по Марксу, оскотинивающие людей. Взгляните, например, на данные о преступности в США, на статистику самоубийств в Швеции. Для справки: уровень преступности в США в 1987 году был в 7 раз выше, чем в РСФСР.

Было бы праздным писательством с моей стороны заниматься исследованием охлократического общества и сознания охлократии, относя последнюю к «окаанным

дням» сталинщины, распутству времен правления героев «эпохи застоя». Нет, я пытаюсь составить очерк нравов нашего современного общества, которое некоторые политики и социологи торопятся объявить демократическим. Полагаю, что доминирующим типом сознания и сегодня является охлократическое сознание.

Для него типичны следующие признаки.

В охлократическом сознании ценность личности ничтожна. Впрочем, это естественно, поскольку толпа и лидер не приемлют личность. Личность угрожает толпе разрушением основ ее организации: в толпе все одинаковы и равны, все растворены в ней в объединяющее и уравнивающее всех фантомическое *мы*. Личность угрожает и лидеру, поскольку ее появление снижает эффективность примитивных механизмов управления толпой. В охлократическом поле основания индивидуального бытия растворены, потеряны в силу этого и общечеловеческие ориентиры. В этом источник фиксируемого социологами стремления подавляющего числа людей раствориться в некоем доминирующем стереотипе («все за перестройку», «все за демократию», «все за рынок», «все за Ельцина» и т. д.) или в некоем сильном чувстве, настроении (например, в ненависти, зависти, агрессии). Так, в прошлом году три четверти студентов свое психическое состояние определяли именно этими чувствами, наиболее часто ими переживаемыми. Объектом же этих чувств непременно выступают внешние явления, то есть все, кроме меня. Это явление определяет следующий признак охлократического сознания.

Локус ответственности смещен за личностные пределы. В толпе личность ни за что не отвечает. Массовый характер носит неестественное обвинение в собственных неудачах и бедах других. В охлократическом сознании всегда виноваты и ответственны *они*, но не *я*, ибо последнего не существует. Палитра современных *они* достаточно известна: коммунисты, евреи, бюрократы, Горбачев, Ленин и другие, в зависимости от того, какой смысл вкладывается в слово *мы*. Уровень напряженности в поисках виноватых, в поисках и обличении врагов (врагов перестройки, саботажников реформ) чрезвычайно высок: 98 процентов людей считают, что именно «враги» виновны во всем и что к ним нужно применить жесткие санкции.

Естественно, возникает необходимость различения «своих» и «чужих». В охлократическом обществе правила идентификации примитивны, они сводятся к формам паролового, «этикеточного» сознания. Так, для динамовского фаната в бело-голубой шапочке достаточным основанием для *face from table*² служит красная шапочка возможного болельщика «Спартака». Чтобы прослыть демократом, соответственно став своим на «демократической тусовке», надо почем зря ругать коммунистов, Ленина, призывать к скорейшей приватизации, быть за Ельцина, не носить в кармане «Правду», читать (или говорить, что читаешь) «Московские новости», «Огонек». Этого достаточно, дабы считаться «своим».

Охлократическое сознание всегда вербальное, семантическое. Социологи в разные моменты перестройки фиксировали чрезвычайно высокую долю (70—90 процентов) сторонников перестройки, рынка, демократии, гласности, религии, как и противников социализма, коммунизма, империи. Попытки выявить понимание смысла этих слов приводили к выводу: люди или их не понимают, используя как клише-пароли, или вкладывают совершенно различное содержание, обусловленное самоидентификацией с теми, кого они считают «своими». Что же удивляться, что все шли «путями перестройки», но, как оказалось и как ожидалось по исследованиям социологов, шли в совершенно разных направлениях. Похоже, нечто подобное произойдет и с созданием «рыночных отношений», «рыночной экономики»...

Для охлократического сознания неприемлемы знания и понимание мира. Во всяком случае, желание понять и познать весьма ослаблено. Это обусловлено отчуждением личности и как следствие — невостребованностью знаний. Вот и выходит, что только чуть больше половины студентов ориентированы на получение знаний, а в средней школе лишь 9 процентов старшеклассников учатся с интересом. Утилитарный подход к личности, оценка ее с позиций пользы, которую она может оказать обществу, приводя к утилитарной оценке знаний. Учить надлежит только то, что принесет пользу (язык, финансы, менеджеризм, право и т. д.).

В главном же охлократическое сознание, являясь сознанием невежественным, не понимает, а в силу этого отрицает, объективные законы общественного развития. Необразованность всегда предопределяет непонимание и невежество. Неумение видеть мир и понимать его делает человека опасным для него самого и для общества. Опасным в руках политиканов, преступников, террористов. Опасным в бездумном отрицании ценностей общества.

Понимание свободы в охлократическом обществе весьма своеобразно. Это не то, что свобода демократического общества: свобода — это право совершать такие

² Мордой об стол (англ.).

поступки, которые не ущемляют право других совершать точно такие же поступки. Свобода для человека толпы — всегда вседозволенность. Но не личного поступка, а вседозволенность *нашего* действия. Толпа свободна в том смысле, что считает себя вправе совершить любой поступок. Очевидно, что, с точки зрения индивидуального права на свободу, такая свобода — это рабство, зависимость от толпы и ее лидера. Исследования жестко фиксируют: за последние четыре года зависимость личности от решений государственных органов возросла. В начале прошлого года уже 79 процентов населения России считали, что их судьба зависит от решений президента или Верховного Совета. Люди со страхом читают газеты, слушают правительственные сообщения. Для себя они ждут только неприятностей: когда и насколько возрастут цены? будет ли прибавка к жалованью? где купить картошку и хлеб? вернется ли вечером дочь с прогулки? Все эти вопросы — от нашего бессилия и, следовательно, от нашей несвободы. Несвобода и бессилие, естественно, рожают страх: 46 процентов уверены, что дело кончится социальными потрясениями, а 28 процентам гражданская война представляется неминуемой... Эти выводы хорошо коррелируют с выводами социологов «Таймс миррор сентер», которые провели у нас исследование весной и в сентябре 1991 года. Если весной только 20 процентов опрошенных считали, что не представляют себе, какой будет жизнь через пять лет, то в сентябре таковых стало вдвое больше. Несвобода, зависимость от властных структур охлократии обусловили и следующие оценки: в России только 10 процентов жителей озабочены сугубо личными делами (во Франции — 48 процентов, в Испании — 43 процента), для остальных доминантна тревога за судьбу страны и, соответственно, тревога за решение тех, кто решает эту судьбу, а значит, и судьбу конкретного человека. В октябре 1991 года, согласно опросу «Правды», 71 процент ее читателей не уверен в счастливом будущем своих детей. Эти данные свидетельствуют: процесс охлократизации не преодолен, он усиливается. Невозможность быть хозяином своей судьбы и что-либо изменить в своей жизни привели к тому, что в 1990 году более половины студентов считали, что их жизнь бессмысленна.

Охлократическое общество весьма переменчиво в отношении к своим вождям. Едва он перестает удовлетворять толпу, его крах неминуем. Не это ли случилось с некогда вызвавшим у всех восхищение М. Горбачевым (рейтинг его на исходе минувшего года составлял 6, а в 1989 году достигал 76 процентов)? Толпа безжалостна к своим кумирам.

Говорят, что наше общество меняется и сегодня уже совсем не то, что ранее. Это верно. Но эти перемены происходят именно тогда, когда меняет свои взгляды старый лидер или же появляется новый. Впрочем, если считать, что мы имеем дело с охлократией, то этот вывод неудивителен. Удивителен был бы противоположный вывод. Ведь в охлократии люди подражают (иногда даже в мелочах) лидеру, то есть самому сильному, у которого сегодня власть и от кого зависит судьба охлоса.

Высший пилотаж подражательства демонстрируют лица ближайшего окружения лидера или лица, которых члены охлоса причисляют к такому окружению. Какой же гибкостью позвоночника, мимикричностью характера, идейным люмпентством надо обладать, чтобы на протяжении последних десятилетий быть последовательно на «передовых рубежах строительства коммунизма», в проповедниках «развитого социализма», в «прорабах перестройки», среди «радикальных реформаторов», в «демократах-антикоммунистах»? Надо ли называть их имена? Ведь все они известны нам и без этого.

Охлократическое сознание, основанное на невежестве, инстинктах, чувствах и эмоциях, обладает удивительным свойством. Оно не носит целостный характер. Более того, его структура состоит из отдельных, не зависимых друг от друга элементов, фрагментов разных теорий, объединенных общим эмоциональным фоном. Митингующая толпа не хочет знать и понимать истину, а вожди охлоса жаждут не истины, а одобрения толпы.

Вероятно, существует взаимная потребность охлоса в вожде (который все решит, все сделает так, чтобы все было, а работать не надо), как и потребность вождя в толпе. Эта потребность основана на том, что в охлократии «человек, — как пишет Н. А. Бердяев, — как будто устал от духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы, которая устроит его жизнь внутренне и внешне». Эта потребность основана на ожидании чуда, внезапного избавления от страха неопределенности, от собственных неудач, от экономического хаоса. Вождь в охлосе и наделяется такими магическими способностями.

Сознание охлократы состоит из противоречивых клише и легко поддается манипулированию. Охлосом легко управлять с помощью примитивных, упрощенных общественных структур. Как правило, эти структуры носят погромный, а не созидательный характер, они не способны к созиданию... Приведем пример. В сентябре минувшего года путем опроса проанализировали экономические воззрения студентов. Довольно большая группа (46 процентов опрошенных) по отношению к рынку занимает радикальные позиции. Однако 65 процентов при этом считают, что программы экономической реформы нет, более 90 процентов полагают, что необхо-

дим экономический союз суверенных государств, но не должно быть экономических систем межгосударственного взаимодействия (единая валюта, эмиссионная политика, кредитная система и т. д.). Вообще рынок эта часть студентов представляет по схеме героини из гоголевской «Женитьбы»: конкуренция — такая, как в США, государственное регулирование — как в Японии, социальные гарантии — как в Швеции, уровень жизни — как в Швейцарии... Тем самым как бы игнорируется естественность становления нашего рынка, который не будет таким, как в других странах. Но ведь так хочется, чтобы он был таким, как у них!

Определенным симптомом охлократического сознания служит отчасти и возросшая псевдорелигиозность в нашем обществе. Естественно, что сейчас мало кто стоит на позициях воинствующего материализма. Но искренне верующих и знающих необходимые обряды, символы и атрибуты веры у нас не более 6 процентов (это среди студенчества). Тех, кто веру в Христа путает с суевериями, мистицизмом, шаманизмом, хиромантией, астрологией, полтергейстом, НЛО, переселением душ и другими атавистическими формами религии, значительно больше — около 60 процентов. А ведь все суеверия — самые ранние формы религиозного сознания, по существу, это язычество.

Охлократическое сознание — внеисторическое сознание. История — это ведь история человека, история личности, история его жизни. История и человек неразделимы. Нравственность человека есть нравственность истории. Без истории нет человека, а без него нет истории. Осквернить историю означает осквернить и растоптать человека. Лишить его нравственной опоры, принадлежности к вечности, нетленности. Поэтому-то огульная критика исторического прошлого, тяжелого, драматического и трагического прошлого, без желания понять это прошлое в результате означает только одно — осквернение человека, отторжение его от истории. Люди вне истории — это уже толпа, охлос.

Читаем у Н. А. Бердяева: «Человек находится в историческом, и историческое находится в человеке. Между человеком и «историческим» существует такое глубокое... сращение... что разрыв их невозможен... Для того чтобы проникнуть в... тайну «исторического», я должен прежде всего постигнуть это историческое и историю как до глубины мое, как до глубины мою историю, как до глубины мою судьбу... Если бы для индивидуального человека не существовало путей приобщения к опыту истории, то как жалок, пуст и смертен по всему своему содержанию был бы человек!»

Охлократическое сознание лишено исторической памяти, исторического опыта. Они и не нужны охлосу. Вот результаты опроса социологов: 64 процента старшекласников и студентов убеждены в том, что история XX века нашей страны — это история «политического гадюшника», история тирании, преступлений и обмана. Сегодня две трети русских людей утверждают, что великое, достойное и славное в истории России — все в далеком прошлом, сегодня же только скверна, преступления и позор. Оценки истории даются уверенно и безапелляционно, хотя только 8 процентов опрошенных считают приличными свои знания об истории.

Для охлоса вообще нет ценности и уважения к истории. Более того, для охлоса вообще нет истории. Поэтому-то сильны среди охлоса идеи сотворения истории, сознательного обустройства общества и истории. По чертежам Мора, Морриса, Оуэна, Фурье, Маркса, по чертежам общественного устройства стран Запада, по любым чертежам, где следует все переделать так, чтобы «загнать клячу историю». История для охлоса — соблазнительное поле для экспериментов. Жертвой этих экспериментов всегда становился человек. Дело не только в слабости научного обоснования этих экспериментов и гордыни человека, уверовавшего, что ему все дозволено. Дело в том, что вмешательство в историю для ее переустройства нарушает ее естественный ход и, следовательно, убивает человека, который при этом исчезает из истории.

Социальная база охлократии — люмпенизированная часть общества. Это люди без собственности, но чрезвычайно возбужденные тем, что уже идет или вот-вот начнется дележ того, что раньше было собственностью всех, а на деле собственностью вождей-олигархов. Власть в охлократии основана на популизме. Вернемся к Платону. Он пишет, что вождь охлоса «в первое время... приветливо улыбается всем, кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран; он дает много обещаний частным лицам и обществу; он освобождает людей от долгов и раздает землю народу и своей свите. Так притворяется он милостивым ко всем и кротким». Впрочем, это ненадолго. Охлократия всегда нуждается в вожде, в диктаторе. Современные популисты мало чем отличаются от описанного Платоном.

Власть в охлосе может быть как прямой диктатурой (Сталин), так и легитимизированной демократическими выборами (Гитлер). Но в любом случае эта власть криминальная. Не случайно в прошлом году 40 процентов студентов посчитали, что власть является мафиозной. Ранее она основывалась на системе коммунистической партии, сегодня создаются иные властные структуры (главы администрации, пред-

ставители президента), не имеющие легитимности, очерченных законом полномочий и обязанностей, воспринимаемые охлосом как партия вождя. Это будет приниматься до тех пор, пока вождь устраивает охлос. Как только вождь приступит к реализации давно обещаемых «непопулярных» мер, очевидны два исхода, возможных при всплеске недовольства народа: либо люди сметут ставшую им неуютной власть, либо вождь должен стать диктатором. Не дай бог реализоваться первому варианту. За ним — гражданская война, полная разруха и как итог — коричневая диктатура. Впрочем, возможно и активное вмешательство стран мирового сообщества в наши дела, исход которых может грозить миру вселенской катастрофой.

Охлос тяготеет к диктатуре. Но каким станет диктатор? Здесь тоже возможны два варианта: диктатором фашистского типа или просвещенным диктатором. Во втором случае самым жестким образом должны соблюдаться нормы закона, появится возможность проводить экономические реформы, но политическая деятельность будет ограничена. Однако только во втором случае я имею в виду не персональную диктатуру с охлократическим «все дозволено», а диктатуру просвещенную, диктатуру закона. Почитание закона и подчинение ему — это первейший признак, отличающий демос от охлоса. Закон есть закон. Ему надо уметь заставить подчиниться тогда, когда у человека нет внутренней силы подчинения закону. Власть закона и есть просвещенная диктатура.

Когда раздаются призывы сплотиться вокруг Ельцина, я полагаю, что в этом слышится клич охлократов. Мне кажется, надо поддерживать не персону Ельцина, а президента. Президент — лица, выражающего волю закона, подвластного закону. Даже если закон несправедлив. Разве справедлив был закон к Сократу, приговорив его к смерти? Но Сократ принял смерть, сказав, что не может не выпить яд, ибо сам голосовал за такой закон... Очевидно, что такая, просвещенная, диктатура будет и должна опираться на силу. В реализации этого насилия, увы, не избежать насилия закона со стороны законной власти государства.

Следует сделать при этом еще несколько необходимых выводов. Так, главное содержание реформ, связанных с преодолением охлократичности общества, — это очеловечивание людей, возрождение нравственности. Путь же к очеловечиванию человека, приоритету нравственных норм, благополучию общества, экономическому процветанию, культурному развитию начинается с системы образования. Мировой опыт убедительно свидетельствует — развитые страны достигли своего культурного и технологического прогресса прежде всего за счет приоритетного внимания к делам образования.

Банальностью стала простая истина: каково сегодня образование, какие идеи, доктрины, знания и мировоззренческие системы преподаются в школах и университетах — такими и будут общества и мировое сообщество в ближайшие пятьдесят, а то и сто лет. Если правительство не повернется к нуждам образования, к признанию его приоритетности, думаю, что угроза самоуничтожения, нищеты, упадка нравов, преступности будет только нарастать.

Не следует забывать и того, что провал между охлократическим сознанием и уровнем технологий, которыми мы обладаем, будет все углубляться. Такой разрыв чреват новыми катастрофами и вызывает страх к нам во всем мире. Преодолеть этот провал можно только за счет развития системы образования. Отсюда еще один вывод. Чрезвычайно опасная зона реформаторства — это экономика. Она опасна тем, что охлос жаждет получить запросто, «за так» какую-то (ожидается, что большую!) долю бывшего общего пирога. Однако охлос видит (или подозревает), что дележ этого пирога проходит (и, возможно, пройдет) без него. Поэтому реформатору следует на первых порах избегать обвальнoй приватизации, возбуждающей индивидуальную конкуренцию. Разумнее, с учетом характеристики охлократии, применять акционирование, арендные формы владения, коллективные товарищества с известной долей в имуществе каждого владельца коллективной собственности.

Разрушение охлоса через индивидуализацию собственности опасно. Охлос развалится на группировки. Резко возрастет социальная напряженность. Между группировками возникнет ожесточенная борьба. Преступность сделается нормой жизни. Как наиболее вероятный исход подобного развала охлоса — приход к власти диктатора фашистского типа.

Воспрепятствовать такому развитию событий и укреплению власти охлоса могут только законная власть и поддержка всех демократических сил общества. Хотелось бы надеяться, что семь последних лет в жизни нашего общества не прошли даром.

А. ОВСЯННИКОВ.

Москва.

КОРОТКО О КНИГАХ



I. МАРТИН ХАЙДЕГГЕР. Разговор на проселочной дороге. М. «Высшая школа». 1991. 192 стр.

Рецензия — это отклик на событие. Не знаю, можно ли счесть событием, что у нас наконец-то — пусть порой с опозданием в полстолетия — выходят в свет работы выдающихся мыслителей XX века: Гуссерля, Юнга, Хайдеггера, Сартра, Ясперса, Ортеги-и-Гассета, Вебера, Гадамера, Хабермаса... Есть надежда, что рано или поздно появятся и книги Левинаса, Фуко, Мерло-Понти, Лакана, Деррида, Рорти...

Такие имена, как Хайдеггер, Гадамер, Юнг, в европейской культуре уже состоялись. И вопрос сегодня в том, как могут состояться они теперь для нас. Выпущенные сборники работ — это скорее проявляющие себя приметы отсутствия в отечественной культуре, почти полного отсутствия, современной философской мысли. Свидетельства часто провинциальности предпринимаемых нами интеллектуальных усилий, неспособности сойти с «проселочной дороги» развития.

Мне кажется, что наше «сегодня» может быть осмыслено только в языках сегодняшнего дня, более жестких, демифологизированных. И смею полагать, что это вряд ли возможно вне интенсивного контакта с современной мыслью Запада, с самыми различными текстами западных интеллектуалов-гуманитариев.

Мартин Хайдеггер, Ганс-Георг Гадамер, Карл Густав Юнг — три очень разных мыслителя. Три конгениальные фигуры в европейской культуре XX века. Хайдеггер и Юнг — почти интеллектуальные ровесники, Гадамер — философ следующего за ними поколения, живой классик современной немецкой мысли. Творчество К. Г. Юнга представлено в сборнике «Архетип и символ» в основном работами 20—30-х годов. В эти же годы формировался Хайдеггер, выпустивший в 1927 году свой главный труд «Бытие и время». Тексты, собранные в книгу «Разговор на проселочной дороге» (а это работы 60-х годов), живут отношением к мысли «Бытия и времени». 20—30-е годы — студенчество Гадамера. Основные свои работы он напишет уже в послевоенные десятилетия.

Тексты Хайдеггера в последние несколько лет активно входят у нас в круг чтения. Благодаря прекрасным переводам В. В. Библина и А. В. Михайлова, но без поддержания интереса через средства массовой

информации, посвятивших Хайдеггеру целую серию публикаций, его имя стало привлекательным для читающей публики и даже подчас для чуждавшихся его ранее профессиональных философов. Однако мне кажется, что именно у нас, именно здесь и сейчас возможность «прочтения» Хайдеггера остается в высшей степени проблематичной. Я попытаюсь объяснить на этот счет.

С именем Хайдеггера связана новая эпоха в европейской философии. Ассистент и протезе Гуссерля, университетский профессор Мартин Хайдеггер сумел в своей жизни соблюсти удивительный компромисс: находясь в среде академической философии, он разрабатывал достаточно радикальную философскую программу, посвятившую на сами устои академического философствования. Следствия этой программы сказываются в европейской мысли и сегодня. Хайдеггер продолжает то явно, то скрыто присутствовать в самых напряженных точках современной мысли.

И дело здесь нельзя представить привычным образом: речь-де вновь идет о попытке на «новом пути» решать старые и даже «вечные» проблемы мышления. Шаг, принятый Хайдеггером уже в «Бытии и времени», был связан с попыткой поставить под вопрос сами основания традиционной европейской ментальности. Хайдеггер в каком-то смысле решился «стать радикальнее» ниспровергателя европейских ценностей Ницше, он решился выйти за пределы «метафизики», скрепляющей основания европейского бытия.

С условиями этой задачи связана вся утопия речи Хайдеггера: дать высказаться самим вещам, артикулировать первозданность речи земли и неба, человеческого и божественного, найти топос органичного пребывания человека в мире. Хайдеггер интенсивно работает с возможностями языка, позволяющими сказаться «событию Бытия».

Для «сборки» событийных пространств, для создания «мест» события необходима предварительная работа по расчистке территории мысли. Хайдеггер называл такую практику «деструкцией». Методическая работа деструкции продлевается им каждый раз заново, в пространстве каждого нового текста, при вхождении в каждую новую тему — ведь всякое размышление случается здесь и сейчас и не может апеллировать к «уже установленному»... И всякий раз заново под вопросом оказывается так называемая «правильность», та «правильная речь»,

в которой стерт всякий след сопротивления самих вещей, всякий след их жизни до и вне нашего познавательного усилия.

Движение мысли Хайдеггер организует вопрошанием. Он спрашивает: «Каким образом высказывание оказывается способным, утверждая именно свою сущность, в то же самое время уподобляться другому, вещи?» С этим вопросом мы оказываемся в особом пространстве разрыва, в ситуации, разрешение которой не гарантировано классической европейской практикой мысли, ориентированной, как стремление показать Хайдеггер, на догмат универсальной представимости вещей. Проходя за Хайдеггером через многообразные перипетии радикального вопрошания, мы постепенно начинаем опознавать территорию современной западной мысли, пытающейся исходить из самой ситуации разрыва, из самой невозможности сегодня быть правильной мыслью о мире как таковой.

Дело Хайдеггера — это расчленение таких классических очевидностей, как «сознание», «истина», «свобода», «человек». Хайдеггер постоянно обсуждает то, что составляет условие европейских культурных конвенций, основу действующей в этом сообществе социальной нормы. При этом, как ни парадоксально, Хайдеггер всякий раз умело уходил от «прогнозирования» социальных и в широком смысле «идеологических» следствий своей философской практики. Лишь однажды, в 30-е годы, он попал в ловушку политики, став в 1933 году ректором Фрейбургского университета и даже, как полагают некоторые, возмнив себя идеологом «нового пути Германии». За эту неосторожность Хайдеггер расплачивался всю последующую жизнь, вынужденно оправдываясь и объясняя свою непричастность к национал-социалистской идеологии, свою неприязнь к идеологии как таковой.

Но провокация идеологии имеет шансы состояться и тогда, когда большого мыслителя выставляют «сторонником» взглядов той или иной политической ориентации. Идеология продолжает свое дело и там, где подготавливается бесконфликтное принятие-растворение инакомыслящего и инакоговорящего в усредненном языке бытующей культурной нормы. Именно это происходит сегодня с Хайдеггером у нас. Его принимают удивительно благоустно и спокойно. Как будто встретились с давним знакомым, приятно рассуждающем о нам привычном, о «близком по духу». Предваряя публикацию работ Хайдеггера в № 1 «Нашего современника» за 1992 год, А. В. Михайлов даже называет размышления Хайдеггера «созвучными нашим сегодняшним исканиям». Он спешит найти делу Хайдеггера достойное признание: «помнить свой исток», «знать о своем месте в мире», хранить свою твердость и не изменять себе в самые тяжкие минуты испытаний... Такие подкаски надежно оберегают от прямого, непредвзятого, нейтрального чтения хайдеггеровских текстов. А потому, может

быть, к лучшему поспешное предисловие и ничего не проясняющее для внимательного читателя послесловие к изданному «Высшей школой» сборнику хайдеггеровских работ? Конечно, обидно, что уже после состоявшихся публикаций отдельных статей Хайдеггера в прекрасных переводах В. Библихина, А. Михайлова, Т. Васильевой мы получили сегодня поспешную и неумелую книгу философа на русском языке. Переводческий и комментаторский уровень, который смогли обеспечить издатели, не способствует встрече с автором работ «О сущности истины», «Отрешенности», «Что значит мыслить?»... Так что событие появления книги работ Мартина Хайдеггера вновь отложено. А пока можно пригласить интересующихся к издаваемому хайдеггеровскому (почти стотомному) собранию сочинений на языке оригинала.

П. Г.-Г. ГАДАМЕР. Актуальность прекрасного. М. «Искусство». 1991. 367 стр.

Ученику Мартина Хайдеггера Гансу-Георгу Гадамеру повезло на сегодня в нашем отечестве больше. И не в последнюю очередь благодаря добросовестности и компетентности издателей сборника «Актуальность прекрасного» В. В. Библихина, В. С. Малахова, А. В. Михайлова и М. П. Стафеевской. По прошествии трех лет со времени публикации в нашей стране достаточно небрежного перевода главного труда Гадамера «Истина и метод» мы имеем наконец профессионально переводчески и комментаторски подготовленное издание собрания статей крупнейшего философа современной Германии.

Гадамер — философ культурного консенсуса, подвижник от философии, выходящий в разноликие пространства публичности со своей проповедью разрешимости любого культурного конфликта, с гуманной миссией «поисков общего языка». «Герменевтика — это практика» — пожалуй, это то основное, что всякий раз стремится пояснить и продемонстрировать Гадамер. «Герменевтикой» он называет свое бесконечно воспроизводимое усилие осмыслить все средстами языка, сделать разумно-ясными сами основания нашего жизненного опыта и тем самым доставить человеческому сообществу шанс выжить.

После герметичной, темной речи Хайдеггера — открытости и ясности гадамеровского языка. После напряженного хайдеггеровского выражения невыразимого — классически динамичное и логически стройное разворачивание мысли у Гадамера. Будто стараясь не обидеть читателя, терпеливо и постепенно объясняя, он вводит свою аудиторию в круг размышлений сегодняшней философии. Гадамер скрупулезно восстанавливает тот контекст, в котором стало возможным философствование Шелера и Ясперса, Мерло-Понти и Хайдеггера.

И все же, несмотря на кажущуюся простоту и доступность того, о чем говорит нам Гадамер, очень многое в его речи требует сегодня нашего усилия опознания. По сути, он говорит во многом для нас новое, обращает к тому, на чем никак не хочет задерживать свое ученое внимание отечественная гуманитаристика. Гадамер расчленяет саму процедуру понимания и интерпретации — эти основные процедуры гуманитарного знания, — отводя, показывая невозможность той ситуации «наивности», в которой продолжает пребывать сегодня большинство отечественных филологов, историков, философов.

Гадамер как бы отменяет неустанно возобновляющиеся в культуре сеансы спиритуального общения с прошлым, когда «читающий» и «понимающий» искренне полагают, что «вот тут», в его внимании к произведению, появляется и заговаривает с ним невидимый собеседник. «...за попыткой прочесть и намерением понять нечто «вот тут» написанное «стоят» собственные наши глаза», — вежливо напоминает Гадамер. Предпосылка аутентичности чтения уже не может состояться в том пространстве, где произошло опознание конечности человеческого существования.

Понимая жестокость этого неотменяемого обстоятельства, Гадамер остается оптимистом, полагающим, что коммуникация с ушедшей культурой должна оставаться органическим фундаментом современности, что ненасильственный диалог с прошлым не только необходим, но и возможен на новых рациональных основаниях. Гадамер говорит о *Wirkungsgeschichte* — о своеобразном континууме исторической жизни, континууме становления опыта мышления.

Я упомянула лишь некоторые из моментов той философской программы, которую развивает Ганс-Георг Гадамер, организуя согласное собеседование великих естествоиспытателей и литераторов, историков и философов на основе своей рационально выверенной стратегии — стратегии универсальной рефлексивной коммуникации. Работы Гадамера читаются как своего рода философское повествование, свободное от желания обратиться в свою веру, но приглашающее к самостоятельному размышлению.

III. КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ. Архетип и символ. М. «Ренессанс». 1991. 298 стр.

Совершенно иного рода тексты знаменитого ученика Фрейда Карла Густава Юнга.

В России первое знакомство с Юнгом состоялось в 10-е годы, когда труд перевода его работ на русский язык взяло на себя издательство «Мусaget», успевшее опубликовать полный текст основного сочинения Юнга — «Психологические типы».

Московское издательство «Ренессанс» недавно объявило о своем намерении из-

дать собрание сочинений Юнга в двенадцати томах. Первый результат работы — появление рецензируемого сборника, подготовленного коллективом профессионалов — переводчиков и специалистов-философов — В. М. Бакусевым, В. В. Библихиным, В. В. Зеленским, А. М. Руткевичем.

Тексты К. Г. Юнга, как и работы З. Фрейда, принадлежат не специфической области психиатрической практики, в западной культуре в широком смысле. Путь Юнга синхронизован с ходом развития европейской мысли XX века, все более перестающей быть обязанной религиозной или философской системе, идеологическому постулату. Суждения Юнга вырастают из его бесцензурного опыта наблюдения над собой и другими, из опыта «врача» — того, кто допущен к «болезни», к тому, что традиционно отгеснялось на периферию жизни сообщества. И вдруг — такие искажения оптики. На место целеполагающего и ценностно ориентированного сознания грозит заступить «психика, как нечто препятствующее нашей воле, нечто странное и даже враждебное нам, несовместимое с нашим сознательным видением». Душа все янее перестает быть частью метафизической системы... С этими констатациями так или иначе связаны размышления Юнга.

Но Юнг не просто врач — может быть, врач он именно потому, что «заворожен темными основаниями души», пытается говорить «о едва заметных вехах — самых сокровенных и хрупких, о цветах, распускающихся только ночью»... В его речах можно, наверное, услышать и интонации ведуна. Но что важнее, Юнг остается блестящим аналитиком, умело справляющимся с хаосом жизни и с ее проявлениями.

Юнг лишен честолюбия идеолога. Его профессиональная этика — отказ искать болезни там, где их нет, удерживаться от суждений о том, в чем некомпетентен, не брать на себя смелость выносить приговоры современному человеку, обществу и культуре. Речь Юнга располагается в другом месте. Его топос — это пространство пограничного опыта: опыта снов и воспоминаний, дешифровки символов и архетипов «коллективного бессознательного».

Собранные в книге «Архетип и символ» тексты Юнга дают представление и о том многообразии материала, с которым работал исследователь, и о его общем аналитическом подходе, серьезно расходящимся со знаменитой психотерапевтической методикой Фрейда. Юнг — один из первых еретиков психоанализа. За переводом его работ логично должны, видимо, последовать переводы работ Адлера и Ранка, Райха и Ференци...

Нас ждет запоздалое открытие еще одного континента европейской культуры.

Е. Ознобкина.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



А. ШТЕЙНБЕРГ. Друзья моих ранних лет (1911—1928). (Подготовка текста, предисловие и примечания Ж. Нива.) Париж. «Синтаксис». 1991. 288 стр.

Едва успев выйти в свет, книга воспоминаний А. З. Штейнберга (1891—1978) удостоилась обстоятельного разбора (см. рецензию Г. А. Морева в «Русской мысли» от 4 октября 1991 г.). Подобный интерес к мемуарам Штейнберга неудивителен. Всецело принадлежа к еврейской национальной, религиозной и культурной традиции, Штейнберг большую часть жизни провел в России и Германии, испытывал громадную тягу к двум великим культурам и одновременно сохранял известную обособленность от них. Размышляя над особенностями русского самосознания, ожесточенно споря с В. В. Розановым и А. А. Блоком, Штейнберг стремится сохранять в этих спорах беспристрастие и объективность. В то же время взгляд автора лишен размывающей панорамности: подробно рассказывая о своих встречах с В. Я. Брюсовым, А. Белым, М. Горьким, Л. И. Шестовым, Л. П. Карсавиным, мемуарист пытается понять логику каждой конкретной судьбы, историческую подоплеку каждой биографии.

РУССКИЙ ПАЛОМНИК. Год XXXIII — XXXIV. № 1—3. «Валаамское общество Америки». Chicago, 1990—1991.

Журнал «Русский паломник» имеет поистине удивительную судьбу. Издававшийся на острове Валаам с 1885 г., он был закрыт вскоре после падения монархии в России. В 1990 г. Валаамское общество Америки решилось возобновить издание журнала. К этому времени в обители валаамских изгнанников — Свято-Германовской пустыни (Калифорния) в ознаменование 1000-летия крещения Руси был воздвигнут, по образу и подобию Валаамского собора, новый храм. «Ровно полвека тому назад Валаамские иноки покинули свое святое место, перешли по замерзшему льду Ладоги в свободную Финляндию и теперь, благодарение Господу, на место это разоренное мы посылаем Паломника, дабы восстановить былое, т. е. дать почувствовать полную картину того подлинного свято-русского монашества, которое создало тысячелетний Валаамский монастырь», — сообщается в редакционном предисловии. Тематика журнала разнообразна: среди теоретических материалов выделяется опубликованная в № 3 статья Г. Калюсника «Медичина и христианское сознание», среди исторических — публикуемые из номера в номер материалы по истории Валаамского монастыря. «Русский паломник» дает также ин-

формацию о сегодняшней деятельности Валаамского общества, предлагает читателю образцы современной религиозной поэзии.

В. Н. ИЛЬИН. Шесть дней творения. Изд. 2-е. Paris. YMCA-PRESS. 1991. 231 стр.

Переиздание книги выдающегося русского мыслителя В. Н. Ильина продолжает серию републикаций его ранних трудов, осуществляемую издательством YMCA-PRESS. В предисловии к первому изданию «Шести дней творения», вышедшему в 1930 г., Ильин пишет: «Апологетика старого стиля отжила свой век. Она слишком часто являлась выражением неверия, маловерия и еще чаще — умственной лени и казенного окостенения... Наступают другие времена. История, ставшая грозной трагедией, вводит нас путем огненного искушения в органическую эпоху веры и целостного знания. Темному, суеверному духоненавистничеству противостоит свет любви, свет верующей философии». Как и большинство других работ, вышедших из-под пера В. Н. Ильина, книга «Шесть дней творения» отличается безукоризненной выверенностью фактов, обрамляющей глубокое знание и понимание мировой культуры. Особый интерес представляет произведенное в книге сближение библейского мифа о творении и теории биосферы В. И. Вернадского.

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ. Моя нестерпимая боль. Стихи. Вып. I (сост. К. Ф. Турумова-Домбровская). Москва—Париж. «Русь». 1992. 16 стр.

Читателям «Нового мира» нет необходимости представлять Ю. О. Домбровского (1909—1978). Републикация главных произведений писателя, осуществленная журналом в 1988 и 1991 годах, напомнила современному читателю о существовании в русской литературе незаурядного прозаика и эссеиста. Сборник, подготовленный вдовой писателя К. Ф. Турумовой-Домбровской, представляет нам Домбровского-поэта. Стихи, собранные в книге, тяготеют к двум полюсам — изящному примитиву (цикл стихотворений «Анри Руссо») и изощренному барокко («Гнедич и Семенова»). В обоих случаях виртуозная стилизация не является самоцелью. Прозаическое призвание автора придает стихам романную разомкнутость и разноплановость, поэтический талант умелой огранкой отделяет друг от друга большие эпические куски.

Составитель К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.

НОВОЫЙ МИР

В 1993 ГОДУ

ЭТО:

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ЛЕОНИД БЕЖИН

АНДРЕЙ БИТОВ

ИГОРЬ ВИНОГРАДОВ

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ

АНАТОЛИЙ КИМ

НАУМ КОРЖАВИН

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

МИХАИЛ КУРАЕВ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

АЛЛА ЛАТЫНИНА

СЕМЕН ЛИПКИН

ВЛАДИМИР МАКАНИН

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

АНДРЕЙ НЕМЗЕР

В. НЕПОМНЯЩИЙ

ИВАН ОГАНОВ

МАРИНА ПАЛЕЙ

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

ДОРА ШТУРМАН

и другие поэты, прозаики, критики, эссеисты

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ

SUMMARY

The poetry section of this issue includes poems by Boris Chichibabin, Mikhail Pozdniaev and Gennady Frolov. It also contains a longer poem, rather experimental in design, by Evgeny Rein called «The Maltese Falcon» (after Dashiell Hammett's detective-novel and the famous American film based on it) which, in the poet's view, has become a distinctive symbol for our times.

The noted Petersburgian writer, Mikhail Kuraev, a regular contributor to the magazine, investigates, in a new story called «The Tender Agitation of Friendship», the characters and customs of contemporary Russian provincial life. The story is marked by wry humour, and confirms Kuraev's reputation as a subtle stylist and psychologist.

A new kind of prose, not yet well-known to a wide audience, is represented by three short stories: two by Mikhail Butov and one by Yuri Maletsky.

An essay by Leonid Bezhin called «An Empty Burial Vault» addresses itself to the mystery surrounding the death of Alexander I. This Russian Emperor, according to legend, didn't die but fled to become a man of the common people. The author regards this episode as emblematic of Russian history as a whole.

In this issue, we are completing the publication (started in No. 7) of Naum Korzhavin's memoirs «Temptations of a Bloodstained Epoch».

Our «Publications and Reports» section this time contains the biographies of a number of Old Believers edited by Nikolai Pokrovsky, and the record of a story told by Dostoyevsky about his conversation with a necrophile. This record comes from E. N. Opochinin's collection; the text has been edited by M. Odesskaya.

The «Literary Criticism» section offers «The View from the Window» by Alexander Genis (New York) and «Moving Target» by Lubov Gurevich (St. Petersburg). Both articles examine the place of literature in the context of modern society and culture. Alexander Genis's point of view is commented on in an afterword by Irina Rodnianskaya.

In the reviews section, Yuri Kublanovsky writes on Arseny Tarkovsky's poetry; and Andrei Nemzer, on the poems of Semen Lipkin. In the same section Victor Kamianov examines the prose-works of Sigizmund Krzhizhanovsky, a writer of the 1920s who failed to have anything published during his life-time and is now almost completely forgotten.

The «Comments» section contains Sergei Kostyrko's notes on the Russian edition of Jacques's Rossi's «GULAG Reference Book» and Daniil Dubshan's notes on the Russian «anniversary» edition of «The Adventures of the Great Detective Sherlock Holmes» — published on the occasion of the centenary of the famous skirmish between Holmes and Professor Moriarty at Reichenbach Falls, which «took place» on May 4th, 1891.

An essay, «The Power of Darkness» by A. Ovsianikov is published in our «Editorial Mail» section. Its theme is the power of the crowd and the menace of ochlocracy, which currently threatens to take the place of democracy.

In «Brief Notes on Books», E. Oznobkina reviews new Russian editions of the philosophical works of Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer and Carl Gustav Jung.

In our regular column «Russian Books Abroad», K. Postoutenko offers short notes on new publications of Russian literature abroad.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор А. Гинзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Слано в набор 29.04.92 г. Подписано к печати 06.06.92 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 241 700 экз. Зак. 2385. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.



Российский Фонд «Здоровье человека»

В 1991 году ведущие ученые, медики, экологи, гуманитарии, представители духовенства, отечественные предприниматели и бизнесмены изъявили желание сплотиться вокруг идей Фонда.

Уже сегодня Фонд оказывает практическую поддержку ряду проектов, нацеленных на решение таких злободневных проблем, как охрана материнства и детства, укрепление и развитие фармацевтической промышленности, борьба с наркоманией, оздоровление детей-инвалидов, возрождение традиций милосердия, обеспечение репродуктивного здоровья семьи, улучшение экологической ситуации в стране, подлинное просветительство в области медицины.

Фондом организован ряд региональных симпозиумов и ассамблей, посвященных актуальным проблемам охраны здоровья населения. В апреле 1992 года Фондом проведен в Москве первый Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», в рамках которого состоялась международная выставка «Фармакология-92».

В деятельность Фонда активно включились Международная универсальная биржа вторичных ресурсов, НПО «Биотехнология», другие организации и фирмы.

Филиалы Фонда созданы в ряде республиканских, краевых и областных центров России. Приступили к работе отделения Российского Фонда «Здоровье человека» в США и ФРГ. Создаются аналогичные представительства в Италии, Франции, Индии и других странах.

Фонд внимательно отнесется ко всем предложениям по поводу его дальнейшей деятельности.

Фонд открыт для всех, кто желал бы конкретно сотрудничать в возрождении духовного, нравственного и физического здоровья граждан России.

**Адрес Российского Фонда «Здоровье человека»:
117246, Москва, Научный проезд, 8.
Телефон (095)-332-33-98.
Телефакс (095)-331-01-01.**